

Варлам ШАЛАМОВ

Варлам
ШАЛАМОВ



собрание
сочинений
в *шести*
томах

6

6

Варлам
ШАЛАМОВ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

В а р л а м Ш А Л А М О В

собрание сочинений в *шести* томах



1968 год



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

В а р л а м Ш А Л А М О В

собрание сочинений



том шестой

ПИСЬМА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ТЕРРА  **ТЕРРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE

КНИГОВЕЖ[™]
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Ш 18

Оформление художника
С. Любаева

Составитель
И. Сиротинская

*Воспоминания В. Т. Шаламова и его Записные книжки
подготовлены составителем при поддержке
гранта Президента Российской Федерации
№ 5.96-рп от 13 декабря 2003 г.*

Шаламов В. Т.

Ш18 Собрание сочинений: В 6 т. + т. 7, доп. Т. 6: Переписка
/ Сост., подгот. текста, прим. И. Сиротинской. — М.:
Книжный Клуб Книговек, 2013. — 608 с.

ISBN 978-5-4224-0703-3 (т. 6)
ISBN 978-5-4224-0697-5

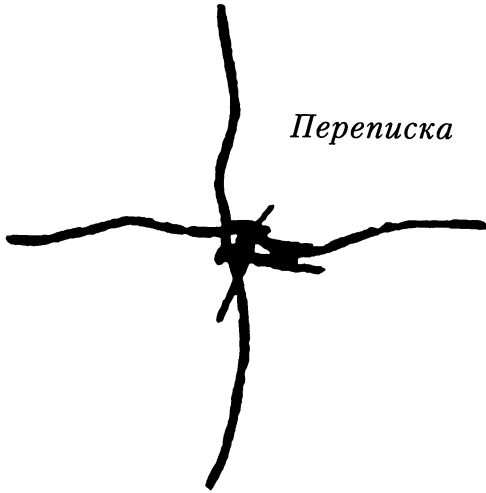
Шестой том собрания сочинений Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982) составила переписка автора с друзьями, бывшими сокамерниками-побратимами и многими выдающимися деятелями русской культуры XX века: Ахматовой, Пастернаком, Солженицыным, Лихачевым и другими. В ней отразились замыслы, идеи и чаяния писателя, его рассуждения, история творческого и личного пути.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0703-3 (т. 6)
ISBN 978-5-4224-0697-5

© В. Шаламов, наследники, 2013
© И. Сиротинская, наследники, 2013
© Книжный Клуб Книговек, 2013

Переписка



ПЕРЕПИСКА С Б. Л. ПАСТЕРНАКОМ

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Борис Леонидович.

Примите эти две книжки¹, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.

В. Шаламов

22.II—1952.

Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович.

Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.

Арбат 6-32-50

Б. Л. Пастернак — В. Т. Шаламову

9 июля, 1952 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать.

Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей

личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и в первую голову — мое.

И, для того чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живописи и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского, еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, напр. Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой и моей собственной ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдаемой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского² и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминаний, потому что, даже обладая даром Блока или Гёте и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотой времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не согласясь с ней, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности, ложно направленных толчков.

Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и, чего доб-

рого, еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.

Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей, мысли в жизни, о совершенствовании какого-то, Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти predeterminedного и в котором Вы считаете свое предназначение. Не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и сами по себе яйца выеденного не стоят, — это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.

В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду усложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.

1) Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи *не кажутся мне стихами*. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.

2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто, со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, катаясь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б ветки сбросить тяжесть, какая им не по плечам. — Огонь перелетает птицей, как ветром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер. — Пузатых парусов. — Гравюру мороза в окне! — Ползет как кошка по карнизу — Изодранная в кровь заря. — В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. — Но, разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала. — И ногти листовниц натерты изумрудом. Я мясом с птицами делился. — Деревьям ветви заплести³.

3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности? Или, может быть, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы, заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших частей, строф и страниц): Бродя в изорванных лаптях, Ты лыко ставила мне в строку. — Толлок речную воду в ступе, В уступах каменных толлок. — И зайцы в том краю не смели б показаться, куда-нибудь на юг, Гнала бы их, как зайцев. — Он фунта лиха знает цену. И за ценой не постоит. — Снег чувствует себя как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. — И он нас здесь интересует, как прошлогодний снег. — Вся белая от страха, Нитка чуть жива. — А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесцвечивает живую и ценную мысль.

в) Вот примеры, где по видимости такой же прием⁴, но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту и перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом и утром на холодке кусочек сухого неба размачиваем в

реке (очень хорошо). — Рукой отломим слезы, Такой уж тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — До свадьбы заживет. — И надоевшее таежное творенье, небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье и т. д.

4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может статься, Хотелось бы годок не зная радиостанций и автодорог. — Где юности твоей условие, Восторженные города, Что пьют подряд твоё здоровье, Всегда, всегда... — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала, И куражилась метель⁵.

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где... Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх, т. е. нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет). «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого» в «Космическом» все об Уране, «Ты, верно, снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодильник». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.

Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерил.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с природы (все равно с внешней или

внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого и не существующего. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесно высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззаконие, расшатывая свои собственные устои и расковылая враждебные им силы дилетантизма, все равно эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должна была подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинять дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть, уже недалеко, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно — своим и чужим), прикованный слишком колдовско, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

Ваш *Б. Пастернак*

P. S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здоровому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.

И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.

Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой, что потому так много и строго написал, что это большое, настоящее творчество, что это — «серьезный случай» в литературе (приписка рукой *Г. И. Гудзь*).

15 июля, 1952 г.

Глубокоуважаемая Галина Игнатьевна!

Эту записку пишу на случай, если при поездке своей в город не застану Вас дома ни звонком, ни посещением.

Прочтите внимательно, что я пишу Вашему мужу. Я не мог написать ему ничего другого, потому что не нашел возможным отмахнуться от такого достойного человека пустой уклончивой похвалой и ничего не значащей благодарственной отпиской, а счел своим долгом говорить с ним, как с самим собой.

Но не огорчит ли его это письмо? Если и Вам это кажется, не пересылайте письма, а перескажите сами, в Вашей собственной передаче, то из его содержания, что Вам покажется нужным и существенным. Мне кажется, оно не содержит ничего, что было бы неприятно Варламу Тихоновичу или могло огорчить его. Но, с другой стороны, то, что я прибавляю в конце письма о жене, совершенная правда.

Пробегите, пожалуйста, письмо тотчас же, как получите приложенную записку. В течение нескольких часов, что я пробуду в городе, я, может быть, дополнительно позвоню Вам, чтобы поговорить с Вами и узнать Ваш взгляд на этот счет.

Нужны ли Вам книжки Шаламова; или у Вас есть копии и они могут у меня остаться?

Всего лучшего

Ваш Б. Пастернак

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

24-ХП—52. Кюбюма.

Дорогой Борис Леонидович.

Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним 1¹/₂ тысячи километров в морозы свыше 50 °С, и только позавчера я вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и

больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всячеБ.П.ских скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, несделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным, письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.

Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорашен и подавлен строками «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.

Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше, — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало и только десятая, может быть, часть показана Вам.

Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.

Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель — чушь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, слушая который, перехватывает дыхание, топо-

танье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу. А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, не даром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится неважным, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, не достигнуто и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.

К тому же я верю давно в страшную силу искусства. Силу, не поддающуюся никаким измерениям, и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант⁶, где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.

И как бы ни была грандиозна сила другого поэта — она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной — это впервые сказано, я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И более того: я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет рано или поздно.

Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам — почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать — то, что составляет брать карандаш и бумагу, — сильнее меня. Притом, я смею надеяться, что все, написанное мной, — меньше всего литература.

Я пишу и не вижу конца тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков кроме указанных Вами, но все же написанное мною — стихи и общение с жизнью на этой дороге — оправдано.

Вы говорите много верного, но кое в чем я не могу согласиться с Вами. И прежде всего — о зачеркивании прошлого, Ваших прошлых работ. Этот мотив переполняет Ваши последние сборники, и, стало быть, я знал это и раньше Вашего письма. Не чересчур ли жестоко тут отречение? Я понимаю, что строгий мастер растет и живет, отрицая и уничтожая самого себя, но я помню, знаю и другое. Ведь я знаю людей, которые жили, выжили благодаря Вашим стихам, благодаря тому ощущению мира, которое сообщалось Вашими стихами — именно теми, которые преданы сейчас сожжению. Думали ли Вы об этом когда-нибудь? О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были Ваши слова, Ваши рисунки и мысли? Эти стихи читались как молитвы. Не в том дело, что «ученики» брошены. Стихи-то ведь живут и без Вас. К тому же это вовсе и не ученики. Но была же в стихах этих такая жизнь и сила, которая, повторяю, людей сохранила людьми.

Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, Вы не правы — ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей, оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноте, и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она — инструмент выбора, она — орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода — стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекал заранее часть невода. Добыча будет беднее, зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит, хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков.

Но, с другой стороны, составные рифмы казались мне инородным каким-то телом в стихе, фокусом. Глагольные рифмы тоже в отдельных случаях стих могут держать хорошо.

С письмом меня торопят — уезжает машина — здесь ведь все оказией. Потому простите меня за сбивчивость и торопливость.

Спасибо Вашей жене за теплый отзыв о моих записях. Она все же не права, ибо я ведь не ищу одобрений. Я знаю сам, что я — в воротах поэзии и как бы ни был труден этот решающий шаг — он будет сделан.

У меня немногое осталось. Когда-то было много планов и ощущение возможности кое-чего сделать, я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была.

Двадцатые годы я был в Москве юношей, и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской. Ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сельвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом, и на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации.

Впервые в Вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиций подлинной поэзии, осуждение по существу. «Во весь голос» в этом плане было только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации двадцатых годов, — Твардовский, Исаковский и Сурков. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом.

И вот тогда, в середине 20-х годов в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с Вашими стихами. Я не буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные Вами, как словесная игра. Они ощущаются Вами, в большинстве случаев, как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми — раз это понятно только для меня, — уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки. Чтоб стать книжкой, над каждой строкой надо еще много поработать. Я переписывал их для Вас подряд и уже потом понял, что многих не включил вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой, куда денешься. Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее, с каждым из них, потому что — разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство их — из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова на полюсе холода — письма жены, Ваше письмо и стихи. Ваши и цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»⁷ — заполненные отзывы, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы.

Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает,

сумею ли я победить в этой борьбе. Но мне кажется, я понял правду и душу поэзии, и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил.

Я благодарю Вас также за постскрипtum и за письмо моей жене. Кажется, большей нежности и деликатности не видел я в жизни. Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда как взыскательного художника. Берегите себя.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене.

Поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравии.

В. Шаламов

Б. Л. Пастернак — Г. И. Гудзь

27 февр., 1953, Болшево.

Дорогая Галина Игнатьевна.

Здесь мой адрес до 20-го марта следующий: Ст. Болшево, Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР «Сосновый бор», мне. Если будет что-нибудь от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись? Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно. Мне гораздо лучше, начал работать. Здесь очень нянчатся со всеми и, в частности, со мной, но тут довольно шумно и я плохо сплю. От души Вам всего лучшего.

Ваш Б. П.

Б. Л. Пастернак — Г. И. Гудзь

7 марта, 1953 г.

Дорогая Галина Игнатьевна!

Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его определение так пронизательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безогово-

рочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.

С тех пор все переменялось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном — хотя какую-нибудь часть того мира, хотя самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этой темой тепловое, цветное, органическое восприятие жизни).

Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.

И, знаете, изложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради скоро могут понадобиться.

Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ., на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкой лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в «Капитанской дочке».

Нынешнее трагическое событие⁸ застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.

Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Вален. Павл. Малеевой и ее мужу.

Ваш Б. П.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Томтор, 18 марта, 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович. Горячо благодарю Вас за сердечный интерес к моим скромным работам. И еще

раз — за Ваше теплое письмо. Я отвечал на него второпях, стремясь поскорее известить Вас о получении письма. Стихи наступают на меня отовсюду, и не хватает времени, чтобы записать их, отделаться от всего, что кричит и шепчет вокруг меня. Еще года три назад мне было страшно — вдруг весь этот напор иссякнет, оборвется. Но я уже пережил состояние, когда боишься, ложась спать, что завтра проснешься и не сможешь написать ни строчки. Сейчас я этого не боюсь. Жена покажет Вам кое-что рядовое из тех почти двухсот новых стихотворений, которые написаны вчерне за последний год. Не откажите прочесть и ответить.

В прошлом письме я пытался рассказать, почему я стал писать стихи. Если это вообще можно объяснить. Нынче я хотел бы о другом. Много говорилось справедливых слов о том, что искусство нельзя создавать искусственно и торных путей не любит оно. Только говорилось это очень равнодушно. Что дорога подлинного стиха — не прямая и не торная, — это верно, и в трудных поисках истинных путей одни в бессилии бросают перья, а другие забывают, что такое искусство. (Только гений не разбирает, что такое торная и что такое не торная дорога.)

Мне кажется — одна из ошибок современной поэзии в том, что утеряно понимание главного, что поэзия должна говорить не людям, а человеку (Шекспир сейчас людям ничего не скажет, кроме как в плане историко-литературном, а человеку он вечно будет говорить очень много). Единение людей в стихах — это единство суждений обращенных поодиночке. Хорошее стихотворение, хороший поэт тот, который встречается с читателем один на один. Хорошее — это то, что читается при лампе и кладется на ночь под подушку.

Нет нужды говорить о том, что это достигается новизной, особенным видением мира. Подчас стихотворение — это палка слепого, которой он ощупывает мир. Общение поэта с читателем в стихотворении это вроде детской игры, когда ищешь спрятанное, а поэт приговаривает: «Тепло. Теплее. Холодно. Горячо!» Не новизна темы делает стихи, а новизна названия, ощущения. Пока будет существовать мир — предметов, ждущих своего имени, будет бесконечно много. В пыли под ногами предметов стиха хватит на жизнь любого. Природа и четыре времени года имеют огромный, бесконечный запас средств, с помощью которых осуществляется общение людей друг с другом в поэзии.

Все это имеет безусловную и вечно плодородную этическую почву. Корень поэзии — в этике, и мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе: настоящие, большие стихи могут написать только хорошие люди. Когда-то я читал вслух вечерами после трудового дня людям самых разнообразных знаний и профессий, людям, сошедшим с разных ступеней общественной лестницы, читал классиков и все то, что казалось мне в литературе хорошим. Читал, я помню, Толстого, Тургенева, Чехова, Шекспира, Достоевского, Гюго. Читал и другое, и я удивлялся вначале, что какие-нибудь патентованные изустные романы — вечный спутник таежной жизни — вроде «Князя Вяземского», отступали, вызывали гораздо меньший интерес и волнение, чем, напр., Достоевский и не с его «Записками» — это было бы понятней, а, скажем, с такой вещью, как «Село Степанчиково», и, думая об этих чтениях тогда же, — видел, что большое искусство действует на всех в одном и том же направлении, может быть, с неодинаковой силой понимания и чувствования, но в направлении одном и том же и с теми же самыми границами. И даже склонен я был считать эту всеобщность действия признаком, примером настоящего искусства. Мне не удалось проделать такие же опыты с живописью и музыкой, хотя бы, вероятно, получилось бы вроде того же. А вот со стихами было иначе. И все равно — Пушкин или Лермонтов, Анненский или Некрасов. А Блок совсем не вызывал отклика ни у кого. Этим для меня утвердилась еще одна особенность поэтического творчества — высшей ступени художественного слова. Вам это знакомо, конечно.

За что же пьют? За четырех хозяек,
За цвет их глаз, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик,
И полубогом сделался поэт⁹.

Не в ясности ли тут дело? Или просто в той веревочке, на которой не хотел ходить Щедрин, гордившийся тем редким обстоятельством, что он — беллетрист не написал в жизни ни одной рифмованной строки. (Кстати, именно он наименее чувствует слово русской литературы.) Мне думается — ни в том и ни в другом. Яснее Пушкина, казалось бы, что может быть? Мне думается,

что и ясность может быть не всегда, ибо мысль сложнее слова, а чувство сложнее мысли. И что такое недомолвка, обмолвка, намек? Тот скачок, который пытается сделать поэт от чувств к слову и приводит всегда к некоторому косноязычию поэзии.

Борис Леонидович, наверное, я тут понаписал такого, что Вам давно знакомо и надоело.

Никогда еще по таким вопросам — ненужным, кажется, но в высшей степени мучительным — не приходилось мне писать.

Будьте здоровы, здоровы, самое главное. Берегите себя. Я счастлив и рад до глубины души, что имею возможность писать человеку, стихи которого были душевными вехами в моем скромном пути. Не каждому выпадает такое счастье. Передайте мой горячий привет Вашей жене. Спасибо Вам за Ваше отношение ко мне.

Уважающий Вас, *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Томтор, 28 марта, 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Наши расстояния, измеряемые днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-оленье-собачье-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолеваются сюрпризно легко. Если первое Ваше письмо я получил через полгода после написания, то письмо жене попало в мои руки всего через 18 дней.

Мне очень совестно отнимать у Вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил Вам, не верил, что Ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами (лишь косвенно связанными со стихами), как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качества высочайшей человечности, давно мною ощущенные из Ваших стихов.

Вера в искренность, в критичность Вашего мнения, и вместе с тем вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий.

Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное,

написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать.

Я плохо знаком, почти незнаком с литературной терминологией и зачастую сам для себя придумываю определения и без них потом не могу обойтись. Перед Вами заранее прошу прощения, если определение не представит для Вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом — просто, верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой о Ваших работах мне не очень понравилась. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить (в деталях) поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец может и завидовать, и поучиться, и понять «секреты» другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной, — по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками, намеками, догадками, подчас несвязно выраженными, но, угаданное, оно понятно художнику и им объяснено.

В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко. Но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой¹⁰, восхищении ее стихами (я, правда, кроме «Верст» знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений) — эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим, упущена или обойдена весьма характерная общность Вас и М. — ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку («Возьмем винтовки новые» — нельзя считать за песню) или объяснения не найдено. А объяснение этому есть (в природе дарования), почему Ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов, — не «музыкальны»? Штука в том, что их музыка — она есть, но она сложнее песенной музыки (кроме других качеств, затрудняющих переход в песню). Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора — но дать ему слова для романса или песни — это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами?

Потому, что Ваши стихи — это дневник человека.
Все, все так:

Опять Шопен не ищет выгод
Но, окрыляясь на лету,
Он сам прокладывает, выход
Из вероятья в правоту¹¹.

Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла

и т. д. и т. п.

Я убежден, что Вы не вели и не ведете дневника.
Стихи — Ваши книги — дневник Ваш.

Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Виллонов¹² — нет. Тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом. Ярлыков можно давать каких угодно — это так, тем не менее.

Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия, — это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности — говорит человеку, а не людям, убеждает «глаз на глаз». Картины природы пишутся затем, что поэт думает, что, ощутив пейзаж так же, как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати (назад на 20 лет), куда делся конец «Весной бездонною» («о том ведь и веков рассказ» и т. д.)¹³? В однотомнике уже этого конца не было. И сам однотомник, будто сейчас держу его в руках, — изданный, как раскольниковый «Часослов» с заставками, шрифтом, черной и красной краской, — оформление этой книги, качество оформления никем как-то не было даже замечено, а намеренность и существенность его — очевидны.

О творческом процессе. Поэта преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобящим и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения.

И, едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает, поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки — а ощущение совершенно ясное, определенное и может быть проверено, возвращено повторением записанного.

Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я Вам уже писал. Попутно, одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может и в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово.

Большие поэты — Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак — делают это почти неощутимо и, наверное, не нарочито, доверяясь только уху.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит.

Или

Люблю тебя, Петра создание,
Люблю твой строгий, четкий вид,
Невы стенанья и рыдания,
Ее удары о гранит.

— стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему, а если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. «Петра творенье» по звуку превосходит, а создание — точнее по смыслу. «Невы удары о гранит» лучше по смыслу, чем «береговой ее гранит» и т. д. и т. п. Примеры бесчисленны.

Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения — в этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок» Флобера — другой Аполлон, хотя и первый, поэтический Аполлон — тоже бог помарок.

Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущение, уже ушедшее в стихи.

Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах (в небольшом стихотворении), какая

строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом.

Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме (ощущение сообщило уже ему интонацию), другим ритмом изложен быть не может, — он теряет силу, теряет «что-то» — то самое, что называется поэзией. А тема, сюжет, и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, утвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим это никогда не будет. Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк — разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам — Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, и стихи вспоминаются, перечитываются (если есть под рукой книга), и ощущение уже разряжено и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах — оно ищет своих слов и требует записи на бумагу. Писалось когда-то много о Ваших «приемах». Разные Тарасенковы¹⁴ проделывали формальные анализы, копались в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. (Между прочим, занятно, что эти «работы» в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов — те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг — а совсем из другого литературного лагеря.)

Мне думается, что никакой «техники», никаких «приемов» у Вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое «техника» — так не понимает этого ни Вы, ни любой большой художник.

Искусство — дерзость глазомера,
Волненье, сила и захват¹⁵

— тут нет ничего от «техники».

Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, в острой душевной тревоге и в душевной честности. Попробуйте, напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать Вы не можете, и лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фаль-

ши, лжи, кривизны души, — все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве, и оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с Вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уж не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева — горожанка, которая и природы-то никакой не видела, а только читала о ней. «Тютчевская гроза», «Пастернаковский орешник» — так хвалят таких поэтов — недорогоя похвала.

Разве в «Цицероне» или в «Край ты наш многострадальный»¹⁶ — пейзажи? Разве главное в «Silentium» — картины природы? Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и Вы будете Пастернаком и без Урала.

Говорят, у Вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука (а где юмор у Блока?) и Ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно скрыта. Нет, Вы и романтическую иронию не жалуете (Вы и Гейне никогда не переводили). Вы просто настоящий живой хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал эпитрахиль, когда садился писать «Столп и утверждающие истины»¹⁷. И я этому верю. И отношусь к этому с величайшим уважением. Письмо никак не придет к концу. О «Лейтенанте Шмидте» — тут Цветаева очень не права¹⁸. И здесь такая же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство — жизни.

О многом мне хотелось бы спросить у Вас: об Иннокентии Анненском. О всей этой линии русской поэзии. Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак в отличие от Пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое «понятность» и «непонятность» стихов, о внутренней связи «Высокой болезни» и «Гефсиманского сада», о Вашей переводческой работе. О «Фаусте», который Вы так любезно обещали дать прочесть моей жене. И о многом, многом другом.

Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если Вас заинтересуют они.

Желаю Вам здоровья, здоровья и творческих сил.

И душевного мира.

Привет Вашей жене.

Глубоко уважающий Вас В. Шаламов.

25 мая, 1953 г., Томтор.

Дорогой Борис Леонидович.

Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а Ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывает Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно, — то, чему я не находил ранее выхода и ответа.

Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное — Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и, может быть, наивным — но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правительность моих догадок.

За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваше здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами. И все-таки пишу.

Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя.

Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал разворачивать перед Вами в прошлых письмах. Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием, даже такое, казалось бы, универсального значения слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлин-

ная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает, как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.

Именно эти находки — теоремы и формулы — делают гениев, и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира. Есть другая поэзия — оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.

Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов.

Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) его читают? Почему «Ромео и Джульетта», даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же ходят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в художественных галереях.

Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? (Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если Вы разрешите писать Вам — письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях, — это грустная шутка художника.)

Потому, что мир меняется невероятно медленно и, может быть, в основе своей не меняется вовсе.

И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Моны Лизы вечно, а ее глаза, лицо) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий.

Может быть, только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ро-

мео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю Вахтанговскую, т. е. Театра им. Вахтангова, акимовскую интерпретацию «Гамлета»¹⁹. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.

Я могу привести Вам много, много таких примеров, вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что Художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в 2 недели, погибнет в два спектакля.

«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века.

Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.

Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговеем перед ней.

Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее? Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы. Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь вся. И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя жена. Эти семь-восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылал в письмах, но почта работает плохо, и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения

повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.

Привет Вашей жене.

Еще раз — желаю Вам счастья, здоровья и творчества.

В. Шаламов.

Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову

18 дек., 1953 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи, то вот они, их мне переписали. Я не проверяю их, только в одном месте заменил одно слово.

От души всего Вам лучшего. Ничего Вам не пишу, т. к. к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи.

Ваш *Б. П.*

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Озерки. 20 декабря, 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Я прочел Ваш роман. Я не знаю, как мне писать. То, что пишется — это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких и смелых мечтах последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш не напечатанный, не оконченный роман, да еще полученный в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад затерянный в зиме, равнодушной ко всему, что ее окружает, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди полулюдей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.

Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите мою немоту. Ведь даже от встречи с городом после долгой разлуки можно плакать

на подъезде вокзала. А тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слышанным или читанным — по аналогии. И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение (а меня для нее — первое). Я ведь оставил ее полуторогодовалым ребенком, а сейчас ей 18 лет и она студентка 2-го курса. И, наконец, в эти же два дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо рассказывать и писать отдельно. Не правда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека?

Простите меня, что я пишу не о романе. Это ведь тоже, впрочем, о романе — это состояние, созданное чтением, это фразы, подсказанные Вашими героями — так что это, пожалуй, к месту.

Видите ли, Борис Леонидович, я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то восхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад (т. е. с год назад, если считать эти 17 лет не моей жизнью) печатал — рассказы плохие.

Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадемуазель Фифи», для чего там крупный и густой руанский дождь и т. д., а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя. Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствованных впечатлений, как будто слова, спасаясь от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, вырываются в давке и выбегают на бумагу.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто, тревожащее Вас, требует выхода на бумагу, требует записи, и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, это в сущности своей то же самое, что стихи. Сильны идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов — слишком много, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить, вольно или невольно. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная со-

держательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений.

Я давно уж не читал на русском языке что-либо русского, соответствующего литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними, или их дополнить — я говорю с его героями, как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до «архитектуры» романа? Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как читатель — лицом к лицу с писательскими мыслями и чувствами — без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему нет мне дела — роман ли «Доктор Живаго» или «Картины полувекового обихода» или еще что. Там очень много такого, высказанного Ларой, Веденяпиным, самим Живаго, о чем мне хочется думать, и все это живет во мне отдельно от романа, окруженное душевной тревогой, поднятой этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, да — Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет *думающих* героев? Мне кажется, это потому, что нет *думающих* авторов. Это в лучшем случае. В каверинском романе «Доктор Власенкова» также нет *думающих* героев. И это страшно. К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью.

Когда-то на Севере в удивительнейшим образом возникавших литературных разговорах — в моргах, в перевязочных, в уборных — спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет. Ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот Вы знаете, он с сильным налетом Достоевщины (в хорошем смысле), талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что

языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, лаконичный, экономный и компактный. И что все к этому идет — романы пишутся рыхлые, их никто не может прочитать, кроме кормящихся возле этих романов критиков. Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный «бейсик инглиш», устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разодран изголодавшейся на казенных романах критикой в куски, но все разорванные части, как в русской сказке, срastутся и роман будет снова жить.

Мне думается, «Доктор Живаго» и есть такой роман. Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее или это — факел, озаряющий лучшее из прошедшего.

По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», уже есть такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статей о родине — вовсе не русский писатель. Проблемность — вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» и «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета; но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения, — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?

Но уж лучше я буду по порядку, от страницы к странице, а то я так никогда не начну и не кончу.

Великолепен рыдающий малыш на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование. Сейчас отвыкли от такой прозы, — весомой, требующей внимания и силы — это я не о сцене с мальчиком, а обо всем романе.

Никем вслух не утверждается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, может быть, лучшими умами человечества и наверняка уже гениальнейшими художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью, выработан апостолами Христа и позднее такими писателями, как Иоанн Златоуст, умевшими управлять всеми тайнами человеческой души — тысячелетиями. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб, богослу-

жений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие, росла из него, на него опиралась.

Толстой понимал хорошо универсализм Христа, стремясь со своей силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер? И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства? И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.

А как же быть мне, выдавшему богослужения на чистом снегу без риз и епитрахилей, на память, среди пятисотлетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими с ветвей на таежное богослужение?

Об истории, как установлению вековых работ по последовательной разгадке смерти, — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образцом писателя как такового, более совершенным, чем мог бы быть им Толстой, хотя и не таким великим, как Толстой, не таким всеобъемлющим.

Стр. 13. Голос умершей матери, слышимый мальчиком в голосах птиц и пчел, — это просто чудесно — весь этот кусок.

«Все движения на свете в отдельности были рассчитанно трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни» и т. д. — это хорошо и верно.

Мальчик, приказывающий деревьям «Замри» — это очень верно. Правильно и то, что деревья, вероятно, замирают, как у Ники. Я в детстве пережил это желание. Только я боялся приказывать: думаю, прикажу и, если природа послушается, — сойду с ума.

Самоубийца в «пятичасовом скором» — компонент очень важный, предваряющий роль Комаровского в Лариной жизни, бытовой штрих и символ.

Превосходна сцена с кувшинками, живущая отдельно от романа. Так кончается детство и начинается

юность. Прекрасно рассказано. Жаль только, что и Ника и Надя почти не вернутся в роман.

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет? Нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман встала подлинная героиня первой половины картин во всем своем пастернаковском обаянии, выросшая девочка из «Детства Люверс», чистая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, — Лара Гишар.

Очень Вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь никаких Комаровских не очернит и не запачкает. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться.

Имя Вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Для меня оно звучит особенно, и не только потому, что я очень люблю «Бесприданницу» — героиню этой удивительной пьесы, необычной для Островского. А еще и потому, что это имя женщины, в которую я романтически, издали, видел раз два в жизни на улице, не будучи знакомым, был влюблен в юности моей, сотни раз перечитывал книги, которые она написала, и все, что писалось о ней. И видел, как ее в гробу выносили из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер²⁰ я не имел сил идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее превосходными книгами, начисто изъятыми давно из библиотек, не ее биографией, блестящей и стремительной — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне противу всяких естественных законов.

Вы-то знали ее. Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней, в ее портрете. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения чистоты и нежности. И даже в воспоминании о мерзком она «шагает словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила».

Брак ее с Павлом правдив, но грустен этот союз. Прекрасна Лариса, идущая по лесу.

Лара идет за днями к Комаровскому. Здесь чуть-чуть не мелькнула тень Эммы Бовари. Но я возвращаюсь к порядку замечаний — по страницам, и похвалы Ларе — лучшему, по-моему, образу в романе, мне придется еще повторять много раз.

Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям.

Психологически правилен Тиверзин, дающий гудок к забастовке, подстегнутый личной обидой и собственной взвинченностью и верящий после многих лет, что это именно он открыл и начал забастовку, хотя все это иронически освещает социал-командира.

Митинг, как отдых уставших от хождения по улицам участников демонстрации, которые, отдохнув, выходят, недослушав оратора, — это, пожалуй, справедливо изображено, равно как и уличная каша, стихийность, слепость демонстрации. С этим потрясающим вечерним солнцем, тычущим пальцами в красные флаги. Кстати: однажды в жизни я был в рядах разгоняемой лошадьми демонстрации. Тревожно сжимается сердце, тающие ряды впереди, внезапно возникающий резкий запах лошадиного пота — вот все, что осталось в памяти.

Неистовство чистоты (54) — это тоже очень хорошо.

Мне так много нравится мест в книге, что трудно назвать лучшее. Пожалуй, все же это кусок из дневника Веденяпина — о Риме и Христе. Я переписал себе этот чудесный кусок и его выучу. И вот еще что к этому: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется до боли, что, если это пойдет так дальше — будет третье пришествие и начнется история нового, второго христианства. В самом христианстве все дело в пришествии, в явлении Бога в быт.

Беспощадно и сильно к мыслям о Христе подставлена страничка о Комаровском (60).

Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно. Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся — никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотеть понимать такое, стремиться к пониманию этого.

Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д. Ж.» — это *спокойствие* повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты и далеко от того и другого. При обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс». Крик можно скрыть в иронию. Но Вы не пользуетесь иронией.

«Когда человека одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Илиады». Это и так, и не так. В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин, и то истин до завтрашнего дня.

И Гёте, зная косность современности (а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад, и так же действует на детей), вернулся к старинной сказке, чтобы с помощью ее атрибутов провозгласить то, что душе людей было ближе поэтически, чем если бы было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства, и к тому же наука — не проповедь, искусство — проповедь.

62 стр. Комаровский должен вспоминать Лару не так поэтично; не грубо, конечно, но и не так. А может быть, именно так и надо, ибо чистота и красота могут разбудить душу даже Комаровского.

64, 65, 66. — Все это правдиво — так это и есть.

67. Лара в церкви. Демина, мне кажется, тут напрасно, и об этом жалеет и сама Лара. В ее душевном состоянии она могла пойти в церковь лишь одна. Одиночество может быть нарушено потом, если это почему-либо надо.

68. «Завидная участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение». — Очень хорошо, только для этого надо остаться живым, чтобы тебя не до смерти растоптали.

73. Нарочитое небрежение к топографии: «дом стоял на углу Сивцева-Вражка и другого переулка» — правильно для такого романа.

88. В морге I МГУ я когда-то был с целью пополнения «общеобразовательных» знаний. Конечно, у Вас здорово описан морг, но, мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда (и живое, и мертвое) и при делении также. И не только при делении. Ампутированная нога, например, безобразна и страшна. Сладковатый, совершенно специфический запах морга Вы как-то упустили.

Мне кажется, только дикая природа красива и красота ее делима. Камень, который куда ни брось, находит себе быстро место, вправляется в пейзаж. У деревьев, у диких животных нет уродов. Уродства природы только в ее соприкосновении с человеком.

Трупы в мертвецкой, как скульптура, как актеры пантомимы, разыгрывающие последний акт великого

спектакля. Может быть, потому и называется «Анатомический театр»?

89—92. Беседа Живаго — наследника мыслей Веденяпина — преемственность от XIX века — великого века Человечества. Физическое воскресение людей. Именно такого-то воскресения, кажется, и испугался когда-то Мальтус. «Вы уже воскресли, когда родились. Не глядите внутрь себя. Сознание — яд. Человек в других людях. Это и есть душа человека». Ну, я с этой докторской концепцией не согласен. Я видел хороших людей, которые были обижены и отвергнуты другими людьми, и в этих других людях ничего не осталось от тех, у которых была душа. Но разговор об этом уведет нас в дебри. А что роман трогает эти вопросы — это хорошо.

95. Евграф — что это такое? Зачем он? Нужен ли он композиционно?

106. Лед и холод улицы, и идущая Лара — превосходно. Тот же снег и лед у Юры.

Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский душистый платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых дел, которые в ином разрешении (смотри вальс в начале романа) приводят к выстрелу, и выстрел раздается.

114—118. Тоня. Обыкновенная женщина Тоня. Тоня, которой очень шел траур, достойная дочь Анны Ивановны с ее «Аскольдовой могилой»²¹.

Много похвал заслуживает лес — жизнь, в котором заблудился мальчик Юра. Теперь Юра вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо «все вещи были словами его словаря».

122. Пошлые разговоры на похоронах — правдивая, но много раз бывшая в литературе сцена. Но «Мамочка», — прошептал он почти губами тех лет» — прелесть.

«Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь, то искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает», — как это чудесно верно. И как это мало понятно. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни.

143. Страницы с описанием родов Тони — хороши, не хуже описания родов Кити. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке.

Смелый образ разрушенной баржи, высадившей в мир душу, — очень хорошо.

Свадебная ночь Паши, с тоской света, конец части со стиранным бельем за могиле матери Юры. Несчастливая Лара в этом «правдивом» браке с Антоновым, которого она гораздо сложнее, больше. Непонимание ею Паши тоже от ее высоты.

Прекрасны огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет. И, вообще, все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находятся новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вельяминовых²². Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов.

Хорошо и это: «фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку».

169. О царе и народе — тоже очень хорошо.

171—172. Конечно, верно, что христианство было предложением жизни Человеку, а не обществу. И еще раз с силой поставлен вопрос о еврействе — в котором ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого.

Часть V-я. Жена моя, которая читала роман гораздо раньше меня, писала мне: «Знаешь, люди романа очень живые — о них думаешь на службе, в трамвае». Люди живые и Лара, и Устинья, и даже Тиверзин. Вам, конечно, скажут, что драчун Тиверзин не годится в социалкомандиры, скажут, что отдых — митинг во время демонстрации и Мелюзеевское хождение на митинги, как на посиделки — все это «принижение...» Но это ведь так и было. Это масса. И только ведь много лет после всему этому назад выдумана окраска порядка, придумана единая воля, якобы управлявшая событиями и людьми.

Сцена у комиссара Гинца — описание какой-то станковой картины на сюжеты Гражданской войны и революции, картины, которых есть великое множество. Как каталожная аннотация. Это — намеренно, наверное?

К стр. 13. От бездарно возвышенного словоупотребления хочется только одиночества, хочется встречи с природой и ничего больше не хочется.

К стр. 21. «Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Эта формула верная и точная.

Очень хорошо также об открывающемся богатстве личности. Так возникают народные вожди, так возникают Зыбушинские республики. Жизнь людей ярчеет.

Очень хорошо о второй революции — личной. И только Лариса своей внутренней жизнью богаче док-

тора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это роман о Ларисе.

Великолепна сцена с утюгами, одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его чувства, вырвавшегося объяснения с Ларисой. И очень хороши черты удалявшейся грозы.

Какую массу лиц природы увидели Вы, Борис Леонидович. Какое богатство в стихах, в прозе.

Прелестна, удивительна концовка главы с уверенностью в возвращении Ларисы, прелестен след — водяной знак женщины. Эта концовка — одно из лучших мест книги.

46 стр. Потрясающее явление глухонемого. Я этого глухонемого жду давно, но был ошеломлен таким разрешением задачи. И селезень, завернутый в печатное звание, птица, которая еще послужит для Тони, для Москвы.

«Тема искусства — это возвращение к себе». Это опять-таки удивительно верно.

55 стр. Живаго: «Я хочу сказать, что в жизни состоятельных была бездна лишнего. Лишняя мебель в доме, лишние тонкости чувств...» Парадоксы этого рода найдут опору в моих наблюдениях за людьми, которые на скверном северном пайке живут годами, выполняя тяжелую физическую работу, а при легкой даже благоденствуют — сколько же они ели лишнего в своей прошлой жизни? И т. д. и т. д.

Очень верно о семье, о мире в семье, о долге взрослого мужчины.

Превосходна гроза, которую проговорили, не видя и не слыша, на вечеринке. Еще лучше будет дальше водопад — лучше и важнее.

71 стр. — Очень важная для автора, но согласиться с ней я не могу, ибо того, что кажется захмелевшему Живаго — нет, а все гораздо проще, серьезней и кровавей.

Хорошо о торопливости высказывания любви, о материи, превратившейся в понятие, о романтических декретах горожан.

Чуть не каждая фраза романа — значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует резко и немедленно определить отно-

шение к себе или в виде покорного удивления, или раздраженного спора.

73 стр. «Пигмей перед огромным будущим». Жертвенность и рядом с ней «игра в людей».

Кленовые листья-птицы — замечательно.

Н. Н. Веденяпин, много вложивший в приближение этого будущего, в Москве кажется каким-то приезжим, который может в любой момент ускользнуть в свои Альпы, на свои знакомые высоты.

Меня отец выводил на улицу в феврале, чтобы навсегда задел меня тяжелый след истории. В ноябре он меня никуда не водил.

Доктор Живаго устал от трехдневных разговоров со своим учителем Веденяпиным и другом Гордоном. Их время прошло. Время было — не время слов. Поэтому метель, телеграмма, мальчик в дожде, революция и бревно-топливо; малое, перед которым, в какие-то моменты жизни, отступает все большое — очень верно.

Снег, превращающийся в бурю, в метель вместе с ходом событий и смятением в душе Живаго. Это сходство, единство жизни природы и человека не только не скрывается, но заявляется прямо.

«Великое, являющееся неуместно и несвоевременно».

Мне кажется, дом представляется огромным оттого, что стоишь вблизи его, у его подошвы. Это — впечатление, вызванное ракурсом. Нигде нет больше оптических обманов, как в учреждениях общества.

83. Шкаф, выменянный за дрова, хотя можно было бы топить шкафом, но для этого надо иметь душу ученого, а не поэта.

104—105 стр. (Гл. 15). Темы стихов цикла «Гефсиманского сада» и решение: «Надо воскреснуть». Ах, как все это не просто, Борис Леонидович, и как хочется писать Вам отдельно по каждому из сотни важнейших вопросов, поставленных в этом романе, обсудить, продумать предложенные решения их.

Глава VII. Смятение продолжается. Пойманный год назад Притульев, мальчик Вася, всаженный под конвой родственниками, и деревня, деревня, которая в революции пыталась увидеть возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, лишь по необходимости верящей городу и мечтающей о собственной изысканной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это не раскула-

чивание. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае и т. д. миссионеров новейшей формации — миссионеров-врачей, миссионеров-инженеров, миссионеров-агрономов.

Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа. (Паразителен водопад, заглушающий ночное гремяхание и галдеж людей.)

Я все поддакиваю и хватился сейчас: не обманываю ли сам себя, не заставил ли *роман* меня думать, что я все это чувствовал раньше, что данное ощущение явилось только что, сказанное чужими словами? Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не таким полным и глубоким, не так ярко и законченно высказанным.

Прекрасно место о березовых почках, о новой жизни, неловко возникающей, неловко входящей в старую жизнь.

48 стр. Верное замечание о прямолинейности декретов лишь в момент создания их.

Доктор, подслушивающий мир. Он так хочет услышать что-то такое, что разъяснило бы ему жизнь. Потеряв надежду найти эти разъяснения у людей, он, когда остался один, протягивает руки к природе.

58 стр. Сцена с гимназистом, важная для характеристики Стрельникова, беспартийного фанатика революции, а главное, для философского каламбура о том, что «дело не в верности формам, а в освобождении от них». Этим замечанием мы вновь возвращаемся к понятию силы романа. Форма всегда нарочита и в душевных делах не должна быть видна.

62 стр. Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, а мятое — глаженным. Очень важно показано и подчеркнуто (чтоб читатель не забыл, не прошел мимо), что Галиулин, командующий *белыми* частями более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир *красных* частей. Интересны и верны замечания о беспринципности сердца, о даре нечаянности. Высший принцип морали это, вероятно, и есть эта беспринципность сердца.

Россия. Половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.

Теперь о том, что мучает меня, что так дисгармонично книге, что почему-то существует наряду с важней-

шими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, покоренной и подчиненной настроениям героев, с единством нравственного и физического мира, блестящим образом достигнутого, осуществленного многократно в романе. О явлении грубом, резко кричащем, выпадающем из всего музыкального ключа романа. Я говорю о языке простого народа в Вашем романе. Именно о языке, а не о психологической оправданности поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно, рабочий ли это, крестьянин ли, или городская прислуга, Ваш народный язык — это лубок, не больше. Кроме того, у Вас он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения.

Я знаю этот язык и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонационно за счет пересыпания речи матерной бранью, ну, а без нее язык не включает в себя никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных широко известных, больше отцовских примеров. Язык городской прислуги боек и в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок.

Чего стоит монолог Маркела из 3-й части с платейными антимониями, дамский блезир? Да и все, все — женщины и мужчины из народа говорят одинаково лубочно и не так, как в жизни.

Если Анна Ивановна с ее «Аскольдовой могилой» очень хороша, то все, что относится к народной речи, — не хорошо.

Роман во многом замечателен. Но в чем он поистине уникален для всей русской литературы — это в том самом качестве, которым дышит и «Детство Люверс», и несравненные Ваши стихи — в необычайной тонкости изображения природы, и не просто изображения природы, а того единства — простите, что я повторяюсь, — нравственного и физического мира, неповторимого умения связать то и другое в одно, и не связать, а срастить так, что природа живет вместе и в тон душевным движениям героев.

Тонкость тут необходима затем, что ведь нет у Вас самодовлеющих описаний природы, вмонтированных куда-то более или менее подходяще. Нет, жизнь героев, сюжет романа развивается вместе с природой, и приро-

да — сама часть сюжета. Я не очень правильно пользуюсь терминологией, но Вы меня поймете.

Я начну выписывать — не все, конечно, а то это значило бы переписывать добрую треть романа. Начну с муаровой капусты, с воздуха, дымящегося снегом, со стай воробьев, равномерно вылетающих из кустов и шумящих, как шумит вода.

Стебли хвоща, как посохи с египетским орнаментом. Солнце, по-вечернему застенчиво освещающее происходящее на насыпи.

Сухой морозный день со снежинками (46 стр.). Вечер был сух, как рисунок углем.

Всему вторящий, настороженный горный воздух. Крыша, перестукивающаяся с крышей, как весной. Выточенные, круглые звуки в морозное утро.

Совершенно и исключительно *горящая свеча, подглядывающая за городом* в протаявший лед в окне. Иней, бородатый, как плесень. Небо в спиртовом пламени горящих ярко звезд. Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп.

Пахло всеми цветами сразу, как будто земля днем лежала без памяти и теперь этими запахами приходила в сознание. Все кругом бродило, росло и т. д.

Удаляющаяся гроза. Гуси, белеющие под черным грозовым небом. Густая, как ночь, листва, мелко усыпанная восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Буря при отъезде Живаго. Запах лип, опережающий поезд. Тень березовых ветвей, как женская шаль. Совершенная картина половодья, предваренного скрытой работой весны под снегом.

Все это, удесятеренное при желании, настолько замечательно, настолько связано и безукоризненно, что просто не понимаешь, как такое и столько может видеть человек.

Не знаю, как будет роман встречен официальной критикой. Да и не в этом дело. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман этот надолго, надолго будет большим событием. Здесь с силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь (и во многом исчерпывающе) сказано то, о чем человек не может не думать. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои на-

шего страшного времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе. Здесь набросана предчувствованная Гоголем картина «мира в дороге», российского половодья времен Гражданской войны, мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Весомый язык, «где каждая фраза сдвигает какие-то тяжести в мозгу, открывает какие-то новые двери, мимо которых мы проходили раньше, даже не зная, что это — двери, и притом запертые двери».

Это — попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам, к ее генеральным идеям.

Это — ответ на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас, и за границей, вопросы, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.

Ваше посещение больного Пришвина²³ — чудесно. И так это и должно быть. Он хотел Вас видеть, он звал Вас, далекого в быту от него человека. Апостольское, святительское есть в жизни каждого большого поэта, и это ведь чувствуют люди, общающиеся с Вами, читающие Ваши стихи, и я считаю своим счастьем, что могу знать Вас, слушать Вас.

Еще несколько замечаний. Не сердитесь на меня за сумбурность письма.

Надя Кологривова, сверкнувшая так перед нами в сцене с кувшинками, теряется вовсе. Теряется Гордон, который по развязке мог быть одним из главных действующих лиц. Теряется Ника Дудоров. С обоими, Гордоном и Дудоровым, Вы разделались буквально одной фразой.

Очень хорошо и сильно, что Веденяпин — раструженный священник. Эти люди волновались сильно, думали самоотверженно и глубоко, а только большая страсть делает большого человека. Не ум, не воля.

Слабые места романа — забастовка, сцена в домкоме, рынок, ссора Тягуновой и Огрызковой.

Живее всего фигуры первого плана: Лара, Тоня, сам Живаго.

Роман не кончен. Зачем все же Евграф? Для выздоровления, как призрак Смерти? И не кажется ли Вам, что сумма страданий отдельных людей почему-то называется счастьем государства, общества? И чем эти страдания больше, тем счастье государства — больше?

Вот и все — неуклюже и наспех, но надо же когда-нибудь кончить. Я благодарю Вас, Борис Леонидович, за этот роман, за то большое, что идет с его чтением.

Ваш *Шаламов*.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Озерки, 27 декабря, 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Горячо благодарю Вас за присланные стихи, за Ваше отношение ко мне, право, мной вовсе не заслуженное. Как раз эти стихи мне дороги по-особенному.

Письмо Ваше дошло до Озерков лишь вчера, 26 декабря.

Сердечно поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Хочу, чтобы Ваш новый год был творчески сильным, чтобы в новом году была открыта Вам дорога к свободному объединению с читателем. Чтобы Вы по-прежнему были совестью нашего времени, чтобы не пришлось снова писать Магдалин.

Чтобы Вы хранили верность своему великому искусству — с той же неподкупной чистотой, как Вы это делали всю жизнь.

Я сейчас весь в Вашем романе, в его мыслях и идеях. Письмо о нем получается большое, боюсь, что оно Вас утомит. Благодарю Вас за «Фауста» (жена мне писала) и за все, за все.

Желаю здоровья и счастья.

Ваш *В. Шаламов*

Б. Л. Пастернак — В. Т. Шаламову

Варламу Тихоновичу Шаламову.

Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954-го года, было и Ваше освобождение и проезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить дальше, и да будет эта книга (не содержанием, не духом своим, а просто, как предмет в пространстве и объект суеверия) талисманом Вам в постепенно облегчающейся Вашей судьбе и утверждающейся деятельности.

Б. Пастернак

2 янв. 1954 г.

Москва²⁴.

Озерки, 22 января 1954 года.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за Вашу всегдашнюю заботу обо мне, за сердечное внимание, которое мне дороже всего на свете. Благодарю за чудесную надпись на «Фаусте», за слова, вновь и вновь утверждающие душевные мои стремления.

Вам не надо так говорить о моем письме по поводу «Доктора Живаго». Вряд ли оно было для Вас скольконибудь интересным и значимым. Мне же, конечно, не жаль никакого времени, жизни не жаль для того, чтобы иметь возможность говорить с Вами, писать Вам, проверять Ваши мысли на себе и в себе самом открывать какие-то новые уголки, которые были настолько затенены, что, думалось, их вовсе не существовало. От наших встреч я вырос, разбогател душевно и благодарю Бога за великое счастье, которое досталось мне в жизни — счастье личного общения с Вами.

Думается — схлынет, пройдет вся эта эпоха зарифмованного героического сервизма, с полной утерей и перспективных оценок, и взгляда назад, и светлый ручей поэзии вновь покажет свою неиссякаемую силу со всей ее свежестью и чистой. Грустно, конечно, что подлинные стихи для нынешней молодежи (осведомленность о них, вкус к ним) представляют сейчас, как никогда ранее, какую-то (в лучшем случае) звездную туманность, новую галактику, скопление далеких миров, в котором под силу разобраться только старикам-астрономам. Одна из причин этого — воспитанное годами недоверие к поэзии, боязнь ее, подмены ее рифмованными «кантатами». Но все это удешевляет требования к искусству, к его честным и искренним слугам. В сохранении верности поэзии трижды укрепить себя. Мне думается, никогда еще в истории русской поэзии не было такого трудного времени для искусства, когда смещены понятия, когда старые слова наполнены новым, иным, фальшивым и притом меняющимся смыслом, когда читатель (и поэт, как читатель) полностью дезориентирован этой фальшивостью понятий. Чрезвычайно трудно (и не по мотивам личной славы, гордости, что ли) не сбиться с дороги.

Не у всякого сердце — надежный и верный компас. Даже т. н. «общение» поэта с широким читателем —

тоже очень сложная штука. Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны — всех этих лжеистолкователей, лжеисследователей, лжепророков и вынужден через головы стражи, через ряды конвоя обращаться к верующей в него толпе, если и не полностью понимающей, то чувствующей его истину и доверяющей его чутью. Даже в ближних к конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя. Жить поэту очень трудно и только глубочайшая вера в справедливость своих идей, вера в свое искусство заставляет жить и работать, создавая новые вещи, год от года все большей силы, глубины и художественной убедительности. Он не только чувствует — он знает, что он необходим времени, что он не простой свидетель. Он — совесть времени, его неподкупный судья. И он с удовлетворением отмечает, что гений его все крепнет год от года, что голос его становится все проникновенней и чище, что смысл всех событий и идей становится все яснее и безоговорочней. Я отнюдь не смотрю пессимистически на будущее поэзии. Ее способность к бессмертию — бесспорна для меня. Бесспорна для меня и ее нерукотворность, что ли — что она живет и в поэте и как-то помимо поэта, как блоковская Прекрасная Дама, как гриновская Бегущая по волнам. Что ее нельзя отменить, растоптать, как нельзя и создать. Что мир предстает, как какой-то материал для ее детских игр, для ее роста и раздумий. Что она входит в людей случайно и вовсе не со всеми, в кого вошла, бывает до конца их дней. Что она поражает человека. Что она отводит его в сторону от других людей. Что она спасает и легко может губить. Что она заставляет человека доверять только ей. И, наконец, что она обращается постоянно к единственно вечному в человеке, присущему ему — к его страданию. Страдание вечно само по себе, мир почти не меняется временем в основных своих чертах — в этом ведь и сущность бессмертия Шекспира.

Именно страдание человека есть коренной предмет искусства, есть сущность искусства, его неизбывная тема.

Опять, как всегда, письмо не находит конца, а я боюсь Вас утомить вещами, которые мучают меня, а Вам-то давно и хорошо известны.

Я хочу просить Вас, Борис Леонидович, прочесть еще одну тетрадку стихов моих. Частью это — вовсе новые стихи, частью — стихи прошлого года, написанные после тех, что Вы видели в последний раз. И теперь, как и раньше, и в последние годы, удержаться от записей этих нельзя. Жизнь как-то требует переварить ее и в стихах, как-то выбросить это беспокойство ощущений на бумагу, что понемногу и делается.

Вместе с этим письмом посылаю одно прошлогоднее, которое до Вас не дошло. Посылаю потому, что все, что есть в этом письме, представляется мне уже сказанным Вам и сказанным именно тогда, когда это письмо написано.

Привет Вашей жене.

Желаю счастья, творчества.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Озерки, 3—II—54

Дорогой Борис Леонидович.

Живу и работаю все там же, с тем же отвращением к своей теперешней деятельности²⁵. Счастливо еще вот что: как только выдается свободный час — мне работается легко, и разгона никакого не надо.

Закончил сейчас вчерне большое стихотворение (строк на 300) о расщеплении атома²⁶. Конечно, не в плане Хиросимы, бомб, ракетных самолетов и пр. Но если каждый атом материи таит в себе взрывчатую силу, то этим обнаруживается вся глубокая, затаенная враждебность мира, только притворяющегося нежным и красивым, и все — сирень, цветы — не может не выглядеть теперь иначе. Нам остается только лунный свет, и мы все сильнее ощущаем его давление, физическое давление. Это давление знакомо поэтам всех времен, но наука только теперь, опытами Лебедева²⁷, что ли, подтвердила давнее прозрение искусства. А может быть, расщепление атома — это мщение природы людям — за ложь, обман и т. д. и т. д.

Называть стихотворение будет: «Атомная сюита» или «Сюита А», или что-либо в этом роде, сознательно нарочитое. Скоро я привезу ее в Москву и буду Вас очень просить прочесть ее.

Кроме того, написал несколько «личных», так сказать, стихотворений, все еще разжевывая тему возвращения.

Вам для просмотра готов целый сборник (около 100 стихотворений), называющийся «Сумка почтальона»²⁸. И его тоже принесу, хотя мне и совестно отнимать Ваше время.

Жизнь грустна, и я не знаю, что бы делал, если бы не находил опоры в работе над стихами.

Вы как-то сказали на мое замечание (что я не могу работать над собственными стихами после чтения Ваших): «Так не читайте их». Но чем же жить тогда? Мой материал, то грустный, то зловещий, не дает мне ни минуты отдыха. Как движется «Д. Ж.»? Выходит ли Ваш однотомика? Написано ли стихотворение о снеге? Вам так и не удалось познакомить меня со Стефановичем²⁹, а я ждал для себя от этого знакомства много хорошего, душевного.

Желаю Вам добра, счастья. Не забывайте меня.

Привет Вашей жене.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Озерки, 3 мая, 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Вы меня вовсе забыли и бросили. Я хотел бы, если уж нельзя Вас видеть — передать Вам давно готовую книжку (не книжку, а просто несколько десятков стихотворений), надеясь, что Вы найдете время когда-нибудь их просмотреть. Там нет ничего, что могло бы удивить мир, но, быть может, кое в чем они будут для Вас интересны.

Хотел бы взять назад ту синенькую тетрадку, которую Вы читали.

Хотел бы видеть окончание романа и все стихи Ваши, написанные за последние 3 месяца. (Век, кажется, прошел.)

Если Вам не хочется почему-либо видаться со мной — прошу позвонить моей жене, и она зайдет к Вам.

Ваш В. Шаламов.

4 июня, 1954 г.

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Ваша синяя тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторг. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца и перечту еще раз заново. Когда я принялся читать ее, я стал отчеркивать карандашом наиболее понравившееся мне и исчертил сплошь почти все страницы прочитанной половины. Наверное, я напишу Вам подробнее об этом собрании, когда толком перечту его. Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная, и Вам, наверное, странно, как это можно, не кривя душой, так долго воздерживаться и отказываться от того, что так близко и дорого. Но я так создан, что пока мучаюсь над чем-нибудь, что надо сделать и что еще не сделано, я вынужден отгораживаться от самого естественного и милого. Это еще продолжается. Потерпите, распространите свое всепрощение на более долгий срок.

Никто из читавших не говорил о незаконченности, о неокончателности отдельных стихотворений, никаких недостатков никто не находил, а я по-прежнему поразился богатством основного потока, питающего стихотворения, одухотворенностью наблюдений, чувств и мыслей, точностью слов и их тонкостью, и, относительной, по сравнению со всем этим, недостаточностью того, что превращает некоторую последовательность строф в отдельно стоящее стихотворение, в самостоятельную форму, в какое-то последнее слово по данному поводу. Напрасно я завязал вновь разговор об этом. Я не собирался писать Вам ничего серьезного, а перед отъездом на дачу хотел еще раз сказать Вам, что я люблю Вас, считаю, что Вы одарены настоящим талантом, и верю в Вас.

Посылаю Вам в качестве подарка полученный из «Знамени» читательский отклик³⁰ на стихотворения в апрельском номере. Не сопровождаю комментарием, Вы слишком тонки, чтобы не оценить все прелести этих рассуждений. Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-нибудь отношении типическими, обязательно представлять какой-нибудь разряд или категорию, а не быть собою. Откуда это, такое сильное в наше время поклонение типичности? Как не пони-

мают, что типичность это утрата души и лица, гибель судьбы и имени.

Будьте здоровы, всего лучшего. Ваш *Б. П.*

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

22 июня 1954 года, Озерки.

Дорогой Борис Леонидович.

Только теперь добралось до меня Ваше, как всегда сердечное, чудесное письмо. В нем очень много душевного, дорогого, родного мне — всего, что меня бесконечно радует и укрепляет.

Для меня ведь ощущение самой жизни после личных встреч с Вами стало иным — и все мне теперь кажется, будто бы я знал Вас всегда, всю мою жизнь, что Вы всегда были со мной, и вовсе неестественной кажется истина. И это как-то не потому, что Вы были со мной Вашими стихами и прежде. Это какое-то новое озарение.

Конечно, мне огорчительно, что целых полгода я Вас не видел. Тут нет никакой обиды, я все понимаю, я хорошо представляю болезненность от прикосновений всего внешнего, входящего в творчество. И, как бы ни было это внешнее дорого — оно мешает, оно слишком грубо просто потому, что оно — внешнее. Хирургия знает воспалительные процессы, когда нельзя подуть на рану — такая чувствуется боль. Понимание этого учит меня терпению. И само творчество — это ведь и есть лечение душевной раны.

То, что я ищу в жизни, то, что я в какой-то мере пытался выразить в стихах, обязывает меня беречь совесть. Я видел сразу — из Вашего первого письма, что это понято Вами и, Боже мой, как я был счастлив. Мне очень лестно было прочесть (и ранее услышать переданные по телефону) Ваши общие замечания по поводу синей тетради, лестно было прочесть обещание подробного разбора. Но мне хотелось бы критики наистрожайшей.

Вопрос «печататься — не печататься» — для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу.

Но достаточно о себе. Я очень просил бы Вас, когда будет закончен роман — дать мне один экземпляр с машинки навовсе. Не потому, что я не хочу ждать его напе-

чатания или там рукопись «коллекционная», что ли — вовсе не поэтому (простите меня за эти оговорки — их, наверное, не следовало делать). Мне хочется кое о чем подумать с романом, кое о чем поговорить с собой. Каким будет «Д. Ж.» в печати — я не знаю. Из «Свидания» в «Знамени» отнята важнейшая концовка, да и «Хмель» в какой-то строке, мне кажется, изменен не к лучшему. Я боюсь, что кое-что ценное, важное для меня в «Д. Ж.» (а этим важным и ценным является почти весь роман в его первом варианте) — изменится или сгладится.

В «Знамени» нет «Рассвета», нет «Земли», нет «Сказки». Появления других (многих) вещей я и не ждал пока.

Я живу таким медведем — здесь очень плохая библиотека, даже журналов толстых свежих нет — что даже о Ваших стихах в апрельском номере «Зн.» я узнал лишь несколько дней назад в Твери от одного молодого студента, в котором есть кое-что от того, чем привлекательна юность — какое-то туманное, неосознанное стремление, собранность какая-то, ищущая приложения сила, готовность отдать всего себя без остатка и сразу чему-то большому и главному, послужить какому-то еще не найденному, но обязательно доброму богу.

И мне было как-то жаль, что вот те чудесные стихи, которые Вы читали мне в январе, напечатаны в журнале, а я и т. д. и т. п. и не знаю, что Вы отдавали их в журнал. Смешное чувство, конечно. И радость, что они напечатаны.

Тираж номеру Вы сделали, вероятно, большой, четвертого № не найти в киосках. В каком-то журнале несколько лет назад были напечатаны Ваши стихи о зверинце, о Московском зоосаде, легкие такие строчки — развлекающегося собственными стихами и темой поэта. Куда они делись? Ни в каких сборниках их, мне кажется, не было. Жена не велела мне писать Вам длинные письма, а я не могу остановиться. Вы не написали в письме — ни о «Докторе Живаго», ни о новых стихах, ни о здоровье, почему Вы не хотите понять, что ведь мне это дороже, важнее всего, может быть; открытку какую-нибудь. А то ведь узнаешь все из десятых рук.

Письмо Ваше было лучшим подарком мне на день рождения и осветило особым светом этот день.

Будете ли Вы на съезде? Выступать, поди, не будете.

Этот ящик Пандоры, из которого дружно вылетели и статья Померанцева, и «Времена года», и «Гости», и

«Оттепель»³¹, и т. д., — все это говорит не только о послушности литературного пера, но и о совсем другом говорит настойчиво.

От подарка — читательского «отклика» на Ваши стихи я в полном восторге. Вот так и отучили людей от стихов. В молодости я начал было коллекционировать подобный материал, но скоро бросил, увидя, что нельзя объять необъятного. Эта рецензия мне еще сослужит службу, и не только как показатель «уровня». Достаточно представить страшное — литературные факультеты, часы русского языка в средних школах, доклады, лекции, курсы, литкружки, сессии Академии наук и писательские собрания — ведь где-то вот там рецензент формировал свои понятия и вкусы. О типичности — при личной встрече.

Желаю Вам здоровья, творчества, душевной силы.

Привет Вашей жене.

Ваш В. Шаламов.

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

24 октября, 1954 г., Туркмен.

Дорогой Борис Леонидович.

Осмелюсь напомнить Вам о своем существовании и просить, если позволит Ваше время, о личном свидании. И о всем обещанном, если Вы не забыли (синяя тетрадка). Вы, я убежден, и роман закончили, и стихов новых написали немало. А я в своей деревенской глуши не успеваю даже чтение наладить сколько-нибудь удовлетворительно; махнув рукой на методическое, систематическое, хочу хоть что-либо прочесть из недочитанного за эти 17 лет. Целая человеческая жизнь, прожитая за Яблоновым хребтом, оставила слишком мало времени на чтение. В новых стихах я все в старой теме, и вряд ли отпустит она меня скоро. Рассказы, которые начал писать, достаются мне с большим трудом — там ведь ход совсем другой.

Желаю Вам счастья, творчества.

Вызовите меня, и я приеду.

Можно звонить (Г-6-32-50, Маше) или письмом — только адрес мой теперь другой: ст. Решетниково Окт. ж. д., пос. Туркмен, п/о до востребования.

Или на Чистый переулок.

Ваш В. Шаламов.

27 окт., 1954 г.

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Никогда Вас не забываю. Ничем не могу Вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приблизительности я дописал его еще в ноябре прошлого года. Но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели.

Еще недавно я не мог нахвалиться своим самочувствием, трудолюбием, настроением. Сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, и отвечаю Вам.

Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее.

Я сам желал встреч с Вами и легко назначал их Вам, когда мог сойтись с Вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тону, погрязая в начатом, неконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опускаются. И не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг.

Я живу на даче, отделанной по-зимнему, со всеми удобствами, наподобие дворца, и живу непозволительно и незаслуженно, до бесстыдства роскошно. Я тут буду зимовать. Я Вас непременно вызову к себе. Вы, я знаю, думаете, что я Вас обманываю. Увидите.

Все-таки случай со «Знаменем» был коротким просветом. Можно было временно надеяться, обольщаться не на свой собственный счет, — на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этой возможности. Не оценил.

Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконовостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумать? Стихов новых не писал и не пробовал. Их по плану до окончания прозы и не полагалось.

Поклон Галине Игнатьевне. Еще раз: не сердитесь на меня.

Ваш *Б. П.*

Пишите, если захотите и понадобится, на городской адрес. Оттуда почту доставляют раз в неделю.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 29 декабря, 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Сердечно и горячо поздравляю Вас с Новым годом. Ведь будет же день, когда время вспомнит, чем являются Ваши стихи для него; поймет, что Ваши работы — это и есть то, чем может гордиться страна; поймет, что только выстраданное, искреннее, отмечающее всю и всяческую фальшь, достойно называться искусством. Желая Вам счастья, здоровья, творческих успехов, спокойствия — как знать, может быть, этот год, так мало обещающий поначалу, и откроет Вам свободную и широкую дорогу на страницы журналов, к читателю, стоковавшемуся по Вашим стихам, Вашим словам. Вся штука в том, что дело поэта, его жизненная дорога — это не профессия и не специальность. Это совсем совсем другое. Жизнь во имя настоящего, подлинного, так нужного людям — разве это не гордая судьба?

Примите же вместе с Зинаидой Николаевной наши сердечные новогодние поздравления и приветы — мои и Г. И.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 19. II. 55

Дорогой Борис Леонидович.

Кажется, вечность прошла с того времени, как получил последнее Ваше письмо. Некому сообщить хотя бы о Вашем здоровье — ни о чем больше.

Мне было легче жить, зная что-либо о Вас. Сейчас — труднее, когда столько месяцев не знаешь ничего.

Уважение и доверие к Вам, глубочайшее желание добра и счастья, беспокойство за Ваше здоровье — вот с этим и написано это маленькое письмо.

Ваш *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 18 апр., 1955 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Спасибо Вам за телефонный звонок, за Ваш сердечный разговор. Бесконечно рад, что Вы в бодром здравии и «форме». Меня так тревожило Ваше молчание.

Счастливы слышать о переиздании Ваших стихов и еще более — об окончании романа.

Горячий привет З. Н.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 22 мая, 1955 г.

Дорогой Борис Леонидович.

По многим причинам хотел бы Вас видеть. Главных три:

1) Целых полтора года мы не встречались, и порой думается, видел ли я Вас вообще. Для меня слишком большое значение имели те немногие встречи с Вами, чтобы я мог к ним относиться равнодушно. Выполнение принятых серьезных решений откладывается и откладывается до встречи с Вами. Кроме того, мне хотелось бы все, написанное мной, отдать Вам.

2) Я по-прежнему твердо уверен, что русская литература, русская поэзия очнется от колдовского гипноза и новые вещи Ваши займут в сердцах всех грамотных людей то первое и огромное место, которое они занимают сейчас в сердцах немногих, имевших счастье прочесть их в рукописях. Я хотел бы видеть Ваши новые работы — и окончание романа и стихи.

3) Я хотел бы просить Вас почитать и то новое, что написано мной за это время. Из стихов, кажется, есть кое-что путное, что должно Вам понравиться. Прозы пока показывать Вам не буду.

Если у Вас есть и желание и возможность повидаться со мной хотя бы в июне и если здоровье Ваше позволяет, то прошу назначить любой день и час и я приеду. Лучше, конечно, в субботу или воскресенье, но и в другие дни я смогу выбраться. Меня отпустят на сутки — только мне надо за неделю знать об этом.

Если почему-либо нельзя, то прошу тоже известить, не удерживаясь соображениями вежливости и деликатности.

Ваш *В. Шаламов.*

Б. Л. Пастернак — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Дайте мне еще месяц отсрочки, родной мой. Когда я летом говорил Вашей жене или Вам писал, что роман окончен, речь шла о необработанном, но сюжетно завершенном пересказе содержания. Какая работа еще предстояла потом. А тут еще МХАТ затесался с просьбой перевести Шиллерову «Марию Стюарт», на что ушло полтора месяца.

В январе, если я, Бог даст, доживу и если вторая книга в окончательной редакции будет к тому времени перепечатана на машинке, я сам навяжу Вам ее, мне надо, чтобы Вы прочли ее. Вот Вы меня разругаете!!!

В промежутке я еще раз напишу Вам, я это ясно предвижу и знаю, а Вы не пишите мне, чтобы не конфузить меня.

Ничего не изменилось. То есть изменилось колоссально много: я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога, но кругом ничего не изменилось. Я здоров и счастлив в своем замкнутом кругу, когда же делаются учащающиеся попытки вытащить меня из этого одиночества, это всякий раз разочаровывающий удар для меня, настолько я в своей тиши забываю, до какой степени люди могут быть чужими и ненужными, всего лишь шившись, выродившись и обо всем позабыв.

От души желаю всего лучшего Вам и Вашей жене.

Забудьте обо мне до нового напоминания.

Если до Нового года не напишу, то с наступающим Новым годом.

Преданный Вам *Б. Пастернак*

10 дек. 1955 г.

Переделкино.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 19-ХІІ—55

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за письмо Ваше.

Поздравляю Вас и З. Н. с Новым годом и от всего сердца желаю счастья и здоровья.

Поздравляю с окончанием романа, верю в Ваш интерес к моему скромному мнению о нем и радуюсь этой вере.

Как я завидую Вашей творческой силе, душе, умеющей не уступить своих внутренних побед и более того — вновь и вновь утверждать себя с возрастающей силой, двигаясь дальше и выше.

Мое восхищение, мое уважение — бесконечны.

Жена моя присоединяет свои поздравления, пожелания, приветы.

Ваш *В. Шаламов*.

Б. Л. Пастернак — В. Т. Шаламову

22 дек., 1955 г.

Дорогой друг мой! Спасибо за скорый ответ. Страшно второпях: мне пришла безумная мысль послать Вам конец романа на спешное прочтение, до отдачи в дальнейшую переписку, недели на полторы, на две, до первых чисел января. Как только у Вас освободятся обе тетради, доставьте их для передачи мне на городскую квартиру. Если никого там не будет, в 5-м подъезде Лаврушинского дома дежурит лифтером Мария Эдуардовна Киреева, отдайте пакет ей, для передачи мне в собственные руки, когда я приеду в город. Киреева проживает у нас.

Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум-трем словам все угадаю.

Но вот условие. Если Вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе и Вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся Вам родными в нем и понравятся.

Я совершенно был согласен с Вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляют лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться.

Дорогой, дорогой мой! То, что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот, у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу, как все, что мне нельзя, что я не вправе.

Сейчас большой поворот в сторону «левого искусства», «опальных имен» и пр. Конечно, я не составляю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может, и только в том различие, в каком виде ее подают, горячею или холодною, с молоком или маслом. Того, что можно думать совсем о другом и совсем по-другому, нет и в допущении. Конечно, я от всего отказываюсь и еще более одинок, чем прежде. Пожалейте меня. Прочтите, прочтите роман. Не важно, что Вы забыли предшествующее. Это несущественно. Привет Галине Игнатьевне. Любящий Вас Б. П.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 8 января, 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за чудесный Новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока Вы есть, — простите уж мне эту сентиментальность.

Теперь — к делу. Лучшее во второй книге «Д. Ж.» это, бесспорно — суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью — это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде всего это — суждения самого Юрия Живаго. Но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рупор. Голосом автора говорят все герои — ягоды, и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых, в таких непривычно-верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет не дождется честного слова о себе. Целые главы: «Варькино», «Против дома с фигурами», «Рябина в сахаре», у Ларисы у гроба — очень, очень хороши. Суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно — т. е. понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. — Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны оглядываясь —

из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными.

Все, что Живаго успел сказать — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало, по сравнению с тем, что он мог бы сказать.

В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и у белогвардейца и многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.

Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части — на великой высоте.

Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листы в солнечных лучах, скрывающих человека — все, все.

Пейзаж Толстого — безразличен к герою, описание его самодовлеюще; репейник в «Хаджи Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения» — это символы или своеобразные эпитафии, а не ткань вещи.

У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства, как некоего самостоятельного начала, сходящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии, как едином Поэте. Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).

Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж — высшее, подчеркивающее внутренний мир героя — эмоциональное постижение этого внутреннего мира.

О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утраченное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт; его житейское. Каждый платит как бы свой долг, род штрафа, за то, что человек не удержал в себе того,

что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятков, и Стрельников, и Ливерий, и конечно и в первую очередь и это совершенно естественно — женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена — Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и — нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины — показана очень хорошо. О Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе — под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше, — не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто — горька судьба. Но, верно, так и надо.

Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, который он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации.

Что Лариса не уйдет от его судьбы. Что «пустое счастье ста» — это и есть залог счастья общественного. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все, скопленное Ларисой и Юрием, — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей трудной дороге, может быть, сизифовой дороге, ползти шаг за шагом, отвоевывая самое важное, что было добыто его дедами и утеряно его отцами. Как умирает Живаго, теряет силы, сберегая на самом доньшке сердца самое последнее, самое дорогое и как это кое-что сохранено, как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь — и как он обманывается снова и снова умирает.

Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно — так оно и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у

Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.

Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовиться к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да наверно, так это и есть.

«Лубок» ощутим почему-то меньше во 2-й книге, хотя Вы и предупреджали о его упрямом существовании. Даже Вахх не портит дела.

Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения». Например, о подготовке героизма, проявляемого в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь на знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь — одна. Оттого и самоубийц в молодом возрасте — больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода — аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что, как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!) 2 командира с вынутыми револьверами) приезжают представители политотдела, Смерш, полка, роты — человек 8 в общей сложности. (Космодемьянская и Матросов — это истерия, аффект. Психологический мотив Орлецовой желание утвердить себя, «доказать» свой разрыв с прошлым — возможно, так это трагичней и грустней.)

О физическом труде. Я «в полном согласии с классиком марксизма» утверждаю, что физический труд — проклятие человечества и ничего не вижу привлекательного в усталости от физической работы. Эта усталость мешает думать, мешает жить, отбрасывает в ненужное прожитый день. Поэтизация физического труда — это, кстати, конечно, другое и рассчитана она не на людей, которые обречены им заниматься.

О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело — красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь.

Это — будущие кадры уголовщины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой беломорской «перековки» и кончая «друзьями народа» на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить «врагов народа». И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это — люди, недостойные имени человека, и им нет места на земле.

Ужасна и верна история Тани-бельевщицы. Увы, ничего наследственность в таком деле не дает (т. е. никогда ни скажется, если не будет благоприятных условий). Таких детей я знаю много — напр., лагерные дети, родившиеся от арестантов, — это большая и грустная тема.

Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название Гл. управления. Прямоугольник арестантов с лицами наружу — не бывает так. Это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Перекличек там действительно много — раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме. Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались главным образом участники Кронштадтского мятежа (четные №, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта).

В период 1924—1929 гг. был 1 лагерь Соловецкий, т. н. Услон с отделениями на островах, в Кеми, на Ухта-Печоре г. на Урале (Вишера, где теперь г. Красновишерск). Затем вошли во вкус и с 1929 г. (после известной расстрельной комиссии из Москвы) передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг (Москва—Волга), где в одном только лагере (в Дмитлаге) было свыше 800.000 чел. Потом лагерям не стало счета: Севлаг, Севвостлаг, Сиблаг, Бамлаг, Тайшетлаг, Иркутлаг и т. д. и т. п. Засеяно было густо.

Белая, чуть синеватая мгла зимней 60°-й ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле, бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм.

Беглец, которого поймали в тайге и застрелили, «оперативники» отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно. Рассказывает плотник, работавший в женском лагере: «За хлеб, конечно. Там, В. Т., было правило — пока я имею удовольствие — она должна «пайку» проглотить, съест. Чего не доест — отбираю обратно. Я, В. Т., с утра пайку кину в снег, заморожу, суну в пазуху и иду. Не может угрызть — так на трех хватает одной «пайки».

Свитер шерстяной, домашний чей-то лежит на лавке и шевелится — так много в нем вшей.

Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жестяные №№ (в масть бубнового туза). Конвой, собаки во множестве, через каждые 10 минут — Ло-о-жись! Лежали подолгу, в снегу, не подымая голов, ожидая команды.

Кто поднимет 10 пудов — тот морально, именно морально, нравственной, ценней, выше других — он достоин уважения начальства и общества. Кто не может поднять — недостоин, обречен. И побои, побои — конвоя, старост, поваров, парикмахеров, воров.

Пьяный начальник на именинах хвалится силой — отрывает голову у живого петуха. (Там все начальство держит по 50—100 кур, яйцо 120 руб. десяток — подспорье солидное.)

Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть.

Умиравшему в больнице говорит сердобольный врач: — «Закажи, что ты хочешь». — «Галушки», — плача говорит больной.

У кого-то видели листок бумаги в руках — наверное, следователь выдал для доносов.

Шестнадцатичасовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату, — сесть и лечь нельзя. Тебя застрелят сразу.

Лошади ржут, они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени.

И возвращение в лагерь, в т. н. «зону», где на обязательной арке над воротами по фронтому выведена предписанная из приказа надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам и лошадь тащит их по дороге за 2—3 километра.

Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?

Все это — случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатанный, уже дементивный ум хватается за то, чтобы «спасти жизнь» за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений, создавший ее в одиночку и сразу. Паек 7 «категорий» (так и напечатано на карточке «категория» такая-то) в зависимости от процента выработки. Поощрения — разрешение ходить за проволоку на работу без конвоя, написать письмо, получить лучшую работу, перевестись в другой лагерь, выписать пачку махорки и килограмм хлеба — и обратная система штрафов, начиная от голодного питания и кончая дополнительным сроком наказания в подземных тюрьмах. Пугающие штрафы и манящие поощрения — зачеты рабочих дней. На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтоб Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отменном, чем окрашен почти 20-летний период — пятилеток больших строек «дерзаний и достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов — людей, жизнь которых непрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он — человек.

Вот и письмо мое, неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие.

И еще в двух поступках я должен покаяться перед Вами. Я получил роман 1 января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на 2 недели. Второй — не удержался и послал Вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтоб они были у Вас. Просто, чтоб были у Вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Названия приблизительные, это сборнички, а не книги. Тематически стихи могут быть передвинуты из тетрад-

ки в тетрадку — налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить.

Еще раз — искренне благодарю Вас за роман, которому нет цены, за все, что Вы в нем сказали.

Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Ваш *В. Шаламов*

Когда-то давно Вы получили мои письма с заклеенными клеем конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.

В.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Туркмен, 12 июля, 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку — что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не сознавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольц у меня сидела Ахматова). Так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не терял. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня.

Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости.

Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбию, что ли, не просто «честь», не только «признание», «рукоположение». Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из *загаданного* — *это та самая сказка, которая, как ей и положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя, как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок.*

У меня не было в жизни так называемых «удач», мое счастье, если и приходило, то приходило по другим

дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отношениях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других.

Обещаний и зарок в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться, самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. Двадцать лет жизни моей отдал я Северу, годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. О всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя — а это все-таки бывало, — я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я — счастлив сейчас.

Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно. И вот, по тем письмам, которые я получаю с Севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем нейтральной, что меня помянут добрым словом, и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие.

Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятном и человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. Но вовсе не у всех поэтов находил я то, что считал главным в поэзии. Мне казалось, что историческое развитие поэзии шло следующим путем. Стихи, конечно, родились из песни. Но, отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя (мне кажется пустячным значение фольклора для творчества большого поэта и со светлой легендой об Арине Родионовне давно пора кончать), обогащаясь не только за счет соседних искусств и науки, а исследуя жизнь, прежде и раньше всего стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Да, по сути дела, с песней-то эти силы имеют очень мало общего. Стихотворная форма в своем развитии показала воз-

возможности особенные, оказалась незримо шире и глубже любого другого искусства — музыки, живописи, скульптуры.

Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы, хотя бы (не говоря уже о собственно философии) эти стихотворные размышления не используют исключительно арсенал философии (как это было в ритмизованном трактате Лукреция Кара, например)³². Но самую природу свою звуковую и свое ритмичное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью.

Не развлекательная балалайщина, не балагурство, не дидактика гражданской поэзии, а только размышления специфически-стихотворного порядка утверждают высокую поэзию. Рифма как поисковый инструмент только один из сотен примеров использования специфики стиха для искания истины. Любой ассонанс, любой звуковой подбор служит той же цели, если он не хочет обратиться в погремушку, где нарочитость уничтожает стихотворение.

Только в этом настроении, думается, лежит сегодня путь, ведущий поэзию к новым высотам. Ее развитие безгранично, потому что поэзия, прежде всего личная, индивидуальна, и только тогда она поэзия. Специфика (кроме прочего) заключается в том, что в этом размышлении нет никакого угнетения смыслом эмоции. Нет никакой иссушающей рассудочности. Поэзия просто должна помнить простую истину, что чувства богаче слов и мыслей, и именно поэзии дано показать нечто большее, чем может сделать логика, ограниченная правилами использования слова. Логика знать не знает силы интонации, не понимает, что такое поэтический напор, лирический поток.

Содержание стихотворения отнюдь не исчерпывается его логической убедительностью, его философской новизной и к ней вовсе нарочито не стремится. Эта убедительность — только попутное завоевание.

Я не хочу, конечно, сказать, что «размышление» включает все остальное в стихах. Но остальное — второстепенность, и на этих путях победы и открытия поэзии не могут быть столь важны людям в их непосредственном реальном влиянии.

Этот элемент (размышлений) есть, конечно, в творчестве каждого большого поэта. Он силен в Державине, Пушкине, а Лермонтов даже начинает эту важнейшую линию русской поэзии, вершинами которой (по хронологии) являются три поэта — Баратынский, Тютчев и Пастернак.

Я не знаю языков, но по переводам вижу, что и работы Рильке и Гете того же самого ряда, утверждающего главное в поэзии.

Горестно думать, что именно эта сторона стихотворчества (важнейшая, выводящая поэзию далеко за границы возможностей всех других искусств) находилась так много лет и сейчас находится в совершенном пренебрежении. Если нынешние отцы отечества хотят успехов в русской поэзии, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть поэзии ее серьезность. Я знаю, Вам не покажутся наивными и смешными все эти рассуждения. Да я и не хотел другого языка, чтоб говорить о самом главном в жизни.

Еще раз — благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках — если Бог даст силы и время.

Сердечный мой привет. Всегда Ваш В. Шаламов.

Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне.

В. Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

12 августа 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.

Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени. Что никакой соблазн, очередная приманка не обманет Вас³³.

Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.

Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя

русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые по удивительному и страшному капризу судеб продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что — имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности морального человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том — что же такое в конце концов русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустое, пигмейское дело. Вы — честь времени. Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.

Я благословляю Вас. Я горжусь прямою Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить Маммоне, лишь чуть-чуть покривив душой. Но Вы не захотели этого сделать.

Да благословит Вас Бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения.

Ваш всегда *В. Шаламов*.

ПРИМЕЧАНИЯ

Переписка В. Т. Шаламова с Б. Л. Пастернаком началась в 1952 г. В 1951 году он освободился из лагеря, однако выехать на Большую землю ему не удалось. Он работал фельдшером в маленьком поселке Якутии, близ аэропорта Оймякон. Кругом была тайга, снега, мороз, лагерные бараки. Писать прозу или стихи было занятием подозрительным. Однако он отправил две тетрадки своих стихов высшему поэтическому авторитету — Б. Л. Пастернаку: их захватила с собой уезжавшая в отпуск врач Е. А. Мамучашвили. Жена Шаламова Г. И. Гудзь с помощью Н. А. Кастальской и В. П. Малеевой, знакомой Пас-

тернака, передала эти тетради Пастернаку. Впоследствии некоторые из этих стихов в переработанном виде вошли в «Колымские тетради» — сборник стихов Шаламова 1937—1956 гг.

Переписка охватывает, пожалуй, самые драматические годы жизни поэтов: Пастернак работает над романом «Доктор Живаго» и переживает бурю в связи с его публикацией за рубежом, Шаламов буквально воскресает из мертвых, со страстью пишет дни и ночи, пишет стихи и рассказы, словно беря реванш за долгие годы бесправия и молчания.

Переписка прервалась из-за ссоры Шаламова с О. В. Ивинской, которая имела большое влияние на Пастернака, но об этом — в переписке Шаламова и О. Ивинской.

¹ Воспоминания Е. А. Мамучашвили «В больнице для заключенных» см. «Шаламовский сборник», вып. 2, Вологда, 1997.

² *Анненский* Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, критик, переводчик, его творчество было связующим звеном между символизмом и акмеизмом.

³ Цитируемые Б. Пастернаком строки стихов Шаламова большей частью остались в записях или существенно переработаны автором.

Шаламов, очень строго ценивший свои стихи, говорил об этих тетрадях: «Стихов там еще не было, но они появились там же, на Колыме, “Камея”, например». Шаламов пишет в комментариях: «Стихотворение “Живого сердца голос властный...” написано в 1950 году на ручье Дусканья, энергично передельвалось мной в 1954 году, но, как всегда, из переделки ничего не вышло» (Собр. соч., т. 3, М., 1998, с. 459).

⁴ Шаламов к фольклорным формам, мифам, пословицам, поговоркам относился особо: для него они были закодированной информацией высокой плотности, вечными моделями отношения человека и мира, человека к человеку. Что-то близкое этому суждению было в мыслях П. А. Флоренского, с трудами которого Шаламов был хорошо знаком («Столп и утверждение истины. От православной теодицеи»). Упоминаются стихи «Я жив не единым хлебом...» (Собр. соч., т. 3, М., 1998, стр. 265), «Бог был еще ребенком и украдкой...» (там же, стр. 102), «Картограф» (там же, стр. 318) и др.

⁵ Пастернак отмечает не лучшие стихи Шаламова, возможно, он поручил кому-либо «подобрать примеры». В «Колымские тетради» не включены: «Где юности твоей условья...», «Свадьба колдуна». С изменениями включены стихи: «Реквием» («Сестре Маше»), «Жил-был» («Платье короля»), «Пред нами русская телега...», «Еду» («Поездка») и др.

⁶ Леонардо да Винчи «Джоконда» (ок. 1503 г.), Гойя Франсиско Хосе де, портреты — «Семья короля Карла IV», «Игра в жмурки» (1791 —1800).

⁷ Пастернак Б. Л. «Земной простор», М., 1945.

⁸ Смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г.

⁹ Пастернак Б. Л. «Спекторский», «Стихотворения и поэмы». Библиотека поэта. М.—Л., 1965, стр. 313.

За что же пьют? За четырех хозяек,
За их глаза, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

¹⁰ Цветаева М. И. «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак». Соч., т. 2. М., 1980, стр. 399—423.

¹¹ «Опять Шопен не ищет выгод...». Б. Пастернак. «Второе рождение», 1932, Библиотека поэта, 1965, стр. 366, «Мир, как дом, сняла, заселила...», там же, «Город», стр. 216.

¹² Вийон (Виллон) Франсуа (ок. 1431 — после 1463) — поэт, свободный от влияния средневекового аскетизма, вольнодумец.

¹³ Стихотворение «Весеннюю порою льда...» из книги «Второе рождение» в переиздании 1934 г. опубликовано не полностью, снят конец: «О том ведь и веков рассказ...»

¹⁴ Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909—1956) — критик, литературовед, в 1952 году вышла его книга «О советской литературе» в изд. «Советский писатель».

¹⁵ Б. Пастернак

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.

<1936>

Библиотека поэта. М.—Л., 1965, стр. 556.

¹⁶ Тютчев Ф. И. неточно цитируется.

Цицерон

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые..
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

Тютчев Ф. И. «Литературные памятники», «Лирика», т. 1, с. 36,161.

¹⁷ Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — ученый, философ, его труд «Столп и утверждение истины» (М., 1914).

¹⁸ М. И. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала: «Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихи плюс пятую — лирику. И он дал их так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом» (Цветаева М. И., Соч., т. 2, М., 1980, стр. 454.)

¹⁹ Спектакль «Гамлет» Театра им. Евг. Вахтангова (1932) был первой режиссерской работой Н. П. Акимова и был решен в вульгарно-социологической трактовке — стержнем спектакля была борьба за власть. Роль Гамлета сыграл характерный актер А. И. Горюнов.

²⁰ Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — политический деятель, публицист, драматург, поэтесса.

²¹ Аскольдова могила. Повесть М. Н. Загоскина о времени князя Владимира (1835 г.).

²² Воронцов-Вельяминов Борис Александрович (1904—1994) — популяризатор астрономии, автор книг «Мир звезд». М., 1952. «Очерки истории астрономии в СССР». М., 1964; «Очерки о Вселенной», М., 1964; 1980 и др.

²³ Тяжелобольной М. М. Пришвин (1873—1954) попросил Б. Пастернака навестить его: «Как же, думаю, умру и не увижу Вас».

²⁴ Дарственная надпись Б. Пастернака на книге «Фауст» И.-С. Гёте.

²⁵ С 29 ноября 1953 по 12 июля 1954 г. В. Т. Шаламов работал в Озерецком-Неплюевском стройуправлении товароведом, а затем мастером по заготовке местных материалов.

²⁶ «Атомная поэма» вошла в «Колымские тетради» Шаламова.

²⁷ Лебедев Александр Александрович (1893—1969) — физик, под его руководством создан первый в СССР электронный микроскоп для съемки быстро протекающих процессов.

²⁸ «Сумка почтальона» — вторая книга стихов из «Колымских тетрадей» В. Шаламова.

²⁹ Стефанович Николай Владимирович (1911/12—1979) — поэт, его высоко ценил Б. Л. Пастернак.

³⁰ Читательский отклик на стихи из романа (опубл. в «Знамени», 1954, № 4) содержал такой вывод: «По-моему, это не та лирика, тов. Пастернак, которую ждет от своих поэтов советский читатель...» Стихи произвели на читателя «дурное впе-

чатление своей сыростью, грубой неотесанностью, попираанием смысла».

³¹ Имеется в виду статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» («Новый мир», 1953, № 12), роман В. Пановой «Времена года» и повесть И. Эренбурга «Оттепель», пьеса Л. Зорина «Гости».

После публикации статей В. Померанцева, Ф. Абрамова А. Т. Твардовский был освобожден от должности главного редактора журнала. Произведения В. Пановой, Л. Зорина, И. Эренбурга получили резко отрицательные отзывы критики.

II съезд писателей состоялся в декабре 1954 г.

С. Боровиков («Н. М.», 2002, № 11, стр. 167—173) пишет о крайней серости съезда и о речи Шолохова: «Как ни странно, а может быть, и вовсе не странно, лишь Шолохов (во многом подтолкнутый речью Овечкина) позволил себе критику не писательских, а государственных порядков.

Первоначально он охарактеризовал современную литературу как «серый поток»... прошелся по своим недругам — Эренбургу и Симонову — затем Шолохов обрушился на «систему присуждения литературных премий».

³² Тит Лукреций Кар — римский поэт и философ, I в. до н. э. Его философская поэма «О природе вещей».

³³ С весны 1956 г. Б. Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго» «Литературной Москвой», «Новым миром» (подробнее см. «Новый мир», 1988, № 6, стр. 245—248).

ПЕРЕПИСКА С РОДСТВЕННИКАМИ

М. И. Гудзь — В. Т. Шаламову¹

8.III—54 г.

Дорогой Варламочка! Вчера я была приглашена к Александре Борисовне со стихами. Были там один ленинградец и одна молодая особа, кончившая литературный вуз (современной начинки — девушка, а не вуз). Чтение стихов произвело сильнейшее впечатление. Этот ленинградец — поклонник Бориса Леонидовича. Он восторгался свыше всякой меры. Я же была страшно довольна. И считаю, что ты должен знать об этом. Я, как всегда, когда читаю эти строки, очень разволновалась. Больше

всего ему понравилось «С годами все безоговорочней» и «Бор. Леон. Паст.». Но я не все ведь брала с собой.

А этой литературоведке, я даже не ожидала, что ей понравятся стихи, так молодежь привыкла к стандартам. Готовым (и «дозволенным») формулам. И она совсем пораженная и взволнованная просила разрешения прийти ко мне и прочесть все самой. Зашел разговор о тебе. Как ты живешь, чем зарабатываешь. И он сделал предложение: он хочет купить охотничий дом и спросил, не согласился бы ты жить у них, он сказал, чтобы тебе пока не говорить об этом, так как это еще в проекте (примерно май месяц). Дом этот будет где-то около Весьегонска. Предложил он это, чтобы ты мог без помехи работать*, он очень хотел бы с тобой познакомиться. Ты мне не позвонил, и я не знаю, когда ты приедешь. Но я подумала, что, может быть, ты приедешь в эту (ближайшую) субботу. Тогда он будет еще в Москве и хотел мне звонить в субботу. Ну, а если ты не сможешь, то повидаться и поговорить сможете, когда он будет следующий раз в Москве.

Я бледно описала тебе все, а были такие выражения: талантливо, гениально, ну и всякое другое. Но главное — не слова, а взволнованность, с которой это было воспринято.

Целую тебя.

Твоя Маша.

P. S. Когда я рассказала об этом вечере Галинке, она сказала: ну вот, без меня все это.

В. Т. Шаламов — Е. В. Шаламовой²

Озерки, 10—13 апреля, 1954 г.

Дорогая Лена.

Поздравляю тебя с 19-летием, желаю счастья, успеха и прочее, желаю ясности в твоих отношениях с миром, ясности перед самой собой. Желаю хорошо подумать над тем, при каких условиях люди становятся людьми и что делает человека человеком, ибо без этого «что» жить, конечно, можно, но эта жизнь должна изучаться по Брему.

* Ну я предложила сторожа или еще что-нибудь. Так ведь ты не захочешь?

Желаю подумать над тем, ради чего живут, а главное, ради чего умирают лучшие люди человечества, у которых ведь иные масштабы, чем у нас, иное понимание несчастья и счастья.

Желаю также понять, что у человека много правд, много богов. Это обязывает к серьезности в попытках понимания других людей, не забывая ничего своего.

Мне бы хотелось также, чтобы ты нашла время для чтения книг настоящих, которых немало. Именно в книгах лучшие люди истории, наиболее талантливые, наиболее глубоко чувствующие, оставили биение своего сердца, свою кровь и ум; книги, в которых тоска и боль, общие всем людям, нашли свое острейшее, ярчайшее выражение.

Никакой другой вид искусства не может быть сравнен в этом отношении с художественным словом.

Именно книги, настоящие, большие книги, незаметным образом расширяют кругозор, изменяют внутренние требования к жизни, дадут новые цели, большие масштабы, новые оценки и стремления, неизмеримо выше прежних, и ты удивишься, как ты могла жить по старым меркам до сих пор.

Именно в этом настоящем развитии, постоянном душевном обогащении, отточенном глазомере и подлинности чувств лежит залог настоящей жизни, — книги и есть, по-моему, тот сказочный эликсир вечной молодости, который всерьез искали когда-то алхимики Средневековья. Книги ведь пишут уже потому, что автор хотел оставить памятник быта, нарисовать какую-то картину времени, потому что человек этот хотел как бы успокоить, разрядить свою душу, свои волнения, которые вызваны были тем, что он чувствовал и видел вокруг себя. Это и есть настоящий, не казенный реализм.

И помни хорошо, что никакие технические справочники еще не делают человека интеллигентным, в настоящем значении этого слова. Гуманитарное образование не заслуживает того, чтобы посвятить ему всю жизнь, у нас с тобой уже был, мне кажется, обрывочный разговор об этом. Но основные элементы этого образования должны быть восприняты во время овладения техническими специальными знаниями.

На примере академика Владимира Образцова (отца кукольника) и ряде других примеров я заключил, что нельзя стать большим инженером, не зная и не любя

искусства, и прежде всего, и раньше всего — художественного слова.

Я не даю тебе никаких так называемых «житейских» рецептов, а также и никаких пожеланий в этом направлении, кроме здоровья, у меня нет. Да и вообще это письмо — написавшееся как-то вдруг, без перечитывания, без отбора, «без систематизации» пожеланий — мое простое ночное письмо.

Мне бы хотелось, конечно, чтобы моя дочь меня поняла в том высказанном немногом из многого невысказанного. Поздравляю с днем рождения, крепко целую. *Отцу.*

В. Т. Шаламов — М. И. Гудзь

Озерки, 18 мая, 1954 г.

Машенька, дорогая, спасибо тебе за письмо, такое интересное и нужное для меня, за такой подробный пересказ беседы твоей с Борисом Леонидовичем. Мне просто хотелось бы раньше с ним повидаться, потому что разговоры с ним, собственно говоря, еще не начаты, а сроки мои коротки. Квартирные дела не дают возможности начать работу над рассказами, хотя несколько таких рассказов уже сложились в голове, — но тут ведь надо ходить, бормотать, записывать и вновь бросать. Формально они ничего нового представлять не будут, как ничего нового нет в форме стихов моих, и не технические задачи я себе в них ставлю. Завидую тебе, что побывала ты на выставке портрета. Озерки в смысле общекультурных дел далеко позади даже какой-нибудь Кюбюмы, не говоря уже об Адыгалахе и Левом берегу.

Искусство, мне кажется, опорочивается кунштюками, «штучкой» какой-либо, вывертом. Все должно быть просто и ясно, и «в иносказании». И никаких формальных трюков не надо, чтобы двигать искусство вперед. Наоборот, в трюках — дискредитация искусства как душевной силы, как единственного вида бессмертия.

Теперь о домашнем. Ты пишешь, что последнее свидание оставило какую-то грустную пустоту. Очень жалею об этом. У меня не осталось подобных впечатлений и потому уверен, что ничего не произошло, что могло бы дать повод к таким настроениям. Просто это

какой-то твой личный, перед самой собой воздвигаемый барьер, который зовется интеллигентщиной и во все не является имманентным интеллигентности. Твои сомнения насчет Кирилла, разговор, который начался и был внезапно разорван по какой-то бытовой случайности — я не разделяю вовсе. Я тоже склонен думать, как и Кирилл, что ты преувеличиваешь. Притом, иногда из детей не бывает, мне кажется, того, что из них хотели бы сделать родители, даже и не так требовательные, как ты. Это все-таки другое, чем собственная жизнь, и в некоторой степени и смысле чужое. Я жену ставил выше матери и странно бы было, если Кирилла тянуло бы больше к тебе, чем к Светлане. Это влечение достойно уважения, тем более что уж года три они живут вместе. Стало быть, уже исполнились сроки сближения, сроки притирки характеров, внутреннего понимания друг друга.

Дальше, ты пишешь совершенную чушь, оскорбительную и для меня, а не только для тех, кто тебя непосредственно окружает. Ты пишешь: «Зажилась я. Существование не оправдываю, пользы не приношу» и т. д. Экая чушь, право. Мне стыдно читать, а уж почему тебе не стыдно было писать такое — я не знаю. Способность к объективным оценкам мне казалось не утеряна тобой, а в этой области ты нагородила такой чепухи, что даже говорить не стоит серьезно. Я хотел бы тебя видеть такой, как привык представлять всегда: деятельно-доброй, умеющей хорошо видеть плохое и мелкое со всей своей душевной прямоотой и в этих качествах нужной, необходимой людям, по крайней мере, близким. Твое письмо обидело меня, потому что я не хочу, не хочу, чтобы люди, которых я уважаю и люблю, были в таком настроении.

Крепко целую. 22-го я приеду, и мы поговорим.

Привет Зосе, Кириллу, Н. А. <Кастальской> и Л. М. <Бродской>, адрес которой ты мне так и не написала.

В. Т. Шаламов — М. И. Гудзь

Туркмен — 13—III—55 г.

Милая Маша.

Письмо твое получил вчера и очень тебя благодарю за все сердечное, что высказано в словах, пожеланиях и поступках, что же касается стихов, то похвалы

(незаслуженные) вызваны тем, что качество настоящих стихов ныне растворено в вещах, чуждых поэзии, утеряно и поэтому даже скромные попытки вернуть стихам их подлинность вызывают у людей почитающих или, вернее, чувствующих стихи — неумеренные похвалы.

Передай мой горячий привет твоим знакомым, скажи, что я очень жалею, что не могу приехать в Москву для личной встречи. О всевозможных проектах: я благодарю очень и очень за сочувствие и заботы, но предложением этим сейчас воспользоваться не могу (хотя, конечно, никакие должности меня не смущают, если уж Мейерхольд, единственный художник нашего театра, имевший все признаки гения, мог умереть счетоводом где-то в деревне³, то мне сам Бог велел).

М. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

25.XII—55

Дорогой Варлам, от Бориса Леонидовича принесли для тебя последние две книги «Доктора Живаго» для «быстрого прочтения перед дальнейшей перепечаткой» (до начала января) и письмо. Где ты хочешь, чтобы роман был в момент твоего приезда? Я могу его отвезти к Галине, а могу и у себя оставить. Если успеешь, напиши. Володя Гинце просил тебе передать привет. Сегодня он хочет поехать со мной к Галине.

Целую тебя. *Маша.*

М. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

26.XII.55

Был звонок от Бориса Леонидовича. Он хотел узнать, дошла ли в целости его посылка. Я ему сказала, что я распечатала и прочла его роман, потрясена, вся в впечатлении. Он: «Дорогая, как Вы меня обрадовали. Я так одинок в этом. Всегда так делайте. Мой разбег, взятый для того только, чтобы спросить о доставке пакета, разбился обо все, вами сказанное. Давайте, давайте читать всем по Вашему усмотрению».

Сейчас у меня роман читает Наташка. Борис Леонидович позвонил Варваре Павловне, чтобы она к субботе прочла его.

А Галина сказала, что ты в субботу приедешь ко мне, так что первая часть этого письма отпадает.

Целую тебя, мой дорогой.

Твоя *Маша*.

Г.И. Гудзь — В.Т. Шаламову

16.III.55. Москва

Дорогой Варлам!

Очень меня порадовало твое письмо из Ленинграда. Такая неожиданная и приятная отдушина в твоём рабочем бытии.

А мы в день получения этого твоего письма проводили вечер с Машей и Кириллом в чтении твоих стихов. Получился очень приятный вечер, и стихи понравились. Кирилл у нас чуть не умер: у него сделался нарыв в горле и он чуть не задохнулся, но в последнюю, казалось в самую критическую, минуту его вдруг вырвало и все выскочило.

Сегодня день рождения нашей мамы. Сообщаю тебе об этом, потому что мысленно всегда с тобой отмечаю этот день. Целую *Г*.

Г.И. Гудзь — В.Т. Шаламову

5.VI.55 Москва

Письмо мое, Варламка, пишется в необычных условиях: я у Аллки, ночь, и я дежурю около ее умирающей матери. Аллка с братом с 3 часов прошлой ночи на ногах и совсем обессилели. Обидно наблюдать, в какое беспомощное состояние человек впадает в конце жизни. И зачем так устроено, что после всяческого развития, совершенства и процветания наступает такой упадок и разрушение? А с другой стороны, если человек умирает, не дойдя до такого состояния, то тоже жалко и говорят тогда, что умер человек безвременно.

Я сделала растрату из тех денег, что берегла тебе на плащик. Пошла в очередной поход искать тебе плащ, а нашла себе и купила, т. к. мне, кроме пальто, нечего надеть, а прямо из пальто в «беспальто» рискованно да неприятно. А мне именно необходима была такая легкая покрывка. Уже два дня я наслаждаюсь. Красиво, удобно и без затей — надела, да и пошла. Варламка, кончатся чернила в ручке. Спокойной ночи, целую *Галю*.

13.VI.55 Москва

Дорогой Мумка.

Вчера, когда я была у Маши, готовилась к сегодняшнему празднику, позвонил Борис Леонидович.

После взаимных приветствий и любезностей («я рад, что могу поцеловать Вашу руку», а «я рада, что слышу его голос») он сказал, что хочет тебе передать, что он тебя помнит, любит и ценит по-прежнему. Что его упорное молчание зависит от того, что он переписывает вторую часть романа (не механически), в котором получилось около 600 страниц, и ни на что не может отвлекаться, что письма твои он получил, но не ответил потому же, т. к. ответить тебе кое-как на одном листочке он не может, а отрываться на большое письмо не имеет права. В доказательство привел пример: к нему настойчиво обращался главлитиздат (гл. редактор) с переизданием его стихов, но он даже это вынужден всячески оттягивать, чтобы не отрываться от романа. Но он (ты) записан у меня в книге сердца, на первой странице среди 2—3 максимум 4 имен. Я в него верю, верю, что его талант не останется неведомым, я чувствую, что мы идем к лучшему, и хотя я знаю, что о напечатании моего романа сейчас нечего и говорить, я все-таки чувствую уверенность, что пишу не впустую. На мои слова о нашем беспокойстве о нем он сказал, что, наоборот, давно не чувствовал себя так в форме, как сейчас, что во время II съезда с ним ничего особенного не было, «чистейшие пустяки, небольшой обморок», и что работается ему сейчас очень хорошо. Шаламова крепко целую. Люблю. Про тетрадку твою сказал, что можно почти всегда застать З<инаиду> Н<иколаевну> в 2 часа, но лучше подождать до личной встречи.

Ленка очень довольна и чашкой, и тапочками. Сказала: «Ой, как здорово, что эта чашка».

От тебя ничего нет.

Целую. Галя.

Г. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

20.VI.55 Москва

Дорогой Варламка!

Я заболела с воскресенья сильнейшим гриппом, вернее не гриппом, а насморком. Заливалась и чихала всю

неделю. Бюллетень я не брала не потому, что мне его не дали бы или платили бы 90%, а потому, что у нас очень сложно его получить. Так что я на работу ходила, но, по правде сказать, если я и получила з/п 100%, то работала я на 50%. А вечерами я лечилась всякими зверскими способами: водку с хиной, горчичные ванны ногам, малиновый чай, стрептоцид внутрь и в нос. За неделю сожрала почти поллитра водки. Сейчас насморк «конденсируется».

Говоря с тобой о сегодняшнем воскресении, я забыла сказать, что сегодня дежурю на участке. И вот сейчас пишу тебе, уже сидя здесь, на участке. Мне предстоит отсидеть 6 часов (с 4—10 веч.) — это ужас! Это почти рабочий день. Главное, что все уже отметились и делать больше нечего. Та, которую я сменила, сказала, что за ее 6 часов приходило 3 человека. Вот тоска. Ну я буду читать Сен-Симона, который, надо сказать, подвигается у меня слабо, и неделю я совсем не могла читать, т. к. точила слезы, а сейчас как стану читать, так засыпаю.

Вот сейчас начну читать и буду держать тебя в курсе, как у меня будет идти дело. Прежде всего примечания, к которым ты мне советовал обращаться, перепутаны, их номера не соответствуют ссылкам, приходится прочитывать несколько примечаний и подбирать себе подходящее по смыслу.

Читаю час, но во вкус не вхожу. Все эти «месье», герцоги, фамилии ускользают от меня, и пока я в примечании прочту, кто он такой, то я забываю, что он сделал в самой книге. Я не знаю, почему ты сравнил эту книгу с «Опасными связями». Там легкий, игривый сюжет с занимательной интригой в блестящем изложении и в оригинальном стиле, а здесь мемуары, в которых я пока не улавливаю даже сюжетного стержня. Та книга, как шампанское, а эта далеко нет. Почему ты сравнил?

Что-то я опять зачихала. Неужели опять возобновится насморк? Это будет неприятно п. ч. надо же все-таки работать, и потом я уже твердо решила пойти к зубному врачу, как вдруг эти «фонтаны» из носа.

Нет, решительно я засыпаю над Сен-Симоном и так и не понимаю, на ком женили герцога Шартрского — на своей же сестре, что ли? Ну, целую тебя и письмо кончаю. Сейчас еще напишу Марии Александровне. Ответил ли ты на письмо и что сам решил делать?

20.12.55

Милые, дорогие мои Варлуша, Галя, Леночка!

Мы с таким трепетом ждали ответа от Леночки, наметили срок 18, ждали почтальюна, смотрели в окно и в ящик заглядывали, но, кроме газеты, ничего. Расстроилась я очень, бранила Вову, что послал не заказным. Но вот сегодня получаю письмо «Дмитровское шоссе», бегу домой скорей читать и мне сделалось плохо, все завертелось, на минуту замерла душа, голова, сердце, ничего не помню. Милый, дорогой Варлуша, ты жив, жив, Господи, да как же все это, а я ведь уже давно решила, что тебя нет в живых и ходила в церковь поминала. Когда я послала посылку в Ногаево, первую, она не вернулась, ты ее, наверно, получил, а вторая вернулась обратно, значит, тебя уже нет, я так тогда глупая сообразила, а потом вся жизнь завертелась, война и всякие жизненные осложнения. Но ты, дорогой, почему ты ничего не писал, почему, ведь ты знал, что я в Сухуми? Правда, я еще ничего не знала, как и что и когда. Приезжайте к нам, живите, я в обиду вас никому не дам, хотя я уже имею не 30 лет, тоже стала старая, но вот до сего дня еще сама себя и Вову⁵ кормлю. Боря⁶ сидел 3 1/2 года в тюрьме, я ему носила передачи, все можно сказать загнала. Сидела и в холод, и жару, и дождь на толчке с барахлом домашним и железками тяжелыми, чтобы добыть тогда на передачу и себе, когда хлеб стоил 60 р. буханка, потом поступила чернорабочей в Судоремонтный, чтобы получать хлеба 800 г и сахара. Борю присудили к 5 годам (в 41 году, нач.) как <за> растрату. При случае расскажу, и выпустили в 43. Стали вместе год работать в Военторге и еще он в Золотопродснабе. Последнее перевели в Ахтыри. Он уехал организовать там рыб. промысел от этого учреждения. Там опять что-то натворил (а мы жили здесь), сошелся с кубанской женщиной. Ему уже сюда было нельзя, он скрывался, и вот в 52 г. явился с ней сюда, хотел поселиться у нас, но я не разрешила. Он теперь строит большой дом через три дома от нас, на участке Вл. Ник. и Юлии Ионовны, они тоже переехали из Кунцева. Много мы с Вовочкой видели горя, недостатков и издевательств, но все проходит, все забывает время. Я с 7 лет (когда Вове было) одна тяну и забочусь обо всем. Слава Богу, он уже закончил 11-летку, ездил в Ленинград, хотел поступить в Корабел. строит. инс-т, но по

немец. яз. получил неудовл., вернулся и тоже поступил работать, скоро м-ц. Осенью опять поедет куда-нибудь получить образование. Боря нам не помогал и не помогает. Вова туда не ходит. Вот, кажется, и все о нас. Тетя Катя⁷ (ей исполнилось 29 ноября 80 лет) жила у нас три года и вот уже 3 года живет у своей дочери Нади в Калининграде обл. (б. Кенигсберг). Степа⁸ демобилизовался. Таня закончила педагог. инс-т в Ленингр. и теперь где-то на севере преподает физ. и матем., а Леня (Надин сын) на 2-м курсе Корабел. инст. в Ленинграде. Наташин сын Вадим⁹ окончил Медицин. инс., теперь врач и Люся¹⁰ врач, а об Николае Сучкове не знаю. Валерий умер 6 декабря, уже вот 2 года¹¹ как исполнилось нынче. Летом была у меня Зина, отдыхала м-ц, живет там же, на Петровке. Юлия Георгиевна еще жива, ей 83 г. Она в доме престарелых. Вот, мои дорогие, как сложилась у всех нас жизнь, как-то горько и обидно. Столько было кругом горя и за что, спрашивается. Ну, ничего, не будем унывать, лишь бы Господь дал нам здоровья и для меня счастье увидеть всех вас и почувствовать близких, родных, ведь как я переживала, что мы с Вовочкой одни, Коля пропал без вести, и я держалась все годы какой-то внутренней силой, иногда теряла ее, но опять все собираю и ногу, руку, голову поставлю на место, все собираю целое и опять живу, пока не наступит день страшный, тоски и обиды. Правда, сердце очень стало плохое, миокард-артериосклероз, все это нагрузка переживаний и заботы.

Но вы, мои бедняжечки, что вы выстрадали, я даже не могу представить, ужас, ужас.

Мы однажды сидели с Вовочкой и разговаривали о родичах, кто у нас есть. Я говорю — вот есть где-то Леночка, твоя сестра двоюродная, и ее бабушка, жили они в Москве, а где не помню, и живы ли они после всего. Вова говорит: давай напишем в адресный справочный, давай я сам напишу, что будет. Он написал: сообщите Ел. Вар. Шаламова 18 лет и ее бабушке 70 л. Гудзь Антонина Эдуардовна и т. д., вложил еще туда конверт с маркой и ждем, с каким нетерпением он ждал ответа, что у него есть сестра, и день за днем ждем ответа, наконец получаем открытку с адресом Леночки.

Верьте, сколько было радости и слез моих. А теперь я вас прошу — в любой час наш дом ожидает вас хотя бы и навсегда, что вам Москва, одно горе, подумайте, приезжайте, отдохнете от всех жизненных огорчений. Наше солнышко вас согреет, места у нас хватит, и я по-

стараюсь заботой скрасить вам сколько могу вашу жизнь и позабочусь сколько есть сил.

Сегодня счастливый день, такие дни редки. Спасибо, Галя и Леночка, что написали, и так мне сейчас дорого ваше письмо, как вы меня согрели, Варлуша. Вова сразу сел писать ответ, но он редко пишет и что-то говорит. Ничего не получилось, пиши сама и зови их. Целуем вас крепко, крепко. Желаем здоровья и счастья в Новом году, пусть он принесет вам всякого благополучия. Пусть папа, Леночка, напишет скорей, как вы думаете устроиться дальше. Пишу и все не верится, что так может быть. Как можно было остаться живым? Горячо целую вас и крепко обнимаю.

Галя.

Пожалуйста, пишите скорей, чем вам помочь, что я могу вам сделать.

Милая Галя, извините, что, может, что и не так написала, но я еще плохо себя чувствую, никак не успокоюсь.

Целую Вас Г.

P. S. Если увидимся, все расскажу о нас.

Сухуми, Маяк д. Г. Т. Сорохтиной.

21/XII—55 г.

Г. Т. Сорохтина — В. Т. Шаламову

<6.01.56>

Милый, дорогой мой Варлуша!

Как я рада, что получила и держу в руке строчки, написанные милой родной рукой. Бедное наше гнездышко пустеет. Только подумать, столько лет прошло, даже становится страшно. От меня остался пшик, уже, наверно, и не узнаешь. Тоже стала полная и старая (обезьяна), как посмотрю и не верится, что это Галя Шаламова, а не хотелось стариться, душой как будто еще не так страшно стара, ведь не жила как будто еще сознательно и только после всех бурь вполне поняла, что такое жизнь. Только бы Господь помог и дал здоровья увидаться с тобой. Сегодня Новый год, я получила подарок — твое письмо, только ты пишешь так мелко, не сразу читались некоторые слова.

Дорогой мой, подумай, чем так мучительно жить далеко друг от друга, без семьи, может быть, лучше пока приехать сюда. У меня сейчас живет одна грузинка с дочерью — соседка через участок от меня, у них разва-

лилось жилье и попросились ко мне, пока построят что-нибудь — совсем чужие и мне не нужные, но я еще не потеряла чувство человечности и живут как дома, а вы там, и я тоскую и горюю и хочу, чтобы вы почувствовали себя в своем углу, чтобы было вам хорошо в родной семье. Вова очень зовет вас. У нас тепло — 12° и 15°, так что, когда нет дождя, ходят в летнем жакете. Я все думала, что это за Туркмен. Владимир Николаевич шлет тебе привет. Вова сказал Борису, он тоже очень сильно расстроился, что так много тебе и семье пришлось пережить. Пишу тебе коротко, т. к. на дворе стоят машины. Вова что-то помогает чинить, а чайник кипит для них. Сейчас придут, и надо хлопотать. Дорогой, милый, целую тебя и обнимаю крепко, крепко.

Любящая тебя *Галя*.

Г. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

9.I.56 Москва

Дорогой Варламка!

Вчера было письмо от Б. Л. и хоть ты «нахально» сказал, что это не мое дело, но я все же волнуюсь. Он, правда, пишет, если можно, то числа 10-го, ну а ты приедешь 14-го. Не беда, правда?

Я вот что хочу тебе сказать. В этот приезд приезжай к Маше. Ее не будет дома, и мы побудем там, а то у нас девчонки занимаются и не хочется их перебазировать, т. к. тут и еда, и книги, и чертежные доски, и все это очень громоздко.

Не увидишь ли серу в Калинине, а то у меня опять какая-то гадость на физиономии.

Ну, будь здоров, целую, *Галя*.

Г. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

29.II.56. Москва

Привет, Варламка!

Очень я рада, что у тебя получился такой хороший выходной день в одиночестве. Удалось ли тебе что-нибудь сделать за это воскресенье? И что?

Знаешь, какая приятность есть для тебя? Приехал Ленка из Ленинграда и рассказывает, что та Марина, которая хотела с тобой познакомиться, а ты отказался,

и она ограничилась тем, что списала твои стихи, эта Марина показывала твои стихи Анне Ахматовой, и она отзывалась в положительном смысле.

Написал ли ты Гале?

Вот видишь ты, балда, что делает твое высокомерное отношение к людям. Был бы ты знаком с Мариной, мог бы зайти к ней в Ленинграде, а она бы тебя познакомила с Ан. Ахм. Доволен ли ты этим соображением? Не тем, что ты балда, а тем, что она читала стихи?

Ленка болеет, простудилась вдребезги, а я вырываю чирьи на морде. Прямо самой себе противна. Что и делать, не знаю.

Ну, Мумка, приступаю к работе. В это воскресенье буду стирать; прошедшее-то я проспала. Даже днем спала.

Целую.

Галя.

Г. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

2.IV.56. Москва

Ты чудак, Варламка! Почему говоришь, что не пишешь, тем более что ты больна. Потому и не пишу, что больна. А вышла на работу так очень еще слабая, устаю, в сон клонит. Ну, не важно, сейчас идет на улучшение. Дело вот в чем: в субботу ты приезжай к Маше, т. к. туда будет звонок от Б. Л. Он хочет тебе передать роман, и вот уполномоченная девица будет по этому поводу звонить.

Второй вопрос: Маша просит привезти ей глицерин.

Как же это ты не можешь подобрать стихотворений для альманаха? Это меня удивляет. Надо просмотреть еще раз. Кстати, ты не оставил мне его письма, а я ведь его не читала.

Я нашла фотографии, сегодня посылаю Гале.

Ну и все. Вчера послала Кириллу телеграмму с днем рождения.

Целую, *Галя.*

Г. И. Гудзь — В. Т. Шаламову

25.V.56. Москва

Привет, Варламка!

Ты очень странно поступаешь! Ты сказал, что позволишь, когда приедешь, и не звонишь, и не пишешь, и не

приезжаешь. В результате получается, что я, во-первых, беспокоюсь, а, во-вторых, вторую субботу сижу прикованная к комнате и буквально к комнате, т. е. не могу заняться делом даже в кухне, потому что ты можешь постучать в стену, и я должна слышать. Мало того, в эту субботу я подключила в это дело и Зину¹², т. к. сказала, что мы придем к ней, когда ты приедешь, и она просидела весь субботний вечер, прождала нас. Ты так не делай. Если ты не приезжаешь почему-нибудь в свой очередной день, то напиши мне об этом заблаговременно и уж во всяком случае, если поездка сорвется внезапно, то объясни потом, почему ты не приехал.

В грядущую субботу (30.VI.) Машин день рождения, и я прямо с работы пойду к ней и буду у нее весь вечер, т. к. у нее, соответственно, будет собрание друзей.

Леночка все еще у Гали. Очень довольна своим пребыванием там, пишет, что хорошо, понравилось, и в каждом письме пишет, что Галя очень огорчается, что ты ей не пишешь. Она мечтает, что ты туда приедешь на жительство и построишься на ее участке, а то говорят, что участки будут урезать. Ленка пишет то же, что как было бы хорошо: мы к отцу приезжали бы возделывать там свой сад. Напиши Гале-то, ну что ты на самом деле всех хочешь отринуть от себя. Ведь сестра же такая любящая, и нежная, и жаждущая твоей ласки, и единственная притом.

Ответь мне на это письмо, чтоб я была в курсе твоих намерений и дел.

Вчера первый день дышала как следует, а то прямо гибла от жары. Ферапонт тоже зачах.

Приветствую, целую, *Галя*.

В. Т. Шаламов — Г. И. Гудзь

28 августа, 1956 г.

Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись и на их сближение нет никаких надежд.

Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию, стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. [Это я чувствовал с первого часа нашей встречи.]¹³

Будь здорова и счастлива.

Что есть у тебя из моих вещей (шуба, книжки, письма), сложи в мешок — я приеду как-либо (позвонив предварительно) и возьму.

Лене я не пишу отдельно — за три года я не имел возможности поговорить с ней по душам. Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать.

Е. В. Шаламова — В. Т. Шаламову

VIII. 1956 г.

Очень трудно начать и вообще писать такое письмо, я даже не знаю, пошло ли я его, потому что твердо уверена, что это ни к чему хорошему не приведет. Хотелось с кем-нибудь поделиться этими мыслями. Они созревали уже давно и только никак не могли оформиться в фразы. Да и сейчас они не оформились для разговора, но для письма — да. Именно поэтому так и не состоялось между нами разговора. Да он и ни к чему бы не привел.

Раньше мне жизнь представлялась легкой, спокойной, веселой. Постепенно я стала понимать, что это не так, что счастливых минут гораздо меньше, чем грустных, а людей отзывчивых и добрых меньше, чем плохих. И вот тут установилось совершенно твердое убеждение: чем хуже человеку, чем труднее ему живется, чем в менее человеческих условиях он живет, тем трепетнее он оберегает хорошее и светлое — пусть это воспоминания или встречающиеся люди. Все хорошее так надолго остается в памяти, все хорошее, что сделали тебе люди, и хочется, чтоб этим людям жизнь отплатила втройне добром, и как бываешь рад, когда в это добро вкладывается и твоя лепта.

После последних событий в жизни окружающих меня людей я стала в этом сомневаться. Хочу объяснить, в чем дело.

Когда в школе я писала сочинение «Мой любимый герой» — я писала о маме, когда читала «Русских женщин» — я думала о ней, когда с товарищами по институту искали образец человека, образец преданности, человеколюбия — все сходились на том, что это моя мама.

23 года своей жизни, ну пусть 13, даже 10 лет я сознательно вижу, что такой Человек, как мама всю жизнь с 27 лет, т. е. с самого расцвета, проводит в страданиях, лишениях. За что? Мама, которая всех и везде поража-

ла своей честностью и искренностью, вынуждена что-то скрывать, даже говорить неправду. За что?

Чтоб избежать волнения вашей жены (простите, не знаю ее имени и отчества), хочу заранее сказать, что целью моего письма не является сравнение ее с мамой. И ни в коей мере я не хочу касаться вашей семейной жизни. Я очень рада, искренне рада (и мама тоже) за вас обоих и за мальчика, и дай Бог, чтобы все было у вас хорошо. Речь будет о другом.

* * *

За что?

А за то, что мама всю себя без остатка отдала людям, каждый ее шаг, поступок — это для кого-нибудь, и совсем ничего для себя. Я знала людей даже не очень хороших, которые всегда хотели маме сделать приятное. Вернее, я не знаю ни одного человека (о людях-зверях я не говорю), которые бы к маме плохо относились. Все мои друзья, подруги всегда стараются маме оказать какой-нибудь знак внимания. Что я слышала в детстве об отце? Я говорю в детстве, имея в виду то время, когда у меня в душе складывался образ отца. Ни одного равнодушного слова о вас. Мне советовали читать ваши стихи и рассказы, мне рассказывали случаи из вашей жизни. Наконец, мне казалось, что самый хороший отец — это мой. И мне дико и порой страшно и непонятно видеть, что этот *хороший человек* — единственный из маминых *знакомых* (пусть даже так) совершенно забыл то хорошее, что мама для него сделала, совсем никак не хочет ей за это отплатить. Вы — один такой, понимаете, насколько неверно и мелко ваше поведение? Ошибаетесь вы, потому что вы один.

* * *

Еще раз тысячу извинений прошу у вашей жены и еще вношу разъяснение: я ничуть не хочу винить вас или маму в том, что вы развелись, вас в том, что вы женились. В этом виновата жизнь. Я так смело говорю, потому что уже несколько *лет* об этом думаю и считаю, что имею право на то, чтобы сказать.

Но ведь поймите вы оба, что у мамы в жизни не осталось ничего. Я стараюсь по возможности скрасить ей

жизнь. И самые светлые минуты бывают у нее, когда она видит, что люди ей на добро отвечают тем же.

* * *

Не смейте маму жалеть. Не для того совсем я пишу. Мама сильный духом человек, ей ваша жалость не нужна. Я пишу для того, чтобы спросить, неужели вы забыли такие даты: 1 января, 8 марта, 10 марта, 13 апреля, 27 мая?

Неужели к Новому году вы не можете послать телеграмму по сниженному тарифу людям, которые это заслужили по отношению к вам? Вы скажете — какая глупость! Дело не в деньгах! Так в чем же? Неужели в мещанском мировоззрении на бывших жен (неудобно, жена будет ревновать и т. д.). Этого я не думаю. Мне кажется, что ваша жена могла вам только подсказать такой шаг, но никак не препятствовать ему. Ну пусть маме вы не хотели доставить несколько приятных минут. Ну а Маше, а Марии Иосифовне, а дяде Сереже из Калинина, которые столько для вас сделали в тяжелые для вас дни, а тете Гале Сорохтиной вы хоть пишете? А вы знаете, что умерла тётя Катя¹⁴ в Сухуми? Эх! Сколько таких «а вы...» можно сказать.

И так поступаете вы, человек, столько переживший, человек, которого жизнь так жестоко учила ценить добро и отличать его от зла.

Я хочу, чтобы вы знали, что ни один из перечисленных мною людей никогда со мной обо всем этом не говорил. И если бы мама знала, что я пишу вам такое письмо, она наверняка запретила бы его посылать и даже думать так.

Но, к сожалению, я уже достаточно взрослый человек для того, чтобы остро чувствовать все это.

Я пишу, конечно, не для того, чтоб вы моментально всем разослали телеграммы или хотя бы открытки. Впрочем, я уверена, что этого никогда не случится. А ведь у Маши (это мамина сестра) даже есть телефон, это просто 15 копеек. Трудно все это понять. И больно, что с такой бесчувственностью я столкнулась именно в вашем лице. Нам-то уж не пишете, мы переехали. Кстати только поэтому и узнали ваш новый адрес: мама вынуждена была доказывать представителю райисполкома, что она живет в Москве не только с 46 года и что у ее мужа нет для нее площади. И в домоуправлении (Го-

голевский, 19, кажется, так?) им сказали, что вы получили квартиру на Хорошевском шоссе. Очень хорошо, мы очень рады за вас. Вы, по-видимому, получили это за все пережитое? А не пришло ли вам в голову, что 10 лет этих переживаний мама делила с вами наравне, а остальные 7 или 8 лет душой за вас изболелась, живя в кибитке и бараке. И как она страдала, что не могла вам уже тут в Москве создать уюта и семейного счастья?! И вашей женитьбе она была искренне рада, была рада, что вы встретили человека, с которым вам хорошо! Эх! Да что вам объяснять?!

* * *

Очень прошу прощения у вашей жены, если ей это письмо доставило несколько неприятных минут. Но ведь она человек, говорят, простой и добрый и много переживший, она должна понять меня, как *дочь*.

Если у вас хватит терпения дочитать это до конца, то пусть вы не сомневаетесь, что мама ничего об этом не знает. Она живет спокойной счастливой жизнью, мы со Стасиком стараемся, чтоб она была счастлива. И мне только жаль, что ее светлая, чистая жизнь не у всех, ее знающих, вызывает чувства уважения и благодарности.

Лена Шаламова-Янушевская.

Г. Т. Сорохтина — В. Т. Шаламову

<18.07.56>

Дорогой мой Варлушенька!

Извини меня, так долго не могла собраться написать тебе. Все что-то никак не налажусь с заботами, день мелькает за днем, думаешь сделать надо вот это, это и это, разбрасываешься по мелочи, а на большое уже и сил не хватает. Жизнь-то ведь какая — никчемная, неинтересная, все только о куске, «кушать хочу» — это Вовка как придет первым делом, значит, ему мало всего. Да жизнь наша шиворот-навыворот! Никак никто не наладит, ведь хорошо сидеть у больших кусков, зачем думать о людишках. Не убили бы Колю, может, и мне бы было легче на душе и в жизни. Все хорошие годы прошли в каких-то исканиях лучшего. Сколько лет и все не наладят, до сих пор не имеешь возможности жить нор-

мально, иметь всегда 100 гр. масла для ребенка. Ведь не всякий способен красть, спекулировать и обманывать.

Дорогой мой, как жаль, если вы не приедете нынче, все же отдохнуть на море хорошо. Я очень счастлива и довольна была приезду Лены. Мы с ней жили хорошо. Она умная девушка и простая без всяких вертихвостов. Я рада, если она когда-нибудь, если сможет, приедет опять. Вова тоже очень ее полюбил и всем говорит про: «Это же Лена (сейчас живет тоже моей подруги дочка, но она целый день занята своей наружностью и глажением платьев, учится на 3-м курсе инст-та иностран. язык.), она не будет два часа стоять перед зеркалом, когда надо идти», — это он говорит Светлане, собираются в город. Но девчонка тоже неплохая, много читает, развитая.

Тетя Катя пишет, что ей там тяжко. Надя очень черствая и не знает, как добраться до меня. В.Н. и Ю.П. шлют тебе привет. Пока закончу, так кто-то опять зовет, да и надо сбегать в город на рынок — яблоки у нас 3 р., помидоры — 5 р. Как только смогу, пошлю тебе и Гале посылочку. Крепко целую всех вас. Пишите. Привет от Вовы. Как твои дела? Я жду <ответа>.

Люб. тебя *Галя*.

Привет Зине, скоро напишем и ей.

Г.Т. Сорохтина — В.Т. Шаламову

<16.11.58>

Дорогие Оля, Варлуша, Сережа!

Я глубоко виновата, что так долго не собралась ответить на ваши письма и поблагодарить за деньги. Правда, деньги меня очень огорошили и огорчили, я и сердилась и плакала, ведь у вас у самих столько дыр, вы тогда дали сколько, — что этих денег никак не должны были посылать. 26-го или 27-го уехала Лена с подругами. Питала я ее как могла, чтобы она себя чувствовала хорошо, не знаю, как там вышло на деле. В этот раз она была гораздо оживленнее, чем весной, нет сравнения, может быть, все и пройдет. В ней много, конечно, избалованности, так как все с ней возятся и стараются все сделать так, как ей хочется, но все это пройдет, а больно мне только то, что она как-то равнодушна к тебе, ничего не поняла, сколько ты выстрадал, но я думаю это Галино влияние. Бог с ней, об этом, правда, я с ней никаких никогда разговоров не вела, все равно не поймет, а только оттолкнется. Постар-

ше будет, еще в жизни много будет передрыг, тогда разберется. Девочки остались довольны, правда, я немножечко устала, много было работы, все перестирала, ведь их было шесть девушек, все очень славные, отзывчивые, приятные и заботливые. Погода стоит у нас распрекрасная для ноября месяца, еще купаются, ходим в летнем платье, окна открыты и двери все, вот сейчас 7 час. вечера и все открыто. На море днем жарко, ходила полоскать свое старое пальтишко, даже поторопилась поскорей вернуться домой, так жарко. Ночью средняя 10—16, а днем 25°. Завтра 7-е, но что-то нынче у нас ничего не вышло, остались при пиковом интересе. Два дня Вова сдавал зачеты — получил 4, я поругала его, ведь может получить пять. 17-го, наверно, уедут на практику в Кутаиси, я буду скучать — ведь одна. Что это такое с Пастернаком? Я читала в газете, страшно огорчена, увижу если когда тебя, ты расскажешь. Как устроилась Оля, я рада за нее, пусть отдыхает, ей это необходимо. Какой ее адрес, я бы черканула ей. Сейчас у меня на несколько дней приехала отдохнуть грузинка Вардо, та, что во время землетрясения привозила, год или 1 1/2 тому назад, всю свою семью — это 200 км. от нас, в сторону Тбилиси. Как уедет, хочется и мне отдохнуть, последнее время ужасно болят ноги в коленках, как деревянные, хотя бы паралич не хватил, может, ревматизм, а вообще-то старость, сколько можно еще жить. Впереди зима, сколько забот опять ляжет на меня, если буду здорова. Сегодня первый день за все лето как сбегала к Ю. П., т. к. мне сказали, что В. Н. болен. Он очень похудел, у него экзема (наверно, от собак), все чешется, и астма, и с Ю. П. все ссорятся, вспоминают о делах давно минувших, ревнует Ю. П. его к Гл. Пав., оба выдавали все секреты, переплывались, но в день отъезда Г. П. помирились, т. к. всем уже за 70 лет, осталось уже немного. Это все Н. Ник. передает, а потом все начинают сначала вспоминать. Юлия Петровна на днях уезжает, она прожила 2 мес., лечилась на наших новых источниках вот уже 2-й год, говорит, ей легче, а ведь ноги у нее ужасные. Что-то Сережа мне ничего не черкнул, как он себя чувствует, как его дела, как товарищи, нашел ли он своего друга, о котором скучал и ждал письма. Его фигурки, что он лепил, у меня на этажерке, смотрю и всегда вспоминаю вас. Почему я такая бедная, а как бы много я всего сделала для вас, если бы в моих руках были денежки, посылала бы вам посылки. «Бодливой корове бог рог не дает!»

С удовольствием прочла «Три товарища», что бы еще такое почитать? Дрелька, Степа, Руслан, Джильда и Пират — все шлют привет и желают, чтобы вы их не забывали и почаще писали.

Крепко вас всех целуем, дорогие мои, милые друзья. Пожелаю вам здоровья и благополучия.

Дорогой Варлуша, как твое питание, не забывай о калориях, необходимых для тебя. Еще раз всем желаю счастья.

Люб. вас *Галя*.

Г. Т. Сорохтина — В. Т. Шаламову

<01.05.62>

Мой милый, дорогой Варлуша!

Что-то давненько о тебе нет весточки, и терзаюсь думами, здоров ли ты? Погода, такая не установившаяся, то тепло, то холодно, особенно вечерами. Правда, у нас нынче не было ничуть снега, но все равно холодновато. Деревья все уже отцвели, кругом много зелени, цветут кусты жасмина, ирисы и т. д. Сегодня на рынке уже появилась клубника. Помидоры высажены у некоторых, как наши соседи, уже цветут и в парниках огурцы. Ноги мои все еще болят, особенно когда потаскаю тяжести или поколю дрова, ничего не поделаешь — старость не радость, иногда так хочется, чтобы и обо мне так позаботились, как делаю я, но это мечта.

Писала ли я тебе, что получила с Ухты письмо, там горе, у Стасика — мужа Леночки, умерла мать. Днем она была в кино и на вечер купила билеты Лене и Стасику, а сама осталась с детьми, кстати, ты теперь дедушка двоих внуков — близнецов, очень милые хорошие детки! Вадик и Костя. И вот когда Лена пришла из кино, звонят, стучат, слышат, дети плачут, никто не открывает. Тогда дверь взломали. Сидит Мар. Ив. у стола, подперев рукой лицо, и уже мертвая. Смерть красивая, легкая, но все же жаль ее, ей ведь вот-вот должно было исполниться 60 лет, могла бы еще пожить, была здорова и приехала посидеть и помочь Лене и сыну в хозяйстве. Стасик очень хороший, прекрасный человек, он у меня два раза отдыхал, вообще чудесный парень, большая умница, ему 28, он занимает ответственную должность главного инженера строительства и т. д.

Не знаю, писала ли тебе сама Лена, но она очень переживает отчуждение, которое поняла, и хочет тебя видеть. Девочка она умная, работает инженером и семья, здоровье тоже не особенно, после той болезни.

Насчет книг я тогда ужасно огорчилась, что так на почте у нас, воровство, стыдно в наше время, и взяла и написала министру связи в Москву, что ты послал мне к 60-летию подарок — книги и они пропали, как это можно.

Москва сейчас же мне письмо, что будут разыскивать, потом послали в Тбилиси, а оттуда сюда, пришли ко мне из гл. почты и нашей начальник, что, мол, послано простой бандеролью, почта не может отвечать, а тогда, говорю, значит, нельзя принимать простые бандероли, стыдно за вас. Наш начальник почты просил написать, что я претензий к нему не имею, правда, это, конечно, не у нас украли. Вообще все они жулики. Меня уж очень возмутило, что все надо застраховывать, иначе пропадет, где же честность и порядочность, о кот. на каждом шагу твердят. Воруй кому не лень!

После этого Москва мне снова прислала, что будут относиться строже. Все это ерунда, а книжки пропали и денежки ты затратил, а их и так мало. Я тебе, кажется, писала, что Вова работает на производстве, на «Электроприборе» около рынка — работает механиком и сварщиком. Производство новое, денег плохо дают, вот уже 2 мес. нет жалованья. Банк не отпускает, пока не будет продукции. Мар. Фран. работает напротив их и узнает, когда и что. Там обеды и повар. 19 лет Валерик, моей крестницы брат, мать бывшая — Квасова, у кот. мы купили наш участок и где Сергей рядом живет, так вот Валерик Вове отпускает обед как родственнику, считают они нас родными. Что-то давно от Вадима нет письма, здоровы ли все они?

Зина тоже написала, что все болеет и переход на пенсию страшит, будет скучно, но и устала с той работой, я ее звала, но у нее давление, в жару боится, но у нас меньше жары, чем у вас, по-моему, у нас море, ионы, все это облегчает, вот Ел. Пант. у нее 240 бывает, но она не чувствует так себя плохо. А В. Н. и Борис купили себе (да и многие) аппараты (наз. ионизированный воздух) и теперь у них у всех в комнатах горный свежий воздух, особенно у кого астма и сердце. Купите и вы, пожалуйста, себе. Если буду жива летом, то заработаю вам на аппарат. Борис говорит: я стал себя пре-

красно чувствовать, потом он пьет какое-то маточкино пчелиное молоко, и В. Н. говорит, когда работает в комнате эта штука, то, говорит, легко дышать, помогает от стенокардии (так, что ли, называется это). Здесь сейчас этих нет в магазинах, сразу все раскупили, но, наверно, будут. Как Оля, Сережа? Как они себя чувствуют? Привет им, чему-то Сережа никогда не напишет.

Целую вас всех. Будьте здоровы.

Галя

Р. С. Не сердись, может, что и не так написала — «стар, что мал!»

В. Т. Шаламов — Г. Т. Сорохтиной

<1968>

Дорогая Галя.

Поздравляю Вову и Любу от всего сердца, желаю счастья, согласия, мира.

Может быть, тебе будет полегче с хозяйством. В книге Бенка отмечается особым образом большая положительная — культурная, нравственная — роль русских миссионеров на Алеутских островах. Это же подчеркивается и в редакционных примечаниях. Вениаминов¹⁵, о котором идет речь в книге, как о выдающемся ученом-этнографе — православный священник, будущий (в середине XIX века) митрополит Московский Иннокентий.

Крепко целую. В.

ПРИМЕЧАНИЯ

Переписка В. Т. Шаламова с родственниками вводит читателя в круг больших и малых интересов семьи — от знакомства с Б. Л. Пастернаком и стихов самого Шаламова до семейных ссор, болезней, планов на огородничество в Сухуми и т. п.

Думается, чтение переписки будет понятнее, если обрисовать родственные семейные связи.

Первая жена В. Т. Шаламова — Гудзь Галина Игнатьевна (1910—1986), брак их длился с 1934 по 1956 г. Юридически Галина Игнатьевна развелась с мужем, когда он был в заключении.

¹ Гудзь Мария Игнатьевна — старшая сестра жены В. Т. Шаламова, Галины Игнатьевны Гудзь. Шаламов с боль-

шим уважением относился к ней. Ее подруги Л. М. Бродская и Н. А. Кастанльская стали близкими людьми и для Шаламова.

Кирилл — сын М. И. Гудзь, его жена — Светлана. Мать Г. И. и М. И. Гудзь — Антонина Эдуардовна, урожденная Гинце, отец — Игнатий Корнилович Гудзь, работник Наркомпро-са, хорошо знал Н. К. Крупскую. Володя Гинце — видимо, родственник со стороны Антонины Эдуардовны. О своей теще и тесте В. Шаламов всегда вспоминал очень тепло.

² Дочь Елена Варламовна (1935—1990), в замужестве — *Янушевская*, муж ее Станислав Борисович, инженер-строитель, двое их приемных сыновей 1960 г. р. — Вадим и Константин.

³ Ложный слух, распространявшийся явно не без участия МВД.

⁴ *Сорохтина* Галина Тихоновна (ум. 1987) — сестра В. Т. Шаламова, единственная из семьи Шаламовых оставшаяся в живых ко времени его возвращения. Старший брат Валерий умер 6 ноября 1953 года, не дожив до встречи с братом нескольких дней. Зина — его жена. (Г. Сорохтина приводит другую дату — 6 декабря.)

⁵ Вова — сын Г. Т. Сорохтиной.

⁶ Боря — муж Г. Т. Сорохтиной, с которым развелась впоследствии.

⁷ *Воробьева* Екатерина Александровна — сестра матери В. Т. Шаламова, к которой он приехал в Москву из Вологды в 1924 г. Она работала в Кунцевской больнице, именно у нее В. Т. жил до поступления в МГУ и получения места в общежитии («Черкасске»).

⁸ Надя, Степа, Таня, Леня — члены семьи Е. А. (ур. Воробьевой).

⁹ Вадим — сын любимой, умершей еще в 30-е годы сестры Шаламова Натальи. Он окончил медицинский институт.

¹⁰ Люся — жена Вадима.

¹¹ Валерий — старший брат В. Т. Шаламова. Зина — жена брата Шаламова Валерия.

¹² Зачеркнуто автором.

¹³ Екатерина Александровна — сестра матери Шаламова, см. пр. 7.

¹⁴ *Вениаминов* Иван Евсеевич (1807—1879) был миссионером во владениях Российско-американской компании (1824—1839), с 1868 — митрополит Московский и Коломенский.

Некоторые имена принадлежат подругам и близким людям родных Шаламова. К сожалению, нет источников для их комментирования: Александра Борисовна, Варвара Павловна, Алла, Мария Алексеевна, «Дядя Сережа» и Мария Иосифовна

из Калинина, Владимир Николаевич, Юлия Петровна, Марина и другие... Эти люди входили в окружение родных.

Упоминается в письмах вторая жена В. Т. Шаламова — Ольга Сергеевна Неклюдова (1909—1989), писательница, брак с Шаламовым в 1956—1965 гг. Сережа — ее сын, Сергей Юрьевич Неклюдов.

ПЕРЕПИСКА С А. З. ДОБРОВОЛЬСКИМ

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому¹

13 августа, 1954 г., пос. Туркмен².

Дорогой Аркадий Захарович. Премного благодарен за несколько любезных фраз, уместившихся на открытку казенного формата. Мне было бы надо начать с извинений, поскольку, кажется, уехавший должен первым писать на старые адреса. И в этом отношении любезность Ваша вполне мной оценена. Однако, по небрежности ли просто, или в силу скептицизма в отношении летательных аппаратов тяжелее воздуха, Вы послали эту открытку земным и морским путем, и она добралась до меня лишь 2 дня назад, а ведь писана была в двадцатых числах июня. Кроме того, по адресу Редкино, Озерки писать уже бесполезно, я сменил место работы и жительства, и теперь адрес такой: ст. Решетниково Окт. ж. д. Калининской обл., п/о Туркмен, до востребования. Ответ не задерживайте, пишите скорее, больше.

Вы, именно Вы должны были понять, как хочется мне поделиться и сомнениями, и радостями с Вами — потому что в целом свете у меня нет человека, который бы лучше Вас, с полным знанием дела мог оценить любую сторону моего бытия, поведения, ощущения в силу сходности нашей личной судьбы. Это Вам, я полагаю, ясно. Поэтому прошу писать немедленно и много. То, что я 7 месяцев не даю о себе знать, находит тысячи извинений, которые Вы также обязаны принять. Встреча с миром, который успел сделаться если не чужим, то иным для меня, чем был когда-то. Встреча с женой, которая (встреча) наряду с глубочайшими радостями и великим удовлетворением нравственным, кое в чем звала (и не могла не звать) и к раздумьям и диктовала какие-

то новые, не предвиденные мной решения. Время ведь шло и шло, она сражалась с жизнью одна, в меру своего разума и своей, только своей, а не нашей силы. То, что было ее гордостью, могло и не быть гордостью для меня. Кое в чем надо было уступить, на чем-то настоять, а ведь все — урывками, на улицах, в метро, на людях. Это нелегкая штука, поверьте, и требует большого нравственного напряжения. А важность ее неизмерима. Я ведь имею смелость считать подвиг моей жены не ниже деяний русских героинь 20-х годов прошлого столетия. Это — первое. Второе — это дочь, которую я вовсе не видел, и — что гораздо серьезнее — она вовсе не видела меня. А ведь ей 19 лет, это взрослый человек. Этот орешек тоже надо было разгрызть, и нельзя сказать, чтобы я не поломал зубов при этой операции. Наконец, встреча с Б[орисом] Леонидовичем на второй же день моего приезда — встреча, которой я живу и сейчас и которая была для меня оправданием всей моей жизни. Даже встреча с родным городом, с камнями, площадями, домами, деревьями, улицами может взволновать, целый ряд проблем поднять и поставить, и т. д. и т. п. Я думаю, что материала для извинений у меня слишком, и я уверен в Вашей снисходительности.

На этом вступительная часть заканчивается, и я могу перейти непосредственно к письму. Вы просите меня писать со всей обстоятельностью, иронически добавляя: «свойственной Вам». Я не знаю, свойственна ли мне обстоятельность, но, дорогой Аркадий Захарович, эта обстоятельность требует личной встречи и неустанной беседы в течение многих дней. Поэтому не огорчайтесь, если желаемой подробности я дать Вам сразу не смогу — просто из-за того, что и эпистолярный стиль имеет тоже рамки и границы, как и любая литературная форма, может быть, даже более тесные. Еще одна оговорка — мне очень хотелось бы знать все о Вас — и планы Ваших работ (сюжеты, аспекты, возможности) в наиболее подробном, специально литературном плане. И все мелочи жизни Вашей — постройка дома, женитьба, книги, которые Вы читаете, все, все. Мне очень жаль, что новых моих работ (не тех неуклюжих стихов, при рождении которых Вы чуть ли не играли роль повивальной бабки) мне не удастся Вам показать. Впрочем, если Вас заинтересует, я могу прислать Вам. Там есть кое-что, заслуживающее внимания. Очень бы хотелось, чтоб Вы познакомились с большим романом Б. Л. (роман

в прозе) и его новыми стихами, небольшая часть которых была напечатана в апрельском номере «Знамени»³. Я живу твердой надеждой, что мне удастся сделать что-нибудь стоящее. Не напечатать, конечно, но дело ведь не в этом, и притом Вашу когдатошнюю точку зрения насчет столбовых дорог я по-прежнему не разделяю.

В человеческом смысле, на службе, я был принят больше с интересом, чем с отчуждением. Общая линия смягчения и конституционности, обусловленная международными успехами, сказывается в высокоорганизованном и дисциплинированном обществе до самых глухих углов. Личных симпатий и антипатий не существует. Медицинской работой мне заниматься не пришлось, т.к. фельдшером не дали работать из-за отсутствия диплома, а медсестрой разрешил Калининский облздрав, но из-за материальной стороны дела я занялся другой, мало знакомой мне работой, сделал быстрые успехи, дошел до тысячерублевого оклада и был спешно заменен. Получай бы я поменьше, не пришлось бы менять место работы. Живу я в 7 километрах от ст. ж. д., раза 2 в месяц выдаюсь с женой. Работа моя в непрерывных разъездах, и выбрать время даже для порядочного письма трудно, не говоря уже о серьезной литературной работе, и это мучит меня больше всего.

Нигде пока я не встречал какой-либо придиричivosti, какого-либо обостренного интереса к прошлому и т. д. Соблюдается строго формальная сторона дела, а думать о возможностях всяких подводных течений и готовиться к ним у меня нет ни сил, ни интереса, ни времени. Денег здесь уходит больше, чем уходило у меня на Севере, и что-нибудь скопить или купить путное я не могу, хотя ряд месяцев я получал здесь больше, чем на Левом. И семье почти не помогаю. И газет не выписываю. Природа здесь — типичная природа русского Севера — не может быть, конечно, сравнена с расточительной, грозной и пышной природой Севера Крайнего. Вся эта сосредоточенность на немногих породах, мощность и чистота красок — этого здесь нет. Но зато лето — первое мое здешнее лето — необычайно длинное, уже прошли все, кажется, сроки, а все кругом в зелени, овощей, фруктов — полно. Но все это вовсе не дешево.

Ну, вот, для первого письма достаточно. Горячий привет Лиле.

Жду скорого ответа.

Ваш В. Шаламов

23 января, 1955 г., Туркмен.

Дорогой Аркадий Захарович. Сегодня получил Вашу телеграмму и, как видите, немедля отвечаю, не ссылаясь ни на занятость, ни на нездоровье. Я, находясь на Севере, всегда энергично осуждал людей, которые, уехав, не пишут, пытаются в самом простом оборвать связь с прошлым, со страшным, не понимая, что к этому прошлому человек привязан на всю жизнь и смерть и нет людей (или это не люди), которые ушли бы от власти льда. Да это и не нужно. И там нам есть чем гордиться и там нам есть чего желать. Разрывать с прошлым — значит рвать с самим собой, с натурой, поставленной когда-то в условия испытательные, когда она может показать себя целиком во всей своей слабости или силе. Это все — старое, постоянное мое исповедание. Трудности огромны, моральные барьеры — высоки. Вы можете вспомнить соответствующие мучения Веры Фигнер⁴ по выходе из Шлиссельбурга. А ведь, казалось бы, жизнь в Шлиссельбурге по сравнению с Севером — ребячьи игрушки. Я напому Вам еще, что Чехов не однажды писал, что вся его жизнь поделена на две части. Одна — до поездки на Сахалин и вторая — после поездки, когда уже он был не в силах написать ни одного юмористического рассказа. «Если раньше, до поездки, — пишет он, — “Крейцера соната” казалась мне событием, то сейчас она кажется мне пустяковой и бестолковой»⁵.

Вот, стало быть, чем для Чехова были три, всего лишь три месяца наблюдений. Повторяю — душевно очень трудно, очень. Я так понимаю Калембета, Миллера⁶ и еще кое-кого из людей, покончивших с собой через год после возвращения в число «чистых». На съезде писателей⁷ я не был. Можно было, конечно, приложить усилия и удостоиться лицемерия так называемых писателей, но уже подготовительная работа к съезду (о которой Вы, вероятно, составили представление по литгазете) выяснила, что никаких собственно тем-то у съезда и нет. Ибо вопрос о положительном герое — это не тема для съезда писателей.

Грубовато, но довольно здраво прозвучал выпад Шолохова против Симонова — мне особенно приятный, ибо я Симонова в его любой ипостаси считаю бездарным.

Доклад о поэзии делал Самед Вургун, боже мой, боже мой.

Все, кто в предсъездовских дискуссиях пытался чуточку фрондировать (Сельвинский, Асеев), даже не были допущены к трибуне.

Перед съездом было (в «Л. Г.») любопытно письмо группы писателей о «малой пользе С.П. для литературы», и как же это мигом было растерзано энергично перьями (Наровчатова, Безыменского, Ажаева и др.). А письмо это подписали Казакевич, Гроссман, Паустовский, Каверин, Луконин — т. е. то небольшое писательское, что еще осталось «в рядах».

Борис Леонидович не был на съезде. Его и в Москве нет. Он зимует на даче. Болеет, как передает жена. Я его не видел уже давно, давно.

Я пишу по-прежнему много стихотворений, наверно, уже около тысячи написано, но путного ничего нет. Сейчас вожусь с короткими рассказами — я давно их не писал, отучился, но с десятков все же состряпал. Конечно, не для того, чтобы их отправлять в какой-либо журнал, а так, для себя. Имел я на Севере последние годы тайную надежду, что, если будет милостива судьба, напишем-ка с Вами вдвоем хорошую книгу, не мемуары, а такую выдумку, в которой наш личный опыт дал бы нам умение лучше показать людей и дал бы нам право судить людей. Во многих пунктах мы сходимся, причины несходства понимаем. Одному очень трудно, знаете. Память, как и чувство, слабеет, тает.

Теперь многих возвращают, прощают, даже кокетничают этим.

Посылаю Вам, одно из вчерашних, еще направленных стихотворений, просто для того, чтобы Вы уразумели мое нынешнее настроение. Простите за несвязное письмо. Спрашивайте — я своевременно и охотно буду отвечать.

Привет Вашей жене.

В.

Ворвавшись в будни деловые,
Я не нашел, чего искал,
И о тайге моей впервые
Я не шутя затосковал.

Там измерять мне было просто
Все жизни острые углы,
Там сам я был повыше ростом
Любой базальтовой скалы.

Где люди, стиснутые льдами,
В осатанелом вое вьюг

Окоченелыми руками
Хватались за Полярный круг.

Там поднимали к небу руки
Мои умершие друзья,
С какими я не знал лишь смуты
Из всех мучений бытия.

И где текли мужские слезы,
Мутны, покорны и тихи,
Где из кусков житейской грязи
Лепил я первые стихи.

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

12 марта, 1955 г., Туркмен.

Дорогой Аркадий Захарович.

Получил я дней пять назад Ваше сердечное большое письмо и не нахожу слов для изъявления благодарностей и симпатий. Мерки жизни, которые отстоялись в душе в северное время и которые, естественно, кажутся многим людям непонятными, а подчас вовсе не нужными в широтах иных, сохраняют тем не менее всю свою власть, силу и значение, и так важно знать, что пользуешься ими не один. Я бы ответил на письмо тотчас же, но услали в командировку, вернулся только вчера. Был в Ленинграде, в городе, в котором, стыдно сознаться, я никогда не бывал раньше. Смешно, конечно, но так ведь и прожил всю журналистскую жизнь, не побывав там, где надо было побывать обязательно, и обязательно в юности. Был там всего сутки, бродил по улицам в смутном восторге, в какой-то тревоге, в каком-то тревожном очаровании, узнавая каждый дом, припоминая все, что для меня было связано с этим городом. Я только теперь, вчера понял, чего мне всегда не хватало в Москве (вернее, чего Москве не хватало для меня). Мне не хватало двух веков русской истории, 18-го и 19-го веков русского искусства, науки, русского рабочего движения — ведь вся, собственно, русская история вложена в эти два века.

Я приехал в пять часов утра и бродил по улицам пустого еще ночного города, улыбался памятникам, которые в войну прятались, как люди, спасаясь от смерти в каких-то подземельях, и опять заняли свои насиженные, известные всему миру места.

Город, где каждый дом и каждая улица напоминают мне книги, по которым я учился жить, людей, биографии которых я завидовал, — все лучшее, все самое близкое для меня было в этих нарочито прямых улицах Ленинграда, как говорил Достоевский, — проспектах. Эти ленинградские лирические отступления Вы мне простите — это было, как личное знакомство с кем-то, с детства почитаемым и любимым, с тем, кто согласился, наконец, на живую встречу со мной под конец моей жизни, прожитой без него, но по его мыслям, по его идеям, по его ощущениям. Я так понимаю этот искренний, сердечный ленинградский патриотизм.

Москвичей ведь нет вовсе. Так называемый московский патриотизм — он с лучшей стороны закреплен в образе, более широком, — всей страны, а с худшей (и таких стихов, рассказов, романов, пьес очень много) напоминает восторги самодовольного дельца, только что удачно выменявшего московскую квартиру и показывающего ее своим знакомым провинциалам. Он и о далеком прошлом Москвы говорит, как о старинной картине, попавшей в его руки по дешевке, а картина-то, может быть, и не подлинная, а лишь копия, подделка.

Очень рад Вашим оценкам итальянских работ в кино. Это лучшее, на мой взгляд, из того, что показывают на наших бедных экранах. Я смотрю их как зритель, со всей непосредственностью взгляда. Вы-то, вероятно, смотрите как профессионал. Но, поверьте, я и романы, и повести, и рассказы, и стихи (если все это настоящее) могу читать как самый честный читатель, вплоть до навернувшихся слез. Лучшим фильмом считаю «Под стенами Малапаги»⁸. Только ведь, дорогой Аркадий Захарович, на всех, буквально на всех итальянских фильмах лежит налет натурализма в его нынешнем толковании. Кстати, и Хемингуэй тоже натуралист, конечно. А еще более, кстати, я позволю Вам напомнить о герое мопассановского рассказа, который с полной логичностью упрекал Господа Бога в натурализме.

Нет, я не знал, что Хемингуэй получил Нобелевскую премию, и благодарю Вас за это сообщение. Очень, очень я доволен, рад и тому, что мог читать его вещи и восхищаться, и волноваться вместе с вами. Роман «Иметь и не иметь» на английском языке я держал в руках. Это ведь правда: «человек не остров, человек — часть континента» и т. д. и т. д.

Теперь о главном. С год тому назад вздумалось мне перечесть те несколько моих рассказов, которые были напечатаны в 36-м, в 37-м году («Октябрь», «Литературный современник», «Вокруг света»). Перечел с крайним отвращением, не со стыдом, а просто унижительно было как-то думать, что они и принимались в журнал, и прессу имели хорошую. Не так, не это, не об этом надо было мне писать. Я не знаю, что такое работа над романом. Это вроде какого-нибудь первовосхождения в Гималаях. Я как-то представить себе не могу архитектуры подобного сооружения. Вы когда-то советовали мне приступить к поэмам — и этот жанр не для меня. Но о рассказах я думаю много, о своих и о чужих, и тот строй рассказа, еще не написанного, не осуществленного, который рисуется мне в идеале, выглядит так. Никаких неожиданных концов, никаких фейерверков. Экономная, сжатая фраза без метафор, простое грамотное короткое изложение действия без всяких потуг на «язык московских просвирен» и т. д. И одна-две детали, вкрапленные в рассказ, — детали, данные крупным планом. Детали новые, не показанные еще никем. Вот самое короткое изложение формальных задач при рассказе, если только они вообще существуют для писателя. Ведь то, что толкается изнутри, не ищет для себя формы. Оно ищет только бумаги, а поиски формы — это второстепенное дело, — если не можешь не написать, то волей-неволей будешь писать, волей-неволей будешь искать и форму. Штука-то ведь в том, что человеческая речь не передает всех мыслей и, уж конечно, — безмерно ничтожна по сравнению с богатством и оттенками человеческих чувств. Вам как кинематографисту должна быть известна простая штука — живое человеческое лицо, — разве есть такой роман, такой литературный период, который может передать богатство ощущений, выраженное одновременно на человеческом лице. А разве человеческое лицо передает все в ощущении человека — оно ничтожнейшую часть передаст. В этом-то, между прочим, залог бесконечного развития художественного слова от находки к находке — до бесконечности. Прошу извинить за термин «развитие». Правильнее было бы «движение». Искусство ведь не знает развития в том понимании, как знает его, например, наука. Но об этом как-нибудь после, в другом письме. Так вот эти «предпосылки» и заставляют меня удивиться двуплановости в Вашей литературной работе. Я останавливаюсь на месте, где Вы

говорите о рассказах первого и второго порядка. Мне кажется, есть один лишь порядок, а все, что вне его, то вне и литературы, как бы талант ни пробовал приспособить себя к желаемому. В стихах это особенно беспощадно ясно. Стихи это такая штука, которая не терпит грана халтуры, и степень таланта тут вовсе ни при чем. Поэзия ускользает, и стихи перестают работать. Теперь об Антонове и других рассказах. Антонов — писатель способный, учившийся у Чехова, лучший из молодых. Но большим писателем он не будет, в нем нет того страстного, что кидает человека к бумаге, заставляя его торопиться высказаться, бормоча и косноязыча. Потом он будет править, отделять фразы.

С нетерпением жду присылки обещанных рассказов. У меня соберется сейчас 700—800 стихотворений и с десятков рассказов, которых по задуманной архитектуре нужно сто. В следующем письме я пошлю Вам стихи Бориса Леонидовича, те, которые не вошли в «Знамя» (сейчас нет под руками). Кстати, в «Знамени» превосходное стихотворение «Свидание», много теряющее от снятой концовки. Переделайте ее и перечтите стихотворение.

Но кто он и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет.

Я вижу, что я пишу, пишу, и нет конца и края. Я предлагаю Вам обменяться тематическими письмами (по Вашему выбору. Вы и начинайте — например, о рассказах, о театре, о драматургии, о кино, о стихах, о чем хотите подобном). Это поможет и мне, и Вам вывести на бумагу то, что складывалось когда-то на дне души само собой.

Что касается оттепели, то я, промерзший, наверное, до костей насквозь, ее, надо сказать, не чувствую — такой, как мне хотелось бы, а требования у меня скромнейшие из скромных.

Очень Вас благодарю за присланные фотографии и сердечно и горячо поздравляю Вас с рождением сына. Искренне желаю обойтись без моих разочарований, к тому же леоновская формула (?) не теряет своей зловещей силы. Все мы были ребенками... Я шучу, милый Аркадий Захарович, и хочу самого лучшего. Но есть, знае-

те, русская пословица: «У родителей есть дети, но у детей нет родителей». И это логично, так же логично, как то, что смерть сменяет жизнь.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

3.08.55

Дорогой друг, Варлам Тихонович! Очень давно (в сентябре?) получил Ваше хорошее, умное письмо. Из него мне стало ясно, что ни с кем другим... (исключая и Демидова⁹) мне не хотелось бы так поделиться всем тем, что составило и составляет духовное содержание моей жизни после освобождения, как с Вами. Вы знаете, я всегда относился к Вам с уважением, более того — часто с настоящим дружеским расположением (говорю часто с сожалением, подчеркивая, что не всегда). Но до Вашего письма как-то не осознавалось в полной мере все то, что делало наши отношения не случайными и поднимающимися над обычной мерой мужской дружбы.

Так вот, как это ни парадоксально, но во всем изложенном важно — главная причина моего непростительного промедления с ответом. Несмотря на большую занятость, несколько раз принимался за ответное письмо, но дальше двух-трех вступительных фраз дело не шло. Из-за желания написать сразу обо всем оно откладывалось до лучших времен, когда не буду ограничен во времени, когда будет бестревожный досуг, необходимый для того, чтобы написать, а не отписаться между делом.

Однако это желанное время так и не наступило. Я по-прежнему очень занят, а главное — с рождением сына постоянно расстаюсь с мыслью об отдыхе, о досуге, о «праздности — вольной подруге размышления»... Поэтому, да еще подстегиваемый Вашим вторым письмом, я решительно принимаюсь за ответное без всяких потуг на хороший эпистолярный стиль. Заранее освобождая себя от поисков слов максимальной емкости. И так — к делу. Начну с того, что, как и Вы, занимаюсь не тем, к чему всю жизнь сознательно стремился. Как и Вам, тоже пришлось так же расстаться с медициной, хотя и ей много было отдано, немало настоящего внимания и сил. Впрочем, об этом дальше. Сейчас же — коротко о главном.

Будучи поселен в Ягодном два года тому назад, я долго не мог взяться за какую бы то ни было работу.

Вы знаете, что еще на Левом я определял место кладбищенского сторожа, как лучшее из мест для людей с нашим социальным опытом. Недавно Эйнштейн, в каком-то интервью, высказался в пользу профессии слесаря-водопроводчика, как профессии, может быть, еще гарантирующей максимум независимости. Совпадение наших идей (при безусловном, хотя и объяснимом реформизме последней) лучшее свидетельство их объективности. И все же, несмотря на столь здоровый образ мыслей, я не был последователен в поисках подходящего места. На первых порах устроился диспетчером. Это была хорошая работа!— суточное дежурство, а затем двухсуточный отдых. Два дежурства в неделю! Масса свободного времени. Много читал. Удил рыбу. Охотился. Стали возвращаться простые радости бытия: наслаждение природой (о которой Вы мне здорово написали), хорошими книгами, музыкой, итальянскими и французскими фильмами, хорошими людьми (их здесь немало — друзей, для которых «малы мои восхваления» и т. д.)... К тому же, все это начинание жизни сызнова совпало со временем, которое определялось словом «оттепель». Поэтому нет ничего удивительного в том, что оттаял и я. Захотелось семьи, ребенка. Ведь их у меня никогда не было и т. п. Целый ряд важнейших постановлений подтвердили правоту многих критических идей, определявших наш образ жизни, то о будущем стало думаться с той степенью доверия, какая как раз необходима для того, чтобы в моем возрасте жениться и дать жизнь Максиму. И вот с этого и началась сдача на милость победителя, т. е. на милость жизни, т. е. победила она. Да, победила жизнь! В это признание я вкладываю содержание моего Ягодинского бытия в продолжение вот уже полутора лет. Пожалуй, смысл его может толковаться и более расширительно — вплоть до признания правоты, деликатно упомянутой Вами, «столбовой дороги».

Уверен, Вы меня поймете. И поэтому не буду тратить слов для объяснений. Продолжу перечень важнейших этапов «сдачи». С появлением жены и ожиданием ребенка — возникла необходимость дома. В Ягодном трудно получить сносную казенную квартиру. Поэтому я решил построить свой. Конечно, не «дом волка», но что-то в этом роде. Так я стал строителем. Здесь их называют застройщиками. Что это значит в переводе на объемы строительных работ, вы, может быть, узнаете

летом, когда я пришлю Вам рассказ «Красные маки», специально посвященный этой теме. Сейчас ограничусь лишь утверждением, что построить нашему брату дом гораздо труднее, чем написать, скажем, сносную книгу, труднее, но, пожалуй, полезнее. Сейчас я пишу Вам уже в своей комнате. Второй час ночи. Лиля спит. Умаявшись — спит и Максим. На моем письменном столе — предмет моих особых забот и один из главных источников здешних радостей — приемник. Хорошо отрегулированный «супер». Сегодня передают выступление какой-то гастролирующей в Австралии итальянской певицы (не расслышал ее имени, но голос потрясающей силы и чистоты. Сиднейская опера неистовствует), и я час от часу откладываю перо, чтобы отдаться постоянному чувству зависти, которую испытываю к певцам и музыкантам. Упоминаю об этом для того, чтобы Вы представили атмосферу, в которой живу в лучшие часы моего бытия. Очень дорожу этим мигом ночного времени, а обстоятельства словно сговорились помешать мне и сократить его начисто. Так сложилось, напр., условия работ в январе, что мне приходится буквально дни и ночи пропадать на производстве. Я — начальник одного небольшого, но важного производственного цеха (отопительный район СППУ): помощники мои поболели, и я принужден заниматься не только вопросами теплотехники. Но и бухгалтерией, и нормированием, и прочими скучными материями, в которых к тому же никогда не был особенно силен. Многим вещам приходится учиться заново. Впрочем, Вам это все, вероятно, тоже знакомо. Я не стану распространяться. Скажу лишь, что тот, кто не задумывался над составлением и нормированием наряда на производстве каких-либо работ или кто не отчитывался в расходах материалов — тот не может со знанием дела судить об экономике социалистического производства — верно? Таким образом и в данном случае узнаешь что-то новое, ранее тебе неизвестное, — в этом, может быть, самая большая компенсация за добрый кусок уже донельзя сократившейся «шагреневого кожи»...

Продолжаю спустя значительное время. Приходится освежать в памяти содержание Ваших писем. Иначе рискую так и не ответить на все Ваши вопросы и не коснуться всего, что Вас интересует.

Это продолжение начну с того, что воздам должное точности Ваших таких определений, как «высокая дис-

циплинированность общества, от самых дальних-дальних углов» или «стремление к соблюдению конституционности» и т. д. Мне кажется, Вы очень хорошо подметили — формирование некоторых особенностей этой странной русской истории, которая открылась совсем недавно. Определения хорошие и, по-моему, достаточно объективные. Это подтверждается хотя бы тем, что они подходят и к нашим широтам.

Хочется только одного: пусть отмеченная Вами тенденция развития не поглотится охранительной инерцией «служилой касты»!..

Конечно, я читал апрельскую книжку «Знамени». И, конечно, многократно перечитывал отрывки из романа Б. Л. «Разлука» (так кажется?) ошеломила меня микроскопичностью наблюдений над такими состояниями психики, о которых даже Флобер писал более обще. Конечно, это было встречено взглядами одобрения из Нового Света (сам слышал). Знает ли об этом Б. Л.? Если нет, то может быть, это объяснит ему причину особой нетерпимости Ермилова¹⁰ и пр. и упоминанием тех, о ком французский народ мудро говорит: «переживем всех, кроме... полиции». Оставляя взаимопонимания поэта и его критиков на суд будущего, я, как читатель, пронесший любовь к этому художнику почти через всю жизнь, сейчас с огорчением убеждаюсь во власти системы централизованного воспитания рефлексов (в т. ч. эстетических) и над собой. Да, дорогой Варлам Тихонович, уже не могу я с прежним волнением читать и перечитывать стихи Б. Л. и только 66-й сонет Шекспира¹¹ в его переводе не только по-прежнему, но все больше и больше волнует и трогает меня. Печально, когда из твоей жизни уходит поэзия и остается лишь суровая проза. Порою просто диву даюсь, как пишут стихи после 50 лет. Вероятно, это потому, что у меня никогда не было поэтических способностей. Была просто свежесть чувств, позволяющая познавать вещи без участия мысли.

В связи с этим утверждением отвечу на Ваши вопросы о творческих планах, возможностях и т. д.

Все это есть, Варлам Тихонович, и планы, и возможности. Например, на 55-й год областное издательство получило лимит в 150 печатных листов для издания местных авторов. Авторы же, как Вы знаете, здесь не густо. Стало быть, пиши, что устроит «Сов. Колыму», и издание обеспечено. Однако что писать? Есть у меня в черновых рукописях около двух десятков рассказов, по-

добрых, скажем, «На обочинах столбовой дороги», и когда я читаю такие рассказы, как «Дожди» Антонова или «Четунов сын Четунова» (Нагибин и еще кто-то в одном из № прошлогоднего «Огонька»), то мне кажется, что мои рассказы тоже нужны, а «обочина», на которой они подобраны, — не «заминирована». Но как только утверждаюсь в этой мысли, другие рассказы (относящиеся к первым, как, скажем, итальянские фильмы относятся к фильмам «Дефа») — заслоняют собою их «дисциплинированностью» и «респектабельностью» и оттесняют прочь — в один ряд с рапортами, актами на списание, заявлениями и т. д., не знаю, что делаете в таких случаях Вы? Работаете над формой, считая, что трудность отбора является непременным условием этой игры?

Хотел бы я научиться такому самообладанию и не пасовать, как пасую сейчас (извиняя себя тем, что у меня нет времени, что потом я займусь этим, не теряя ни времени, ни себя, только когда — потом?). Во всяком случае, вскоре я пришлю Вам что-нибудь на нелицеприятный суд и посмотрю, что Вы скажете по поводу рассказов и первого и другого порядка.

Вопрос о моем возвращении к кинодраматургии находится в мучительной стадии разрешения. Ответ ожидается в конце марта, но уже сейчас я склонен думать — он будет отрицательным. Живущим в высотных домах уже не спуститься на землю. Ниже — возможно. На землю — нет!

Обманутый некоторыми декларациями, написал я в прошлом году, почти в один присест, пьесу «Коммунист», но, видя печальную участь «Гостей»¹² Зорина (пахавшего не глубже 5 см — потому что ниже — кости!), я убрал ее подальше.

Вот Вам, пожалуй, и все по этому вопросу.

С приятным чувством сообщаю Вам (допускаю, что не знаете) — автор «Прощай, оружие» и «Свет мира» получил Нобелевскую премию за прошлый год. Между прочим, я не смог разыскать на «Левом» свою книгу «48 рассказов». Загубил ее Старков, у которого оставалась на хранении. Очень сожалею. Здесь достать невозможно. Когда был у Елены Александровны¹³ — она сказала, что у нее осталась Ваша книга и она собирается Вам ее послать. Тогда же я подумал: не попросить ли Вас подарить ее мне. Но потом решил, что это было бы бестактно по отношению к Е. А., и оставил эту идею. Вот

если бы Вы смогли мне прислать бандеролью те же «48 рассказов» — это был бы чудесный подарок!.. Как Вы смотрите на это? Возможен ли такой вариант?

Все, что пишете о вопросе с женой и дочерью, я, не смотря на отсутствие аналогичного опыта, очень хорошо представляю. Более того, на эту тему я мог бы, как мне кажется, высказать немало здравых суждений, имеющих под собою почву объективных наблюдений над эволюцией семьи и семейных отношений — в эпоху юридических эпидемий, политического фанатизма и радиолекторов и первых атомных котлов.

Часто думаю над этим и сейчас, особенно когда смотрю на Максима, слушаю его первые лепеты и первые движения к цели. Ах, как хотелось бы поговорить с Вами в иной из здешних долгих вечеров! Много здесь у меня друзей — среди них и такие, кого впервые повстречал еще в 38-м на Неринге, — но часто сказывается разница в интересах, не позволяющая выложить все и быть при этом понятым до конца... Конечно, такое письмо тоже не решает проблемы поиска себе подобных... Но все же — оно какая-то отдушина, и, конечно, я впредь буду писать гораздо, гораздо чаще.

А сейчас буду заканчивать. Все равно чувствую себя в долгу перед Вами и вслед за этим письмом вскоре пошлю другое.

Да, что касается адресов, то насчет Демидова Вы правы. Его адрес не известен никому. Говорят — он на Воркуте, но так ли это — не знаю. Адрес Лоскутова¹⁴ могу сообщить лишь служебный. Он работает в магаданской городской больнице, с ним часто видится Кундуш, и, как-то отвечая на письмо Кундуша, я сообщил ему Ваш адрес с тем, чтобы он передал его Федору Ефимовичу.

Если Ф. Е. не писал, но такое намерение у меня есть. Не знаю, когда приведу его в исполнение, но, несомненно, как-нибудь напишу. Вот адрес Кундуша: Магадан, седьмой рабочий городок, комендатура. Там он живет с женой и сыном и как будто никуда не собирается.

Да, я не написал Вам ничего связного о рождении сына — наш мальчик родился 26-го сентября 54-го года. Вопреки моим опасениям — и, вдруг скажутся года настоящего и скрытого голода! — малыш появился удивительный! Конечно, в моем возрасте откровение радости, может быть, дело слишком позднее и поэтому со стороны смешное, но я их не скрываю. В следующем письме я пошлю Вам фотографии, и Вы, надеюсь, согласитесь,

что пока это лучшее мое произведение. Впрочем, нужно воздать должное матери. Вероятно, именно от нее Максим унаследовал не только серые глаза, но и отменное здоровье. Лиля оказалась во всех отношениях молодцом, и мне все приятнее сознавать, что я не ошибся, избрав ее в жены и матери своего ребенка. (Что-то грамматически не то, но по существу правильно.) Лиля шлет Вам привет и заверения в неизменном своем уважении ко всем Вашим достоинствам и даже недостаткам.

Итак — руку, Варлам Тихонович!

Пишите, не смущаясь моим длительным молчанием. Вы молодец! Вы так и делаете, и спасибо Вам за это.

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

Туркмен, 13 августа, 1955 г.

Дорогой Аркадий Захарович.

Тон моего предыдущего письма «не скорбно холодный», как вы изволили выразиться, а только скорбный, но ни о какой холодности в моем отношении к Вам не может быть и речи. А скорбный — это имеет основание, резон. Сколько людей ушло из моей жизни, таких, которых хотелось бы сохранить возле себя, ушло безвозвратно; сколько в памяти живых, ставших мертвыми, и как мало мертвых, оставшихся навсегда живыми. И мне просто больно (с годами все больнее) терять этих уходящих. Я никого не виню и не жду никаких извинений. Понять я могу любое состояние, мне кажется, и Ваше, думаю, что понимаю. Но ведь не легче мне от этого. С такой опаской, так робко и осторожно открываешь кусочки души, которая ведь сохранена, сбережена, несмотря на все эти годы, тревожно радуешься этому, такой редчайшей возможности, и ей отвечает безмолвие или короткая светская открыточка — отписка.

Сильнее от вольной жизни стать нельзя. Наша гордость и наша сила — в нашем прошлом, и сознание этой силы и дает право жить. Иначе так понятна судьба Калембета, Миллера, Минина. Я много думал еще на Севере об этих смертях, об их логике и объяснял для себя их, как показало время, — правильно. Если будет утрачена высота наших горных хребтов, если мы будем искать изменений, приспособлений, прощений, — все будет кончено, нам не устоять перед намыленной веревкой, если совесть не стала звуком пустым.

Отцовские радости — великие радости, как ни смутно в это время, в раннем детстве у ребенка, в грудном возрасте чувство родства. Привязанность же, собственно отцовство, рождается, мне кажется, несколько позже — в отличие от чувства материнства — такого понятного и физически простого. Объяснение тому факту, что никто не написал у нас семейного романа, следует искать в неустойчивости быта, в перманентности какой-то неустойчивости, в этом одно из подтверждений грустного наблюдения о противостоестественности нашей жизни. Кстати, один из писателей, хороших писателей, делал подобные исследования. Это автор «Семьи Иванова» и немногих [других] рассказов Андрей Платонов. Но ему не суждено было стать признанным писателем, и слишком больших мучений стоило ему напечатание трех-четырёх вещей. Сейчас он умер.

Согласен, что показ общества может быть единственно правомерно и полно сделан через семью — первичную ячейку всякого прошлого, настоящего и будущего, я, конечно, прохожу мимо трудов этого пошляка Макаренко. Ничего бы мне так не хотелось, как найти время и силы для работы по разоблачению этого дутого авторитета, который даже побои возводил в педагогический принцип и который каким-то обидным образом оказался во главе «педагогической» школы. Я показал бы внутреннюю фальшь «Флагов на башне» и «Педагогической поэмы» с ее ложной уголовной романтикой. «Педагогическая поэма» — это арьергардное сражение, сползание в лед «перековок» и Беломорканалов (120 писателей — читайте, читайте!). Насчет «времени», когда у детей были «бабушки», — вполне с вами согласен. Помнится, Гельвеций в своем сочинении очень тонко отмечает враждебность поколений и, как следствие этого, дружбу дедов с внучатами и значение дедовского воспитания для внука. Перечтите-ка, в библиотеке, наверное, найдется Гельвеций.

Еще о семьях. Одной из любимых, выношенных тем моих была тема колымской семьи с ее благословенными браками «на рогожке», с ее наивной и трогательной ложью мужа и жены (в лагере), диктуемой страстным желанием придать этим отношениям какой-то доподлинный вид, лгать и заставлять себя верить, писать на старую семью и создавать новую, — благодать взаимных прощений, новая жизнь в новом мире, означаемая старыми привычными словами, — и все это отнюдь не про-

фанирование любви — брака, а полноценная, пусть уродливая, как карликовая береза, но любовь. Это бездна энергии, которая тратится для личной встречи. Эта торопливость в «реализации» знакомства. Это crescendo развития романа — и светлое, горящее настоящим огнем, настоящей честностью и долгом все великолепие отношений (хотя бы, как у Португалова и Дарьи, роман, перед которым ей-ей бледнеет все, о чем читалось), и много, много не уложить в письмо.

Здесь — книга, и, если Бог даст силы и время, я напишу ее. Но я измучен, измучен дурацкой работой, отсутствием всякой душевной поддержки во всех моих начинаниях и мечтах, когда нужно проверить слово, идею, сюжет и не с кем. Я думал, неужели я такая бездарность, что не могу заставить людей выслушать себя. Мне есть о чем сказать, и, кажется, я знаю, как это сказать. Печататься? Это вопрос не первый для меня. Мне даже с Севера писали: «Почему вы не попробуете печатать свои стихи, раз они хорошие». Пастернак показывал их многим своим знакомым и после передачи по моему адресу комплиментов утешал меня: «Ваши стихи будут печататься тогда, когда я буду свободно печататься». И он тоже не понял, что мне не это важно. Нет, не так. Мне важно, очень важно отдать на растерзание все написанное, очень важно. Но все же — не главное. А главное, мне хотелось бы выговориться на бумаге. А времени нет, нет ни на что. Переводчики обещают учить меня языкам, художники — ввести в дома людей живописи, — десятки приглашений, которыми я не могу, не имею времени воспользоваться, потому что я получаю какие-то гайки на складе. Известная замкнутость и необщительность, отличавшие меня и в юношеские годы, не могли не усилиться за 17 лагерных лет — я ведь еще в Соловецких лагерях бывал.

Знакомств я поддерживать не умею и всю жизнь страдаю от этого. Ну, хватит о себе.

Я не думаю, что «дом» был ложной идеей, как пишите вы. Правда, наши годы такие, что жаль каждого часа, но сколько энергии, силы Вы ни потратили на Ваш дом, — думаю, что это не зря. Правда, это точка зрения моя, человека — бездомного, мечтавшего всю жизнь о своем угле хоть на несколько дней.

Чувство прояснения головы и обострения зрения мне знакомо. Бывало, я его вызывал произвольно и без большого труда. Сейчас даже забыл, как это делалось.

Слишком редки часы такого зренья и совершенно случайны. Одна приятельница моя, когда я пожаловался подобным образом на отсутствие времени, сказала: «Силы у вас не хватает, а не времени». И верно, хватило же времени для четырех-пяти сборников стихов¹⁵. Но все же за год я трижды был в Художественном театре (на «Чайке», затем «Школе злословия» и «Идеальном муже»). Раз был в Третьяковке, раза два на различных выставках художественных и, самое главное, — побывал и в Дрезденской галерее. Это, последнее, посещение с месяц назад — чуть ли не лучший день моей здешней жизни.

За всю жизнь по репродукциям, по книгам я составил себе какое-то представление о гениях Ренессанса. Тонкий и точный рисунок Леонардо, ускользающая улыбка его женщин, в нем мне виделся всегда исследователь, открыватель необычайных глубин в обычном, но исследователь — наблюдатель прежде всего. В Микеланджело я видел мятущуюся душу человека, раздавленного страстями, перепутавшего рай и ад, увлеченного новыми необычайными задачами поэта, бросающего начатое, чтобы начать новое, еще более великое и дерзновенное. Человек, который не мог догнать самого себя. В нем я видел олицетворение и подлинное величие Возрождения. Этими двумя титанами исчерпывался для меня, по сути дела, список великих. Рафаэль представлялся мне гораздо менее волнующим и интересным. Талантливый художник, любимец судьбы, поставщик заказных портретов на вкус очередного Папы, придворный богомаз — вот представление мое о Рафаэле, подкрепленное репродукциями. И я не понимал — почему Рафаэль? Почему его имя называется наряду с именем Микеланджело и Леонардо: Тициан, Мурильо, Рубенс, наконец, — вот сверстники его таланта, в лучшем случае. И вот я в Дрезденской галерее перед Сикстинской мадонной. Я ошалел. Перед мадонной я понял, кем был Рафаэль, что он знал и что он мог. Ничего в жизни мне не приходилось видеть в живописи, волнующего так сильно, убедительно. Женщина, идущая твердо, с затаенной тревогой в глазах, сомнениями, уже преодоленными, с принятым решением, несмотря на ясное прозрение своего тяжелого пути — идти до конца и нести в жизнь сына, больного ребенка на груди, у которого в глазах застыла такая тревога, такое неосознанное прозрение своего будущего — не Бога, не Иисуса, не Богоматери, а

обыкновенной женщины, знающей цену жизни, все ее многочисленные страдания и редкие радости, и все же исполняющей свой долг — жить и страдать, жить и отдать жизнь своего сына. Вот это все вкратце. Мне было стыдно за себя и радостно за Рафаэля.

Галерея эта не может быть сравнена с нашим Эрмитажем. Один Вермеер чего стоит (не «Девушка с письмом», а вторая его картина «Сводня») с необычной телесностью, плотностью изображения. Рейсдаль с такими пейзажами, которые сняты после целую неделю. Много пастелей Карраччи.

Рембрандт вовсе по-новому зазвучал для меня после Дрезденской галереи. Ну, если захотите, я постараюсь написать Вам о выставке этой особо.

Недоумение вызывает то, что десять лет держали эти картины где-то втайне и на три месяца выставили. Я пришел к музею в четыре часа утра и был записан в очереди 1287 номером. А люди стоят в переулках с вечера. Все заборы исписаны: «принес в жертву Аполлону жену, дачу и казенную автомашину», «стояли насмерть», «был в Дрезденке, видел Сикстинку, иду снова» и т. д.

В части Хемингуэя обещали принять все меры¹⁶, а язык безразлично? Значит, и английский? Это — просто здорово, завидую вам. Насчет «эволюции» я держусь особого мнения. Как не хватает личного разговора.

Чуйкова я знаю только по репродукциям и по статье Довженко в «Литературной газете». Конечно, сила его в том, что это не соцреализм. Довженко довольно наивно ратует за «расширение границ понятия социалистического реализма». Конечно, всякому понятно, что нельзя впереть, простите, всю живопись в передвижнические принципы. Передвижничество — это эпизод или, вернее, один из путей, не больше. И не самый интересный путь. Пусть туда уместится суховатый Верещагин и Репин, но ни Куинджи, ни Врубель туда не войдут. У современников просто нет большого художника, а то бы все эти надуманные границы соцреализма лопнули сами собой. Пьесы Леонова¹⁷ я не читал, «Русский лес» имел успех у читающей публики, но меня оставил вовсе равнодушным. Паустовский с «Беспокойной юностью» выступил напрасно. Эти перепевы Бабеля не для его пера. Рассказы Бунина я читал. Это — совершенство. Глаза волков озаряли весь рассказ. Да, так и именно так надо строить рассказ. А сапоги, старинные смазные сапоги в крошечном шедевре¹⁸.

Пишу и не могу остановиться. Вале, пожалуйста, передайте привет. Получил ли он мои записочки в Мяките? Скажите, что я искренне, на всю жизнь привязан к нему, что я его люблю, что радуюсь, что знал его, что вспоминаю с величайшим уважением, любовью и теплотой. В Ягодном ему лучше будет. А что это за сын? Это ведь страшно, если вождь краснокожих. Очень доволен вашей оценкой Петрова¹⁹, который настолько мне был антипатичен с первого взгляда, что я в свое время и знакомиться с ним отказался. А случайно увидев его стихи у Кундуша, укрепился в решении не тратить ни одной минуты на знакомство с этим растленным типом. Не знаете ли, где такие люди: Коротков Сергей Иванович, что был кладовщиком на Левом, в больнице; Прыгов Василий Николаевич. Лоскутов мне написал два письма, но что-то давно не получаю. Привет Исаевым²⁰ и Кундушу пошлите, если будете им писать, и Яроцкому. Лиле мой сердечный привет, самый теплый и искренний. Я радуюсь, что могу ее приветствовать в письмах к Вам. Желаю счастья, бодрости, твердости духа.

Где Демидов²¹? *Варлам.*

А правда, что «Снега Килиманджаро» напоминают «Смерть Ивана Ильича»?

В.Т. Шаламов — А.З. Добровольскому

<1955>

Дорогой А<ркадий> З<ахарович>.

Вот Вам краткие сведения о Нагибине, которым Вы интересовались. Мне он не кажется писателем, заслуживающим внимания даже на сереньком фоне художественной прозы нашей. Рассказы его доказывают, что

1) Лаконизм изложения (которому он должен бы научиться, изучая язык кино) отсутствует. В рассказах много лишнего, затемняющего человека, уводящего от главного.

2) Само по себе главное не продуманное до четкости и теряется в виденном, которое Нагибин считает виденным им впервые, а потому заслуживающим внимания.

3) Вопросы, которые волнуют Нагибина, мелки и не чувствуется, что для себя он занимается и вопросами побольше. (Что, например, хорошо видно в обеих вещах В. Некрасова, какой бы робкой рукой ни были они тронуты.)

4) Ни словарь, ни видение мира не имеют свежести и новизны. Об убедительности и говорить нечего.

5) Учитель его — тот же — Чехов (что и у Антонова). Поразительно, как мало на писателях молодых сказалось гоголевское перо, за исключением одного Михаила Булгакова, никто не взял на себя смелость закрепить гоголевское открытие (в строении фразы, в покое героя, в развертывании картины, в характере).

Русская поэзия имеет исторические 2 линии: пушкинскую (Языков, Алексей Толстой, Некрасов, Брюсов (если он поэт), Северянин и лермонтовскую (Лермонтов — Баратынский — Тютчев — Блок — Анненский, Пастернак) линии, каждую со своими законами, преодолением одного и того же, общностью поэтических идей. Художественная проза тоже имеет две линии: одна это пушкинские искания, включая прозу Лермонтова, сюда Тургенев, Толстой, Гончаров. Литература, более близкая к европейской, Лесков, Чехов, Горький, то вторая идет от Гоголя к Достоевскому и в XX столетии Андреев.

Первые — это преимущественно наблюдатели (они и приговоры выносят как наблюдатели), а вторая — это поэты и прозаики, у которых материал наблюдения только служебный материал.

Они вовсе не общи. Проза Лермонтова резко отличается от его стихов и тяготеет к пушкинским повестям, а стихи Л. вовсе другие и на пушкинские непохожи. Я бы сравнил эти 2 линии с Леонардо и Микеланджело в Ренессансе, вот такая же тут разница.

Пьесы разделяются не резко, а в ряде случаев чеховские вещи (особенно последние 3—4 года) скорее возвращаются к гоголевским традициям.

Хуже другое. Литературная наша критика, не знающая ни в чем меры, много лет трудится над утверждением Пушкина как поэта — революционера, вдохновителя и друга декабристов и т.д. Проще и умнее относиться к Пушкину, как Маркс относился к Гейне. Когда в 1848 г. была опубликована часть архивов парижской полиции, в них найдены были денежные расписки Гейне, передовая печать резко осудила провокатора. Гейне нагло объяснил в печати, что деньги от полиции он действительно получал, но никого не выдал и ни на кого не донес. Что касается самого факта получения денег от полиции, об этом якобы знал такой всеми революционерами уважаемый и внушающий доверие

человек, как доктор Маркс. Прогрессивная печать объявила это заявление гнусной клеветой на Маркса и усилила нападки на Гейне. Марксу достаточно было двух строк, чтобы все привести в ясность и указать Гейне его настоящее место. Этого и требовала прогрессивная и революционная печать. Но Маркс молчал. Существует письмо Энгельса к Марксу, в котором Энгельс удивляется его молчанию «ведь ты-то знаешь, что Гейне ничего тебе не говорил в этом роде». Маркс ответил Энгельсу, что никогда подобных признаний Гейне не слышал, но тем не менее выступать в печати по этому вопросу он не будет, это он решил твердо, потому что поэты — это, видишь ли, особый народ, который даже для себя специфическим образом отражает события, их нервная и душевная организации иные, чем у нас, и он не хочет лишаться знакомства с Гейне, разоблачив его. Письмо это Маркс просит никому не показывать. Через несколько лет молодой Вильгельм Либкнехт пишет Марксу, что недавно он проезжал через Париж и имел возможность повидаться с Гейне, но, конечно, не сделал этой попытки, памятуя известное оскорбление, которое Гейне нанес Марксу. Маркс отвечает Либкнехту — «ты поступил очень глупо, лишившись возможности повидаться с умнейшим, может быть, человеком столетия».

Из Пушкина обязательно и давно хотят сделать сознательного борца с царизмом.

Недавно мне подарили книжку Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина»²², черновых записей истории Петра и записных книжек, которые есть у великого писателя, пробует представить как чуть ли не законченные работы художника-историка.

Славянская душа способна ко всякой ассимиляции — песни западных славян, Каменный гость, Фауст и Шекспир — за все хватать перо, и это так понятно. Каша в голове у Пушкина была большая, и у всякого большого художника каша в голове обязательно — иначе он не будет поэтом.

Способность из мухи делать слонов помогает придавать совсем не то значение событиям различных идейных направлений, раздувать их, муссировать, поэтизировать, не управляя своим вдохновением.

Политическое лицо Пушкина чрезвычайно многообразно и многоподвижно. К чести его (и вкуса) надо сказать, что при этих данных он пророка из себя не изображает (от чего не ушел ни Гоголь, ни Толстой, ни

Достоевский), и неудивительно, что (как вспоминает Пущин) его никто бы и не принял в тайное общество, зная его легкомысленную, поэтическую неустойчивость и пиэтет в отношении двора.

Смехотворны дискуссии Нечкиной и Б. Козьмина²³ о какой-то глубокой революционной работе Герцена и Чернышевского. И Чернышевский вкупе с Герценом (?) (поездка в Лондон).

Хотя только каракозовцы²⁴ представляют собой путное далеко задуманное тайное общество, а все остальное до Народной воли в XIX столетии далеко уступает в части организации своим предшественникам — декабристам.

У нас два особенно несчастных писателя — это Пушкин и Чехов. Из них обоих пытаются сделать сознательных социалистов и бойцов-организаторов.

Книги эти, и прежде всего ермиловские блуждания в «Вишневых садах», рассчитаны на людей, которые не понимают и не чувствуют литературы и театра и в силу этого неспособны разобраться во ермиловском вранье.

Державин:

...Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить...

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

Ягодный, 10/III—56

Дорогой Варлам Тихонович.

Вам трудно себе представить, как я терзаюсь своим, все нарастающим бессилием удержать рвущиеся связи с близкими мне людьми, с любимыми мною занятиями (вроде охоты, рыбной ловли, езды на мотоцикле — прочь за поселок — к своим заповедным углам у истоков Сухохи или у Ягодинского перевала) — связи, наконец, со всем прекрасным, таким порою ненавистным, а порою любимым захлеб миром. Болезнь, Варлам Тихонович, болезнь!.. Укатали сивку крутые горки! Да и немудрено — в каждой горке по километру, и горок за 20 лет уже не счесть! Мои худшие предположения о своих недугах (они меня тревожат, объективно не проявляясь, уже лет 9), к сожалению, подтверждаются. Я болею спастической или невротической формой эн-дартерита. И он меня, собака, гложет неустанно, без всяких послаблений. В ноябре прошлого года я съездил

на «Талую», хотя и сомневался в показанности. Но выбора не было, а настоящая потребность в каких-то немедленных мерах была. Съездил и... до сих пор не могу опомниться. Вымотала бессонница, сердечные боли и другие пакости. Поверите, иногда скриплю зубами от этой, как будто необъяснимой, так рано наступившей старческой слабости мысли, памяти, чувств... Мне сорок пятый год, а чувствую себя — точно мне за 80! Обидно!.. Конечно, я все же мог Вам написать с Талой. И у меня было такое намерение. Вот, думал, поеду, отосплюсь и примусь за письма и всякую другую письменность. Однако подобными благими намерениями вымощено немало дорог в мои последние годы. И в этом все дело.

Я не пишу матери — одинокой, больной женщине, живущей в колхозе, представляете? Не пишу ничего. По своим делам, хотя налицо благоприятная ситуация; не пишу бывлым друзьям в Киев и Москву, хотя не сомневаюсь — многие из них ответили бы, прислали книги, репродукции и т. д. Наконец, я не пишу рассказов, хотя нафарширован ими, как мне кажется, в степени угрожающей — иногда из-за них происходит во мне такое смешение придуманного и происходящего, что я — чувствую себя одновременно обитателем чеховской палаты № 6 и жителем щедринского Глупова... Но я ничего не пишу. Не могу писать. Может быть, эта «аграфия» (как сами Вы когда-то выразились) результат не только моей болезни, но и печальной уверенности в том, что в происходящей эмиссии и инфляции печатного и непечатного слова всякое писание становится подобным размножению сапрофитных микробов²⁵ — много ли их, или мало — от этого никому ни тепло ни холодно. Конечно, это утверждение противоречит жадности, и радостному и грустному изумлению, с которыми прочитал и перечитал «Старик и море». Наконец, оно противоречит и тому факту, что я все-таки вот уже полгода бьюсь над одним сценарием, движимый не только надеждой на возвращение к этому роду деятельности, а и потребностью что-то сказать. Но это диалектическое противоречие — и теза и антитеза содержат в себе истину!.. Однако довольно об этом. Как это ни парадоксально, дорогой Варлам Тихонович, но чем меньше я Вам пишу (а я почти ничего не пишу), тем больше я о Вас думаю. Поверьте, что это так! Было бы долго и утомительно объяснять — почему? Поэтому ограничусь заверением, что не только думаю, вспоминаю, но даже <веду> строго мыс-

ленные диалоги с Вами. Ваши письма, даже ругательные, доставляют мне истинное удовольствие и, несомненно, — будь у меня бестревожный досуг — я не остался бы перед Вами во все увеличивающемся долгу.

Я уже писал Вам, Варлам Тихонович, что нынешний Ягодный и обладающий хорошим приемником позволяют быть в курсе всех значительных событий не только страны, но и мира. Здесь превосходная библиотека и хороший читальный зал. Основная периодика и книжные новинки поступают исправно, хотя и несколько позже, нежели к Вам. Имеется хороший книжный магазин, правда, книг я почти не покупаю. Не позволяет бюджет. Кроме того — пользуюсь некоторыми «преференциями» в библиотеке и могу брать на продолжительное время все, что заблагорассудится. Более того — зав. библиотекой всегда звонит, если появляется что-нибудь стоящее. Регулярно читаю «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Иностр. литературу», «В защиту мира» (Знаете ли Вы этот, самый не русский журнал, издаваемый на русском языке?), «Искусство» и, конечно, «Искусство кино».

«Старик и море» прочел первым в поселке. Как только был получен журнал. Я его ждал, т. к. была какая-то предварительная информация.

Конечно, впечатление — ошеломляющее. Вещь оптической прозрачности, и чистоты, и точности, и никакого красноречия, никаких словесных и философских цветов!.. Если бы существовал бог пантеистов и он был писателем — он позавидовал бы Хемингуэю! Уже одна мысль: «хорошо, что нам не приходится убивать солнце и звезды...» А.З. — заслуживает Нобелевской премии. В общем, Хемингуэй сложил такой гимн человеку (и только ли труженику?), какой еще не удался ни одному писателю литературы Горького—Фадеева.

Да, что говорить — современный писатель земного шара написал повесть для «землян»!.. Конечно, очень хотелось бы поговорить с Вами об этой книге за крепким чаем или бутылкой хорошего вина, но увы! — я все еще прикован к этой горной стране, а Вы вряд ли вернетесь сюда. Хотя Ваши письма, особенно стихотворение — «вернувшись в будни деловые, я не нашел чего искал»... — заставляют предполагать, что Вы не раз подумываете об этом. Я воздержусь от каких-либо советов на этот счет. Было время, когда, сидя с Португаловым над Вашим письмом, тем, что так хорошо о «Сикстинской мадонне», и остроумно о Др<езденской> галерее

вообще, мы решили написать Вам: — Бросайте к черту Ваш тупотранстик или что там еще и приезжайте в Ягодный! Работа найдется, остальное — приложится. Однако в последнее время произошло здесь много перемен к худшему. Каких? — об этом длинно писать, но в общем — жить стало труднее, чем при ДС НКВД не в политическом смысле, конечно, а в экономическом, и поэтому Ваша вывернутая наизнанку ностальгия едва ли прекратится с приездом сюда. Земля осталась прежняя, но люди уже не те.

Я хочу предложить Вам другое... Не вдаваясь в общие оценочные рассуждения о нашей литературе, можно выделить в ней одну тенденцию, уже начавшую ощущаться — децентрализация творческой и издательской деятельности. После речи Шолохова на 22-м съезде процесс пойдет еще скорее. Так мне кажется, и думаю, Вы со мной согласитесь.

Только этим можно объяснить появление альманаха «На Севере Дальнем», который, в отличие от всех прошлых попыток, начал издаваться регулярно и стал печатным органом литературного объединения Магаданской области. Конечно, «На Севере Дальнем» далеко до уровня хотя бы такого альманаха, как «Молодой Ленинград», но все же — в 3 номерах есть уже несколько профессиональных авторов. Я посылаю Вам все три №. Посмотрите и решайте — не присылать ли Вам что-нибудь сюда, в этот альманах? Какие ни есть, но все-таки деньги, все-таки публикация. Имейте, кроме того, в виду, что на 55-й год издательству «Магаданская правда» было запланировано 150 (!) печатных листов для издания местных авторов. Естественно, что издательства, несмотря на бурную деятельность редактора альманаха Козлова (Португалов с ним встречался и отзывается положительно), не смогло использовать эту возможность. Печатали что придется. Однако на 56-й год их портфель гораздо лучше.

Как будто в числе предполагаемых изданий — поэма Валентина «Колыма». Я знаю первую часть этой поэмы и не в восторге. Правда, мое суждение слишком субъективно — в нем преобладают эмоциональные моменты личного опыта. Но вещь сделана вполне профессионально, и ее издание будет полезно для Валентина.

Как видите, я пока не напечатал ничего, вероятно, по тем же причинам, почему не писал Вам. Однако это не значит, что отношусь к этой возможности пренебре-

жительно. Наоборот, считаю, что альманах нужно приветствовать и поддерживать. Так, по моему совету, поступил мой старый приятель Валерий Ладейщиков. Чудом выжив на Бутугычаге, он сейчас живет на Тельке (пос. Ойчан) и, как видите, в каждом альманахе что-нибудь помещает под именем В. Ладэ. Можете не сомневаться — это далеко не лучшие его стихи. И все же — он не упускает возможностей кое-чем из личного опыта подперчить благополучную строфу и пустить ее в обращение. Я уверен, дорогой Варлам Тихонович, что многое из написанного Вами в ту пору, когда Вы были на ЛЗУ левого берега, может быть использовано таким же образом. Более того — уверен, что Вы найдете форму более емкую, чем у Валерия, для того чтобы не только отблеск пережитого лежал на слове, но какой-то стороной (пусть хотя бы климатической, разноконтинентальной?) пережитое ожило в строфе...

Словом, мой Вам совет — свяжитесь с альманахом и издательством «Магаданская правда». Это Вас развлечет, а может быть, больше, чем только развлечет.

Вечером, не окончив письмо, встретил Валентина и сказал ему — пишу Варламу, может быть, и ты наконец соберешься? Обещал. Значит, не исключено, что это письмо, хоть в малой степени, компенсирует мое длительное молчание. Не знаю, напишет ли Валентин о своих делах, и поэтому — кратко о нем. Он работает здесь в качестве художественного руководителя местного кружка самодеятельности (при Доме культуры). Живет семьей. Их трое. Жена — левобережная лаборантка Люба. У нее — сын. Истинный «вождь краснокожих». (Появилась, наконец такая форма заключения. Это лишь нам пришлось «испить чашу до дна».) Валентин ведет себя подвижником, как и прежде. Подвижником семьи и все еще не разделяемой обществом страсти к поэзии. В последнее время он пишет все лучше. Недавно прочел пару настоящих стихов. Один из них воспоминание о <Дебине>. Здорово! Вероятно, будь у него время без забот о хлебе насущном, он мог бы сейчас сделать много настоящего. Но Валентин, как и я, бьется в тисках нужды. С утра до поздней ночи он трудится, занят любимым делом: организацией самодеятельности, поисками и так называемых струнных — для концертов обязательных, но очень неохотно посещаемых...

В общем, трудимся, ходим в рваных штанах и редко думаем о прекрасном. Я, Варлам Тихонович, работаю,

как уже писал Вам, на административно-хозяйственной работе. Директор местной пекарни — представляете? Пришлось овладеть незнакомой технологией, а главное хозяйственными делами в самых разных аспектах: коммерческом, экономическом, финансовом, теплотехническом (поиски наиболее экономных видов топлива для хлебопекарных печей) и даже санитарно-гигиеническим... В иные дни тружусь с 7 утра до 10 вечера. Газету просмотреть некогда. И все это за 1300 р. в месяц. Процентных надбавок не получаю. Лиля не работает. Вечерами ходит на курсы мед. сестер (созданы здесь такие, двухгодичные). Приходится мчаться домой, чтобы накормить и уложить Максимку, и только после того как уснет — сажусь к приемнику, просматриваю журналы. Да, для того чтобы представить полностью наш бюджет, нужно сказать о доме. Дом, хотя и свой — обходится дорого: ежемесячно удерживают по сто руб. из зарплаты для погашения ссуды и еще сто руб. приходится платить за коммунальные услуги, т. е. воду, свет, канализацию. Таким образом нам остается на жизнь 800 руб. в месяц. Можете теперь представить, каково нам приходится. И в моем юридическом статусе пока никаких перемен. Впрочем, я до сих пор ничего для наступления этих перемен не предпринял. Конечно, зря! Кругом столько примеров «эксгумации». Правда, я не принадлежал ни к партии твердолобых, ни с врагом не сотрудничал, но все же Марина Ладынина обещает мне свои и Ивана Пырьева свидетельские показания защиты, буде украинские «друзья» (Рыльский, Бажан, Корнейчук) в этом откажут. Посмотрим, что из этого получится. Петиции я уже настроил...

Из Вашего последнего письма можно заключить, что у Вас что-то произошло плохое, отчего усилилось чувство одиночества. В чем дело? Разлад с женой? С дочерью? Служебный «изоляциялизм»? Или это результат того самозамыкания, какое неизбежно увеличивается у нашего брата по мере приближения к пенсии? Напишите мне об этом. Интересуюсь. Сам чувствую, как отчуждаюсь от среды, от друзей.

Возню, затеянную вокруг имени Достоевского, более или менее знаю. Читайте, слушаю радио — и это, и то. Помоему, не нужно лучшего доказательства эффективности давления мирового общественного мнения на Ермиловых, чем вынужденная гальванизация этой великой славы. Может быть, это полное доказательство исчерпанности мето-

да (и только ли литературного?), питаемого вульгарными материалистическими идеями, — даже не идеями, а рефлексами не выше спинного мозга?.. Признать великим Достоевского — значит одновременно признать ничтожество Фаддея Булгарина и Греча — не так ли?

Я прочел в «Новом мире» главы из книги Ермилова о Достоевском. Из них трудно понять — чем же был велик Достоевский? Тем, что он с беспримерной силой раскрыл диалектику самоопровергающихся идей (всех, любых!) или тем, что даже Ермилову пришлось его признать?.. Жду книги. Его и Заславского. С интересом прочту. Мне бы хотелось знать Ваше мнение по этому поводу. Вы можете судить объективнее о том, что делается в русских умах в периоде между двумя съездами и чего следует ожидать после последнего. Обязательно пишите.

От Лоскутова, кроме приветов с оказиями с лета 55-го, ничего не получал. Он реабилитирован. Заведует глазным отделением Магаданской больницы. Живет с молодой женой. Переписывается? О Демидове ничего не слышно. Елену Александровну видел давно. Она преуспевает на старом месте. Все хвалят за человечность и возрастающее мастерство. Левобережная больница стала областной: на базе больницы создано медицинское училище, которое существует уже второй год. Иногда у меня бывает желание съездить на левый берег, походить по знакомым местам, но знаю — «ни с каких вокзалов в прошлое не ходят поезда»... (кажется, Шефнер?). Кстати, давно не читал хороших стихов. Помню, прошлой осенью в одном из номеров «Правды» был помещен очень неплохой отрывок из продолжения «За далью даль», «Сибирь» — что ли? Для Твардовского, не прошедшего через это, — просто хорошо, обратили внимание?

Теперь возвратитесь к первой странице — чтобы не увеличивать объема письма — заполняю поля.

Я разделяю Ваше мнение о французских и итальянских фильмах, «Красное и черное»²⁶ так могли сделать только французы — нация давней культуры Вольтера и Франса, Флобера и Мопассана и других художников пера и кисти... «Галльский острый смысл» не исчерпывает богатства исключительного характера французов. Я отношу «Скандал в Клошмерле» к шедеврам искусства, немыслимого в какой-либо другой стране, кроме страны Раблэ, Вольтера, Франса... Видели Вы этот фильм? Конечно, он недооценен у нас и только потому, что «в уме не чутком — нет места шуткам» (кажется,

так перевел Борис Леонидович слова Гамлета?). А потом и смеяться над государством (Чего стоит хотя бы: Стихи — это не моя стихия?), над армией, над партиями?.. Пусть смеяться беззлобно, жизнеутверждающе. Нет, нам еще очень, очень далеко до этого. До этого надо *дойти*, а не «дожить и пережить»... Верно? Да. Французские и итальянские фильмы — это современное искусство. И счастливы люди, причастные к его созданию... Не далее, как вчера вечером, я посмотрел «Утраченные грезы»²⁷. (Кстати, кто придумал это пошлое название взамен отличного итальянского: «Дайте мужа Анне Дзаккео»?) Это же превосходный фильм, и сколько бы ни поджимали губы наши ханжи — много еще на земле мест, где «честь девичья катится ко дну». Катится и будет катиться?.. Эх, Варлам Тихонович, Вы не представляете, как хочется мне еще поработать в кино! Реализовать хоть малую долю пережитого, передуманного, выстраданного... Обидно будет и знать, что известное тебе еще два десятка лет назад только-только начинает проникать в сознание среднего кинематографиста. Не знаю, придется ли еще, но если — да, то я знаю, как много у нас людей, могущих создавать вещи, настоящие вещи! Только без классных наставников, без гувернеров! — с большим интересом ждал пьесу Погодина «Трое едут на целину». Дело в том, что эту же тему (вернее — нечто смежное) разрабатываю и я в своем сценарии (*необходимое*, вынужденное или не вынужденное приобщение все нового и все большего количества людей к производству материальных ценностей, в котором я вижу одну из примет времени, его осознаваемую и неосознаваемую, но все усиливающуюся тенденцию). Однако пьеса меня разочаровала. Погодин взял только следствия или вывел их из ложных, выдуманных предпосылок. В общем, «мелкая пахота» с большим числом «огрехов». Конечно, до поры, пока время не «разминирует» зоны «запретных тем», напрасно видеть появления настоящих пьес и фильмов. Вот прочел я в № 1 за 56 г. «Искусство кино» литературный сценарий Де Сантиса²⁸ (и еще двух) и «Люди и волки», и позавидовал и людям и волкам. Как они естественны! Как они нравственны!.. Конечно, я не за «всеядную правду», но все же — правда, разумная правда хороших людей необходимое условие существования подлинного искусства!

Вы порадовали меня сообщением о крайней неискренности Филипа Жерара²⁹ в обязательных наших

критериях добра и зла. Это хорошо. Мое уважение к нему еще больше.

На этом поставлю точку, Варлам Тихонович. Я заслуживаю сочувствия — не осуждения. Привет Вам сердечный от всех нас — меня, Лили и Максима! Жму Вашу руку и желаю добра.

Да, образ тройки Вы развили хорошо. Но вот — *на счет уверенности ее полета по знакомой, слишком знакомой дороге — это вряд ли...*

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

Туркмен, 26 марта, 1956 г.

Дорогой мой Аркадий Захарович.

Позвольте с самого начала поблагодарить Вас за любезное предложение Ваше в части присылки стихов в альманах. Посылки Вашей я еще не получал, но это дело второстепенное — важнее определить правильно свое собственное отношение к подобной ситуации, что можно сделать, конечно, и без альманаха. Нет, я не отношусь пренебрежительно к подобного рода возможностям и считаю, что публикация есть дело полезное и нужное и вовсе не нужно добиваться ее исключительно в московской или ленинградской печати. Писать для себя — это вовсе не значит отвергать всякую возможность обращения к читателю. Мне только затруднительно сказать, что же можно подобрать для северного альманаха такого, что представляло бы для них интерес. Стихи того времени (Левобережного) у меня есть, но это ведь стихи плохие, и вряд ли в них найдется что-либо путное. Стихи же последнего времени (даже на северном материале) для альманаха, конечно, не подойдут. В ближайшие же дни я постараюсь выбрать из старого и из нового все, что можно послать, и пошлю Вам, и Вас прошу решительной и твердой рукой отмести негодное, а остальное переслать в альманах. Письмо туда я заготовлю и тоже Вам перешлю. Не затруднит Вас эта комиссия? Или мне следует прямо адресоваться в альманах?

Ваше письмо получено мною в момент, когда тройка вновь делает скачок, сотрясающий всех пассажиров, и один вместительный чемодан вылетает, разламывается, и содержимое высыпается в грязь.

До Вас уже, конечно, дошло письмо ЦК о том, что из себя представлял Сталин как партийный вождь, как

теоретик и как военный гений. Письмо, зачитанное на закрытом заключительном заседании съезда в присутствии представителей иностранных компартий. Письмо это начали читать в Москве месяц назад, но до сих пор только о нем и говорят в автобусах, в трамваях, в квартирах. Письмо читают на закрытых партийных собраниях, и чтение его занимает три с половиной часа.

В письме этом известное завещание Ленина впервые названо действительным партийным документом, а не «фальшивкой», как в этом уверяла нас печать более 25 лет подряд, «фальшивкой», за хранение которой давали 25 лет тюрьмы. Чрезвычайно многозначительным является оглашение письма Крупской в адрес никого другого, как Каменева и Зиновьева³⁰, с просьбой оградить ее от оскорблений Сталина.

Чрезвычайной важности момент упоминания о новом расследовании дела об убийстве Кирова. Я видел вернувшихся из ссылки и лагерей бывших сотрудников Кирова, которые остались в живых и не устают твердить, что никакого Николаева не было в Ленинграде в момент убийства Кирова. Материалы этого расследования, несомненно, вызовут новый документ и, надо надеяться, новую оценку тех старых событий, которые даже Фейхтвангера ввели в заблуждение. И вызовут новую, дополнительную оценку самого героя этих дел.

То откровенное признание с потрясающими цифрами расстрелянных — хотя бы делегатов 17 съезда, где из 133 человек президиума в последующие годы было расстреляно 92 человека³¹, оглашение письма Кедрова из лефортовского застенка, оглашение личного распоряжения Сталина о применении пыток на следствиях и т. д. и т. п. в огромном количестве — все это исключительной важности материалы.

Его военные подвиги — начало войны, прострация 16 октября 1941 года, его руководство войной по глобусу, его трусость и мнительность, смерть Постышева и сотни тысяч других смертей — все это нашло себе место в этом письме ЦК.

Вы, конечно, познакомились с письмом, так что я не буду передавать подробно его содержание. Во всяком случае, это следует считать документом значения огромного, превосходящего все, что в этом роде было до сих пор. Необходимость полной дискредитации этого «авторитета», который к концу своих дней сделался угрозой для жизни всех окружающих его, — стала, очевидно, насущной.

Однако в письме есть одно странное, бросающееся всем в глаза обстоятельство. Признав и отметив умерщвление сотен тысяч людей, развенчав его как партийного вождя, как генералиссимуса (в письме буквальное выражение: вот каков был этот гений), письмо ЦК не назвало его логически врагом народа, отнеся все его чудовищные преступления за счет увлечения культом личности. Это странная, вовсе не политическая трактовка (ибо в политическом смысле нет никакой разницы между сознательным врагом и совершающим государственное преступление зазнайкой) дела объясняется, возможно, необходимой ступенчатостью таких операций. Возможно также, что хотят дожидаться результатов нового следствия по делу об убийстве Кирова, которое ведь представляет начало всего. Возможно также, что дальнейшее будет раздроблено на отдельные участки, и низвержение авторитета будет производиться по частям.

Но все это не главное, главное же в том, что публично и открыто преступления называются преступлениями и доверие к процессам 37-го — 38-го годов автоматически уничтожается. Говорят, на 20-й съезд было прислано письмо жены Троцкого, требующей реабилитации мужа.

Я никогда не думал, что доживу до дня, когда этого господина назовут его настоящим именем. Я понимал всю сложность положения Булганина, Хрущева и других, которые ведь и сами были у руля. И то чудовищное положение, когда никому из них не разрешали видаться друг с другом без посторонних, коими являлась почетная личная охрана. Я понимаю, как сложно объяснить такие вещи сейчас. Но я считаю публичное развенчание этого идола событием исключительной важности. Логика событий поведет ко многому другому. Но даже если дальнейшее не несет особых изменений, то самый факт такого документа, как письмо ЦК, — дело очень большое, автоматически подорвано доверие к известным фантастическим процессам 37-го и 38-го годов.

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

30 марта, 1956 г.

Дорогой Аркадий Захарович, прошу у Вас прощения. Для меня неожиданностью были сведения о Ваших эндоартритных переживаниях. Я думал, это давно и ос-

новательно прошедшее дело. Экая гадость, право. Примите самое мое сердечное сочувствие. Говорили ли Вы со специалистами? Ягоднинскими, левобережными и магаданскими? И каков характер болеей год от года? Грязевые какие-либо, парафиновые костюмы не помогают тут? Напишите поподробнее. Я тут свяжусь с медиками в смысле заочной консультации. Мне совестно, что недогадливость моя именно эту сторону дела вовсе упустила из виду. Позвольте мне также поблагодарить Вас...³²

В воскресенье 25 марта я был в Кремле. 32 года я там не был. (Вход туда закрыли после смерти Ленина.) Я испытывал некое нравственное удовлетворение от этого посещения — от того, что я, распятый и убиенный, поставил свою ногу на ядро около Царь-пушки. В этом чувстве много детского, но кое-что и серьезное передумалось. О том, что не только я вошел в ворота Боровицкой башни, но и Вы, и Валя, и все мои северные друзья живыми и мертвыми были здесь со мной. О том, что убить живое и бесконечно легко, и бесконечно трудно, не по силам любим героям и т. п.

Вход туда по билетам (которых выдается определенное количество на день), так что давки никакой нет. Билеты эти выдают по московским предприятиям и учреждениям — безымянные квадратные карточки. Для Оружейной палаты нужны особые билеты, для квартиры Ленина опять-таки особые. У меня был самый демократичный — на Кремлевский двор и в три собора: Архангельский, Успенский и Благовещенский. Рублевские иконы со всей удивительной наивностью этой кисти, старые иконостасы, тесные ряды кованых царских и патриарших гробниц — и все это производит впечатленье большое.

Мне казалось, что не кисть художника удерживает образ Бога на стенах, а то великое и сокровенное, чему служила и служит религия. Эта ее строгая сила, моления сотен поколений, предстоявших перед этими алтарями, сила, приобретающая материальность, весомость, — сама без нас хранит эти храмы. Что сотни поколений молившихся вложили туда столько своего сердца каждый, что этой силы достаточно навечно. Она — не история искусства. Древнерусская живопись воспринимается эстетически как некий формальный изыск, не более. Но что Пикассо перед этим багрянцем и золотом, перед этими пронзительными глазами, глядящими с каждой стены.

И немудрено, и это очень и очень характерно: хотя двери соборов раскрыты настежь (толпа входит и выходит) и внутри холодно, все входящие мужчины сдергивают шапки, ибо церковь есть церковь в конце концов. Об этом никто не предупреждает, но снимают шапки буквально все, и какие-то [неофиты], и взвод солдат, заведенных туда бравым капитаном, и сам капитан уже позже солдат поспешно снимает фуражку. И другое. В алтари, как в действующей церкви, никого не пускают. Осматривают все, кроме алтарей. Царские врата закрыты, и это тоже производит очень хорошее впечатление, если это даже сделано с оглядкой на иностранцев или по просьбе Святейшего Синода.

Царь-колокол и Царь-пушка — довольно жалкие вещи. Колокол, который не звонит, пушка, которая не стреляет — это чисто декоративные вещи — пушка-то уж обязательно. Подъезды всяких Верховных Советов и Совминов вполне доступны. Часовых мало, а милиция держит себя не энергичнее, чем в метро.

Посмотрел жалкую брошюрку Заславского³³ о Достоевском. По ней, впрочем, можно видеть, что главным достижением советской науки считаются многолетние архивные изыскания (увенчавшиеся успехом), имевшие целью доказать, что отца Достоевского убили его крепостные за жестокость. Этот «вклад» делает честь нашему литературоведению, неожиданным представителем которого выступает господин Заславский.

Просмотрел сборник «Толстой о литературе». Чем дальше я живу, тем как-то брезгливее отношусь к его переписке, особенно последних лет. Эта жизнь напоказ, каждая строчка *urbi et orbi*, похвалы в адрес всего плохого, слабого и ругательства в адрес большого, равного, вся эта нарочитость приедается в конце концов, чрезвычайная противоречивость, непоследовательность отзывов дают впечатление, что все это делается для красного словца. И знаете, что? Он ведь художник холодной крови, и за «Идиота» Достоевского я отдам любой его роман. Холоден он и по сравнению, скажем, с Гоголем.

Нехорошо, конечно, так писать, но я не принимаю его, это так и есть. Вот «Воскресенье» — это ведь выдуманый, холодный роман, и весь свой гений художественный Толстой обратил на то, чтобы люди не были мертвы. Гений был велик — ему это удалось. Но следы этой борьбы остались на всем произведении. «Анна Каренина» — произведение, которым он меньше всего

управлял, которое вырвалось от него, и это лучшая его вещь, заветнейшая его вещь.

Что Вам сказать о «Человеке и жизни»³⁴ Хемингуэя? Я целиком согласен с Вами, Нобелевская премия — это только доступное нам робкое свидетельство преклонения перед этим талантом. «Старик и море» — это еще лучше, чем все его остальные вещи. Он сумел в такой кристальной форме и с такой силой рассказать еще раз самый пронзительный, самый трагичный, самый грозный греческий миф — миф о Сизифе. И какой-то Эренбург имеет смелость говорить, что если у нас нет больших талантов, то ведь и на Западе их нет, время, дескать, не такое.

Шолоховская речь³⁵ произвела и на Вас, и на Валю впечатление. А мне было стыдно ее читать — как может писатель, большой писатель понимать свое дело таким удивительным образом. Как странно, если искренне, определены болезни писательского мира. Какие неподобные рецепты тут предлагаются. Горький — во многом великий пошляк, но он все-таки был работником искусства, он был обучен как-то понимать искусство, а этот ведь не дал себе труда заглянуть в свое собственное дело. Меня просто убивают выступления наших литераторов. Помнится, много лет назад, в 30-х годах я был в Доме писателей на одной из модных тогда «встреч» писателей и ученых, и я поразился низкому общекультурному уровню писательской среды по сравнению с уровнем и запросами ученых. Убожество какое-то, и ведь по своему же делу, ученые-то ведь говорили на их языке.

Стихотворение Твардовского, о котором Вы пишете, я не читал. Я считаю Твардовского единственным сейчас из официально признанных безусловным и сильным поэтом. Кстати, о Твардовском. Сейчас по Москве ходит рукописная поэма «Василий Теркин на небесах»³⁶ — сатирическая расправа с живущими на земле литераторами. Я ее не читал, обещали достать.

Дорогой Аркадий Захарович, Пастернак закончил свой роман и был настолько любезен, что прислал мне на целых две недели второй том «Доктора Живаго», первый том я прочел давно, вот Вам бы прочесть его, Вы увидели бы, что русская литература воскреснуть могла бы в несколько лет, развернуться до полной, волнующей, нужной людям шири. Я устал сейчас, письмо большое. Я перескажу содержание лучше в одном из последующих писем. Главное, Аркадий Захарович, надо

работать, работать и работать. Писать рассказы, романы, сценарии, стихи — без этого все пустяки, все пустые разговоры.

Надо так, чтобы в самых отчаянных условиях суметь закрепить на бумаге хоть капельку из того, что наболело. Меня тут пробовали сводить с литераторами, но, услышав суждения такого рода, как то, что «Воронский — есенинский критик», а «Литература и революция» написана болтуном, я замолчал вовсе и беседу не продолжал. Людям не делают чести презрительные тирады в адрес людей, убитых за их жизнь и убеждения.

Я кончаю, милый Аркадий Захарович, хотелось написать гораздо больше и о моих семейных делах, о которых у Вас создалось превратное, слишком категорическое впечатление, — дело тут в другом, не менее горшем, — я еще мог бы горы своротить при скольконибудь надежном и сочувственном тыле.

Мои старые товарищи, которым я написал недавно, откликнулись, и немедленно, самыми теплыми письмами, я с ними еще не видался. Один из моих бывших начальников пишет так: «Я всегда верил, что откроются двери и Вы переступите порог, мне 63 года, но я не потерял умственных способностей и т. д.»

Желаю Вам здоровья, здоровья и счастья, пишите, не болейте, не ленитесь, для меня очень дороги Ваши письма, Варлам.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

14/IV.56

Дорогой Варлам Тихонович!

Что же Вы молчите? Вероятно, уже давно получили мои письма и бандероль? Не думаю, чтобы у Вас, как у «Лит. газеты», под влиянием анафемы Великому Хлебо-резу, отнялся язык...

У меня, Варлам Тихонович, пока никаких перемен. Правда, в этом месяце обещают снять «пространственные ограничения», но и это пока ничего не изменит. Нет денег. Лиля не думает об отъезде из-за своих курсов. Хочет прежде закончить курсы медсестер, т. е. быть здесь еще одну зиму. Не представляю, как будет с моим эндартеритом. С каждым днем болезнь прогрессирует.

Конечно, необходимо уезжать. Однако это, в значительной степени, будет зависеть от результатов моих попыток вернуться в кино. Посмотрим.

Прочел я недавно две пьесы Артура Миллера³⁷.

Говорит Вам что-нибудь это имя? Пьесой «Салемский процесс» ввергнут в состояние черной зависти. Здорово! Если не читали — обязательно прочтите.

Она напечатана в № 5 журнала «Театр» за 55-й год. Не представляю, как на основании примитивного опыта в США (маккартизм, антидарвинские процессы...) можно было написать такую пьесу.

Вторая пьеса, «Человек, которому везло», напечатана в № 1 или № 2 «Нового мира» за этот год. Тоже превосходно. Очень советую прочесть, если не читали. Я, после «Старик и море», получил от этих двух пьес настоящее удовольствие. Еще можно назвать сценарий «Люди и волки» (Дзаваттини³⁸ и еще два итальянца), но это, конечно, не то.

Варлам Тихонович, пишите. Я очень жду Ваших писем. Сейчас заканчиваю, т. к. работы у меня невпроворот. Но это не значит, что буду писать Вам чаще, нежели писал.

Жму Вашу руку.

Аркадий.

Привет от всего семейства. Максим растет хорошо.

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

1956 г.

Дорогой Аркадий Захарович.

Ваше письмо от 14 апреля получил и весьма удивлен.

31 марта я послал Вам обстоятельное письмо, еще не получив тогда альманах (сейчас я его получил), и Вам послал большое письмо. Я попрошу Вас (и Вале передайте), чтобы меня хотя бы открыткой немедленно уведомили о получении этого письма, чтоб я не думал, что оно пропало.

Имя Артура Миллера мне говорит очень много, хотя ни «Салемских колдуний», ни «Смерть коммивояжера» (он во 2-м номере «Н. М.», а не в 1-м) я не читал.

(Я, право, если б не думал о кощунстве, мог бы повторить слова Хемингуэя (в одном из ранних интервью): Что Вы читаете? — Я ничего не читаю. Я пишу.)

Дело в том, что я слышал по радио его речь к юбилею Достоевского и этой речью восхищен.

Событий в издательстве много. Издается спешно Третьяков, издается однотомник Павла Васильева (!), издается однотомник Пастернака с его автобиографией (!).

«Лит. Москву» с его заметками о Шекспире Вы уже, наверное, прочли.

Этот альманах (ценой в 18 р. 75 к.) идет нарасхват, в Москве 200 руб. идет с рук и только из-за тех 6—7 страниц Б. Л. потому что, несмотря на именитость и поэтов и прозаиков — читать там больше нечего.

Скорей известите меня телеграммой, что ли — получили ли письмо от 31 марта.

Я не посылал еще стихов для альманаха («На Севере Дальнем»); все не могу отобрать — писать, мне, напр., легче, чем отбирать для печати.

Сердечный привет Лиле, Максиму — тоже.

В.

В. Т. Шаламов — А. З. Добровольскому

Туркмен, 7 июля, 1956 г.

Дорогой Аркадий Захарович.

Прошу простить меня за столь долгое молчание — я объясню, в чем дело, и Вы не будете сердиться. Примите мои поздравления в части снятия территориальных ограничений — все это весьма важно и отрадно. Однако я всегда видел в Вас человека, для которого такие вещи не могут быть самыми убеждающими из аргументов жизни, человека, который досаждает на самую страшную человеческую способность — способность забывать.

Текущее лето останется в моей памяти как время какого-то резкого ощущения моей нужности жизни и людям. Бесперывно, начиная с апреля (по субботам и воскресеньям), я встречаюсь с людьми, читаю стихи и рассказы, все свободное время пишу. Борис Леонидович сдержал свое обещание — 24 июня у него на даче в Переделкино на торжественном обеде читал я свои новые стихи. (Между прочим, скажите Вале, что Луговской помнит его — на этом обеде он сидел против меня, и я ему напомнил несколько фамилий.) Роман Б. Л. печатается в «Новом мире» («Доктор Живаго»), и все умоляют дать прочесть рукопись (а я ее читал еще год назад). Новая автобиография его в «Литературном сборнике»

(там и мои, может быть, будут). Все эти дела, куча новых, именитых знакомств — всякие «пресс-конференции», все это идет при большом нервном напряжении, потому что главное-то ведь остается главным, и службу своему богу я продолжаю как могу.

Юридическое и материальное мое положение остается прежним, а личные дела пришли в совершенную кашу, и, как это будет завтра, я и сам не знаю.

Лоскутов пересылал мне майскую «Магаданскую правду» с Вашими и Валиными фото — вот, значит, какие Ваши высокие дела. Все это тоже плюсы и знамения времени. Роман Б. Л. «Доктор Живаго» будет печататься в «Новом мире», наверное, в будущем году. Туда же сдается новая автобиография (которая будет в одном-нике), она еще не закончена, хотя, все, что написано — детство и время до 1917 г., я уже слышал.

Б. Л. я видел недавно, обедал у него.

Я пишу Вам это письмо только затем, чтоб не быть невежливым. Большое письмо пишется.

Переезжайте-ка в Москву и если время (в планетарном смысле) позволит, то мы с Вами сможем сделать кое-что.

Привет Вашим.

В.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

18/VIII—56

Дорогой Варлам Тихонович!

Еще в прошлом месяце получил Ваше первое письмо, а затем, в начале августа — второе. Причины промедления с ответом — те же, что и у Вас: занят до крайности. Правда, моя занятость, к сожалению, разнится от Вашей: я меньше пишу, а больше занят утомительнейшей возней на производстве. Да, и здесь, где некогда, с небывалым размахом, в «погостный перегонной» перемалывался самый ценный капитал, начинают сказываться непреодоленные последствия пресловутого культа — чрезвычайная громоздкость организационной структуры хозяйственной и прочей деятельности, при острейшем недостатке в людях, особенно — в способных! В который раз едкая горечь нашего опыта подкатывает к горлу и прорывается последними словами при мысли о трагедии народа, чья жизнь осмысливалась днями и

объемами «египетских гробниц», а не десятилетиями и здоровьем и счастьем поколений!.. А мальчики и девочки играют на стадионах в футбол и волейбол и танцуют на площадках танго (с благодарностью, что уже не колхозную кадрили) и поют «Два сольди» (с радостью, что уже не кантаты и марши)!..

Не знаю, как Вы, но я часто думаю о том, что величайшим бедствием времени стало централизованное воспитание условных рефлексов гражданственности.

Вряд ли на этом пути можно ждать появления «свободной исторической личности, не творящей кумира и благодаря этому искренней и немногословной». (Я с удовольствием цитирую Б. Л., так точно в своих заметках о Шекспире определяющем настоящего человека.)

Конечно, можно было бы с нигилизмом обитателя какой-нибудь «пересылки к культу в зубы» — послать все эти мысли к дьяволу. Но, когда я смотрю на играющего Максима или везу его на велосипеде к незапыленному берегу искрящейся под солнцем реки, мне не отмахнуться от мыслей о его будущем — что ждет его? — школа-интернат, ФЗО или другой загон для молодняка? Или свободное развитие освобожденной личности на разумно устроенной земле?..

Знаете, я начинаю склоняться к мысли — необходимости запрещения (когда-нибудь в будущем — при мировом социалистическом, или коммунистическом, но понастоящему научном правительстве) холостякам заниматься государственной деятельностью. Психология мужчины без женщины, этакого «барачного безбрачия», исключает возможность настоящей и разумной заботы о настоящем и будущем наших сыновей, и, значит, в конечном счете — растрление детских душ ложью, вроде твердого еще недавно во всех детских садах страны:

Наши первые слова —
Сталин, Родина, Москва..

Впрочем, я основательно отвлекся от главного, чем хотел поделиться с Вами. Варлам Тихонович, как-то я писал Вам о странном мне самому безразличии к нынешней поэзии. Помните, я утверждал, что даже стихи Б. Л. меня трогают меньше, нежели трогал в свое время 66-й сонет в его переводе. Я даже думал, что это происходит по причине весьма прозаической — возрастной утраты способности воспринимать поэзию (как, скажем,

засыхающее дерево тратит способность качаться и трепетать листвою на весеннем ветру). Ан нет! Уже первая строчка присланных Вами стихов Б. Л. заставила сердце словно сжаться и приостановиться от предчувствия приближения, а еще через секунду — появления самой богини Поэзии. Я пережил уже давно не испытываемое чувство причащения ко времени и пространству конденсированных гением в «Магический кристалл». Вот и сейчас я говорю, вероятно, не те слова, но мне хочется осмыслить и выразить ту мгновенную и ни с чем не сравнимую радость и невыносимую печаль, которые потрясли меня при первом прочтении этих стихов... Конечно, это состояние уже не раз описано и еще греки дали ему имя. Но я так давно его не переживал, что на этот раз оно было для меня как бы внове. Даже не поверил себе. Стал читать (Вы ведь не запрещали, да и нельзя это запретить) другим. Конечно, только тем моим друзьям и знакомым, кто почти ценою жизни уплатил за познание «законов страстей», и я видел, торжественно взволнованный, как расширялись их зрачки, бледнели губы, останавливался обращенный куда-то вовнутрь взгляд, а затем краснели уши, наполнялись слезами глаза, и горловые спазмы заставляли делать глотательные движения...

Да, стихотворение «Душа», даже в неволнуемых Блоком, проникает за строчкой строчка, как желудочный, нет, не желудочный, а какой-то еще не изобретенный сердечный зонд!..

Передайте Б. Л. при случае от живущих в «обителях севера строгого» благодарность за то, что в «это время хмурое» — он такой *существует* на свете!!!

Я писал Вам как-то о превосходной постановке книготорговли в Ягодном. Это правда. Вскоре после получения Вашего июльского письма в нашем книжном магазине уже продавался, и в достаточных количествах, альманах «Литературная Москва». Таким образом, разорившись на 18.75, я стал его обладателем. Да, Вы правы — кроме заметок Б. Л., — ничего особенного.

Конечно, кусок из поэмы Твардовского «Друг детства» — хорош. Но он и радуется, и возмущает одновременно. В начале поэмы ляпнуть этакий домостроевский реквием на смерть Великого Хлебореза и блядски вилять задом, оправдывая это «крутое самовластье», а через пару сотен строк строить из себя хризантему и задавать риторические вопросы: «Виню в беде его <беспокаян-

ной> страну? При чем же здесь страна?.. Винить в судьбе его не станет народ? При чем же здесь народ?..» Талант «применительно к подлости» и больше ничего!

Сегодня получил письмо от Кундуша. Делится радостными новостями — 12/VIII получил сообщение о реабилитации. Собирается в Ленинград. Сообщает ленинградский адрес. Вероятно, он Вам написал или напишет.

Варлам Тихонович, желаю Вам здоровья и всего хорошего. Привет от Лили и Максима. Пишите больше. Только Ваши письма и связывают меня с чем-то важным на материке. Не сетуйте на мою медлительность. Вот перейду на другую работу (подыскиваю что-нибудь менее ответственное и беспокойное) и уж тогда засыплю эпистолами. *Аркадий.*

Варлам Тихонович, будьте снисходительны к неудобочитаемости написанного. Я пишу чертовски наспех. После по-высокому последнего лета (-5° в конце июля!) — только недавно установилась хорошая погода. Спешу с ремонтами. Спешу в условиях не только нехватки рабочей силы, но и простейших материалов. Голова идет кругом. А очень немногие «организаторы» понимают, какие сдвиги происходят в составе и умах «организуемых» и, наконец, какие перемены, если не качественные, то количественные, происходят в экономике области; странная ограниченность и узколобость «организаторов» — просто восхищают. Салтыковские генералы с необитаемого острова в сравнении с ними — деятели!

В нарочном промедлении с публикацией ленинского «Завещания» — явная переоценка их умственных способностей. Не будь я так занят и не хворай к тому же, мне бы доставляло огромное удовольствие наблюдать эти порой фарсовые эволюции музыки Клио.

Но к нездоровью и занятости надо еще прибавить изнурившую вконец лихорадку ожидания каких-либо перемен в моем юридическом статусе. Досаду на неосторожные посулы друзей (Бажан: «Вскоре жду Вас со своим Максимом в своем Киеве». Пырьев: «Работу начнем сразу же по приезде, который, вероятно, не замедлит...») и на собственное, как будто давно меня покинувшее легковерие. Девятнадцать лет не творить себе иллюзий, а на двадцатом пойматься на эту мякину!.. Хотя, в общем, я продолжаю оставаться на уже изложенной мною точке зрения на происходящее, как на

очевидное торжество антитез. Конечно, торжество не в разгаре, но последующее уже настраивается...

Завидую Вашему чувству какой-то иной, нежели нынешняя моя, нужности людям. Я мучительно трудно и долго пишу. Более того — у меня уже были принципиальные столкновения с местной «литературной общественностью» (да, есть уже такая). И в который раз приходится убеждаться, как нелегко разрушаются интеллектуальные стереотипы, созданные государственной кормушкой Великого Хлебореза...

Валентин не пишет Вам потому, что занят не менее моего — из-за куса насущного камфорит подышающее искусство районной самодеятельности, а тут еще тяготы забот о новорожденном, об освобождении жены и т. д.

У него нет и у меня тоже никаких перемен в юридическом положении. Встречаемся часто, но разговариваем на ходу. Валька ругается нещадно и, кажется, заражает этим меня. Я тоже от предпоследних слов перехожу к последним. И единственное, еще примирительно действующее на душу, это природа, это земля под солнцем. Да, становлюсь солнцепоклонником, и тем не менее — не гони меня нездоровье, я и не помышлял бы о бегстве с Севера. Мне уже не кажется, а я уверен: трудно сыскать сейчас место более подходящее для жизни, нежели Ягодное. Материально-культурные возможности на уровне большого города, а за километр от поселка — тайга, т. е. ягодники и грибные базары и ключи, полные форели. Сейчас, в середине августа, гляжу на речные поймы и на сопки и не могу наглядеться. Скорблю, что нет у меня времени да и мастерства для писания этих золотисто-оранжевых и голубых этюдов, нет времени для рыбной ловли и охоты. Впрочем, уже завтра брошу все и отправлюсь на двое суток на озеро Дж. Лондона. Знаю, они умиротворят меня надолго.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

12—14/Х—56

Дорогой Варлам Тихонович!

Я ответил на Ваше короткое письмо, с вложением 3-х стихотворений Б. Л. уже давно.

Терпеливо дожидаясь обещанного подробного письма, проливающего свет на характер Вашей занятости, содержании одержимости в настоящий момент, etc.

Однако на этот раз уж слишком долго Вы молчите. В чем дело? Вас заела работа служебная или писательская? Хотелось бы знать, удалось ли Вам что-нибудь уже протолкнуть в печать? Хотя Вы и не придаете этому значения решающего, но все же — по крайней мере, для меня, это было бы свидетельством настоящего (отчасти) преодоления пресловутых последствий, т. к. я убежден — Вы уже сделали что-нибудь настоящее, а не настоящего не стали бы публиковать. Тут же сознаюсь Вам, что у меня дело идет чрезвычайно туго, даже можно сказать — совсем не идет.

То ли от уверенности, что еще не настало время для серьезных размышлений над содержанием отрицательного опыта, то ли от крайней служебной занятости — работа за кусок насущный требует со всей требухой, то ли наконец от катастрофически упавшей работоспособности.

Всего вероятнее — все эти слагаемые присутствуют в состоянии, которое Вы как-то назвали «аграфией».

Да, полная аграфия. Содрогаюсь отворачиванием при виде листа белой бумаги.

Допускаю, что это еще может происходить и по причине психологической — я возлагал некоторые надежды (по вине Бажана, Пырьева и др.) на возвращение еще в этом году в Москву или Киев и на что-то вроде прежнего положения в производстве серых и известных теней. Однако, увы! — это не состоялось, и, судя по наступившей паузе в «обратном ходе» Фемидиной колесницы, может и не состояться. Крушение, нет — не крушение, а медленное издыхание этой моей последней иллюзии действует более опустошающе, чем + 10 лет в 1944 году.

Однако Вы-то меня поймете без комментариев...

А вот Валентин Португалов не далее, как позавчера, получил телеграмму из Москвы: «Вы реабилитированы по первому и второму делам. Документы высланы»... Представляете его ликование? Впрочем, Вам трудно представить, т. к. Вы не знаете всей тяжести его материальных обстоятельств в связи с семьей и т. д. Мы с Лилей даже считали, что Португаловым труднее живется, чем нам, я разделяю радость Вальки, но, откровенно говоря, мне еще горше сознавать, что мне, по видимому, такого не дожидаться. Угрожающе прогрессирует сердечная слабость. Эндартерит порою стреноживает так, что и жить не хочется. Только из-за Мак-

сима все еще остаюсь в Ягодном (Лиле обязательно нужно закончить курсы медсестер), тяну непосильное уже ярмо каторжной работы и не могу себе даже позволить лечь в больницу хоть на пару недель для текущего, какого ни на есть, ремонта. Так обстоят мои дела — довольно о них!

Скучаю по Вашим письмам. В 8-м, кажется, номере «Знамени», среди прочих неизвестных мне стихов Б. Л. встретил два знакомых и не удивился, что «Душу» не встретил. Это естественно. Прочел сборник стихов Л. Мартынова. В нем — много хорошего. Конечно, эта книжка — настоящее событие в поэтическом производстве последних лет. Сейчас мне ясно, что при всей далековатости результатов — Мартынов шел по следу Б. Л. и только на этом пути сохранился — выделился как поэтическая индивидуальность. В смысле лаконизма своих популяризаторских экскурсов в мир художественных интегралов и дифференциалов Б. Л. — Мартынов порою просто блестящ. И знаете, мне даже приходило на ум при чтении его стихов такое — это эссенции дурманящих ранних стихов Б. Л., разбавленных до крепости превосходного, освежающего одеколона. М. б., сравнение несколько вульгарное. Но мне оно объясняет происхождение таких строчек, как «я-то знал, что так жить нельзя, извиваясь и скользя». Не восходит ли этот простоватый афоризм к «вежливо жалящим змеям», замаскированным в «овсе»? Однако это не так важно.

Гораздо важнее появление этой книжицы в косяке поэтических карасей и налимов, жировавших у государственных кормушек. Думаю, что и Б. Л. порадовался этому факту — верно?

Я с интересом прочел «Тихого американца»³⁹. Этот модернизированный вариант «Преступления и наказания» выписан отменно.

Я еще не встречал лучшего раскрытия идеи того «избирательного гуманизма», понимание которой я формировал в этом определении еще во времена своих скитаний по колымским «обителям Севера строгого».

Да, а вот «Время жить и время умирать» Ремарка — книга, даже в первой своей части потрясая меня своей патологоанатомической точностью, — это явление!

Так давно и что-то в этом роде представлялось мне, как беллетристический вариант известной Вам «Клиники и лечения обморожений» Герасименко — помните Вы эту монографию?

Впрочем, на эту тему можно говорить много, однако вряд ли стоит. Придет время эксгумации «погостного пережня» — а я верю, что оно придет, и не избирательно! — и будут написаны и записаны в анналы истории все необходимые протоколы...

Из фильмов последнего времени меня весьма тронул греческий фильм «Фальшивая монета»⁴⁰. Вот и Греция предстала перед нами почти такой, какой ее видел Олдридж⁴¹ в «Деле чести» и о какой даже не подозревали рядовые члены профсоюза.

Правда, для меня это не было большой неожиданностью. Я вспомнил, что еще в начале 30-х гг. прочел единственную (для меня) книгу грека-современника. Она поразила меня и тогда прозрачностью мысли и светлой философией стоического жизнеутверждения, может быть, Вы тоже читали «Апология Сократа» Костоса Варналиса⁴².

Зная такую книгу, нетрудно понять — на чем стоял Белоянис, отдавший предпочтение славной смерти перед бесславным «делоси». Даже если у него не было такого выбора, его поведение чем-то понятно.

На этом заканчиваю. Писал урывками. У меня сейчас идет испытание форсунок, и я, как директор временно годовых пятилеток, день и ночь на производстве. Закоптился, пропах соляжкой и охрип от административной деятельности.

Приветствую Вас от имени Лили и Максима. Максим уже ходит в ясли и в этом соцзагоне для молодняка чувствует себя отлично. Он моя единственная запоздалая радость, но и он источник мучительных размышлений, неизвестных мне раньше.

Обнимаю Вас — *Аркадий*.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

15/ХІІ—56—20/ХІІ

Дорогой Варлам Тихонович!

Получил Ваше московское письмо уже давно. Порадовало оно меня чрезвычайно. Ведь в нынешние времена рок, именуемый политикой, редко создает сюжеты с happy end'ом, подобным Вашему. Еще раз примите мои дружеские, по-северному настоящие, поздравления. Поздравляю и Ольгу Сергеевну. Ведь не многие дождались и дождутся...

Конечно, как и всегда, хотел Вам ответить тотчас же, но, как и всегда, моя неорганизованность (у меня она оборачивается занятостью) и крайне плохое состояние здоровья вызвали обычное промедление. Откладывал со дня на день — думал, вот лягу в больницу и уж там напишу все — и вот только спустя месяц действительно лежу в больнице, как и предполагал, и из этого Вы можете заключить о многом, не представляющем, однако, никакого интереса для подробного изложения. Поэтому коротко. О болезни моей я уже Вам писал. Она прогрессирует, и это принуждает меня, независимо от юридического и экономического положения, не позже весны 57 г. покинуть Колыму. В связи с этой необходимостью все чаще думаю о земле моего детства: какая она сейчас, найду ли там пристанище? Мать еще жива, но ее жизни совершенно не представляю; по письмам, с библейской отрешенностью от быта, ни о чем нельзя судить. Но хотя не Вы один советуете мне поскорее ехать в Москву или Киев (в первую зовет Пырьев, во второй — Бажан, Дмитерко и др.), я склоняюсь к другой альтернативе: если мой юридический статус изменится в смысле, предсказываемом Ольгой Сергеевной, — я избираю что-нибудь вроде Подмосковья или киевских окраин; если останется нынешним — еду в отпуск, лечусь и возвращаюсь на Север, только не в высокогорные, а в приморские районы. Конечно, как и всегда, будет ни то, ни другое, а нечто неожиданное третье, но альтернативное решение пока такое...

Варлам Тихонович, Ваша информация о литературных событиях вызвала живейший интерес не только у меня, но у Валентина Португалова. Он в течение нескольких дней послал присланный Вами Бюллетень и познакомил с его содержанием всех членов местного литературного объединения. Правда, с самим романом, и то по моему настоянию, познакомился лишь несколько дней назад, совершенно справедливо полагая, что дело не в романе, а в возможности *таких* комментариев к нему. Я прочел с интересом эту вещь задолго до Вашего письма, и это обстоятельство — я ведь далеко не всеяден — убедительно свидетельствует в пользу Дудинцева. Однако согласен с Вами — перегной прошедшего здесь разбавлен до концентраций, не угрожающих потребителям столбнячной инфекцией. Но даже и в этой концентрации, как видите, есть нечто привлекающее читателя и возбуждающее его мыслительные способно-

сти, конечно, это только подтверждает правильность, естественность той тоски по настоящему, какая движет Вами (и мною, и многими другими) в намерении еще дать бой за правду. Не сомневаюсь, и эта тоска, это намерение имеют самые многообразные аспекты во всех областях нынешней жизни... *однако до торжества антиitez еще далеко*, по крайней мере по мерке моей быстро убывающей жизненной силы. Как ни смутно я выражаюсь, один Вы меня поймете без необходимости уточняющих выражений. Это написано до получения «Лит. газеты» от 15/XII, в которой начаты атаки на Дудинцева (но не «Известий», поместивших статью Крюковой?) с таких «густопсовых» позиций, возврат на которые уже казался невыносимым.

Огромное наслаждение доставил мне недавно роман Ремарка. Если Вы еще не прочли это во многих отношениях замечательное произведение (№ 8, 9 и 10 «Иностранная литература». «Время жить и время умирать»), бросайте все и принимайтесь за чтение. Это — вещь! Пожалуй, никто еще за последние годы не создал произведение, с равной силой отрицающее мессий «справа» и «слева» и зовущее опомниться, пока не поздно... И что бы это ни было — лирический натурализм или эпический веризм — это настоящая литература середины XX века!

Ваши мысли о литературе и кино, как и всегда, разделяю. Однако все мои попытки сделать что-нибудь настоящее в том или в другом все еще или пока безуспешны. Боюсь, образовавшейся душевной контрактуры уже ничем не преодолеть. Несмотря на всякие понукания местных товарищей — все не могу слепить что-нибудь стоящее для здешней печати. Сценарий, посланный мною в Москву, ничего, кроме тяжелого осадка в душе, после себя не оставил. Извожу блокнот за блокнотом заготовками, задачами, а производства наладить не могу! И еще один грозный признак — местные товарищи все чаще обращаются ко мне как к критику! Вот и сейчас лежу в больнице, а мне притащили повесть одной журналистки и сценарий горного инженера для того, чтобы я завтра на районном совещании молодых писателей (Вы чувствуете масштабы литературного процесса?!) выступил с их критическим разбором... Уже договорились с главврачом о разрешении вытащить меня для этого <для участия> в этом культурн. <мероприятии>. Таким образом, меня приучают к мысли о лаврах районного рецензента. Так обстоят мои литературные дела.

Теперь о Ваших здесь. Я не смог побывать на совещании в Магадане и поэтому не имел возможности справиться о судьбе присланного Вами. Завтра если буду на совещании — поговорю обязательно с главным редактором магаданского издательства (и альманаха) Козловым. Он будет принимать участие в совещании. Может быть, Козлов что-нибудь по этому поводу скажет. Если и да, напишу еще в этом письме.

Между прочим, недавно вышел V альманах «На Севере Дальнем» — из всех наиболее интересный. В числе поэтических произведений — строк 500 из поэмы Валентина «Колыма». Кроме Вальки — еще 5 человек ягодинцев. Поэзия и проза. Среди прочего — превосходная публицистическая статья Мелонова (Вы его знали? — историк архитектуры, что ли) об «Особенностях северной архитектуры». Рядом отличнейший очерк геолога Устьева (тоже из привезенных — кажется, сын академика Флоренского⁴³).

Словом, альманах свидетельствует о серьезных местных возможностях, и поэтому мне очень хочется, чтобы в следующем № появилось что-нибудь Ваше и мое. Всего вероятнее, я выступлю с несколькими маленькими рассказами, почти эссе. Удивим. А сейчас буду ставить точку. Уже 2 часа, и дежурный врач смотрит на меня осуждающе.

Продолжаю на следующий день. Только что вернулся с совещания, на котором с основным докладом о состоянии областной литературы, издательской деятельности и издательских перспективах выступал Козлов — главный редактор магаданского издательства и главный редактор альманаха.

Наибольший успех выпал на долю Валентина. Козлов расточал ему не только всяческие похвалы (он делал это с удовольствием особым потому, что задолго до реабилитации Валентина и задолго до положительной рецензии из секретариата ССП — кажется, Семена Маркова — один против всех магаданских литературных бонз отстаивал такую точку зрения: поэма является мастерски сделанным и значительным произведением становящейся литературы северо-востока...), но и пророчил скорейший выход в большую литературу...

В общем, дело Валентина сделано. Он реабилитирован и в магаданском издательстве ему обеспечены широкие возможности издания...

Говорил о Вас с Козловым. Однако как ни напрягал Николай Владимирович память — вспомнить о чем-либо в портфеле редакции, связанном с Вашим именем, не смог. Из этого мы сделали вывод, что ничего из посланного Вами к нему не попало, т. к. память у него хорошая и ко всем бывшим колымчанам (Наровчатов, Семенов, Колесников⁴⁴ и др.) сам Козлов относится очень внимательно. Более того, он заявил нам официально, что на предложение Яшина, Луговского и др. присылать что-нибудь в Магадан, ответил отрицательно, т. к. весь листаж предназначается только для местных авторов или людей, связанных в прошлом с Севером и разрабатывающих северную тему.

Поэтому, Варлам Тихонович, Вам советую настоятельно слать что-нибудь снова лично Козлову Николаю Владимировичу. Напишите ему письмо и можете сослаться на Португалова и разговор о Вас, имевший место в Ягодном 15—16 декабря.

На этом заканчиваю. В это же письмо готовит вложение Валентин. Кроме того, он посылает Вам 5-й № альманаха.

Жму Вашу руку и желаю добра.

Аркадий.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

1—18/IV—57

Дорогой Варлам Тихонович.

Благодаря Вашим информационным заботам я чувствую себя почти участвующим в кипении московских литературных страстей. (Пожалуй, уже не литературных, а скорее гражданских?!) Правда, кроме Ваших писем я сравнительно регулярно читаю основные журналы и газеты. Более того, имею возможность убедиться в правоте Дудинцева, когда он говорит: «утверждение, что там взяли мой роман на «вооружение» — ложь!..» Так оно и было. И только в самое последнее время кое-кто бросился делать капитал на честных литературных опосредствованиях прошлогодних февральских открытий. Конечно, теперь следует ожидать второй редакции романа, аналогичной и в генезисе и в результатах второму варианту «Молодой гвардии». Не так ли? Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Возможно, автор выдюжит все испытания, не отступив от самого себя. Но трудно,

очень трудно, имея жену и дочь, быть последовательным и непоколебимым в доказательствах на собственном примере того, что «не хлебом единым жив человек»!!! В этой связи вспоминаю рассказ знакомого инженера о том, как Анатолий Гидаш⁴⁵, будучи дневальным стройцеха на «Кинжал» или «Горном Хищнике», в ответ на приставания плотника-блатного: «Ну, ты напишешь когда-нибудь правду об этой жизни?» — со слезами на глазах бормотал непонятное: «У меня есть Ева, понимаешь? Нет, ты не понимаешь! У меня Ева»... (так звали дочь Анатолия). Блатной смертельно матерился, выплескивая в стружки баланду, на которую со смиренным вожделием смотрел Гидаш, и, взявшись за топор-рычаг: «У-у, падло! Скройся с глаз»...

Конечно, происходящее ныне гораздо сложнее и, я верю, гораздо прогрессивнее. Пусть два шага вперед, а шаг назад, но все же шаг вперед!..

Здесь следовал длительный перерыв. Пришлось внезапно ехать в Магадан по служебным делам. Положил письмо в бумажник, думал закончить в Магадане. Ан нет! Было не до того, так уставал, что на исходе командировки помышлял о больничной койке. Воистину, укатали крутые горки!.. Еще и сейчас, спустя несколько дней по возвращении, не могу опомниться. Магадан, который я довольно хорошо знал в годы 45—46—47 (до приезда на Левый), на этот раз предстал передо мной такой овегцествленной в кирпиче и бетоне твердыней архибюрократизма, что мною как-то по-новому осмыслилось это десятилетие с его табелью о рангах, департаментами, министерствами и прочими атрибутами имперской угрюмбурчеевщины... словом, всего того, чей слабый отблеск в романе Дудинцева и др. воспринят, как отблеск угрожающего государству поджога. Однако многие слуги этого государства, тычущие нам в лицо всякие «охранные грамоты» на насиденные ими места, не предвидели потрясений, уготованных им начинающимся походом «за дальнейшее усовершенствование управлением». Да, в общем было полезно взглянуть на нынешний Магадан и воочию увидеть то, что представлялось лишь умозрительно: «двое с лопатами, а пятеро с автоматами»...

В Магадане встретил многих знакомых — Лоскутова (провел с ним добрую ночь), Яроцкого, Журнакову и других.

Федор Ефимович, хотя и постарел весьма заметно, остался непоколебимо прежним. Матильда весьма пре-

успела (реабилитирована) в реальной перспективе докторантуры, но скорбит о прошлом. Увы! К нему возврата нет.

Очень отвел душу с Яроцким. Он, как Вам известно, изрядный экономист, а экономический аспект происходящего, пожалуй, более важен, чем какой-либо другой. Не так ли? Впрочем, возможно, что в этой моей уверенности сказывается администраторский опыт занятий хлебом, дровами, зарплатой и КЗОТ, и ОТК и прочим. А в это время, по крайней мере, *три волны новых поколений*, катящихся вперед следом за нами, уже имеют свои мечты, свои идеи о лучшем устройстве мира. Правда, идеи таких вещей, как «если парни всего мира» — это идеи нашего с Вами поколения, и неплохие идеи, черт возьми! Но не исключено, что поколение автомобилистов и боксеров придумает что-нибудь получше...

Федор Ефимович сказал: «Вы разыскиваете книгу Герасименко “Клиника обморожений”. У него нет. Да, это стоящая книга — единственная настоящая книга о нашей Колыме, поэтому мне хочется Вам помочь в розыске. Спрошу в местной медицинской библиотеке. Есть — утащу».

Журнал «Москва»⁴⁶ смотрел, кажется, в начале марта. Прочел Вашу заметку. В ней всего важнее — Ваша фамилия, набранная корпусом.

Отрадно видеть объективированным факт преодоления одного из последствий пресловутого культа. Между прочим, Мирра Варшавская (помните такую?) спрашивает меня в письме к своей здешней приятельнице: «не тот ли это Шаламов, который...» и т. д.? Как видите, упомянутый факт не остался незамеченным... Да, журнал не производит впечатления чего-то нового. Стихи Бокова чем-то привлекают (языком, остротой слова, освеженного северным опытом?..), но, и особенно в последнем стихотворении, разочаровывают. Мартыновские явно задыхаются на мелководье. В них чувствуется одышка кислородного голодания. Пожалуй, заслуживает похвалы заметка Пименова⁴⁷ о Подмосковье. А пара его рисунков углем — просто хороши (огни, девочка и мостик). Однако в сравнении со слабыми, но кровью сердца написанными рисунками старика-художника, живущего в Сеймчане, некоего Герасименко (странное совпадение с именем врача), виденными мною в магаданском Доме творчества, — это не более как прекраснодушное вышивание

гладью. Представьте, все виденное и перемолотое нами — старые забои, кладбища вымерзшего странника, лилово-леденящие стужи, свистящие струи поземки, марсиане вышек и трансформаторные будки среди кротовых холмов на урякской долине, и многое, многое другое — все это в скупом пленэре живописной скорописи, с простотой и искренностью, возможной только у человека, которому уже ничего не нужно, и поэтоу неподкупного и поэтоу свободного. Девушка-методист (искусствовед по образованию), возившая работы местного художника в Москву (в связи с организацией магаданского отделения Союза художников), рассказывала мне, что у многих, кто смотрел его работы в Москве, челюсти отвисали до пупа при виде *такой* Колымы, от зрелища *такого* бесстрашия художника. Удивление возросло, когда узнали, что художник отказался продать пару своих вещей за значительную сумму и только потому, что никогда никому не продавал живописных работ, а только дарил или менял на спирт!.. Каково?!

№ 6 альманаха «На Севере Дальнем» вышло. Его появление предполагается в мае. Между прочим планировалась публикация моей пьесы «Снега и подснежники» — написал я такую о «Чечако (новоселах) и Кислом тесте» (нашем брате, помните, определение из Клондайкских рассказов?). Но речь пошла о таких коррективах, уточненных во время пребывания в Магадане, которые для меня оказались совершенно неприемлемыми. С Николаем Владимировичем договорились, что я подумаю. Однако в связи с намерениями театра им. Горького воевать за пьесу в настоящем ее варианте отодвигаю всякие размышления в неопределенное будущее.

Да, будущее совершенно неопределенное. Мой статус остается прежним, несмотря на простодушный оптимизм Бажана, писавшего мне в начале марта: «Будучи на февральской сессии Верховного Совета, разговаривал с Р. Руденко об ускорении процедуры пересмотра дел нескольких украинских писателей и твоего в том числе, и Руденко обещал поторопить Верховный Суд. Из чего я делаю утешительный вывод о скором твоём возвращении в Киев»... О, простодушие неистребимое карасей-идеалистов!.. По-настоящему порадовало в его письме сообщение о том, что накануне им получено в СП Украины известие от Бориса Антоненко-Давидовича, взятого вместе со мной (круп-

ного прозаика, по украинским масштабам, равного Бабелю или Ясенскому). Реабилитирован, возвращается в Киев.

А я думал — его давно нет в живых!

Мое здоровье продолжает ухудшаться. Необходимо что-то предпринимать. Федор Ефимович советует переезд в Магадан. Однако даже такой вариант не прост в осуществлении. Вырваться из моей конторы, не имея никаких сбережений, более чем рискованно. Ведь я не один! Словом, остаться и дальше пребывать в ожидании чудесных неожиданностей.

Как поживает Ольга Сергеевна? Как движется ее книга о ветре? Передайте ей мой сердечный привет и пожелания всяческого добра и удачи. Не пишу отдельно в этот раз, но в ближайшее время напишу.

Как складываются Ваши литературные дела? Неужели так и не удастся ничего серьезного продвинуть? Впрочем, из собственного опыта знаю, насколько риторичен этот вопрос.

Варлам Тихонович, трудно изобразить Вам, как хо-рош стал Максим! Гляжу на него и все чаще сожалею, поздно и в не добрый час вызван он из небытия. Будь другое время — надо бы еще ему братьев и сестер!.. Ведь в них-то, в детях, настоящие и, так сказать, заключительные радости жизни.

Жду Ваших писем больше, нежели чьих-либо других.

Аркадий.

Приветствую от имени Лили и Максима.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

19 мая, 1957 г.

Дорогой Варлам Тихонович, третьего дня получил Ваше письмо. Прежде чем отвечать, хотел дождаться номера пятого «Знамени»⁴⁸. Однако сегодня зав. библиотекой сказала, что это будет не раньше 10-х чисел июня. Действительно, номер четвертый смотрел совсем недавно, а журнал я беру сразу же, как только библиотека его получает. Поэтому решил: пишу, не распространяясь, сейчас.

Конечно, моя радость по поводу наступления времени, столь оптимистически провиденного Борисом Леонидовичем («Вас будут печатать тогда же, когда начнут снова печатать меня»), гораздо чище Вашей. Я не пере-

жил связанной с этим редакционной тягомотины. Для меня факт завоевания Вами больших журналов очищен от всех эмоциональных издержек, пережитых в редакционных кабинетах «Октября» и т. д. Он, этот факт, так сказать, уже историчен в самом возвышенном значении этого слова, если такой эпитет приложим к современной литературной истории. Но для меня-то он обогащен такими ассоциациями, которые вряд ли могут появиться у кого-либо из читателей, — верно? В общем, поздравляю и все такое <...>

Е. Е. Орехова — В. Т. Шаламову

5 июля, 1957 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

В том, что Вы тщетно ожидаете ответа на письмо, виновата в некоторой мере я, я должна была бы Вас известить...

Так вот, Аркадия нет дома, когда придет, не знаю. Всеми силами души верю, что скоро. Он в Магадане с 8 июня, статья — 58-10. Что, как и почему и откуда, не могу предполагать, скоро, конечно, узнаю. Мы с Максимкой решили оставаться здесь до положенного мне отпуска, значит, до 1959 года, к тому времени все выяснится. Вы понимаете, как тяжело. Максимка уже неделю болен пневмонией, держу его дома и бессердечно колю. Пожалуйста, дайте как-нибудь знать о получении моего письма. Если желаете узнать о дальнейшей судьбе Аркадия, пожалуйста, я Вам сообщу, а может, и не нужно. Вот и все. Всего наилучшего. *Лилля.*

Е. Е. Орехова — В. Т. Шаламову

14 сентября, 1957 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Получила Ваше последнее письмо. Благодарю за него. Оно так вовремя! Я знаю, что Вам понятно все то, что не скажешь ни в каких письмах, однако Вашим оптимизмом я не смогла проникнуться. Хорошо, что Вы верите. Блажен, как говорят, неведающий. И Ваше письмо, и короткий рассказ Вали, который зашел ко мне после приезда, утверждают меня в догадке, что вся эта мрачная история — старания усердных мест-

ных соответствующих чинов. Это — одна моя надежда. А если это «вообще»? Не знаю. Аркадий будет писать в ЦК, кассацию решил не писать, чтобы не томиться в магаданской тюрьме. У нас это уже шестой случай с февраля этого года, и опыт говорит, что кассировать бесполезно, лично у меня надежда на Аркашину инвалидность.

Так вот: суд состоялся здесь 10—11 сего месяца. Аркадий получил 8 лет. С обвинительным заключением я не знакома, но из подслушанного у двери во время судебного заседания знаю, что речь шла об антисоветской агитации, о слушании радио и о враждебных взглядах Добровольского. Свидетелей 5 человек, из них один — приятель Аркадия еще по 36 году на Неринге, вместе тачки катали и в жестяной банке на костре чай варили. Этот приятель показал, что взгляды Добровольского и убеждения — антисоветские. Жалкий трус и подлец! Аркадий сказал ему после его показаний, сказал так громко, что и за дверью я услышала: «Ну, Петро, пусть тебя рак совести сожрет!» От защиты Аркадий отказался и вел себя на протяжении этих двух дней, как должен себя вести мужчина и настоящий человек, не совершивший никакого преступления. Все показания отрицал, на все вопросы отвечал обстоятельно и на высоте эрудиции. Может быть, не надо было так ясно обнаруживать свое превосходство... В перерыве секретарь прибежала вниз, где была отведена комната, и просила Аркадия говорить не так быстро и «более понятными словами». Я — что я... я знаю, что мой муж, как и в 37 году, ни в чем не виноват, что он перед всеми предстал мужчиной и человеком честным и что долгая неволя куда лучше той свободы, которую имеют сейчас друзья вроде Петра Андреевича. Поэтому я спокойна, никаких слез, никакой паники. Будем здесь жить с Максимкой до моего отъезда, до моего отпуска, а там, может, и Аркадий придет. Бывает невыносимо тяжело, как подумаешь о том, что 17 лет ни за что человека таскали (и какого человека), отнято здоровье, жизнь отнята, а теперь что же — и умереть в тюрьме? Максюшка отвечает всем, что его «папа в больнице, там есть кроватки, папа кушает яблочки и там ему ставят уколы». Ну, Варлам Тихонович, будьте здоровы, спасибо Вам, *Лиля*.

Р. S. Аркадий был очень обрадован, когда я принесла ему Ваши письма, присланные в его отсутствие.

3 ноября, 1957 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Спешу ответить Вам на письмо от 18 сентября⁴⁹. Сообщить об Аркадии могу очень немного: он кассирован и сидит во внутренней тюрьме Магадана. Яша (кажется, я вам писала, что их двое) не стал кассировать и находится уже на пересыльном пункте в 5 километрах от Магадана. Не знаю, осчастливит ли на этот раз кассация, скорее, нет. Из-за этого моя связь с Аркадием совершенно прервана. Но самое важное (а может, теперь уже совсем неважное) сообщение — Аркадий реабилитирован по 37 году. Расписываться в том, что с определением Коллегии Верховного суда ознакомлена, ходила я. Документ мне не выдан. Что теперь предпринимать, какое теперь это имеет значение и какие реальные возможности из этого вытекают, — представляю смутно. Написала прямо начальнику тюрьмы в Магадан, просила сообщить Аркадию и дать ему возможность написать мне. Разве они могут это сделать? Это их хабибулины⁵⁰ вечные! Первые дни пребывала в совершенной растерянности и раздражении. Потом поняла, что теперь все делается без моих стараний, и решила ждать Аркадиевых распоряжений. А что я еще могу? Сегодня вот узнала, из третьих уст (со дня ареста Аркадия приемник наш не работает, просто странно) об амнистии, толком ничего не знаю, жду газет. Валентин был у меня недавно, меня тронуло это. Получу письмо от Аркадия, сообщу Вам обязательно, а может, он сам явится? Будьте здоровы.
Лия.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

9/III—58

Дорогой друг Варлам Тихонович!

Письмо на имя Гриши получено мною в рекордно короткий срок: 28-го отправлено из Москвы, а 5-го днем уже вручено мне! Пишите по-прежнему на Гришу.

Как видите, в смысле времени астрономического и здесь все в порядке. Однако, что до времени исторического, то по-прежнему чувствую себя современником Угрюм-Бурчеева и др. деятелей русской истории «от Гостомысла до наших дней». Так-то!

Впрочем, это, по-моему, самое характерное противоречие нашего дурного бытия, и вряд ли стоит о нем говорить. Тем более что давно его уразумел и приемлю в достаточно оптимистическом ключе... Несколько промедлил с ответом из-за радостного и одновременно грустного события — приезжала Лиля, и 6-го мы провели вместе (в идеальных, сравнительно с прошлым, условиях!) весь день.

Да, Лиля оказалась настоящим боевым другом, подтверждая своей выдержкой и стоицизмом правильность выбора, сделанного мною (чего таить, хотя это и попахивает ересью евгеники!) **совершенно рационалистически.**

Конечно, ей сейчас труднее моего. Но она держится молодцом, именно такой матерью-волчицей почти прозревал ее во времена левобережных встреч!..

Мое состояние, как это ни парадоксально, в последнее время гораздо лучше, нежели весной 57-го (т. е. до продолжения Одиссеи). Работать пока не думаю, но не исключаю возможности облачения в белый халат в ожидании дальнейших эволюций.

Есть ли основания надеяться на эволюции «обратного хода»? Вижу их во многом, но главную надежду возлагаю на письмо Хрущеву (с приложением двух справок о реабилитации!), посланное мною 1/III через Максима Рыльского с требованием к нему: «Поставить такую свечку судьбе за минование чаши 37-го года!..» (Я, пожалуй, как никто, знаю, что чаша для него уже была наполнена цикутой...)

Таким образом объясняется мое страстное желание самой плодотворной встречи «на высоком уровне». Много было бы желательной функцией от осуществления нашей внешнеполитической программы.

Да, я более-менее в курсе всех событий, т. к. помимо чтения газет и журналов, поступающих сюда на 4-й — 5-й день, имею возможность слушать радио (но только магаданское и трансляции!).

Тем не менее жажду писем от Вас, восполняющих (как письма 56-го года) естественные знания в моих представлениях о морально-психологической атмосфере нынешнего дня в литературных, научных и прочих кругах здоровых интеллектуалистов. Могу лишь предположительно судить об этом на основании мудро рассчитанных авансов, с беспримерной щедростью расточаемых на прошлогодних встречах. Впрочем, это нечто большее, чем только авансы (или «Анна на шею» Собо-

леву). Это (хочется думать) все-таки торжество антитезы, торжество не осознаваемое или даже отвергаемое, в официальном плане, но для меня вполне ощутимое во множестве признаков.

Выражаюсь туманно, но уверен: Вы поймете меня правильно.

Дорогой Варлам Тихонович, письмо Ваше получил только одно. (Не считая прошлогоднего, привезенного Лилей.) Поэтому в следующем не скупитесь на подробнейшее описание состояния Вашего здоровья и дел.

Конечно, рассчитывать на скорое получение упоминаемой Вами бандероли не приходится. Хотя и буду ждать ее с нетерпением, но не потому, что страдаю от книжного голода: с чтивом у меня все устроилось.

Я очень надеюсь в посланных Вами журналах прочесть что-нибудь из опубликованного Вами. Ведь из-за этих собачьих обстоятельств мне все еще не удалось достать «Знамя», № 5. Просил порадеть об этом Валентина Португалова, но пока тщетно...

Между прочим, кажется, в «Литературной газете» в статье Поповкина при перечислении авторов, привлеченных к обновлению (или как это назвать?) «Москвы», упомянуто и Ваше имя — обстоятельство, весьма меня порадовавшее...

К сожалению, журнал «Москва» почему-то не появляется в пределах моего периметра. Регулярно читаю другие журналы (преимущественно не литературные) и в том числе «Иностранную литературу». Недавно просмотрел комплект за прошлый год.

Не пойму причин вивисекции, учиненной ремарковскому «Черному обелиску». Объясните. Прочел в справочниках о болезни Меньера. Из этого немногого заключаю, что оснований для prognosis' passima — нет. Однако напишите об этом что-нибудь вразумительное.

Да, заранее выражаю Вам свою благодарность за изъявление готовности добыть редергам. Конечно, я предпочел бы ему черноморские пляжи, виноград и доброе вино. Однако, увы! — боюсь, что вышеупомянутые — все больше становятся для меня сказкой, едва ли могущей обратиться в быль...

Сердечно приветствую Ольгу Сергеевну. Надеюсь, она здорова и работает сейчас плодотворнее, чем когда-либо. Желаю ей всяческих удач, естественно вытекающих из нынешнего общественно-экономического и прочего консонанса...

Энергично жму Вашу руку, желаю здоровья и бодрости Вам.

Аркадий.

Перед отъездом Лиля сообщила о намерении Федора Ефимовича повидаться со мной. Не знаю, когда и как это произойдет, но жду с нетерпением.

А.

А. З. Добровольский — В. Т. Шаламову

23/III—59

Дорогой Варлам Тихонович!

Будьте снисходительны к моему затянувшемуся молчанию. Одолели суета устройства и болезни. Особенно — последние. По их милости, вот уже скоро месяц, как я лежу в факультетской клинике мединститута им. Сеченова.

Трудности акклиматизации и грипп в январе—феврале обострили хроническую сосудистую недостаточность.

Сейчас, после различных исследований на высшем уровне, выяснилось, что болезнь моя слишком запущена, чтобы рассчитывать на исцеление.

Таким образом, вырисовывается отчетливая перспектива — инвалидно-пенсионное существование где-нибудь на обочине...

Из клиники не писал и не звонил Вам, из-за собачьего чувства — в бедственном физическом состоянии не хочется никого тревожить, не хочется обременять собой...

Сейчас мне несколько лучше, поэтому-то и появилось желание подать голос друзьям.

Пробуду здесь до начала апреля. После выписки хочу повидаться с Вами. Надеюсь, это мне удастся, т. к. никуда не спешу. Не торопясь съезжу в Киев по квартирным и кинематографическим делам, а зимой снова вернусь в Москву — встречать Лилю с Максимом. Они приедут в десятых числах мая.

Рад был услышать от Ольги Сергеевны, что Вы более или менее в порядке. Буду очень Вам признателен, если черкнете мне пару строк по адресу: Большая Пироговская, д. 2/6, 1-е хирургическое отделение, палата № 2 — мне.

Жму Вашу руку и желаю всяческого добра.

Аркадий.

Москва, 24 декабря, 1971 г.

Дорогая Лиля.

Сердечно Вас благодарю за письмо об Аркадии Захаровиче. Конечно, у меня с ним не было дружбы, но я очень хорошо его знал, видел рядом с собой на протяжении ряда лет колымских (не самых трудных), переписывался с ним несколько лет. Составил определенное мнение, в котором не ясен был только конец, эпилог, который дописали Вы.

В отличие от Вашего собственного мнения, я не считаю ошибкой передачу в инвалидный дом человека в таком состоянии, как Добровольский. Вы поступили вполне правильно и достойно, и не только потому, что «жизнь есть жизнь», а потому, что Колыма — это более сложная штука. Если у Вас есть время и желание — напишите, когда Аркадий Захарович родился и где, и из какой он семьи.

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю Вам счастья, добра.

С глубоким уважением

В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Добровольский* Аркадий Захарович (1911—1969) — киносценарист, работал вместе с И. Пырьевым и Е. Помещиковым над фильмом «Трактористы». Был репрессирован в январе 1937 г. В 1944 году, по истечении первого срока, был повторно осужден военным трибуналом Дальневосточного военного округа к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах. Вместе с Шаламовым работал в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин (Левый берег). По отбытии срока остался на Колыме в качестве вольнонаемного. 8 июня 1957 г. был вновь арестован по доносу, освобожден 2 сент. 1958 г. Реабилитирован по делам 1937 г. и 1944 г. в конце 1957 г. Е. Е. Орехова — жена А. З. Добровольского.

² С 23 июля 1954 г. по 10 октября 1956 г. В. Т. Шаламов работал агентом по снабжению Решетниковского торфопредприятия и жил в пос. Туркмен Калининской области.

³ «Знамя», 1954, №4.

⁴ *Фигнер* Вера Николаевна (1852—1942) — отбыла двенадцатилетнее заключение в Шлиссельбурге, написала воспоминания «Запечатленный труд» (т. I, II, 1964).

⁵ В письме к А. С. Суворину 17 декабря 1890 г. А. П. Чехов пишет: «До поездки “Крейцера соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется bestолковой» (Собр. соч. в 12 т., т. II, М., 1956, стр. 489).

⁶ *Калембет, Миллер* — врачи, покончившие с собой после освобождения.

⁷ II Всесоюзный съезд писателей происходил в 1954 г.

⁸ «У стен Малапаги» («По ту сторону решетки»), реж. Рене Клеман (1948).

⁹ *Демидов* Георгий Георгиевич — один из достойнейших людей, встреченных Шаламовым на Колыме, ему посвящена пьеса «Анна Ивановна» и рассказ «Житие инженера Кипреева». См. его письма.

¹⁰ *Ермилов* Владимир Владимирович (1904—1965) — критик одиозного направления.

¹¹ 66-й сонет В. Шекспира в переводе Б. Пастернака:

Зову я смерть. Но видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаяния..

¹² *Зорин* Леонид Генрихович (р. 1924). Пьеса «Гости» была подвергнута цензурному запрету.

¹³ *Мамучашивили* Елена Александровна (ум. 2003) — врач.

¹⁴ Письма Ф. Е. Лоскутова и В. Кундуша см. далее.

¹⁵ В это время Шаламов завершал работу над «Колымскими тетрадами», включавшими 6 сборников стихов (1937—1956).

¹⁶ Речь идет о пересылке сборника рассказов Э. Хемингуэя.

¹⁷ Речь идет о пьесе Л. Леонова «Золотая карета», которая была опубликована во второй редакции в ж. «Октябрь», 1955, № 4.

¹⁸ Видимо, речь идет о рассказе И. Бунина «Сапоги».

¹⁹ Петров — неустановленное лицо.

²⁰ *Исаев* Иван Степанович и его жена Галина Александровна Воронская, дочь А. К. Воронского, отбывший срок заключения на Колыме, друзья В. Т. Шаламова.

²¹ *Демидов* Георгий Георгиевич (1908—1987) — физик, был репрессирован. Работал с Шаламовым в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин. О нем написан рассказ Шаламова «Житие инженера Кипреева». После освобождения жил и работал в Ухте, написал повести «Фонэквас», «Оранжевый абажур» и др. Рассказ Г. Демидова «Дубарь» опубликован в ж. «Огонек», 1990, № 51. В 1991 г. во Франции вышла его книга «Дубарь».

²² *Фейнберг* Илья Львович. «Незавершенные работы Пушкина». М., 1955.

²³ *Нечкина* Милица Васильевна (1901—1985) — историк, академик АН СССР; труды по истории революционного движения в России.

Козьмин Борис Павлович (1888—1958) — историк, редактор сочинений А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.

Дискуссия отразилась в статьях: М. В. Нечкина «Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации (1959—1961)», «Вопросы истории», 1953, №7; «О взаимоотношении петербургского и лондонского центров русского освободительного движения в годы революционной ситуации (1959—1961), ответ Б. П. Козьмину», Известия АН СССР, отделение литературы и языка, т. 14, вып. 2, 1955; Козьмин Б. П. «К вопросу о целях и результатах поездки Н. Г. Чернышевского к А. И. Герцену в 1859 г.», там же.

²⁴ *Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840—1866) — революционер, 4 апреля 1866 г. стрелял в Александра II. Приговорен к смертной казни и повешен.

Ишутин Николай Андреевич (1840—1879) — руководитель тайного общества в Москве (1863—1866). Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой.

²⁵ Сапрофиты — растения и организмы, питающиеся гниющими остатками органических веществ.

²⁶ «Красное и черное» — фильм по роману Стендаля, реж. Клод Отан-Лара; «Скандал в Клошмерле», реж. Шеналь Пьер.

²⁷ «Утраченные грезы» («Дайте мужа Анне Дзакео») — фильм Дж. де Сантиса (1953).

²⁸ Фильм «Люди и волки» Дж. де Сантиса (1957).

²⁹ *Жерар* Филип (1922—1959) — французский актер, великолепно исполнявший разноплановые роли: «Идиот» (1946, князь Мышкин), реж. М. Карне; «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Пармская обитель» (Фабрицио дель Донго, 1947), реж. Кристиан-Жак, и др.

³⁰ Письмо Н. К. Крупской адресовано Л. Б. Каменеву (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 674—675).

³¹ «Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937—1938 гг.) 98 человек» (Н. С. Хрущев. Доклад XX съезду КПСС // «Известия ЦК КПСС», 1989, № 3, с. 137).

³² Фраза оборвана.

³³ *Заславский* Д. И. «Ф. М. Достоевский. Критико-биографический очерк». М., 1956.

³⁴ Имеется в виду повесть Э. Хемингуэя «Старик и море». В рукописи Шаламова зачеркнуто название повести и написано: «Человек и жизнь».

³⁵ Речь М. Шолохова на XX съезде КПСС.

³⁶ Имеется в виду «Теркин на том свете», поэма была опубликована в газете «Известия» в 1961 году, затем долго не издавалась и не включалась в сборники Твардовского.

³⁷ *Миллер* Артур (р. 1915) — американский драматург, его пьеса «Салемский процесс» — о «салемских ведьмах».

³⁸ *Дзаваттини* Чезаре (1902—1989) — итальянский сценарист, теоретик кино.

³⁹ *Грин* Грэм (1904—1991) — английский писатель, автор романа «Тихий американец» (1955) и др.

⁴⁰ «Фальшивая монета» — фильм режиссера Г. Дзавеласа (1955).

⁴¹ *Олдридж* Джеймс (р. 1918) — английский писатель.

⁴² *Варналис* Костос (1884—1974) — греческий писатель, автор «Подлинной апологии Сократа» (1931).

⁴³ Видимо, Добровольский имеет в виду Николая Александровича Флоренсова (1909—1986), геолога, ученого, автора трудов по геологии Восточной Сибири.

⁴⁴ *Семенов* Георгий Витальевич (р. 1931), *Колесников* Михаил Сергеевич (р. 1931) — авторы альманаха «На Севере Дальнем».

⁴⁵ *Антал* Гидаш (1899—1980) — венгерский писатель, в 1925—1959 г. жил в СССР, был репрессирован.

⁴⁶ В журнале «Москва» В. Т. Шаламов работал внештатным корреспондентом, печатал очерки, статьи, стихи опубл. 1958, № 3, очерки — №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10.

⁴⁷ *Пименов* Юрий Иванович (1903—1977) — живописец, график, пейзажист.

⁴⁸ «Стихи о Севере» — первая публикация стихов В. Шаламова, ж. «Знамя», 1957, № 5.

⁴⁹ Письмо не сохранилось.

⁵⁰ *Хабibuлин* — надзиратель в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин, упоминается в рассказе В. Шаламова «Геологи».

ПЕРЕПИСКА С Л. М. БРОДСКОЙ

Л. М. Бродская¹ — В. Т. Шаламову

Вильнюс, 7/11—54 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Пищу Вам потому, что мне будет неприятно, если Вы позвоните и Вам скажут какой-нибудь вздор. Итак,

я в Вильнюсе, зачем — при свидании. Как — на «Москвиче», который героически преодолел 1000 км по адским дорогам Белоруссии и чудесным дорогам Литвы. Скоро ли буду в Москве — если Аллах захочет, то очень. Если Вы вспомните старого Вольтера², захаянного поэтами и писателями, проклинаемого врагами и часто не понятого друзьями, и его друга Каласа, то Вы, вероятно, кое-что поймете и в этой шалой поездке в неотапливаемой машине зимой. Я очень соскучилась по Вам, и Вы меня только подразнили Вашим обещанием рассказать о судьбах. Попробуйте, если в воскресенье будете в Москве, позвонить. Возможно, что придется прокатиться и в Каунас. Но хочется надеяться, что меня эта чаша минует. Вильнюс и вообще Литва для художника чудо, но нам сейчас не до чудес, во-первых, и холодно, во-вторых.

Итак, не забывайте Ваших искренних друзей.

Л. Б.

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Декабрь 1954 г.

Теперь все ясно, дорогой Варлам Тихонович! И Ваше молчание, и мое беспокойство.

Мария Игнатьевна просто упустила из виду такую существенную деталь — п/о Туркмен. Письмо лежит на «До востребовании» ст. Решетниково — если еще лежит. Кажется, дольше месяца они эти письма не хранят. Меня удивляет, как это она такое живописное слово опустила. Почему «Туркмен»? Откуда «Туркмен»? Но почему и откуда бы он ни взялся, я надеюсь, что он будет милостив ко мне и передаст Вам это письмо. Хотелось мне одновременно написать на почту, чтобы Вам то письмо передали, вернее, переслали, но боюсь дальнейшей путаницы. Может быть, Вы сами его поищете? В нем все было отписано. и что со мною было, и как мне и нужно и хочется Вас видеть. Повторяться не стоит, но главное повторить следует: когда Вы будете в Москве? Когда мы увидимся? И хотите ли Вы посмотреть Фалька и еще одного замечательного художника?

А насчет М. Ив.³ разговор особый и с людьми могу Вас познакомить, которые ее хорошо знали и у которых ее стихи есть. Я знаю сестру ее мужа. Женщина и сама

по себе очень примечательная. Больше писать не стану, чтобы Вы скорее появились.

Л. Б.

И есть великолепная, новая «складнущка», так что и эта сторона обеспечена.

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Март, 1955 г.

Дорогой Варлам Тихонович,

Ваше письмо очень огорчило меня. Мне бы не хотелось, чтобы у Вас были по отношению ко мне чувства каких-то обязательств, каких-то долженствований, чего-то, что всегда создает какие-то неловкости, ощущения досады. Во-первых, я не хочу, чтобы у Вас с мыслью обо мне были такие ощущения (это *для меня*), вторых, я не хочу, чтобы у Вас вообще были такие условия в Вашей и так не легкой жизни (это уже *для Вас*), и в-третьих, это вообще не нужно, потому что ничего принужденного между нами быть не может. Когда Вы сможете — Вы придете, потому что Вы твердо знаете, что это Ваш дом, где Вам будут рады и стены, и книги, и где от Вас ничего не потребуют — пока Вы тот, который «забывать не умеет». Вы пишете: «Искусство жить, по сути дела, есть искусство забывать». Какое же это «искусство» и какая же это «жизнь»? Ведь нам дана одна наша, неотъемлемо наша, неповторимая жизнь, и если мы ее забудем, то что же нам останется? Жизни героев кино, над которыми мы будем проливать слезы? Или мы будем творчески преобразовать их жизни? Нет, я бы ничего не хотела забыть, наоборот, мне бы хотелось закрепить, увековечить каждое горе, придать ему новую жизнь, чтобы оно не пропало, не развеялось, как облака на небе. И я думаю, что именно это и связывает нас с Вами, этот внутренний напор, эта необходимость не только не забывать, но и других заставить не забыть. И если нас связывает такое большое, в обеих наших жизнях решающее, то какие могут быть разговоры о том, что кто-то не пришел или кто-то ждал... Это все абсолютно не важно. А то, что Вам плохо — это очень важно и очень мне больно. И, может быть, было бы хорошо, чтобы Вы и усталый, и раздраженный все-таки бы пришли, рассказали свое, или просто бы перелистывали чешские и польские книги. Поговорили бы о новых штрихах в биографиях разных людей, о Вильнюсе и лю-

дях этого прелестного города. Насчет результатов поездки — все, что было в человеческих силах, было сделано. Теперь надо ждать. А ему 70 лет, а она живет в ужасных условиях, и говорит, что она счастливейшая из женщин, что ее любит такой человек. И каждый день надо ходить на работу, час туда и час обратно. И дома холодно. А нам говорят — «надо ждать».

Скажу о себе — я счастлива, что на путях жизни встретила Вас, и ничего так бы не хотела, как помочь Вам преодолеть «рогатки» и «волчьи ямы».

Всего Вам доброго.

Л. Б.

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Март, 1955 г.

Воскресения проходят одно за другим, а Вас не видеть... Вот Вам наказание: извольте перевести мое любимое:

Wandere!

Wenn dich ein Weib verraten hat
So liebe flink eine Andre;
Noch besser wäsr'es, du liebest die Stadt —
Schnüre den Ranzen und wander!

Du findest bald einen blauen See,
Umringt von Trauerweiden;
Hier weinst du aus dein kleins Weh
Und deine engen Leiden.

Wenn du den steilen Berg ersteigst
Wirst du beträchtlich ächzen;
Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst.
Hörst di die Adler krächzen

Dort wirst du selbest ein Adler fast,
Du bist wie neugeboren,
Du fühlst dich frei, du fühlst: du hast
Dort unten nicht Viel verloren.

Кто? Конечно, Heine. Так вот, даю подстрочник.

Странствуй!

Если тебя женщина обманула (предала),
То полюби скорее другую;
Еще лучше было бы, если бы ты покинул (оставил) город.
Зашнуруй ранец и странствуй!

Ты найдешь скоро голубое озеро (des See — озеро, die See — море),

Окруженное плакучими ивами.
Здесь ты выплачешь свое (твое) маленькое горе
И свои (твои) узкие страдания.

Когда ты на крутую гору будешь подниматься,
Ты станешь очень (сильно, значительно) стонать (кряхтеть).
Однако, когда ты скалистой вершины достигнешь,
Услышишь орлов клекот.

Там станешь ты сам орлом почти
Ты станешь как рожденный вновь (новорожденный).
Ты чувствуешь себя свободным, ты чувствуешь: ты
Там внизу не многое потерял

Сделайте мне, чтоб это звучало — это будет мне от
Heine и от Вас. Но не надейтесь, что я этим удовольствуюсь.
У немцев много чудеснейших вещей, особенно у стариков,
времен 30-летней войны. Близкие эпохи порождают
близкую душе поэзию. Итак, жду!

Ваша Л. Б.

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Москва, 11 апреля, 1955 г.

Какие чудесные стихи Вы мне прислали, Варлам Тихонович, и как я Вам благодарна за них! Когда Вы их писали? Пожалуйста, пришлите еще, я к Вашему приходу их Вам перепишу.

А Вы знаете, что переводы бывают иногда лучше оригинала? Вот Вы пишете о «Горных вершинах», а у Лермонтова они и поэтичнее и — да что говорить, судите сами:

Wanderers Nachtlied

Über allen Gipfeln
Jst Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhert du auch.

Какие восхитительные у Лермонтова полные свежей мглой тихие долины, какими сухими кажутся образы.

Гете — не знаю, как Вы, но я в сердце всегда ношу траур по Лермонтову.

Читали ли Вы когда-нибудь «Замыслы» Уайльда? Когда Вы пишете, что искусство не имеет истории, Вы перекликаетесь с ним, когда он утверждает, что все большие произведения искусства принадлежат одной эпохе.

Радует ли Вас, что можно будет увидеть дрезденскую коллекцию? Интересно, сколько ночей придется дежурить для этого. Но, конечно, сколько бы ни было, а дежурить я буду. Кстати, когда у Вас отпуск? Как Вы думаете его провести? Где — в Москве или нет? Писать? Читать? Просто не работать?

Вы не сердитесь, что я Ваши стихи показывала многим людям? Но я не могла держать в ящике стола сокровище и не показать его тем, кому оно могло дать живую радость. «Какой счастливый человек, — сказал мне один из читавших, — что может претворять страдание в красоту». А Вы и не знали, что «счастливый»? Или знали? И все просят напечатать для них. Можно? Мне очень жаль, что я Вас совсем не знаю как прозаика. Есть ли в Вашей прозе то, что составляет особенность Вашего стиха? Если есть в Вас что-то мешающее нашему свиданию, то, может, Вы могли бы прислать мне что-нибудь из Ваших вещей, написанных прозой? Если знаешь только стихи писателя, то все-таки всего его не знаешь. Какими путями пронизывает Вашу прозу Ваше обостренное ощущение природы? О чем пишете Вы? О людях? О каких? Рассказы, короткие как удар? Повести, где Вы можете заставить читателя пройти с Вашими героями большой кусок жизни?

Здесь поговаривают об издании Хемингуэя. А на днях в какой-то газете было написано: «...разговаривают, как выхолощенные герои Хемингуэя...» Можно же до такой степени ничего не понимать! Бедные, бедные глухие и слепые. Как раз под моим окном производится подписка на новые издания. Если всю ночь на улице толпа и гвалт — значит, любители подписываются на Жюль Верна или на Лондона. Интересно, что будет делаться, если будет объявлена подписка на Хемингуэя, наложившего руку на литературу XX в. И как вылезут переводчики из музыки «По ком звучит колокол».

Здесь такая безнадежная весна, что не верится в ее преображение в цветущие деревья и тепло. У Вас настолько близко к Москве, что, наверно, то же самое.

Говорят, что я в скором времени получу немного денег. Если это правда, то я немедленно уеду куда-нибудь, где можно рисовать старые стены, старые ворота, которые еще помнят людей, входивших в эти дома с другими мыслями и другими надеждами, чем мы. Но для этого нужно, чтобы было тепло. Моя приятельница уверяет, что когда тепло, то можно жить и при... строе, о котором мечтал Кампанелла и прочие старые утописты.

Всего Вам доброго. Пожалуйста, исполните мою просьбу.

Л. Б.

Ночная песня странника

Над всеми вершинами
Покой.
Во всех кронах деревьев
Почувствуешь ты
Едва ли дуновенье.
Птички замолкли в лесу.
Подожди, вскоре
Отдохнешь и ты

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Москва, 21 июня, 1955 г.

Дорогой Варлам Тихонович,

одно воскресенье проходит за другим, и я все не отправлю Вам это, давно полученное письмо. На первую страницу не обращайтесь внимания — Вы эту вещь знаете давно, а я не знала и просила мне ее прислать. Но следующие две страницы Вам будет читать и больно, и радостно. Правда, что она все время пишет «Ваш друг», а какой Вы мне друг, я Вас никогда и не вижу и не знаю, ни что с Вами, ни когда у Вас отпуск, ни когда мы с Вами пойдем смотреть Дрезденскую, да и просто, как Ваше здоровье, какие у Вас планы, что Вы едите и прочее, что про друзей знать полагается.

Получила я еще о Вас письмо от своего профессора, который тоже по-настоящему любит стихи и настоящей культуры человек. Когда увидимся, покажу Вам и его письмо. Кстати, он тоже пишет «Ваш друг». Итак, «мой друг», до свидания.

Всегда Ваша Л. Б.

28 июня, 1955 г.

Дорогая Лидия Максимовна.

Письмо Ваше я получил тотчас же по возвращении в Туркмен. О письме Вашей знакомой. Это, очевидно, общее всем северянам чувство большой прямоты тамошней жизни, где радости — никогда не искусственны, если подчас и примитивны, и лицо бытия там, быть может, наиболее откровенно.

Отгороженная глубокими морями, высокими горами, жизнь не считает нужным стесняться и не нуждается в иллюзиях. И хотя арестанты подчас больше склонны к иллюзии и к сентиментальности — она ни о чем не хочет забывать, возвратившись в мир иллюзий и свое прошлое, которое всегда для кого-то настоящее, считает более доподлинным, чем любой визит Джавахарлала Неру или радиопередачи «Запомните песню». Т. е. это есть ощущение приобщения к чему-то настоящему, неисходному, т. е. к страданию, притом такому, где грубость явления в то же время и тонкость его, ибо физическая боль здесь лишь компонент боли душевной.

Природа тамошняя — удивительно подходящее обрамление подобных настроений.

Мне, конечно, приятно, что автор письма оставил стихи у себя. (Дело идет, по-видимому, лишь об одном стихотворении.)

Самым же важным для меня в письме была сквозящая в каждой строке любовь к работам Б<ориса> Л<еоновича>, которые (и которого) я ставлю очень, очень высоко. Возможно, я буду видаться с ним в июле.

Нельзя ли оставить письмо это на месяц у себя? У меня несколько таких писем из разных концов страны. Я бы хотел показать ему их. Напишите мне, пожалуйста.

Сейчас 4 часа утра. До 6 часов я свободен и вот пытаюсь ответить Вам. Книжку Файнберга⁴ я просмотрел. Это, в общем, занятная книжка, хотя и имеющая некий налет излишнего (на мой взгляд) поклонения **каждой** строке, написанной поэтом.

Многое не слишком убедительно. Пытаться выдать Пушкина за выдающегося русского историка — попытка несостоятельная, на мой взгляд. Всякий историк — если это историк, а не компилятор, выступает с собственной своеобразной концепцией событий. Такой исто-

рический взгляд был и у Карамзина, и у Соловьева, и у Ключевского. Но история Пугачевского бунта и история Петра не более, чем заказная халтура, и всю жизнь мне странно было думать, что одно и то же перо писало «Пугачева» и «Капитанскую дочку» — повесть, писавшуюся легко и радостно от сознания, что опостылевшие бирки можно бросить и заняться своим любимым делом. «Записки» (частично я их читывал) не представляют собой ничего, кроме обыкновенных записей «впрок». У всякого писателя они есть и ни к чему придавать им значения каких-то зашифрованных записей.

Кроме того, Пушкин мне представляется человеком, который напряженно искал последние годы жизни прозаическую форму — новую, не такую, какая (в «Повестях Белкина», например) была всего лишь орусаченной французской прозой — точнее, прозой Мериме.

Эти искания — «Пиковая дама» и особенно «Египетские ночи» относятся к этим же исканиям.

Эта работа только начиналась, было ясно с «Повестей Белкина», что проза это совсем другое качество, чем стихи, а в 37 Пушкин умер, так и не став русским прозаиком. Меня никогда не удивляла малая популярность Пушкина за границей. Проза его не была интересна читателям Мериме, а читавшие стихи теряют слишком много при переводе. Ничто так не национально, как поэтическое творчество.

Кроме того, даже в стихотворном его наследстве неизбежно есть много строк, строф, стихотворений, отнюдь не носящих печати гения. Гениальный человек, по <размышлению> Бальзака, не бывает гением каждый миг, и это совершенно верно. Есть стихи явно слабые, есть «трескучие». Пушкин был слишком человеком. Есть много стихов, вдохновенных отнюдь не декабризмом.

Но все это не умаляет гения. Разве ужасные эксперименты Толстого над русским языком снижают его писательский образ? Писатель — не речетворец и не в этом его сила.

Разве у Некрасова мало стихов, которые и стихами-то назвать трудно?

Разве у Лермонтова мало вовсе беспомощных вещей?

Словом, я вовсе не думаю, что надо было придавать такое значение незавершенным пушкинским работам (притом в вещах, новых для него) и видеть в Пушкине революционера и бойца.

Несколько лет назад была выпущена книга «Пушкин в воспоминаниях современников»⁵, к которой понадобилось огромное предисловие, чтобы убедить читателей, что Пушкин был не таким, каким его рисуют современники.

Ну, дорогая моя Лидия Максимовна, чересчур я, кажется, злоупотребил Вашим временем. Пишите мне, пожалуйста.

В следующем письме я пришлю кой-какие мои стихи.

Ваш В.

В.Т. Шаламов — Л.М. Бродской

12 июля, 1955 г.

О Дрезденской выставке

Дорогая Лидия Максимовна.

Благодарю Вас еще и еще раз самой теплой и чистой благодарностью за то, что Вы сделали для меня 10 июля. Я со страхом, в холодном поту просыпался ночью и думал, что ведь могло случиться так, что я не нашел бы в себе достаточно воли, чтобы пойти на Дрезденскую выставку. Ведь я и раньше два или три раза приезжал к музею и уходил, не решаясь отдать эти несколько часов, таких недолгих моих часов за то, чтобы увидеть такое. И знаю, что я не простил бы себе никогда, что пропустил эту выставку. Я подавлен еще и сейчас, и сейчас не могу еще разобраться в этой массе впечатлений, которая, кажется, взбунтовала все уголки мозга. И это не столько краски и линии, сколько идеи в их художественном виде — те ощущения, освещенные мыслями и одетые в цвет и рисунок.

Ничто из того, что запомнилось, не осталось в памяти, только как удачная находка цвета или рисунка. Всякая картина заставляет думать, что-то сопоставлять, о чем-то забывать, и каждая утверждает свое главное, важное и для меня.

Я с юношеских лет отставал по проклятым репродукциям и неумным учебникам, представлял о Рафаэле, как бесконечно талантливым богатом придворном богوماзе, как о заказном живописце, прошедшем мимо человеческих страданий, и всегда чувствовал себя несколько чужим этой, не известной мне наяву живописи.

Я ошалел перед вчерашней «Мадонной». О ней написано, говорят, тысячи книг и еще тысячи напишут, потому что нельзя понять, как такое можно написать и сказать. Дело мне кажется не в том, что здесь все происходит на небе в отличие от ранних мадонн Тициана и Мурильо.

Мало того, что это — великий символ материнства.

Вёльфлин⁶ пишет о смущении в выражениях глаз Мадонны. Это — не смущение, это преодоление тревоги, принятое решение, несмотря на прозрение страданий сына, обыкновенных страданий человеческой жизни, которые неясной тревогой светятся и в глазах по-взрослому глядящего ребенка. Ребенок не может еще отдать отчет в своем будущем, но мать этот отчет отдает, и все же колебания ее преодолены. Вся серьезность лица, в котором так мало веселого, так мало шуток. Необходимость, единственность этого пути и для себя и для сына — и решение — жить. Впрочем работы больших художников — алгебра, где арифметическое значение подставляется каждым потребителем искусств по-своему.

Сикст, который, по выражению Вёльфлина, указывает «куда-то вовне картины». Зовет, сняв тиару, женщину в жизнь, в мир. Я не верю, чтобы такие вещи были удачей художника.

Все это надо почувствовать самому, чтобы так закрепить.

И еще об одном я думал <там>. Вот миллион людей смотрели века в выражение глаз этой Мадонны. Сила картины стала ли больше от ощущения, что я, зритель 1955 года, вглядываясь в эти столь изученные другими черты, вспоминаю миллионы других смотревших. Не есть ли это искусственное какое-то преувеличение, возникающее помимо нашей воли, чего в картине вовсе нет.

Думается все же, что дело тут не в этой, т<ак> ск<азать>, непреходящей моде. Я человек, вовсе <не> готовившийся к тому, чтобы сложить к ногам художника очередное восхищение, скорее, напротив.

Картина эта затмила все. И немудрено, что в Дрездене ей отводили отдельную комнату — почти святотатством было засовывать ее в Веронезе⁷ или дель Сарто⁸. Теперь о другом, об общем и частном. Я не художник и, может быть, слишком смело берусь судить о вещах, которые ведь выстраданы любым мастером, и прежде чем сказать — дай-ка я напишу то-то и так-то, следуют года сомнений и мучений. Именно потому живопись не

знает вундеркиндов, жизненного опыта которых слишком мало, чтобы создать художественное произведение. (И в музыке — вундеркинд — исполнитель, виртуоз, но не композитор.)

В великолепных рисунках Дмитриева⁹ (я был на его выставке) художника еще нет, как нет еще поэта в лицейских стихах Пушкина.

Что осталось в памяти? Тициан — портрет дамы в белом, Вермеер со сводней и девушкой, читающей письмо, пастели Каррера¹⁰ с его удивительной какой-то свежестью и чистотой, Лиотар¹¹, Крапах, у которого хочется трогать костюмы, и, конечно, Рейсдаль¹². Мне кажется, никогда сюжетная картина не дает такого свободного общения художника и зрителя, какое возникает в пейзаже, открытом художником для людей. В сюжетной картине всегда хочется поспорить, дополнить, упрекнуть в неверности, в незнании. <На>конец просто ему не поверить и рассердиться. Другое, что-то не из искусства входит в восприятие такой картины, все равно «Сводня» ли это или перовский¹³ «Праздник в деревне». Впрочем говорят, что это — достоинство, а не недостаток. Часто бытовой сюжет мельчит большого художника и, естественно, эти споры (скажем, о федотовских¹⁴ картинах) ведутся в том плане, насколько четко выписал художник ту или иную деталь.

В пейзаже отношения автора и зрителя кристально, подкупающе просты. Не надо статистических таблиц, подтверждающих подсмотренное художником сюжетной картины, жанровой или исторической — все равно.

И я благодарен Рейсдалю за все, что он мне оставил — ели и водопад, заросли леса без солнца, осеннюю лесную тишину.

Почему я равнодушен к Венере Джорджоне¹⁵? Не знаю. Лепка обнаженного тела не составляла главной задачи художника, не составляет, на мой взгляд, главной идеи красоты. Вы говорили, что Себастьян — потому любимый святой художников 14—15—16 веков, потому что это считается молодой святой, которого канонично было раздеть. Мне думается, сила живописи может проявиться и на другом материале. Темные портреты Рембрандта, Веласкес — все это доказательство бесконечности и бесчисленности путей, утверждающих красоту. В джорджоновской Венере я не вижу того великого поклонения ощущению красоты, которое есть хотя бы в рубенсовской «Вирсавии».

Конечно, нельзя требовать чего-либо четкого от 2—3-часового общения с таким богатством, как Дрезденская галерея. Непонятным, лишенным смысла, кажется, что 10 лет держали эти картины под замком, лишая народ столь великого эстетического удовольствия. Глубоко уверен, что во времена Анатолия Васильевича Луначарского не могло бы случиться такого.

Я написал это письмо с тем, чтобы еще раз выразить Вам всю мою глубочайшую признательность и благодарность.

Я бы хотел написать о Рейсдале, о Кранахе, о рембрандтовских портретах, которые опять-таки в ином свете обрисовали мне художника. Но надо пойти еще и еще раз. Бодрости Вам, здоровья, счастья. В.

В оставленных мной тетрадках Вы найдете кое-что интересное для Вас, смею надеяться. Маше их пока не отдавайте — у нее возникла странная мысль взять их с собой в Винницу, а это единственный экземпляр, а я хочу передать его Б<орису> Л <еонидовичу>.

В.

Я так и не успел посмотреть прежних стихов, что у Вас. Сделаю это при следующей встрече.

В.

И еще одно — нашей молодежи, не бывавшей на уроках Закона Божьего и в церквях — затруднено понимание евангельских и библейских сюжетов. Как делается нынче в искусствоведческих вузах и не заставляют ли там (что следовало бы) студентов читать (если не изучать) Евангелие и Библию?

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

28.XI<1955>

Сегодня мой день рождения, дорогой Варлам Тихонович, и какой лучший подарок могу я себе сделать, как не сесть и написать письмо Вам? В этот день всегда вспоминаешь детство, маму, все то, что «было, было... какая ложь, какая сила, тебя, прошедшее, вернет?» Надо ли возвращать? В какой форме? Иногда радуешься, что те, кто был дорог, многого не знают. Иногда думаешь, какое счастье принесла бы им вот эта книга, вот эта песня, этот фильм... Подводишь итоги. Ну, что же, если бы не страшная судьба моих близких, я бы сказала: «Благословляю все, что было, я лучшей доли не ис-

кал...» Судьба дала мне удивительные дары дружбы, и дары эти не дают почувствовать тяжести прожитых лет. Ведь старость, в основном, это одиночество, а если у человека есть друзья, значит, старости нет и можно каждый день жизнь начинать сначала.

...Ждала Вас на праздники, а затем и все воскресенье. Были ли и на французской выставке? Смотрели «Красное и черное»? Эта выставка, конечно, событие. Старые мастера — это Петербург, залы Эрмитажа, сердце сжимается от желтого платья Камарго¹⁶, затем новые волнения — сокровища Щукинской галереи¹⁷.

Может быть, здесь наша молодежь научится видеть, как богат Божий мир, может быть, милые глаза мадам Самари¹⁸ побудят молодых искать красоту на иных путях, чем те, по каким их направляли недобросовестные и, безусловно, не любящие искусства учителя. А Вам, с Вашей любовью к пейзажу, особенно важно побывать на этой выставке. Пойдемте вместе, хотите? Только устройтесь так, чтобы это было на буднях, а то в воскресенье народ по два часа на улице стоит. Или Вы уже были и мои призывы зря?

Теперь, насчет «Красного и черного». Для меня эта вещь вроде лакмусовой бумажки. Скажет кто-нибудь какой-нибудь вздор или заумную критику — ах, ты не с этой планеты, у нас и языки разные, что же тут говорить... Я даже рада, что смотрю, как горничная, «благодарный зритель», — говорил Митюша. Может быть, это просто глупо, но зато как это хорошо, когда преисполнен благодарностью актерам, режиссеру, художнику... И разве не лучше быть счастливым, чем умным? И как отблагодарить людей за такую огромную работу, если не жаром бессонной ночи и непрекращающимся наваждением. Я была с прелестной молодой женщиной. Когда все кончилось, у нее все лицо было мокро от слез, на улице было темно, и мы молча шли по ночной Москве. Я проводила ее до дому, она все плакала и только сказала: «Простите меня. Это катарсис». О, Аристотель, как на века определил ты сущность искусства! — А зал смеялся, когда смеяться никак нельзя было, и мне было так больно за этих ограбленных жизнью людей. Они ничего не знают, не знают, что такое Любовь и через что человеку приходится переступать, когда Она этого требует.

Мне очень хотелось вложить в это письмо рисунок, но я не посмела. Может, это было бы с моей стороны навязчивостью и Вам ни к чему эти рисунки. Я с нетерпе-

нием жду окончания работы над переводом и выхода в свет этой книги. Мне кажется, что Вам она будет чрезвычайно интересна.

Объявитесь, а то я боюсь, что Вы на меня сердитесь!

Ваша Л. Б.

Сколько времени это письмо писалось, и сказать нельзя. Но наконец Вы его получите и увидите, что о Вас думают всегда.

В. Т. Шаламов — Л. М. Бродской

2 декабря, 1955 г.

Дорогая Лидия Максимовна.

Как мне было дорого полученное Ваше письмо, да еще такое сердечное и теплое. Глубоко тронут и тем, что написали его в свой день рождения. Прошедший.

Я на Вас не сержусь, это не то слово — я глубоко огорчен, что Вы не найдете время для 2 строк человеку, который, ей-же-ей, привязан к Вам всей душой за это время.

Что слышно о переводе «По ком звонит колокол» и «Иметь и не иметь»?

«Старик и море» — вещь несравненная.

В. Т. Шаламов — Л. М. Бродской

Я не знаю, что такое старость. Старики-крестьяне выползают летом из каких-то углов, из которых еще не выгнали дети. И молча сидят на завалинках, мутными голубыми глазами равнодушно <наблюдают>.

Думаю, что старость это не одиночество, а примирение.

<Схема расположения залов с обозначением отдельных картин¹⁹.>

Щукинская галерея

Озанфан* и др. 4 портрета

Пикассо «Души и скрипки», «Старый еврей с мальчиком»

* Озанфан Амеде (1886—1966) писал графику на черном фоне

Матисс портрет жены художника, «Танец», «Музыка»
Гоген «Странные краски»
Ван-Гог «Ночное кафе», «Прогулка заключенных»
К. Моне «Бульвар капуцинок»
Ренуар «Лидо», «Женщина в розовом»
Дега
Сезанн

17 лет лагеря, и, перебирая жизнь, я не вижу каких-либо ошибок, каких-либо губивших себя шагов.

Красное и Черное — Париж, Гойя. Я плакал в работе над книгами.

Красное и Черное — поверил в возможность <передать> ночь.

Обидно, что русские даже мозги не любят напрячь. Вряд ли они читали хоть страницы Рабиндраната Тагора [нрзб].

Прошлое — наш душевный, непрерывно увеличивающийся багаж. Прошлое взаправду с нами всегда.

Мы — это прошлое, в очень малой степени, настоящее и будущее.

И мы иногда в силах выбирать в прошлом лучшее, дело в воле, но на самом деле отбор — дело рук прошлого.

Я помню в юности один разговор на квартире Х. Раковского²⁰. Молодые ребята рисовали разноцветные картины коммунистического будущего. Х. Раковский улыбнулся — наши представления о будущем — суть представления сегодняшнего буржуазного общества. Почему Вы знаете, может быть, человек будущего будет любить казарму, одинаковой формы дома, выкрашенные в одинаковый цвет.

Мне очень грустно было без Ваших писем, грустя я перечитал Вёльфлина. Какой-то большой кусок души, связанный с Вами, и больно, когда вдруг разрывается все. В воскресенья, которые я бываю в Москве, сердце так скверно работает, что не считаю себя вправе видеть кого-либо, говорить...

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Москва, 2 марта 1956 г.
Дорогой Варлам Тихонович,
я была просто счастлива, получив Ваше письмо.
Приходите когда Вам будет удобно. Приносите чем

больше рассказов. Лучше, если напишете или позвоните заранее. Приходите на подольше, много новых книг. Вы простите, что не писала, но я была очень больна и около 2 месяцев каждый день ездила в больницу. И из-за этой глупой болезни не смогла дать рецензию на одну книгу, которую, по-моему, обязательно следовало перевести.

Ведь мы абсолютно не умеем думать. Нам преподносят какие-то истины: Рафаэль — хорошо; раннее Средневековье — дикость, ребячливая неумелость. А автор этой книги говорит — почему греки? Почему Ренессанс? А где же живопись катакомб? Романская скульптура? Народные декоративные искусства? Она рассматривает Ренессанс не как вершину, а как одну из вершин. Может быть, многие из ее положений спорны — что ж, лучше же спорить, чем эта вечная плоскость мысли. Но, вместо того, чтобы дать на рецензию моему другу, которая бы это сделала блестяще, я пыталась написать сама, но т. к. я от боли и от лекарства, которыми меня лечили, была не совсем вменяема, то ничего не сделала, а мой редактор, по абсолютному своему невежеству — и к тому же полному незнанию языка, — решил, что это «вздор», и прочие милые слова. — А, может, мы пойдем к Фальку²¹? Или к Верещагиной²²? И так хочется узнать то новое, что Вы за это время сделали...

Очень ждем Вас — я и мой большой друг, который вернулся и привез и стихи, и поэмы, и переводы с греческого, и который знает Вас как поэта, и с которым — и как поэтом, и как человеком — я бы очень хотела познакомиться Вас.

Л. Б.

В. Т. Шаламов — Л. М. Бродской

Туркмен, 14 марта, 1956 г.

Дорогая Лидия Максимовна.

Когда Татьяне Николаевне²³, скажем (Вы обязательно узнайте ее отчество, а то ведь я не могу так вольно обращаться с ее именем, как Вы), надо, чтоб я привез стихи Бориса Леонидовича? Мне придется их переписать — там есть вставки его рукой, пометки всякие. Я займусь этим 25 марта в Москве и, что успею переписать (если не буду в Кремле, что мне обещала Галина), завезу Вам. По-

звоню предварительно. Или Маша привезет, я ее попрошу. Ничего, если будут не все сразу? Спросите.

Вы изволили меня укорить за то, что якобы я с завидной свободой и легкостью распоряжаюсь временем Маши²⁴. Вольно или невольно Вы меня заподозрили в грубости, в бесцеремонности. Я же отчетливо сознаю вот что: если стихи мои Маше интересны (а не я сам и не те человеческие чувства и понятия деликатности, любезности, обязательности и т. д.), то она не должна жалеть время, приводя их в христианский вид.

Если же стихи эти ей не нужны, ничего не говорят и т. д., то и помогать в переписке их не надо. В этом случае я не рискнул бы даже подумать о том, чтобы просить ее тратить на меня время.

И хотя стихи мои безмерно ниже тех образцов, с которыми я мечтал сравниться (и с каждым днем мне это все яснее и яснее), но все-таки это — стихи.

Стихи, из которых очень немногие выглядят как стихотворения. Сборники мои — собрания, а не книги. Все это мне ясно самому до страха. Но уже сейчас я вижу, что одну книжку (из всего того, что написано) я мог бы собрать. Но это предмет особой работы и заботы, для меня не срочной, не существенной.

Дорогая Л. М., очень я прошу — как только Вы прочтете и стихи и рассказы, напишите мне — что лучше и что — хуже. Да или нет. Никаких подробных замечаний не надо. Я ведь знаю, на чем они написаны.

Сердечный привет В.

Пишите мне. На почте в Решетникове я еще не был.

Л. М. Бродская — В. Т. Шаламову

Боже мой, как я зла на Вас, Варлам Тихонович!

Как же Вы должны не любить меня и не понимать, если Вы могли подумать, что я «исправляю» Ваши стихи! Вы могли меня обвинить в небрежности, в невнимании, в рассеянности — и все это было бы вполне справедливо, и мне оставалось бы только смиренно просить у Вас извинения. Но в «исправлении»!.. Именно это мне всегда мешает — у меня нет критики, т. к. во всяком произведении я всегда вижу «святую волю художника» — и это по отношению к тем, кого я не знаю. Насколько же это сильнее по отношению к художнику, которого знаешь, чьи пути известны и дороги. Даже там,

где ничего не понимаешь (Пикассо, Хлебников...), и там говоришь — такова святая воля мастера (конечно, если веришь в искренность).

Были ли Вы на английской выставке? Если нет — пойдите обязательно»

Л. Б.

Стихи не посылаю, чтобы не измять, складывая.

Л.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бродская Лидия Максимовна (1892—1977) — художница, переводчица.

² Вольтер (псевдоним, настоящее имя Мари Франсуа Ардэ, 1694—1778) — философ, писатель, историк, главное направление его интересов — борьба против религиозной нетерпимости. Этой цели служили процессы, которые Вольтер вел в защиту невинных жертв религиозного фанатизма (дела Каласа, Сирвена и др.). Имеется в виду Марина Ивановна Цветаева и сестра ее мужа Эфрон Елизавета Яковлевна (1885—1976).

⁴ «Книжка Файнберга» — см. в переписке с А. З. Добровольским, 1955 г.

⁵ «Пушкин в воспоминаниях современников», Госиздат, 1950, под ред. Н. Л. Бродского, Ф. В. Гладкова, Ф. М. Головенченко, Н. К. Гудзия.

⁶ Вёльфлин Генрих (1864—1945) — швейцарский искусствовед, разработал методiku анализа художественного стиля с точки зрения «психологии эпохи», «методов видения», к которым он сводил характеристики искусства эпох и народов.

⁷ Веронезе Паоло (настоящая фамилия Кальяри) (1528—88) — живописец венецианской школы.

⁸ Андреа дель Сарто (1486—1530) — живописец флорентийской школы.

⁹ Дмитриев Владимир Владимирович (1900—1948) — художник, его выставка была в Москве в 1954 г.

¹⁰ Каррер Эжен (1849—1906) — пейзажист, график.

¹¹ Лиотар Жан Этьен (1702—1789) — швейцарский живописец.

¹² Рейсдаль Соломон ван (1600/03—1670) — голландский живописец, пейзажист.

¹³ Перов Василий Григорьевич (1833/34—1882) — живописец, один из организаторов «Товарищества передвижников».

¹⁴ *Федотов* Павел Андреевич (1815—1852) — живописец и рисовальщик, ввел в бытовой жанр сюжетную коллизию («Свежий кавалер», 1946; «Сватовство майора», 1848).

¹⁵ *Джорджоне* (настоящее имя Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) (1476/77—1510) — представитель венецианской школы. Его работы — «Юдифь», «Спящая Венера», «Гроза» и др.

¹⁶ *Камарго* Мари Анна (настоящая фамилия Кюпис де Камарго) (1710—1770) — французская танцовщица, реформатор танца и театрального костюма, портрет ее работы Никола Ланкре (1690—1743).

¹⁷ *Щукинская галерея*, часть собрания братьев Щукиных.

Братья Щукины: Дмитрий Иванович (1855—1932), Петр Иванович (1857—1912) и Сергей Иванович (1854—1936, Париж) широко занимались собиранием старинных изделий русской, итальянской, немецкой, английской, нидерландской школ (Дмитрий), коллекционированием восточных и западно-европейских древностей (Петр), а Сергей Иванович посвятил себя собиранию новой европейской живописи.

Его особняк в Б. Знаменском переулке стал музеем — по воскресеньям сам С. И. знакомил публику с его экспонатами. В 1914 г. в его коллекции насчитывалось 256 произведений. В 1918 коллекция была национализирована, а в 1919 г. на ее основе был открыт Первый музей новой западной живописи. В 1929 г. эта коллекция была объединена с собранием И. А. Морозова (Второй музей новой западной живописи), а в 1948 г. экспонаты Щукинской галереи были распределены между Эрмитажем и ГМИИ (См.: Перцов П. П. Щукинское собрание французской живописи. Музей новой русской живописи. М., 1921).

¹⁸ Портрет Огюста Ренуара (1841—1919) «Ж. Самари» (1877).

¹⁹ Варлам Тихонович, по его словам, приехав в Москву в 1924 г., стал частым посетителем Щукинской галереи. Этот рисунок дает возможность судить о художественных вкусах Шаламова.

²⁰ *Раковский* Христиан Георгиевич (1873—1941) — политический деятель, дипломат, в 1918 г. — председатель Временного правительства Украины, член ЦК ВКП(б) 1919—1927, участник антисталинской оппозиции.

²¹ *Фальк* Роберт Рафаилович (1886—1958) — художник.

²² Возможно, Верещагина Алла Глебовна — искусствовед, автор монографии «Н. Н. Ге», которым интересовался В. Шаламов.

²³ *Лебедева* Татьяна Николаевна — художница.

²⁴ *Гудзь* Мария Игнатьевна.

ПЕРЕПИСКА С Н. А. КАСТАЛЬСКОЙ

Н. А. Кастальская¹ — В. Т. Шаламову

4/IX—55

Дорогой Варлам, в быту трудно толковать, на бумаге, выходит, легче.

Потребность остается. Друзья-мужчины — перемерли. Манечка² выслушивает, ничего не говорит и забавно переходит на чехословацкую выставку. Не жалуясь, все-таки выслушивает.

Так вот, если разок испытать ширину дыхания (историческую), то все, что относится к человеческой мысли (я не говорю уж философии), волнует по существу. Мне показалось, что индийский автор³ необыкновенно совмещает в себе современного человека, в широком значении, и национального мыслителя, интуитивно ощущающего свою нацию и будущее. Не шутка — задать вопрос, почему за 4,5 тысячи лет не уничтожилась нация и что ее сохранило? Вот тут-то и пойдет: 18, 19 вв. (с начинкой) и 20!! (Европа!). На наших глазах (стариков) совершается чудо: все меняется неузнаваемо — но... заметно.

Если мы можем сравнивать с прошлым, то, естественно, мы воображаем и будущее: по аналогии. Беспредметно мечтать мы уже не можем. Жизнь отрезвляет, *даже* отрезвила.

Все же любовь к тому чудесному у нас, что плодоносило в искусстве, — осталась. Для меня история — в лучшем ее смысле — звучит в искусстве.

Если иногда видишь старичка «классического» или старушку, это тоже почти искусство (пусть это санимент, я не стыжусь) — это история.

Мне кажется, что испытывать *нежность* можно и к другому народу, если ты что-то ухватишь в его «душе», и удивительно расширяется мир!! Везде оказывались близкие люди — вот что замечательно.

Вот и Тютчев — индеец!

Вообще в смысле прошлого, чем дальше, тем ближе. Я уже сколько раз это ощущала.

В нашем «времени» не хватает «потенции» — духовной, конечно. Она должна прийти — но откуда? Думаю, общение с другими народами — вещь громадная. Но до этого пока, по-настоящему, далеко.

Обычно мы, соприкасаясь с инолитературой, например Лу-Синь⁴, подводим к какой-либо эпохе (ведь это чудесный, замечательный Чехов), но Индию — не подтянешь!? Ключев⁵. Евразия — предощущение таланта (чудесника, колдуна) — не зря.

Мой письменный орнамент прорывает, но для меня он связан. Не знаю, как Вам? «Так вот я и говорю», что «Я» стало широкое, поэтому та серая пленка (Кино-), что тянется, перед глазами каждый час, не имеет (в моих глазах) решающего значения: сбоку или сверху, даже издали.

Я прочла, по невежеству, первый раз (несколько лет назад), как были найдены в середине 19 в. следы «допотопных» зверей на морском песке. С этого и началось. Ведь это свобода! Дыхание моря, солнце, без двуногого. Пусть это кому-нибудь смешно — как говорится — «не играет значения».

Велик мир. Вот это есть у древних. Они «понимали». Целостный мир. Может быть, сейчас мы «невольню» к этому стремимся? Поживем — увидим. Вот, мне кажется, и мыслить надо отсюда. Глаза — обманчивы. Не смейтесь над Эзопом, он еще службу сослужит.

Желаю здоровья. Купите валидол и не терпите боли, это ни к чему. Может быть, чудом, в 13 аптеке валидол есть? 2 капли на 1 кусок сахару.

Танька все тщетно хочет потолковать с Вами. Это трудно?

Ваша преданная Н. К.

Маня меня косвенно ругает за несвязность слов (мыслишки-то, может быть, и есть), но, если высказывать гвоздем прибитые положения, то это вызывает ненужные и пустые споры.

Я с детства боюсь «слов», ибо это кандалы.

Читала и перечитывала Некрасова; вначале никак не лезет. Потом полез. Я понимаю, что это совестливый человек, дума у него большая, но не люблю слез, соплей и прочие передвижничества.

Прихожу к тому же выводу: искусство должно делать человека счастливым, пусть даже путем смеха (Мольер, Гоголь, Рабле и т. д.). Уж если бить, так чувствительно. (Все это, грубо говоря, и о форме.) Некрасов — эпоха русская, и в конце концов недолгая! Этим нельзя жить (в искусстве). Блок — тоже эпоха, более объемная, как ни странно, оба с потенциалом.

Ваша преданная Я. Кастальская.

11/X <55>

Что касается литературы, то все же основным условием, по-моему, является новизна: мира, видения, ощущения.

Как актер, играющий по-своему. Музыкант, слышащий по-своему то, что слышано сто раз.

Рождение голоса. Вот Толстой: перегибает, но у него есть это видение заново: суд, люди, все «гражданское». Иногда кажется, что пойдя по этой дорожке, он «подвирает» — ибо уже не лезет.

А описательство — так же, как современная живопись, — нужно только для «карьеры» — пишущих «это» и читающих «это же». Вообще об этом толковать не стоит.

Я писала про любовь и ненависть в искусстве. Помните?

Перечитала старое письмо. Раз и навсегда: искусству не предписывают, а разбирают (его) *постфактум*. Следовательно, рассуждения, кабы да кабы — лишние. Вы пишете: «красота горя» — но... **только в искусстве**, следовательно, тоже — радость. Ибо радость и красота — ведь одно и то же, Вы не схватили мой иероглиф: условность, как сжатость, рамки, как свободы, понятно? Чем сжатее тема, тем труднее, насыщеннее, полнее. Рафаэль этим не грешит. Греки не были сжаты (кроме архаики), наоборот, законченные, самодовлеющие, посему, может быть, и отцвели, распутившись в полной мере. (Все не о литературе, которую я знаю плохо или почти совсем не знаю.)

Очевидно, радость от *искусства не всем дана?*

Счастливы радующиеся бескорыстно. «Спор с художником» — мерка, предвзятость, косность. Речь идет о великих мастерах.

Разве «Фауст» — не восторг? «Ричард III» — уже не совсем восторг. А «Лир» — не восторг?

Предисловий, по-нашему, не должно быть.

Литература — это больше, сложнее, сразу не схватишь, а потом — любишь, срастаешься, радуешься, обогащаешься.

Литература — разговор не прямой, ее условность менее (алгебра, кроме, может быть, поэзии). (Ваши слова.)

Засим будьте здоровы.

Ваша Н. К.

<1955 г.>

Дорогая Наташа, благодарю за чудесное письмо, на которое отвечаю с великой охотой, отвечаю, как могу, и понимаю, и прошу заранее извинений, если в терминологии что-нибудь будет не так. Я ведь учился не то что «на медные деньги» (это выражение тоже иероглиф, правда?), а гораздо труднее, воровски почитывая кое-что в библиотеках без всякого порядка и подсматривая все на выставках и в музеях.

1. Иероглиф в искусстве, конечно, правомерен, но не кажется ли Вам, что эта конденсация творческой речи, общение со зрителем путем традиционных символов есть все же изложение понятий, звеньев логических категорий, а не эмоциональная непосредственность, которая ведь и есть предмет искусства. Так в той же «Сикстинской Мадонне» глубочайшая и разностороннейшая типизация материнства — это фигура Мадонны с ее тревожным и решительным взглядом и испуганные глаза ребенка. А иероглиф здесь — ангелочки и — расширительно — Сикст и великомученица Варвара.

2. Не кажется ли Вам, что Рублев преодолевает иероглифы и в этом его сила — в утверждении индивидуального, а не в усложнении повести, да не повести, а целого ряда романов вроде «Человеческой комедии», которую художник пытается рассказать убористым почерком.

3. Разве фреска не отрыв от иероглифа в сторону жизни и природы?

4. «Мадонна Литта» Леонардо — тоже преодоление иероглифа, уход от него.

5. Обязательность мотива, или, как Вы пишете, традиционность, диктует художнику усиленные поиски сочетания красок, музыки их, и этим, вероятно, силен Рублев. «Вероятно» я пишу потому, что после моего конфликта с Рафаэлем на Дрезденской выставке потерял всякую веру в репродукции.

Репродукции эти — чепуха, поэтому и Шаляпина-то стали ставить ниже Робсона, ибо несовершенство грамзаписи заставляет отдавать преимущество могучести, ибо гениальная тонкость исполнения теряется.

6. Разделяя Ваше требование лаконизма в искусстве, я не могу принять его условности. Давненько уже пришел я к мысли, что идеальный рассказ (я беру об-

ласть, более мне близкую) должен быть простым, кратким, даже конспективным изложением события, расцвеченным одной-двумя деталями, выписанными свежо и подробно, убеждающими нас в силе художника. Тогда рассказ нас убеждает в правоте автора. Условность есть ненужное усложнение, мешающее прямому разговору.

7. В Дрезденской галерее Вы, наверное, помните дурацкую балетную позу возносящегося Христа в одной из картин, автора не помню. Это — пример неудачного преодоления иероглифа. Натурализм, влетевший в условность.

8. Не могу согласиться, что «Сикстинская Мадонна» только «истолкование». Это такой взрыв сложнейшего чувства, показ такой глубины главного, может быть, в жизни (в мозгу у меня, пока я стоял перед картиной, все время вертелась известная индийская или персидская сказка о мудреце, который писал для царя историю человечества, сокращал, сокращал с каждым годом и у постели умирающего царя уложил ее в три слова). Истолкование не может волновать.

9. Иероглиф в живописи — не нагнетание эмоций. Он — их перечисление. Остальное достигается вопреки иероглифу.

10. Согласен, что живопись — это сгущение виденного «без слов, без разъяснения, без указующего перста». (Что и пытался в наше время сделать Чуйков в «Гималаях».) На одних идеях передвижничества не построишь искусства, в эти рамки не вместишь ни Врубеля, ни Куинджи. Беспомощность соцреализма в живописи и музыке ощутимее всего.

11. Вы пишете: «сначала радость, потом въедание, потом чувство самой кисти художника». Нет, не так, нет, не так. Прежде всего это тревога, смятение, взволнованность, ведущие или к радости, или к горю (ведь есть же красота горя), или к другим, более сложным эмоциям, — спор с художником, личный опыт, поставленный против или за художественное ощущение мира.

12. Почему никто из побывавших на Дрезденской выставке не пишет, не говорит мне о Рейсдале? Почему? Это чистая поэзия живописи, лучшие стихи которой я там прочел.

13. Пикассо. Я должен Вам сознаться, что не разделяю ни преклонения, ни ненависти в отношении этого художника. Правда, в бывшей Щукинской галерее был его небольшой холст «Свидание», который хорошо за-

помнился. Но мудрствование над душой музыки, ей-ей, мне не по сердцу. Кстати, вот какое замечание: напрасно у нас так ругают формалистов. Ведь формалист в западном, что ли, обществе есть прежде всего неприятие окружающего мира, и неудивительно, что и Пикассо, и Матисс стали членами коммунистической партии, как это ни плохо рекомендует их логические способности.

14. А что это за «женофобство» Пикассо? Портрет Фернанды обошел весь мир.

15. Голубь мира, рисованный Пикассо, — это ведь сознательно выбранная заправилами движения церковная эмблема, с тем чтобы не оттолкнуть религиозных людей, которых еще так много, а им, организаторам, — все равно.

Вот мои скромные замечания на Ваше интереснейшее письмо. Сердечно Вас за него благодарю, жду писем. Вашей знакомой скажите, что я приеду в субботу днем, часа в три, и могу с ней повидаться. Если успеете ответить мне — напишите, только знайте, что письмо из Москвы ко мне идет три-четыре дня. Ваш В.

Н. А. Кастальская — В. Т. Шаламову

<1955>

Дорогой Варлам,
совершаю служебное преступление и пишу:

Иероглиф, по моему мнению, не есть окончательность или «предписание» — это форма сугубо насыщенная, понимаемая условно.

Я говорю о себе, о том, как я чувствую это, беру за символ. Это начало — возможно, будет и концом (искусства). «Традиция» — это безымянность, народность, бескорыстие у лучших творцов — ибо гениальность пробьет форму. (Рублев, Грек, Ушаков, Дионисий.) Строгость, сжатость искусства (живописи) формой и определяет его «взрывчатость».

«Мало — трудно» (всегда).

О литературе я не говорю, так как мало знаю древность.

О «Сик<стинской> Мад<онне>» я остаюсь, конечно, при своем. Сикст, Варвара и ангелочки никак не «иероглифы» — это *быт* земной и небесный, и ничего в них нет, только указание места действия. Хорошо, что дошла «Сикстинская» — значит, дойдет и другое.

По пунктам:

Рублев — эллинист, хоть и византиец, тем он — «индивидуалист», что любит «человека».

Цель: минимум средств — максимум впечатления — таков высокий закон.

Фреска (она скована стеной, ее формой, она монументальна, плоска, говорит цветом, композицией): — разная. Посмотрите Египет, Ассирию, Италию, Джотто (13 в.) — нашу фреску (14—15 вв.).

С Возрождения падает краткость и вступает «гуманизм» — со всеми человеческими деталями, даже обожествленными.

Леонардо — поздний ренессансист — к нему не относится древнее искусство.

Вы пишете: традиционность — как нечто, требующее преодоления — в сторону свободы цвета и т. п. Нет, это способ выражения, помощь творцу. Традиционность у нас: благоговение к теме, любовь, (иконопись) бескорыстие.

Требований лаконизма мы предъявлять не можем, ибо он требует громадного, всеобъемлющего содержания, которое давно потеряно и расплыено.

Литература: Данте: он ведь не лаконичен. Прочтите его сонеты — они так завуалированы (принятая тогда форма), что форма и содержание сливаются в какое-то нежное облако, туманное, чуть светящееся. (Пер. А. Эфроса⁶ *Vita nuova* (новая жизнь) 36 г.)

Я говорю только о своем горячем чувстве восприятия — никому не навязывая.

Радость, да радость и только радость. (Не говорю наслаждение, хотя, может быть, это и вернее.) Это остается (может быть, таким образом изображает искусство и музыку), выше этой радости или «счастья» — я не знаю. Восстанавливает равновесие — утерянное.

Вы не совсем (или совсем не) представляете себе иероглифа в живописи; о Пикассо: если Вы видели старого Щукина (17—18 гг.), то там была бездна Пикассо. Скрипки его — не мудрствование, но — философия «разъятия» (за 40 лет до разложения атома). Это — что человек «знает» о скрипке, но не то, что «видит». Это — «познание» «вещи», разложения ее, ее душа улетела, таинственная. Это — сложно. Портрет Фернанды — не знаю.

Достоевский ведь это не только искусство — это Новейший Завет, с нажимом, не всеми принимаемым.

Может быть, больше, чем искусство. Разъедающий свет, луч во все двери, почти микроскоп душевный — тоже — разъятие, пророчество, вне всяких «форм». Водопад мыслей и чувств нескованных.

Если бы Вы видели китайские иероглифы с расшифровкой, то восхитились бы юмором и простотой.

Видимо, суть в том, что с 19 в. искусство должно становиться «популярным», разъяснительным.

Раньше оно было для «посвященных» и не было самоцелью. По сути — оно всегда — для посвященных, только их, с течением времени, должно становиться все больше и больше.

Простите за разбросанность: жарко, работала на столе, нет времени подумать.

В «живописи» вообще иероглифа нет. Даже в иконописи. Там — цели мудрые и т. п. Наше искусство, 18—19 вв., вообще, только начало «быть» — тут же его и прихлопнули. (Все о живописи.) Были леваки, кот<орые> шли от древнего искусства, — их судьба известна.

Вот у Рублева, Грека (Феофана) все начинается с радости: нельзя понять сразу, в чем дело. Потом, глядясь, начинаешь понимать. Искусство требует тишины. Оно ее создает.

О Рейсдале: романтик, музыкант, Шуман. (Я говорю о «Кладбище», остальное плохо помню.) (1629—1682). Рассказывает.

О литературе я просто не могу говорить, так все обрыдло, как «передачи». Дышать нечем.

Нельзя до старости все учиться ходить, наконец убежишь в лес. «Органики» нет, одна аптека.

Вот Манечка все учится, на меня сердится, а я считаю за потерянное время большинство из читива. В «Иностранной литературе» будет Хемингуэй «О чем звонит колокол» — интересуюсь! Он — честный и обжигающий. Я дошла до того, что мне кажется, «литература» — это вроде оперы, кот<орую> я не люблю. Я знаю, что для Вас, наоборот, существует одна литература.

Когда-то каждая написанная вещь делала эпоху: в юности даже Леонид Андреев, хотя и тогда быстро поставили на свое место.

Меня интересует сейчас все самое натуральное, где надо отрывать, копать, думать, находить. Жвачка — надоела.

Ну, хватит.

Будьте повеселей, авось.

Ваша *Нат. Ал.*

Красота горя тогда, когда горе переходит в «красоту», то есть своеобразную робость. Замкнутое горе — ни для кого, ни для себя.

Я презираю воду и многословие — если это не органическая потребность.

Н. А. Кастальская — В. Т. Шаламову

<1955>

1. Дорогой Варлам, т. к. я не умею излагать дневные события (так же и «сюжеты» книг и фильмов), то перейдем к «метафизике», а именно к искусству.

Мое внутреннейшее убеждение, в результате всяких эмоций, таковое — когда-то (в 17 г. первый раз, в 46-м году — 2-й раз) я ощутила необычайный восторг и ощущение истины, смотря на нашу иконостась. Тогда, по сути дела, я видела ее впервые. В юности я много видела музеев: Лувр, Мюнхен⁸ и т. п. и на всю жизнь запомнила «мастеров».

2. Теперь на Дрезденской, через 40 с лишним лет, произошла интересная внутренняя перемена. (Читая кое-что по Египту, Ассирии и «пр<очему> Др<евнему> Вост<оку>», я влюбилась в иероглифы, как кратчайший и суммированный путь изъяснения своих мыслей, слов. И я поняла, что древняя жизнь этих иероглифов имеет живой смысл, несет «жизнь».) Простота Рублева, сжатость, краткость, т<ак> наз<ываемая> «традиционность», есть «конденс»: чувства, мысли, сдержанности того и другого и — гениальность, музыка цвета.

Люди, побывавшие уже в Кремле, рассказывали о впечатлениях о Рублеве в Арханг<ельском> соб<оре> и об Ушакове — в Благовещенском.

Восхищенные Рафаэлем, они говорили (совершенно справедливо), что эта наша живопись, по силе, простоте (лаконизму), цвету намного его выше — я всегда это чувствовала. В окружении старой архитектуры — является собой гармоническое чудо.

Надо и Вам побывать. Счастье нисходит на душу, так это великолепно.

3. В 46-м г. я видела выставку Русской древней фрески, сделанную художницей Толмачевской⁹, кот<орая> отдала этому делу 25 лет. 12, 13, 14, 15, 16, 17 века яви-

лись чудесами искусства. Каждый век имеет свою музыку; 16-й — уже барочный (усложненный), 17-й — витиеватый, 18-й — подражательно-сладкий, о 19-м говорить не приходится — это мануфактура.

Монументальность — вот слово нужное, как Бах.

Через восторг я поняла еще, что искусство (l'art! — по-фр.), доб<авлю> лаконично, условно, надо уметь читать его иероглифы. Меня на Дрезд<енской> сразил Тинторетто (1512—1594) — «Борьба Михаила», — по красоте тона, композиции, где страшная насыщенность динамики дает тем не менее впечатление необозримого пространства воздуха, неба и, как ни странно, прямым трактом связывается с русской фреской: по цвету и по насыщенности, хотя тут все объемно, не так, как у нас, но это уже 16-й век, Поздний Ренессанс, и Италия. Экспрессия — вы слышите свист разящих крыльев, сделанных одним взмахом сухой кисти с белилами. Вблизи видно — как! И «Похищение Арсинои» из темницы — мраморной, обнаженной полубогини с рыцарем, отклонившаяся назад под тяжким поцелуем (Средневековье!).

4. С этой точки зрения рафаэлевская Мадонна меня никак не устраивает. Недаром в «сороковатые гг.» она служила «Символом» Креста — «вообще». Она понятна, популярна, доступна — одно из проявлений «гениальной середины» — в ней нет потенции, ни в живописи, ни внутреннего огня, нет любви, пророчества — там только «истолкование», данное «теплым» художником.

Тот же темперамент, кот<орый> есть у Феофана Грека, огненный (см. Третьяковка, карт<ина> «Преображение») русский музыкальный смысл.

5. Троицы — Рублева, композиция цвета и фигур — Дионисия (кажется, конец 15-го?) — ничего больше, кажется, и не нужно. Т. е. нужно очень много, но это — великая основа. Те нагнетенные эмоции, кот<орые> в них содержатся, они, несомненно для меня, проявились и в дальнейшей нашей истории. Потоки мира, чистого равновесия, благодарности за жизнь — все оно там есть. О подробной и внешней религии я не думаю. Это объединенные чувства, живые, деятельные.

6. Вообще живопись — это конденсат без слов, без разъяснений, без указующего перста. Сначала радость, потом въедание, потом чувство самой кисти художника, т. е. как сделано (вблизи: что водило рукой человека —

только вблизи) и потом уже все идет в какие-то внутренние склады, где и **живет**.

С этой точки достаньте журнал *За мир*¹⁰, там есть интересные статьи о живописи — пусть короткие, но мне близкие. Особенно, Пикассо: его принято ругать — это и понятно, ибо все «непонятное» надо ругать.

7. Я его свободно «читала» и угадывала в нем огненную душу художника и страдальца, каковым только и может быть творец вообще. (Кажется, за исключением Гете, которого, кстати, «сравнивают» с Рафаэлем.)

Пикассо «искал» и «ищет» всю свою жизнь. Он — иероглифист; современную жизнь он видит «марками», т. е. людскую особь. Вещи он «разложил» на составные части, дефетишизировал их. Презрел. Людей же, особенно женщин (насколько мне удалось видеть его последние (или предпоследние) рисунки), он изображает краткими формулами, едкими и «простыми». Простим ему женофобство.

8. В нем большая взрывчатая сила: мысли и ненависти. О любви — не знаю. Но век наш — пока век разделения, и он пророк нашего века. Кстати, он испанец по происхождению, живет уединенно, собой не торгует, как особый анахорет.

Искусство, конечно, им не ограничивается — и в нем д<олжна> быть борьба, немой спор, немая битва.

11. Этот художник не ищет «красоты» — она его ищет, приходит и поселяется навеки в его вещах. Это все еще любовь.

Ну, не влезет в конверт.

Поищите книгу «Русская древняя фреска» (фамилию забыла), не толмачевская. Это — вещь. Достать ее не могу. М<ожет> б<ыть>, у Лидии Максимовны есть?

Следующий раз поищу бумагу получше, прямо мазня получилась.

Будьте. Ваша *Наталья*

Индусы сказали после Третьяковки: Рублев и Врубель!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Кастальская* Наталья Александровна — дочь композитора Александра Дмитриевича Кастальского. Именно в ее комнате при консерватории В. Шаламов ночевал, вернувшись с Колымы. Г. И. Гудзь боялась привести его, нарушителя пас-

портного режима, в свою квартиру, где жил ее брат Борис Игнатьевич Гудзь, работник органов (1902—2006).

² *Гудзь Мария Игнатьевна.*

³ Индийский автор — Ганди Моханас Карамчанд (1869—1948) — идеолог и лидер национального освободительного движения. Его учение «гандизм» включало идеологизацию старины, религиозного чувства с социально-политическими и философскими аспектами.

⁴ *Лу-Синь* (настоящее имя Чжоу Шуэнь) (1881—1936) — китайский писатель, основоположник современной китайской литературы.

⁵ *Клюев Николай Алексеевич* (1887—1937) — поэт крестьянской патриархальности, противостоящей индустриальному Западу.

⁶ *Эфрос Абрам Маркович* (1888—1954) — переводчик Данте. «*Vita nuova*» («Новая жизнь») (1936).

⁷ В русском переводе — «По ком звонит колокол».

⁸ Музеи Мюнхена — «старая и новая Пинакотека», др. музеи.

⁹ *Толмачевская М. И.* «Русская древняя фреска». М, 1955.

¹⁰ «В защиту мира», журнал изд. с 1952 г.

ПЕРЕПИСКА С В. А. КУНДУШЕМ

В. А. Кундуш¹ — В. Т. Шаламову

г. Магадан, 24/IX—55 г.

Добрый день, дорогой Харламбий!

Заранее извиняюсь перед тобой, что долго не писал — в одном ты должен быть уверен, наши отношения не такие, чтобы я забыл тебя. Я очень уважаю тебя, да и не только я, мы знаем худшие времена жизни, поэтому обида мелка и раз не пишу, значит «забыл» не может подходить.

Но что писать? Ни одно принципиально важное дело, которое я ожидал, не исполнилось. Я не только думал писать тебе, но я полагал лично тебя навестить на пару дней, но увы...

Начну с начала. На Нере я проработал один год до июня 1953 г. Мне обещали там должность начальника стройцеха. Правда, я таковым по сути дела и являлся, но числился завхозом. На Нере я проверил себя в рабо-

те. Там систематически зимой страдали отсутствием дров и в особо тяжелые периоды топили печи углем с комбината, который стоит нам 1000 р. тонна. Я не только обеспечил полностью дровами, но и заготовил и распилил до 500 м³ строевой древесины, что считал чудом — закончил автобусы бетонные, которые там строились 3 года, провел водопровод, но все было напрасно, т. к. у меня «нет бумажки». А семья из Ленинграда торопит, или приезжай, или мы приедем. С Неры я уехал в Магадан. В Магадане из-за комнаты поступил в горкоммунотдел, в 7-й рабочий городок комендантом, где проживали освобожденные по амнистии «друзья народа» — вот где был ад, ежедневно убийства, драки и проч. Там же со мной работали Глазунов и Постель. Я заключил договор на три года, и за счет Дальстроя ко мне приехали жена и сын. Комнату забронировали. Примерно через год, к маю 1954, этих «друзей народа» пересадили обратно, а меня сократили (вернее всех).

Месяца 4 я не мог устроиться, затем работал в Тауйском совхозе представителем в Магадане, затем в марте мес<яце> 1955 был опять сокращен, вернее, моя должность. И в настоящее время я работаю в Рыбтресте стивидором (по приему и разгрузке грузов). В 1952 г. я в Магадане встретился с испанкой, и мы по-джентльменски расстались, с тем чтобы это не отразилось на семьях. У нее тоже во Франции муж, а я, как ты знаешь, не собирался менять. Думаю, что это сделал правильно, т. к. не те годы мои и не то положение общественное, чтобы можно было гарантировать счастливую жизнь в новом варианте! Ведь когда нас лагерь объединял — это было одно, а в жизни могло быть совершенно другое. Тем более 80% ее предположений на будущее строилось на ожидании особых событий извне. Где она сейчас, я не знаю, но выехала она из Магадана в 1952 г. в декабре самолетом. Курс — Москва.

Каковы мои перспективы? Я имею ответ, что мое дело на пересмотре. Если ответ будет положительный, то я выезжаю в Ленинград. Если же отрицательный или вернее всего никакого ответа до мая 1956 г., то я своих, жену и сына, отправляю в Ленинград, а сам забираюсь куда-нибудь в геологоразведку подальше на Север. Кое-какие документы по горной специальности я получал, но ведь я не работал по горному делу с 1926 года. С семьей у меня хорошо. Жена очень мало изменилась, но все же материальные трудности дают себя чувствовать и кое-

какие домашние раздоры есть. Сын работал на энергокомбинате дизелистом, ему 18 лет, у меня с ним мало общего, но парень хороший, не пьет, не курит, очень выдержан, но продукт эпохи. В общем, многое оказалось не тем, как мне казалось, когда я был за проволокой в ожидании. Но все это терпимо. Я очень доволен, что ты не теряешь бодрость духа. Полагаю, что тебе тоже не все сладко. В Магадане сейчас безработица, да и на трассе. Ряд предприятий закрываются как нерентабельные. Очень много приезжают с материка за длинными рублями, а их сейчас и нет. С продовольствием хорошо, есть мука, масло, жиры, крупы, сахар и все прочее. На рынке мясо 35 руб., яйцо — 40 руб. Оклады урезали очень сильно. Но большое начальство получило даже прибавки.

Лоскутов работает в больнице, Мария Когут работает сестрой в больнице — вышла замуж, немного похудела. Медсестра Королева родила двойню. Гарлейс работал зубным техником, женился на враче, армянке-договорнице. Савоева и Борис шлют тебе привет. Оба живут там же. Савоева работает хирургом во 2-й поликлинике. Исаев (который был на подсобном хозяйстве) реабилитирован. Сейчас ходит с партбилетом. Заводник в Москве, директор фабрики. Варшавская Мирра реабилитирована. Я живу средне, много читаю, выписываю кипу газет, но все это не дает удовлетворения. Да, Аркад<ий> Захар<ович> женился на Ореховой, сейчас работает зав. пекарней в п. Ягодный. Больше видимых новостей нет. Пиши, что тебя интересует. Как часто ты бываешь в Москве. Какие есть течения и мнения в части пересмотров дел? Как твоя жизнь, как изменился ли материк, что ты увидел, лучше или хуже, чем думал. Как семья. Пиши мне по адресу: г. Магадан, 7-й рабочий городок, дом № 1 (бывш. контора), мне.

Если у тебя есть стихотворения или проза, посвященные Северу, то есть возможность их печатать в колымском издательстве, сейчас подходят очень терпимо к категориям бывших людей, так что пришли мне, я передам в издательство, но обязательно нужно краткую творческую биографию и указать, что с такого-то по такой-то год жил на Колыме (конечно, не в роли з<аключенного>, а служащего или рабочего).

Привет, Харлампий, тебе от моей семьи, от всех знакомых, потому что я всем знающим тебя говорю о тебе.

Пиши, дружески жму руку.

Вениамин

Р. С. Плохо пишу, просто спешу, т. к. пишу на работе, в часы «труда».

Вен.

В. А. Кундуш — В. Т. Шаламову

Магадан, 15/V—56 г.

Добрый день дружище, Варлам!

Искренний привет тебе и наилучшие пожелания. Отвечаю на твое письмо с большим опозданием, все думал, что сам лично приеду к тебе, но, оказывается, не всякие ласточки делают весну.

Это же возмутительно, когда после публичного разоблачения деятельности гуталинщика — приходится писать, обивать пороги и ждать реабилитации. Спрашивается, где же смысл? Тем более что **всем** сейчас ясно, что за «дела» фабриковались, а особенно то, что пеклось на кухне Особого Совещания. Слыхал ли ты лично раздел доклада Хрущева о культе личности, мне кажется, ты тоже имеешь право и шанс быть реабилитированным.

Сейчас здесь в Магадане работает комиссия по освобождению из лагерей з<аключенных> по 58 статьям. Освобождают тысячами. Так примерно из 25 вызванных на комиссию — освобождают 24 чел.

Ну ладно, что будет, то будет. Сейчас о наших магаданских делах и людях. Жизнь в Магадане становится хуже. Настоящая безработица для людей конторского труда. Много безработных офицеров — сотни. А люди все приезжают и приезжают в надежде на «длинные рубли». С продовольствием и промтоварами сейчас плохо до подвоза с материка. Федор Ефимович работает постарому, очень занят, я изредка встречаюсь с ним. Живет он у Елены Георгиевны, у нее умер муж, и она сдала им комнату. Аркад<ий> Зах<арович> и Елена все в Ягодном, Аркадий, кажется, сокращен, мне говорили, что он живет очень неважно и рисует и малюет, но ничего постоянного нет. Я работаю в рыбтресте снабженцем, хорошего тоже мало. Месяца четыре был безработный. Гарлейс полностью реабилитирован, переехал в Москву. Горелик тоже реабилитирован. Яроцкому и Лесняку дал твой адрес. Гарлейсу тоже дал, но он вряд ли напишет, т. к. стал настоящим бизнесменом. Работает зубным техником и, видимо, цель жизни поставил —

накопление. Да на фронте искусства какое-то топтание на месте. Я тоже читаю и выписываю ряд газет и журналов, и мне видна немощность, импотентность нашей литературы, а о театре и кино и говорить нечего. Видно, все-таки от линии гуталинщика отойти никак не смогут. Ведь даже жалкая «Оттепель» Эренбурга встречена чуть ли не как «покушение на устои», о чем же и кто отважится писать, а еще больше — кто издаст?? Не знаю, может, я и не прав, но лет через 4—6 будут все-таки большие какие-то сдвиги. Я не знаю, как на Магадане, но здесь только разговоры о деньгах, накоплениях, дачах, как одеться, вот и вся «духовная» жизнь, да забыл: еще выпить и пожрать, а особенно на чужой счет. Берет удивление за молодежь, с чем мы можем выступить, в моральном отношении, против Запада?

Я завидую тебе, что ты хоть изредка приобщаешься к большой культуре, был на выставке Дрезденской галереи, скульптора Эрзи, видимо, и на выставках китайского и индийского искусства. Предложи хотя бы болванам из Министерства кинематографии снимать подобные фильмы и рассылать по СССР. Веришь ли, когда у нас идет хроникальный фильм, например по Индонезии, то тысячи желающих. Почему-то прекратили снимать фильмы-спектакли, а фильма-оперы даже, по моему, не было совершенно. Неужели никто в Москве не понимает, что, кроме живущих в Москве и Ленинграде, есть еще сотня миллионов людей, которые не только хотят, но и имеют право кое-что видеть и знать.

Напиши, что нового на книжном фронте, как сейчас, много ли приезжает реабилитированных, как материальное положение.

Повторяю — нового здесь нет ничего. Люди заняты своими узкими семейными делами, Королева родила двойню, Когут вышла замуж, Максимова тоже замужем. Встречаю их редко, но всегда с желанием поговорим, когда встретимся.

Привет тебе от знакомых, жму руку, пиши письмо. Адрес мой старый.

Жму руку, *Вениамин*.

В. А. Кундуш — В. Т. Шаламову

Магадан, 25/VII—56 г.

Добрый день, Варлам!

Посылаю тебе вырезки из нашей газеты об «литературном оживлении» в нашем крае и о появлении на ли-

тературном горизонте «литераторов» с подмоченной политической репутацией.

Варлам! Тебе нужно не упустить момент и «спаренно» с каким-нибудь имеющим имя писателем, а с твоим знанием кое-каких учреждений ведомства «Берии», дать большой интересный и своевременно нужный роман. Если, скажем, сейчас еще литературный показ героя, жертвы культа личности, не решаются выпустить, то надо полагать, что через 1/2 года — год, показ их будет в большом количестве, но с меньшим знанием, чем сделали бы лица, на своей спине испытывшие «перегибы».

Многие из твоих знакомых помогли б тебе отдельными материалами в этом деле. Должен тебе сказать, что Лесняк, которому я дал твой адрес, тоже думает дать рассказ на эту тему. Между прочим, Борис получил реабилитацию.

Я не знаю, знаешь ли ты Сандлера, он был на Холдном. Так вот Сандлер² написал в стихотворной форме обращение к «Литературной газете», где прямо указывает, что в газете пишут и дискусируют по различным, иной раз высосанным из пальца, конфликтам и героям, а «этого героя» — героя, о котором знают и говорят во всем СССР, даже не упоминают. Если будет копия, я пошлю тебе ее, а также сообщу, какой ответ будет получен им.

Все больше и больше старых колымчан разъезжается. Даже такие, как Меерзон и Горелин, получили реабилитацию. Мохнач давно уже в Ленинграде. На днях получил реабилитацию Дегтярев. Я пока ничего не получил, но жду. Живу я по-старому, изредка встречаюсь с Федором Ефимовичем, он ожидает приезда дочери. Дочь его тоже врач-окулист. Наташа Максимова уехала на материк в командировку, повезла больных. Сейчас на Колыму много едут комсомольцев, их встречают музыкой и поселяют в здания бывших бараков для заключенных, т. к. лагеря почти ликвидированы или остались в мизерном количестве. Даже на глазах меняется население Колымы, и многое, чему мы были свидетели, уже даже здесь не услышишь в воспоминаниях. Лето в этом году очень хорошее, «материковское». Снабжение неплохое, как говорят приезжие, но нет мяса, а на рынке 35—40 руб. кило. Овощи вообще у нас дороги, поэтому о них даже не пишу. В промышленном развитии Колымы какой-то застой. Ряд приисков и рудников

законсервированы на том основании, что продукция очень дорогая, выгодней покупать в сопредельных странах. Пиши о своей жизни. Может быть, в 1957 году увидимся, т. к., если у меня произойдет изменение, то я уеду в Ленинград.

Адрес мой старый — пиши.

Жму руку.

Вениамин.

В. А. Кундуш — В. Т. Шаламову

22/IV—65

Дорогой Варлам!

Вместе с поздравлением я пишу тебе эти скорбные для меня строки.

Во время моего отъезда из Ленинграда 15/XI—64 г. скоростно умерла моя жена Антонина Михайловна. Я приехал только в начале апреля, увидел могильный холм, крест и любительское фото — ее в гробу.

Не осуждай меня за слабость, я здоровый человек, но не могу ничего сделать — живу как во сне, утратив интерес к жизни.

Я знаю, это пройдет — но нужно время.

Что видела она в жизни? Хождение по тюрьмам за справками и передачками? Общественное презрение, поездка ко мне в Магадан — жизнь в нужде, а вот сейчас — финал.

Прости, потом я напишу тебе больше. Спасибо тебе за теплые открытки, за беспокойство обо мне. Уж я здоров, но здорово ли общество, в котором я живу?

Привет твоей семье. Привет знакомым.

Обнимаю, *Вениамин*, пиши.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Кундуш* Вениамин — персонаж рассказов В. Т. Шаламова «Курсы», «Букинист», бывший сотрудник НКВД, репрессирован и отбывал срок на Колыме. Работал вместе с Шаламовым с 1947 года в Центральной больнице для заключенных.

² *Сандлер* Асир Семенович (1917—1996) — автор мемуаров о лагерях.

ПЕРЕПИСКА С Т. Н. ЛЕБЕДЕВОЙ

Т. Н. Лебедева¹ — В. Т. Шаламову

10.10.55 г.

Дорогой Варлам Тихонович.

Я уже начала издавать вопли по поводу того, что отправленное Вами письмо пропало (бесконечно идут письма, 6 дней), как сегодня вечером мне, уже переставшей бегать по 3 раза на дню к почтовому ящику, дали Ваше письмо.

Мне очень интересно то, что Вы пишете о творческом процессе, об искусстве. Кое-что я представляю себе иначе, но ведь это совершенно естественно.

Мне хочется поблагодарить Вас за то, что Вы пишете о моих вещах с серьезностью, которой они, по совести говоря, не заслуживают. Вы совершенно правы, считая, что графика моя не освещена темой, а сделана холодно, чувствуется, что работая, вижу себя. Что-то в этом роде я говорила, показывая Вам ее. А когда я зажигаюсь какой-то темой — отголоски этого Вы видели в рисунке и масле, я делаюсь совершенно бесноватой, не вижу и не слышу ничего, при страшном напряжении вбирая в себя то, что я могу взять от модели или темы. И в голове у меня нет ничего из виденного мною раньше, чувствую только тему или человека, сидящего перед собой, и себя.

Есть два метода работы, из которых то один, мне кажется, единственно правильным, то другой.

Первый (о нем пишет Чайковский в своей переписке с Мекк²). Необходимо работать с огромным напряжением каждый день, и на фоне каждодневной работы все чаще будут выпадать те светлые минуты вдохновения, этого счастья, из-за которого и необходимо заставлять себя работать, даже принуждая себя порой.

И второй путь — рисовать, писать, лепить, писать стихи и т. д. — только в том случае, когда так что-то захватит, что ты ни о чем другом не можешь думать.

Я вижу у одного своего приятеля работы, сделанные по первому методу, и мне всегда становится очень скучно от них, а это самый худший приговор вещам, когда человек возражает, протестует, негодует — есть еще какая-то надежда, а скука — это конец. Правда, еще что-то может зависеть и от одаренности художника?

Чего мне не хватает в моей работе? И самого незначительного и самого главного — денег, т. е. времени и возможности работать.

Мне скажут, что если б у меня была возможность работать — за какой-то срок я могла бы устранить тот разрыв между моими представлениями и возможностями, который мне мешает сейчас. Обычный разрыв между головой, душой и руками.

Но когда я представляю себе, что я никогда не выберусь из этого капкана (ведь «обогащающих деньгами» чудес в мире не бывает), а рассчитывать на выигрыши — это уж крайняя степень падения и сознания своей слабости, пока я еще не дошла до этого, — мне делается горько.

Это уже не так, как в Евангелии — раб нашел и зарыл свой талант по собственному желанию в землю, а тут обстоятельства заставляют раба зарывать. Ситуация меняется. Это мешает всем — невозможность работать так, как хочешь. И Вам, человеку талантливому, полному неиспользованных сил — тоже.

Очевидно, закон равновесия сил в природе применим везде, дается человеку что-то, отличающее его от соседа, но не дается того, чем обладает сосед. Я говорю, конечно, не только о материальном.

Теперь о Хемингуэе. Я достала и прочла после «Старика» — «Прощай, оружие». Читала, захлебываясь, он не отпускал меня до тех пор, пока я не прочла все.

Меня поразили две вещи: его необычайная сила описания первой, фронтовой части, где хочется многие куски прочтя, остановиться, продумать и опять перечитать еще и еще раз.

Люди такие, как будто их видишь, лаконично, напряженно — чудесно. И с такой же силой и талантом он показывает очень страшную вещь — результат войны — до какого невероятного оскудения, внутреннего убожества, незаметного в потоке жизни ему самому, доходит человек. Это все, очевидно, естественно после войны, все это закономерно, но как это страшно — нет ничего, что отличало бы это существо от скота, от четвероногого.

И редкие проблески мысли, снисходящие сверху на это существо, не спасают положения. Очевидно, иначе, чем трагедией нельзя было окончить эту чудесную вещь. Там есть такие замечательные мысли, всечеловеческие, высокие.

Я буду еще перечитывать «Старика», как только он вернется ко мне, перечитывать с огромным наслаждением, тут совсем другое отношение ко всему, — жизни, человеку.

Дорогой Варлам Тихонович, если Вам надоело читать мою болтовню, скажите прямо. Я не совсем понимаю, почему Вы мне пишете, пишете такие интересные письма. Думаю, что у Вас очень велики потребности вынести свои мысли на бумагу, — кому — Вам все равно. То же приблизительно сказала мне и Наташа. Правда?

Очень хочу Вас видеть, только хорошо было бы у меня. Я неисправимый дикарь и при наличии людей делаюсь уже совсем неудобоваримой.

Стихи Ваши (2 тетради) у меня только с сегодняшнего дня, буду их читать вечером, когда никто не будет мешать.

Желаю Вам всего самого хорошего.

Т. Лебедева

P.S. Относительно бумаги — пишите хоть на обоях, только пишите.

Т. Н. Лебедева — В. Т. Шаламову

16/X—55 г.

Я очень ждала Ваше письмо, Варлам Тихонович, спасибо большое за него.

Как хорошо, что Вы так почувствовали Башкирцеву³. Жаль, что в Ленинграде Вы не посмотрели ее вещи — это бы Вам сказало о ней очень много. Если они не экспонированы, в запасе — то и там иногда можно посмотреть.

Пишу наспех (простите за карандаш), мне хочется, чтоб письмо попало к Вам до отправки Вашего, обещанного, письма.

Когда человек не говорит ничего по поводу моих, показанных ему, работ, мне начинает казаться, что это потому, что о них действительно нечего сказать. Это, вероятно, ощущение получается от моей мнительности, но я совершенно болезненно, по-сумасшедшему переживаю всякий показ своих несчастных, незаконченных, недоношенных вещей. И знаю сама им цену, знаю, что я — эмбрион, без всякой надежды выбраться из этого состояния и перейти в более усложненную фазу — и все-таки, всякий раз — повторяется та же история.

Показывая Вам, я очень ждала Вашего суждения не с точки зрения профессиональной (это я получаю в среде коллег, занимающихся словоизвержением на всякие творчески теоретические темы). Мне хотелось услышать его вот почему: меня очень интересует человек с его сложным содержанием. И эта тема соединяется у меня с параллельным стремлением выразить и подкрепить цветом психологические изыскания.

Вы знаете человека, чувствуете его глубоко, и в этом плане мне и хотелось услышать Ваши слова. А в том, что Вы будете говорить прямо, — я была совершенно уверена — у нас с Вами разговоры, несмотря на недолгое знакомство, получаются искренние и доверчивые.

Теперь Вам понятно мое нетерпение?

Но я нисколько не обижусь, если Вам не захочется писать на эту тему — ради бога, очень прошу Вас — не заставляйте себя, не считайте себя обязанным писать.

Напишите только в том случае, если у Вас возникает желание что-то сказать.

Хемингуэя не достала. Обещают, но его хватают с жадностью, а я опаздываю. Если сможете — захватите, пожалуйста. И главное: мне очень хочется почитать Ваши стихи самой, на слух я трудно воспринимаю вещи. А Вы обещали мне дать их. Я буду Вам очень благодарна, если Вы не забудете об этом.

Мне очень хочется поговорить с Вами в ближайший приезд, постараюсь, если уложусь с моей заказной работой, найти что-нибудь из работ в моей «Авгиевой конюшне».

Все письмо о себе, простите.

Пишите, пожалуйста.

Привет.

Т. Лебедева.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лебедева Татьяна Николаевна — художница.

² Переписка П. И. Чайковского с Н. Ф. фон Мекк (1934—1936). М.—Л., т. 1—3.

³ Башкирцева Мария Константиновна (1860—1884, Франция) — автор дневника (Париж, 1887, СПб., 1893). Училась в академии Р. Жюлиана, на конкурсе ученических работ получила золотую медаль. См. библиографический словарь «Художники народов СССР».

ПЕРЕПИСКА С В. В. ПОРТУГАЛОВЫМ

В. В. Португалов¹ — В. Т. Шаламову

12/III—56 г.

Дорогой Варлам!

Наконец-то я собрался с духом написать тебе несколько строчек. Не сердись за мое молчание — я ленив писать письма, да и настроение не очень-то хорошее.

Пару слов о себе: в июле прошлого года переехал в Ягодный и работаю в Доме культуры в качестве хударука. Сделал за это время штук шесть концертных программ, а сейчас работаю над пьесой Розова «В добрый час!».

Аркадий делает тебе очень правильное предложение: послать свои рукописи в редакцию альманаха «На Севере Дальнем». Я даже думаю больше: ты мог бы предложить им целую книгу стихов о Колыме.

Очевидно, в четвертом выпуске альманаха напечатают мою «Легенду о Колыме». А сейчас я сижу над «Колымой исторической». Только вот беда: времени нет и денег нет, а семью надо кормить... Вот и заёдывает этот самый быт. А так, чувствую, что хватило бы пороху делать книгу за книгой. Прав Шолохов, когда говорит о необходимости создания материально-бытовых условий для писателей.

Очень хочу подробнее узнать: как ты живешь? Что пишешь? Какие новости на Большой земле? Кого из старых знакомых ты встречал? — и, вообще — все...

Моя семья собралась вся: Люба колонизирована и живет с нами. Наш сын Толя — учится во втором классе, ему в конце апреля исполнится 9 лет. Диапазон в учебе у него широченный: от двоек до пятерок!

Летом появится еще один член семьи — младший Португалов (или Португалова — пока неизвестно). Жилплощадь — 9 квадратных метров — малость тесновато. Кроме всего прочего — на этой же площади проживает персональный Кот — Мордан. Это кот-путешественник — он проехал с Левого — на Мякит и с Мякита — в Ягодный.

От всего моего семейства тебе большой привет. Если очень разозлимся, то пришлем тебе семейное фото.

Пиши! Не обращай внимания на то, что пишу тебе коротко и — пиши!!! Даю слово, что отвечать буду аккуратно. Пиши!!!! Бываешь ли в Москве?..

Жду твоих писем!

Крепко жму руку и желаю удачи во всем!

12/III—56 г.

Валентин

P. S. Мой адрес: Ягодный, Дом культуры, мне.

P. P. S. Посылаю тебе небольшие стихенята. Напиши, что ты о них думаешь? Этим кусочком я хочу начать «Колыму историческую»....

В. Т. Шаламов — В. В. Португалову

<к. 56-х гг.>

Это — еще не стихотворение. В нем нет крови, калейдоскоп без напора. Это очень форма трудная — перечисления. Здесь такой сложный отбор — надо назвать каждое так, как не называл еще никто, как-то по-особенному назвать и этим оживить мертвое.

Потом эта форма требует совершенства и точности прилагательного, которые собственно тут и освещают, решают все дело.

Если прилагательные не даются в руки, то перечисление существительных должно быть в увеличивающемся напоре — в сгущении (которое может затем распасться, внезапно ослабеть, сорваться и т. д.), но до какого-то предела все должно усиляться и усиляться.

Блок.

Потом поток должен быть свободным, врывающимся как бы извне, а твоя работа только отталкивать лишнее.

А все эти рифмы и вся звуковая опора стиха — это только инструмент, скоблянка, с помощью которой поэт справляется со словесным материалом — а из ритма и души рождается стихотворение.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Португалов Валентин Валентинович (1913—1989) — поэт, переводчик, был репрессирован, работал в КВЧ (культурно-воспитательной части) Центральной больницы для заключенных, где в это время были фельдшерами В.Т. Шаламов и А.З. Добровольский Упоминается в рассказе Шаламова «Афинские ночи» и др.

ПЕРЕПИСКА С О. В. ИВИНСКОЙ

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской¹

Туркмен, 31 марта, 1956 г.

Дорогая Люся.

Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.

Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два).

Желаю Вам счастья, здоровья, удач. Я буду рассказывать Вам о себе — о...

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Дорогая Люся.

Вот я и съездил в субботу в Москву и вернулся, и очень сиротливо мне там показалось в этот раз. Как всегда в таких случаях, замечаешь погоду, и апрель становится только апрелем, не больше.

Все это, конечно, пустяки, на это не надо обращать внимание.

«Кто умеет читать по глазам людей».

Это — просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье в истине необычайном фантастическом стечении обстоятельств, которое никакому прославленному фабулисту не вообразить и которое тем не менее ежедневно повседневно выдумывает, создает жизнь. Вот фееричность жизни понимал, например, Грин. И то он показывал ее однобоко, более в романтическом, чем в трагическом плане, а жизни краски трагедии более свойственны, более отвечают ее внутренней природе.

Мне кажется, что задача искусства необычайно проста, необычайно ясна — это писать правду. И именно в силу этого искусство всегда индивидуально, всегда лично. То, что отступает от правды, может быть только подражанием чему-то, уже сделанному, т. е. чужой правде, и тем самым уходит с передовых линий искусства.

Б<орису> Л<еонидовичу> при случае скажи, что я знаю, как читались его стихи и чем были его стихи для

людей на Севере, и что именно Колыма заставила меня окончательно и бесповоротно поверить в великую, ни с чем на свете не сравнимую удивительную реальную силу поэзии.

Так вот о фееричности. Дело ведь совсем не в том, что мир мал — и не только в сюжетах, талантах жизни.

Дело в том (а это главное), что существует, реально существует некий идеал, вяжущийся с душой, творчеством и жизнью поэта. Этот идеал могут овеществлять во вкусах, в склонностях, в персонажах любви и ненависти, кто бы, какой бы своеобразной дорогой к этому идеалу ни следовал. Он может к нему подойти из книг, из произведений искусства, выбрав (и этот процесс интуитивен) то, что отвечает этому идеалу.

Может подойти и в личном опыте, вся незавидность которого в этом случае освещенного особенным блеском драгоценных камней, и понимаешь до перехвата дыхания, как все это жизненно нужно, как все единственно. И этот идеал воплощается в реально существующей женщине. И мне в тысячу раз проще сейчас объяснить то доброе расположение ко мне, которое с первой минуты нашей встречи чувствовал ко мне Б<орис> Л<еонидович>.

Мое расположение к нему объяснимо легко. Я-то ведь с ним встречался уже много лет — с его стихами, прозой, с его поведением.

И этот идеал реально существует, воплощается в реально существующей женщине. (Здесь я, по понятной причине, отказываюсь от попытки дать частную характеристику этому реально существующему идеалу.)

Она принадлежит к той редчайшей породе, которая и делает из поэта — поэта. Это законы тех пяти хлебов, которыми кормят пять тысяч человек. Эта живая женщина есть свидетельство (для меня по крайней мере) верности моего пути.

Я по-новому перечел целый ряд стихов Б<ориса> Л<еонидовича> и с новой силой почувствовал то, что он говорил со мной когда-то о честности поэтического чувства.

Что это — лишь окончательная проба подлинности полученного металла. Это — последний <большой> идеал к стихам Б<ориса> Л<еонидовича>.

Это олицетворение имени, это воплощение и есть доказательство правоты. За этот фантастический узор, который жизнь вышила на моей судьбе — 14 апреля,

я бесконечно ей благодарен. Бесконечно я рад также и тому подъему на эту новую высоту человека, жизнь, идеи и творчество которого столько лет мне дороги. Вот это и есть вкратце мой ответ на то, что Б<орис> Л<еонидович> просил тебя мне передать при нашей с тобой встрече.

Я помню больничные койки, где грязные матрасы, наволочки были набиты хвоей вместо ваты или сена (сено там слишком дорогая штука), на этих костлявых матрасах лежали костлявые люди с грязной шершавой кожей, благодарившие судьбу за то, что она позволяет им умереть не под сапогами конвоиров или палками смотрителей и, собрав последний остаток сил, чтобы отключиться от всего того, что окружает, читать строки «Высокой болезни».

Я помню Мирру Варшавскую², несчастную девушку, которой только стихи Б<ориса> Л<еонидовича> дали душевные силы пережить весь ужас быта.

И много, много других таких помню я встреч. Когда года полтора назад Б<орис> Л<еонидович> переслал мне рецензию, полученную им из редакционной почты «Знамени», я подобрал несколько других писем об этом же самом, полученных мною, выбранных так из *моей* «редакционной почты».

29 я приеду.

Я знаю свою звезду, белую звезду несчастья, — знаю, какому богу я служу и если служение мое бедно, то бог-то во всяком случае хорош. И если сотни тысяч поистине лучших людей русских, действительно все эти декабристы, каракозовцы, народовольцы и т. д. умерли за этот идеал, который самым беззастенчивым образом объявляют достигнутым, то ведь это не может никого обмануть. Бог, если его назовут дьяволом, не перестанет быть богом. И что я был бы бесконечно счастлив и считал бы все мечты свои сбывшимися чудесным образом, если бы мои стихи оказывали на тех людей в тех обстоятельствах ту силу. Я помню стены камеры ледяных лагерных карцеров, где раздетые до белья люди согревались в объятиях друг друга, сплетались почище лианы в грязный клубок около остывшей железной печки, трогая острые ребра, уже утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»:

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.

Это не я читал стихи, я их слушал.

И пусть Цветаева столь пренебрежительно изволила высказаться о «Л<ейтенанте> Ш<мидте>». Это неверно, так же, как неверно ее суждение о 1905 г.³

Стихи о голоде.

И вовсе это не потому, что это «ущемленные интеллигенты» вспоминают, т. е., дескать, Пастернак их поэт. Хотя и это суждение, как бы оно ни было односторонне, ничего не заключает в себе малого.

Для меня же ясно и отчетливо, что тут дело в той единственной нужности для человека, которая сказала в его стихах. Что подлинность выдержала большой экзамен. Что ни одно поэтическое имя современника не заслужило уважения и памяти, а ведь стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Баратынского — таким образом хранить в памяти нельзя.

И потому, что это мир реальностей, знакомых деталей, достающихся нам без перевода, без аналогий (как в Данте, в Сервантесе — где мы должны как-то подставить свое сегодняшнее значение в их формулы).

Не благодаря формальным достоинствам материала держится все, а потому, что это подлинность единственная, виденная, осветившая жизнь с нужной стороны. Кстати, о формализме. Это — детская болезнь, от которой все же не умирает искусство. Оно не становится лучшим. Оно не к этому вовсе призвано, но оно и не умирает от этого, а изменяется жизнью. Каких поэтов испортил формализм? Футуризм-то с Маяковским ничего страшного не сделал? А вот уж совсем другое (а вовсе не формализм) прикончило его, как также прикончило Ушакова⁴ поэта, на наших глазах.

Короткая фраза.

Я помню, когда начинает теряться понемногу мир — исчезает правильное, исчезает, стирается в памяти понятие, суживается словарь, прошлая жизнь кажется небывшей — при голоде, при трудности быть сообща, и это процесс медленный, и, если человек не умер, он тоже медленно возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного (в выздоровлении, когда крепость физических сил опережает в возвращении крепость сил духовных — то в потребность приходит поэзия и бывало как бы завершает, что ли, этим выздоровление). Так вот в этом процессе потери стихи держат дольше, чем проза — я это проверял многократно на разных людях и на самом себе. Даже Гумилевский «Морепоплаватель» (это

даже специально для тебя — я ведь не поклонник Гумилева как поэта) крепче сидит в человеке, чем хотя бы «Анна Каренина». Объясняю я эту мою всегдашнюю уверенность в стремлении человека к высокому тем, что правда поэзии выше правды художественной прозы и «специфика» стихосложения — его мнемоническим качеством, укрепленным звучанием.

1) Все еще неясно, как сложится вторник, то есть — буду ли направлен именно я.

2) Фотография.

3) Расписание поездов.

4) Л. М<артынов> — ничего путного. Пришвин — много умничанья.

«Крестonosцы» Гейма. Дом на площади⁵.

5) Воспом<инания> о Блоке Чуковского — плохие, все лучшие места — попросту списаны из дневников Блока.

6) Стихи — плохие все. Жалкий отклик Твардовского (друг детства). Твардовский лучше других, но мелко так откликаться. Ведь это — слезы — не просто слезы, а кровавые слезы.

Мартынов — опустился ниже своих возможностей.

«Портрет» Шкловского — обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, если, по мнению критика, рассказ должен иметь *познавательное значение по преимуществу — то лучше моих «безвыходных» рассказов не найти — достоверность и бытовая, и психологическая имеется.*

7. Еще все под впечатлением деталей автобиографии Б<ориса> Л<еонидовича>. Это очень тонкая работа, куда тоньше, чем «Охранная грамота». Пятна зрительные, пятна звуковые встречаются с миром, заполняют и принимаются за тот исходный материал формирования поэта — в этом и есть главный интерес. О музыке — прекрасно. Музыка ведь ничего не изображает, ничего не рисует, никогда сама не ведет, сколько бы лекций по музыкальной грамоте ни читалось. Она предельно обнажает восприятие, обостряя все чувства у каждого к своему и готовит их к обостренности впечатлений.

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Я хочу сказать насчет Ирины⁶. Твоя мама — красавица. А у красавиц — особая ответственность в жизни. Осо-

бая ответственность за жизнь других людей. Вот Мария Николаевна⁷ была красивая. А Ольга Всеволодовна — красавица. А будущее Ирины еще неизвестно. Она может и красавицей стать. Только для этого одной красоты мало.

Я хочу сказать насчет Ирины. Она собирается в кино. «Женщину» Славина — удивительный рассказ, так мало замеченный у нас, читала? Славин написал единственную (кроме пьес Булгакова) хорошую пьесу «Интервенция», хорошую повесть «Наследники», а потом погиб в кино, как Габрилович.

Я хочу сказать насчет Ирины. Ей будет очень много почтального беспокойства — мне очень трудно не писать тебе. Даже сейчас пишу и перед Ириной немножко совестно. Ты извинись как-либо за меня.

Так вот об Ирине. Она хочет учиться в киноинституте, а это ведь плохо. И не потому, что там «среда» и т. д. Я в «среду» не очень верю. Я больше вейсманист, чем мичуринец. Но, кроме наследственности, я верю в детство. В раннем детстве записываются черты характера, чертятся, высекаются черты того, что в последующие годы лишь шлифуется, приглушается или обостряется, делается четче, сохраняя в общем неизменным облик. Вот потому я верю во второе (по крайней мере) поколение интеллигенции и т. д.

Вся человеческая борьба, судьба есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил. Так что душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой «средой». А я говорю о другом. Тебе никогда не казалось, что кино — штука второго сорта, которое не имеет своего ума, своей философии, а <копирует> свои мерки то из литературы, то из театра, то из живописи, то из скульптуры.

Что Ирина в любом другом искусстве встретит подлинного единственного великого, что есть в жизни, что дано отцами с этим, подробнейшее общение метит жизнь какой-то особой метой.

В кино же этих великих подлинников нет. Учеба в труппе Худ. театра — всегда приобщает к чему-то бесконечно важному, уравнивая понятия счастья и несчастья. В кино таких вещей нет, как бы ни старались Чаплин и Дисней.

О Славине.

И что советовать идти в киноинститут — это значит обеднить Ирину. Я могу развить это много подробней, но письмо ведь не трактат.

Идешь вот по улице и думаешь: вот и этого не сказал и того не договорил и даже к слову — при твоём рассказе о нашем знакомстве — не сказал, что ты была первым человеком на свете, который увидел в моих стихах — стихи. Все говорили совсем не то, не там, не о том, и только ты в то время говорила то, там и о том и показывала пальцем на ростки настоящего (*редко*), на ненастоящее, манерное, сухое, фальшивое (*часто*). Я не люблю литературной среды, и я — не оттуда, как ты знаешь.

Вот Цветаева написала в хорошем волнении две хорошие статьи о Б<орисе> Л<еонидовиче> «Эпос и лирика»⁸ (ее я видел раньше и «Световой ливень»). Они хвалились, казалось бы, предельно, большего пленения, кажется, и представить нельзя, но ведь это и мизерно, ничтожно по сравнению с тем, что он такое. Что он в миллион раз богаче, нужней и не туда нужней, чем думает Цветаева при всей своей восхищенности и преклонении.

Что 20 век русской поэзии читает 2 имени — Блока и Пастернака. Я-то даже сравнивать их не могу — ибо то, что встало и что надо было разгадать Б<орису> Л<еонидовичу> — не идет ни в какое сравнение с нехитрой по сути дела (по тому наивному времени) коллизией — Б<орис> Л<еонидович> был с жизнью.

В этот список не войдут даже Цветаева, даже... Маяковский.

Для меня преданность просьбе Пришвина о личном свидании с Б<орисом> Л<еонидовичем> больше значит, чем эти две цветаевские статьи.

Б<орис> Л<еонидович> давно перестал быть просто поэтом (а м<ожет> б<ыть> никогда им и не был). Легко объяснимо, почему Б<орис> Л<еонидович> не любит стихов Мартынова. На серьезный счет, Мультатули писал когда-то: «Хорошо писать публика не может, потому что у нее нет души или она не страдала, что одно и то же».

При несомненной одаренности Мартынов поэт искусственный, нарочитый, у него нет ни одной *выстраданной* строчки. Он ходит по жизни и видит, что он задумал, приготовился увидеть, он отправился наблюдать и зарифмовывать. Он ждет, а «надо отбрасывать лезущий на бумагу мир, оставляя то, что уместится на бумаге». Оригинальность, своеобразность это все ведь от Бога — и об этом думать не надо.

И вообще мне кажется, что художник ничего не «наблюдают», он слышит и видит, но ничего нарочно не собирает. Он думает не для стихов, а для своей души, для своей жизни. И когда душа и жизнь помимо него оказываются стихами, музыкой, картиной — это не зависело от его воли — это воля мира, какой-то части мира, захотевшей говорить его языком. Мне он нравится тогда, когда я подхожу к нему с моей меркой, как к Кирсанову, к Асееву. А вот я читаю Анненского, скажем, не говоря уж о Б<орисе> Л<еоновиче>, и каждый стих волнует меня по-особому, по-серьезному.

Стихи Мартынова — это не его жизнь, а его профессия.

Я вот романсы всякие когда-то переписывал в тетрадку и много знаю наизусть, и стыдился этого до тех пор, пока не увидел в дневнике Блока целый сборник вальцевских и прочих песен, начиная с «Дышала ночь восторгом сладострастья».

О первом варианте. Первый вариант, конечно, почти всегда — лучший и уж во всяком случае всегда — самый *честный*.

Первый вариант исправляется, потому что чувством жертвуешь ради мысли, а еще потому, что соблазняет звуковое, а еще потому, что настроенность сегодняшняя иная, чем настроенность вчерашняя и завтрашняя. Стихотворений оконченных навеки ни у кого не бывает, и тот вариант, напечатанный типографией, засеченный так — это лишь вариант удовлетворенности, а не оптимальный и другим и не может быть.

Ты не сердись на такое длинное письмо? Не сердись, мне очень, очень трудно. Не что-либо запутанное, личное решать мне трудно. Это — другое. Завтра я уеду в Тулу, а возвращаясь из Тулы, пошлю телеграмму на Потаповский, и, м<ожет> б<ыть>, ты сумеешь выбраться.

Крепко целую.

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

<24 мая 1956>

Люся, дорогая моя, это письмо ты, наверное, получишь уже после того, как мы свидимся. Письма никогда не попадают в строй жизни, в ритм ее своевременно (за исключением, кажется, писем самоубийц). В них всегда

чего-то не хватает, что-то в них опаздывает, но не в том дело. Ты спрашивала о моих планах и спрашивала не о том, о чем хотела спросить. И я тебе отвечал не то и не так, хотя и разумны вполне были и вопросы и ответы.

Мои планы, т. е. мои желания — это твои планы, и ты знаешь ведь это лучше меня. Ты знала это всю жизнь. Я же впервые за двадцать с лишком лет снова дышу свободно, радуюсь бессилию времени.

Я каждый вечер чуть не в слезах благодарю судьбу впервые в жизни, конечно, размышлял о ней осторожно, недоговоренно. Слишком много из того, что было и в этот мой приезд, переволновало меня до крайности, на дает спать и сейчас (и твой спешный приезд и «Ориноко»⁹), что ты говорила.

Мои планы, т. е. мои желания — видеть тебя, всегда. Я думал раньше, получив московские документы, уехать. Сейчас я не хочу уезжать.

И я хочу видеть тебя столько и до тех пор, пока ты захочешь меня видеть. Впрочем, мои планы — это твои планы.

Это — первое. Второе (бывшее до 7 апреля первым) — это то, что хочу провести еще одну, м<ожет> б<ыть>, последнюю кампанию. Я хочу написать свои сто рассказов о Севере. Я хочу подобрать книгу стихов — не сборник и собрание, а книгу, и еще многое думается, но — что Бог даст.

Твоя формула: рассказы не хорошие и не плохие, они просто странные, не устраивает. Горько и грозно то, что мне уже некогда учиться азам. Я двадцать лет жизни потратил на северные скитания. Багаж мой мал, случаен, я — недоучка, навечно, невежда. Значительность чисто случайна, о литературных достоинствах мне и думать нельзя. Но мне есть что сказать, и мне кажется, что на мир я гляжу своими глазами.

Житейски: я хочу получить право жить в Москве и жить в Москве. Помню, как мы с тобой ходили искать мне комнату ранней весной 1934-го. Мне помнится, ты была в своей шубке с заячьим воротником. Найти работу, прежде всего такую, на которой я мог бы не кривить душой или, по крайней мере, поменьше кривить душой, которая не утомляла бы меня безмерно, как нынешняя, которая давала бы спокойные часы для главной моей работы. Какова может быть такая работа? Где-нибудь в издательстве техническом или что-либо в этом роде.

Попробовать печататься. Рассказов подходящих у меня нет, и я разделяю мнение Гароди о том, что, если бы Галилей писал доносы, инквизиция к нему придиралась бы меньше. Значит — стихи. Вот когда ты все просмотришь и отметишь так, как я тебя просил — *по-серьезному, по-настоящему*. Я попрошу тебя о тех же тетрадках (это не займет много времени) — отметить 20—30 вещей, что можно было бы дать в альманах северный (на колымском материале), что у меня просят.

Что меня связывает из семейного. Ничего меня не связывает. Меня задерживает решение о праве вернуться в Москву. Прежде я хотел уехать (например, в Сухуми к сестре или куда-либо еще), но теперь хочу жить и работать в Москве. Я ничем не жертвую. Я давно не хочу жить у чужих людей, среди недоверия, враждебности и сожалений.

Я мог бы наладить эти отношения ценой лжи, но мне надоело лгать. Я дорого заплатил за цепь унижений и хочу дожить жизнь лучше, чем я ее жил. Вот я тебе пишу откровенно, прямо почти обо всех, кажется, моих «планах».

Будь здорова и счастлива, дорогая моя, родная моя.

Сердечный привет Ирине, Дмитрию, Мар. Ник.

Я все это думал сказать тебе, но когда и как? Мы так мало видимся.

В. Т. Шаламов — О. В. Ивинской

Туркмен, 24 мая.

Дорогая Люся.

Второе письмо за сегодняшний вечер. Я, право, уже полтора месяца только и делаю, что пишу тебе письма — отправляю и не отправляю — всякое. Первое сегодняшнее чуть-чуть не вышло в разряд неотправленных — но до каких же пор мы будем молчать?

«Лит<ературную> Москву» закончил пьесой Розова — плохая пьеса. Пьесы, наверное, писать очень трудно — труднее, чем повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу — в этом несвободном заданном жанре попробовать свои силы — освободить себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач.

Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ героев. Толстой упорно хотел быть драматургом и не получилось театра Толстого. Горький и сам понимал беспомощность своих пьес. В совершенстве знал, что такое пьеса, — Чехов. Знал и Андреев, только у него было больше таланта, чем сердца и ума.

Но тот, кто владел диалогом, как никто, у кого речь героя — это не только душевность и его физический портрет — у кого романы так похожи порой на пьесы — Достоевский — пьес не писал. И больше того, романы переделывал в пьесы несчетно — и всегда были хуже, бледнее в сотни раз. Почему? В чем тут дело? В каком-то необъяснимом совершенстве прозы, в неслучайности изложения, в отсутствии всего лишнего, в необходимости каждого слова. О периодах Достоевского, о якобы небрежной торопливости его пера писалось много — но попробуйте вынуть хоть одно слово — ткань будет зиять.

«Портрет» Шкловского — обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, проза должны прежде всего иметь *«познавательное» значение, а подтексты — это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих «безвыходных» рассказов им не найти — достоверность и бытовая и психологическая имеется в избытке.*

Лучшее поставленное в сборнике — это заметки о Шекспире, несмотря на их беглость. Когда-то, года два с лишним назад, говорил я Б<орису> Л<еонидовичу> о том особом значении, которое стихи его имели для многих людей на Севере, когда поэзия, которую обвиняли в изощренности и нарочитой туманности, вдруг оказалась единственной реальной силой, выступавшей прямо в условиях, где никто и насильно не мог бы вспомнить сочинителей «гражданской» поэзии. Мне показалось тогда, что Б<орис> Л<еонидович> отнесся с некоторым недоверием к моим словам (дескать, в лучшем случае на Шаламова они так действовали). Позднее я пытался закрепить в стихах одну из сторон значения его поэзии для меня на Севере. Но это совсем не только личное мое. Я помню ледяные камеры лагерных карцеров, выдолбленных в вулканических скалах, где раздетые до белья люди согревались в объятиях друг друга, сплетаясь в грязный клубок около остывшей железной печки, безнадежно упрямо трогая ее острые ребра, уже утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»: «Недра

шахт вдоль Нерчинского тракта». Это не я читал эти стихи, я их слушал. Их читал Александров, какой-то московский экономист. И пусть Цветаева столь пренебрежительно изволила высказаться о «Л<ейтенанте> Ш<мидте>» — это неверно, как неверны и ее замечания о «1905 годе» и море в «Морском мятеже», м<ожет> б<ыть> лучшее написанное о море. Я помню больничные койки, где матрасы были набиты сучьем стланика (вместо сена, которого и лошадям-то не хватало), костлявых людей на этих костлявых матрасах, где пролежни образовывались за сутки, людей с грязной шероховатой кожей, поблескивающей, как рыба чешуя, людей, благодаривших судьбу за то, что она позволяет им умереть не под сапогом конвоиров или палками смотрителей, людей, собравших последние силы, чтобы отключиться, оторваться от всего, что их окружает, чтобы эту дальность отрыва увеличить до предела — читая строки «Высокой болезни».

Я помню Мирру Варшавскую, несчастную девушку, которой только стихи Б<ориса> Л<еонидовича> (она возила с собой, пряча от бесконечных обысков «Второе рождение») дали душевные силы пережить весь ужас быта.

И я думал позже — вот где реальная сила искусства. Вот чем измеряется подлинность его — вот, к каким поэтическим знаменам обращается человек, презрев помощь Асеевых и Маяковских. Вот что в поэзии оказалось для нас самым дорогим, когда и думать о стихах нельзя было. И что такое роскошь и что такое черный хлеб искусства?

Мне оставалось только радоваться, что и я пил из того же источника. Когда-то Б<орис> Л<еонидович> переслал мне «рецензию» на его стихи в «Знамени». Это была забавная и грустная штука. Если это не было провокацией редакции, то горько было думать о том, как отучили людей от стихов. Но моя переписка говорила совсем другое, и я подобрал тогда два-три письма об этом же самом, в выборку из **моей** «редакционной почты», но все это не было тогда написано и послано.

И я думал о том, что я был бы бесконечно счастлив, и считал бы все мечты сбывшимися чудесным образом, если б мои стихи оказывали на тех людей в тех обстоятельствах те же действия. Стихи пришли к людям, конечно, не там, а гораздо раньше. Стихи были давно сложены, сохранены, и к их помощи обратились, доказывая

этим их удивительную животворящую силу. Вот это и есть то самое чудотворство, о котором написано в «Августе».

Я не могу, не умею писать письма, они затягиваются бесконечно.

Крепко целую, В.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Ивинская* Ольга Всеволодовна (1912—1995) — литератор, близкий друг Б. Пастернака.

² *Варшавская* Мирра Геннадьевна — работала в Центральной больнице для заключенных вместе с В. Т. Шаламовым.

³ *Цветаева* М. И. о поэме «Лейтенант Шмидт» см. примечания 17 к переписке с Б. Пастернаком.

⁴ *Ушаков* Николай Николаевич (1899—1973) — поэт, переводчик, эссеист.

⁵ Здесь и далее наброски тем для беседы — упоминается Леонид *Мартынов*, предсмертное желание М. Пришвина встретиться с Б. Пастернаком, роман Стефана Гейма «Крестonosцы», рассказ В. Шкловского «Портрет» и др.

⁶ *Емельянова* Ирина Ивановна — дочь О. В. Ивинской.

⁷ *Костко* Мария Николаевна — мать О. В. Ивинской

⁸ О статье М. И. Цветаевой см. примечание к переписке с Б. Пастернаком.

⁹ «Ориноко» — юношеское стихотворение В. Шаламова.

ПЕРЕПИСКА С Л. Ф. ВОЛКОВЫМ-ЛАННИТОМ

Л. Ф. Волков-Ланнит¹ — В. Т. Шаламову

9/III—56

Дорогой снабженец!

После ухода стало грустно. До чего жалки слова, когда их бросают впопыхах, из-за взаимного уважения к разлуке...

Хочу договорить, собравшись с мыслями.

Итак, обоим был досуг убедиться, что никакой компромисс не служит панацеей. Как же в таком случае достойно действовать остающуюся долю жизни?

Нас подстерегает общая опасность — потеря целеустремленности. Очень уж соблазнительны текущие ра-

дости бесконвойного существования — они отвлекают и отдаляют исполнение личного генерального плана.

Из всего доступного самое святое — творчество. (Если только предусматривать в нем полную свободу мышления.) Однако стоило ли так страдать, чтобы в результате обрести славу автора, имя которого — легион?

Разве тебя первого судьба не обязывает завершить подвиг более героический, чем изготовление рассказов и вынашивание трактата о ворах? Не обкрадываешь ли этим свою неспокойную совесть?

Кто же тогда лучше тебя расскажет о самой беспрецедентной трагедии века — о Голгофе миллионов? (Или эту честь уступишь разным Заславским?)

Нет, не смеешь ты хоронить вместе с собой ничего из того, что оглуленное человечество до сих пор не знает по-настоящему. Но знать должно.

Память — первая предательница. Посему торопись записать накопленное сердцем и глазами. Доверься бумаге без надежды на гонорар — это единственный способ написать блестяще и честно.

Время работает на уцелевших, и оно станет твоим навсегда благодарным читателем.

Не менее благодарный собеседник.

P. S. Отвечай!

В. Т. Шаламов — Л. Ф. Волкову-Ланниту

Туркмен, 13 апреля, 1956 г.

Дорогой, хороший мой Леонид.

Если бы я был помоложе — я бы обиделся на твое письмо. Но в наши годы, видимо, с вопросом «что» идет рядом «почему», и тогда прощаешь торопливость и горячность суждений друга. Впрочем, благодаря мотивировке на поспешность, мне ясно, а экспансивность, безусловно, привлекательна. Но все-таки как можно давать советы, не зная, чем я занимаюсь? Я привезу кое-что, и тогда мы потолкуем (в один из первомайских дней, по всей вероятности, если раньше — позвоню). Придется, к сожалению, начать со стихов, ибо «трактат» подвергнут тобой ироническому сомнению. Трактат же — одна из глав главной работы.

Дело, дорогой Леонид, в том, что именно вора́м, так называемым «друзьям народа», было доверено, именно доверено, физическое уничтожение «врагов» (в некото-

рой части). Им было поручено это кровавое дело, и они его охотно выполняли при полном попустительстве и одобрении начальства. К тому же без них нельзя понять лагерь. То растление души человека, которое суть главное в лагере «в отличие от тюрьмы». В чем отличие лагеря от тюрьмы, я тебе растолкую. Они различны в самой сути. Так что заранее пренебрежительно относиться к таким трактатам нельзя. Я ничего не хочу забывать и именно в этом вижу и свою судьбу! После стихов (которые, конечно, не бог весть какие, но все-таки это — стихи!), т. е. «накопленное сердцем», по твоему выражению, я познакомлю с рассказами, которые даже и не рассказы, а я сам не знаю что. А потом, если захочешь, их обсудим, «реализацию» всего этого дела (отнюдь не в гонорарном плане). У меня есть кое-какие соображения и желания по этому поводу. За то самое важное в человеке, что тебе диктовало это письмо, — спасибо. Я хотел бы только одного — дожить жизнь не главное, о чем надо думать. В 50 лет необходимо думать только об одном, как бы поменьше кривить душой. Это основное. И я бесконечно рад, что «желание достойно действовать в оставшуюся долю жизни», формулировка твоя ясна.

Пиши скорее и больше. Я так боюсь терять из своей жизни людей.

Л. Ф. Волков-Ланнит — В. Т. Шаламову

18-IV—56

Неистовый Варлам!

Хоть и оговариваешься, что не обиделся, но обида сквозит. Еще бы бородку клинышком и сойдешь за Дон Кихота.

Все верно (о ворах, растленных душах и пр.) и не подлежит сомнению, но все не о том...

Запиши себе! — вырвалась мольба, как резонанс после первой встречи. Человек ценен теперь лишь своей биографией. И она — лучшая из тем, ибо дает возможность писать о том, что волнует всех без исключения, — писать о том, что до сих пор стыдливо умалчивается.

Ты не Байрон, но ты Шаламов. Ты должен догадываться, что Маяковского читают пока за счет не снятой жизнью темы (бюрократизм, например). А вообще читают лишь басни и эпиграммы. Я тоже кропал стишки. То

была проверка интеллекта. К ней прибегают, когда сидят с отрезанными пуговицами и ждут приговора.

Допускаю и верю, что пишешь квалифицированные вещи (с удовольствием прочту).

Но зачем? Будет ли после их опубликования легче сотням тысяч твоих единомышленников?

Только этот вопрос я и посмел поставить перед тобой.

Я боюсь, что ты отказался от своего прошлого, признав его ребяческой игрой в политику, и предпочел остепениться, переключившись целиком на литературу.

Чтобы переписка не обратилась в словоблудие, надо встретиться где-то на рыбной ловле, если не в торфяном болоте.

Рыбы немы — это их большое преимущество перед людьми.

Леонид.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Волков-Ланнит* Леонид Филиппович (1903—1985) — журналист, историк фотоискусства, познакомился с В.Т. Шаламовым в кружке «Молодой ЛЕФ» в 1928 г. Был репрессирован.

ПЕРЕПИСКА С А.С. ЯРОЦКИМ

А.С. Яроцкий¹ — В.Т. Шаламову

2/V—56 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Прочел с радостью твое сердечное и теплое письмо и очень рад, что ты меня не забываешь.

Я пишу на «ты» потому, что считаю тебя близким по духу человеком, рад, что ты жив и дожил до хороших времен, когда наша страна начинает духовно обновляться и подул свежий ветер, который долетел и до особого района деятельности «Дальстроля».

Из наших общих знакомых реабилитированы: Заводник Я.Е.² (он работает в Москве начальником государственной хлебной инспекции), Рыжов, Исаев, Топорков, Лоскутов и многие другие.

До меня очередь пока не доходит, но я особенно не спешу, т. к. в партии мне восстанавливания не нужно, ибо

я в ней не состоял, а реабилитация в мое юридическое состояние ничего нового не вносит.

Напиши, как твои дела в этом плане!

На Колыме осталось жить 2 года, потом получу пенсию и уеду в какой-нибудь тихий угол, где смогу встретиться с тобой.

Нам нужно не терять связи, нужно подобрать 3—4 человек и написать коллективные воспоминания с посмертным опубликованием или без оногo, но труд сей нужно совершить: «да ведают потомки православные».

Ну об этом еще рано, ты помнишь последнюю фразу гр. А. К. Толстого в его «Истории России от Гостомысла до наших дней»³, вспомни!

Не узнал бы ты сейчас Колымы, нет больше «особого» колорита, лагерей почти нет, офицеров демобилизовали, вчерашние хозяева жизни работают на мелких хозработках, горное дело сильно свертывается, зато много уделяется внимания с/х и строительству Магадана, в городе новые автобусы, такси, хорошие рестораны и пр. блага культуры.

Одна амнистия следует за другой, много отпустили «власовцев», сейчас отпускают почти всех бендеровцев, ссылку ликвидировали, выслали очень много народа, но много и приезжает.

Дома у меня все нормально, дети растут и хорошо учатся, мы с женой стареем и глупеем.

Будешь в Москве, зайди к Заводнику, думаю, впрочем, что он тебя не узнает и не примет, он стал вельможей и забыл ключ «Дусканья» и лесозаготовки.

Жду писем, с товарищеским приветом,
Александр.

А. С. Яроцкий — В. Т. Шаламову

12/II—68

Дорогой Варлам!

Спасибо тебе за «Дорогу и судьбу».

Прочитал и вспомнил Колыму, особенно понравилось про стланик:

Он в землю вцепился руками,
Он ищет лишь каплю тепла.
И тычется в стынущий камень
Почти не живая игла.

И чудный оптимистический конец о людских надеждах и скорой весне.

Я тоже люблю природу и немало счастливых минут провел в тайге, вдали от безмерной человеческой подлости.

Хорошо ты пишешь и к хорошему зовешь, правда, словами протопопа Аввакума «о праве дышать», а это было и есть самое главное.

Своих сочинений, в моем окружении говорят — «трудов», не посылаю, т. к. это муть, скука и бизнес, а печатаю я довольно много.

Вспомнил я нашу долгую беседу на берегу Магаданки и въезде в город, и лесозаготовительную командировку.

Кстати, жив ли твой сподвижник по лесным делам — Заводник, развевается ли по московским бульварам его знаменитая борода?

Скоро буду в Москве и надеюсь встретиться.

Твой А. Яроцкий.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Яроцкий* Алексей Семенович был репрессирован, работал главным бухгалтером в Центральной больнице для заключенных. Упоминается в рассказе Шаламова «Путешествие на Олу». Оставил воспоминания.

² *Заводник* Яков Евсеевич — репрессирован в 1937 г. Упоминается в рассказе Шаламова «Яков Овсеевич Заводник».

³ «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева», стихотворная сатира А. К. Толстого.

ПЕРЕПИСКА С О. С. НЕКЛУДОВОЙ

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой¹

[1956]

Дорогая Ольга Сергеевна, письмо пришлось переписать, мы встретились раньше, чем я его отправил. Сердечно рад, что исчезло все дурное.

Только не надо никаких забот по моему адресу. Заботы — это тоже цепи, поверьте, — их носят легко только

в молодости. Притом я не ценю забот материального порядка: от крупных до мелких, ибо легко без них обходился всю жизнь и думаю обойтись и в дальнейшем. А самое угнетающее здесь то, что я знаю, что эти заботы принято ценить, по крайней мере, нравственно ценить, а я этого делать не могу, буду мучиться, подбирать <слова благодарности> и искать нужного поведения, все это буду делать против воли, и, кроме неприятного осадка, никогда тут ничего <не получается>.

Ваше сердечное ко мне отношение лестно для меня, равно как и Вам должно быть лестно мое доброе чувство к Вам, что Вы можете видеть из моего крайнего нежелания обострить и подчеркнуть что-либо досадное и дурное, что между нами вставало, не только по Вашей вине, но, может быть, и по моей.

Я не застенчив, и я вовсе не нравственен. Жизнь в этих отношениях, как и в прочих, прошла по мне своим тяжелым сапогом, тяжелым грязным сапогом. Но мне было неприятно, что Вы — человек по существу скорее хороший, чем плохой, — ничего жизни не можете предъявить, кроме каприза, принимающего чудовищные формы в смысле непреодолимости для самой себя, каприза, удешевленного собственной почти болезненной фантазией.

Я сам такой же комок нервов, и у меня, поверьте, больше оснований, чем у Вас, оправдывать для себя свою тревожную напряженность. Но я нашел в себе силы держать себя в руках.

Резко различны эти два мира мужчин и женщин. В любви я ищу прежде всего душевность, разумность, покой — восстанавливающий мои силы, а силы нужны. Все остальное — чепуха, от него можно удержаться, как бы это ни было трудно. Ведь ничего не изменилось, ничего не исправилось. Все осталось таким, как было, и старые обещания ждут. И я не вижу для себя права безусловно и безгранично пользоваться доверием и симпатией человека, который по непонятным для меня и вряд ли основательным причинам уверил себя в своей склонности ко мне, приписав мне несуществующие достоинства. Для меня мир вовсе не прост, и на запутанных дорогах жизни мне много помогли кое-какие правила, которым я следовал. Их не очень много, но они есть, и ими я дорожу. А конкретно говоря, я считаю, что такие отношения, если уж они возникают не в публичных домах, связаны с определенными обязательствами душев-

ного порядка. Обязательствами, на которые по отношению к Вам я никак не могу идти. Я успел сказать Вам о том, что Вы ошибаетесь в моих душевных достоинствах. Я, сколько могу судить при порядочном моем опыте, — не только не замечательный какой-нибудь, но совсем не тот, кого принято называть хорошим человеком.

Я бы не хотел, чтобы эти качества, а они непременно откроются при дальнейшем знакомстве, потом послужили причиной резких конфликтов и внутри, и вовне.

У меня очень мало развито чувство благодарности. Я даже стараюсь не встречаться с людьми, которые мне сделали что-либо хорошее (в материальном, конечно, смысле). Я достаточно щепетильный человек в таких делах и ухитрился прожить жизнь, не будучи ничего никогда никому должен. Не скажу, конечно, что все это так уж кристально, погрешностей и здесь было очень много, конечно, но я старался «придерживаться». Очень мало развито чувство дружбы. Я очень легко рву с людьми и, будучи вслед за Бернардом Шоу убежден, что люди не являются лучшей разновидностью живых существ, не очень даже мучаюсь при всяких разрывах и не очень грущу — разве что при разрывах с людьми, с которыми я связан особыми цепями.

Резко развито чувство справедливости и долга (как я сам понимаю), но это уж просто специфика биографии. Никогда я не чувствовал себя морально беспомощным, никогда и ни у кого не искал так называемой моральной поддержки. Это в быту тоже минус, а не плюс, ибо я и другим ничего обычно посоветовать не могу, — выходы, которые меня устраивают, не годятся в качестве совета другим людям.

Я не подлец, конечно, и не доносчик. Но ведь это негативная сторона дела. Активных добродетельных поступков у меня никаких нет, ибо укрепились негативные качества, а из позитивных ничего, кроме сомнительных поэтических способностей, не нужных людям, потому что другие писали и пишут в миллион раз лучше, нужнее, чем я.

Я не прямой человек, как это Вам ни покажется странным. Я готов согласиться на словах и все-таки сделать по-своему. В быту — это тоже неприятная вещь. Наконец, я не рассказчик, не разговорчив, замкнутый человек, ибо мои подлинные интересы очень-очень ограничены. То, что меня волнует, — узко (хотя, как мне кажется, глубоко), а все остальное я считаю десятым делом.

Наконец, я с трудом переношу общество чужих людей. Ничего нет мучительнее для меня ежедневных встреч с новыми, другими людьми. Присутствие любого нового человека за обеденным столом замыкает меня вовсе.

Ну, хватит.

Почему я Вам написал это большое письмо? У всех женщин, с которыми я сходил и расходился, есть одно общее — всегда инициатива ухода принадлежала мне.

Вы не очень хороший человек, но Вы душевный и несчастный человек, ищущий в жизни хорошего, и это очень важно. Я думаю, что такое письмо есть лучшее свидетельство моего расположения к Вам.

Я беру на себя смелость отступить от своих правил и дать Вам несколько простеньких советов: бросьте вовсе нембутал и все подобное дерьмо. Бросьте водку в любом ее виде. Займитесь как следует сыном — он очень хороший у Вас парень. И пишите «Ветер». Это не так мало, это целая программа. И выполнение ее удержит Вас от многих бытовых фантазий.

Я смотрел Вашу библиотеку, это не библиотека писателя, это библиотека грамотного конторщика. Читать нужно больше и не то. Не обижайтесь ни на мои советы, ни на замечания, ни на то, что я написал Вам эгоцентрическое по существу письмо — все о себе самом.

Желаю счастья.

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — О. С. Неклюдовой

Туркмен, 24 июля, 1956 г.

Дорогая Оля.

Твоя книга — превосходная книга². Я горжусь, что сохранил в себе способность читать, как обыкновенный читатель, т. е. не следя за композицией, сюжетом, особенностями языка, заставив волноваться только судьбой и думами героини и уважать автора, который дал мне все это забыть. Мне хотелось сделать тебе приятное и написать об этом сейчас же, не откладывая до субботы — сегодня выдалось свободное время и я с утра над «Ветром» — теперь уже вечер.

Кажется, II часть — гораздо значительнее и глубже первой. Все эти горести и боли какой-то частью пережиты, наверное, каждым и в душе каждого (а особенно ка-

ждой) не могут не встретить сочувственного понимания. Я думаю, что «Ветер» будет читаться так, как читают настоящие книги — с безыскусственным волнением, забывая о всякой познавательности. Познавательность вообще не является задачей литературы. Для этого существуют книги по истории, этнологические и этнографические очерки, описание путешествий. Что касается идей и задач литературы, с удовольствием развил бы эту мысль подробней — да боюсь, что ты опять напишешь, что это — для учениц VIII класса. (Хотя то, что я там писал, к сожалению, не объясняют и в литературных институтах.) Но это к слову, прости меня. Благодарю тебя за правдивость, за искренность, почти болезненную, за беспощадность, за ту душевную теплоту, которая пропитывает всю эту тревожную книгу. И знаешь, на месте Явронского, прочитав этот роман, я бы бросил все и вся и кинулся бы искать то большое и настоящее, что было около него. Не хочу сказать, что это входило в намерения автора — повторяю, я не потерял способности обыкновенного читателя.

Первая часть была сравнительно интересной, необычной для нашего времени книгой, которую, как я и говорил, совершенно искренне «можно было читать». Вторая часть — я ее еще не кончил, читаю на 245 странице — просто захотелось оторваться от чтения и написать — вовсе другое дело, куда более значительное.

Тяжело (все же закономерно в каком-то плане) видеть, как жизнь, с ее дутым хвастовством, с ее показными клятвами и самодовольством, бьет обо все углы такого хорошего человека, как Ада. Жизнь, которой оказались не нужны хорошие люди. Эта жизнь не на них держится. И даже не на их идеях (ибо бывают времена, когда люди не очень хороши. Они всегда нехороши, но хоть идеи-то хорошие — как во времена героев Омулевского³: «Шаг за шагом» — помнишь такую книжку).

И первосортный человеческий материал не находит применения в жизни. Это не Достоевский, нет. Это трагедия иного порядка, особенно выразительная на фоне всяких «Мать», на положительном полюсе, и с «Временами года» — на полюсе отрицательном.

Я не знаю, как пишутся книги от первого лица, но думаю, что это связано с гораздо большей затратой сердца и нервов. Это — гораздо ответственней, чем во всяком другом случае, как ни отделий себя от героя. Это не ро-

ман о несчастной любви, ибо и любовь-то, во-первых, счастливая, а во-вторых, несчастная любовь — это следствие, а не причина. Причина оценивается только той фальшивой монетой, которой платит жизнь за искренность. Я глубоко сожалею, что написал тебе то дурацкое письмо, на которое и получил ответ достойный.

Что хорошо в романе? — кроме главного, благодаря которому роман все равно бы жил, если бы прочих достоинств не было? Прежде всего — выразительность портретов.

В романе живет одно лицо, судьба которого всеми другими только оттеняется. И ты знаешь, что напомнил мне «Ветер»? Не какой-либо рассказ, роман или повесть, а пьесу одну, она в Камерном шла лет 30 назад — это «Машиналь»⁴ Софьи Тредуэлл. Это — страшная пьеса о судьбе одной женщины. Но в этой связи мы поговорим лично, не хочется сейчас терять нить разговора. Все портреты (включая даже летчика, увозящего Альбину) сделаны очень убедительно. Великолепны портреты Литсперовой, которой война принесла счастье, Лохматьева, старика сторожа, чистоплотных стариков — да все, все — ибо каждому найдена своя черточка.

Хороший, свежий, грамотный, без прикрас и словарных фокусов язык. Очень приятно, когда никаких языковых новшеств, никаких областных жаргонов не впирают в повесть, напряжение которой было бы только ослаблено подобными красотами.

Есть ряд находок великолепных, вроде ощущения Ады, когда ей менее страшно под открытым небом, чем под крышей дома. Это просто здорово. Не хуже и купанье (197 стр.), когда отплываешь от берега сквозь замасленную прибрежную воду на чистый простор середины реки, и многое другое.

Все стихи — хорошие и как-то на месте, как-то в ткани вещи: узор, отнюдь не порочащий ткань, как случилось со стихами Фейхтвангера в «Гойе», где они хоть и служат продолжением рассказа, но вовсе инородны. Привлечение стихов вовнутрь «Ветра» — удачная идея.

Я уже говорил тебе об изобразительной стороне дела. Все рисуется ясно, изящно и просто.

Вопросы?

1) Я не знаю, как пишутся романы. Важна ли там каждая фраза, каждое слово, как в коротком рассказе? Кстати, тайна, которая открывает подробное описание <выздоровления>?

2) Красят, т. е. изменяют наружность, одежду, физические облики. Красят ли душу? Или душа должна остаться подлинной?

3) Сторона показа быта, времени, единственным истолкователем которого является сама Ада — можно ли взваливать все на плечи одной героини?

4) Разве достаточно разговоров и дум об искусстве — ведь это профессия героини? — и каждый писатель, мне кажется, в подобных обстоятельствах не преминул бы изложить свое понимание искусства (вроде киплингеского «Свет погас...» и мн. др. примеров).

Конечно, на мой дилетантский взгляд надо избегать таких вещей, как «необыкновенно атласистая кожа героини» (стр. 21) или «мартовское небо, погруженное в задумчивость».

Много повторено в части хрупкости рук, ног Ады. Дважды в одних и тех же словах характеризуются мужчины.

Но все эти промахи — чепуха, пустяковое дело.

Главное в другом, и об этом я написал. Сейчас заканчиваю письмо, принимаюсь читать дальше.

Поздравляю тебя с хорошей настоящей книгой, жалею, что не знаю твоих ранних вещей, благодарю за то доброе волнение, которое роман сообщит, бесспорно, любому человеку, который дорожит в литературе не литературой, а жизнью.

Спасибо тебе, моя хорошая Оля, не сердись на меня.

Целую. В.

Прости за несвязность письма. Пишу торопясь, бегло.

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

24/VII—56 г.

Дорогой мой!

Еще 4 1/2 дня до твоего появления. Мученье!

Все клеточки моего существа пронизаны тобой. Вчера так и не работала, читала Жене главы по 3-й части, где о ней и о Леньке⁵. Ей понравилось. Она говорит, что все было именно так, как будто я это видела. Сейчас сяду работать, по рукописи своей соскучилась, настроение приподнятое.

Только тревога о тебе не покидает меня. Я хочу сказать тебе очень многое и повернуть все по-своему, как считаю необходимым и естественным, но боюсь, напуганная твоим письмом. Боюсь и того, что все, что было, в зна-

чительной степени плод моего воображения, т. е. ты не так любишь меня, как я тебя, и не чувствуешь меня такой близкой. Для меня же ты сейчас почти одно и то же, что Сережа. Роднее тебя никого нет, кроме него. Я лучше сама готова была бы ездить куда-то на машине и делать то, что ты делаешь, и шагать по 8 км и все прочее. Я люблю 2-й раз в жизни, не думала, что это возможно.

Люська⁶ сказала о нас Б<орису> Л<еонидовичу>. Он весьма доволен, поцеловал меня и говорил какие-то теплые слова. Ты на это не сердисься? Т. е. что она сказала. Я ее об этом не просила, но пусть он знает.

Тяни как-нибудь до отпуска, а там видно будет. Может быть, ты туда больше не вернешься. Мы найдем выход вопреки любым обстоятельствам, выход, чтобы быть вместе. В Сухуми ты не поедешь — было бы жестоко и неразумно оставить меня сейчас. Поедешь потом, когда все уладится. Напишешь сестре хорошее письмо о своих делах и, может быть, зимой съездишь. Мы поедем с тобой в Коктебель, в дом Волошина. Я возьму две путевки в Литфонде, они как раз сроком на твой отпуск. Там очень хорошо. Увидишь дом, где жил этот большой человек, хотя и не такой блестящий поэт, однако люди, знавшие его, говорят, что он был «явление». Ведь настоящая человечность, честность, мужество, чистота души — это тоже качества гения. Еще жива жена его, Мария Степановна. У меня есть от нее небольшой подарок — акварель Волошина, с ее надписью: «Милой О. С., горячей и колючей» и еще не помню что-то.

Там нам будет хорошо и уединенно. Комнаты, вернее коттеджи, отдельные. Пейзаж мне очень по душе — суровый, без зелени почти, но каких только цветов и оттенков не принимают скалы и камешки, которые выбрасывает море. Там могила Волошина, дорогу к которой знает местная собака Валет. Она проводила меня туда однажды, когда мне было очень тяжело и одиноко, я плакала всю дорогу, а собака бежала вперед, и, если я отставала, дожидалась меня. И на этой могиле я очень горячо помолилась о счастье и о «Ветре». Могила на вершине горы, на самом ветру. Это было место его последнего отдыха, где он делал привал, возвращаясь пешком из Феодосии домой. Мне хочется побывать с тобой там, где мне было и хорошо и тягостно от одиночества — правда, Сережа был со мной, но он все убегал, я его и не видела. Сейчас мы поедем вдвоем, Сережа будет уже учиться.

Правда ли это, что ты меня любишь? Возможно ли это?

По всем твоим делам: к Трениной, к Луговскому и к машинистке пойду завтра, т. е. в среду. Так договорились. Несколько смущает меня машинистка: не знаю, насколько она порядочный человек и можно ли давать ей твои стихи. Если бы в Москве была Мария Алексеевна⁷, которую ты у меня встречал, я отдала бы их ей без всякого смущения — ей можно доверять, она хорошая. Но она вернется только осенью. Если я не отдам стихи, — хоть бы посоветоваться раньше с тобой — ты рассердишься. Отдам — как бы не вышло неприятности. Я тебя немножко боюсь, ты ведь сердитый, но это тоже принадлежит к числу твоих достоинств. Со мной надо быть иногда сердитым.

Напиши мне, ты еще успеешь послать письмо до субботы, и если же оно придет позднее — не важно. Я тебя опять плохо проводила, заснула не вовремя, не покормила ужином. Хотела дать с собой бутерброды и забыла.

Я опять выпила больше, чем мне нужно. Я могу без вреда для себя и окружающих выпить не более 50 гр. водки, а я выпила около двухсот.

Но, надеюсь, я ничего плохого не делала.

Если ты меня любишь и хочешь любить — пусть *ничего* не стоит между нами, я принадлежу тебе со всем, что у меня есть, и даже Сережа тоже теперь принадлежит тебе. Его поразило то, что произошло, но сейчас он к этой мысли привык и, кажется, даже доволен. Относится к тебе с заботливой нежностью.

Целую тебя, родной мой, твоя О. Н.

Сережа говорит: «Если бы это был Д. С., для меня это было бы большое несчастье. Я этого очень боялся». А к тебе он хорошо относится.

Посвящается В. Шаламову

* * *

Страстотерпцы, возьмите свой посох и в путь.
Но куда же идти? И не просто уйти как-нибудь.
Надо факелы страсти какой-нибудь что ли с собой,
Отрешиться от власти, какую зовут суетой.
Ну, а если ты стар и бессилён остаться один?
Вы не общей дорогой пойдёте, отец и сын.
Ну, а если ты слеп, тебе нужен глухой поводырь:
Пара глаз на двоих, чтоб избежать пустынной воды.
И ушей хоть бы пара, чтоб слышать угрозы земли,

Когда вместе уснете в холодной дорожной пыли.
Чтоб увидеть рассвет мог хотя бы один из двоих,
Чтоб услышать твой голос, о Боже, когда ты окликнешь их.

О. Неклюдова
Экспромт

Я опять слоняюсь впотьмах —
Мне до утра добраться лень.
Разве не было их в руках, —
Лепестков, обещавших день?
Иль свою приняла я тень
За того, кто стоял в кустах?
Но рок беспощадно прав,
Лишая на счастье прав,
Тех, кто себя обобрав,
Полсотни напишет глав
Кто крик не мог заглушить
И, захлебываясь, впотьмах,
Как безумец и вертопрах,
Расточает дары души.

8/VII—56 г.

Ваша *О. Неклюдова*

P.S. Моя терраса всегда к Вашим услугам.

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

30/VII—56

Родной мой!

Вчера, проводив тебя, ужасно затосковала. Вернулась на дачу и так оказалось там пусто, потому что тебя нет дома. Ребята под окнами плясали под патефон, и мне хотелось забиться в какую-нибудь конуру, чтобы ничто внешнее меня не настигало.

Ни говорить о тебе всерьез с кем бы то ни было, ни показывать твои письма, верь мне, я не буду. Это было бы кощунственно, все равно, что молиться вслух. Ты, вероятно, даже на знаешь, насколько глубоко и серьезно то, что я чувствую. Я ничего не боюсь и никогда не оставлю тебя — ради чего-то большего, чем любовь к тебе. Я не хочу сказать, что люблю тебя мало, но не одного тебя я в тебе люблю — не знаю, как это лучше объяснить. Ни люди, ни судьба нас не разлучат — сейчас я в это поверила. Бывают такие редкие минуты озарения — я тебе, вспомни, говорила о них — когда ты не один, ко-

гда проникает тебя уверенность в милосердии Того, кто около тебя находится, и сомнения исчезают, и страх, и действуешь без колебаний, подчиняясь Его воле. И все будет благополучно, и ничего дурного с нами не случится, как вчера я это явственно почувствовала. Поверь в это и ты. Интуиция моя редко меня обманывает. Верь мне еще и потому, что есть у меня какие-то чувства, более сильные, чем страх за свой покой и благополучие. Ведь и благополучие, и покой мы с тобой одинаково понимаем. Ты так мне душевно близок, как редко может быть близок человек, и это большое счастье, что мы с тобой хоть поздно, но встретились. Я не вижу ничего, что могло бы стать между нами. Будь спокоен, любимый, помни и верь, что все будет хорошо, и жизнь твоя теперь будет совсем иная.

Недолго уже нам быть врозь. Когда я уже легла, явились мои подружки, весьма оживленные, хохочущие и очень друг другом довольные. Принялись ругать меня за грибы. Женя говорила, что я смертельно обидела Сережу и их тоже, сказав: «Нечего вам чистить грибы, не вы будете их есть». Я не помню, что я это сказала, но хотя весьма возможно. Со мною часто теперь бывает, что я забываю, что говорю, и многого за собой не замечаю. Женька сделала вид, что серьезно обеспокоена состоянием моих умственных способностей. Сказала, что Люся тоже плакала от обиды на меня.

Потом мы помирились. На этот раз они меня не огорчили, потому что я все еще находилась под впечатлением той минуты, которую только что пережила, и все, что они говорили, не давая мне рта открыть в свое оправдание, показалось мне таким вздором — «жизни мышья беготня».

Люську я при всем при том люблю, а к Жене чувствую отвращение, потому что в жизни своей она ни одного искреннего слова не сказала. Мне противен ее смех, ее голос, ее взгляд, то злой, то лицемерно добродетельный. Даже ее нос и пальто. А Люська человек легкий. В этом ее и достоинство и недостаток. Бог с ними.

Я не буду любить тебя меньше, чем сейчас, а, вероятно, все больше и больше. И я, в свою очередь, в твоей любви чувствую большую опору. Сейчас поеду в Москву и пойду по всем твоим делам. Вернусь во вторник вечером и тотчас же напишу тебе, но письмо, очевидно, будет отправлено в среду, когда Сережа поедет в Москву. А это письмо отправлю сегодня. Чувствую, что скоро судьба твоя разрешится благополучно.

Целую тебя крепко, твоя Оля.

Р. С. Видела во сне Женьку, которая была у нас <у> меня <ночью> и кричала, что за мной бежит «белое привидение». И это был мой халат.

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

<11.08.62> — по почтовому штемпелю

Милый мой, маленький, дорогой Варлашенька, сейчас только получила твое письмецо. Я тоже 5-го отправила тебе письмо, но боюсь, что и оно где-то гуляет, потому что, как Сережа сказал, изменился номер нашего почтового отделения. Ему сказали в военкомате, когда он менял военный билет. Узнай на почте, так ли это. Я пишу пока на старь, т. к. не знаю нового номера. Выясни обязательно и сообщи. Скоро, голубчик, мы уже вернемся. Завтра заказываем билеты. Здесь неплохо, но нестерпимо жарко. Вечером и утром ничего, а с 12 ч до 5 доходит до 40°. Вода совсем теплая. Я все-таки понемногу пишу, когда спадает жара. Иначе умрешь со скуки.

Курим мы гораздо меньше, чем в Москве, — тоже от жары. Здесь вся «знать», как я тебе уже писала, но мы буквально ни с кем не разговариваем и очень немногие с нами здороваются. Я перестала этим огорчаться и даже чувствую некоторую гордость от своей полной независимости. Душа с них вон. Тут и Мартынов. Была очень смешная сцена, когда он в столовой увидел Твардовского и, как-то странно подпрыгнув, с застывшей улыбкой на лице, с подобострастием ему поклонился. Со мною он долго не здоровался, но однажды вдруг начал пристально и с удивлением меня разглядывать, должно быть, лицо мое показалось ему знакомым. Тогда я его окликнула и обругала. Божился, что не узнал.

Впрочем, мне показалось, что и после этой беседы он меня не знал и остался в недоумении. Разговариваем мы только с соседями по столу — горьковчанами — да с дочкой Тушиновой⁸, которая живет здесь без путевки, в лагере туристов. Она выглядит таким несчастным, покинутым ребенком, что мы ее пожалели. Представляешь, в этом адском зное жить в палатке да еще втроем. Говорит, совсем дышать нечем.

Кормят хорошо. Событий никаких не происходит. Сережа скучает и по утрам от жары мы ссоримся. Покупаем раза по 4 в день — иначе невозможно вынести зноя. Уборная за полкилометра от нашего жилища, там

же и умывальник. Пока дойдешь, можно схватить солнечный удар. Нет, Коктебель уже не тот. В Гаграх было много лучше. И мне наука — летом на юг не ездить. Уехала бы раньше, оставив Сережу, но безнадежно трудно с билетами. Нам будут их заказывать за 18 дней. Я очень о тебе тревожусь и скучаю. Не сиди слишком много дома, ходи в кино или гуляй.

Хотя свиньи, никто не заглянет! Я бы приехала, Варлаша, хоть завтра. Мне тут мучительно, жара просто убивает. Но нет никакой возможности достать билет. Потерпи, мой родной, я теперь очень нескоро куда-нибудь поеду. Ведь я поехала только потому, что без меня Сереже не дали бы путевки.

Крепко целую, привет от Сережи. 1962 г. 10/VIII, Оля.

Не горюй насчет «Бивня» и других вещей. Поверь мне, все будет напечатано. Конечно, главная причина в том, что мы с тобой не умеем <«рисулониваться»>. Кажется, Л-кий р-н, п/о А-284.

О. С. Неклюдова — В. Т. Шаламову

19/IX 63 г.

Дорогой Варлаша!

Письмо твое получила только что (вечером) и тороплюсь ответить, чтобы оно пришло к тебе с субботней почтой.

Фогельсону⁹ звонила в среду. Б.П.¹⁰ еще не вернул книгу. Должен принести завтра (в пятницу). Фог<ельсон> надеется сдать ее в тот же день, Г. К<арпов>¹¹ хочет уйти в отпуск. С понедельника (23-го). Завтра вечером я буду ему звонить и тотчас отпишу тебе о результатах. Муха¹² первые два дня тревожилась, все спрашивала о тебе. Я ей все объяснила, и она успокоилась. Много бывает дома и все больше у меня на коленях (иногда у Сережи). Рационально довольна, Сережа купил трески и мяса. Ест хорошо. Я даю ей еще сгущенное молоко с горячей водой и капельку кофе. Ей этот напиток нравится.

Первую ночь она проспала со мной и никуда не уходила и сейчас сидит около меня. Очень ласковая. Объяснила мне, зачем она ходит на чердак: там спит Рыжий. Или она беспокоится, что он живет в плохих условиях, и просила помочь, или хотела объяснить, зачем туда ходит. Дружба у них интеллектуальная, без секса.

Рыжий ходит подкармливаться, чувствует себя как дома («Здравствуй, здравствуй, милый зять»). Мелипролин мне помогает, настроение ничего себе. Мы с Сергеей во вторник убрали всю квартиру, стала как стеклышко. Очень хочется выбросить твой диван и купить тебе новый. В этом такая уйма пыли, надо будет это сделать, когда ты приедешь. Его и перетягивать не стоит, он такой громоздкий, занимает всю комнату.

Мои дела пока в прежнем состоянии.

Когда мы вернулись с вокзала, оба почувствовали, как тебя нам недостает. Пустой без тебя дом.

В тот же день звонил твой знакомый, приятель А<лександр> И<саевич>¹³ и сказал, что Н<аталья> А<лексеевна> ушиблась в субботу. Я боялась, что она тебя не встретит и как ты доберешься.

Как перенес дорогу? Где берешь продукты? Кастрюли и проч<ую> посуду?

Я рада, что ты на воздухе, поживи там подольше, пока хорошая погода. Если пишется — хорошо, а нет — не старайся, не принуждай себя. Здесь будешь работать.

Пришло письмо от какого-то графомана, я его не вскрывала, положила с газетами. Звонил какой-то Вл. Вениаминович (или Вадимович), спрашивал, нет ли у тебя адреса какой-то дамы — помню только отчество: Арнольдовна. В записной книжке не оказалось. Больше ничего не произошло.

Вчера была Г<алина> М<ихайловна>¹⁴, сегодня Туся¹⁵. В<ера> Н<иколаевна> работает, хотя состояние ее ухудшается, но она держится очень бодро и не подает вида. Зинаида Алексеевна¹⁶ шлет тебе привет, просит передать, что Муха в полном порядке.

Все с большим интересом читают «инструкцию».

Целую тебя крепко, любимый мой, Варлашенька.

Передай привет А<лександру> И<саевичу> и Н<аталье> А<лексеевне>.

Сережа тоже шлет тебе привет и пожелание хорошенько отдохнуть.

Твоя О. Н.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Неклюдова Ольга Сергеевна (1909—1989) — писательница, вторая жена В. Т. Шаламова (1956—1965), ее сын Неклюдов Сергей Юрьевич — филолог.

² Роман О.С. Неклюдовой «Ветер срывает вывески» не опубликован.

³ *Омулевский* (настоящая фамилия Федоров) Иннокентий Васильевич (1836—1883/84) — биографический роман «Шаг за шагом».

⁴ Спектакль Камерного театра по пьесе Софьи Тредуэлл «Машиналь» (1933).

⁵ Женя и Ленка — Онучина Евгения Николаевна — драматург, очеркист; Мартынов Леонид Николаевич — поэт.

⁶ *Ивинская* Ольга Всеволодовна.

⁷ Мария Алексеевна — знакомая О. Неклюдовой, машинистка.

⁸ *Тушинова* Вероника Михайловна (1915—1965) — поэтесса.

⁹ *Фогельсон* Виктор Сергеевич (ум. 1994 г.) — редактор всех пяти прижизненных стихотворных сборников В.Т. Шаламова, вышедших в «Советском писателе».

¹⁰ *Полевой* Борис Николаевич (1908—1981) — гл. редактор «Юности», часто содействовавший публикациям В.Т. Шаламова.

¹¹ *Г. Карпов* — сотрудник издательства «Советский писатель», в деле № 1376, оп. 21, ф. 1 книги «Московские облака», начатой в феврале 1968 г. и законченной 10 апреля 1972 г., оставили след многие лица: В. Фогельсон (редактор), О. Дмитриев и Л. Озеров (рецензенты), имеется виза Г. Карпова на заключении В. Фогельсона.

¹² Муха — любимая кошка В.Т. Шаламова.

¹³ *Солженицын* Александр Исаевич и Решетовская Наталья Алексеевна, у которых в Солотче гостил в то время два дня В.Т. Шаламов.

¹⁴ *Гагаева* Галина Михайловна — известный ученый-психолог.

¹⁵ *Зеленина* Наталья Юрьевна (1929—2002) — архивист; *Клюева* Вера Николаевна (1894—1964) — ее мать, филолог и поэт.

¹⁶ *Зинаида Алексеевна* — теща В.Ф. Асмуса, соседка по квартире.

ПЕРЕПИСКА С О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ

В. Т. Шаламов — О. Ф. Берггольц

Многоуважаемая Ольга Федоровна.

Нынешним летом, у Б.Л. Пастернака, Вы предложили мне прислать Вам кое-какие мои стихи. Сейчас я

вернулся в Москву после реабилитации и посылаю Вам несколько стихотворений. Если стихи интересуют Вас, то с великим удовольствием пошлю и еще. Могут ли они быть напечатаны в Ленинграде? И где?

Может быть, стихотворения, которые Вы найдете заслуживающими внимания, Вы и передадите в какой-либо из ленинградских журналов? Если это сделать затруднительно, то просто ответьте мне — я перешлю сам.

Часть моих стихов будет напечатана в «Знамени» и в «Октябре».

Сердечный Вам привет.

В.

Дорогая Оля!

Жаль, что летом в Переделкино мы так с Вами и не увиделись. Иногда мне очень хочется с Вами поговорить. Присоединяюсь к просьбе Варлама Тихоновича. Помогите ему, если стихи его Вам понравятся¹.

С уважением О. Неклюдова.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ответ О. Ф. Берггольц не сохранился.

ПЕРЕПИСКА С Ф. Е. ЛОСКУТОВЫМ

Ф. Е. Лоскутов¹ — В. Т. Шаламову

7 октября, 1956 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Получил Ваше письмо и все время собирался писать, но как-то так, что все были «дела». В связи с призывной комиссией все было некогда. Побывал в некоторых районах Магаданской области, встречал некоторых старых знакомых — в том числе Замяткина, Вы его, вероятно, помните по арии Е. Онегина на 23-м километре. Он работает в Новом Сеймчане в ГРУ² с приличным окладом. Обзавелся семьей, там же, в Новом Сеймчане, видел Ковалеву — жену Каминского, которого посмертно реабилитировали. 30 сентября 56-го года был в однодневном доме отдыха на 23 километре. Заходил в тот барак, где

Вы и я работали и где у меня, а также у Вас появились объекты любви. Как жаль даже тех прошедших кошмарных лет. Место там стало неузнаваемое, разрослись молодые деревья, поставлены статуи «богов», сделаны фонтаны, купальный бассейн, бараки перестроены, имеют вид отдельных коттеджей, через реку переброшен ажурный мост. Кладбище второе, которое было выше больницы, выровнены могилы, «и никто не узнает могилку мою». Но первое кладбище, не доезжая, направо, до больницы — могилы заметны, а дорога, которая идет на кладбище, и до сего времени не заросла, старожилы это место называют «садик Иосифа». Старых нам знакомых два человека — Лурье, который был на дровзаготовках, работает зав. пригородным хозяйством, и Ральф, который работал рентгенотехником, работает там же электромонтером. Там имеется небольшой женский лагерь на человек 100—150 и детдом детей з<аключенных>, тоже человек на 100. Я там походил около речки, где когда-то ловил рыбу. Уезжал с 23-го с большой грустью и какой-то тоской, но в те времена 23-й километр был большой отдушиной для нашего брата.

Лето в этом году на Колыме неурожайное. Рыбы много, снабжение немного хуже прошлогоднего года. Кундуш получил реабилитацию и 1 октября 56 г. уехал в Ленинград. Посталь, кстати, не реабилитирован. Заводник Яков Евсеевич — зам. министра торговли. Москва, ул. Разина, д. 26, телефон К-2-68-47, К-2-67-39.

Герасименко не достал, когда ездил по району, достал два альманаха «На Севере Дальнем», других пока нет. Иногда продают приличные книжки. Но за этими книгами всегда очередь, а мне нет время за ними стоять, а шелуху не стоит брать. Вы мне намекнули, что возвращаетесь в литературное лоно — буду очень рад Вашим успехам. Посылаю Вам наметку на литературную тему: «Вор проиграл в карты глаза. Засыпал в глаза химический карандаш и не обращался за медпомощью до тех пор, пока не ослеп». Тема эта, мне кажется, оригинальная, и если она, возможно, Вам понравится, то психологическую сторону Вы доведете до большой остроты, как в современном обществе могут быть люди и целые коллективы, которые так «легко» решаются на такой поступок, поступок ослепления. Я знаю, что автор может брать сам тему, а не тему, подсказанную слева. Я могу этого инвалида расспросить о его социальном происхождении, его бытие и некоторые подробности его игры в карты, его

воровской профиль и его групповую принадлежность: вор, сука, беспредельщик, махровый и т. д.

Получил от Д<обровольского> Аркадия письмо, в котором он мне сообщил, что ребята кое-что пишут, но пишут не с большой серьезностью, а так, на рынок, чтобы подработать 100—150—200 рублей — ребятишкам на молочишко, а для большой работы нет бытовых и материальных условий. Сам он, как Вы помните, я кажется, послал Вам газету, какой-то обещал киносценарий для детей. Но о нем что-то в письме мне не упомянул. «Богатая невеста» и «Золотое озеро» — это Добровольского или других авторов?

Помните Вы поэта Петрова, который лежал у Топоркова, он из лагеря в прошлом году сбежал и, наверное, был арестован. Прислал письмо, что возвращается домой, все благополучно — вероятно, реабилитирован. Португалов немного пописывает стихи для газеты. Но материальная сторона его не очень хороша. Ко мне приезжала в гости моя дочь из Одессы. Перешла на 4-й курс медфака. У меня были кое-какие сбережения, но с приездом дочери, как раньше говорили, вылетел в трубу. А приехать нужно было. Нужно как-то сконтактироваться. Я ее видел, когда ей был один год. Сверх ожидания оказалась толковой девчонкой.

Живу и работаю в тех же условиях, что и раньше. Миля учится на двухгодичных курсах медсестер.

Жму крепко. Желая успеха и здоровья. Пишите при возможности.

Ф. Лоскутов.

Ф. Е. Лоскутов — В. Т. Шаламову

<1958>

Дорогой Варлам Тихонович!

Получил Ваше письмо и очень огорчен затяжными явлениями преуспевающей болезни Меньера к Вам. Причины этого синдрома пока еще достаточно не изучены. Многие считают, что в основе болезни Меньера имеется: 1) нарушение водного обмена; 2) аномалия развития кровеносной системы; 3) неврит слухового нерва; 4) раздражение симпатической системы; 5) гемодинамические сдвиги в центральной нервной системе; 6) взаимоотношение между кровоснабжением и режимом в лабиринте в смысле оттока и т. д.

При высоких полетах иногда у летчиков наступает глухота — перестают слышать стук мотора — на почве кислородного голодания, и когда подключают кислородный баллон, то снова слушают мотор.

Поэтому назначение Циммермана было направлено на деградацию подбором диеты. Насыщение организма кислородом — форточку, Medinal как снотворное и успокаивающее, Atropini как расширяющее сосуды с тонизирующими веществами вроде Coffeini и Pyramidoni, как противоприступное, болеутоляющее и уменьшает проницаемость капилляров, повышает их устойчивость и предупреждает развитие воспалительной реакции. Он так же запретил Вам курево, чтобы уменьшить интоксикацию. Основные этиологические моменты он не определил, а поэтому и терапия осталась несколько обширная.

Лично я бы пошел по следующим направлениям:

1) усилить тонус организма, 2) трансфузии крови 100—150 см³ — 3—4 раза, 3) насыщение витаминами (никотиновой, группой В и В¹, аскорбинкой и т. д. до рыбьего жира), 4) общий кварц, 5) внутривенно глюкоза по 20,0 № 10, 6) Sol № Chloroti 10% Ster по 10,0 через день и удобоваримая диета.

Но да пошлет Аллах, что Вы уже здоровы, и мой совет пусть будет запоздалым.

В Москву к Вам не зашел, уехал в деревню, а дядьке поручил взять билет на 10/II, но из деревни, благодаря снегопаду и метели, еле выбрался. 9-го приехал, а 10/II уехал с Ярославского вокзала поездом на Хабаровск. С Хабаровска летел до Магадана, в общем, все благополучно. Стал работать вместо с 3/III—58 с 25/II—58 в больнице. Снабжение в этом году в Магадане весьма хорошее — московское. Валентина не видел. На 4-м не был, я там не стал консультантом, может, буду. Лилю видел, приезжала из Ягодного.

Погода стоит морозная — 25°, но тихо и много солнца. М. И. устроилась в инф<екционное> дет<ское> отд<еление>.

Альманах рассылаю № 6. Книгу Герасименко³ пощучу. Не возьметесь ли Хорошеву отредактировать с Ольгой Сергеевной книжку переливания крови с хорошей вступительной шапкой? Я ему скажу, но о цене с ним нужно договариваться — он скуповатый. За первое издание получил 8000 руб., но это пока проблематично.

Если будет время, то посылаю Вам тему.

Ложь матери.

Отец в 1937 году, толковый, трудолюбивый, здоровый человек, не кулак, имел 7 десятин земли, 2 коня и 2 коровы, но колхозники прислушивались к нему. Был «раскулачен» и направлен на дроволесозаготовки на Урал и там умер. У жены осталось две дочери и сын Николай. Сын рос, учился в школе, и мать ему говорила: «Тебя свой народ, своя власть, как и мать, накажет и пожалеет, а поэтому люби и защищай свою родину». И сын рос и вырос патриотом, и когда пришли немцы, стал заместителем начальника партизанского отряда. На реке Десне, недалеко от гор. Ельня. (На Десне около двух месяцев стоял фронт со значительным насыщением немецкими войсками.) Николаю, голодному, обессиленному, поручили произвести разведку, он пошел на разведку и был захвачен полицейским, от которого он бы и вырвался, и когда он возился с полицейским, то дядя полицейского — старик, который еще жив, ударил Николая колом, тот свалился с ног и тогда полицейский ножом нанес Николаю в грудь удар. Николая полицейский и его дядя затащили в воронку от снаряда, прикинули землей. Мать узнала, что сын убит, пошла просить пропуск у немецкого, для похорон сына на кладбище, коменданта и попросила русского из соседней деревни парня, который служил полицейским у немцев, помочь достать пропуск. Тот, зная Николая, согласился вместе с матерью Николая сходить в комендатуру. Когда пришли к немецкому коменданту, мать Николая сказала, как убитая горем и женщина из деревни. Мол, дайте пропуск, моего сына-партизана убил полицейский, похоронить его на кладбище. Комендант, немецкий полковник, не знал по-русски и пригласил переводчика. Но полицейский, пришедший с матерью Николая, знал несколько по-немецки, и говорит матери Николая: «Молчи, тетка. Я буду говорить. Господин полковник, этой женщины Сталин сослал мужа в Сибирь, и он там умер, а сына убили партизаны». Немецкий полковник вызвал писаря и тут же написал пропуск. Мать с другими женщинами вырыла Николая из земли, привезла Николая на кладбище, где уже была однодеревенцами вырыта могила. Немецкий комендант, он же и полковник артполка, приказал произвести салют из одной батареи, и полк поднял ружья на караул. Там же были однодеревенцы из соседних деревень, люди рыли окопы

немцам и никто не сказал немцам, что они хоронят партизана с салютом.

Сердечный привет мой и Мили Вам и Вашему семейству.

Ф. Л.

В. Т. Шаламов — Ф. Е. Лоскутову

17 дек., 1964 г.

Дорогой Федор Ефимович!

Я прошу Вас найти время, чтобы ответить мне на несколько вопросов. Я начал работу над рассказом о Вас и так как это рассказ, а не очерк — мне в Вашем ответе важна побудительная «мотивация», что ли, психологическая сторона дела, а не хронология и т. д.

Вопросов у меня много и прошу Вас писать ответ на них не кратко, а подробно.

Вопрос 1. Как рождалась, как продумывалась для Вас самого Ваша главная жизненная идея — «активная помощь ближнему» — так пока ее назовем. Примеры, и кто или сама жизнь продиктовала поведение. Тут нужно очень, очень подробно, с примерами, свою жизнь вспомнить придется.

Вопрос 2. Был ли случай разочарования в помощи и случай «отдачи», когда хороший поступок вызывал цепную реакцию хорошим же поступком. Или все это не было важно.

Вопрос 3. Лоскутов и блатари. Прошу честно изложить то, что Вы думаете по этому поводу.

Вопрос 4. Лоскутов и больные з<аключен>. Чем долг врача, лечащего з<аключенного>, отличается от долга врача обыкновенного. И есть ли разница в долге врача в<ольнонаемного>, лечащего в<ольнонаемных>, и долге врача з<аключенного>, лечащего з<аключенных>.

Вопрос 5. Ваше отношение к женщине.

Вопрос 5. Какие люди Вам нравятся: смелые, хитрые, умные, образованные, храбрые и т. д.

Вопрос 9. Лоскутов и больные в/н (вольнонаемные).

Вопрос 10. Лоскутов и подарки благодарности, которых Вам, я знаю, было очень много. Подробней и без мнимой скромности — как это все раздавалось.

Вопрос 11. Лоскутов и карьера. Личная карьера.

Вопрос 12. Лоскутов и начальство тогдашнее в лице доктора Доктора и подобной же сволочи.

Вопрос 13. Лагерное «дело» Лоскутова. Здесь нужно поподробней, действия уполномоченных — суть «обвинения», наглость и точная хронология (здесь надо).

Вопрос 14. Лоскутов и долг.

Вопрос 15. Одна из главных черт Вашего характера — умение думать за других. Черта редчайшая. Нельзя ли несколько примеров. Хотя, разумеется, у меня такие примеры из Вашей жизни есть.

Вопрос 16. Лоскутов и деньги.

Вопрос 17. Лоскутов и религия.

Вопрос 18. Лоскутов и врачи-товарищи.

Вопрос 19. Лоскутов и самообразование.

Вопрос 20. Лоскутов и литература.

Вкусы. Писатели, поэты. Только просто и прямо. Тут вам не нужно выступать литературным учителем. Литература для Вас, а не Вы для литературы.

Вопрос 21. Мы никогда с Вами не говорили о музыке, живописи. Какие тут у Вас соображения.

Вопрос 22. Лоскутов и газета. Информация.

Вопрос 23. Лоскутов и политика — в смысле интереса, а не смысле того расширительного толкования, которое против.

Вопрос 24. Лоскутов и его корреспонденты. С кем Вы переписываетесь. Кто Вам отвечает и что это за люди.

Я прошу Вас не бояться и ответить на все, возможно, еще ряд и мелочей и большего много упущено, исправьте.

Миле привет.

Если напишете ответ на 1—2 вопроса — запечатайте в конверт и посылайте. Остальные после дошлете, частями. Порядок вопросов безразличен.

Ф. Е. Лоскутов — В. Т. Шаламову

Прежде чем писать о рождении идеи, я сообщу, как я сам родился.

Родился я в XIX веке в деревне Липовка, на берегу реки Десны, Трояновской волости, Рославльского уезда, Смоленской губернии, в семье, для деревни, не бедной. Отец мой умер, когда мне было три года, а сестре моей один год. Я едва помню смерть отца, похороны. Семья, в которой жил я и моя мать, фанатической религиозностью не была одержима, но праздники и обряды религиозные выполняли.

С детства нас приучали к деревенскому труду. 7 лет я умел плести лапти и обувал себя, сестру и мать, а иногда и бабушку. В семье матери иногда говорили, что мы работаем и кормим твоих детей. Я к этим замечаниям был очень чувствительный и решил, чтобы меня никто не кормил, после окончания сельской школы, уехать на лучшие заработки в Москву. В 7 лет я заболел гнойным плевритом, и мать дала Богу обет, что, если я выздоровлю, она меня сводит пешком в монастырь под Калугой, Тихонову пустынь. Когда мне было 10 лет, мы ходили туда пешком, просясь на ночлег у кого попало по деревням.

В монастыре меня все новое, невиданное интересовало, а самое главное — святой песок, который насыпают в дупло дуба каждую ночь (по преданию Св. Тихон жил в этом громадном дубе), а за день верующие разносили по мешочкам и узелкам святой песок. Я там рассмотрел: и монахов, и прачек многодетных, стирающих на монахию братию...

В 1910 г. 13 лет из деревни я уехал в Москву, где были наши однодеревенцы. Мои земляки меня приютили у себя. Нашел я работу посудомоя в ресторане «Мартьянович» (в помещении нынешнего универмага на Красной площади), работал учеником фруктового отделения фабрики «Рэноме» на Долгоруковской ул., а потом в конторе Ивана Коновалова, посыльным и рабочим-сортировщиком на складе на Старой площади «Боярский двор».

В 1914 г. с фирмой ездил на Нижегородскую ярмарку. Учился: курсы для рабочих на Пречистенской улице, на счетоводских курсах, убирал квартиру у двух студентов-поповичей, одного химика, который потом стал профессором, и одного филолога, они меня за это около 3-х лет учили в пределах ремесленного училища того времени.

Жил я в Москве: 1) за Тверской заставой, рядом с фабрикой табачной «Габой», 2) на Новолесной; 3) на Лесной и угол Долгоруковской напротив Бутырской тюрьмы, 4) на Цветном бульваре рядом с цирком, где по вечерам бегал метать ножи и кое-что успел в этой области и 5) в Мертвом переулке.

Квартиры менял: то жильцы воры, то пьяницы, а также в связи с переменой рабочего места.

В 1916 г. в мае месяце досрочно принят (призван) в Старую армию в 93 ст. пех. запасный полк на Ходынке. В августе с маршевым батальоном был направлен в

г. Карачев, для направления в 19 пех. дивизию на западном фронте.

На фронт не попал, а из Карачева меня направили в гор. Смоленск на курсы ротных фельдшеров на 6 месяцев, по окончании которых попал в Санитарный поезд 136, приписанный к Вяземскому эвакуационному пункту. Поезд возил раненых с фронта по мере надобности в другие города, в Москву, Петроград. В дни октябрьской революции я был в Москве: поезд стоял недалеко от Марьиной рощи, бывал я в Петрограде, был в Костроме, Ярославле. Из Ярославля был демобилизован. 1918-й, лето жил и работал в деревне, где мать моя очень хотела меня женить. В сентябре 1918 г. был мобилизован в Красную Армию и попал в Москву в Красные казармы.

В октябре с полком из железнодорожников в качестве фельдшера отправлен под ст. Давыдовка, где имели несколько неудачных боев. Наш 37 пех. полк входил в 16 пехотную дивизию 8 армии. Там я заболел тифами: сыпным, возвратным и брюшным и очутился на ст. Чертково, какие за это время приходили и уходили власти, не знаю.

После выздоровления от тифов был направлен в 1920 г. в 93 кав. полк 16 кав. дивизии, фельдшером. Брали Ростов-на-Дону, ст. Батайскую, станицы на Дону и Кубани, Новороссийск, Анапу. Приписывали нашу часть: к IX и X армии, к корпусу Жлобы, а потом была создана Вторая Конная армия под командованием Батракова, а потом полковника Миронова, бывшего станичного атамана.

Переправлялись <через> Днепр у гор. Никополь, брали Перекоп, Крым. Гонялись за Махно. Были в 20-м году направлены пешим маршем через Ростов, Кубань для поддержки закавказских рабочих против «закавказских контрреволюционеров», засевших в закавказском Федеративном правительстве.

Вблизи немецкой колонии у ст. Невинномысская я был при учебе случайно ранен и контужен разорвавшимся снарядом, после чего целый месяц во Владикавказе ничего не понимал, появилась Джексоновская эпилепсия. Был демобилизован и уволен как негодный к военной службе со <снятием> с воинского учета в 1920 г.

В партию я поступил во время парт. недели в 1917 г. в [нрзб]. В 1920 г. у села Марыска был выбран комиссаром полка и утвержден. Коммунистов нас в полку было 6 человек. Я считался «политпросвещенным», знал, что разницы между коммунистами и большевиками нет.

В 1921 г. прибыл в деревню, а осенью поступил в археологический институт, экономически не выдержал. В 1922 г. поступил в мед. институт и окончил в 1927 году.

В Смоленской области заведовал участковой больницей. В Екимовичах 3 года, в Починке 3 года работал окул<истом>, в гор. Ярцеве около 2-х лет. В 1934 г. был для пополнения Сов. армии мобилизован. Служил в Бобруйском военном госпитале зав. глазным отд<елением>. Майор медслужбы.

В сентябре 1936 г. был арестован с предъявлением обвинения по ст. 58-й п. 10 и осужден Воен<ным> трибуналом сроком на 3 года. Предъявлено обвинение: 1) восхваление Троцкого, английской конституции, Столыпинской системы хуторов. В январе 1938 г. при аресте на допросе предъявили обвинение в активном соучастии в контрреволюционной повстанческой организации. Тройка вынесла решение 1/III—38 г., 10 л. (п/п 5 лет⁴). В 1947 г. был в больнице на двадцать третьем кил<ометре>. Арестован с предъявлением обвинения в писании и распространении контрреволюционной литературы, стихов, компрометирующих «вождя» партии, ст. 58¹⁰ ч. I и 58¹¹ от 17/VI—19/VI—47. Срок— 10 лет п/п 5 лет.

Освободился по зачетам 6/VIII—54 со ссылкой и отметкой у коменданта ежемесячной.

Первая реабилитация 24/I—1955-го, и вторая, последняя, 27 сентября 1956 г.

После, когда приехал с фронта Гражданской, партийными делами и членом партии не был, выбыл механически. На следствии меня нигде не били.

Прибыл на Колыму с караваном судов на корабле («Днепрострой» или «Дальстрой»?) в 1937 году, апреле месяце. Работал на «Партизане» в Атуровке около 1-го года.

1938 г. Лето в Магадане на 10-строительном Олпе, на прииске Нерега — осень. На Загадке — зиму. В 1939 г. в медпункте, прииск Средний Артикан. В Центральной больнице на 23/6 км и Магадане с 40 г. по 1950 г.

1950 г. в больнице Левого берега по 1953-й, на Олпе Берлага 1 г<од> 4 м<есяца> в больнице на Нереге, Загадке, Атурях работал на общих работах. В больнице пос. Сусуман в 1947 г. — 4 месяца.

13) Симановского я встречал после освобождения десятки раз. Он передо мной лебезил и говорил: «Я, как комсомолец, верил, что все по тому времени я считал происходящее правильным, раз об этом пишут, говорит

партия, «Святой вождь»... Но он очень боялся, у его дома было привязано 2—3 собаки. Приглашал меня в гости. С ранением очень тяжелым глаза лечился его сын.

16) Решающее влияние на мой психосклад оказала деревня, с ее натуральной помощью ближнему, например: идет женщина-вдова за лошадью, пасущейся на лугу, а мы ребяташки купаемся в реке Десне. Спрашиваем: «За лошадью, тетя?» — «Да, ребята». — «Давайте я сбегать». Выскочим из реки, километр махнем бегом, а оттуда галопом прискочим к дому просительницы. Пасем <в> очередь овец, а тетке нужно теленка приучать к стаду пасться, а дома работа, ребяташки говорят: «Иди, тетя, домой, посмотрим». А когда подрастают, то дровишек поможешь напилить, то на часок или два покосить, а если кто умрет, псалтырь ребята почитают. Была ли помощь религиозно-обусловленным явлением, старые или родовые традиции не выветрились? Будучи студентом, я приезжал в деревню, косил, молотил и пахал в течение 5 лет. Я читаю Библию, Евангелие, Коран, но впечатления от прочитанного не религиозные, а исторические.

2) В лагере были все несчастные, но среди несчастных были более человеческие, более гуманные, родственные по духу, независимо от их склада ума и образования, за них иногда шел на «плаху».

3) Разочарования от хороших поступков были, когда они не удавались, были разочарования и неудачным исходом лечения.

Был случай и такой: сделал слепому больному операцию экстракцию катаракты, операция была удачной, зрение с очками $+11,0D = 90\%$. Больному изменили категорию и на материк не вывезли. Он на меня обижался, что я своей операцией не дал возможности уехать на материк. Я посчитал себя в данном случае виновным... Были и другие подобные явления.

4) Лоскутов и блатные.

В лагере было не много людей, которые вкладывались бы в нормальные тесты. Благодаря действию почти непрерывному отрицательных эмоций, люди делались, а некоторые и до лагеря были больны разными невротами, психозами и психостениями, шизофреники, блатные большинство таковыми были. В условиях воли они почти все не квалифицированные рабочие, социальные условия общие, среда, семьи. Многие из них пришли в социальный мир тринадцатым поросенком, а сосок только 12. В связи с этим я и не разнил больных на блатных,

бытовиков и политических, которых в сущности и не было, кроме ярлыка, приклеенного МВД, и которые считали себя ошибочно посаженными.

«Навару», как Вы знаете, я от них не имел. Но убийство среди них приходилось иногда прекращать. Все же эти, в большинстве неграмотные люди, бунтовали против лагсистемы, оказывали какую-то помощь, если кто из них попадал в беду, а ведь у нашего брата этого не было?..

5) Между больными з<аключенными> и в<ольнонаемными> у лечащего врача не должно быть разницы. Желания больных: 1) выздороветь, 2) з<аключенных> в большинстве получить удлиненное освобождение, отдохнуть, выспаться, а может, получить пайку продуктов, что одновременно по запискам врача из ларька отпускали за н<аличный> расчет, 3) больные в/н тоже в большинстве желали получать б<ольничный> лист, отдохнуть, сделать какие-либо свои дела.

Продление освобождения от работы субъективно решается врачом. Для в<ольнонаемных>, если принимает врач-з<аключенный>, за продление (отпуска) освобождения он не отвечал, фактически и юридически он не должен их «обслуживать», но моральную ответственность врачебную и человек<еский> долг должен был нести за з<аключенных>. Л<ечащий> врач з/к отвечал: карцером, отправкой на лесозаготовку, в забой, лишением быть использованным на работе по специальности. Если л<ечащий> врач з<аключенный> будет думать усердно о своих наказаниях, и он будет придерживать от офиц. освобождений, он для больных становится вредным, страх — страшная, вредная сила. Появятся много случ<айных> смертей в забое и его также снимут, только после гибели 5—10 человек или более людей. Тот, у кого больше освобождений в процентах на случаи поверки м<едицинской> комиссией, должен доказать, что освобождены были правильно те, которые вчера остро нуждались в освобождении...

6) Лагерники на севере и на юге. Заключение — это иной мир, мир ожидающий: смерть каждую зиму, не огражденные «законами» от произвола, насилий, неожиданностей (собирайся с вещами), лишены условного права, они познали, как Адам с Евой, добро и зло. Я лично себя считал таким же, как и все заключенные. В<ольнонаемные> — это люди, познавшие пока только «добро»...

7) Лоскутов и женщины. Большой святости не было. Женат я был 28 лет на 4 курсе института в 1934 г. Когда меня взяли в армию, жена осталась на стар<ом> месте в гор. Ярцеве. У меня была большая семья, моя дочь, отец жены и сестра, двое сирот-племянников, иногда находилась и моя мать. В 1936 г. меня посадили. Колымские ухаживания Вам известны.

8) Я не могу ответить, что воспитывало меня в жизни. Больше село и наблюдение за поведением других людей из разных социальных слоев.

9) — отвечено в 5-м вопросе.

10) Подарков и благодарностей, их было не так много, как казалось со стороны, и большинство это были продукты: сахар, чай, конфеты, масло, но это все поступало на «общий круг». Привычки Кроля⁵ у меня не было — копить.

11) О карьере, как личной — лагерной, так и врачебной, — я, по-моему, и не думал в то время (специфика условий).

12) К начальству я по личным вопросам и вообще почти не обращался. «Доктор» был лучше других, умней, и в то время другой бы на его месте был бы хуже, все шло по закону инерции, это инерция действовала на нас з<аключенных> и начальство.

14) Лоскутов и долг. Долг, как врача, так и человека: помочь нуждающемуся по возможности. У меня, может, это бывает чаще, а у других реже. Благодаря, вероятно, некоторым особенностям. Глазные больные, это более обездоленная частица населения, и это чувство помощи — углубляется у окулистов. (Вам не приходилось встречать трахоматозные семьи?)

15) За других мне думать особенно не нужно было, нужно думать лишь о том, что человек желает в настоящее время и какие <могут> возникнуть из этого следствия. Пример: 1) Вы просите справку о работе на пр<ии>ске> «Партизан», я знаю, моей справки мало для подтверждения, и я рекомендую А. Верного. 2) Из тайги: Сусуман, Ягодное и т. д. приезжает человек показаться врачам областным, записался на мой прием. Я нашел конъюнктивит, хр<оническую> ангину, посоветовал ему удалить миндалины, но нужна консультация терапевта. Написать в карточку, и мое дело сделано. За это время я узнаю весь его быт до прабабушки. Если он пойдет с карточкой в регистратуру, там ему и м<ед>сестре скажут, что у терапевта уже пять «лишних» больных,

пусть придет завтра, а завтра начинай сначала. А он остановился у знакомых, а те едва сами ютятся, в гостинице мест нет...

Я беру его карточку и с больным иду к терапевту, тот поморщится, но при мне посмотрит больного, запишет и скажет, что там полагается, но если у больного в связи с хр<онической> ангиной появилась какая-либо сердечная порочность, он ему не скажет прямо, остерегаясь бегства больного в больницу... Ко мне приходили на прием папаши и мамыши с жалобами, что дети плохо учатся, мочатся в кровати, мальчишки курят, а инвалиды, что первую кат<егию> заменили на II-ю, вторую на III-ю.

И я, где прямым своим вмешательством, помогал, а где просил оказать помощь других, иногда и удачно.

16) Не отрешаясь от земных благ и не делая почти никаких усилий для своего скромного бытия, я, когда стал работать у Ивана Коновалова, с того времени, за искл<ючением> одного года — Археол<огический> институт, я не нуждался. Студентом-медиком был стекольщиком и печником. После института работали с женой по спец<иальности> врачами. Как Вы знаете, в лагере я также не нуждался. (На участке работая, имел корову, кур, поросят.)

17) Мои переходы из одного места работы на другое почти всегда сопровождались трудностями. Мне хозяев положения приходилось уговаривать, что я им буду самым подходящим и полезным. Но для жизненной удачи я ходил по субботам в церковь и просил Всевышнего послать мне удачи и счастья. В 1916 году на санпоезде я у поездного свящ<енника> прочитал Библию, Откровение, Псалтырь и пришел к выводу, что это не толкование о божестве, а нравственный кодекс, и вера в Единого, как-то отодвинулась от моего бытия. Сохранил уважение к нравственным кодексам любых направлений.

18) О самоубийстве я не думал, считал жизнь высшим даром природы, и она, как пришла к нам независимо от нашей воли и такой же независимой должна уйти.

19) У меня со всеми врачами отношения были хорошие, но дружбу я водил только с пр<офессором> Аксянцевым на с. Артукане.

Я был, как считали власти, опасным, под большим наблюдением соответств<енных> органов, и боялся врачей подвергнуть опасности «создания группы».

20) В продолжении 18 лет образование, какое там можно получить, лит<ературой> нас не баловали.

Я весной 1939 г. написал работу в медицинский журнал: «Благоприятное действие закапывания крови при солнечных ожогах глаз». Журнал этот выходил на Колыме (в Магадане) под редакцией, кажется, Хорошева. Но тогда посчитали, что тема эта не актуальна и не гуманна. Но кровь при болезни глаз стали применять с 1941 года. Повторил в 1944 году эту же тему, так она и затерялась. По возможности, журналы медицинские читал разные, что попадалось.

21) Я больше практический человек, а поэтому старых авторов я прочел до лагеря, а новых кое-что в лагере и в настоящее время. Литература новая пишется не для человека, а человек для литературы, литературы монополизированной. Она поучает, а не заставляет думать. Сказки я пишу, знаю, что без хорошего редактирования от них толку не будет. Рассказ не окон<ченный> Ефим мне прислал, кем-то переписанный от руки. Просматривая Ефима, я для самозащиты в одном месте похвалил «Мудрого».

22) Музыке меня обучали весной соловьи да лягушки в болоте и петух Еремей. После контузии в 1920 году я утратил слух на звуки некоторой длины волн, а поэтому многие произведения музыки я не понимаю. Но что мне удастся понять, мне все же, кроме развлекательной, нравится та, которая выражает борьбу за свободу человека, так мне кажется.

23—24) Газеты я стал читать с 1910 г. Сперва газ<ету> «Копейку», потом московский листок «Раннее утро», «Русское слово». Разбирался я плохо в газетах. То время и в газетах первых дней (годов) революции тоже плохо выбир<ал>. Немного газет и журналов («Новое время», «За рубежом») почитать находил в условиях лагеря.

В 1927-м в кавалер<ийском> полку, где коммунистов было 6 или 7 человек, я считался лучше других разбирающимся в политике. Я уже знал, что между большевиками и коммунистами разницы нет. События намечают по тону печати, выступлений, отчетов, докладов, речей на приеме...

25) Переписку я поддерживаю в порядке 150 человек. Кто они: 1) родственники, 2) колымчане — врачи и не врачи, 3) переписку и обмен новогодними телегр<аммами>, письмами с товарищами-однокурсниками, окон<чившими> мединститут — 160 ч<еловек> — в 1927 г.,

и осталось в порядке 62 человека. Собираемся через каждые 5 лет на слет, и я был в 1957 г. В 1962-м, когда заходил к Вам. Среди нашего выпуска есть: академик, профессор, доктор и бывшие арестанты — это я, есть и другие. В 1957 г. собралось 76 ч<еловек>. В 1962 г. — 64 чел<овека>, а в 1967-м, вероятно, значительно меньше, возможно, и пишущий не дотянет. Эта тема для литературы подходящая. Оконч<ивших> нас в порядке 160 человек, война, болезнь, смерть — лагерь и вот на этот слет попадают все меньше и меньше, и наконец, съезжаются в н-ом году только двое, они заказывают по традиции бутылку коньяку в ресторане на Арбате («Прага»), но по состоянию здоровья пьют только воду из Трускавца, и рассказывает один, не будучи в лагере, а другой — лагерник, о делах минувших.

26) Думаю, что не проходит и дня, чтобы не думать о лагере, как в свое время «думал» Робинзон о своем острове...

Я Вам (даю) рекомендую, как тему иметь в виду, это — наши слеты через 5 лет, окон<чивших> врачей институт в 1927 г.

1) На первых слетах отмечали, что-то сделать, создать. Хвалились успехами в науке, среди женщин, восхваляли героиню Гражданской войны.

II. При более поздних слетах хвалились детьми, их особенностями.

III. На еще поздних, роптали: на свою болезнь, неуважение детей, неблагодарность начальства партии, которой отдал 50 лет жизни, энергию, на неудачу брака и на неблагодарность текущего времени...

IV. На Н-ый <последний> съезд в Москве по традиции собираются в ресторане «Прага» только 2 человека. Заказывают бутылку коньяка, по состоянию здоровья пьют воду с курорта Трускавец.

Один из них профессор, а другой обычный врач, находящийся длительное время в лагере. Проф<ессор> считал, что в то время аресты и суды учинялись только над контрреволюцион<ерами>, саботажниками, диверсантами и другими врагами государства, народа и партии, и что он считал это явлением правильным, что и сам он лично занимался выявлением врагов, подавал соответствующую информацию. Но, что он об этом сожалеет в это время, считает свою честь запачканной. Брак его не удался, дети получились неудачники... В науке он чистил скорлупу из чужих яиц. Бывший з<аключен-

ный>: у меня старый друг, все удачно было и работа, брак и авторитет, но время бросило на меня жребий...

Из кусочка неба открытого в фанерный козырек окна и кожу, проеденную за время лагерного бытия тысячами вшей, я узнал суть государства и социальную истину.

Своим долгом врача: я лечил души и болезни, а в несчастье я был счастлив...

Прощай, старый тов<арищ>. Старость победила молодость, силу, круг земной смыкается, из бытия переходим в небытие. Пожмем друг другу озябшие руки. Эхо нашего голоса будет еще слышаться годы на далеком Севере: в гомоне людей, в полете и криках розовых чаек, в сиянии абрикосовых облаков и в золотом солнце, погружающемся в зеркальную чашу моря...

Переписываюсь с Е. Волдбером, Топорковым, Утробиным, Траутом, Бутом, Тимоникеевичем, Гребенюком, Прозоровой, Карицким, Поповой и многими другими...

Для героев Вашего очерка я не очень подходящий. Нужны ли Вам эти анкетные данные?

С искренним приветом, Ф. Лоскутов. <1965?>.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лоскутов Федор Ефимович (1897—1977) — врач. Шаламов называл его «праведником». Лоскутов оказывал помощь заключенным, считая всех их «несчастливыми», попавшими в зубья государственной машины. Упоминается в рассказах Шаламова «Курсы» и др.

² ГРУ — геолого-разведочное управление.

³ Герасименко — автор справочника по лечению отморожений.

⁴ п/п — поражение в правах.

⁵ Врач-взяточник. См. рассказ «Александр Гогоберидзе».

ПЕРЕПИСКА С Г. А. ВОРОНСКОЙ

Г. А. Воронская¹ — В. Т. Шаламову

Магадан, 13/XI—57

Дорогой Варлам Тихонович!

Очень Вы меня огорчили своим письмом. Особенно меня удивила позиция Дементьева². Ничего подобного

он мне никогда не говорил. Жаль, что Ваша статья снята (кстати, под каким предлогом?). На публикацию писем в журнале «Москва» я почему-то не надеялась, но не ожидала такого активного и недоброго вмешательства Дементьева.

Мои попытки устроить квартирные дела кончились неудачей. Пришлось вернуться в Магадан. Комиссия по лит<ературному> наследию А<лександра> К<онстантиновича> обратилась в издательство «Советский писатель» с предложением переиздать «За живой и мертвой водой», «Глаз урагана», «Рассказы» и сборн<ик> избр<анных> критических статей. Ответа пока нет, но хорошего ничего не жду. Или откажут, или будут мариновать. Рада за Вас, что вы получили новую квартиру. Что интересного появилось в журналах? Буду Вам благодарна, если Вы иногда будете мне писать. Над чем работаете? И как Ваши писательские дела? Привет от Ив<ана> Степанов<ича>³. Он без меня все время болел, вообще, когда вернулась, застала дома хаос и полнейшее запустение. Дети здоровы. Привет жене.

С приветом *Галина Александровна*.

Г. А. Воронская — В. Т. Шаламову

Магадан, 7/VII—58.

Дорогой Варлам Тихонович!

Задержала Вам ответ, потому что хотела достать № 5 «Москва». Большое Вам спасибо за все, и больше всего за доброе отношение к Александру Константиновичу. Заметка, конечно, очень пострадала, но понимаю прекрасно, что Вы тут ни при чем.

По лит<ературному> наследию Александра Константиновича ничего нового нет. Лескучевский⁴ из издательства «Советский писатель» глубокомысленно читает книги вот уже год и, вероятно, будет их читать очень продолжительное время или просто откажет под каким-нибудь благовидным предлогом. Как Ваше здоровье? На днях встретила Лоскутова, он сказал, что получил от Вас письмо и что Вам лучше. Рада за Вас и надеюсь на Ваше выздоровление. Что интересного в журналах и вообще какие новые книги?

Пишите. Привет от Ивана Степановича.

Сердечный привет, *Галина Александровна*.

Г. А. Воронская — В. Т. Шаламову

Москва, 3/IX—59

Дорогой Варлам Тихонович!

Не сердитесь, что мы Вас не навещаем, это происходит не потому, что мы Вас забыли.

Прописка, поиски комнаты заняли так много времени и энергии, что вечерами мы уподобляемся гончим собакам после продолжительной охоты. Только 31-го мы нашли себе крышу, и в этот же день я устроила детей в школу. Вчера пришел наш колымский багаж, и можете себе представить, что у нас творится в комнате!!! Кстати, у нас всего один стул, да и тот хозяйский. Как только войдем «в норму», обязательно Вас навестим. Как Ваше здоровье? Писать нам лучше по тому адресу, по которому Вы писали нам раньше. Валька Португалов, по видимому, уже не приедет.

Привет, *Галина Александровна*.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 30 апреля 1964 года.

Дорогая Галина Александровна.

Беспокоит меня очень Ваше нездоровье — так это не-кстати, обидно, ненужно. В Москве сейчас живу только я один (с Мухой), ибо — ремонт, государственный ремонт, которому нет конца и края. Начали эти работы более месяца назад, Оля и Сережа на даче в Мичуринце, как уж там жить в холода, я и представить не могу. Сережа будет здесь 4-го числа. Оля была за месяц раза два, но без ночевки, сразу же уезжала. У нас еще и плотничьи работы в разгаре, а до малярных далеко. Если будете чувствовать себя получше — м<ожет> б<ыть>, навестите. Я всегда дома, всегда, и рад буду Вам очень. Вале и Гале и Ив<ану> Ст<епановичу> мои приветы. Валя Порт<угалов> даже не поблагодарил за книжку меня (стихов). Прочли ли в № 4 «Н<ового> м<ира>» воспоминания генерала Горбатова⁵ — оказывается, он один из колымских доходяг тех времен. Приезжайте, поговорим о разном.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 16 августа 1976 года.

Дорогая Галина Александровна!

Сердечно Вас благодарю за такой дорогой подарок.

С удовольствием перечитываю каждую строчку «За живой и мертвой водой» — ведь это наша живая юношеская классика, где мы учили каждый абзац, каждый сюжетный поворот, каждый образ, учились воспитывать в себе единство слова и дела.

Отредактирована книга, прямо сказать, неважно. Режет глаза, например, отсутствие отдельного эпиграфа к 3 части «За живой и мертвой водой»:

И маршалы зова не слышат,
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили,
И продали шпагу свою

«Воздушный корабль»

Вот этот самый эпиграф — журнальный текст — передавали из рук в руки во всех студенческих общежитиях Москвы, да и не только в студенческих.

Хорошо, конечно, что сохранилось главное посвящение: «Галине, дочери Валентина».

Не делают чести редакции и другие просчеты. Так, вовсе не упомянут «Желябов» — книга, прямо сказать, удачная в изображении героев народовольческой эпохи. Такая удача никогда не была потом повторена. Паясничество «Современника»⁶ над исповедью самоубийцы Гольденберга, и балаган Трифонова в «Нетерпении»⁷.

«Нетерпение» — это уголовный роман, вроде «Антонна Кречета», где упущено все серьезное. Встреча Нечаева⁸ с Желябовым — только один из примеров подобного рода.

За последние тридцать лет по «Народной воле» вышел ряд важных работ, одной из которых является работа Троицкого⁹ в Саратове, где приведен список поименный всех затронутых народовольческими темами. Этот список включает ПЯТЬСОТ имен по СЕМИДЕСЯТИ процессам (!). Вот тебе и кучка.

Такие сведения помогли бы автору «Нетерпения».

Еще крупнейшей другой просчет, который потом повторен во многих книгах. Дело в том, что истинной героиней, истинной руководительницей «Народной воли» была Ошанина¹⁰, участница Липецкого съезда. Не Перовская, не Фигнер, а именно Ошанина, которая после 1 марта была заграничным представителем «Народной воли». Она-то и вела знаменитую полемику с Кравчинским¹¹, и если Кравчинский показал во время этой дискуссии, что

он «поправел», то Петр Лавров¹², наоборот, «полевел» и поддержал Ошанину во всей этой переписке. Пример первого марта был достаточно убедительным.

Следовало бы помнить также, что именно Ошанина вела переговоры с Дегаевым¹³. Она обещала сохранить Дегаеву жизнь, если тот убьет Судейкина.

За границей была только она одна, Лев Тихомиров¹⁴ не командовал, как говорится, парадом. Он уже собирался вернуться, что и сделал небольшое время спустя.

Ошанина была якобинкой, ученицей Заичневского¹⁵ и Ткачева¹⁶. Недавно издан двухтомник Ткачева — революционного классика, чьи прогнозы оказались самыми верными. В двухтомнике не забыта и цитата из «Что делать?» Ленина: «Подготовленная проповедью Ткачева попытка захватить власть с помощью устрашающего и действительно устрашавшего террора была величественной».

Вот Ошанина-то и была верной его ученицей. Почему о ней мало пишут? Не только потому, что она всегда звала к конспирации. Ошанина не проходила ни по одному процессу, входя в судебные документы лишь косвенно. Она и умерла под фамилией Полонской в Париже.

Продолжение 18 сентября 1976 на обороте.

В. III.

Вот это письмо было подготовлено Вам для ответа. Я не успел его дописать и отослать.

В 59-ю больницу я попал по «Скорой помощи» в приступе стенокардии — моей старой болезни, хорошо мне известной.

Я очень долго не мог ни с кем связаться. Звонил Вам много раз — и телефон оказался другой. Я благодарю Вас и Ивана Степановича за столь срочную, своевременную и продуманную помощь. Я выписан в среду, 15 сентября, как и обещано врачами, и вообще-то мне нечего делать в больнице. Убедившись, что у меня к 70 годам нет ни инфаркта, ни туберкулеза, ни рака, ни сифилиса, ни язвы желудка, врачи выписали меня под надзор поликлиники. У меня был приступ стенокардии, с которым в прошлом я встречался не менее 20 раз.

Иван Степанович ошибается глубоко, что, дескать, неплохо полежать в больнице несколько дней. Лечение, примененное ко мне, удовольствия мне не доставило. Но я уже в 59 квартире, дом 2 по Васильевской, где значительно уютней и полезней, чем в 59-й больнице.

Жму руку, привет дочерям.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Москва, 30 октября, 1976 г.

Дорогие Галина Александровна и Иван Степанович!

Шлю Вам новую мою публикацию в «Юности» — на этот раз не колымских, а крымских стихов.

Качество стихов говорит о том, что рука и в семьдесят лет тверда.

Шлю привет детям.

С глубоким уважением *В.Шаламов.*

Г. А. Воронская — В. Т. Шаламову

Москва, 3/ХІ—76

Дорогой Варлам Тихонович!

Получили Вашу бандероль. Большое спасибо. Мы искали уже давно этот номер «Юности», но не могли найти. В киоски дают по 2—3 экземпляра и моментально раскупают.

Мы все сердечно поздравляем Вас и очень рады!

Мне больше всего понравилось Ваше первое стихотворение и Ивану Степановичу тоже. Вообще мне показалось, что у Вас несколько изменилась манера письма. (Если так можно выразиться.) Она стала более насыщенной, сжатой и в то же время более эмоциональной. Мне это нравится, хотя и прежнее тоже нравилось. Если написала глупость, не сердитесь. Я уже Вам говорила, что у меня «что-то сломалось» в восприятии стихов, это еще случилось на Колыме. И я считаю это одной из горьких своих душевных потерь.

Как Вы себя чувствуете? Вам надо хорошо отдохнуть. Все наши шлют Вам приветы и добрые пожелания, и я, конечно.

Галина Александровна.

В. Т. Шаламов — Г. А. Воронской

Дорогая Галина Александровна.

Причины, почему стихи меняются — не составляют для работающего тайны.

Объясняется это тем, что стараешься с каждым новым стихом дать что-то новое, свежее.

Для ялтинского цикла, который и составил публикацию в № 10 «Юности», наиболее характерны для авто-

ра — является первое и последнее, хотя и миниатюра «Московская толчая» сразу же привлечет внимание очередного Чайковского своей новой сверхэкономичностью и так далее.

Последнее стихотворение — все на повторах и написано в тот момент, когда найдена «Небесная крыша» — то есть крыша мира, тот самый Памир, близ которого мы с Вами живем.

Вторая строфа — отделка тех же звуковых повторов, к-р-ч.

Первое стихотворение «Мой день расписан по минутам...» продолжает знаменитую лермонтовскую «Русалку». У Лермонтова было пять «о» подряд.

Русалка плыла по реке голубой
Озаряема полной луной.

Пастернак пробовал:

«О, вольноотпущеница. Если вспомнится...» Я тоже выступил: четыре «о» подряд.

Прочь этот ворох старых писем,
Их шорох — гром.

Здесь на две строки целых пять «о». Стихотворение родилось тогда, когда была найдена новинка «шорох — гром» с тремя «о».

Стихи пишут по законам звуковых повторов — что я и показываю во всем ялтинском цикле.

Стихотворение о Чехове — давнее мое желание расчитаться с родственниками Чехова за этот музей, за этот дом-комод, где М. П. Чехова жгла чеховские письма и вымарала все, что казалось ей опасным для семьи.

«Дом-комод» — это музей родственников Чехова, а не его самого. К сожалению, меня не было в Москве (я был в больнице и не настоял на том, чтобы оставить последнюю строку).

«Юмористики лишила»: А. П. Чехов, после Сахалина (с 1890) прожил целых 14 творческих лет, не написал ни одного юмористического рассказа, хотя именно ими он и вошел в литературу.

Это общеизвестные данные, и именно с Сахалина Чехов оставил все это.

И<вану> С<тепановичу> шлю привет, а также Вашим дочерям.

Ваш В. Шаламов.

Поздравляю всю Вашу семью по-старинному, что было когда-то весьма модно — с наступающим Новым годом! Шлю наилучшие приветы.

Ваш *В. Шаламов*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Воронская* Галина Александровна (1914—1991) — дочь А. К. Воронского, знакома с Шаламовым по Колыме.

² *Дементьев* Андрей Дмитриевич; заметка В. Т. Шаламова об А. К. Воронском в ж. «Москва», 1958, № 5, была существенно сокращена.

³ *Исаев* Иван Степанович — муж Г. А. Воронской. Валя и Галя — дочери Г. А. Воронской и И. С. Исаева.

⁴ *Лесючевский* Николай Петрович (1908—1978) — директор изд-ва «Советский писатель».

⁵ *Горбатов* Александр Васильевич (1891—1971) — генерал армии, был репрессирован в конце 30-х годов (до 1943 г.), написал воспоминания о лагере.

⁶ Л. Каменев пишет в некрологе («Из далекого прошлого», «Пролетарская революция», 1922, № 5): «Одним из первых, кого привлекла к работе группа “Освобождение труда”, был И. П. Гольденберг... И. П. входил в состав редакции всех большевистских журналов, был членом ЦК партии».

Во время войны занял вместе с Плехановым позиции оборончества, был против развязывания революционного восстания. В 1917 г. примкнул к группе “Новая жизнь”. С делегацией первого ВЦИК уехал за границу. Появился в Москве и в 1920 г. (по др. сведениям в 1921) был принят в РСДРП(б).

А. Голубков в книге “На два фронта” (М., 1933) говорит о туберкулезе И. Гольденберга. Л. Каменев сообщает, что он “проработал 6 месяцев и умер от паралича сердца”.

Сведений о самоубийстве И. П. Гольденберга не удалось обнаружить. По приезде из-за границы Гольденберг работал в НКВД зав. отделом печати и информации.

Официальную версию с глубокой скорбью подтверждают “Правда” и “Известия” от 3 января 1922. Похоронен на Ваганьковском кладбище 5 января 1922 г.».

⁷ Роман Ю. Трифонова «Нетерпение» (1973) исследует исторические корни революционного нетерпения на примере народовольца А. Желябова.

⁸ *Нечаев* Сергей Геннадьевич (1847—1882) — организатор тайного общества «Народная расправа», умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

⁹ *Троицкий* Н. А. Царские суды против революционной России. Политические процессы 1871—1880 гг. Саратов, 1976.

¹⁰ *Ошанина* Мария Николаевна (1853—1898) — участница кружка Заичневского в Орле (1874—1875), член «Земли и воли», исполкома «Народной воли». С 1882 г., представитель исполкома за границей.

¹¹ *Степняк-Кравчинский* (настоящая фамилия Кравчинский) Сергей Михайлович (1851 — 1895) — писатель, народоволец, автор романа — «Андрей Кожухов».

¹² *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — философ, идеолог революционного народничества.

¹³ *Дегаев* Сергей Петрович (1857—1921) — народоволец, в 1882 г. завербован охранкой, в 1883 г. убил жандармского полковника Судейкина Георгия Порфирьевича (1850—1883)

¹⁴ *Тихомиров* Лев Александрович (1852—1923) — народник, публицист, с 1882 г. представитель исполкома «Народной воли» за границей. Затем отошел от революционной деятельности

¹⁵ *Заичневский* Петр Григорьевич (1842—1896) — революционер. В 1862 г. написал в заключении прокламацию «Молодая Россия», свыше 20 лет провел на каторге и в ссылке. В 1874 г. организовал кружок «орлят».

¹⁶ *Ткачев* Петр Никитич (1844—1885/86) — один из идеологов народничества, сторонник революционного террора.

ПЕРЕПИСКА С С. В. РУЖЕНЦЕВЫМ

В. Т. Шаламов — С. В. Руженцеву¹

Октябрь, 1958 г.

Дорогой Сергей Владимирович.

В великой нерешительности приступаю к разговору о твоих стихах. 14 стихотворений за 20 лет? Одно это говорило, что это не стихи. И действительно, стихов там нет вовсе. Этим не надо огорчаться, и вот почему. Талант — это количество прежде всего. Именно в этом (в непобедимом желании работать еще и еще) и скрыто подлинное содержание определения «талант — это труд». Точнее всех тысяч и тысяч определений таланта знаменитая формула Шолом-Алейхема, что «Талант — это такая штука, что, если она есть, так она есть, и если ее нет, так нет». Самую толковую статью, на тему «Как писать стихи», я встретил в одной областной газете несколько лет

назад. Там было объяснено значение общего образования, разносторонности интересов и т. д. — как необходимое для поэта (кстати сказать — не очень — ибо говорят, Крылов ничего не читал, кроме поваренной книги, а из наших современников — Ксения Некрасова, безусловно, поэт самой чистой пробы, ничего не читала вовсе). Статья называлась очень правильной фразой: «Научиться писать стихи нельзя».

О воспитании любви к слову, квалифицированной любви. Надо писать, упражняться. Ты вырастешь как потребитель. А стихи пусть пишутся, только им не надо придавать значение.

Второе. Я часто думаю, что нет никакой техники в искусстве. Есть только зрение художника. И если бы я видел, как Пушкин, то и писал бы, как Пушкин. Обладал бы слухом Блока — писал бы, как Блок.

Любить стихи — надо. Значение их неизмеримо. И хотя общественный резонанс прозаической вещи кажется значительно больше, чем резонанс поэтического произведения — все же это лишь внешнее преимущество.

По теории стиха много книжек у Тимофеева Л. И., теперь академика. Недавно вышел «Очерк теории и истории русского стиха». Практического значения для поэта, конечно, эта книга не имеет. Ибо даже такое явление, как рифма, большие поэты объясняют по-разному, каждый по-своему.

Есть ли у нас заочные институты литературы и журналистики? Дорогой Сергей Владимирович, в отличие от большинства литераторов, я считаю, что работа в газете (а также журналистика) писателю ничего не дает, во всяком случае меньше, чем работа где-либо в суде или на предприятии. Газета скорее портит писателя, и недаром Гладков ополчился против очеркистов. Поэтому эти понятия надо разделить.

Попробуй написать в Лит. институт им. Горького (по литературе) и на факультет журналистики МГУ (по газетной работе).

Болезнь моя не дает мне пользоваться телефоном, поэтому напиши им сам.

Очень хорош твой интерес к словесным предметам, к книгам, к стихам и самому чудесному, что есть в жизни — человеческому слову.

Не надо жалеть, что не пишутся стихи. У тебя будет непобедимое желание писать. И в то же время писать не

так, как писали поэты, которых ты знаешь и стихи которых помнишь. И если ты сумеешь создать новость, ты — поэт.

Других путей никаких нет, пробы эти научат чувствовать слово, его весомость. Эти пробы пригодятся в прозе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Руженцев С. В. — вероятно, и. о. начальника Озерецко-Неплюевского торфопредприятия, где работал Шаламов в 1953—1954. Письмо свидетельствует, что С. В. Руженцев увлекался литературой.

ПЕРЕПИСКА С Е. А. ЧЕДЖЕМОВОЙ

В. Т. Шаламов — Е. А. Чеджемовой¹

Москва, 12 декабря, 1959 г.

Дорогая Елизавета Алексеевна.

Очень рад был получить Ваше милое письмо. Кстати, разрешилась и загадка — кто приходил с рюкзаком за плечами и ушел, не дождавшись меня. Я думал, что кто-нибудь с дальнего юга — от Гали², или с дальнего Севера из моих старых знакомых, но все оказалось гораздо ближе. Хорошо, что Вы были с Ю<лией> Г<еоргиевной> в последние дни ее жизни. Совсем недавно, в ноябре, она прислала мне открытку, написанную твердым, ясным почерком, ничуть не говорящим о физической или умственной слабости.

Юлии Георгиевне я многим обязан. Она стоит на большом повороте моей жизни. Именно Ю<лия> Г<еоргиевна> была тем человеком, который рекомендовал меня на первую в моей жизни настоящую работу — на кожевенный завод. Такое ведь не забывается, хоть я ее и мало знал после.

Отвечаю на Ваши вопросы. Мне 52 года. У меня есть дочь от первой жены, родившаяся в 1935 году. Она окончила строительный институт и вышла замуж. У моей второй жены, Ольги Сергеевны Неклюдовой, есть сын от первого брака — ему 18 лет. Он живет с нами, окончил школу, работает и учится на курсах иностранных языков.

Сам я сейчас не работаю по инвалидности — и инвалидность моя такого сорта, что никаким транспортом я

пользоваться не могу и никуда не езжу (болезнь Меньера в числе других болезней у меня). Сажу дома и варю суп. Так что приезжайте лучше Вы.

Разве в грустные минуты хочется бывать на людях? Это зависит, вероятно, от особенностей душевной организации человека. Мне представляется все это иначе.

«Как нужно поступить, чтобы поехать к Гале?» — спрашиваете Вы. На этот вопрос Вы уже ответили — написали ей письмо. Спишитесь и поезжайте. Она человек хороший и устроит Вас всегда.

Скоро будут Чеховские дни и Мелихово зашумит весьма.

Желаю Вам хорошего здоровья, долгой жизни, душевного мира и покоя. Пишите, заходите.

Сердечный Вам привет.

В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Чеджемова* Елизавета Алексеевна — знакомая сестры матери Шаламова (см. пояснения к переписке с родственниками), которая помогла В. Т. устроиться на работу в Кунцевскую больницу ликвидатором неграмотности.

² *Сорохтина* Галина Тихоновна — сестра Шаламова, которая жила в Сухуми.

ПЕРЕПИСКА С А. М. ПАНТЮХОВЫМ

А. М. Пантюхов¹ — В. Т. Шаламову

27/III—61 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Большое спасибо за письмо. Я так рад был узнать, что Вы живы и в Москве. Я все время следил за журналами и искал все вашу фамилию и, откровенно говоря, потерял уже надежду узнать что-либо о Вас. И вдруг приятная, очень приятная неожиданность — ваше любезное письмо с благодарностью.

Как Вы могли даже подумать, что я Вас забыл, наоборот, я часто вспоминал вас, но я ведь уехал из Сусумана в 1947 г., а вы оставались там еще, наверное, много, много лет, по крайней мере, до 1954 г. (не менее)...

Я никогда не забуду вечера и ночи, проведенные нами вместе, чтение стихов на память и многое другое, что оставило в душе у меня неизгладимое впечатление и самые лучшие чувства по отношению к Вам. Ведь я тогда еще был совсем юнец. Я так хочу встретиться с Вами. И это вполне осуществимо, пожалуй, в самое ближайшее время. В июле — августе этого года я собираюсь с женой и сыном поехать в Ялту (в Ялте у меня живут двоюродные брат и сестра), и по дороге в Ялту я прежде всего в Москве разыщу вас. Москву я как будто бы неплохо знаю, но плохо представляю, где Хорошевское шоссе... Кстати, за эти годы я так часто и много раз был и жил в Москве. После 1947 г. первый раз в Москве я был проездом в 1951 г., потом в 1954 г. жил в Москве почти 3 месяца, в 1955 г. жил весь июль месяц, был в октябре 1955 г. на научном съезде гельминтологов. В 1956 году был в Москве дважды — в мае и октябре, в 1957—1958 гг. был по разу и в 1960 году жил с января по май месяц (в общезитии врачей на Новинском бульваре недалеко от гостиницы «Украина»). Как жаль, что я не знал, что вы живете в Москве. Я так рад за Вас. Сегодня же напишу письмо Борису и поблагодарю его за то, что он сообщил Вам мой адрес.

Мне очень хотелось бы, чтобы Борис заехал ко мне в Павлодар, он мог бы это сделать. Для этого нужно 1—2 дня, не больше.

Варлам Тихонович! Пока у меня к Вам нет никаких поручений (но они, конечно, будут!!! И, конечно, не будут обременительны для Вас!).

Спасибо за все. Но при случае я воспользуюсь Вашей любезностью, но в каком смысле, мне иногда нужно отредактировать рукописи статей для печатания (и я, к сожалению, до сих пор не могу «набить» руку и бойко писать их). У меня имеется очень большой материал, частично уже напечатанный в различных врачебных журналах и научных сборниках, но есть материал еще в разработке и написании.

За последние пять лет я выполнил большую работу по исследованию и изучению проблемы описторхоза в Павлодарской области. Работу я проводил по плану, предложенному мне в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины. Моим шефом является профессор Н. Н. Плотников (он работал зав. клин. сектором Института медицинской паразитологии и тропической медицины). За 5 лет я выполнил работу по

биологии и эпидемиологии описторхоза, очень большую по объему и более чем достаточную для оформления ее как кандидатской диссертации.

Но дело в том, что защищать кандидатскую диссертацию мне, собственно, незачем. (Разве только ради удовлетворения личного тщеславия, а мне это не нужно.) Сейчас я работаю врачом-терапевтом в областной больнице и одновременно заведу гельминт-отделением облсанэпидстанции. В городе Павлодаре я живу уже более 11 лет и стал, что называется, уже аборигеном. Город хорошо связан с Москвой и с другими центрами страны, как жел<езной> дорогой, так и по авиа. Сам город имеет около 130—140.000 жителей, усиленно строится. Я живу в пятиэтажном доме, со всеми удобствами (пока нет только газа), зато есть горячая вода круглосуточно. Район города, где я живу, застроен стандартными 5—4-этажными домами (45—75 и 120 квартирами), вообще, как в Москве.

Ну пока, до свидания.

Желаю наилучшего здоровья и всяческих благ и успехов в жизни. **Пишите**, чем Вы занимаетесь, где работаете, вообще обо всем, обо всем...

Крепко жму Вашу руку,

Ваш *Андрей*.

Г. Павлодар, КазССР, ул. 1 мая, д. 209, кв. 16.

Пантюхов

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Пантюхов* Андрей Максимович — врач, направивший в 1946 г. В. Т. Шаламова на курсы фельдшеров, тем самым спасший ему жизнь. Описан в рассказах «Домино», в «Воспоминаниях». М., 2000 (гл. «Сусуман»).

ПЕРЕПИСКА С В. Ф. БОКОВЫМ

В. Ф. Боков¹ — В. Т. Шаламову

ТЕЛЕГРАММА

Москва, 5 июня, 1961 г.

Дорогой Варлам. Спасибо за чудесную книгу. Читаю со слезами восторга. Собирайте новую, поддержку. Обнимаю. *Виктор Боков*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Боков Виктор Федорович (р. 1914) — поэт.

ПЕРЕПИСКА С С. А. СНЕГОВЫМ

С. А. Снегов¹ — В. Т. Шаламову

2-III—62 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Я недавно приехал и потому отвечаю с запозданием.

Наши судьбы во многом, кажется, схожи. Мне была приятна оценка Ваша моего романа. К сожалению, в нем правдивы лишь природа и характеры, но не судьбы: нет лагеря! Давно уже сказано: «...И на устах его печать».

Наша прошлая жизнь пока не начата. Надеюсь, это недолго. Вероятно, когда-нибудь мы — широко мы, не только мы с Вами — порадуем друг друга хорошими по-настоящему произведениями. В меру моих сил я готовлюсь к этому.

Посылаю Вам одну из своих книжиц. Если найдете время прочитать «Учительницу», напишите, как дана природа в ней — главный герой этого произведения. Для меня это важно, потому что Вы нежно и чутко понимаете природу, мастерски ее изображаете.

Всего Вам, всего хорошего!

Ваш С. Снегов.

С. А. Снегов — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Недавно приехал в Калининград и застал два письма от Вас и книжку — сердечное спасибо!

Не могу и передать, как меня порадовал Ваш отзыв о «Взрыве» и «Учительнице» — мнение человека с Вашим вкусом, да еще столько лет прожившего на Севере — очень дорого! В четвертом номере «Знамени» выходит новая моя повесть «Иди до конца» — если найдете время, взгляните (между прочим, там — большой цикл новых стихов А. Вознесенского).

Все это, конечно, не то, о чем хотелось бы писать. Вы совершенно правы, что о нашей жизни как-то по-

серьезному и не собрался писать (то есть, вероятно, много написано, но, увы, не нами). В «Новом мире», говорят, идет рукопись какого-то Сложеницына о лагере — о нем утверждают, что новый Лев Толстой, дай-то Бог! Разрешения на ее печатание пока нет.

Я давно задумываю роман в четырех частях о нашей эпохе: 1924—1960 гг. Нет возможности — материальной, конечно — уйти в него на глубину. Пока написал серию рассказов (39—44 гг.) о лагере, дал знакомым, оставил в одном журнале. Читавшие говорят, что лучше, чем я обычно пишу. Но движения — нет. Очевидно, надо ждать, как ЦК решит с Сложеницыным, которого упрямо пробивает Твардовский. Мне очень хотелось бы познакомить Вас с этими рассказами, но это, видимо, придется оставить до следующего приезда в Москву. Я собирался рассказы отдать Твардовскому, он ко мне хорошо относится и одно время хотел печатать меня еще при Сталине, когда я был в ссылке, — ничего из того, конечно, не вышло тогда. Но, узнав, что у него Сложеницын, я раздумал — о двух вещах он хлопотать не будет, тем более когда у него уже есть по-настоящему первоклассная вещь. А так хочется сказать *urbi et orbi* всю правду — суровую, мужественную, по-своему высокую. Нам нечего стыдиться этой правды, искушения нас не сломят!

Дорогой Варлам Тихонович, снова с наслаждением перечел Вашу книжку². Что же сказать? Мне жаль, что Слуцкий³ не написал о ней того, что мне представляется самым в ней пленительным — удивительного, проникновенного ощущения природы. Со времени Тютчева я не знал другого поэта, который бы так пантеистически, так <полнозначимо> воспринимал ее, конечно, Тютчев — Тютчев, а Шаламов — Шаламов, у которого — свой путь, но здесь вы пересекаетесь, тут в философской глубине природоощущения вы — родня и, повторяю, единственная в истории нашей литературы такая близкая родня. Спиноза когда-то различал *natura naturans* и *natura naturata* (это различие использовал М. Кузмин — помните в «Форели»? Я в лагере написал целый сборник стихов под названием «*Natura naturans*») — у Вас всегда «природа природствующая», нераздельная от человека, но вовсе не так, для его любования, я полностью согласен с Вами о том, что природа — активна и «неравнодушна». Меня попросту покоряет Ваше понимание природы, оно близко моему собственному. Я да-

вал Вашу книгу многим друзьям, тем она явилась «Линзой для увеличения./ Невидимых доселе тел».

О Вашей книжке можно говорить много. Она «томов премногих тяжелей». И не только о пантеизме, но и о философии человека, и общества, и литературы — она многостороння и дает все основания всестороннего рассмотрения. Уверен, что когда-нибудь это произойдет и в нашей скучной официальной критике, боящейся глубины, как черт кадила.

Недавно я высказал свое восприятие «Огнива» Л. И. Скорино⁴. Она выслушала с интересом и сказала, что знала Вас еще до войны как даровитого поэта.

Крепко жму руку.

Ваш С. Снегов.

3—IV—62 г.

Над чем Вы сейчас работаете? Какие у Вас перспективы выдать в свет законченные вещи? Как бы хотелось с ними познакомиться!

Посылаю Вам роман «В ноябрьской ночи». Он был написан еще при Сталине и печатался в «Новом мире» в 57 г. Правда, в нем — характеры людей и природа. О социальных коллажах пришлось умолчать. Меня иногда приводит в отчаяние эта наша никому не нужная полу- и четвертьправда! Я старался, по крайней мере, чтоб не было прямой лжи, как у Ажаева. Если не найдете времени прочитать все, пролистните стр. 346—380 — пургу, стр. 177—208 — шугоход.

Еще раз — всего хорошего!

С. А. Снегов — В. Т. Шаламову

6—X—62 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Посылаю Вам свою повесть в стихах. Почти все они там написаны в годы, о которых речь, — конце сороковых — начале пятидесятих годов. Я отводил душу за столом. Туманность иных строк объясняется жесткостью тогдашней погоды. К сожалению, время для них не пришло, похоже, и сейчас. Недавно мне сообщили, что сборник рассказов о лагере 39—43 гг. — единственное, мне кажется, по-настоящему хорошее, что я написал — видимо, будет отвергнут журналом: нужно идти с ними в ЦК, а на это не решаются.

Стихов, что я посылаю Вам, до Вас еще никто не читал — Вы их первый судья.

Крепко жму руку!

Ваш С. Снегов.

В. Т. Шаламов — С. А. Снегову

Москва, 14 марта, 1965 г.

Дорогой Сергей Александрович.

Простите, что не ответил на Ваше теплое новогоднее послание.

Дела мои примерно в том же положении, что и у Вас — договоров нет, а выход стихов в «Знамени» — № 3.

Через восемь лет после первой моей встречи с журналом — стал возможен после очень тяжелых переговоров, отбора из сотни стихотворений, многих задержек и т. д. О сборниках моих много рецензий. Но ни в одной, ни в единой не был отмечен тот новый мотив мой, мой вклад, как мне кажется, а именно, «природствующая природа». Только Вы с Пастернаком отметили это важное обстоятельство.

Сейчас, размышляя над своими стихами, я вспомнил это. И захотелось пожать Вашу руку.

Ваш В. Шаламов

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Снегов (Штейн) Сергей Александрович (1910—1994) — поэт, писатель.

² Первая книга стихов В. Шаламова «Огниво». М., 1961.

³ Слуцкий Б. «Огниво высекает огонь». «ЛГ», 5 октября 1961.

⁴ Скорино Людмила Ивановна — сотрудник журнала «Знамя», помогала В. Шаламову «пробивать» печатанье стихов.

ПЕРЕПИСКА С А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Ноябрь, 1962 г.

Дорогой Александр Исаевич!

Я две ночи не спал — читал повесть¹, перечитывал, вспоминал...

Повесть — как стихи — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед — все, что идет с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесет только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней — ее ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20—30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» — «Да, одиннадцатый». — «Это где повесть о лагерях?» — «Да, да!» — «А где Вы взяли, где купили?»

Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь — школа отрицательная — даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей ее глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это — лагерь с точки зрения лагерного «работяги» — который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это — не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом

В повести все достоверно. Это лагерь «легкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан, и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как бе-

лый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В службе здесь в/н надзиратели (надзиратель на Ижме — бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно вылить через борт, около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы — это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере. Есть еще одно огромное достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне еще не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем — и в интересе к «красилям»², и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — все это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он — крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом, Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова.

Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы — высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой, и т. д. Это — глубоко верно. Это — одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу — так выживу, а нет — не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только не выжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести — сотни — других, не новых, не точных, вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли немислимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и — необходимо.

Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноценное место, и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.

Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алешку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу — сумма многолетних, многочисленных наблюдений — что, если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохранили и сохраняли неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других «групп населения», но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.

В Вашем лагере хорошие люди — эстонцы. Правда, они еще горя не видели — у них есть табак, еда. Голо-

дать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским — там все народ крупный, рослый, а паек ведь одинаковый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да еще потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека — эта мерзость встречается всегда.

Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то неоднократно), ибо хуже того, что приказывать другим работать, хуже такой должности, в моем понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов — не только голодных, бессильных стариков, инвалидов, а всяких — ибо для того, чтобы дойти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесяти-шестидесятиградусном морозе, надо очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести все, что придется. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг — нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провел от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на сигарку и закурил.

Но это — личное мнение мое. Таких бригадиров, как изображенный Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же, в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и

логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов — все верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В споре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал. Но об этом — позже.

В начале Вашей повести сказано: закон — тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто ходит к «куму». В сущности об этом — и написана вся повесть. Но это — бригадирская мораль. Опытный бригадир Куземин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог ее сказать), что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларек и т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живешь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держисься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так — тяжелую работу плохо, а легкую, усиленную — хорошо. Конечно, когда ты «доплыл» и о качестве легкой работы не может быть речи, но закон верен, спасителен.

Каким-то концом это новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали — но только они могли <спасти> и спасали людей.

Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере — это приказывать другим работать. Бригадир — это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.

Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьет кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще это наблюдение, что в лагерях бьют

лишь людей ослабевших, очень верно, и в повести показано хорошо.

Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадир и помбригадир размяться — в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе — всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа еще не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга. Эта детскость души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), все это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты — не хранители законов, а просто более опытные. Тяжелый труд делают новички — Алешка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригады и отбывают несколько сроков.

В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене — у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг — фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец, он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездум-

но, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы — такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или в 1938 — для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу — две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков, бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.

В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырнадцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы — такая работа — это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники — рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безногих, слепых, стариков — без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусники в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939—1947 — 52°, а после 1947 года — 46°. Все эти мои замечания, ясное дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные — страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.

Вернемся к повести. Повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, пережитого — первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста³ или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патриотических разговоров о

войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря — и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги внутренней ее жизни определялась, в конечном счете, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина — неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатары — нелюди.

В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.

Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы.

Блатарей в Вашем лагере нет!

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.

Кот!

Махорку меряют стаканом!

Не таскают к следователю.

Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.

Не бьют.

Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле.

Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона, к осени оставались только бригадир и дневальный, а все остальные за это время ушли или «под сопку», или в больницу, или в другие еще работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны: по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года — списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть, или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев

бригадира, конвоира, нарядчика, надзирателя, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.

Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчет бесконечный — все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что *украли* мало — верна, точна. Кстати, во время войны, когда шел белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трехсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.

Именно КЭ-460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется з/к, зэки, зэкою. Невыжатая тряпка, которую Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне — не чужеродная для Шухова мысль. Здесь автор показывает себя как писателя, чуть отступая от шуховской маски.

Обеден язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

И еще один вопрос, очень важный, решен Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, покрепче!

Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал — толк был один и тот же. Дали срок и так. Притом на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел.

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое не жадный Шухов отдает Алешке. Мы — заработаем. Он — удачлив. На!..

Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагать в ногу

с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас — разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, — очень верна.

Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.

Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после — их было много. Характер очень правдив, очень важен.

Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что все равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра — посмотрим.

О двух потах в горячей работе — очень хорошо.

О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путем. Умирали в лагере не от этого.

Бранящиеся старики — парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — все это великолепно.

Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчеркивает, что там, где живет Шухов, еще нет голода, еще можно жить.

Шепот! «Продстол передернули» и «у кого-то вечером отрежут».

Взятки — очень все верно.

Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши — брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве наращивают заплаты.

Термометр! Все это прекрасно!

В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестерок». Ра-

боту по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжелой работы в забое подчас до утра. Обслуга человека — над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.

В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключенных махоркой через дневального-з<аключенного> по пять рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.

— Дверь притягивай!

Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза — все это верно, важно. Только рыбу едят с костями — это закон. Этот черпак, который дороже всей жизни прошлой, настоящей и будущей — все это выстрадано, пережито и выражено энергично и точно.

Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствия еды. Это — всеобщий гипнотический закон.

В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой? Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдет и двух недель, как вы это поймете и станете делать точно так же». Так и случилось.

Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков — мечта всякого з<аключенного>. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о железный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз) и т. д.

Минута перед разводом — очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавался на руки, всегда в чае.

Вообще весь Шухов в каждой сцене очень хорош, очень правдив.

Цезарь Маркович — вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернется на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.

«Шмон» утренний и вечерний — великолепен.

Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться впе-

ред. Все, кто умолчит об этом, исказит правду эту — подлецы.

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма!» Вот как!

Традиционное предупреждение конвоя, которое всякий з<аключенный> выучил наизусть. Называлось (у нас): «шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде.

Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчет «красилей» — ярче картины не бывало.

Все в повести этой верно, все правда.

Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту не надо видеть. Но уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.

Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.

Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.

В 1958 году (!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что он врет, что он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» И похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.

Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем — ни с докладами, ни с письмами.

Еще раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.

Ваш В. Шаламов.

Со своей стороны я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубли-

ковал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.

Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами⁴. Сопrotивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич.

Все хотелось дожидаться выхода седьмого номера «Нового мира» с рассказом, взглянуть на него уже другими глазами. Ведь рукопись — одно, машинописный текст — другое, журнальный текст — третье, а книга — четвертое. В переиздании «Избранных» опять текст выглядит всегда по-своему.

Восторг мой по поводу «Для пользы дела» усилился. Название рассказа уж очень точно, исчерпывающе, лучше, значительней, удачней, тоньше, важнее назвать нельзя.

Потеря в образе Хабалыгина ощутима, там зажевано важное — размышление Грачикова насчет Хабалыгина, — и очень важный абзац (он весь остался — о коммунистах, которых надо гнать из партии), но как-то повис в воздухе, он был раньше укреплен гораздо лучше. Больших потерь, по-моему, нет, да и для читателя это — не потеря. Во всяком случае, было лучше.

«Для пользы дела», как я уже Вам говорил, — очень тонкая работа, по существу, своеобразное отражение вовсе других не равнозначных событий, авторский ответ на вопросы, которые вовсе не исчерпываются содержанием рассказа.

Главное в рассказе — это глубоко педагогическая мысль, что ложь перед молодежью трижды большее преступление, о том, что энтузиазм, конечно, будет и еще раз. Но... Все это ведь осталось, пострадал только Хабалыгин и суждение насчет «внутреннего капитализма».

Я лежал и с удовольствием вчитывался в пейзаж — в эти белые, быстро летящие облака, в собравшийся дождь, в то, что хоть немного продуло и освежило.

В первом чтении, где сочленения Кнорозова описаны очень хорошо, и левая рука, поддерживающая правую, у Федора Михеевича тоже хороша, я упустил бухгалтершу, которая закусил губу и — вышла.

Поздравляю Вас от всего сердца.

Вчера проделал опыт на том же отрезке улицы, который в ноябре я проходил с одиннадцатым номером «Нового мира», с «Одним днем Ивана Денисовича», когда меня остановили четыре человека: «Вышел журнал? Вышел? С этой повестью? Да? Где Вы взяли?» Нынче прошел тот же путь, держа в руках стеклянную банку с топленым маслом. Спросили: «Где взяли?» только два человека. Мораль: не хлебом единым жив будет человек.

Как Ваша поездка с Натальей Алексеевной на велосипедах? Дороги? Как южные планы? Жду Вас в Москве. Желаю здоровья, силы. Наталье Алексеевне лучший мой привет. Ольга Сергеевна приветствует обоих.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич.

28 августа я сдал новую книжку стихов в «Советском писателе». Не то что она сдана в производство (до этого еще далеко), но рукопись включена в план (сентябрь) и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще — два чтеца кроме Главлита. Экземпляр рукописи «Шелеста листьев» (так называется книжка) я берегу для Вас и Натальи Алексеевны и передам, когда увижу Наталью Алексеевну. Многое Вы знаете, кое-что есть новое. Как и «Огниво», «Шелест листьев» больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это — не тот сборник, который мне хотелось бы иметь.

Книжка пройдет почти все этапы до 10 сентября, вероятно.

Я думал взять с собой в Рязань «воровской материал»⁵, кроме чистой бумаги, как мнение Ваше? Благодарю за приглашение на дачу, я обязательно при всех обстоятельствах приеду. Сердечный мой привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна приветствует Вас обоих.

Ваш В. Шаламов.

Взять «Бутырская тюрьма»⁶, «Подполковник медицинской службы»⁷.

Дорогой Александр Исаевич.

Наталья Алексеевна была у меня, любезный ее разговор я никогда не забуду, и мы сговорились, что я приеду не 9-го, а 11-го. Эта отсрочка вызвана желанием моим ускорить сдачу книжки. Двухлетнее движение подошло к концу (к концу ли), и книжка включена в план сентября. Раньше ее хотели включить в октябре, а я просил во второй квартал, и ее передвинули на сентябрь (это было еще до получения Вашего письма). Я рассчитывал твердо сдать книжку (и сдал) в августе. Но рассчитать сроки редакционного чтения очень трудно, и получиться так, что консультант издательства (главная фигура на моем пути) возьмет книгу только 9-го числа (вместо предполагавшегося 1-го). Я просил его прочесть в один-два дня.

Так что я приеду не 9-го и не 10-го. Как мы сговорились с Натальей Алексеевной, я пришлю телеграмму. Но, может быть, это будет более позднее число, чем 10-е и 11-е.

Теперь о самом сборнике. Помните, при нашей первой встрече в «Новом мире», Вы говорили, что вот теперь пора выпустить хороший сборник. Такой сборник и сейчас выпустить невозможно. Все колымские стихи сняты по требованию редактора. Все остальное, за исключением двух-трех стихотворений, получило приглажку, урезку. Редакторы-лесорубы превращают дремучую тайгу в обыкновенное редколесье, чтоб высшему (политическое, выступающее под флагом поэтического) начальству легко было превратить труды своих сотрудников в респектабельный парк. Еще одну-две статуи захотят в парк поставить. Я пишу все это Вам затем, чтобы Вы прониклись моим настроением. В «почти» входят Главлит и некоторые форс-мажоры. Но там я бессилён, а сейчас хоть и в арьергарде боя, но сражаюсь за каждую строку.

Желаю Вам и Наталье Алексеевне всего самого, самого лучшего.

Я приеду сейчас же, как определится решение, и мое присутствие не будет необходимым. Я мог бы приехать 9-го с тем, чтобы уехать 15-го. Но ведь такой визит хуже, да и беспокойным он будет. Поэтому простите меня за эту вынужденную задержку. Я уже все собрал — вещи, придумал, что взять с собой для работы.

Сердечно Ваш *В. Шаламов*.

Сердечный привет.

Вариант.

На фельдшерских курсах, где я учился, был преподаватель «внутренних болезней» Малинский. Он все нам твердил: «Самое главное в вашей будущей практике — научиться верить больному. Не будет в вас этой веры, медицинский работник из вас не выйдет».

Историю эту припоминаю я сейчас вот по какому <поводу>. Никто (в том числе не исключая и самых близких) не понимает, насколько тяжело (или трудно) и как именно я болен.

После вчерашней подробной и сердечной беседы с Натальей Алексеевной я все же вынужден отказаться от приглашения и к Вам не поеду. И вот почему.

Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней, потребуются, вероятно, и присутствие врача и т. д., а лежать двое-трое суток придется.

Второе. Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного.

Третье, наконец — увы, холода. А поддерживать печи в избе я совершенно неспособен.

Вот все мои очень человеческие доводы против поездки. Не ищите ничего другого, что бы было за этим отказом (как сделал бы Теуш⁸ или Твардовский). Мне очень хотелось поехать. Я уже собираться начал (собрал воровской материал), да и беседы с Вами мне очень интересны, — но, увы, — я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня. Может быть, в будущем году, когда у вас будет более просторная квартира в Рязани.

Желаю Вам успеха, рабочего настроения, пишите.

Ваш *В.Шаламов*.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

21 января 1964 года.

Дорогие Наталья Алексеевна и Александр Исаевич.

Ольга Сергеевна, Сережа⁹ и я от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Новый год — единственная дата, которую я отмечаю.

Желаю Александру Исаевичу успеха и удачи в сложном пасьянсе, который раскладывает Комитет по Ленинским премиям. Казалось бы, какие могут быть сомнения, и все же. Книжку мою, как только выйдет, я сейчас же пришлю. Это — крошечная книжка.

Желаю вам обоим душевного мира, здоровья и покоя, благодарю за доброе слово. Из хорошего настоящего прочел за это время «Джан» Платонова.

Ольга Сергеевна сейчас в Голицыне, так называемом Доме творчества. Это — очень хороший дом.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич.
(РСФСР-СССР)

Теснимые сверху московские литераторы превратятся в эстетов, прославив Платонова, как Кафку, и будут его расхваливать на все возможные лады (не на всевозможные лады), эта тонкость тут необходима. Зачем? Затем, чтобы противопоставить Платонова Солженицыну, которого москвичи не любят, не верят — во что? Под спудом тут: москвичи не хотят верить в возможность появления большого таланта где-то в Рязани и т. д. «Путь наверх» всех поголовно писателей наших, включая, конечно, и Федина — это долгий многолетний путь продвижения со щепочки на щепочку, со ступеньки на ступеньку, взаимная поддержка не только литературная, этот черепаший ход, во время которого черепахи учатся верить, что никаких других путей в литературу нет. Союз писателей — это та вовсе не символическая организационная форма, которая именно этому движению со щепочки на щепочку и соответствует.

Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает — а поэтому у него выискивают всяких блох, готовы принизить, обойти и т. д.

Чуть-чуть самоуверен. Чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека. Вроде Вольфа Мессинга пользуется рукой собеседника — дергает непроизвольно, наверное, это что-то ему говорит. Из-за самоуверенности впадает в слепоту — недостаточно ясно понял и почувствовал причину моего отъезда из Рязани. Но — пустяки все это¹⁰.

Май, 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Вы, наверное, уже вернулись в Рязань. Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи. Комитет по Ленинским премиям не может, просто не может, не назвать Вашу повесть — «Иван Денисович» — лучшее, что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет.

Жму Вашу руку, верю в победу правды. Благодарю за внимательный разбор «Шелеста листьев». Конечно, названные Вами стихотворения (да еще «Ни зверя, ни птицы») — самые важные в сборнике. Что касается «неприемлемых» и чересчур свободного обращения с явлениями природы, то ведь тут дело в том, что поэзия — это всеобщий язык, и тем велика, что любое явление жизни, науки, общества может «перевести» на свое, умножая тем самым свои дороги. Тут дело не в новых «реалиях», как часто любят выражаться, — а в желании и возможности освоить любой жизненный материал (кроме порнографии, что ли). Поэзия — это мир всеобщих соответствий, и именно поэтому развитие ее безгранично.

Поговорим при случае. Знаете, кто у меня был недавно? Варпаховский¹¹. Я ведь как-то говорил, что знаю его по Колыме. Мы ехали в одном этапе в 1942 году в спецзону «Джелгала» — один из сталинских Освенцимов того времени. Меня туда довели, там и осудили через несколько месяцев. (На десять лет.) Для этого, наверное, и везли. А Варпаховского отстояли на последней ночевке этапа его колымские друзья. Сейчас он приехал ко мне за «Колымскими рассказами» — где-то услышал о них, и я ему дал читать. Я говорю:

— Вы, Леонид Викторович, держали ведь в руках отличную пьесу «Свеча на ветру» Солженицына.

— Я читал. Мне показалось, похоже на Леонида Андреева. Вот где бы прочесть «Олень и Шалашовка»? У Вас нет?

— Нет. А на Андреева походить плохо?

— Да. Сила Солженицына в его реализме. Не правда ли?

— Я, Леонид Викторович, не очень твердо вижу границы реализма в любом искусстве. Японский график нарисовал Хиросиму — реализм или нет?

И еще у меня есть для Вас разговор, но — для личной встречи.

Привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Ольга Сергеевна и Сережа шлют свой привет.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

1 ноября 1964 года.

Дорогой Александр Исаевич!

Сердечно был рад получить Ваше письмо. Провокация с трибуны по Вашему адресу¹² — настолько типичное явление растления сталинских времен и столько вызывает в памяти подобных же преступлений безнаказанных, ненаказуемых, виденных во множестве в течение десятков лет — так живо я их вспомнил с огромной душевной тяжестью. Будем надеяться, что с этим покончат все же.

О «Свече на ветру» у меня мнение особое. Это — не неудача Ваша. «Свеча на ветру» ставит и решает те же вопросы, что и в других Ваших вещах — но в особой манере, и эта особая манера — родилась не в андреевской тени.

Рассказы мои по Москве ходят, я слышал. Дело ведь в полной невозможности работать регулярно из-за головных болей и т. д. Конечно, я не оставляю и не оставляю работы этой. Но идет она плохо, туго. Очередная задача моя описать «Джелгалу», всю Колымскую спецзону (один из сталинских Освенцимов), где я был несколько месяцев и где меня судили. Я недавно столкнулся с очень интересным фактом. Я пытался оформить десятилетний подземный стаж (чтобы с инвалидной уйти на возрастную пенсию), но мне сообщили из Магадана, что в горных управлениях (по их сведениям) я проработал 6 лет и 4 месяца, поэтому просьба о выдаче справки за 10 лет отклоняется¹³. Одновременно я узнал вот что. Оказывается, уничтожены все «дела» заключенных, все архивы лагерей, и никаких сведений о начальниках, следователях, конвоирах тех лет в Магадане найти нельзя. Нельзя найти ни одного из многих мемуарандумов, которыми было переполнено мое толстущее дело. Операция по уничтожению документов произошла между 1953 и 1956 годом. Официально мне дали ответ: сведений о характере Вашей работы не сохранилось.

Такая же история повторена и на Воркуте, так на двух самых крупных спецлагерях Сталина.

Приезжайте, жду Вас, в квартире у нас ремонт, Ольга Сергеевна и Сережа на даче, но иногда приезжают. Я же — все время дома — могу только уйти в магазин.

Сердечный привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна <шлет> сердечный привет вам обоим.

Года два назад журнал «Знамя» предложил мне написать воспоминания «Двадцатые годы», Москва 20-х годов. Я написал пять листов за неделю. Тема — великолепна, ибо в двадцатых годах зарождение всех благоденствий и всех преступлений будущего. Но я брал чисто литературный аспект. Печатать эту вещь не стали, и рукопись лежит в журнале по сей день¹⁴.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Москва, 15 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

В Вашем письме об «Анне Ивановне»¹⁵ есть одна фраза, одно замечание, которое я оставил на потом, чтобы подробнее Вам ответить.

Вы написали, что лучше бы у героя «Анны Ивановны» вместо тетради стихов было бы что-нибудь другое. Тетрадку сделать чем-то вроде чертежей Кибальчича было бы очень легко. Но нужно совсем не это. Мне кажется, что традиционно как раз описание героизма деятелей науки, техники и т. д. Традиционна боязнь изобразить человека искусства наиболее чутким (ведь это так и есть и иначе быть не может). Второе — я знаю несколько случаев самых тяжелых наказаний за литературную деятельность в лагере. Сюжет «Анны Ивановны» подкреплен живой правдой о мертвых, убитых людях.

Не говоря уж о том, что преступление писать стихи — одно из худших лагерных преступлений. Наказаний за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше. Стало быть, жизненной правды тут нет недостатка или искажения.

Но суть вопроса гораздо шире, глубже лагерного горизонта, сюжетного хода пьесы. Дело в том, все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалифика-

ции) всегда «на подсосе», на прикорме у правительства при любой власти. Они и страдают гораздо меньше, да и духовная жизнь их идет несколько в стороне от столбовой дороги страстей. Стоит припомнить недавний ответ профессора Китайгородского¹⁶ на анкету «Вопросов литературы». События, во время которых бедные космонавты оказались начисто забыты, дают нам истинный масштаб литературы, жизни и науки¹⁷. Как ни требует внимания инстанций мистерия «Голубой крест» — в свистопляске идеологических отраслей требовалось иное — «Голубая кровь».

Кто же истинный герой? Я считаю, что долг каждого честного читателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба Катона с «идеологией» из той же области.

Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова¹⁸, может быть.

Профессор Китайгородский¹⁹ в ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» сообщил, что физики ничего не читают — ни классиков, ни современников — ничего. И не нуждаются в чтении. Все это Китайгородский говорит от «имени», постоянно поминая «мы», у «нас» и т. д. Он говорит, что ученые читают только детективы и на психологический роман у них не хватает духовных сил. Это признание значит, что ученые не читают ничего, ибо чтение детективов — это так называемое «отвлекающее» чтение, необходимое каждому писателю, каждому ученому, каждому работнику искусств. Суть тут в том, что мозг работает на пониженных оборотах, но не выключается совсем (как во время какой-нибудь лодочной экскурсии или пилки дров). Детективы как отвлекающее чтение читал и Хемингуэй и очень дельно рассказал об этом. Для очень многих (например, Грин) таким отвлекающим чтением является чтение энциклопедических словарей, справочников и т. д. Я тоже читаю справочники с этой же целью. Есть еще вид писательского чтения — это так называемое «стимулирующее» чтение (Пастернак читал классиков, В.М. Инбер — Диккенса, Вы читаете словарь Даля). Для работы Вашей словарь Даля совершенно не нужен, но как известного рода допинг — допустим. Допустим, пойдут дела домашние. Недавно мне пришло письмо из Воло-

годского отделения Союза писателей с просьбой дать книгу, написать «писательскую» автобиографию. Писательская автобиография должна (по тексту письма) быть написана «сочно», «образно». Честное слово, так и пишут, письмо у меня.

Вологда никогда не обращалась ко мне. В рассказах, которые я написал в тридцатых годах, были вещи и на вологодском материале — никто оттуда ничего не говорил, не писал. С 1957 года печатают мои стихотворения, указывая, что автор — вологжанин. Никаких рецензий в вологодской газете. В 1961 году выходит «Огниво», имеет рецензии в нескольких городах, только не в Вологде. В 1962 году я сидел в кабинете одного ответственного товарища в «Литературной газете». Товарищ этот говорит: «Слушайте, Варлам Тихонович, хотите я Вам устрою книжку стихов?» — Еще бы.

Берет телефон, заказывает Вологду, и через пять минут говорит не то с Мальковым, не то с Малковым²⁰. Завтра вологодская книжка удастся.

— Слушайте телефон.

— Я слушать не могу.

И каждый ответ он мне повторяет шепотом.

— Нет, это очень трудно, у нас своих много, а Вы еще с каким-то Шаламовым. Надо, чтобы написал предисловие какой-нибудь московский писатель.

— Каждый московский писатель будет считать долгом дать предисловие к книжке Шаламова.

— Ну, хорошо, мы напишем ему сами. Дайте его адрес. — Записывается мой адрес, и все.

Моему доброту было очень стыдно встречаться со мной.

Выход «Шелеста листьев» не произвел на Вологду никакого впечатления. И только после рецензии Инбер в «Новом мире» они вдруг обратились ко мне с просьбой написать «сочно» и «образно» и прислать две книжки уже изданных, из которых они выберут.

Я хотел сказать, что разговор начат не с того конца, что они должны бы просить у меня ненапечатанных или прозу, но передумал и написал просто короткий отказ.

Я тут увлекся рассказом о моих вологодских разговорах и упустил главное, что я хотел Вам сказать. Я начал свою автобиографию и написал уже листа четыре. Хочу показать Вам. Это вещь не для Вологды — велика

по объему, так сказать, называется «Несколько моих жизней»²¹.

Не претенциозно название? Прочтете?

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Москва, 15 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Написал Вам целых два письма, но из-за их не-транспортабельности, негабаритное в чисто физическом смысле — не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече²². Там есть мои замечания на Ваше чтение «по долгу службы».

Желаю здоровья, хорошей работы, успеха «Свече на ветру».

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич!

Очень рад был получить Ваше письмо. Жаль только, что Вы сузили тему разговора — за бортом осталась наиболее важная часть. Но и в оставшемся «оттенки» выражены явственно и итоги обсуждения «подбивать» еще рано.

Долг писателя — героизация именно судеб интеллигентов, писателей, поэтов. Они имеют на это право несравненно большее, чем какие-либо другие «прослойки» общества. (Не следует думать, что другие прослойки этого права не имеют.) Дело в степени, в сравнении, в нравственном долге общества. Противопоставление судеб гуманитарной и технической интеллигенции тут неизбежно — слишком велика разница «ущерба». Хорошо Вам известные приключения господина Рамзина²³, который позволил себе принять участие в известной комедии — с орденоносным «хеппи-эндом» и ведром прописной морали, вылитой по этому поводу на головы зрителей и слушателей, — это единственный пример «ужасного», «крайнего» наказания «вольнодумного» представителя мира науки и техники. Все другие отделивались еще легче (шахтинцы²⁴ и т. д.).

С поэтами и писателями был другой разговор. Мандельштам, Гумилев, Пильняк, Бабель (и сотни других, чьи имена не записаны еще на мраморную доску Союза писателей, хотя их явно больше, чем погибших в войну, и по количеству и по качеству) — были уничтожены сразу. Хотя любой прямоточный котел и любой космический корабль в миллион раз стоят меньше, чем стихи Мандельштама.

Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама — неизмеримо дороже людям, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию. Здесь суть вопроса — «оттенки». Именно так должен быть поставлен и решен этот вопрос. Это — нравственный долг общества и говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы «художник рисовал собственное ателье». Ведь художник-то убит в своем ателье.

В вопросе об «ателье» Вы ошибаетесь, Александр Исаевич, даже если взять этот вопрос в Вашем понимании. История литературы, да и история человеческой души знает не одно «ателье» подобного рода, которое рисовал художник, «Детство и отрочество», например. Разве это не «ателье», которое описывает художник Толстой. Конечно, «ателье». В прозе таких «ателье» очень много — их воспитывающая роль неоспорима.

В поэзии примеры привести столь же легко.

В трюмо испаряется чашка какао,
Кольшется тюль — и прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо²⁵.

«Ателье»? Ателье. Дача. И в то же время эти строки — высочайшая вершина русской поэзии XX века, века очень богатого в русской литературе, украшенного немалым количеством блестящих имен.

Это — решение вопроса в Вашем понимании «ателье». Для меня же «ателье» художника — это его душа, его личный опыт, отдача скопленного всей жизнью, и в чем это будет выражено, к чему будет привлечено внимание — не суть важно. Будет талант, будет и новизна. Будет новизна, неожиданность — будет и победа. У искусства много начал, но цели его — едины.

Недостаточно правильную позицию, мне кажется, Вы занимаете и в отношении к современным «бытописателям», вроде Шелеста²⁶ и Алдан-Семенова²⁷. Тут аргумент «правды» и «неправды» недостаточен. И вот почему. Ведь Алдан-Семенов тоже может сказать, что он, Алдан-Семенов, описывает «пережитое» правдиво, а Солженицын — лжет. Алдан-Семенов скажет: кто дал Солженицыну право судить о том, что в лагере верно и что неверно, если Солженицын лагеря не знает (потому-то и потому-то), а он, Алдан-Семенов, был столько-то лет на Колыме (на Колыме!) и может представить документы, вместе со справкой о реабилитации. Ведь с представлением документов²⁸ уже был казус, о котором Вы когда-то мне писали. На мой взгляд, Вам (или тем, кто представлял Ваши интересы) вовсе не нужно было представлять какие-то документы о своем заключении. Действовать так — значит, вытолкать обоих авторов из литературы — пусть ведут поединок на газетных страницах. Где же истина? Где обе правды, о которых так хорошо знал XIX век России — правда-истина и правда-справедливость?

Почему Вам кажется, что лжет Алдан-Семенов²⁹ или Дьяков³⁰, а не лжет Шаламов в его «Колымских рассказах»?

Вот в «Вагоне» Ажаев³¹, классик литературы подобного рода, включился в разработку золотых рудников, написав «Вагон» — где герои-партийцы избивают уркачей и играют в «жучка» в вагоне, хотя с тех пор как существует каторга и «жучок» — в вагонах в «жучка» не играют. Ну, Ажаев и удостоверений предъявлять не будет. Это просто рыцарь Золотого руна.

Вы меня простите, что я поставил Ваше имя рядом с Алдан-Семеновым, но это на секунду, для иллюстрации ошибочной Вашей мысли. Пусть о «правде» и «неправде» спорят не писатели. Для писателя разговор может идти о художественной беспомощности, о злонамеренном использовании темы, спекуляции на чужой крови, о том, что Алдан-Семенов, сочиняя свои небылицы, не может говорить от имени лагерников — не в силу своего личного опыта, а из-за своей бездарности. Тут опять-таки вопрос таланта, Александр Исаевич. Исполнение писательского долга и связано именно с талантом. Именно поэтому важно, скажем, Ваше мнение, а не мнение Алдан-Семенова. Или — шире: важно мнение Пушкина о Борисе Годунове, который был исторически,

фактически не таким, не тем, как изобразил его Пушкин. Талант — это очень серьезная ответственность. Ну — это несколько другой вопрос.

Я бы ответил на Ваш вопрос так. Этим людям-лжецам: Шелесту, Алдан-Семенову, Серебряковой³² не надо было давать дорогу в художественную литературу. Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия — искусство.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич!

Рад был получить от Вас письмо. На Асеевском вечере выступить не пришлось — меня просто известили, что вечер переносится, а потом из газет я узнал, что вечер состоялся. «Маленькие поэмы»³³ будут Вас ждать и вовсе не на «временно». Радуюсь известию о «Свече на ветру»³⁴. На мой взгляд, ничего переделывать там не надо. О произведениях Дьякова, Шелеста и Алдан-Семенова пишу Вам подробнее, хотя все эти авторы заслуживают лишь краткого, но крепкого слова по их адресу.

Когда выходил «Иван Денисович», предполагалось: либо повесть будет ледоколом, который откроет дорогу правде к обществу, к молодежи, растолкает лед и в очистившуюся воду войдут новые многочисленные корабли. Или — публикация «Ивана Денисовича» лишь крайняя точка размаха маятника, который начнет ход назад. И в этом, горьком, втором случае следовало ожидать мутной волны ловкачей на все руки, которые будут торговать собственной кровью (а главное — чужой, что гораздо хуже).

В публику допущены три «бывалых» человека — Алдан-Семенов, Шелест и Дьяков. Сомнительный опыт Галины Серебряковой тут явно не годился. Что касается авторов нескольких сочинений на тему «люди остаются людьми», то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого и созданы. А вот могут ли люди терпеть больше, чем любое животное, — главная закономерность тридцать восьмого года — это, по-видимому, авторами не имелось в виду.

Алдан-Семенов — личность хорошо известная в журнально-газетных кругах. За всевозможные «искажения», разнообразную «клюкву» его упрекали не раз. В одном его только никогда не упрекали: в недостаточном подхалимаже. При полном отсутствии таланта и вкуса это качество позволило «создать» (как выражаются с некоторых пор) «Барельеф на скале».

Мне на глаза попала большая статья, напечатанная в «Магаданской правде», где сравниваются произведения Дьякова и Алдан-Семенова. Отдается предпочтение Дьякову, как достигшему истинно художественных вершин и т. д., а Алдан-Семенов критикуется за то, что изобразил начальника не типичным, ибо лагерные работы после войны были упорядочены, лагеря выведены из-под контроля начальников (далее перечисляются «пункты», из которых явствует осведомленность автора рецензии в перипетиях лагерной организации тех лет³⁵). Алдан-Семенова хвалят за то, что он уделил внимание «барельефу» — как явлению, по существу «имевшему место» в тех или иных формах.

Алдан-Семенов Вам кажется «расконвоированным». Тут вот в чем дело. Лагерная Колыма — это огромный организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. На территории этой в худшие времена было до 800—900 тысяч заключенных. (Поменее, стало быть, Дмитлага, где во времена Москанала было 1.200.000 человек списочного состава.)

На Колыме тех времен было несколько исполинских горнопромышленных управлений (Северное, Южное, Юго-Западное, Западное, Тенькинское, Чай-Убинское и т. д.), где были золотые прииски, оловянные рудники и таинственные места разработки «малого металла». На золоте рабочий день был летом четырнадцать часов (и норма исчислялась из 14 часов). Летом не было никаких выходных дней, где «списочный состав» каждой забойной бригады менялся в течение золотого сезона несколько раз — «людские отходы» извергались — палками, прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу, под сопку, в инвалидные лагеря. На смену им бросали новичков из-за моря, с «этапа» без всяких ограничений. Выполнение плана по золоту обеспечивалось любой ценой. Списочный состав бригад (где не было никого живого, кроме бригадиров) поддерживался на «плановом уровне».

Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует. Ведь то, что на Колыме есть золо-

то, — известно триста лет. Но никогда и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых условиях. В этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж. Оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко и не только «выбивать» из заключенных план, но и заставить арестантов подписываться на займы (это делалось регулярно). И не только на займы, но было предложение собирать подписи под Стокгольмским воззванием.

Большого презрения к человеку, большого презрения к труду нельзя встретить. Поэтому те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Попасть на золото — значило попасть в могилу. Случайность судьбы, когда список разрезают надвое — одни идут умирать, а другим достается жизнь и работа, которую можно вынести, перенести, пережить. И разве не каждый день такой список разрезают на две части. Список судьбы каждого. Большею частью — это случайность. Но иногда может быть приложено и волевое усилие — как я и показываю, например, в «Тифозном карантине»³⁶, рассказе, заключающем сборник.

Спасение, избавление от золота — только инвалидность (здесь все саморубы, самострелы — им имя легион). Хотя саморубы юридически не пользуются статусом инвалида — фактически заставить его работать нельзя.

Для определения инвалидности, дающей право на «инвалидность», нужно решение, протокол Центральной врачебной комиссии при Санотделе управления, в Магадане. В остальных случаях все больницы возвращают инвалидов на старые места.

На золотых приисках сосредоточено 90% лагерного населения Колымы.

Второе по величине управление — Дорожное. Центральная «трасса» Колымы — около 2000 километров. Эта дорога имеет десятки ответвлений, подъездных путей к приискам, морским портам и полярным аэродромам.

Дорожники строят «шоссе». Там все «шоссе» — т. н. «американка» (легкое покрытие и постоянный бдительный уход-ремонт). Все дорожники (размещенные по всей территории края) делятся на две большие группы: строителей и эксплуатационников. Работа строителей в дорожных управлениях неизмеримо легче работы на зо-

лоте. (Здесь кадры пополняются только в исключительных случаях, стало быть надо беречь людей, как берегут скот, и сам режим другой, чем на приисках). Работа дорожников гораздо легче работы на золоте, хотя тут тоже грунт, тачка и кайло. Эксплуатационники (в мое время большинство их были «вольняшки», т. е. бывшие заключенные) действуют лопатой и метлой.

Строители-дорожники — разностатейны, малосрочны, но все без московских «спецуказаний» «об использовании только на тяжелых физических работах» и т. д. В дорожных управлениях нет промывочного сезона, нет «металла». Там десятичасовой рабочий день, регулярные выходные (три в месяц). И хоть кормят дорожников «по идее» хуже, чем работников золотых приисков, на деле все оказывается наоборот. Хлеб давался тут всем одинаково — независимо от выработки — «восьмисотка». Блатных по понятным причинам среди дорожников мало, а если и есть — на «конвойных» дорожных командировках. Такие командировки существуют (как средство устрашения остальных дорожников) на тех участках, где «фронт пошире», в особых штрафных зонах, где состав постоянно менялся. Остальные дорожники «расконвоированы». Вот в этом-то управлении где-то около Аркагалы и работал сколько-то лет Алдан-Семенов. Он — 1) расконвоированный, 2) к работе на золоте он не имеет ни малейшего отношения.

Кроме Дорожного управления на Колыме существует Угольное управление (Дальстройуголь), где на отдельных шахтах в разных местах Колымы живут и работают люди опять-таки по-своему, по-угольному, а не по-«золотому». Неизмеримо легче золотого. Есть речное управление — obsлуга пароходства на Колыме и Индигирке. Там был вообще рай. Есть геолого-разведочные управления (так называемые ГРУ), где только живут многочисленные расконвоированные с «сухим пайком». Там общение в/н в/н и з/к з/к гораздо теснее, чем на золоте, ибо в глухих разведочных закоулках иногда, когда нет наблюдающего стукаческого ока и власти центральных инструкций — люди и остаются людьми.

Есть управление «второго металла», оловянный рудник касситерита (Бутугычаг, Валькумей), руды, которую все зовут «костерит». Есть управления секретные, где заключенные получают зачеты семь дней за день. Это относится к урану, к танталу, к вольфраму. Заклю-

ченных на этих предприятиях мало: тут действуют контингента «В», «Г», «Д» и так далее.

Есть управления совхозов, где заключенные живут дольше, какими бы слабыми они туда ни попали, — там, как и в Мариинских лагерях, всегда находится что-то такое, что можно есть — зерна пшеницы, свекла, картофель, капуста. Попадающие туда считают (и справедливо) себя счастливыми, в управления совхозов входят и большие рыбаки на всем Охотском побережье. Попасть туда — достаточно, чтобы жить, а не умереть. Вот генерал Горбатов³⁷ на такую спасительную рыбалку и попал после больницы на 23 километре Магаданской трассы, той самой больницы, в которой я — через шесть лет после того, как там побывал инвалид Горбатов — кончил фельдшерские курсы, спасшие мне жизнь.

Я был и на Оле (где работал Горбатов) уже в/н фельдшером в 1952 году, но моя анкета не подошла для «национального района» (тоже особая жизнь на Колыме — у эвенков, юкагиров, якутов, чукчей — где своя, но очень особенная советская власть, не входящая в руки Дальстроя). Заключенные там тоже есть — единицами, случайностью занесенные.

Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключенных там очень много. И шофера и автослесари и т. д. Но все это, конечно, — не золото.

Есть управления подсобными предприятиями — всевозможными мастерскими «пошива», отнюдь не «индпошива». — Если для высадки в Нормандии требовалось астрономическое количество солдатских пуговиц, для чего пришлось создавать в Англии большую организацию, — то сколько надо рабочих, чтобы шить непрерывно (а главное, непрерывно чинить) известные лагерные «бурки» из старых брюк и телогреек.

Есть заводы ремонтные, которые давно перестали и быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки (чтоб освободить Колыму от «импортной» зависимости в виде машин с «материка»).

Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.

Словом, на Колыме важна не только «общая» удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или по-

лучить «кант», но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная особая жизнь.

Страшнее всего, зловещее всего это — золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет. Если в других местах были месяцы трудностей или есть штрафзоны непереносимые, то на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления. Загнать на золото — вот чем грозят везде, во всех управлениях. А работа на золотых приисках — это 90% всех людей Колымы. Для этих забоев по всем управлениям непрерывно работают комиссии, чтобы вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.

В этом непрерывном страхе — заключенных за свою судьбу, а начальства за свою недостаточную бдительность — тоже один из важных растлевающих моментов лагерной жизни.

Теперь о генерале Горбатове, о четвертом нашем «мемуаристе». Его воспоминания — самое правдивое, самое честное о Колыме, что я читал. Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» — когда его привезли на Колыму в 1939 году. Посчитайте время с момента, когда он приехал и начал работу в забое и до того часа, когда он заболел и был отправлен, как необратимый инвалид в Магадан (на 23-й км, в больницу). Там была Центральная больница для заключенных. Там я кончил фельдшерские курсы и об этих курсах написал (не тогда, конечно, а много позднее). Посчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большое 1 1/2 месяца и был выброшен из забоя навечно, как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала. Горбатов приехал на Колыму «к шапочному разбору» и все же был напуган, ошеломлен навек. О самом прииске «Мальдяк» Горбатов недостаточно осведомлен. Это — большой прииск, а Горбатов был на одном из участков «Мальдяка», где было всего 800 человек с фельдшером з/к. Начальником санчасти прииска «Мальдяк» была в то время молодая женщина, молодая врачиха Татьяна Репьева, которой колымская ее административная власть и офицерские пайки так понравились, что она осталась там на всю жизнь. Еще год-два назад ей к 25-летию Дальстроя вы-

ходили какой-то важный орден. Список награжденных печатался в «Правде».

Горбатов и о ворах правдиво написал, об их лживости, об их правилах нравственности в отношении фраеров, об открытом разбое.

Попасть в то или иное управление — случайность. Конечно, если не иметь в виду всевозможных «спецкарт», «разработок» и «меморандумов». Но каждый бывший заключенный, желающий говорить от имени лагерной Колымы, не имеет права забыть о том, что творилось на золоте — все равно — дорожник ли он, расконвоированный или лагерный стукач, работающий статистиком в КВЧ. Ведь никакого секрета, никакой тайны приисков не было. Кроме того, для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки — палки вполне реальной, палки отнюдь не в переносном смысле, как некий род тонкого духовного принуждения. Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваления такого труда худшим унижением человека, худшим видом духовного растрепания? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно тяжелой физической подневольной работы.

Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

В «Колымских рассказах» я старался указать на важные закономерности человеческого поведения, которые неизбежно возникают в результате тяжелой работы на морозе, побоев, голода и холода.

Блатари (мир, который подлежит беспощадному уничтожению) за свое нежелание работать заслуживали бы уважения, если бы уклонения их от работы не оплачивались щедро чужой кровью, кровью несчастных «фраеров».

Этот важный вопрос Горбатов решает так: «тyani, пока можешь». Кинематографическое движение «теней с бревнами на плечах», изображенное Горбатовым как образец лагерного труда полумертвых людей (радующихся, что они — не в золотом забое), весьма выразительно. Такое «тyani, пока можешь» — очень далеко от

прославления лагерного физического труда, от героизма принудительного труда, от лизания палки.

Я тоже «тянул, пока мог», но я ненавижу этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту. В лизанье лагерной палки ничего, кроме глубочайшего унижения, для человека нет.

В статье Карякина³⁸ как раз этот вопрос трактовался неверно. И это и есть главная ошибка статьи. Но, к счастью, это ошибка. Если бы «Иван Денисович» был героизацией принудительного труда — автору этой повести перестали бы подавать руку.

Это — один из главных вопросов лагерной темы. Я готов обсудить его в любое время и в любом обществе.

На «принудительный труд» в лагерях (в Соловецкое время) всегда делалась скидка (почему-то в 40%, как я отлично помню). Однако «перековка» и все, что известно по имени «Беломорканала», показали, что заключенный может работать лучше и больше вольного, если установить шкалу «желудка» — принцип, всегда сохраняющийся в лагерях, проверенный многолетним опытом, и разработать систему зачета рабочих дней. Первое — более важно. Второе — менее важно. Тут уж затронуты какие-то важные, донные элементы человеческой души, о которых животные и понятия не имеют. Лошади не подписываются на займы, не ставят копытом отгиски под Стокгольмским воззванием.

«Перековка» была важным этапом на пути растления душ людей.

Когда подлеца сажают ни за что в тюрьму (что нередко случалось в сталинское время, ибо хватали всех, и подлец не всегда успевал увернуться), он думает, что только он один в камере — невинный, а все остальные — враги народа и так далее. Этим подлец отличается от порядочного человека, который рассуждает в тюрьме так: если я невинно мог попасть, то ведь и с моим соседом могло случиться то же самое. Ручьев и Дьяков — представители первой группы, а Горбатов — второй. Как ни наивен генерал, который усматривает причины растления в легкости сопротивления пыткам. Держались бы, дескать, и всех освободили бы. Нет, те, кто держался, — тоже умерли, да и невероятно думать, что сопротивление пыткам есть свидетельство особой духовной ценности Горбатова. Я тоже не подписывал ничего, что могло бы «наказываться», но меня и не били на допросах. (В лагере били несчетное количество раз, но следствия, оба следст-

вия прошли без побоев.) И я не знаю, как бы я держал себя, если бы мне иголки запускали под ногти. В лагере мне довелось встретить человека, исповедовавшего в этом вопросе одну и ту же веру с Горбатовым. Это был начальник Нижегородского НКВД, получивший срок. В отличие от огромного большинства следователей, прокуроров, партийных работников, этот начальник не скрывал того, чем он занимался на воле. Наоборот. Он вязывался во всякий спор по этому поводу (я встречался с ним где-то на транзите, а не на прииске). И кричал: «Ах, ты подписал ложные показания, которые мы, работники НКВД, выдумали. Подписал — значит, ты и есть враг. Ты путаешь следствие, лжешь Советской власти. Если бы не был враг, ты должен был терпеть... Бьют тебя, а ты терпи, не позорь Советскую власть».

Я, помню, слушал, слушал этого господина, а потом сказал: «Вот слушаю тебя и не знаю, что делать — не то смеяться, не то дать тебе по роже. Второе, пожалуй, правильнее».

Вот это единственное мое критическое замечание в адрес мемуариста Горбатова.

Возвращаясь к мемуаристам первой группы. Желание обязательно изобразить «устоявших». Это тоже вид растления духовного. Растление лагерное многообразно. Когда-то в «Известиях» я прочел шелестовский «Самородок» и поразился наглости и беззастенчивости именно с фактической его стороны. Ведь за хранение самородков расстреливали на Колыме, называя это «хищением металла», и вопрос о том, сдавать самородок или не сдавать — раз его нашли и увидели четыре человека (или три, не помню), — не мог задать никто, кроме стукача. Все эти авторы — Дьяков, Шелест и Алдан-Семенов — бездарные люди. Их произведения бездарны, а значит, антихудожественны. И большое горе, нелепость, обида какая-то в том, что Вам и мне приходится читать эти рассказы «по долгу службы» и определять — соответствует ли этот антихудожественный бред фактам или нет? Неужели для массового читателя достаточно простого упоминания о событиях, чтобы сейчас же возвести это произведение в рамки художественной литературы, художественной прозы. Это вопрос очень серьезный, ведущий очень далеко. Неужели мне, который еще в молодости старался понять для себя тело и душу рассказа, как художественной формы, и казалось, понял, для чего у Мопассана в его рассказе «Маде-

муазель Фифи» льет беспрерывно дождь, крупный руанский дождь — неужели все это никому не нужно, а достаточно составить список преступлений и список благодеяний и, не исправляя ни стиля, ни языка, — опубликовать, пускать в печать. Ведь у моих стихов и моих рассказов есть какое-то стилевое единство, над выработкой которого пришлось много поработать, пока я не почувствовал, что явилось свое лицо, свое видение мира. Значит, не надо быть Чеховым, Достоевским, Толстым, Пушкиным, не надо мучиться вопросом «выражения» — ибо для читателя ничего не надо, кроме разнообразных Алдан-Семеновых, Дьяковых и Шелестов.

Почему мы — Вы и я должны тратить время на чтение этих произведений, на оценку их «фактического» содержания? Если читатель «принимает» такие произведения, то, значит, искусство, литература не нужны людям вовсе.

Вот, пожалуй, и все из самого главного, что захотелось мне сказать Вам по поводу Вашего впечатления от чтения «по долгу службы».

Прошу прощения, что письмо затянулось. Желаю Вам здоровья, работы хорошей. Ни пуха, ни пера роману³⁹.

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Москва, 29 мая 1965 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Недавно мне пришлось познакомиться с мемуаром «Крутой подъем»⁴⁰ и встретиться с его автором, некой Гинзбург. Твардовского не обманывает чутье, когда он отказывается печатать это произведение, как Вы мне рассказывали. Со стороны чисто литературной — это не писательская вещь. Это — журналистская скоропись, претенциозная мазня. Чего стоят стихотворные эпиграфы к каждой главе? Материал такого рода не может иметь стихотворных эпиграфов, но вкус автора воспитан на женских альбомах провинциальных гимназий. Но дело, конечно, не в стихах и не в полной неспособности дать картину, оценить и т. д. Не в отсутствии скромности автора. Дело гораздо хуже.

Мемуар обличает фальшивого насквозь человека, беспринципного карьериста, сочинившего свои «воспоминания» с далеко идущими целями. В мемуаре про-

славляются убийцы, организаторы ряда провокационных, смертельных, кровавых процессов на Колыме (как доктор Кривицкий — зам. наркома авиационной промышленности) и унижены люди, которые превосходят Гинзбург во всем — и в культуре, и в уме, и в нравственной твердости (Жилинская и др.).

Лагерь обладает страшной особенностью — жизнь на глазах сотен людей покажет все стороны характера, открывает человека до конца. О Гинзбург я получил много предупреждений, исходивших от людей, не только заслуживающих доверия, но и по своему положению самых авторитетных судей. Характеристики все отрицательные самым решительным образом (и, конечно, не вызваны какими-то преимуществами Гинзбург, как она настаивает сама). Я лично на Колыме Гинзбург встречал во время войны. Во мне было 40 килограммов веса, я не мог по достоинству оценить ее просто. Впечатление от первого и, надеюсь, единственного, свидания с этой дамой самое отрицательное. Это — втируша, оскорбляющая память людей, которые гораздо честнее Гинзбург прожили свою жизнь.

Года два назад в Солотче Вы просили меня указать на черты некоего характера, необходимого Вам для работы. Пишите этот задуманный портрет с Гинзбург — не ошибетесь. Я очень, очень жалею, что согласился на это свидание. В любой день и час готов побеседовать с Вами об этой даме подробнее.

Жму руку, привет Наталье Алексеевне.

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Москва, 6 августа 1966 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Рад был Вашему письму. История напечатания стихов в «Литературной газете» такова. Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегию «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937—1956) и примерно через год имел беседу с Наровчатовым — ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское. «Вот если бы Вы дали что-нибудь современное — мы отвели бы Вам полполосы». Я всегда держу в памяти практику работы в журналах: где просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью»

авторам — «даем место, печатаем!» — занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» — все тонкие и толстые журналы Советского Союза. Это — вреднейшая практика, никакими ссылками на вышестоящих или сбоку стоящих не оправдываемая. Это называется помогать, выбивать, хорошо относиться и т. д. К сожалению, материальные дела авторов не позволяют разорвать эти связи. Так у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности». Но с «Литературной газетой» ради первой публикации я решил поступить иначе, предвидя этот разговор.

— Я не вижу возможности предложить что-либо другое. «Литературная газета» напечатала обо мне четыре статьи, где всячески хвалит именно колымские стихи. А когда дело доходит до напечатания — мне говорят: давайте какие-нибудь другие.

— Можете взять свои стихи назад.

— Охотно.

При разговоре был Нечаев, автор одной из статей обо мне — он работал тогда в аппарате «Литературной газеты».

— Нет, оставьте. Может быть, мы выберем что-либо. Этот разговор был два года назад, и я не справлялся о стихах, но в пятницу, 29 июля, меня вызвали в «Литературную газету» (там работали уже другие люди), и Янская, новая заведующая отделом поэзии, сказала:

— Вот посмотрите, не напечатали ли эти стихи где-нибудь, ведь прошло два года.

Я посмотрел.

— Когда же вы будете давать?

— Завтра или никогда.

Зачем я это все Вам пишу. Чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» — подлинная фальшь.

В. Шаламов

В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну

Дорогой Александр Исаевич.

Я прочел Ваш роман⁴¹. Это — значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые высокие мои похвалы. Великолепен сам замысел, архитектура, задачи (если можно так расставить слова). Дать геологический разрез советского общества с самого верха до самого низа — от

Сталина до Спиридона. Попутно: в характере Сталина, мне кажется, Вами не задета его существеннейшая черта. Сталин писал статью «Головокружение от успехов» и тут же усиливал колхозную эскалацию, объявлял себя гуманистом и тут же убивал.

Я не разделяю мнения о вечности романа, романной формы. Роман умер. Именно поэтому писатели усиленно оправдываются, дескать взяли из жизни, даже фамилии сохранены. Читателю, пережившему Хиросиму, газовые камеры Освенцима и концлагеря, видевшему войну, кажутся оскорбительными выдуманнные сюжеты. В сегодняшней прозе и в прозе ближайшего будущего важен выход за пределы и формы литературы. Не описывать новые явления жизни, а создавать новые способы описания. Проза, где нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров, — возможна. Жизнь такой документ (Вайс в «Дознании» — только попытка, проба, но зерно истины там есть)⁴².

Любимов и Таганка⁴³. Все это должно быть не литературой, а читаться неотрывно. Не документ, а проза, пережатая, как документ. Я много раз хотел изложить Вам суть дела и выбрал время, когда я хвалю Вас за роман, за победу в классической, канонической, а потому неизбежно консервативной форме. Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме. Я не имею в виду Вашего романа, но в «Раковом корпусе» такие герои и идеи есть (больной, который читает в палате «Чем люди живы»),

В этом романе очень хороши Герасимович, Адамсон, особенно Герасимович. Очень хорош Лева Рубин. Драма Рубин — Иннокентий показана очень тонко, изящно. «Улыбка Будды»⁴⁴ — вне романа. По самому тону. За шуткой не видно пролитой крови. (В наших вопросах недопустима шутка.)

Спиридон — слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая. Слабее других — женские портреты. Голос автора разделен на тысячу лиц — Нержин, Сологодин, Рубин, Надя, Адамсон, Спиридон, даже Сталин в какой-то неуловимо малой части.

Роман этот — важное и яркое свидетельство времени, убедительное обвинение. Мысль о том, что вся эта

шарашка и сотни ей подобных могли возникнуть и работать напряженно только для того, чтобы разгадать чей-то телефонный разговор для Великого Хлебореца, как его называли на Колыме.

Жму руку. Сердечный привет Наталье Алексеевне.
Ваш В. Шаламов⁴⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». «Новый мир», 1962, № 11.

² «Красили» — крестьяне, занимавшиеся раскрашиванием дешевых ковров по трафаретам.

³ *Шелест* (Малых) Георгий Иванович (1903—1965) — писатель. «Самородок» был опубликован в газете «Известия», 1962 г. 5 ноября.

⁴ Шаламов упоминает свой разговор с А. И. Солженицыным «о ледоколе и маятнике» при первой встрече в редакции журнала «Новый мир». Будет ли повесть А. И. началом разговора о лагере или — его концом.

⁵ «Очерки преступного мира», опубликованы впервые в книге «Левый берег», М., 1989, однако был исключен очерк «Сергей Есенин и воровской мир». В последующих изданиях — опубликован.

⁶ «Бутырская тюрьма» — очерк, опубликован в альманахе «Российский летописец», изд-во «Книга», 1989.

⁷ «Подполковник медицинской службы» — рассказ из сборника «Перчатка, или КР-2» (не завершен).

⁸ *Теуш* Вениамин Львович — математик, знакомый А. И. Солженицына, хранитель его архива. Этот архив был изъят у В. Л. Теуша в сентябре 1965 г. сотрудниками КГБ.

⁹ *Неклюдов* Сергей Юрьевич — сын О. С. Неклюдовой, филолог.

¹⁰ Письмо не отправлено.

¹¹ *Варпаховский* Леонид Викторович (1908—1976) — советский театральный режиссер, был репрессирован, встречался с В. Т. Шаламовым на Колыме. Встреча с ним изображена в рассказе Шаламова «Иван Федорович».

¹² Этот эпизод в книге «Бодался теленок с дубом» (Париж, 1975, с. 81—82) А. И. Солженицын описывает так: «...На пленарном заседании (Комитета по Ленинским и Государственным премиям) первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня — первой и самой еще безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу; а по уголовному».

¹³ В это время В. Т. Шаламов получал пенсию 42 руб. 30 коп., и лишь в 1965 году его хлопоты увенчались успехом — он стал получать 72 руб. («У меня пенсия льготная, горняцкая», — гордо говорил он.)

¹⁴ «Двадцатые годы» опубликованы в журнале «Юность», 1987, № 11, 12 (в сокращенном виде). Полностью — в настоящем издании.

¹⁵ Пьеса В. Т. Шаламова, опубликована в журнале «Театр», 1989, № 1.

¹⁶ *Китайгородский* Исаак Ильич (1888—1965).

¹⁷ Шаламов имеет в виду смещение Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС.

¹⁸ Шаламов упоминает Г. Г. Демидова (1908—1987), физика, с которым он встретился на Колыме. Демидов — прототип героя рассказа «Житие инженера Кипреева», опубликованного в журнале «Смена», 1988, № 88; ему же посвящена пьеса «Анна Ивановна». Один из самых достойных людей, встреченных, по словам Шаламова, на Колыме. Десять лет провел Демидов на общих работах, инженерные знания мало облегчили ему жизнь в лагере.

¹⁹ *Китайгородский* А. «Несколько мыслей физика об искусстве». «Вопросы литературы», 1964, № 8.

²⁰ *Малков* Владимир Михайлович — директор Вологодского книжного издательства.

²¹ Опубликовано в сборнике В. Т. Шаламова «Стихотворения». М., 1988. Полностью — в настоящем издании.

²² Эти письма публикуются вслед за письмом от 15 ноября 1964 г. и не датированы.

²³ *Рамзин* Леонид Константинович (1887—1948) — выдающийся ученый в области теплотехники. В 1930 г. репрессирован по делу промпартии. Создал конструкцию прямооточного котла («Котел Рамзина»), награжден орденом Ленина, Госпремией СССР в 1943 г.

²⁴ Шахтинский процесс, 1928 г. — дело о «вредительстве» в угольной промышленности Донбасса. Верховный суд СССР приговорил 5 человек — к расстрелу, 20 — к заключению от 1 года до 10 лет. К сожалению, принадлежность к технической интеллигенции не всегда спасала.

²⁵ Строфа из стихотворения Б. Л. Пастернака «Зеркало». У Пастернака — «Качается тюль...».

²⁶ *Шелест* Г. И. (1898—1965), «Горячий след» и др.

²⁷ *Алдан-Семенов* А. И. (1908—1985), «Барельеф на скале» (1964).

²⁸ В письме от 1 мая 1964 г. А. И. Солженицын писал: «...Я был с трибуны обвинен, что я уголовник, вовсе не жертва культа и вовсе не реабилитирован. Понадобилось зачтение су-

дебного решения, присланного Военной коллегией Верховного суда СССР».

²⁹ См. прим. № 30.

³⁰ Дьяков Б. А. (р. 1902), «Пережитое» (1963), «Повесть о пережитом» (1964).

³¹ Ажаев В. Н. (1915—1968) — «Далеко от Москвы» (1948), «Вагон» (1988).

³² Серебрякова Г. И. (1905—1980), «Одна из вас» (1959), «Странствия по минувшим годам» (1962—1965).

³³ «Аввакум в Пустозерске», «Гомер» — маленькие поэмы Шаламова, опубликованы: «Стихотворения». М., 1988.

³⁴ Осенью 1964 г. пьесу «Свеча на ветру» собирался поставить Театр им. Ленинского комсомола, реж. М. К. Микаэлян.

³⁵ Исправительно-трудовые лагеря были переданы 28.02.1953 г. в ведение Министерства юстиции СССР и находились там до 21 января 1954 г.

³⁶ «Тифозный карантин» — рассказ из сборника «Колымские рассказы».

³⁷ Горбатов Александр Васильевич. «Годы и войны». — «Новый мир», 1964, № 3—5.

³⁸ Карякин Ю. «Эпизод из современной борьбы идей». «Новый мир», 1964, № 9 («Но даже тяжелый труд для большинства из них — это как воскрешение...») (!)

³⁹ В это время А. И. Солженицын дал прочитать А. Т. Твардовскому рукопись романа «В круге первом». «Судьба — неисповедима и очень будет сложна» (письмо А. И. Солженицына от 31 мая 1964 г.).

⁴⁰ «Крутой маршрут».

В. Т. Шаламов в то время, видимо, прочитал только первую книгу «Крутого маршрута» Е. Гинзбург, где в главе «Пароход «Джурма» описана ее встреча с доктором Кривицким, оказавшим помощь заключенным. Во второй книге своих мемуаров Е. Гинзбург иначе отзывается о Кривицком — как о доносчике и предателе.

Об А. Жилинской Е. Гинзбург пишет в главе «Пугачевская башня», может быть, без теплоты, но и без явного намерения унижить. Видимо, на отношении В. Т. Шаламова к Е. Гинзбург повлияли скорее не личные впечатления от встречи с ней (он ее не помнит по Колыме), а рассказы его тогдашних друзей — Б. Н. Лесняка и Н. В. Савоевой, хорошо знавших Е. Гинзбург по Беличьей (колымской районной больнице), они упомянуты в «Крутом маршруте» в главе «Зека, зека и бека» не совсем благожелательно. Впоследствии, познакомившись лично с Е. С. Гинзбург, он изменил свое мнение о ней.

⁴¹ Роман А. И. Солженицына «В круге первом».

⁴² Вайс Петр (1916—1982) — немецкий драматург, писатель. «Дознание» (1965) — его документальная пьеса.

⁴³ В 1960-е годы В. Т. Шаламов не раз бывал в Театре на Таганке. Была у него даже мысль написать пьесу для этого театра. В архиве сохранились наброски этой пьесы. Шаламов говорил, что театр Любимова, избегающий ложного жизнеподобия полутонов, создающий спектакль в резких и точных красках, вводящий документ в ткань спектакля, — современен, отвечает самому духу современности. Театр — не подобие жизни, а сама жизнь.

⁴⁴ «Улыбка Будды» — глава из романа А. И. Солженицына.

⁴⁵ Письмо В. Шаламовым не отправлено. Другое неотправленное письмо Шаламова Солженицыну публикуется в разделе «Записные книжки» настоящего издания (Т. 5. С. 365—367). Поводом к письму было заявление Солженицына в зарубежном издании его книги «Архипелаг ГУЛАГ» (1973) об «умершем» Шаламове: «...Помещено-то в газете было почему-то в черной рамке, как если бы Шаламов умер. Я в тех же днях откликнулся в самиздате. И добавил в “Архипелаг” — Солженицын А. И., С Варламом Шаламовым // Новый мир, 1999, № 4. С. 168). Неотправленное письмо Шаламова публикуется в разделе «Записные книжки» настоящей книги. Поводом к письму было заявление А. Солженицына в его биографической книге «Бодался теленок с дубом»: «Варлам Шаламов умер». Этот «приговор» бывший друг вынес после опубликования в «ЛГ» от 23.02.72 письма Шаламова с протестом против разрозненных публикаций на Западе его произведений в политических целях.

Шаламов отвергает конъюнктурные советы Солженицына насчет «верующего героя», необходимого для успеха произведений на Западе (см. его записи «Знамя», 1995, № 6, с. 143—144).

К себе А. И. относился снисходительно, свое письмо с протестом против публикаций за рубежом «Ивана Денисовича» и «Ракового корпуса» («ЛГ», 1968, № 20) отнюдь не осудил. Когда было полезно, сотрудничал и с КГБ (под кличкой Ветров), был бригадиром. В общем, спасался, ничем не брезгая, шагая по головам.

ПЕРЕПИСКА С Б. А. СЛУЦКИМ

В. Т. Шаламов — Б. А. Слуцкому¹

Москва, 28 декабря 1962 г.

Борис Абрамович.

Вы рекомендовали мне С. С. Виленского², составителя альманаха «На Севере Дальнем». Я хорошо знаком с

учреждением, которое он представляет. Мы встретились, за спиной Виленского сидят самые черносотенные фигуры издательского дела Крайнего Севера (Нефедов, Николаев и Козлов), которые не только «тащили и не пущали» в течение многих лет, даже десятилетий, до самого последнего дня глушили все, что могло хоть сколько-нибудь правдиво передать страшную историю Колымского края, даже отдаленный намек на правду. Они добились успеха — литература Колымского края свелась к нулю (исключая национальную литературу). Свели к нулю в качественном и количественном виде, отчасти потому эти господа обращаются ныне за помощью к столичным литераторам, к бывшим заключенным и т. п.

В свое время обращался Луговской в этот альманах, встретил решительный отказ — кормушка была нужна для своих. В поведении своем, в отношении к литературе, редакция Магаданской области в лице Нефедова, Николаева и Козлова допускала и провокации, обычные для сталинских времен, но удивительные для 1957 года.

В 1957 году по косвенному предложению Козлова я послал в альманах ряд стихотворений («Камень», «Слово к садоводам» — те, что вошли в «Огниво») и получил ответ, что стихи приняты и будут печататься в альманахе. Очередной альманах вышел — моих стихов там не было. Оказалось, что Нефедов, Козлов и Николаев передали эти стихи в партийные органы Магадана, и секретарь горкома Жарков читал их на краевой партийной конференции в качестве примера «вылазки» со стороны бывших заключенных. Не напечатанные, присланные в редакцию стихи!!! Такого рода подлое провокационное поведение господ Нефедова, Николаева и Козлова по тем временам не было, конечно, ни наказано, ни пресечено.

Сейчас эти же господа обращаются ко мне с просьбой участвовать в их альманахе.

Это ли не маразм? На приглашение Виленского я ответил отказом.

Уважающий В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Слуцкий* Борис Абрамович (1919—1986) — поэт, переводчик, автор рецензий на стихи В. Шаламова.

² *Виленский* Семен Самуилович — активный деятель историко-литературного общества «Возвращение», составитель книг по истории лагерей, в том числе — хрестоматии для старшеклассников «Человек в тоталитарном обществе». М., 2000.

ПЕРЕПИСКА С Л. И. СКОРИНО

В. Т. Шаламов — Л. И. Скорино

Москва, 12 января, 1962 года.

Людмила Ивановна!

Ответ мой задержался, письмо разрослось. Дело в том, что опубликование первых моих «вещей» меньше отложилось в памяти и, по существу, было менее важным для меня, чем письма Асеева, Третьякова, позднее Пастернака, полученные не в связи с чем-либо опубликованным.

Стихи и рассказы я пишу всю жизнь, с детства. В 1926 году я послал в журнал «Новый ЛЕФ» четыре или пять своих стихотворений и неожиданно получил ответ Н. Асеева. Внешний вид «ответа» произвел на меня сильнейшее впечатление. Письмо было написано на тончайшей бледно-сиреневой с искрой бумаге с лиловым ободочком, написано прямым женским почерком. Листочек был аккуратнейшим образом сложен и вставлен в крошечный конвертик-облаточку, тоже с лиловой каемочкой. Конвертик только что не был надушен. В письме было что-то о «чутком на рифмы ухе», о важности «лица не общего выражения». Ответ, помню, начинался: «Если это Ваши первые стихи...»

Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не бывает, что «лица не общее выражение» — совет достаточно банальный и т. д.

Помню, удивило меня, что асеевский ответ был сугубо серьезен, даже академичен, а главное — по тону, по аргументации был вовсе лишен того «лефовского» бахвальства и удалства, которым отличалась редакция «Нового ЛЕФа» с читателями на страницах журнала.

Я продолжал писать стихи, никому, как мне казалось, не подражая.

Примерно, через год, вне всякой связи с письмом Асеева, я был приглашен в Гендриков переулок, к Мая-

ковскому и Брику, где по четвергам Осип Максимович Брик вел «литературный» кружок. Литературного тут не было ничего, кроме сплетен и вышучивания всех возможных лефовских врагов. Нарочитое умничанье, кокетничанье испытанных остряков с психологией футбольных болельщиков производило на меня прямо-таки угнетающее, отталкивающее впечатление. Поэзия, которую я искал, жила не здесь. Разочарование было столь сильным, что во время распада ЛЕФа, когда Маяковский был отстранен от журнала, мои симпатии оказались на стороне фактографии, на стороне Сергея Михайловича Третьякова, сменившего Маяковского за редакторским креслом «Нового ЛЕФа». От С. М. Третьякова я получил два или три письма, был раза два у него дома, на Малой Бронной. Вместо остряков Гендрикова переулками здесь действовали «архивные юноши». Крупный педагог, бывший профессор русской литературы Третьяков обучал учеников газетному делу, вдохновенно восклицая, поблескивая очками:

— Опишем большой московский дом! Дадим 260 квартир этого дома! Составьте приблизительный вопросник к этому заданию!

Кибернетик Полетаев обрадовал бы Третьякова. Я работал тогда на радио — в радиогазете МГСПС.

— Напишите заметку для «Нового ЛЕФа» о языке радиорепортера. Верно ли, что радиорепортер должен избегать шипящих букв?

Меня интересовало, мучило не это. Я сказал Третьякову, что хочу кое-что написать по общим вопросам... Третьяков резко повернул от окна свой птичий профиль, по узкогубому лицу побежали мелкие морщинки — острота рождалась.

— По общим вопросам мы сами пишем, — ответил он раздраженно.

Больше я на Малой Бронной не бывал.

Все эти годы я не выходил из библиотек. Дважды имел читательский билет № 1 в библиотеке им. Горького, однажды — в Ленинской библиотеке.

В тот же год пришел я в «Красное студенчество» на занятия кружка, которым руководил Сельвинский. Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве, о месте искусства в жизни — меня угощали ямбами Митрейкина. Эти ямбы обсуждались подробно, каждый слушатель должен был выступать. Заключительное слово произносил сам

«мэтр» Сельвинский. Откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:

— Во второй строфе слышатся ритмы Гете, а в третьей — дыхание Байрона.

Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно улыбался.

Это было еще хуже ЛЕФа. Во время «перекура» члены кружка (старостой его был В. Цвелев) не толковали о стихах. Все были потрясены арестом члена кружка поэта Владимира Аврушенко. Уголовное дело об изнасиловании студентки литкурсов Исламовой, знаменитое «дело трех поэтов» — Анохина, Аврушенко и Альтшуллера потрясало Москву. Переулки вокруг Московского нарсуда, где это дело слушалось, были полны народом — разве только приезд Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд собирал толпу больше. Колонный зал Дома союзов, где в эти же дни шел «шахтинский» процесс — пустовал. Никто не заметил зловещей значительности суда над донецкими инженерами.

Приговор был вынесен: Анохин — два года, Аврушенко — четыре года, Альтшуллер, главный герой процесса — шесть лет тюрьмы. Но интерес к делу поэтов не ослаб. Защитник Рубинштейн выступил в печати с большим письмом, настаивая, что произошла судебная ошибка. Письмо защитника, отклики на письмо, обсуждение письма...

Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвинского и беседы поэтов друг с другом во время «перекуров», я перестал посещать «Красное студенчество».

Случалось мне встречаться и с Борисом Южаниным — вождем и теоретиком пресловутой «Синей блузы». Влияние «Синей блузы» на театр Брехта — бесспорно. Она же — родоначальница всех агитбригад, несмотря на все ее выверты и заскоки. Первые годы в «Синей блузе» в журнале скетчи и оратории печатались безымянными — в этом была южанинская идея, его творческая программа.

— Плагиата нет и не бывает, — говаривал Борис Семенович. — Создавая текст обозрения, пользуйтесь любым материалом — от Пушкина до Маяковского.

Поэтому собственно ораторию Борис Семенович смело начинал кирсановской «Пятилеткой»:

Сегодня в рифмы вправлены штыки.
Вперед на бой по рытвинам похода.

В 1932 году при журнале «Смена» литературным кружком руководил Кирсанов. Я пришел туда однажды.

И — после этого вечера был близок к тому, чтобы вовсе прекратить писать стихи.

В 1932 году я напечатал свой первый очерк (реши-тельно не помню, как он называется и чему он посвящен) в журнале московских профсоюзов «За ударничество». В этом двухнедельном журнале (редакцией которого я за-ведовал позднее), в журналах «За овладение техникой» и «За промышленные кадры» я напечатал большое количе-ство очерков, статей и корреспонденции.

Я работал в редакциях этих журналов в 1932, 1933, 1934, 1935 и 1936 годах. В эти годы, мне кажется, в Мос-кве и в Московской области не было ни одной фабрики или завода (кроме военных), ни одного рабочего обще-жития, ни одной заводской столовой, где бы я ни был, и притом не один раз.

В 1934 году для «Прожектора» (был такой журнал, вроде нынешнего «Огонька») я написал очерк о Мичури-не — «Мастер, переделывающий природу» — много раньше его широкой известности.

В 1935 году в том же «Прожекторе» — нечто вроде воспоминаний о Маяковском, к сожалению, сильно со-кращенных О. М. Бриком. Для журнала «Колхозник», который редактировал А. М. Горький, я написал очерк особого рода («Картофель» — 1935, № 9). Предполага-лось (у меня были письма от Горького и Крючкова на сей счет), что будет дана серия таких очерков: «Карто-фель», «Молоко», «Сахар» и т. д.

По предложению журнала «Фронт науки и техники» я написал большую статью «Наука и художественная литература». Статья эта, обзорного характера, вызвала интерес, и я был приглашен О. В. Рудаковой — актрисой ТЮЗа участвовать в создании театра русской сказки и фантастики. Театр этот не родился, но бесед было про-ведено много.

Рассказов я напечатал всего четыре. Я никогда не имел силы их перечитать. Ни раньше, двадцать пять лет назад, ни теперь. (Стихи напечатанные тоже пере-читать не могу.) Я пытаюсь вспомнить не содержа-ние этих рассказов, а состояние, в котором они писа-лись.

В газете «Ленинградская правда» осенью 1935 года напечатан рассказ «Ганс» (который Вы же туда и реко-мендовали) — о фашисте-шпионе.

В журнале «Октябрь», в № 1 за 1936 год опублико-ван рассказ «Три смерти доктора Аустино» — о рас-стреле антифашиста.

В журнале «Вокруг света» (№ 12, 1936) напечатан рассказ «Возвращение» — о революционере, потерявшем во время аварии память.

Все эти три рассказа связаны с антивоенной, антифашистской темой и дышали тем воздухом, каким дышала вся страна и, пожалуй, весь мир.

Было страстное желание выразить эту тему сжато, лаконично, сюжетно. Так все рассказы и писались. Сейчас их условный универсализм кажется мне плохим решением темы.

Были рассказы и другого рода — на материале живой жизни. Таким был рассказ «Пава и древо», напечатанный в № 5 журнала «Литературный современник» за 1937 год в Ленинграде. Это рассказ об ослепшей вологодской кружевнице, которой сделана операция, — простенький, наивный.

В эти же годы было написано вчерне несколько десятков рассказов — все пропало во время войны и моих скитаний на Дальнем Севере. Пропали и три тетрадки со стихами. Восстановить их невозможно, да, наверное, и не нужно. Рассказов я не жалею, потому что нашел недавно рукопись одного из этих старых рассказов. Он плох, безличен.

Я никогда не пытался написать роман, даже подумать боялся над столь сложной архитектурной формой. Но над рассказами я думал много, и раньше, и теперь.

С 1937 года по 1956 год я был в заключении и в ссылке (с 1951 г.). Условия Севера исключают вовсе возможность писать и хранить рассказы и стихи — даже если бы «написалось». Я четыре года не держал в руках книги, газеты. Но потом оказалось, что стихи иногда можно писать и хранить. Многое из написанного — до ста стихотворений — пропало безвозвратно. Но кое-что и сохранилось.

В 1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал на «лесную командировку» — и все свободное время — писал — на обороте старых рецептурных книг, на клочках оберточной бумаги, на каких-то кульках.

В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймьякона, в верховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал день и ночь — на модельных тетрадях.

В 1953 году уехал с Колымы, поселился в Калининской области на небольшом торфопредприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Торфяные разработки с сезонницами-«торфушками» были местом, где крестьянин становился рабо-

чим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у меня не было времени, — мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строчки, не сумею написать всего, что хотел.

В 1953 году в Москве встретился с Пастернаком, который незаслуженно высоко оценил мои стихи, присланные ему в 1952 году.

Осенью 1956 года я был реабилитирован, вернулся в Москву, работал в журнале «Москва», писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства.

Многие журналы Союза брали у меня стихи в 1956 году, но в 1957 г. вернули все назад. Только журнал «Знамя» напечатал шесть стихотворений «Стихи о Севере». Этот цикл встретил положительную оценку у рецензентов «Литературной газеты».

В 1958 году в журнале «Москва», в № 3 опубликовано пять моих стихотворений.

В «Дне поэзии» 1961 года напечатал стихотворение «Гарибальди в Лондоне».

Переводил для «Антологии грузинской литературы», для сборников чувашских, адыгейских поэтов, стихи Радована Зоговича для издательства «Иностранная литература».

В издательстве «Советский писатель» в 1961 году вышел небольшой сборник «Огниво», получивший ряд положительных рецензий («Литературная газета», «Литература и жизнь», «Новый мир»).

В сборнике этом пятьдесят три стихотворения, а написал я около тысячи.

Сдал сборники «Шелест листьев» — в «Советский писатель» и «Вода и Земля» — в «Молодую гвардию».

Написал несколько десятков рассказов на северном материале, десятка два очерков.

Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное — деталь или подробность, описанная ярко. Этим деталям читатель должен удивиться и поверить всему рассказу. В коротком рассказе достаточно одной или двух таких подробностей. В последних рассказах Бунина, только, конечно, не таких, как «Чистый понедельник», а гораздо лучших — есть кое-что похожее на настоящую прозу будущего.

Думается, что короткая фраза, входящая в моду после двадцатых годов, не отвечает традиции русского языка, духу и природе русской прозы Гоголя — Достоевского — Толстого — Герцена — Чехова — Бунина...

Бабель принес короткую фразу из французской литературы.

Что касается стихов, то космос поэзии — это ее точность, подробность. Ямб и хорей, на славу послужившие лучшим русским поэтам, не использовали и в тысячной доле своих удивительных возможностей. Плодотворные поиски интонации, метафоры, образы — безграничны.

Возврат к ассонансу от рифмы для русского языка бесплоден. «Корневые» окончания — обыкновенный ассонанс. «Свободный» стих и белые стихи могут быть поэзией, но это поэзия — второго сорта.

Вот почти все, что мне хотелось Вам сказать.

Это — не автобиография². Жизнь я видел слишком близко, и говорить о ней надо не таким голосом. Это и не рецензия на собственные вещи. Это — литературная нить моей судьбы, разорванная и снова связанная.

С уважением

В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Скориню Людмила Ивановна — редактор, «дважды моя крестная мать», как говорил Шаламов: она приняла его публикации и в 30-е годы, и опубликовала в «Знамени» первую его подборку — «Стихи о Севере», о чем он вспоминал не раз всю свою жизнь (см. переписку с А. З. Добровольским и др.).

² Вариант письма автором переделывался в очерк «Несколько моих жизней».

ПЕРЕПИСКА С Я. Д. ГРОДЗЕНСКИМ

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому¹

Москва, 14 мая, 1962 г.

Дорогой Яков.

Спасибо тебе за письмо. Я рад, конечно, возможности выступить — от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись.

Продолжаю 16-го, после передачи². Передача прошла хорошо, успешно. Но это дело требует большой собранности, сосредоточенности и напоминает больше съемку игрового кинофильма, чем фильма хроникального, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. На крошечной площадке внутри огромной коробки телестудии, заставленной аппаратами, увешанной кабелями, сигналами, работает человек пятнадцать — режиссеры, операторы, нажиматели звонков и прочие лица, деловое содержание которых определить сразу нельзя. Все это висит в метре от твоего лица, освещенного ярким светом, — словом, ничего домашнего в телестудии нет.

Слуцкий делал вступительное слово — не шире и не глубже своей рецензии, в тоне благожелательности, без акцента на лагерь, на прошлое. Характеристики сути моих трудов он также не давал. Затем я прочел «Память», «Сосны срубленные» и «Камею» в полном, неопубликованном варианте. Затем Д. Колычев — молодой актер из Театра Лен. комс. — прочел «Оду ковриге хлеба» и новое стихотворение «Вырвалось писательское слово» (из тех, что я читал в Доме писателей). Я актерской читки не люблю никакой и жалел, что не сам прочел эти стихи. Вот и все. Конечно, я не мог и не имел права отказаться. Устроил это все Борис Слуцкий.

Сердечный тебе привет. Приехав в Москву, ты найдешь у себя дома две моих открытки. Оля сейчас в Гаграх — до 28 мая. Желаю тебе самого лучшего. Как только приедешь в Москву — приходи.

В. Шаламов.

Даже одежда для телевизора должна быть, как в детской игре: «черного и белого не выбирать».

В.Т. Шаламов — Я.Д. Гродзенскому

Москва, 2 июля, 1964 г.

Яков.

Я получил сегодня утром справку о десятилетнем стаже подземном из ГУЛАГа. Весь этот успех дела, к которому я не имел силы прикоснуться целых семь лет, стал возможен исключительно благодаря твоей энергии, инициативе и помощи решающей. Соображения твои насчет Москвы были глубоко правильны. Благодарю тебя от всего сердца. Я теперь сумею избавиться от новомирских³ обязанностей, которые меня обременяют,

ибо я не такого высокого мнения о многих предметах нашей литературной жизни, которые принято высказывать сотруднику этого журнала. Я проработал в нем целых шесть лет и — кроме денежной — не встретил никакой поддержки. (Кроме сочувственной рецензии на первый сборник.) Когда ты приедешь в Москву? Я получил твою открытку после рецензии Инбер⁴ — рецензия очень благожелательная, но довольно путаная. Я имею в виду ошибку со стихотворением «Виктору Гюго». «Виктору Гюго» — это Вологда 20-х годов, это же детство и ранняя юность, старик Н. П. Россов⁵ (был такой великий энтузиаст шекспировского и шиллеровского театра), играющий молодого короля Карла в «Эрнани» и доказывающий, что для актера нет возраста. «Эрнани» был первым спектаклем, который я увидел в жизни, ошеломившим меня навек. Я и до сих пор благодарен отцу, что он выбрал мне первый спектакль — пьесу Гюго.

А В. М. Инбер приняла строку: «В нетопленном театре холодно...» за лагерные ужасы. Но вся рецензия от хорошего, от самого теплого сердца, да и сказано в ней очень много.

И наша с тобой проза имела успех. Когда ты приедешь в Москву, можешь б^ыть, мне следует подождать для всяких решений о сборе справок о работе в журналах для стажера? Напиши.

Жму тебе руку, еще раз благодарю.

В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 5 мая, 1964 г.

Яков.

Спасибо тебе за сердечное письмо. Нет, я не догадался снять копии и заверить, но завтра это сделаю. Я написал было Бровченко⁶ короткое письмо с изъяснением благодарности, но еще не отправил. Если ты решил приехать в половине месяца (июля), то приезжай числа 12—13 или еще раньше. У меня на стадион «Динамо» на два матча («Торпедо — Торпедо Кт.» и «Динамо — Крылья Советов») куплены билеты — 15-го и 16-го числа с 19 часов. Ночевать можешь у меня, ремонт подходит к концу. Закончат на этой неделе.

Купил книгу «Пенсионное обеспечение» и не спеша посмотрим ее.

Желаю тебе здоровья. Привет жене и сыну. Напиши, приедешь ли.

В. Ш.

О Вирте⁷ я не читал фельетонов. Известно, когда-то на Колыме я обещал себе, что, если вернусь и войду в литературные круги, не подам руку двум литераторам: Льву Овалову⁸ за его подлейший роман «Ловцы человек» и Н. Вирте за не менее омерзительную «Закономерность». «Югославская трагедия» Мальцева⁹ — это международный вариант этой же концепции.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 12 декабря, 1964 г.

Дорогой Яков.

Твое письмо привело О.С. в величайшее волнение. «Это — насчет сватовства!» — сказала она, хватая конверт. Извлеченная из конверта цитата из Чехова разочаровала О.С. Но меня не разочаровала. Я не держусь того взгляда, что в искусстве лгать нельзя. Это пустая красивая фраза. Полнейший провокатор, каким был Генрих Гейне — наиболее яркий пример того, что в искусстве можно лгать совершенно так же, как в любом роде человеческой деятельности. Да и пушкинская «Полтава» — поэма исключительного художественного качества, совершеннейший словесный пассаж, показывает, что художник в Пушкине мог быть отобилизован на идеи, очень далекие от декабризма. Все гораздо сложнее, чем думалось Чехову. Совершив столетний оборот, русское время подходит в своей шкале к нравственному нулю, как накануне шестидесятых годов. И возможно, что нужно начать с личного примера, с оценки совестью каждого своего поступка — и в нравственном совершенствовании видеть единственный рецепт выбора — чтобы никогда не повторилось то, что было с нами.

Приходи, звони. Жму руку. *В. Шаламов.*

О.С. шлет тебе привет.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

12 января, 1965 г.

Яков. Групп не дает мне возможности ответить достойным образом на твое сердечное, важное и интересное письмо. <...>

За всю свою жизнь я усвоил урок, сделал твердый вывод, что главное в человеке, редчайшее и наиболее важное — это его нравственные качества. Улучшение тут возможно только с этого конца (а не с «электричества и пара», как шутил Чехов), и роль морального примера в живой жизни необычайно велика. Религия живых Будд, сохранившаяся до сих пор, подтверждает необходимость такого рода примера в живой жизни. Падение общественной нравственности во многом объясняет трагические события недавнего прошлого.

Я думаю, что ты своей жизнью приобрел главное человеческое право — право судьи. Что касается меня, то я просто стараюсь выполнить свой долг.

Приезжай скорее. Ольга Сергеевна и Сережа шлют тебе и твоей семье самые свои сердечные приветы.

Твой В. Шаламов.

Я.Д. Гродзенский — В.Т. Шаламову

Варлам! Я обещал тебе по приезду в Рязань немедленно сообщить о «Вейсманисте». Немного задержался не только из-за разных житейских забот, но и из-за того, что одна читательница (научный работник — физиолог) заявила, что последнюю фразу из «Вейсманиста» («Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение») надо вычеркнуть, т. е., дескать, и электронный микроскоп и экспериментальное подтверждение известны давно и проф. Уманский не мог не знать об этом.

Читавшие это профессора медицинских (физиолог.), биологических и химических наук считают, что фразу надо оставить: электронный микроскоп был создан за границей лишь в 39 году, а у нас еще позднее. И Уманский, находясь на Колыме, мог не знать этого. Резюме: все правильно в «Вейсманисте».

В твой адрес раздается очень много самых хвалебных и лестных замечаний. Не буду перечислять их: это потребует много времени. Скажу лишь, что один сравнивает твоё творчество с игрой Жана Габена: скупость и сдержанность сочетаются или подчеркивают трагизм и силу. Один «нигилист» (ему под 70, и он под стать Уманскому), которого в свое время не совсем удовлетворил «Один день...», заметил, что в «Зеленом <прокуроре>»

надо бы перегруппировать материал, а в «Заговоре юристов» уточнить сюжет, чтобы было понятно не только тем, кто был «там», но и тем, кто «там» не был.

Впрочем, он же заметил — «хорошо бы издать большим тиражом да перевести на другие языки».

В общем, твое время впереди. Талантливые творения завоеуют сердца читателей.

Между прочим, в конце «Шоковой терапии» я написал, что «Мерзляков должен был умереть». Все читатели считают, что я ошибся. От некоторых мне крепко досталось. Придется стереть приписку.

Когда станешь широко известным писателем, ограничу свои визиты к тебе: не хочу быть ракушкой, прилипшей к большому кораблю, предпочитая свободно обитать в людском планктоне.

Поклон О.С. и Сереже.

Як. Гродзенский.

В Москву намереваюсь возвратиться числа 20-го, чтобы как-нибудь втереться в Ленинскую библиотеку.

Я. Гр.

Я.Д. Гродзенский — В.Т. Шаламову

6 апреля, 1965 г.

Варлам, здравствуй. Март и апрель — месяцы моих юбилеев. 13-го марта минуло 30 лет со дня моего ареста в Москве. 17 апреля 1943 года — первое освобождение, 20 апреля 1954 года — постановление о моем освобождении и амнистии, выпустили только в июне. 20 апреля 1955 года — реабилитация.

Все эти даты отмечены появившимися болями в сердце, от которых понемногу избавляюсь лежанием в постели и рецептами жены. Она — педиатр и детишек моего возраста не лечит, но я слушаю ее. Получил примечательное письмо из Воркуты (копию его и моего ответа — прилагаю). Никак не догадаюсь, кто надоумил их написать мне. Мне кажется, что в Воркуте не осталось никого, кто знал бы меня.

Я понимаю, что и музеи, и другие органы хотят изобразить другую историю, а не ту, которая была в действительности. Если воскресить всех погребенных под домами, копрами, клубами, заводами, учреждениями, стадионами, дворцами — зашевелится тундра, стоны заглушат, слезы зальют все процветающее и преуспе-

вающее теперь. У меня нет ни просимых наград, ни грамот. Писать воспоминания так, как им хочется, — не буду. В прошлом я вижу и помню другое.

Знакомый нам поэт¹⁰ писал:

И лишь оглянемся назад,
Один и тот же видим ад.

О себе могу сказать:

Я много лет дробил камня
Не гневным яблом, а кайлом.
Я жил позором преступлений
И вечной правды торжеством.

Я не могу и не буду лгать о том, что знал и видел, а видел я, что:

Здесь хоронят раньше душу,
Сажая тело под замок.

Кто бы и как бы ни писал историю, пусть помнят — что слез этих жизнь никогда не забудет.

В 30-х годах свирепо, как никогда, шерстили свое- временно умершего в 1932 году М. Н. Покровского за его признание, выраженное афоризмом <История — это политика, опрокинутая в прошлое>. И в качестве опровержения этого крамольного высказывания издали Краткий курс Истории ВКП(б).

Не хочу и не буду соавтором нового <Краткого курса>, если и пошлю в Воркуту скромные воспоминания свои, то только для того, чтобы современники, и прежде всего молодежь, помнили и говорили:

Мы ведь пашем на погосте,
Слишком тонок верхний слой,
А под ним людские кости,
Чуть прикрытые землей.

Я написал в музей, что все мои бумаги и документы в Москве. Но там у меня нет ничего. Мне просто захотелось в Москве снять фотокопию с моей справки об освобождении, выданной в 1943 году. Помню, что некоторые торопились эту справку уничтожить, хотя получали паспорта, не многим лучше ее. У других справка отбиралась при повторном аресте. У меня она случайно сохранилась. В ней видно, что вместо трех я отсидел восемь с лишним лет, что после освобождения был

закреплен за Воркутстроем. Пока я еще подумываю, не исключено, что pošлю копию ее. Это мой единственный экспонат, который я могу подарить.

Если бы я в прошлом написал и напечатал свои некоторые размышления, то заподозрил бы в заимствовании, прочитав знакомого поэта:

Кунсткамера Данте полна виноватых,
Что ждут, безусловно, законной расплаты,
И Данте хвалился и сам без конца,
Что мучит убийцу и подлеца.
А здесь, в разветленьи дорог этих длинных,
Нам автор показывал только невинных.
Откуда их столько? Какая страна
Не знает, что значит людская вина?

4 апреля по телевидению показывали Магадан, Чай-Урюю. Я насторожился. Боялся пропустить передачу. Конечно, я знал, что именно и как покажут. Но, как всегда, теплилась слабая надежда — а вдруг покажут частицу правды прошлого или вспомнят о нем. Но я увидел то же, что увидел бы в передаче о Сочи и Ялте.

Во второй половине апреля, возможно, приеду в Москву. Надо подумать и о лете. Был я в двух местах Прибалтики, а сейчас подумываю — не съездить ли мне в исконно русский город Калининград и не посмотреть ли все, связанное с жизнью коренного калининградца по имени Иммануил Кант. Я слышал, правда, что на вопрос о том, где дом Канта, ответили вопросом: а это кто? Герой Отечественной войны? Жму руку. Поклон Ольге Сергеевне. Я ей напишу отдельно. Яков.

Копия

Уважаемый Яков Давидович!

Воркутинский музей проводит сбор материала по истории Воркуты. Вы долгое время работали здесь, и у вас могли сохраниться фотографии, грамоты почетные и другие награды, документы, номера местной газеты того времени, предметы быта довоенных и военных лет. Особенно ценны будут ваши письменные воспоминания о Воркуте. Мы убедительно просим помочь музею.

С искренним приветом *Шурмаева Людмила Николаевна*, научный сотрудник отдела истории краеведческого музея.

Научному сотруднику отдела истории краеведческого музея г. Воркуты *Шурмаевой Л.Н.*

Уважаемая Людмила Николаевна!

Признаюсь, меня обрадовали и Ваша записка, и короткая информация в «Правде» за 18 марта о краеведческом музее и клубе ветеранов города.

Без боязни впасть в риторику могу сказать, что вы затеяли важное и даже великое дело.

Город Воркута молод даже с точки зрения всего лишь одной человеческой жизни, не говоря уж о масштабах истории — ему нет и сорока. Город молод, но история его своеобразна, полна трагических событий и горестных судеб, порожденных печальной памяти годами сталинского культа.

Я прожил в Воркуте с 1935 до 1950 года. Отбыл трехгодичный срок заключения, потом, без суда и следствия, без дела и преступления, получил «довесок» — еще 5 лет, и отработав в качестве з/к 8 с лишним лет, вместо трех, был освобожден за хорошую работу 17 апреля 1943 года — в первый день приезда нового начальника Воркутстроя генерал-майора (тогда инженера-полковника) М. М. Мальцева. Вольные люди нашего типа считались «директивниками», т. е. по директиве сверху были закреплены за строительством. Мы считали счастьем быть не в зоне, окруженной колючей проволокой, а по другую сторону ее, пусть с ограничениями, без права выезда и без многих других фактических прав. Но такая «свобода» казалась кое-кому слишком большой для «врагов народа», добросовестно добывавших уголь и строивших город: 13 декабря 1949 года меня в числе десятков (а, может быть, и сотен) других арестовывают. И лишь летом 1950 года после следственно-тюремных испытаний этапным порядком выдворяют из Воркуты-города, создававшегося главным образом трудами людей 58-й статьи.

Надеюсь, Вы не усмотрите в моих словах нескромного желания порассказать о себе: моя судьба — судьба тысяч других таких же, как и я, многие из которых отдали Богу душу. Своими страданиями, потом, кровью обживали они мертвую тундру, возводя заполярную кочегарку. Они, а не те, кто, стоя на их костях, удаивался сталинского лауреатства, орденов, медалей, денежных наград и всяких «выслуг лет». Воркута богата полезными ископаемыми. Но неизмеримо богаче ее история, история тех, кто, лишенный человеческих прав, во время Великой войны и еще задолго до нее, героически укреплял силу и мощь своей страны. Вот почему отдел истории должен быть самым важным в краеведческом музее. С большой охотой принимаю предложение участвовать в его деятельности. Все мои документы хранятся в Москве, когда я буду там, пересмотрю их и все, могущее представлять интерес, отправлю к вам.

Что касается письменных воспоминаний, то мне не совсем ясно, как они будут использованы вами, каков должен быть их характер, объем и пр.

Прошу вас числить меня в вашем активе. С удовольствием буду оказывать помощь музею и призывать к ней всех воркутян, встреченных мною в Москве, Рязани, да и в других местах.

С приветом *Як. Гродзенский*.

Рязань, 20 марта 1965 г.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

17 мая, 1965 г.

Дорогой Яков.

Вечер Мандельштама состоялся 13 мая в университете, только не у филологов, а на механическом факультете, на Ленинских горах. В аудитории на 500 мест было человек шестьсот — дышать нельзя было. Четверть из них — гости, пожилые и молодые, а три четверти — студенты с лицами очень осмысленными, чего не может дать философское образование.

Проводил вечер Эренбург — очень толково, сердечно и умно. Говорил, что рад и видит знамение времени, что первый вечер Мандельштама в Советском Союзе, председательствовать на котором он, Эренбург, считает большой честью для себя, — состоится в университете, а не в Доме литераторов. Что это даже лучше, так и надо. Мандельштама печатает алма-атинский альманах «Простор» (№ 4 за этот год), и это тоже показательно и тоже хорошо. Он, Эренбург, надеется, впрочем, дожить до того времени, что и в Москве выйдет сборник стихотворений Мандельштама. Читал стихи Осипа Эмильевича, говорил живо, кратко.

«Скамейка запасных» — как говорят в баскетболе — была «короткой». Сидели только Чуковский (Николай), Степанов и Тарковский. Чуковский прочел вслух свою статью о Мандельштаме, напечатанную в журнале «Москва», — статья трафаретная, но для первого вечера о Мандельштаме годилась.

Потом вышел Степанов, профессор Степанов, хлебниковед, и характеризовал работы Мандельштама со всем бесстрастием академичности. Цитаты, ссылки только на печатные произведения и т. п. Зато порадовали чтецы стихотворений — студенты и артисты. (Студенты — лучше, сердечней, актеры казенней, хуже.) И те, и другие держали в руках только списки, только

листки журнальные, листки с перепечатанными стихами. То была воронежская тетрадь и кое-что еще. Эти чтецы выступали после каждого оратора.

После Степанова вышел Арсений Тарковский и произнес речь о том, что слава Маяковского и Есенина была гораздо громче, но у Мандельштама — особая слава, а когда весь народ будет грамотным, интеллигентным, тогда и Мандельштам будет народным, и т. д.

После Тарковского вышел чтец, а потом дали слово мне, и я начал, что Мандельштама не надо воскрешать — он никогда не умирал. Упомянул о судьбе акмеистов, список участников этой группы напоминает мартиролог, указал, что и в учении акмеистов было какое-то важное, здоровое зерно в самой их поэзии, которая дала силу встретить жизненные события.

Упомянул о Надежде Яковлевне как не только хранительнице заветов Мандельштама, но и самостоятельной яркой фигуре русской поэзии. Потом прочел свой рассказ «Шерри-бренди». Еще раньше, в середине вечера, Эренбург сообщил, что Надежда Яковлевна в зале. Приветственные хлопки минут 10, но потом Надежда Яковлевна поднялась и резко и сухо сказала: «Я не привыкла к овациям — садитесь на место и забудьте обо мне».

Моим выступлением Надежда Яковлевна была довольна, кажется. Сам вечер собирался с тысячью предосторожностей и хитростей. Дату сменили на более раннюю, но по квартирам звонили, что вечер не состоится. Тех, кто приезжал на вечер без приглашения, встречали у входа студенты, вели к вешалке, лифту, передавая друг другу, доводили до аудитории, которая всякий раз запиралась организатором вечера на ключ.

Я с большим интересом, проклиная свою проклятую глухоту, участвовал в этом вечере. Если Степанов выступил от бесстрастной науки, то я был представителем живой жизни. Вокруг вечера было много колоритных подробностей, я расскажу их при встрече.

Привет родным твоим. Когда ты думаешь приехать в Москву? *В. Шаламов.*

О. С. и Сережа шлют привет. *В. Ш.*

Я. Д. Гродзенский — В. Т. Шаламову

Рязань, 22 мая, 1965 г.

Дорогой Варлам, письмо твое получил. Ты пишешь чертовски неразборчиво. Ей-богу, приходится разбираться в нем, как в ископаемых шумерских клинописях. Письмо

очень и очень интересное, ничего секретного и интимного в нем нет, поэтому я позволю себе привлечь к чтению нескольких своих товарищей по Рязани. Каждый из них проявляет очень большой интерес и к твоему творчеству, и к твоей личности. В укор тебе скажу, что ни один из них не сумел расшифровать полностью твое письмо, хотя, конечно, смысл его, в общем, понятен. Я давно советовал тебе поучиться у Акакия Акакиевича Башмачкина каллиграфии. Твоя поэзия и проза вызывает похвалу у всех читателей из моего окружения — людей думающих, привередливо критических и, пожалуй, несколько выше среднего уровня (как-никак, а профессора!). Одни просят познакомить их с тобой, другие привезти тебя в Рязань. По твоему совету я даю теперь один ответ — пишите автору и таким образом заводите с ним знакомство. Вероятно, кое-кто и отважится написать тебе.

Стихи твои перепечатываются на машинке, увозятся, вывозятся за пределы области, география распространения их (и прозы тоже) ширится. Сам я последние восемь твоих рассказов успел лишь бегло прочитать, так как мой экземпляр подолгу задерживается у читателей. Каждый норовит дать почитать своим друзьям, а мне заявляют: вы еще успеете прочесть, экземпляр ваш и никуда от вас не уйдет.

В рассказе «Май» вступление о псе Казбеке натораживает. Ждешь, что разъяренный Казбек вот-вот появится. Однако его нет и нет. Тогда возвращаешься к началу рассказа — быть может, не понял чего-либо, а, возможно, и автор сплеховал или ошибся. И только потом становится понятна аналогия между разъяренным зверем и озверевшим человеком. И это хорошо: пусть читатель, привыкший к разжеванным мыслям, к сюжетной ясности, пораскинет мозгами, призадумается. Пусть подумает и о том, почему «Май». Для кого весна радость, воскрешение жизни, а для кого — безнадежность смерти.

В «Июне» усмотрят патриотизм Андреева. Но кто-то поймет его — голодного и терзаемого. Июнь — война! А встречена она провокациями, доносами, взаимоуничтожением «единокровных» в глубоком тылу своей родины.

В «Аневризме аорты» некоторые видят всего лишь бытовую повесть. Это, разумеется, ошибка. По-видимому, безропотная Катя, ставшая объектом торга и насилия, могла появиться только в условиях Колымы, ибо даже Катюша Маслова независимее и свободнее.

«Надгробное слово» — это не только трагический мартиролог, но и грозное «я обвиняю!». Это самое главное и самое страшное обвинение из всех, какие только можно предъявить «культу». Вспоминаю, что на Печоре в 1935 году я видел могилы. Вместо памятника, креста или звезды — кол с перечнем нескольких десятков фамилий. Позднее на Воркуте появились могилы без всяких кольев. Трупы сваливались в кучу и наспех засыпались промерзшей землей. Отсюда и пошло — накрылся... Накрылся — значит погиб.

В «Артисте лопаты» к «титulu» Оськи (преподаватель истории) я сделал карандашную приписку «ВКП(б)». Во всем нужна точность, историки бывают разные.

Недавно прочел очередные главы Эренбурга «Люди, годы, жизнь» («Новый мир», № 3). Мне кажется, что он понемногу начинает «разводняться». А кое-что вызывает возражение. Он пишет: «Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь — всеуща и всеильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед» («Новый мир», № 3, стр. 81).

«Эпоха была горькой» далеко не только для «некоторых». Этих некоторых было чрезмерно много, и потому я не знаю <побед для истории> (победы в войне — не в счет, ибо «горечь» была и до войны, и после нее).

Намереваюсь приехать в первой десятидневке июня. Приеду — позвоню, зайду. Мой привет Ольге Сергеевне и юным супругам. Тебе кланяются рязанские читатели и почитатели и мои домочадцы. Яков.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 24 мая, 1965 г.

Яков. Получил твое письмо. Начну с оправданий. Я пишу разборчиво только карандашом, чернилами пишу редко. Переписывать не захотелось.

На следующий после мандельштамовского вечера день я был в журнале, который изредка печатает мои стихи. Разговор:

— Значит, на вечере Мандельштама вы читали «Шерри-бренди»?

Я: Да, читал.

— И Надежда Яковлевна была?

Я: И Надежда Яковлевна была.

— Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама?

Я: В рассказе «Шерри-бренди» нарушения исторической правды меньше, чем в пушкинском «Борисе Годунове». Описана та самая пересылка во Владивостоке, где умер Мандельштам, дано точное клиническое описание смерти человека от голода, от элементарной дистрофии, где жизнь то возвращается, то уходит. Где смерть то приходит, то уходит. Мандельштам умер от голода. Какая вам нужна еще правда? Я был заключенным, как и Мандельштам. Я был на той самой пересылке (годом раньше), где умер Мандельштам. Я — поэт, как и Мандельштам. Я не один раз умирал от голода и этот род смерти знаю лучше, чем кто-либо другой. Я был свидетелем и «героем» 1937 — 38 годов на Колыме. Рассказ «Шерри-бренди» — мой долг, выполненный долг. Плохо ли, хорошо ли — это другой вопрос. Нравственное право на такой рассказ имею именно я. Вот о чем надо думать, когда идет речь о «канонизации».

— Да... а... Да. Да.

О воспоминаниях Эренбурга в № 4 «Нового мира». Эренбург вознес до небес Сталина (пусть с отрицательным знаком, но это тоже сталинизм). Эренбург подробно объясняет, что лизал задницу Сталину именно потому, что тот был богом, а не человеком. Это вреднейшая концепция, создающая всех сталинистов, всех Ждановых, Вышинских, Ворошиловых, Молотовых, Маленковых, Щербаковых, Берия и Ежовых. Самое худшее, самое вредное объяснение. О Хрущеве и о XX и XXII съездах, разумеется, ни слова и вряд ли по требованию редакции. Словом, «мемуар» сполз в журналистику.

В 1956 году, стоя у столба с репродуктором на торфопредприятии «Туркмен» в Калининской области, где я работал до реабилитации, я слушал радиопередачу Постановления о культе личности и его последствиях.

Там была удивительная формула — которую, на мой взгляд, нельзя было выносить в текст документа — та самая, которой воспользовался Эренбург, доказывая, что он ничуть не хуже и не трусливей других.

О псе Казбеке в рассказе «Май»: аллегория, подтекст — все это должно быть в рассказе. Не обязательно, чтобы Казбек появился, как по рецепту чеховского ружья — в конце рассказа. Это — рецепт не обязательный. Можно добиться желаемого эффекта — ненависти, любви, симпатии, антипатии и т. п. — и без всякого стреляющего ружья. Стреляющее ружье — это требование, унаследованное от XIX века, — так же, увы, как и «характер» — индивидуализация пресловутая. Все это — чушь. Есть один вид индивидуализации — это писательское лицо, почерк, стиль.

Если автор добивается делаемого с помощью «поточка сознания» — честь ему и хвала. Но колымский материал — таков, что никакой «поток сознания» тут не нужен. Важно только избежать литературщины, литературности. Так ввести живую нить, чтобы все запомнилось, раскрывало суть события, суть времени. Чем это достигается — пусть читатель и не догадывается. А работа тут большая. Когда пишешь, думаешь только о теме, но о принципах, о способах выражения раздумываешь десятки лет. Работа над аллегорией, над подробностью — деталью, над светотенью — все это обязательно, но очень элементарно. Есть более тонкие достижения, вопросы более сложные. В свое время я много потратил труда на остросюжетные рассказы — часть их была напечатана, а 150 рассказов — пропало.

Очень важно не переписывать рассказ много раз. Первый вариант — как в стихах — всегда самый искренний. Вот эту первичность, сходную с «эффектом присутствия» в телевидении, очень важно не утратить во всевозможных правках и отделках. Рассказ делается слишком литературным — и это смерть рассказа. Материал колымский таков, что не переносит литературности. Литературность кажется оскорблением, кражей.

И еще — никаких очерков в «Колымских рассказах» нет. Я не пишу воспоминаний и стараюсь уйти от рассказа как формы. Очерки — это «Зеленый прокурор», «Курсы», «Материал о ворах». Все остальное — не очерки, а, как мне кажется, гораздо важнее. Вот что ответилось на твое милое письмо. Желаю тебе и твоей семье и

всем знакомым твоим рязанским — добра, счастья и здоровья.

О. С. и Сережа шлют тебе привет. Пиши.

Твой В. Шаламов.

Я. Д. Гродзенский — В. Т. Шаламову

Рязань, 27.V.65 г.

Дорогой Варлам!

Только-только получил твое письмо, датированное 24 мая. Ты, оказывается, можешь пользоваться не только шумерской клинописью, но и вполне современным русским алфавитом. Это твое письмо разобрал сразу (на воркутинском аргю — «с почерку»). Одним словом, «с почерку» одолел твой почерк. Свой совет пойти на выучку к Ак. Ак. Башмашкину беру обратно.

Мне начинает казаться, что я становлюсь при тебе кем-то вроде «тихого еврея» Лавута¹¹ при Маяковском.

Лавут организовывал гастрольные выступления, а я — чтение твоих произведений в Москве и Рязани. Один мой знакомый перепечатал 20 любившихся ему стихотворений в 6 экземплярах, красиво переплел и смастерил титульный лист: В. Шаламов «Из Колымских тетрадей». Пять экземпляров он отправил друзьям — в Москву, Харьков, Днепрпетровск и еще куда-то. Другие проделывают то же самое, но только «втихаря».

Л. Н. Карлик как-то спросил меня, удобно ли ему преподнести тебе его монографию о Кл. Бернаре, получившую добрые отзывы за границей и у нас, и, получив мой ответ, помчался на почту с бандеролью в твой адрес.

Проф. В. А. Виленский (д-р биологии и химии) не любит писать. В противовес графоманам я назвал бы его графофобом, и он собирается написать тебе; проводит какие-то параллели между тобой и Буниным.

Со мной познакомился молодой (тридцати с небольшим лет) профессор и зав. кафедрой философии Ю. И. Семенов. Несмотря на то, что он занимается диаматом и читает курс его, говорят умен. Но у меня закрадось подозрение — познакомился он со мной не только и не столько ради меня, сколько ради желанья получать твои работы. По поводу «Аневризмы аорты» врачи сказали, что симптом (кошачье урчание) этот бывает не при аневризме, а при другом заболевании сердца. Я забыл, при каком именно (жены дома нет, спросить не у

кого). Но эти же врачи говорят, что замечание носит узкопрофессиональный характер и ничего менять в рассказе не нужно, т.к. придется снимать хорошее название («Аневризма...») или, выбрав кошачье дыхание, ломать повествование.

Все это, в общем, — мелочь и пустяк. Через неделю-полторы уеду в Москву, поэтому ты не отвечай мне на эту записку.

Теперь мои рязанские товарищи, чует мое сердце, будут ждать меня не ради меня самого и даже не ради привозимой мною колбасы, а из-за твоих повестей. Вот, что ты наделал. Да и мне самому не терпится прочесть «Шерри-бренди».

Эренбурга в № 4 «Нового мира» я еще не читал.

Жму твою руку. Поклон О.С. и молодым.

Як. Гродзенский.

Я. Д. Гродзенский — В. Т. Шаламову

Рязань, 19. VII. 1965 г.

Здравствуй, Варлам!

Я никогда не был согласен с полушутливым и полусерьезным афоризмом мизантропа — «ни одно доброе дело не останется без наказания».

Теперь я начинаю сомневаться в своей правоте. Мои приятели и знакомые были обрадованы, когда я ознакомил их с «Зеленым прокурором», «Надгробным словом», стихами и многими другими произведениями.

Мои приятели и знакомые восхищались автором, благодарили меня, перепечатывали то, что им нравилось.

На этот раз я привез всего 4 вещи — «Поезд», «Утку», «Шерри-бренди» и «Ожерелье»... Я имел неосторожность проговориться, дескать, новелл много. И вот теперь начались нарекания на меня. Почему привезли мало? Неужели Вам так трудно доставить килограмм-два прозы и поэзии? Почему «Х» получил от Вас первым, а я только вторым? «У» держал у себя 5 дней, а мне Вы даете только на три!

Одним словом — я жмот, я кулак. Из хорошего превратился в скверного. Вот тебе и диалектика доброго дела, превратившего меня в злого.

Некоторые обижаются за то, что я не могу доставить тебя сюда. Никакая аргументация, идущая от меня, не действует:

— У Вас, Яков Давидович, только одна комната? Но у нас — две и три, и он, В. Т., может остановиться у нас.

— У него, у В. Т., кошка? Но кошку можно привезти и т. д. и т. п.

Слабо действует и то, что ты не Аполлон, которым можно любоваться, и не Квазимодо, на которого следует дивиться, а просто сухощавый, мрачноватый русак-горожанин.

То, что я ознакомил с твоим творчеством, уже забыто. А вот то, что я привожу мало и даю ненадолго, — помнится.

Утешаю обещаниями и посулами. Старики-евреи покатываются с хохоту, когда я упоминаю название новой повести — «Фоне-квас»¹². «Фоне-квас» — пренебрежительная кличка для простофиль, дубарей, лопухов, для грубых и туповатых. Зачастую она имеет так же нехороший националистический душок.

Живу я здесь вторую неделю. Забежать к тебе перед отъездом, как обещал, не удалось — хождение «по магазинам», хлопоты и заботы. Сын мой околачивается в Москве и, вероятно, в ближайшие дни мне придется поехать с ним в Ленинград.

Вспомнил, — в Москве я познакомил тебя с К. Г. Войновским, а его жена — врач, человек милый и проверенный десятилетиями Воркуты, допытывалась у меня, чем ты болен, не нужно ли тебе лекарств и проч. Они (ее муж и ее зять — видные профессора в Алма-Ате) могут добывать дефицитные препараты. Я, конечно, от всего отказался.

Видишь, сколько у тебя почитателей!

Интересно, как разнообразны вкусы и разноречивы высказывания. Один старичок-профессор признается: «Я плакал ночью, перечитывая «Шерри...», плакал, перепечатывая его на машинке». Другой старичок, и тоже профессор, возражает:

— Ну, что Вы, «Шерри-бренди» это не лучшее. Послушайте, сколь великолепен диалог в конце «Ожерелья...»

Третью не соглашается с первыми двумя:

— «Поезд» — сильнее всего...

Короче говоря, в следующий приезд сюда мне уже нельзя показываться без «Фоне-кваса» или еще чего-либо.

Поклон Ольге Сергеевне и юной чете.

Я.

Р.С. Читал ли ты «Открытое письмо» в «Литературке» за 13-е июля и, пожалуй, еще более пикантную «Реплику» — «История одной телеграммы» в «Известиях» за 12 или 13 июля?

Як.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

21.VI.67

Дорогой Яков.

Рука еще не совсем зажила, но перешел на обычный способ письма. Посылаю книжку с самым сердечным чувством. Ты знаешь, как я отношусь к тебе.

Книжка прошла удачно — ты увидишь по тексту¹³.

Спасибо тебе за справку о Менъере. Обидно то, что 4 года не было приступов (всего их было до десятка) и вот снова. Четыре шва наложили. Писать я уже около двух недель не могу — так гудит голова. А когда-то годами не мог ни одного слова написать на бумаге. Менъер (синдром) ведь следствие, а не причина. У меня не болезнь Менъера, а то, что вызывает эти же признаки. До сих пор я падал удачно (боком, спиной). На сей раз упал лицом об пол, о деревянные ступеньки, а упал бы на каменной лестнице — разнес бы череп.

Привет и благодарность за справку и заботы.

В.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 14 марта, 1968 г.

Дорогой Яков.

Спасибо тебе за сердечное письмо. Увы — в «Москве» будет напечатано только два очень старых стихотворения — тридцать строк за два года — чаще они меня не печатают, как, впрочем, и «Знамя». Только поздравляют с Новым годом аккуратно и желают успеха. Тридцать строк по рублю строка — это тридцать рублей. По полтора рубля — сорок пять. В этих пределах мое коммерческое общение с журналом. Мотивы — я езжу в их кассу (а она на Н. Басманной, где ты когда-то жил), просто боюсь их обидеть, отказываясь от гонорара. Да и мой профком там (Гослит). Договоров у меня сейчас нет. В пятом номере «Юности» будут мои стихи. Тоже очень немного.

Правда, публикации в «Юности», с ее двухмиллионным тиражом, приравниваются к выпуску отдельной книжки — по неписаным издательским законам города Москвы, да и «Юности» не стремятся что-то исказить, исправить (что всегда в «Знамени» бывает), и вообще публикации в «Юности» — лучшие мои публикации с какой бы многолетней задержкой это ни происходило.

Этой репутацией ни «Москва», ни «Знамя» не обладают. Что касается «Нового мира» — то это журнал, в котором не существует стихов.

Привет жене и сыну.

В. Ш.

Перечел письмо. Конечно, лучше два стихотворения, чем ничего. Тем более что я избавлен от всяких редакционных бесед и встреч.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 14 апреля, 1968 г.

Дорогой Яков.

У меня много хороших личных новостей, а главная — очень большая, не сравнимая с другими, — я получил комнату, уже переехал и живу впервые за шестьдесят лет моей жизни — в самостоятельной, отдельной комнате. Просыпаюсь каждое утро с чувством глубочайшего облегчения, покоя, физического и нравственного удовольствия. В ней полная тишина. По какой-то счастливой случайности комната оказалась в каком-то звуковом вакууме, хотя недалеко от шоссе. Я плохо знаком с законами физики и не знаю, в чем дело.

Комната — самый обычный ЖЭК — то есть лучшая форма воплощения нашего жилищного права. Тебе все эти волнения знакомы, я помню, как ты радовался, когда уехал с Миллионной. На учете я был меньше полутора лет и обязан тут всем М. Н. Авербаху¹⁴, его советам и действиям, настойчивости, терпеливому общению с таким психом, как я.

Ходатайство это было возбуждено по его инициативе, все хлопоты, от первого до последнего документа, он взял на себя. Сам вопрос, юридический казус которого был возбужден М. Н., имеет интерес большой. Вопрос сводился вот к чему: имеет ли право реабилитированный в 1956 году получить площадь в Москве сейчас, если он не использовал этого права, хотя и вернулся своевременно в Москву. О благодарности моей я не хочу и говорить. Все

это вне всех возможных степеней. Превыше всех надежд и желаний. Я ничего бы без М.Н. не добился, конечно. Не одолел бы ни одного барьера. А вообще М.Н. не только собрал и представил все мои документы, но сам участвовал во всех заседаниях, был на всех приемах и прочее. Словом, моя благодарность безмерна.

Вся эта история обрамлена многими пикантными подробностями бытового плана. На освободившуюся комнату (19 метров) претендовала теща Асмуса и жена Асмуса — Ариадна Борисовна, чемпион квартирных драк — в том же стиле, как и десять лет назад, когда мы переезжали с Гоголевского бульвара в их квартиру при помощи милиции и депутата Киевского горсовета генерала Чернышева, а профессор интуитивной философии собственноручно отдирали линолеум с пола квартиры, куда мы в 1957 году переезжали. Вывертывал все задвижки из дверей, все вешалки. Никогда этого не забуду.

На этот раз было заготовлено от этого же семейства мерзостей не меньше, но быстро удалось ввести все разговоры в рамки официальных отношений.

Но это все пустяки. Главное — я живу и дышу в новой комнате. Первое письмо из этой комнаты я и пишу тебе — человеку, которому я так многим обязан. Приезжай в Москву и приходи. Я теперь понял, почему все воркутяне так хорошо говорят об Авербахе. Потому что он делал каждому какие-то реальные и реалистические вещи и именно в этом видел свое значение, роль и масштаб. Я не знаю его воркутинской жизни, но все, все, кто с ним встречается, все чувствуют себя обязанными ему. В эти многочисленные ряды вступаю сейчас и я.

Желаю тебе всякого добра. Очень хочу тебя видеть, чтобы поговорить о М.Н. — во много раз больше, чем я написал. Пиши. Приезжала Л. Волковская¹⁵, я получил ее записку (от нее на новой квартире) и говорил с ней. По телефону отказался от всех и всяческих выступлений в их институте.

Привет жене и сыну. *В. Шаламов.*

В.Т. Шаламов — Я.Д. Гродзенскому

16 июля, 1968 г.

Дорогой Яков.

Поздравлять меня с похвалой «Литгазеты»¹⁶ не нужно, но мне очень дорог твой отклик. Разыгрывается шах-

матная партия, начатая несколько лет назад — грузность походки, улиткоподобные движения в газетно-журнальном и издательском мире растягивают эту партию надолго. Ответ Лесневского на анкету газеты — это один из ходов этой партии по газетно-журнальной шахматной доске. Приедешь — я расскажу тебе подробно. Коротко: вокруг «Юности» — большой круг людей симпатизируют мне — в стихах, прозе и биографии — а не симпатизирующие Твардовскому критикуют его за то, что он в своем глупом капризе просмотрел мои работы в свое время. Кроме того, генеральная линия «Нового мира» в части стихов основана на догматической некрасовщине, на устарелой поэтике — порочна с начала до конца. Я со своим увлечением каноническим русским стихом, уверенный в безграничности возможностей этого стиха и обладания достаточным качеством стихов для публикаций — стихов программных, основанных на достижениях всей русской лирики XX века, связанных традицией со всем лучшим, что дал XX век русскому стиху, — был бы очень подходящим автором для поэтического отдела «Нового мира». Сейчас ведь нет стихов. Окуджава, может быть, кое-что? Все, что печатается, это нельзя назвать большой поэзией. Стих — это дело очень тонкое, и, конечно, меньше всего победы ждут на некрасовском пути. В поэзии это все — пройденный, давно пройденный этап. Как в живописи передвижники, стихи некрасовского плана могут вызвать только горестные эмоции у культурного человека, у молодого поэта.

Лесневский, автор ответа на вопрос анкеты «ЛГ» — автор ряда книг о стихах — лефовского — асеевского — Маяковского плана. Но он понимает, что нужно новое. Вот это новое он видит и в моих стихах и в прозе.

Сейчас вышла книга Луначарского «Воспоминания и впечатления» — там много есть занимательного. Вплоть до пользования фамилией Зиновьева в весьма ответственный момент. Из воспоминаний Луначарского очень хорошо видно, что он всегда работал с комиссаром, будучи наркомпроса. Ленин ему не верил ни на грош. Сначала это была Крупская, потом Покровский, Варвара Яковлева, позднее Вышинский... Решил, очевидно, сократить сугубую внимательность по отношению ряда бывших имен. Посмотри сам, если не найдешь, возьми книгу у меня. Приезжай сегодня в Москву. Я до сих пор еще не начал протезирование у С. Л. Розенштана. Выполняя его указания, я сделал снимок, закончил лече-

ние, но оказалось, что надо еще удалять все лишнее. Я думал, что это сделает в лечебнице С. Л., но оказалось не так, и удалять и залечивать раны мне пришлось в своей поликлинике.

Жму руку. Привет Н. С.

В.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 23 июля, 1968 г.

Дорогой Яков.

Спасибо тебе за твою сердечную открытку.

Со мной в пятницу в «Советском писателе» произошел занятный случай. Я сидел у Регистана (это сын нашего Эль-Регистана, автора пресловутого «Гимна» — но тоже уже в годах — он заведует поэзией народов СССР) и ждал своего редактора Фогельсона — принес ему для будущего сборника стихи. Регистан говорит: «Вы не хотели бы, В. Т., поработать для нас?» (А я им переводил раньше несколько раз пять-шесть лет назад.) Я говорю: «Хочу и обязательно к Вам зайду поговорить на эту тему». Регистан говорит: «Не заходите, а берите прямо сейчас. Пойдемте, я Вас познакомлю с автором и, если его судьба и стихи покажутся Вам интересными, берите». Мы вышли, и он познакомил меня с минским еврейским поэтом, пишущим на еврейском языке, наших лет. Был на войне, потерял ногу. Получил срок и просидел десять лет в лагере. Вторая нога за это время потеряла гибкость, образовалось что-то вроде контрактуры, и он прыгает на двух как бы протезах. Ну, сам понимаешь, еврей, да еще инвалид с военным протезом, да еще лагерник, да еще поэт, пишущий стихи. Я говорю Регистану: «Да, я возьму переводы, а где стихи?» — «Стихов нет, привезет через полчаса». Приехал мой редактор, мы отвлеклись разговором об удивительной судьбе Белинкова¹⁷. Я разговариваю и все время думаю: если хоть строчка будет в этих стихах о благодарности за судьбу и науку, хотя бы в самой завуалированной форме, я новых стихов не возьму, откажусь. Привозят стихи. Я просматриваю то, что мне досталось (мы переводим пополам с Озеровым) и ничего «компрометирующего» не нахожу. И беру. Потом просмотрел дома. Это — поэт, божьей милостью поэт-самоучка, разбитый жизнью в лагере и войной. Трещина по сердцу, тревога,

но ни строчки, ни звука, что было бы подлым, уклончивым. Вот такой герой. Весь тон обвинения скрытого, искренность, обида.

Я обещал и ему и Регистану сделать все, что в моих литературных силах, чтобы эти стихи не утратили тех качеств, которые всякий стих всегда теряет при всяком, даже гениальном переводе.

Сегодня он был у меня — Мальтийский Хаим Израилевич¹⁸. Его мать, жену и детей немцы убили. Что за жизнь, Яша. Я похвалил стихи, сказал, что для меня самое главное, чтобы Вы ничего не забыли. Ни Гитлера, ни Сталина. Но и по стихам видел, что автор не забудет, не собирается забывать. Нет стихов «проходных» или фальшивых, а счастье — еврейское счастье, шутки — еврейские шутки.

Я очень доволен. Перевожу на полный ход. Это ведь очень легкое дело (по подстрочнику). Когда-то я переводил до 300 строк в день.

Неожиданно главную роль сыграла секретарша отдела Регистана — Наташа. Она сказала: чем Вы будете сидеть в коридоре, сидите здесь. Фогельсон сейчас придет. И возник разговор, когда пришел не Фогельсон, а Регистан.

Теперь о стоматологе. Тут вот как получилось. Лечение в зубной поликлинике тянулось чуть не месяц — компрессы не сняли опухоли с крайне важного последнего коренного зуба. Со снимками я направлен на консультацию (там есть специалист-консультант), который записал в лечебную карточку об удалении трех зубов, в том числе коренного.

Со снимком я отправился к С. Л. (созвонился по телефону). Он посмотрел снимок и сказал: «Зубы надо удалять», — и написал записку об удалении четырех зубов.

Я думал, что это удаление он делает в своей поликлинике сам, но оказалось не так. В ближайший же день все четыре зуба были удалены (еще 1 зуб выдерут против намерений врача из поликлиники Литфонда), удалены все те зубы, о которых писал С. Л.

Когда зубы зажили и неделю назад я ему позвонил, он сказал, что в поликлинике прием работ и заказов прекращен, и мне нужно дождаться 12 августа, снова позвонить ему. Кажется, это было число 10? 11? Вот я и жду. Зубы у меня все залечены, пять зубов выдернуто, но никакого движения по собственно протезному пути еще нет.

Я думал, что ты застанешь начало работы, если нет никаких других причин отсрочки (нежелания и так да-

лее), об этом я судить не могу, но, конечно, уже начал бы что-то делать в Литфонде, в районной поликлинике или в платной лечебнице — зубов ведь нет совсем. Было девять, пять удалили.

Сердечный привет Нине Евгеньевне.

В.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 31 июля, 1968 г.

Дорогой Яков.

Спасибо за открытку. С сыном твоим я уже говорил по телефону о протезисте. Сергей Яковлевич был так терпелив, что добился понимания лишь вторичным звонком.

Работа по стихотворным переводам мне хорошо знакома. Я много переводил в 1956—58 годах и для «Советского писателя», отдела поэзии народов СССР, и для Гослита, и для «Иностранной литературы» — издательства, а не журнала. Для них я перевел несколько стихотворений Радована Зоговича¹⁹ — это очень хороший современный поэт, серб, на сербохорватском языке пишет. Переводы были трудные, но интересные, и я не пожалел времени, тем более что тогда из «Москвы» меня вышибли, и было надо что-то делать. Я перевел Зоговича хорошо, удачно. Редакторам очень понравился. Однако оказалось, что издать Зоговича у нас это хитрость сталинистов московских. Оказывается, Зогович — враг Тито, ярый сербский сталинист, всю силу тратит на борьбу с Тито. Когда после романа с Югославией — Хрущев уступил нажиму справа — в Москве стали спешить готовить сборник стихов Зоговича, пока что у нас издававшегося, а когда определился курс на сближение с Югославией, Зогович был неуместен. Его и не издавали, и вся моя работа пропала. (Кроме уплаты грошового аванса.) И я материл Слуцкого нещадно про себя, что не предупредил о сталинистском роке Зоговича. Я бы все разгадал и не взялся. Переводы стихов — дело хорошее и нетрудное, хотя и очень неприметное. Строк 300—400 в день я переводил, а Евтушенко уверял, что может переводить до 1000 строк за шестичасовой рабочий день. Возможно.

Главный минус этой работы в том, что по нашей издательской практике материальный эффект наступает только через три года (как и с изданием обычных стихов).

В «Советском писателе» я когда-то, году в 1957 (?), переводил Исхака Машбаша²⁰. Это такой адыгеец, партийный работник, начисто бездарный человек (как, между прочим, и Джалиль Муса Залилов, которого я хорошо знал по университету и общежитию в Черкасском переулке).

Машбаш жал на все свои партийные национальные педали, требуя превратить его в поэта. А когда увидел, что я этого делать не хочу, отказался от моей работы по переводу его стихов. Сотрудники «Советского писателя», да и сам я много раз его спрашивал, в чем все-таки дело конкретно. Образ, тон пропал, что ли?

— В ваших переводах слишком много буквы «и», — объяснил Машбаш. Ну, тут я с ним расстался. Так что не все на этом поэтическом горизонте тепло и ясно. Написал тебе целый трактат.

Привет Н. Е.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Дорогой Яков.

Сердечная благодарность Нине Евгеньевне (и тебе) за рецепты и справку о Менъеровской болезни. Неожиданности могут быть всегда (вроде падения в Ленинской библиотеке и спор с милиционером в метро). Пусть справка будет в кармане на всякий случай.

Пусть Нина Евгеньевна не боится, что я как-нибудь не так буду принимать атропин. Я принимаю на сахар по 7—8 капель два раза в день десять дней в месяце. Потом двадцать дней отдыха и снова десять дней по 2 раза в день 8 капель на сахар.

Я атропин принимаю 10 лет по этой прописи. Раствор этот много лет во всех аптеках давали по рецепту без печати и не отбирали рецепта. Собственной рукой Циммермана выписанный рецепт служил несколько лет — бумага была меловая. А года три назад стали отбирать рецепты и по осложнению лечение пропускать нельзя, а рецептов не дают врачи.

Желаю тебе всякого добра. Если увидишь Солженицына — передай ему привет. Карлику тоже. Я видел его сына недавно, в то время, когда отец отмечал 70-летие.

Жму руку. Напиши, когда приедешь в Москву.

В. Ш.

Москва, 27 ноября, 1970 г.

Яков,

сейчас в Москве идет борьба с пьянством, поэтому меня задерживают на улице чуть не ежедневно — в метро, троллейбусах, около магазинов и водят в милицию, где справка Нины Евгеньевны не всегда помогает. Я ведь не могу разъяснить справку спокойно — тогда бы и справки не надо. Я начинаю волноваться, горячиться — и впечатление алкогольного опьянения усиливается, а не уменьшается. Так было уже десятки раз за последние 10—12 лет. Вчера милиционер близ Краснопресненского метро (той самой станции, где я на выезде по эскалатору упал в первый раз в 1957 году, получив навсегда инвалидность) сказал так, просмотрев эту справку: «Справка справкой, а сейчас вы пьяны, и в метро Вам не место. Идите домой».

Нельзя ли у Нины Евгеньевны попросить справку, более понятную для работников метро и милиции, проект которой я прилагаю к письму.

Рецепты мои на нембутал на исходе, и если Н. Е. возобновит свою любезность — буду очень благодарен. С такой же просьбой я обратился бы к Вере Федоровне и жду твоего приезда.

Но все это — не главное.

Главное же в том, что я сейчас в срочном порядке, в декабре 1970 года, возобновляю хлопоты о пересчете пенсии на основании последних законов, о которых ты знаешь: включение литераторов в писательские списки.

В прошлом году у меня не было заработков, дающих право на успех перерасчета, а в 1970 году я получил по договору с «Советским писателем» за книжку стихов и как бы ни малы эти деньги (1000 рублей) при одобрении, при выплате 60% по договору, я эти деньги уже получил вместе с другими заработками. Собирается за 1970 год сумма, достаточная для права на успешный пересчет. Моисей Наумович согласен мне помочь. Но нужно, даже необходимо, твое именно присутствие, консультация и информация.

Надо рассказать, как оформлялась пенсия тобой (документы, приемы, справки, разговоры в собесе), словом, нужен именно твой совет, именно тот опыт — именно потому, что ты, и Н. Е., и В. Ф. понимают истинную сторону юридической природы некоторых человеческих прав.

Словом, мне хотелось бы по этому крайне важному вопросу повидаться с тобой до подачи заявления в собес.

Когда ты будешь в Москве? Напиши, позвони, я приеду на Русаковскую, и мы обсудим перспективы этого моего нового ходатайства. М. Н. не очень ясно представляет себе особенности этого рода хлопот, стоя на гранитной почве классического документа, вроде копии трудовой книжки, тогда как мы с тобой смело вступали на зыбкую почву медицины и держались на ней уверенно.

Вот это-то все я и прошу тебя срочно со мной обсудить.

Сердечный привет Н. Е. Яблочное варенье доедено, и я шлю тысячи благодарностей.

Твой В. Ш.

Р. С. Можно провести и другое сравнение. М. И. стоит на граните социалистического реализма, а мы с тобой предпочитаем зыбкую почву модернизма и держимся на ней достаточно уверенно.

В. Ш.

Проект справки.

Крупно: Медицинская справка

Больной писатель Шаламов Варлам Тихонович, 1907 г.р. страдает (хронически болен)

Пропуск

Крупно: Расстройством вестибулярного аппарата, что проявляется в шаткой походке (неустойчивая), заикании, потере слуха, головокружении, тошноте.

Пропуск

Больной может ошибочно быть принят за пьяного. Заплетающаяся речь. Больной может внезапно упасть. В случае появления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному первую помощь: помочь лечь в горизонтальное положение, положить в тень, облить голову холодной водой, ноги согреть.

Пропуск

Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце.

Не усаживать и не поднимать головы.

Вызвать «Скорую помощь»!

Разрывал и вновь заклеивал конверт я сам.

В. Т. Шаламов — Я. Д. Гродзенскому

Москва, 8 декабря, 1970 г.

Дорогие Нина Евгеньевна и Яков. Сердечно благодарю за срочную помощь и прошу выразить все мои бла-

годарности Льву Наумовичу, хотя у меня с ним разные мысли о путях прогрессивного человечества. Но разве в этом дело.

Медицинская справка текста профессора Карлика в высшей степени улучшила мой проект — и уже применялась в объяснении с водителями троллейбусов — ибо те имеют те же задания, что и милиция, и служащие метро.

Собственноручно профессор успокаивает, приводит меня в состояние глубокой благодарности.

Успокой Нину Евгеньевну. Нембутал я принимал двенадцать лет, каждый день не увеличивал дозы, хотя имею указание приема от профессора только увеличить, если надо. Но мне — не надо. Что касается пенсионных дел, то, конечно, новость есть, и эта новость заключается в правительственном законе о уравнении в правах с писателями трех московских групп литераторов. Случайно я оказался в числе людей, которые состоят на профсоюзном учете, именно в такой организации.

Нужен только заработок. А заработка у меня нет, ибо за стихи платят гроши и из многочисленных моих публикаций на пенсию не скопилось.

1970 год выходит с привлечением Казахстана, издательства, журнала и Гослита на 2400 рублей.

Но оказалось, что надо справку за 2 года — а не как я думал раньше. На ту же пенсию, что получал я, жить нельзя в Москве, по два рубля в день.

Жму. Привет. В. Ш.

Огорчен твоей болезнью. Желаю поправки. У меня нет такого желания пить и никогда не было — в 1956 году меньше всего, но я отношусь с уважением к этому мнению. Сердечный привет.

В.

В.Т. Шаламов — Я.Д. Гродзенскому

Москва, 7.1.71

Яков, как твои дела? За твои добрые дела тебя следовало наградить бессмертием. Но бессмертие вовсе не исключает кратковременных недомоганий, всевозможных кризов?

Не можешь держать перо в руке. Ответ в двух словах.

Твой В. Шаламов.

Карточка Н. Е. и профессора Карлика дают мне необходимую уверенность. Но даже вчера вечером пришлось ее предъявлять прохожему милиционеру.

«Выпил, старик. Ну, иди, иди».

Сердечный привет И. Е. и профессору Карлику.

В.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гродзенский Яков Давидович (1906—1971) — друг В. Т. Шаламова со студенческих лет, репрессирован в 1935 г., отбывал срок заключения на Воркуте, в 60-е годы помогал Шаламову в житейских заботах.

² Запись телевизионной передачи не сохранилась.

³ «Новомирские заботы» — работа В. Шаламова в «Новом мире» по рецензированию самотека.

⁴ В. Инбер. «Вторая встреча с поэтом», «ЛГ», 1964, 23 июня.

⁵ Россов (настоящая фамилия Пашутин) Николай Петрович (1864—1945) — актер.

⁶ В. Шаламов и Я. Д. Гродзенский упоминают о рязанских знакомых Я. Д. Гродзенского (Бровченко, далее проф. Карлик, проф. Виленский, Волковысская).

⁷ Вирта Николай Евгеньевич (1906—1976) — писатель официозного направления. «Известия» 2.07.64 г. поместили письмо работников автобазы о некорректном поведении Н. Вирты.

⁸ Овалов (настоящая фамилия Шаповалов) Лев Сергеевич (1905—1997), окончил МГУ в 1929 г., репрессирован 1941—1956 гг.

⁹ Мальцев Орест Михайлович (1906—1972) — писатель.

¹⁰ Цитируются с некоторыми искажениями стихи из «Кольмских тетрадей» В. Шаламова.

¹¹ Лавут Павел Ильич (1898—1979) — автор книги «Маяковский едет на съезд» (1969).

¹² «Фоне-квас» — повесть Г. Г. Демидова.

¹³ Сборник стихотворений В. Шаламова «Дорога и судьба».

¹⁴ Авербах Моисей Наумович — друг Я. Д. Гродзенского. Отбывал срок на Воркуте. В 60-е годы работал на общественных началах в жилищной комиссии Моссовета.

¹⁵ См. пр. 6.

¹⁶ Подводя полугодовые итоги в «ЛГ» 10 июля 1968 г., рецензент Лесневский Станислав Стефанович отметил как лучшие стихи публикации Шаламова в № 3 «Москвы», № 5 «Знамени» и № 5 «Юности».

¹⁷ *Белинков* Аркадий Викторович (1921—1970) — писатель, литературовед, эмигрировал из СССР в 1968 г.

¹⁸ *Мальтийский* Хаим Израилевич (1910—1986) — поэт, с 1973 г. — в Израиле.

¹⁹ *Радован* Зогович (р. 1907) — поэт, критик, публицист, писал на сербохорватском языке.

²⁰ *Машбаш* Исхак (Машбашев Исхак Шумафович) — писатель.

ПЕРЕПИСКА С Б. Н. ЛЕСНЯКОМ

Б. Н. Лесняк¹ — В. Т. Шаламову

Магадан, 18.11.63 г.

Здравствуй, Варламушка!

Письмо твое ходило без малого месяц. На Пролетарской мы не живем с 1959 г. Жаль, но помочь мы тебе не можем. Калейдоскоп разохся, и стекляшки перемешались. Память вырывает из прошлого все меньше и меньше частностей. Мы оба не помним ни имени Кривицкого², ни его лица. Если хочешь, мы можем запросить архив УСВИТЛа...

Что же ты не пишешь ничего о себе? Как здоровье? Как дела? Что пишешь? Что печатаешь?

Я, наконец, решил попробовать силы: пишу маленькие рассказы и печатаю в газете. Мечтаю о рассказе психологического плана. Серьезной работы не получается — не хватает ни времени, ни сил. Я долго не хотел обращаться к теме лагеря. Однако не выдержал и начал писать цикл маленьких рассказов-зарисовок. Но это оказалось не так-то легко сделать со здоровых позиций социалистического реализма! Один рассказ получился вполне самостоятельным, рассказ-этиюд о пеллагрезниках. Я тебе его пошлю. Хочу услышать твое мнение. Здесь о нем судят по-разному, но печатать пока не решаются.

К концу года должен сдаваться кооперативный дом в Москве, а у нас еще половина долгов не уплачена.

Нина и Танюха едут в отпуск в мае, я, очевидно, — в июле.

Здоровье — ни к черту! И поэтому грустно.

Когда-то мне казалось, что я переполнен сюжетами. А на поверку оказалось — наоборот! Или разучился

жизнь наблюдать, или никогда не умел анализировать происходящее.

Для рассказов о лагере мне не хватает острых и значительных по содержанию сюжетов. А писать о лагере, я полагаю, нужно. Уходят из жизни последние участники и свидетели тех дел и тех лет. И рассказывать о нас будут Нефедовы, Гарающенки, Семены Лифшицы³, в лучшем случае по подстрочникам.

Напиши, друг, о себе, о делах, о московских новостях!

Ольге Сергеевне большой привет.

Нина передает тебе самые лучшие пожелания!

Жму руку.

Борис.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Леснику

Москва, 22 февраля, 1963 г.

Дорогой Борис, о Романе Кривицком никого запрашивать не надо, об этом позаботится его брат. В письме твоём очень много вопросов, постараюсь ответить, как могу и понимаю. Писать нужно все время, не стремясь обязательно к напечатанию, это вещи очень разные — печататься и писать.

Конечно, рассказ психологического плана есть единственно достойный род прозы. И уж кому, как не тебе, заставить поработать мелочи, подробности для этой цели. Надо иметь большую волю, отвлечься, вернуться в утраченное время, перечувствовать тот мир — обязательно с болью душевной, и на эту боль придется идти, без нее ничего не получится. Словом, надо пережить, перечувствовать больное. Ни о каких «позициях» думать во время работы не надо — все будет испорчено. Позиция — это для критиков и литературоведов, но не для писателя.

Рассказ охотно прочту.

Солженицын показывает писателям, что такое писательский долг, писательская честь. Все три рассказа его — чуть не лучшее, что печаталось за 40 лет.

Сюжеты вернутся, если поработать прилежно. Ты не разучился наблюдать жизнь, а не приобрел еще писательских навыков. О лагере надо писать обязательно, фиксировать все это, пока не исчезло, не рассыпалось, да и память — инструмент несовершенный,

ненадежный. Потому у тебя и затруднения с сюжетом. Надо вернуться не столько мыслью, сколько чувством в этот мир.

Что касается Нефедовых, то недавно ко мне приезжал журналист Виленский и просил меня дать стихи для альманаха «На Севере Дальнем».

Когда-то с господином Нефедовым и Николаевым я обменялся письмами по этому поводу, от предложения Виленского я отказался. Нине Владимировне мой сердечный привет. Это письмо общее Нине Владимировне и тебе, Ольга Сергеевна шлет вам обоим привет.

В. Т. Шаламов — Б. Н. Лесняку

Март, 1963 г.

Дорогой Борис.

Рассказ «Три Д» для печати не годится. Успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многообразная: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки, новизна описаний, в пейзаже, в портрете, свежесть, своеобразность языка.

Всего этого тебе еще предстоит добиться. Особенно испортил рассказ «Три Д» — райским хеппи-эндом о дочери, играющей на пианино. Это — дешевый газетный прием, который может угробить любую вещь...

Впрочем, что тебе надо очень хорошо понимать, — то, что правда действительности и художественная правда — вещи разные. Истинно художественное произведение — всегда отбор, обобщение, выводы.

Наконец — материал. Наша сила в нашем материале, в правде, действительности, поэтому, если ты не задался целью описать характер, лучше писать суше, фактами и именами, ничего не искажая. Тогда к произведению прибавится сила документа, сила особая.

Конечно, если художник добивается успеха — в преодолении действительности, в борьбе с мемуаром, не потерял силу мемуар. Достоевский в «Записках из Мертвого дома», Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича».

Но уже Толстой в «Воскресении» с его тюремными сценами слабоват, второсортен.

Я думаю, что тебе надо больше писать.

5 августа, 1964 г.

Дорогой Борис!

Получил твою посылку и за все благодарю. Магаданский значок изящен, символичен, но был бы еще лучше, если б вместо елки в левой половине щита стоял стланиковый куст или лиственница — никакие другие деревья не могут быть символом Магадана, знаком Дальнего Севера, в том числе и ель. В комиссии, утверждающей проекты, должны быть люди, понимающие разницу между елью и лиственницей — именно в нашем, колымском, лагерном плане. Для нас не всякая хвоя была символом жестокости, недружелюбия, угнетения и не всякая хвоя была знаком надежды.

Очень хорош учебник географии Петрова⁴. Благодарю за подарок. В нем, конечно, нет очень многого — и в части исторического содержания, и в подробностях колымской природы (стланик, поднимающий свои ветви среди зимы от костра и опускающий их, когда костер погаснет; грибы-великаны, будто выращенные модным гидропонным способом, цветы без запаха, птицы без весеннего пения, весна без дождей и многое, многое другое), и все же работа Петрова — лучшее в своем роде издание, наиболее ответственное (поскольку это — учебник). Я вспоминаю, что в школьные географические учебники в течение сорока лет не включали одну восьмую часть Советского Союза — ту самую, о которой написана работа Петрова.

Теперь о вопросах принципиальных. Ты пишешь, что не понял моего замечания о стихотворении «Шоссе»⁵. Постараюсь объяснить подробнее. Стихи пишутся не для того, чтобы по ним изучали природу, топографию местности, улицы и площади. Стихи — не путеводитель по городу. Ни при возникновении замысла, ни при записи, ни при окончательном контроле и шлифовке — никогда и нигде в творчестве не ставится задача изучения природы, описания природы. В стихотворении речь идет о душе, и только о душе. Более того: пока пейзаж не заговорит по-человечески — его нельзя и называть пейзажем. Это будет лишь мертвое описание, лишенное поэзии, неспособное тронуть человеческое сердце.

Стихотворение «Шоссе» (которое выбрано тобой как пример изображения «труженицы-дороги») написано только для того и только потому, чтобы показать, что

все бурлацкое, все каторжное, что я знаю об этом мире, — заслуживает ангельской, небесной жизни. Вот суть этого стихотворения, его мотив и смысл.

О рецензиях. Твоя рецензия⁶, повторяю, мне понравилась, хотя она и написана по тем канонам, которые преподаются в школе и в литературных кружках. Я должен всегда помнить, что ничего другого редакция и не напечатала бы, вероятно. По всей вероятности, это максимум возможного.

Рецензию В. М. Инбер⁷ оценил очень невнимательно. Дело не только в доброжелательности. В рецензии начат очень важный разговор о том, что делать с бесчисленными «Самородками», вроде шелестовского⁸, и творениями Алдана-Семенова⁹, запленившими поэтический рынок. Можно ли простить выступления целой тучи бездарностей — только потому, что они «сидели» в свое время? Может ли простить их выступления поэзия — «пресволочнейшая штукавина», В. М. Инбер считает, что нельзя. Ибо искусству (к сожалению или к счастью, как на чей вкус) нет дела до того, страдал бездарный автор или нет. И я считаю, что нельзя. Возможно, эту мысль надо было, можно было выразить яснее. Возможно, редакции «Литературной газеты» кое-что в этом отношении следовало прояснить. Но В. М. Инбер принадлежит уже не один десяток лет к числу писателей, которых в редакциях не правят. В. М. Инбер не нравилось в «Огнive» стихотворение «Камея» (неполный текст), пока я не познакомил ее с полным текстом этого маленького стихотворения. Свое изменившееся мнение В. М. сочла нужным подтвердить публично, официально (в рецензии)¹⁰.

В рецензии В. М. Инбер есть одна ошибка. Речь идет о стихотворении «Виктору Гюго». В. М. показалось, что это стихотворение относится к лагерю, тогда как «неотпленный театр» — это Вологда моего детства, двадцатые годы, самый первый увиденный мной театральный спектакль — «Эрнани» с Н. П. Россовым (был такой в России знаменитый бродячий актер-трагик, игравший глубоким стариком роль молодого короля Карла в этой пьесе). Вот это — восхищение, ошеломление детских лет, вызванное первым театральным спектаклем, восхищение гением Виктора Гюго я и старался выразить. (Человек, сказавший, что Виктор Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса, — Анатолий Франс — фигура ничтожная по сравнению с Виктором Гюго.) Вот о чем шла речь в стихотворении «Виктору Гюго». А Вере Ми-

хайловне Инбер показала, что тут речь идет о лагере, о нетопленном [лагерном] театре в снежной Вологде, которая кажется В. М. чуть ли не краем света.

Я хотел написать ей об этом в письме (у меня есть ее письма), но потом передумал и оставляю ее отклик как некий общественный и литературный факт, как своеобразную аберрацию. Лагерь был и остался книгой за семью печатями, В. М. Инбер считает худшим наказанием смотреть «Эрнани» в снежной Вологде — дальше этого представить человеческие страдания автор «Пулковского меридиана» не решается.

В этой ошибке есть нечто общее с впечатлением читателей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Большое количество читателей принимают повесть как изображение картины «ужасов» — а до подлинного ужаса там очень, очень далеко, и надо было десятилетие, по крайней мере, смертей, произвола (который только сейчас называется произволом), чтобы получить этот «каторжный лагерь». Все это — такой интересный и психологически значительный оборот дела, что я решил не нарушать иллюзию.

Наконец — третий важный вопрос — о значении Крайнего Севера в моей работе (или творчестве, как теперь говорят). В пушкинские и даже некрасовские времена слово «автор» обозначало «сочинитель», писатель. Теперь же пишут: «автор гола в ворота «Спартака», «создатель гола, творец голевой ситуации» и так далее. Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или, по крайней мере, Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север, а точнее лагерь, ибо Север только в лагерном своем обличье являлся мне, уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев, которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом, и только в этом, значение Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) — школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерь. Никаких тайн искусства Север мне не открыл. Есть одно важное наблюдение, заслуживающее особого разговора, но связанное и со сказанным только что. Писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо знать свой материал. Если писатель знает материал «слишком» — он переходит на сторону материала и

теряет способность выступать от имени читателей, для которых он пишет (в смысле настоящего писательства, а не заказа). Читатели перестают понимать его. Связь нарушается. То, что казалось раньше важным ему и его читателю, — сейчас кажется чушью, пустяками — и это не новое открытие мира, в который он может ввести читателя (это бывает всегдашней писательской задачей), а страна, где говорят на другом языке и думают по-другому. Драка из-за куска селедки важнее мировых событий — это наиболее простой пример «сдвига», «смещения масштабов». То, о чем сказано скороговоркой, походя и автору понятно и близко (иное решение нарушает художественность словесной ткани, как примечания, сноски разрушают стихи), — для читателя требует подробного, постепенного, а главное — талантливое предварительного объяснения. Писателю же в это время такая подготовка кажется не нужной. Да и не всегда возможно объяснить. Таких примеров ты можешь сам представить бесчисленное количество.

Вот кое-что из того, что я тебе хотел сказать по поводу и твоего письма, и твоей рецензии.

Нине Владимировне — сердечный мой привет. О. С. — на даче, а Сережа — в Прибалтике.

Жму руку.

В. Ш.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лесняк Борис Николаевич, Савоева Нина Владимировна — знакомые В. Шаламова по колымской больнице «Беличьей», где Н. В. Савоева была главным врачом, а Б. Н. Лесняк — фельдшером, где Шаламов с перерывами лечился в 1943—1945 г. В. Шаламов поддерживал с ними дружеские отношения вплоть до эпизода, описанного им во «Вставной новелле». В. Шаламов «Воспоминания». М., 2001.

² Кривицкий Роман — журналист, погибший на Колыме, упоминается в «Воспоминаниях» В. Шаламова о больнице «Беличьей».

³ Сотрудники журнала «На Севере Дальнем» весьма конъюнктурные авторы.

⁴ Петров В. М. «География Магаданской области». Магадан, 1964.

⁵ «Шоссе» — стихотворение В. Шаламова, написано в 1957 г., опубликовано в кн. «Огниво». М., 1961.

⁶ Лесняк Б. «Север, север». «Магаданская правда», 1964, 24 июня.

⁷ Инбер В. «Вторая встреча с поэтом». «ЛГ», 1964, 23 июня.

⁸ Шелест Г.И. (1898—1965), рассказ «Самородок» опубликован в «Известиях», 1962, 5 ноября.

⁹ Алдан-Семенов А.И. (1908—1985) — автор ряда книг, в том числе повести «Барельеф на скале», ж. «Москва», 1964, № 7.

¹⁰ В «Огнive» (1961) стихотворение «Камея» было опубликовано без строфы:

В страну морозов и мужчин
И преждевременных морщин
Я вызвал женские черты
Со всем отчаяньем тщеты

Впоследствии, в сборниках «Шелест листьев» (М., 1964) и «Точка кипения» (М., 1977) стихотворение публиковалось без купюр

ПЕРЕПИСКА С Ф. А. ВИГДОРОВОЙ

В. Т. Шаламов — Ф. А. Вигдоровой¹

Москва, 16 июня, 1964 г.

Т. Вигдорова.

До глубины души был тронут Вашим письмом. Благодарю Вас за интерес к моей работе, за сочувствие, понимание, наконец, просто за тон Вашего милого письма. За Ваши пожелания.

Все это ведь об одном и том же — и стихи, и проза. Рассказы я печатал и раньше (в середине тридцатых годов), но тогдашняя манера кажется мне сейчас неприемлемой. Я очень, очень рад, что Вы познакомились с «Колымскими рассказами». Это — тридцать из сотни написанных мной.

Я хотел избежать «внешнего», хотел отметить некоторые закономерности психологические, особенности душевного состояния, часть из которых так точно и верно названа Вами. И я радуюсь, что замысел мой не пропал втуне, что он понят, почувствован, оценен.

В полувопросе Вы хотите знать, почему «Колымские рассказы» не дают, не производят гнетущего впечатления, несмотря на их материал. Я пытался посмотреть на своих героев со стороны. Мне кажется, дело тут в силе ду-

шевного сопротивления началам зла, в той великой нравственной пробе, которая неожиданно, случайно для автора и для его героев оказывается положительной пробой.

Растлевающая сила лагерей велика и многообразна. (Даже желание изобразить характеры «устоявших» связано с этой растлевающей силой.)

Опыт лагерной жизни — весь отрицательный. Даже день, даже час не надо там быть. Я видел много такого, чего человек не должен, не имеет права видеть. Душевные травмы — непоправимы. Душевные «обморожения» — необратимы. Остатки мяса на костях колымских «фитилей» — лишь для злобы или безразличия, равнодушия. И вдруг оказывается, что и душевных, и физических сил хватает еще на что-то, что позволяет держаться, жить...

И еще — в «Колымских рассказах» нет осуждения. Моральные барьеры отодвинуты, нравственные масштабы смещены.

Все это надо было показать людям, не знающим этого страшного мира.

Еще раз — благодарю за Ваше письмо.

С глубокой симпатией и уважением.

В. Шаламов

Прошу Вас принять с добрым сердцем «Шелест листьев». К сожалению, и в предыдущей моей книге («Огниво»), и в этой нет главного, самого важного, что было собрано в сборнике «Из колымских тетрадей» (1937—1956) и не нашло еще места в печати.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Ф. А. Вигдоровой

Москва, 12 марта, 1965 г.

Дорогая Фрида Абрамовна!

Я поздравляю Вас с днем рождения, выражая чувство глубокого восхищения Вашей жизнью, Вашими поступками, Вашей нравственной твердостью, энергией действенного и деятельного добра.

Я твердо знаю, что, если бы все мои желания сбывались, — ни одному человеку на свете не жилось бы легче, чем Вам. Благодарю Вас за Ваше доброе отношение ко мне, за тонкость и верность Ваших замечаний. Письмо Ваше вспоминаю и перечитываю всегда, когда хочется почувствовать себя человеком, приносящим людям какую-то пользу.

Я многое узнал о Вас уже после нашего знакомства, нашей встречи и не имел еще возможности высказать свое восхищение Вами. Только в этом письме делаю это. Благодарю людей за то, что на свете существуют такие люди, как Вы.

Желаю Вам здоровья и силы душевной и физической на многие, многие годы.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Ф. А. Вигдоровой

Москва, 25 апреля, 1965 г.

Дорогая Фрида Абрамовна!

Евгения Самойловна² передала мне Ваше письмо и «Листки из блокнота»³. Сразу скажу: я, волею судеб, в течение многих лет слежу за человеческими делами и действиями, которые из обыкновенных превращаются в героические и наоборот. Я — <биоток> такого рода дел и твердо повторяю все сказанное Вам в прошлом моем письме. Там нет ни одного случайного слова.

«Листки из блокнота» — не газетная работа. Это — гораздо больше, глубже, серьезней. Весь уровень, этаж не тот. «Листки» производят сильное впечатление: события в центре Москвы, быт и будни людей, живущих рядом с тобой... Становится ли человек, прочитавший «Листки», лучше чем-то. Хоть на самую малую долю лучше? Или (по крайней мере): захотелось ли человеку стать лучше — после того, как он прочел этот «блокнот»? Да, да и да. Я с удовольствием прочел бы Вашу книгу и постарался бы ответить со всей искренностью.

Желаю Вам здоровья, долгих лет работы, освещенной тем же светом высоких нравственных требований. Евгения Самойловна сказала, что передала Вам первую книгу моих рассказов. Две другие Вы, кажется, знаете. Я буду посылать Вам новое, что напишется. Еще раз — самый сердечный привет.

С горячей симпатией В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вигдорова Фрида Абрамовна (1915—1965) — писательница, автор книг о школе и проблемах воспитания. Записала процесс И. А. Бродского, который потом распространился в самиздате.

² Ласкина Евгения Самойловна (1915—1991) в те годы была зав. отделом поэзии в журн. «Москва».

³ «Листки из блокнота» — записки, наброски из депутатского блокнота Ф. А. Вигдоровой (она была депутатом районного Совета). Частично опубликованы в кн. Ф. А. Вигдоровой «Кем вы ему приходитесь». М., 1969, «Помогать и помнить». Из записок, выступлений и писем Ф. А. Вигдоровой», «ЛГ», 1968, 24 января.

ПЕРЕПИСКА С Ф. Ф. СУЧКОВЫМ

Ф. Ф. Сучков¹ — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Я, конечно, усиленно буду рекомендовать в своей рецензии на вашу рукопись стихотворение «Об одном и том же». Но мне кажется, что едва ли в нем пройдет слова:

Освобождения (Преображенья) песни ждем
(О песне громкой)
О слове вольном думал он.

и две строфы: «и на ветру скрипят ворота...», «...сведенный судорогой рот»².

Поэтому я рискую просить Вас, чтобы Вы до передачи Ваших стихов начальству, дали другой вариант двух слов «освобождения», «вольном» и отказались ради напечатания всего стиха от приводимых мною двух строк. Если бы Вы согласились с моим предложением, я бы не стал как-то извиваться в своей рецензии, в том месте, где буду писать об этой чудеснейшей вещи.

Вот что я хотел Вам сказать.

До свидания.

Ф. С.

Сообщите свое мнение по тел: Д-1-15-00, доб. 4-73 — мне. Что Вы не услышите моих слов, не важно. Главное, чтобы я услышал, что Вы думаете по этому поводу (моему предложению).

В. Т. Шаламов — Ф. Ф. Сучкову

Москва, 5 марта, 1964 г.

Дорогой Федот Федотович.

Я согласен с Вашим выбором («Бивень», «Вернувшись в будни деловые», «Ледоход», «Меня застрелят на

границе...»), хотя «Архимед»³ мне очень хотелось бы опубликовать.

«Вернувшись...» много теряет от снятых двух строф.

Просьба у меня будет только одна: проследить самым тщательным образом соответствие с моим текстом буквально. Ведь я не имею возможности видеть гранки. Просьбу эту особенно подчеркиваю потому, что прошлый раз (в номере 12) вашим корректором было испорчено одно из самых музыкальных, тщательно инструментованных моих стихотворений. Речь идет о стихотворении «Замшелого камня на свежем изломе». Я добивался особой выразительности, текст — тысячный вариант главного. В последней строфе, раньше это была третья строфа, четвертая к вам не попала, первая строка читается так:

Что он занесет на столичные карты..
Что кто-то пораньше, чем я
Склонялся здесь в авторском
Неком азарте
Над черным узором ручья.

Бдительный корректор (сверившись на всякий случай с Далем) исправил «занесет» на «нанесет» и убил стихотворение. Тут нельзя «нанесет», ибо получается четыре «н» подряд, звуковая выразительность утрачена, поэтическая неряшливость очевидна.

Но мало этого. Звук «з» в этой строке связан с «с» из слова «столичные» в той же строке — здесь повтор, рифма, гармония. Все пропало из-за чрезмерной бдительности корректора. Если бы дело шло о прозаической вещи, статье, научной работе, там можно было или согласиться с корректором, или не соглашаться — ибо «занесет» на карты, в списки — вполне допустимо и в живой картографической речи применяется давно и постоянно, и строгость Даля тут не поможет. Вообще словарь Даля — это оправдание, но вовсе не окончательные границы значения любого слова. Словарь Даля — это допустимость, а не клетка железная.

Для стихов же от корректора требовалась большая чуткость. Корректор «Советского писателя» С. С. Потресо́ва, более связанная с поэтическими и звуковыми проблемами, конечно, оставила «занесет». Это стихотворение есть в сборнике. Зачем я Вам все это пишу — чтобы показать всю тонкость, всю хрупкость поэтических сооружений. Как легко разрушить стихотворение недос-

таточно чуткому корректору. О том, что можно в языке и что нельзя, мы знаем лучше любого корректора и отвечаем за свою работу. Что было бы, если бы в «Сельской молодежи» печаталось стихотворение «Бухта». Содержание этого стихотворения я излагал (вкратце) в течение получаса — а ведь вся суть стихов в их крайней экономности, сжатости и так далее. Пример с корректорской ошибкой при правке слова «занесет» — это пример различия между стихами и прозой. Корректор должен спросить себя: допустимо ли слово «занесет»? Или это описка, ошибка, погрешность, неграмотность, наконец. Пусть «нанесет» точнее и удостоверено Далем, но «занесет» допустимо или нет? Вот о чем должен был думать корректор.

Есть еще пример. В «Огнive» в стихотворении «Ода ковриге хлеба» есть строфа:

И вот на радость неба,
На радость всей земле
Лежит коврига хлеба
На вымытом столе.

Только догматик может исправить падеж в слове «небо» — «на радость небу».

Поправка испортила бы стихотворение. Это почувствовала корректор журнала «Москва», где впервые напечатали это стихотворение, и издательский, когда готовилась книжка «Огниво».

Разве слово «камнелом» (стихотворение «Гнездо орлицы») встречается в словарях Даля или Ожегова?

В «Огнive» несколько раз встречалось слово «заметь». Это от «метели», слова, которое Есенин всегда писал «мятель», точно так же и «замять» — это есенинское правописание, но отнюдь не закон. Я всегда писал «метель». Здесь нет погрешности против русского языка, написал и «заметь». И не один раз. Дискуссия по этому поводу с корректором издательства закончилась в мою пользу — доводы мои были приняты во внимание.

А вот пример положительного вмешательства того же корректора «Советского писателя» С. С. Потресовой в мою работу. Стихотворение «Вырвалось из комнатного плена» разве читается так:

Вырвалось писательское слово..
...в облака
Читка на квартире Телешова
Нынче романисту не рука.

Казалось, надо произносить именно «Телешов». Однако эта фамилия — исключение, и корректор Потресова самым энергичным образом все это мне доказала, не ограничиваясь сверкой у Даля и опровергая мои аргументы, что «ов» скрытое «ев», как Кудашев, и, следовательно, слог этот тянет за собой ударение: как завороченный, обожженный, гнезда, седла, звезды, цвел и т. д. Обратила мое внимание на неправильное ударение в фамилии «Телешов», приходящееся к тому же на окончание строки, на рифму. Пришлось коренным образом переделывать всю строфу и напечатать так, как она выглядит в сборнике «Шелест листьев». Нельзя писать «Пушкин» ни в рифме, ни в строке.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сучков Федот Федотович (1915—1991) — скульптор, поэт. В те годы работал в журнале «Сельская молодежь», где в № 12 за 1963 г. была помещена подборка стихов В. Шаламова «Северные стихи», а в № 10 за 1964 г. — его стихотворение «Бивень».

² Речь идет о цикле стихов В. Шаламова «О песне». Впервые опубликован полностью в сборнике «Стихотворения», М., 1988.

³ «Как Архимед, ловащий на песке...» Впервые опубликовано в «Дне поэзии». М., 1985.

ПЕРЕПИСКА С Л. З. КОПЕЛЕВЫМ

Л. З. Копелев¹ — В. Т. Шаламову

Переделкино, 28.XII.64

Дорогой Варлам Тихонович!

Одним из самых значительных событий нашей жизни вообще, и особенно нынешнего истекающего года, было знакомство с Вами. Мы очень благодарны судьбе, что довелось узнать Вас, и благодарим Вас за все, что Вы написали, пишете и напишете, — совершенно уверены в том, что и неизвестное нам (пока), достойно самой горячей благодарности. Трудно писать Вам, потому что создаешь, как тусклы и бессильны любые праздничные слова перед суровой живой силой и пронзительным светом

Вашего слова, Ваших стихов и прозы. И все же сейчас на рубеже годов, следуя доброй традиции, хотим написать Вам, чтобы высказать искреннюю любовь и глубочайшее уважение к Вам лично и к Вашему творчеству.

В будущем году и на многие-многие будущие годы желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемых творческих радостей, побольше светлых часов, дней, месяцев, поменьше печальных минут и всего самого хорошего Вам и тем, кто Вам дорог.

Сердечно Ваши.

Р. Д. и Лев Копелевы

Р.С. А себе желаем встречать Вас в новом году, читать Ваши новые стихи, рассказы, очерки...

Н.В. Сейчас мы живем в Переделкино, на даче семьи Всеволода Вячеславовича Иванова (ул. Павленко, 4, рядом с дачей Б. Л. Пастернака). Тел.: Г-9-60-00, доб. 1-18.

Л. З. Копелев — В. Т. Шаламову

1965 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Пусть наступающий год принесет Вам побольше хороших дней, добрых мыслей, всяческих радостей Вам и всем, кого Вы любите. Рад поводу снова сказать Вам, что мы (Р. Д. и я) чтим и любим Ваше могучее дарование, благородные Ваши стихи и суровую, но такую необходимую — душевно необходимую всем нам, и детям, и внукам нашим — прозу. Будьте здоровы. Обнимаю Вас.

Ваш *Лев Копелев*.

В. Т. Шаламов — Л. З. Копелеву

Москва, 8 мая, 1965 г.

Дорогой Лев Залманович.

Наталья Ивановна² сказала мне вчера, что Вы написали мне письма — и не получили ответа. Это — вероятно, невозможно для меня — поступить так в отношении человека, к которому я отношусь с давней и искренней приязнью, вспоминая всегда тепло.

Я возвращаюсь к обстоятельствам недоразумения, отыскивая не оправдание (виноват только я), но смягчающие объяснения. После первого письма Вашего я ведь был у Вас дома и был встречен Раисой Давидовной и

Вами с большой радостью и симпатией. Мы расстались с тысячей взаимных обещаний. Солженицын должен был на другой день передать Вам мою пьесу. Я ждал от Вас открытки, получили ли Вы эту пьесу. Это было время, когда я ответа из Малого театра еще не получил, и хотя бы беглое суждение со стороны об «Анне Ивановне» было мне важно. Через какой-то большой промежуток времени — два-три месяца — Солженицын сказал, что передал Вам пьесу не позднее, чем обещал и хотел. И опять прошел не один месяц. А письма (О встрече? О пьесе? О продолжении разговора, начатого на ул. Горького?) я не получил и отчаялся уже ждать известия от Вас. Прошло еще какое-то время — вдруг новогоднее поздравительное письмо. Это письмо я получил в новогодних обвалах моей личной жизни, в тысяче принимаемых и отменяемых решений. Я был непростительно небрежен, пробежав это письмо глазами. Сейчас я перечел письмо. Я благодарю Вас за незаслуженные похвалы по моему адресу. Я знаю, что Вы давно следите за моей попыткой как-то исполнить свой долг, сохранить свое лицо, отвоевать себе хоть крошечное место.

Мне очень стыдно, что по моей вине вдруг оборвался на полуслове так хорошо начавшийся разговор. С Раисой Давидовной и с Вами мы расстались так тепло. Очевидно, надо быть постоянно готовым развеять мираж, искажающий истинные отношения людей между собой, и это — упрек в мой, и только в мой, адрес.

Я глубоко благодарен Наталье Ивановне за решительное ее вмешательство и совет.

Я прошу прощения за недоразумение, камнем лежащее на моей душе. Ни одной минуты моей жизни я не испытывал к Вам ни неприязни, ни досады. Я рад буду видеть Раису Давидовну³ и Вас на Хорошевском шоссе — я вряд ли этим летом поеду на дачу. Рад буду и приехать к Вам. Сердечные извинения Р. Д. С уважением В. Ш.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Копелев* Лев Залманович (Зиновьевич) (1912—1997) — писатель, переводчик, с 1980 г. в Германии.

² *Столярова* Наталья Ивановна (1912—1984) — секретарь И. Г. Эренбурга. См. далее переписку с ней.

³ *Орлова* Раиса Давидовна (1918—1989) — писатель, литературный критик, с 1980 г. в Германии.

ПЕРЕПИСКА С Ю. О. ДОМБРОВСКИМ

В. Т. Шаламов — Ю. О. Домбровскому¹

[1965 г.]

Дорогой Юрий Осипович!

Поздравляю Вас с Новым годом! Горячо желаю, чтобы вторая часть «Хранителя древностей», повести, о замысле которой Вы рассказывали с такой экспрессией, была опубликована, напечатана в новом этом году, который решит многое в литературных судьбах (и не только в литературных). Отлична словесная ткань «Хранителя древностей». Несколько сложна, но, вероятно, это входило в замысел. Во всяком случае, внутренняя тревога общества и человека тех лет — чудовищных и в то же время обычных, — живых людей того времени передана в «Хранителе» хорошо. Я вообще-то сторонник прозы простой, очищенной до предела, где только деталь, символ, подробность должны высветить со всей неожиданностью замысел, но хорошая проза бывает и непростая. Жму Вашу руку. Рад знакомству, прошу звонить, писать, приезжать.

В. Шаламов.

Ю. О. Домбровский — В. Т. Шаламову

[1965 г.]

Дорогие друзья, был счастлив, получить Ваши добрые письма. Вы знаете, как я люблю прозу В. Шаламова (стихов еще не видал). Для меня он буквально великое открытие. Сейчас я нахожусь в Голицыне и этим объясняется некоторое запаздывание с ответом, и то, что я не могу зайти и поблагодарить лично. Приходится ждать до 20-х чисел. Насчет «Хр<анителя> др<евностей>»: я **вполне** согласен, что всякая проза должна быть проста и ясна. Более того, для меня всякая сложность (человека, книги, прибора, теории, организма) — безусловный порок. Великий палеонтолог В. Ковалевский писал, что мы не знаем ни одного организма, эволюция которого шла бы в сторону усложнения, а не упрощения. Сложность — это либо результат того, что не все додумано, либо того, что цельная вначале вещь разбита и распалась на множество кусков. Вот богатство вещи иное дело, но ведь оно не вид сложности, а антитеза к ней. Теперь о «Хр<анителе>». Тут дело обстоит так. «Хр<анитель>» (по замыслу)

обыкновенный цельный человек, его окружают все трогательные и простые ценности заштатного прошлого — и оказывается, что у захолустного г. Верного тоже были свои праведники, страстотерпцы и одержимые. Отсюда рассказ о двух творцах собора — о рисовальщике Хлудове, о краеведе Кастанье. Это все люди, влюбленные в человека и во все дела его. И хранитель тоже такой, только он старше их на полвека, и поэтому смотрит на них с любовной иронией. Так это длится до тех пор, пока не «пришел подлец и нарушил течение жизни». И отошло все. Улетела ясность, наивность, напевность. Лицом к лицу встала костяная морда жестокого и безмозглого Настоящего. Мозг и мысли конфискованы. Начинаются **события**, и они так же голы, жестоки и неразумны, как и боги, вызвавшие их. Начинается борьба. Таков был один из моментов замысла. Только **один** и не главный, а вот как это удалось... ну это уже иное дело. Тут уж судья Вы, а я только ответчик. Теперь великая просьба — разрешите показать Вашу книгу моему другу — писателю Ю. Давыдову (Кандалакша) и писателю Ю. Корейцу (Карлаг). Если это не встретит возражения, то позвоните Н. И. С.², а я у нее возьму. Без этого не решаюсь. Крепко, крепко жму Вашу руку и друзья тоже поздравляют с праздником. В 65 г. и я верю!!!

Ваш *Домбровский*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Домбровский* Юрий Осипович (1909—1978) — писатель. В письмах идет речь о повести «Хранитель древностей» (1964), Шаламов не раз говорил, что это «лучшая повесть о 1937 году».

² Наталья Ивановна Столярова.

ПЕРЕПИСКА С А. В. ЖИГУЛИНЫМ

А. В. Жигулин¹ — В. Т. Шаламову

10.1.65 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Я давно знаю и люблю Ваши стихи. Примите от меня в знак признательности одну из худеньких моих книжек. Резали ее жестоко и редакторы, и цензура. Про-

боины пришлось латать вещами не новыми и далеко не лучшими. Прочитайте, пожалуйста, второй, «северный», цикл. И в нем далеко не полная правда, и в нем попадаются декларации не совсем верные, но прошли и некоторые труднопроходимые вещи: «**Кострожоги**», «**Бурндук**» и другие.

Будьте здоровы! Всего Вам самого доброго.

Еще раз спасибо Вам за Ваши великолепные стихи, за книгу «**Шелест листьев**».

Ваш Анатолий Жигулин

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Жигулин Анатолий Владимирович (1930—2000) — поэт.

ПЕРЕПИСКА С А. А. РУБАНЦЕВЫМ

А. А. Рубанцев¹ — В. Т. Шаламову

23/III.65

Добрый день, Варлам Тихонович!

Прежде всего представлюсь: Рубанцев Александр Александрович.

Я несказанно обрадовался, встретив Вас в 3-м номере журнала «Знамя». В справочной узнал адрес и решил написать. Я часто с болью вспоминал о Вас, а память ассоциировала с тем образом, который я унес при нашей последней встрече на Левом берегу. Он в какой-то части совпал с Вашими же словами: «Удерживал слезы на площади стоя...» Мне и Лиле Федоровне очень хотелось бы Вас повидать.

Хотя я и уверен, что это действительно Вы, Варлам Тихонович, но все же прошу это подтвердить. И тогда договоримся, если у Вас, конечно, есть желание.

Мне нужно писать так: Снегири, Моск. обл., ул. Ленина, д. 22, кв. 7.

Можно позвонить: АД-8-98-88, доб. 3-23.

Если у Вас есть телефон — сообщите.

Если Вы отзоветесь — я сообщу и Трауту — он в Жданове и пишет нам часто.

А повидать нам Вас очень хочется!

А. Рубанцев.

Москва, 25 марта, 1965 г.

Дорогой Александр Александрович!

Я бесконечно был обрадован Вашим письмом. Нескольким раз спрашивал при встрече с колымчанами — никто не знал ничего. Я пробыл в лагере 17 лет, и за это время встретил очень мало людей — буквально единицы — людей, которые при столкновении с действительностью, с живой жизнью нашли в себе мужество изменить то предвзятое мнение, с которым эти люди приехали на Колыму, — и не только сумели изменить мнение, но и сочли своим нравственным долгом активно действовать в соответствии с новым, более глубоким пониманием вещей. Я никогда не забуду и надеюсь еще много написать о нашем знакомстве с Вами, и о Лиле Федоровне, и о всей этой левобережной, такой своеобразной жизни. Вы и Ваше поведение — как раз тот случай, который укрепляет веру в людей. Желаю Вам и Лиле Федоровне крепкого здоровья, душевного мира и покоя. Как сын Ваш, напишите. Буду рад в любое время видеть Вас и Лилию Федоровну. Только я оглох после Колымы и говорить с Вами будет кто-нибудь другой, а лучше — письмо. Еще раз самый сердечный привет Вам и Лиле Федоровне. Отвечайте скорее.

Ваш *В. Шаламов*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Рубанцев* Александр Александрович — зав. хирургическим отделением Центральной больницы для заключенных в пос. Дебин, вольнонаемный, приехал на Колыму после демобилизации. Описан в рассказе Шаламова «Прокуратор Иудеи», *Лиля Федоровна* — жена А. А. Рубанцева. Траут — хирург этой больницы

ПЕРЕПИСКА С Н. И. СТОЛЯРОВОЙ

В. Т. Шаламов — Н. И. Столяровой¹

1965 год.

Дорогая Наталья Ивановна²!

Рукопись эта³, как всякое важное, значительное литературное произведение, затрагивает области мысли, ума, жизни самые разные.

Есть общий вывод (связанный и с личным знакомством, впечатлением отличной встречи с Надеждой Яковлевной), который хочется высказать раньше, чем любые суждения о рукописи. Вывод этот вот такой. В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. Суть оказалась не в том, что это вдова Мандельштама, свято хранившая, доносившая к нам заветы поэта, его затаенные думы, рассказавшая нам горькую правду о его страшной судьбе. Нет, главное не в этом и даже совсем не в этом, хотя и эти задачи выполнены, конечно. В историю нашей общественности входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности. И я думаю, что не в Осипе Эмильевиче черпал автор этой рукописи нравственные силы, а в самой себе — Надежда Яковлевна поддерживала Осипа Мандельштама десятилетиями и героически с той же твердостью прожила 27 лет после смерти поэта, не изменив памяти его. Не изменив себе. Суть даже в том, что не памяти Осипа Мандельштама она бы изменила, а изменила бы самой себе, своей великой душой, закаленной и испытанной.

Большинство людей нуждается в поощрениях, хоть маленьких, повседневных радостях. Большие характеры закаляются невзгодами. Вот такой большой характер и вступает в нашу литературную жизнь как пример подражания, как требование совести, как судья времени.

Вот главный вывод, главная радость.

В литературу русскую рукописи Надежды Яковлевны вступает как оригинальное, свежее произведение. Расположение глав необычайно удачное. Хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, — в которых нет ни тени личной обиды. Вся рукопись, вся концепция рукописи выше личных обид и, стало быть, значительней, важнее. Полемические выпады сменяются характеристиками времени, а целый ряд глав по психологии творчества представляет исключительный интерес по своей оригинальности, где пойманы, наблюдаются, оценены тончайшие оттенки работы над стихом. Высшее чудо на свете — чудо рождения стихотворения — прослежено здесь удивительным образом. Тем более рельефно все это выглядит, что это изучение по-

этической работы стало возможным поневоле — трагическая бесквартирность стоит за каждым наблюдением, и рассказано об этом так, что хватает за душу. Вполне профессиональный разговор ведется так, что слезы подступают к горлу. Поблагодарите автора, Наталья Ивановна, за это главное особо.

Вернемся к рукописи. Что главное здесь, по моему мнению? Это — судьба русской интеллигенции. Надежда Яковлевна не прошла мимо омерзительного выпада Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях». Пошлость была спущена с цепи, чтобы оплевать самое ценное в русском обществе; интеллигенция не умрет, как не умрет жизнь, как не умрет искусство. Искусство, мысль, талант бессмертны. Убить всех нельзя. Трагедия русской интеллигенции показана Надеждой Яковлевной рельефно и точно. Да, так в 20-е годы начинался, примерно, террор, а моральное растрепывание было внесено еще раньше. Лучшие нравственные силы России, ее лучшие люди гибли поколение за поколением. Но как ни убивают, убить всех нельзя.

В высшей степени впечатляющие картины растрепывания общества — шпиономания, которая пронизывает книгу, все ее 500 страниц. И это верно, Наталья Ивановна. Так все это и было. Здесь нет никакого преувеличения. Доносы, рожденные страхом, стремление по каждому поводу требовать разрешения свыше...

В рукописи много выразительных характеристик, вроде суждения «я пролежала всю мою жизнь».

Рукопись эта — славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, — религии поэзии, религии искусства. Поэтическое начало в высшей степени обуславливает здесь эстетическое, хотя, разумеется, корни — в этике заветов 19-го века. Это славословие религии достигается без всякой мистики, что особенно приятно и удивительно.

Я — человек, не имеющий религиозного чувства, хотя и признающий его полезность в смысле общественной и личной морали.

Рукопись лишена всякой условной опоры, она твердо стоит на земле. Это от акмеизма, наверное; мистической акции символистов акмеисты дали решительный бой. И Анна Андреевна, и Надежда Яковлевна несут свою земную веру через всю жизнь, многие десятилетия.

В рукописи нет лишних слов, все сказано экономно и дельно. А в тех словах, где автор говорит о самом для

себя дорогим, самым заветным, слышен и еще один человеческий голос. И я узнаю этот голос и радуюсь.

Я очень хорошо представляю себе и Чердынь, и Воронеж — и вижу все костры, где жила Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич. Героическая роль Надежды Яковлевны в этих сражениях с жизнью мне ясна. Есть мнение, что, близко соприкасаясь с живой жизнью, с бытом, Осип Мандельштам вел с ним борьбу с помощью книжного щита, щита, а не меча. Это не книжный щит, а щит культуры, да и не щит, а меч. И это показано в рукописи Н. Я.

Решение того же вопроса для меня было в другом ключе. В моем мире тогдашнем не было места для книги. Я в деятельности своей стремился превзойти любых профессионалов. В моей личной борьбе с блатными, где я блокировался с врачами, не было места стихам как жизненной силе, а была обыкновенная кровь, обыкновенная грязь. Но... стихи не бросили меня. Какого-то рода <способ> выгородить себе место для любимого труда, а не встречи с жизнью «в лоб»...

В рукописи есть отличное место (отличных мест там тысячи), где <говорится, что> все, и литераторы <в том числе>, считали Мандельштама стариком. А ему было 30 лет. Я кое-как передвигал ноги по колымской земле, не имея сил перешагнуть ничтожный бугорок какой-нибудь, и все кричали — «эй, старик», а мне было 30 лет.

Слуцкий, что ли, говорил, что Мандельштам недостаточно отделял свои стихи. Это — чепуха. Находку, прощупывание нового пути пытаются объявить неотделанностью, незаконченностью. Чепуха это все. И семистрочные, и тринадцатистрочные стихотворения — все это — из расширения границ классического стиха, не недоделки второпях. Очень хорошо, что Надежда Яковлевна положила конец спекуляции по этому поводу. Циклы, равно как и двойчатки, — явление одного порядка и бывают всегда. «Тетради», мне кажется, встречались. Не уверен. Во всяком случае, все, что изложено по поводу «Тетрадей», «Книг», «Циклов», может составить блестящее открытие нашей поэтики вообще, а не только поэтики Мандельштама, или Ахматовой, или акмеистов.

Огромную роль в жизни и душевной крепости автора сыграла Анна Андреевна Ахматова, но и роль Надежды Яковлевны в жизни Ахматовой, конечно, очень велика, да еще в самом мужественном, в самом достойном плане.

О двойной жизни, об «Оде»⁴. Я никого не осуждаю, хотя сам не делал даже попытки выжать из себя такого рода стихи. Поэтическое крушение Мандельштама с «Одой», убедившее поэта, что лгать он не может и не будет, и постоянные сожаления Пастернака по поводу «Живет не человек — деянье» мне хорошо известны. О «Двенадцати» Блок сожалел тоже. Тут природа поэта, импульсивность поэта виновата. И кто бросит камень?

Мандельштам писал стихи, оскорбившие палаческий слух, и был уничтожен. Пастернак написал оду и остался жив. Литературный разговор наказывался смертью, смертью.

Счастье Мандельштама, что он не доехал до Колымы, что он умер во время тифозного карантина. Осип Эмильевич избежал самого страшного, самого унижительного. Если бы мне пришлось повторить свою жизнь — а я <испытываю> большую радость после возвращения и встреч сейчас, — вспоминая все, что мне пришлось перенести, я покончил бы с собой где-нибудь в пароходном трюме, еще не приехав в Магадан.

Все, что видел и пережил Осип Эмильевич, — страшно. Но то, что ждало его впереди, — неизмеримо страшнее. Колымские золотые прииски...

Оставим эту грустную тему.

О фольклоре суждения Надежды Яковлевны, мне кажется, верны. Без фольклора не может существовать поэт. Разумеется, дело не в светлой легенде об Арине Родионовне, и няни, и просвирни — все это чушь, чепуха. Но роль фольклора в системе образов поэта обязательна. И у Пастернака это есть.

Вам тоже пора занять место, которое принадлежит вам по праву, по праву рождения и по праву судьбы. Немногим удалось выйти из этого ада, сохранив живую душу, темперамент и силу ее. Ад за нашими плечами — это и преимущество наше — в суждениях, в оценках, в нравственных требованиях.

Велико напряжение Надежды Яковлевны в ее многолетней борьбе со стукачами, но велика и сила сопротивления.

Есть в рукописи и недостаток, несколько ослабляющий этот обвинительный акт. Выразительны портреты всех людей, которые встречаются на страницах рукописи, но маловыразительны люди из народа. Самый тон рассказа о них несколько книжен, традиционен и больше склоняется к картинам прошлого столетия. Впрочем,

я в полном согласии с Надеждой Яковлевной считаю 19 век — золотым веком человечества.

Хорошо, что Осип Эмильевич не любил слова «творчество». В 20-х годах этого слова не было во всеобщем обиходе. Приехав через 20 лет в Москву (1937—1956), я удивился улучшению газетного языка — газеты стали грамотнее, язык культурнее — и резкому ухудшению языка романов и повестей. За это время слово «творчество» перешло на страницы спортивных газет, и чуть не в каждом номере «Советского спорта» можно прочесть: «автор гола», «творец голевой ситуации». Или «творчество авторов завода «Шарикоподшипник» и так далее.

Труд поэта, работа поэта, но не творчество.

Жизнь Надежды Яковлевны, Осипа Эмильевича исключала возможность дневников. Вот стихи Осипа Эмильевича по обстоятельствам жизни и были особенными дневниками.

Очень хорошо о жене Пастернака. Пастернак прожил свою жизнь в плену. В семье слушали его плохо, относились к нему, как к юродивому, окружали людьми, которых Пастернак не любил, а там, где ему было легче, там он был во власти всевозможных спекулятивных требований, которые он, унижая себя, выполнял. О разговоре Пастернака со Сталиным я немного слышал от него самого (то есть не от Сталина, а от самого Пастернака). Передает этот разговор Надежда Яковлевна верно, только не было фразы: «Хочу говорить о жизни и смерти», — просто Пастернак заволновался, загудел, и «там» положили телефонную трубку на рычаг.

В застольных тостах годами Пастернак пил за здоровье Ахматовой, Анна Андреевна, наверное, все это знает и сама.

Обжигающие строчки о том, как Горький вычеркивал из списка брюки для Мандельштама, оставляя только свитер, потрясающая подробность. Хотим ли мы разобратся в нашей жизни, Наталья Ивановна? Столь же выразительна пенсия по старости, которую получала Ахматова.

Откуда идут все эти заморочивающие голову разговоры о форме и содержании? Откуда пошла сия напасть? От Белинского? Но в русской литературе есть традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Аполлон Григорьев, Блок, Пастернак.

С удовольствием узнал, что Мандельштам жил без часов и в карты не играл.

Возможна ли работа в полной изоляции? И какие должны быть нравственные силы у автора — главное! — у его подруги?

О Нарбуте. Пусть Надежда Яковлевна исправит это место. Дело в том, что ужасная и «унизительная» должность ассенизатора, которую на пересылке занимал Нарбут, это сказочно выгодная должность, добиться которой очень трудно, почти невозможно. Связана с большими, очень большими деньгами. И вот почему. За проволоку, за зону пересылки из тысяч, десятков тысяч людей выезжает с ассенизационной бочкой с территории пересылки один человек. Его подкупают, чтобы провезти корку хлеба, а бочка — удобное место для всякого рода контрабанды.

Все это у меня рассказано в «Тифозном карантине». Там был директор уральский Тимофеев, тот голодал, продавал пайку, обменивал какой-то заграничный чемодан, чтобы дать что-то в качестве подарка нарядчику, получить эту благословенную должность, и, конечно, через неделю работы был сыт и купался в деньгах. Нарбут же, человек энергичный, да вдобавок еще и однорукий, мог спекулировать на инвалидности своей, чтобы должность ассенизатора получить. В лагере эти масштабы смещены, все выглядит по-другому, чем в обыкновенном мире. Я Нарбута знал в 30-е годы, когда он вернулся из первой ссылки (по делам «научной поэзии» я с ним встречался). Нарбут был энергичен, деловит и вполне мог работать ассенизатором на лагерной пересылке.

Очень правильное заключение, что и возвращенная посылка не может служить доказательством смерти. Такие кровавые шутки были наркомвнудельской поэзией, развлечением лагерного, да и не только лагерного начальства. Многочисленность подобных случаев говорит, что здесь дело шло об инструкции, ибо «волос не слетит с головы» и т. д. Пример: моя жена в 1938 году на свой запрос о моем местонахождении получила ответ формальный, что я умер, и эта бумажка хранилась, а может быть, цела и сейчас. Полученные от меня письма едва убедили жену в том, что извещение только «шутка».

В рассказе «Апостол Павел» говорится еще об одном известном мне подобном случае. Очень тонкое и верное замечание, что для статистики оказалось удобным смешать вместе смерти в лагере и смерти на войне, лагерных было гораздо больше.

О Ромене Роллане-«гуманисте» — жму руку Надежды Яковлевны. О Маршаке — также. Маршак живет

в моем представлении со знаком минус самым решительным.

О нищенстве, о всем этом так строго и так трагично.

О Библиотеке поэта, где печатается все, кроме того, что нужно и молодым поэтам, и историкам литературы. Издание это — выветрившееся, его нужно начинать снова. Издание это разорвало преемственность русской лирики, закрыло молодым дорогу к Белому, Блоку, Мандельштаму, Кузмину, Цветаевой, Ахматовой, Пастернаку, Анненскому, Клюеву, Есенину, Бальмонту, Северянину, Гумилеву, Волошину, Хлебникову, Павлу Васильеву. Я ведь, Наталья Ивановна, по простоте душевной считаю, что стихи Анны Андреевны занимают гораздо более важное место в русской поэзии, чем стихи Гумилева — поэта Брюсовской школы, испорченного Брюсовым. Сюда же можно включить и Маяковского. Маяковский поэт не маленький. Он — нечто вроде Василия Каменского, только тот больший новатор. Надежда Яковлевна, я знаю, не любит этого деления на «ранги». Но это не деление на «ранги», а защита души от авторов второго сорта. Может быть, действительно, нет поэтов, как говорила Цветаева, а есть только один Великий поэт «...ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях — одна, одно, в каждом — вся, так же, как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц...» (М. Цветаева. «Эпос и лирика современной России». См. М. Цветаева. «Об искусстве», М., 1991, стр. 294). Может быть, и так.

Цитирование Бердяева выглядит чуть-чуть инородным телом в рукописи, не правда ли?

Рукопись эта — психологический документ первого сорта, та внутренняя свобода, с которой Надежда Яковлевна прожила свою большую жизнь, то чувство правоты, которое пронизывает каждую главу, очень впечатляет.

Правильно, что поэты не могут быть равнодушными к добру и злу (природа тоже, открою вам по секрету).

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай⁵.

Мандельштам и Данте — очень хорошая глава. Разумеется, все сказанное, написанное не исчерпывает и тысячной доли достоинств рукописи. Я для себя, взрослый

уже человек, и думаю об этом много, нашел много важного, нового, убедительного или с неожиданной силой подтверждающего наблюдения, которые до этого находились в тени и сейчас силой таланта Надежды Яковлевны и силой таланта Осипа Эмильевича озарены внезапным ярким светом. Поздравьте от меня, Наталья Ивановна, Надежду Яковлевну. Ею создан документ, достойный русского интеллигента, своей внутренней честностью превосходящий все, что я знаю на русском языке. Польза его огромна. Если отдельные замечания, отдельные выводы и оспаривают многие, то этих замечаний очень мало, и во всех случаях мысль, высказанная автором, честна, не предвзята и вполне самостоятельна.

Самостоятельный характер, его глубину и высоту я видел и при первой встрече, конечно. Но ожидания мои были превзойдены широтой, тонкостью, глубиной всех этих удивительных страниц. Надежда Яковлевна ставит многих людей, встреченных ею в жизни, на свое место, истинное место, а прежде всего на свое истинное место Надежда Яковлевна ставит самую себя. Позвольте мне вас поблагодарить, Наталья Ивановна, за вашу всегдашнюю заботу обо мне и этот новый подарок.

Ваш *В. Шаламов.*

Н.И. Столярова — В.Т. Шаламову

28.4.65

Дорогой Варлам Тихонович, в субботу 1 мая в 7 часов вечера у меня будет Евг<ения> Сем<еновна> Гинзбург, которая очень хочет с Вами познакомиться.

Если Вы не уезжаете на праздники — буду рада Вас в этот день видеть. Пожалуйста, подтвердите по телефону. Если Ольга Сергеевна не на даче, я, конечно, буду рада и ей.

Всего Вам доброго

Н. Столярова.

В.Т. Шаламов — Н.И. Столяровой

Москва, 5 июня, 1965 г.

Дорогая Наталья Ивановна.

Я получил Вашу открытку. Отвечает ли Женева Вашей формуле города, как сочетания камня и воды? Как

участвует озеро в составлении условий Женевской задачи? Смотрели ли Вы на Женеву сверху, как на Москву с кровли дома Нидерзее в Гнездниковском? Женева, Вы пишете «уютная, удобная». Это лучшая похвала городу, городу для людей.

Когда-то Вы говорили, что в юности Париж уличный, а не музейный, больше Вам сказал о духе жизни, города, чем выставки, музеи и старинная архитектура. Мне кажется, делить, различать, противопоставлять одно другому тут не надо — архитектура и люди, прошлое и настоящее города должны оцениваться, пониматься в единстве. Если же речь пойдет о различиях, то есть ведь различия очень тонкие: уводящие слишком далеко в сторону: женщины на скамейках футбольного стадиона другие, чем женщины ипподрома. Совсем разные. Наблюдение это верно и в отношении мужчин. Немалая роль отведена общению, встречаю с людьми города и истории — нельзя, например, забыть — что Ленинград — это город двух веков русской культуры, наша юность, наша литература, значит, правила поведения, наш нравственный кодекс. А Женева — это город, где четверста лет назад столь твердой рукой Кальвин правил половиной христианского мира. Но не Кальвин — мой герой в Женеве, а тот испанский врач, который взошел на костер по обвинению в еретичестве и до последней минуты жизни не верил, что его могут уничтожить, умертвить, убить, сжечь — такие же реформисты, как он сам, с которыми он, Сервет⁶, вел теологические споры, против которых писал остроумные памфлеты и обличительные стихи. Ученый, который открыл кровообращение. Костер, на котором сгорел Сервет, был вовсе не символическим костром. Огонь — жег, а дым — душил до смерти. Вот кто для меня герой в Женеве.

Жду Ваших писем, приветствую Вас через сотни разъединяющих верст.

В. Т. Шаламов — Н. И. Столяровой

18 июля, 1965 г.

Сегодня утром подумал о двух Ваших качествах необыкновенных. Первое: все, кто Вас знает, слышит Ваше имя, улыбается необыкновенно теплой, а главное, одинаковой улыбкой из самых глубин сердца. Все как будто вспоминают самое лучшее, что им встречалось в

жизни. Да так, наверное, и есть. Улыбка одна и та же — у художника, у ученого, у студента.

Я хотел не научиться скрывать такую улыбку — мне слишком много лет да и дается это от природы, от жизни — не научиться, а понять, какие человеческие качества нужны для этого. Думаю, вспоминаю Вас — не нахожу ответа или ответов много, а самое главное — чувствую, как губы мои раздвигаются и прищурятся глаза той же самой доброй улыбкой внутренней памяти, о которой я думаю сейчас! Это — необыкновенное качество человека, редчайшее.

Второе удивительное свойство Ваше — приручать животных, постижение души животных, умение говорить на их языке. Животный мир мы мало понимаем, он, наверное, глубже и шире, чем нам кажется. Но среди людей встречаются люди, наделенные особым даром общения с животными, а этот дар животные различают очень хорошо.

Не человек, а животное находит свое в человеке, испытывает симпатию. Помню удивительный, поэтический Ваш рассказ о лошадях и заметная страстная боль при виде лошадей ипподрома. Собаку, которую Вы оставляли и которая, если жива, шлет Вам благословение по сей день.

Кошка моя Муха почувствовала тоже эти Ваши качества отлично и была очень довольна, что познакомилась с Вами.

Надежда Яковлевна рассказала мне о том, как гуси в Тарусе завели с Вами недавно на бульварной скамье шумный и важный какой-то разговор. И с какой болью Вы говорили, что на квартире, где нельзя завести даже собаки. Вы эти качества знаете в себе. В крестьянстве бывает «легкая» рука на пчел. В средней Азии есть и женщины воды — понимают природу живую, чувствуют общее с ней. Мне кажется, что лес тоже понятен Вам, ощутим.

Подумал я сегодня и о третьем. Когда я вернулся в Москву, я пошел в Кремль, там я никогда не был — с 1925 года Кремль закрыли — и хотя я небольшой любитель музеев — счел своим долгом пойти и ходил с чувством — от имени всех мертвецов Колымы, от имени тех немногих, что еще не вернулись в Москву — ходил я и товарищи.

Ваша поездка в Париж — то же самое чувство победы. Не удачи, а победы.

1. Монтаж документов

2. Библиографическая ссылка

Было чересчур смело с моей стороны предложить написать повесть о Вашей матери⁷. Повесть наших отцов — и не потому, что мне не близко это. Напротив, не только эта тема близка мне с юности, с раннего детства, но и физический герой, физические связи одни и те же — для Вас и для меня?

Соколов-Медведь⁸ с детских лет привлекает мое внимание, и я до сих пор помню строчки из савинковского романа.

Петроградская о Фонарном мосте.

«...Потом Володя увидел высокую вороную лошадь и встревоженное лицо Елизара. А потом закачались ресницы и один за другим замелькали фонари и дома. И уже на Невском, когда закачался исхлестанный Елизаром рысак, теряя пену, замедлил бешеный бег, Володя понял, что Елизар спас ему жизнь».

Не бог весть какая проза, не бог весть какая поэтичность, но в жизни каждого человека есть какая-то своя книга, сыгравшая большую роль в его жизни.

Такой книгой для меня — «То, чего не было» Савинкова. Я помню все — шрифт, серую бумагу издания, на которой вслепую выступала печать, как будто <радость> в ясные выходные дни.

О матери можно — <больше> знакомо. <Но> — нельзя — потому что огромный характер превзойден Вами — дела матери Вашей превзойдены Вами, если все временные коэффициенты учесть.

Ваш характер, Ваша роль — в высшей степени Вы преданы людям, Вашим требованиям юности, Ваш темперамент — все это увеличивает требования, чтобы удовлетворить Вас. Только то, что будет самым лучшим — что завоеует всеобщую признательность, бесспорная нравственность. И еще одно.

Если о себе самой Вы, наверное, — отнесетесь со снисходительностью, даже равнодушием (настроения или мысли все равно).

То о человеке, которого вы боитесь (или, по-вашему, в которого Вы влюблены).

Вы не стерпите не только малейшие неудачи, даже оплошности. (Во мне вторжения не всегда знает удача, это — неудача.) Все будет мое, все будет история.

Вы выросли среди людей, у которых храбрость подобного рода очень высока и которая не обещает пустяков.

Вы вообще чрезвычайно требовательны, и высота тут не годится, наступает отлив, конечно, и отсюда встречи отвергнуты. Иначе и быть не может. Вот с этим-то мне все время надо считаться, я хочу написать не быт своему — роман в своей обычной манере — перегруппировка материала до предела — так перегруппировать, что какая-то Мария Никифорова⁹ — гермафродит — анархист, рассказ Слепцова¹⁰ может выплыть и этот рассказ.

Я написал рассказ сам для себя — о великой преемственности, рассказ о тех живых Буддах, которыми живет земля. О личной связанности поколений, о безымянных героях подполья до того — героях до забвения.

Многие гибнут из-за славы, и сколько умерли неизвестными, бросив бомбу на Аптекарском острове. Никто не знает о нем, не узнал ничего. Впрочем, чем-то напоминает Могилу Неизвестного Солдата.

По моему глубочайшему убеждению безымянность не нужна. Рассказ о «Семи повешенных» Андреева — превосходная проза. Андреев — это русский писатель, о котором будут у нас говорить завтра и послезавтра и не найдут меры хвалы.

Это — один из самых, самых <искусных>, ощущаемых в будущем мире, этот опыт — отчет как анероид, самописец. Есть какие-то рубежи личных характеров, на которые нужно встать, чтобы Михаил Соколов был (чтобы, может быть, более тип русских сочетал Михаил Соколов, Медведь — оставался) в истории.

В истории осталась Ваша мать. Мне хочется о ней писать воспоминания той огромной жизни, которую она прожила. И о Вас, которую родители сразу после побега — <в> Италию вернули.

Но все пропало. Ваша мать не была счастлива в браке. Пискунов¹¹ пишет об этом так: <пропуск>.

Все застилал образ Медведя, фиктивное замужество. Соколов не только свидетель правды и <железной> программы, и хотя сама программа создана не им, а Мельгуновым¹², Соколов был — аграрный террор, фабричный террор и широкий экстремизм.

Эта история не только позволяет изучить эпоху — надеть намордник на эпоху. Желябов, Перовская, которых, конечно, знала Климова.

Москва, 10 марта, 1966 г.

Дорогая Наталья Ивановна,

пишу Вам в большом волнении. Я прочел письма Вашей матери и все прочитанное все увеличивает масштабность работы по ее жизнеописанию. К тому, о чем мне не думалось и не мечталось раньше (1) большая биография, 2) большой рассказ и 3) малый рассказ, 4) монтаж документов в сборнике воспоминаний), добавятся еще «Письма Н. Климовой». Эти письма при всех обстоятельствах должны быть подготовлены к публикации. Вчерне я это сделаю сейчас же. Порядок перепечатки на машинке — А. С. — сводная сестра матери.

Я продиктую эти письма, чтобы не пропустить ни слова, чтобы слово, душа Климовой чтением этим вошла в меня, это очень надежный проверенный способ (опыт евангельских текстов в церкви, например). Имена другие (все политические кружки). В каждом письме, даже в каждом письме к детям есть свое зерно, своя особенность, есть мотив чрезвычайно интересный. Хотя бы о природе (там есть тексты не хуже «Письма перед казнью»¹³ — о красивых цветах на вершинах гор, о Бальмонте, наконец). В высшей степени характерно, что проза Максима Горького не стала душевной опорой Вашей матери.

Словом — вопросов много. Письма заденут всю предреволюционную и послереволюционную эпоху.

Что касается надлома, мне кажется, суть не только в личных обстоятельствах. Это — надлом века, уже отмеченный Блоком, что все пошло не туда и не так.

У меня десять вопросов хронологических — когда можно с Вами поговорить.

И еще: Ваш отец был очень-очень хорошим человеком — позвольте сказать Вам это со всей сердечностью.

Время подвигов героев и героев. Герои рождаются, но сопротивление быту оказал именно Ваш отец.

И еще: я написал стихотворение об Ахматовой, о ее похоронах, как мне показать этот стишок Вам?

Когда-то я дал себе слово (да и Вам, кажется, говорил), что все новые стихи буду отдавать на Ваш суд. Как передать эти стихи Вам?

Мне кажется, что жизнь Вашей матери — ответ на многие вопросы русской истории русским людям, личный пример. Да и «Письмо перед казнью» это ведь ответ, а не вопрос.

Еще о письмах. Я глубоко убежден, что роман умер, что нет нужды обращаться к обреченному на смерть жанру, что никакой талант не должен быть загублен на придумывании жизни, на выдумывании ситуации.

Биографии Моруа — это только палимпсест — попытка высунуть нос из литературной тюрьмы, роман мертв, но голос документа будет звучать всегда, вечно.

Эта история — не только позволит изучить эпоху — надеть намордник на эпоху.

Желябов, Перовская, которую, конечно, знала Климова.

Н. И. Столярова — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович,
решила написать Вам — по телефону не объяснишь, а Вы торопите. Я только что прочитала рассказ. Буду говорить, как всегда, прямо.

1. Думаю, что Вы абсолютно вольны писать, как и что Вам кажется правильным, не мне Вам указывать, я могу только благодарить Вас. Если все же указываю, то под Вашим давлением.

2. По-моему, из того, что царапало меня, Вы ровно ничего не изменили, разве что сократили. Я придаю значение не существованию брачных отношений между Н. С. и Соколовым, потому что в этом был высокий момент этих отношений. Умирая, в бреду, она продиктовала знакомой «Сказку о красном цветке», об этом. Красный цветок — идея, ради которой и она и Соколов отказались от самого дорогого, друг от друга. Из всех ее жертв это была самая трудная и высокая. К сожалению, текст этой сказки пропал, но я читала ее и помню, что она меня поразила именно этим.

3. Я просила не характеризовать совершенно неизвестного Вам человека, моего отца. Н. С. была не из тех, кто ищет мужа, замужество, Вы не подумали, что чем-то он должен был увлечь ее? Он был человеком умным, остроумным, сильным, сам сделавший себя интеллигентным, то есть своей волей и жаждой культуры перешедший те несколько веков культуры, которую Н. С. получила с молоком матери без всякого усилия. От него у меня и во мне русские поэты. Если бы он был обыкновенным, он не сидел бы несколько раз при царе и дважды после.

4. Дружбы с Тарасовой не было. Было товарищество, общее дело, среда, в которую влилась Тарасова. Она само-

бытнй человек, но далекий по уровню от Н. С. бесконечно. Об отношениях, вернее, не отношениях с Савинковыми Вы тоже ничего не знаете, а есть люди, которые помнят о том, как он за ней ухаживал, какие надежды возлагал и так далее. Они были в одной тесной компании в Ницце.

5. Терентьева, может быть, жива, она **была** подругой Н. С. Зачем утверждать, что нет переписки и встреч, когда Климова была в эмиграции, а Терентьева на каторге до революции? А вообще друзей у Н. С. было очень много, они много лет неожиданно попадались на моем пути.

6. «Нашла ли себя Надежда Терентьева? Нет». Откуда Вы знаете? Она занимала какой-то большой пост и, может быть, нашла себя.

7. Самое главное. Я *решительно* не согласна с последней страницей и каюсь в том, что так поразительно неточно передала Вам об этом случае. Это клевета и на подругу с детства, которая нехотя, только ради Н. С. купила у меня медаль, и на меня. Я ни у кого, ни у одного родственника (а их у меня много) ни разу никогда не попросила помощи. Я приходила к ним и рассказывала о своих злоключениях так, что все долго смеялись со мной, и, когда осторожно спрашивали: «Ты голодна?», — я отвечала: «Уже обедала». — «Ночевать есть где?» — «Есть». Я ни разу у них, а они меня любят, не ночевала, предпочитая Казанский вокзал, зная, что они боятся... Мне редко приходилось туда идти, потому что были друзья, в том числе Лидия Максимовна¹⁴, которые предлагали мне это с радостью. Как плохо Вы меня знаете, представляя себе, как я в рваной телогрейке брожу по старым друзьям Н. С., выпрашивая помощь. Я думала это недоразумение, Вы не поняли, что этого *не могло быть*, но сейчас убедилась, что Вы обязательно хотите включить эту *небылицу*, и потому говорю Вам, что мне в сто раз ближе блатная поговорка: «Легче украсть, чем просить», и повторяю: никогда, нигде, ни в какое самое тяжелое время я ни у кого ничего не просила. Поймите, ради бога, что этой чувствительной историей Вы не только извращаете действительность, не только порочите человека, желавшего мне добра, а *унижаете меня*. По рассказу вообще получается, что я пришла кланчить помощь у незнакомого человека. А Вы были на это способны?

Вот мои «мысли». Все, кроме пункта 7, на Ваше усмотрение.

Жму руку, Н. Столярова.

3.V.66

Москва, 6 мая, 1966 г.

Дорогая Наталья Ивановна.

Наконец зазвучал настоящий человеческий голос.

Мы поговорим подробно.

Жму Вашу руку.

Ваш В. Шаламов

Н. И. Столярова — В. Т. Шаламову

18.5.66

Дорогой Варлам Тихонович, простите за машинку, за мятую бумагу (другой нет) и за опоздание. Я очень тороплюсь с работой одной. Вы задали мне трудную задачу, не вспоминала я на операционном столе аккуратно год за годом, мыслю я не литературно. Задавлена я была безвыходностью своего положения, тяжелой скучной работой, полным отсутствием друзей и живого слова и сознанием, что для всего, что я имею — кров, хлеб и тяжелый сон, — жить не стоит. В лагере, несмотря на смерть многих близких, был обмен и была надежда. Замучили также вызовы в МВД за много километров пешком то меня, то мужа.

Потому скажу Вам о каких-то обрывках впечатлений, а там смотрите сами. Мне не очень приятно, что Вы меня припутали в свой рассказ, решительно я в нем ни при чем, и если бы Вы не назвали мать, то и могли бы придумывать все что угодно.

1937: перед арестом тяжкое ощущение петли, затягивающейся на шее, трудное общение с людьми, одиночество. Следовательно, читавший мои дневники, имел умное и доброе лицо и хотел мне добра. О его расстреле узнала случайно в лагере.

1938: тюрьма, моя расплывчатость и страх превращаются в сопротивление и ненависть к определенной касте. (Надеюсь, Вы понимаете, что никаких розовых очков у меня вообще не было, никакая вера не рушилась, наоборот, укрепились вера в человеческое в людях, в товарищах моих.) Деталь: Томская, узнав, что все три сына получили 10 лет одиночного заключения, берет себя за седую косу и колотит своей головой нары. Этап. Лагерь. Голод.

1939—1945 — лагерь, люди-тени, голод, карцеры и т. д...

1946: ни малейшего страха свободы, нетерпеливое ожидание ее и легкое презрение к тем, кто оседает тут рядом, в Караганде, из страха свободы. Упорно год добивалась, чтобы отпустили без назначения в определенный район; Москва и полгода жизни в Москве после подписания бумаги о выезде в 24 часа.

1946—1947 — долгие дороги, вокзалы с ночевкой на полу, переселение народов, поиски работы, отказ, голод. Выручают друзья в разных городах, и — медаль. Унизительная сцена в Луге в артели по изготовлению варежек для офицеров, куда почти взяли было: «хотела проникнуть, втереться в наш коллектив!»

В 1947 г. — Москва, страх подвести родственников, которые живы и которых люблю. Нальчик, работа — курьер-уборщица, не хватает на ночлег, на хлеб. Ташкент, куда добираюсь зайцем.

1947—1953 — совхоз (лаборантка маслоделения), колхоз (учительница в узбекской школе, откуда выгоняют за лагерь), (библиотекарь), вступаю в институт и кончаю в полтора года с ежеминутным страхом, что узнают и тоже выгонят.

Вот и все. Живописных деталей не помню. Больше встречено мною хороших людей, чем плохих, а еще больше несчастных. Лучше мне было в лагере, чем после до 1953 года, хотя голоднее.

Простите за сие скучное повествование, но «чувствительных моментов» я постараюсь избежать, зная Вашу склонность к чувствительности. Уж очень неприятна мне поза мученика. Уж очень тяжело и смешно было смотреть, как разлеталась на куски вера (которая бы не разлетелась, если бы не взяли носителя ее), и в этом смысле я не потеряла, а приобрела: в беде человек обнажается не только в плохом, а и в хорошем.

Когда одолею самое трудное в работе, я напишу Вам. Всего Вам доброго.

Н. Столярова.

С Эренбургом, вероятно, сможете увидеться 26—27 мая.

В. Т. Шаламов — Н. И. Столяровой

Москва, 20 мая, 1966 г.

Дорогая Наталья Ивановна.

Я высчитал на своей кибернетической машине, что каждый мой день, начатый или телефонным разговором

с Вами, или письмом Вашим, неизменно складывался удачно. По этой примете я все наиболее важные свои дела старался в такие дни решать.

20 мая не составило исключение.

Н. И. Столярова — В. Т. Шаламову

5.8.67

Дорогой Варлам Тихонович, спасибо за весточку.

Адрес Е. С. Гинзбург: Аэропортовская, 16, кв. 204, корпус 3 (тел.: АД 1-37-18).

Адрес Владимира Григорьевича Вейсберга — Москва, Лялин пер, 8-а, кв. 8. Он с женой до 20-го в Крыму, но дома мать. Женя¹⁵, кажется, в Москве.

Недавно получила письмо от О. В. Андреевой, где она пишет, что книги стихов она от Вас не получала. Видимо, речь идет о первой книжке, вторую — если Вы послали, она могла, отправляя мне письмо, еще не получить.

Оле — маленькой — многие посылают книжки, и все доходят. Ее адрес таков: США Olga Carlisle Southstreet «Washington» Connecticut U.S.A.

Видела Над. Як. в этот приезд, вид у нее немного отдохнувший. Сидевшие у нее гости все сетовали о собственном количестве, что делу не помогает.

Усиленно работаю над очередным переводом, хочу в конце месяца уехать. Если будет у Вас желание, позвоните мне между 14—16 числами, чтобы встретиться.

Всего Вам доброго!

Н. Столярова.

Я звонила Жене — ей *очень* приятно, что Вы хотите ей подарить книгу. Она завтра уезжает в Латвию и вернется 5-го сентября. Но если Вы пошлете, книга будет ждать в ее ящике. Она шлет Вам сердечный привет и благодарность.

В. Т. Шаламов — Н. И. Столяровой

<авг. 1967 г.>

Дорогая Наталья Ивановна.

Благодарю за Ваше милое письмо. Книжку («Дорога и судьба») я послал Ольге Викторовне 14 июля заказным авиаписьмом. Я нашел почтовую квитанцию. Сколько времени должно идти такое письмо? Три неде-

ли? Месяц? Да, это третья книжка и первая («Огниво») у нее есть, а второй («Шелест листьев») — нет. Книжечек я еще не отправлял, сегодня запакую и отправлю (Е. С. Гинзбург и В. Вейсбергу). Звонить буду Вам домой 14 утром в понедельник.

Тысячу приветов.

В. Шаламов

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Столярова Наталья Ивановна (1912—1984) — переводчик, секретарь И. Эренбурга. В 1937—1946 гг. была репрессирована. Дочь Наталии Сергеевны Климовой, члена партии эсеров-максималистов.

² Упоминание об этом письме см. в письме В. Шаламова Н. Мандельштам от 29 июня 1965 г.

³ Надежда Мандельштам. «Воспоминания».

⁴ О. Мандельштам «Ода», Б. Пастернак «Живет не человек — деянье» — стихотворения апологетического характера о Сталине.

⁵ А. Блок, из Пролога к поэме «Возмездие».

⁶ Сервет Мигель (1509/11 — 1553) — испанский врач, мыслитель. Подвергся преследованию со стороны католиков и кальвинистов. Сожжен по приказу Кальвина.

⁷ Мать Н. И. Столяровой — Наталья Сергеевна Климова — участница подготовки взрыва на даче Столыпина на Аптекарском острове.

⁸ Соколов Михаил Иванович (псевдоним Медведь) (1881 — 1906) — один из руководителей декабрьского вооруженного восстания в Москве 1905 года, зам. нач. штаба боевых дружин на Пресне. В 1906 году возглавил боевую организацию эсеров-максималистов. Инициатор созыва I конференции Союза максималистов, на которой выступил с программной речью. Арестован 26 ноября 1906 г. Казнен по приговору военно-полевого суда.

⁹ Никифорова Мария Григорьевна (псевдоним Маруся, Марусяка) (1883/85?—1919) — дочь офицера, с 16 лет прикнута к эсерам, приговорена к 20 годам каторжных работ, в 1909 г. бежала из тюрьмы во Францию, работала в анархистских организациях, окончила военную школу.

Возглавляла анархистский отряд во время революции, поддерживая то советскую власть, то Нестора Махно. Казнена белогвардейцами в 1919 г.

¹⁰ Слепцов Александр Александрович (1836—1906) — народник, один из организаторов «Земли и воли», автор «Записок» (1905—1906), журналист и педагог.

¹¹ Пискунов В. «Тема о России. Россия и революция в литературе начала XX века». М., «Советский писатель», 1983.

¹² Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956). Во время революции 1905—1907 гг. организовал издательство «Свободная Россия», с 1907 года член народно-социалистической партии (НСП), избран в редакционную комиссию по изданию партийной литературы.

¹³ Н. С. Климова за участие в подготовке взрыва на Аптекарском острове была приговорена к казни, но по ходатайству отца казнь заменили тюремным заключением. Из тюрьмы она сбежала (см. очерк Шаламова «Золотая медаль»).

¹⁴ Бродская Лидия Максимовна — художница, переводчик, см. ее письма.

¹⁵ Гинзбург Евгения Семеновна — автор книги «Крутой маршрут».

ПЕРЕПИСКА С Г. Г. ДЕМИДОВЫМ

Г. Г. Демидов¹ — В. Т. Шаламову

Варлам!

Итак, и наш случай пополнил архив доказательств верности поговорки о разнице между человеком и горой. Правда, мы еще не сошлись, но, как кажется, надежно вошли в сферу взаимного тяготения. Надеюсь, что в оставшиеся до нашей встречи несколько недель мы не «нарежем дуба», раз уж продержались лет шестнадцать-семнадцать, хотя вероятность этого события и возрастает непрерывно.

О том, что ты жив и работаешь в своей области, я от кого-то знал, хотя этот «кто-то» и не мог, видимо, сообщить мне твоего адреса. В Москве находится М. Г. Варшавская, которую ты, вероятно, помнишь, Берта Ал-на Бабина², проведшая на Колыме больше полутора десятков лет (в Эльгене), по профессии тоже журналистка.

Обо мне ты, вероятно, знаешь уже почти все. Конечно, я никуда не собираюсь отсюда, по крайней мере, до пенсии. Это вовсе не значит, что я удовлетворен своей работой, а тем более ее результатами. Просто теперь уж надо продолжать по инерции.

А вот о тебе я пока что ничегошеньки не знаю. Где ты сотрудничаешь? В каком жанре пишешь? Каков твой путь после Колымы? Постарайся аннотировать все это еще до встречи. Таковая состоится, возможно, в июне. Постараюсь вырваться отсюда на несколько дней в вашу чертову град-столицу. Прежде я ненавидел Москву как синоним всякой неправды и каждому, кто в нее отправлялся, дарил спички с предписанием зажечь Москву под ветер со всех четырех концов. Теперь, правда, сменил гнев на милость, тем более что число проживающих в Москве друзей увеличивается и оставить их погорельцами у меня не поднимается рука.

На днях там у вас скончался мой товарищ по Ухте, и я еще не оправился от ощущения несправедливости судьбы. Но, видимо, «наклад с барышом», по старой купеческой поговорке, действительно живут бок о бок. И вот я пишу тебе, Варлам Шаламов, фельдшер из хирургического...

Если знаешь о судьбах наших общих знакомых и друзей по Левому берегу, напиши пару слов и о них.

Крепко жму руку.

Г. Демидов

6/V

65 г.

Адрес на конверте, но я приведу его еще и здесь: Ухта, Коми АССР, Севастопольская ул., 4, кв. 9, Демидову Георгию Георгиевичу.

Г. Г. Демидов — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Я оказался несостоятельным в своей попытке устроить себе командировку в Москву. Это не удалось в июне и вряд ли удастся в июле и августе. В летнее время на наших производствах всегда возникают напряжения из-за массовых и длительных отпусков. Кругом образуются прорехи, затыкать которые удобнее всего теми, кто не предъявляет никаких лечебных путевок, путевок своих детей и жен, телеграмм от родственников, стареньких пап и мам. Наша неофициальная статистика, например, знает, что престарелые матери болеют и умирают почти исключительно в летний сезон.

Теперь у меня остается только одна возможность увидеться с тобой и другими московскими друзьями: приехать к вам в сентябре. Тогда у меня будет отпуск, и

я загуляю у вас недели на две, а может, и больше. Вообще-то я дорожу отпуском как временем, когда можно беспрепятственно писать. А делаю это я всегда дома.

Я опять начал баловаться писаниной. Один из здешних руководителей общества писателей Коми сказал, что я страдаю «чесоткой», которую, видите ли, надо прятать от людей. Он имел в виду, конечно, «писательский зуд» — понятие тоже не из высоких. Сам он — бездарный чиновник от литературы, один из экземпляров многотиражного издания современных болгаринных.

Мне трудно судить, насколько имеет смысл моя писательская работа. Вероятно, только на основе той, на которой мышь обязательно грызет что-нибудь, чтобы только сточить зубы. Надежды быть напечатанным у меня, конечно, нет никакой. Впрочем, нет и особой тяги к этому. И все же «гонорары» за писательскую работу я получаю. Неофициально в виде теплых писем от иногда совсем не знакомых людей и, конечно, в виде дружеских похвал. Мои официальные гонорары — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные. И самое подлое — «товарищеские» обсуждения в узком литературном кругу.

Наша здешняя литературная яма имеет, конечно, уездный масштаб. Но источаемая ею вонь качественно та же, что и от ямы всесоюзной.

Мне что-то перестала писать Вера³. Дуется, что ли? Правда, она прислала как-то моим соседям телеграмму с запросом: что со мной? Это непонятно. Я ей писал. Кстати, телеграмма была подписана: Вера, Валя⁴.

Вторая из этих дам в тот же день связалась со мной по телефону часа на три раньше отправления телеграммы. Происходит явная организационная неразбериха дамского типа.

Ты тоже что-то не пишешь. Ждешь письма от меня. Но тебе-то, небось, легче написать, чем мне. Я ж ведь, кроме прочего, и производственный план выполняю.

В третьей декаде июня у нас стало тепло, даже жарко. Можно купаться и загорать, но время, время! Где его взять? Сейчас пишу серию «Колымских рассказов». Получается что-то плохо. Привет друзьям, знакомым и незнакомым. Пиши.

Г. Демидов

Прости неряшливость. Тороплюсь, как всегда.

30/VI 65 г.

Дорогой Георгий!

У Веры Михайловны было воспаление легких. Торопливость, поспешность — привычка плохая и подлежит осуждению, впрочем, я на улицу Горького не ходил и не звонил, и ничего не знал, пока Вера Михайловна не поправилась. Я живу неподалеку и, если бы держался строгих правил этикета, знал бы о ее болезни, конечно. Расстояние Ухта — Москва не больше, чем 5 троллейбусных остановок: улица Горького — Ленинградское шоссе.

Сентябрь так сентябрь. Я буду писать о твоём писательском долге — он не может быть забавой, мы поговорим при личной встрече. Ясно, во всяком случае, что запас знаний, наблюдений плюс и нравственная позиция в состоянии соединения встречаются нечасто. Дело в том, что писатели — судьи времени, а не подручные, как думают теперь часто местные литературные вожди. Вонь литературной ямы местной, мне кажется, не должна тебя тревожить. Суть вопроса ведь в другом. Очень хотел бы прочесть твой рассказ о Колыме. Существует одна любопытная аберрация — все, кто из нашего брата берется за перо, начинают почему-то со следствия и, не добравшись до самого главного, до самого страшного, устают.

Мы поговорим о прозе будущего. Это, мне кажется, будет проза, выстрадавшая свое право.

Начинают с конца. Тебе надо избежать этой ошибки. Хотелось бы потолковать поподробнее, показать кое-что. Вот о чем хотелось бы поговорить. В рукописях, которые я видел, надо отсечь беллетризацию, литературность. Выйдет сильнее, но и так звучит хорошо.

Я чуть не написал рассказ о тебе. Может быть, напишу еще. О телефонном звонке дочери твоей⁵ (это дочь, да?) я знаю от В. М. Фамилия хирурга, который забыл про этап с отморожениями, — Рубанцев. Он одобряет доктора Доктора⁶ — одну из самых зловещих колымских фигур, на мой взгляд. Впрочем, Рубанцева я больше вряд ли увижу, я написал про него рассказ «Прокуратор Иудей» на франсовский мотив. Сердечный привет.

В. Шаламов.

Г. Г. Демидов — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Я давно получил твоё последнее письмо. Кажется, оно — самое содержательное и самое неразборчивое из всех, полученных мною от тебя.

Разводить дискуссию в письмах, конечно, ни к чему. Скоро, надеюсь, мы встретимся. Да и возразить против главных твоих положений мне нечего. Вот разве, что «писатели — судьи времени» — выражение, требующее уточнения. Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я бы считал свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде будущего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что такое суд яйца над курицей?

Выражение «балуюсь писательством» я, конечно, применил не всерьез, и нечего мне было по этому поводу читать мораль. Какое уж там баловство, если каждую секунду своего, очень небогатого, бюджета времени я трачу именно на это «баловство», терплю часто крупные неприятности и явно укорачиваю себе жизнь. Впрочем, не мне тебе говорить, что жизнь «премудрого пескаря» не стоит гроша ломаного, какой бы долгой она ни была.

Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде. Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева. А сей последний громил даже Пушкина. Но при всей своей старомодности Пушкин остается Пушкиным. Я предвижу возражение: но ведь то Пушкин!

Впрочем, был уговор — в письмах не дискутировать. Самое страшное в твоих возражениях — почерк, которым они будут написаны. Просить же его улучшить так же безнадежно, как просить зайку не заикаться. Я это знаю по себе. Поэтому и перешел на машинопись.

Пару-тройку «Колымских рассказов» я тебе привезу. Тебя они, вероятно, интересуют больше всего со стороны трактовки темы, которую разрабатываешь и ты. Это не совсем настоящий интерес, но уж ладно.

Вера меня очень огорчила сообщением, что у нее в легких не совсем чисто. Как фтизиатр она всегда подвергается опасности. А эта опасность, помноженная на Веркин энтузиазм и редкостную неспособность устраивать жизнь, держит меня в постоянном страхе за ее здоровье.

Сейчас у нее в гостях мой товарищ по работе и сосед по квартире. Очень бывалый человек. Жена у этого Б. С. здешняя. Она также по-настоящему пытливая и думающая баба. Таких становится все больше, и хотелось бы думать, что именно это обстоятельство и определит бу-

дущее мира. Надоела эта его проклятая стадия младенчества. Не инфантильно ли человечество по своей природе?

Привет друзьям. Крепко жму твою руку.

Г. Демидов 21 /VII 65 г.

В. Т. Шаламов — Г. Г. Демидову

[1965 г.]

Дорогой Георгий!

Не скрою, меня покорила фраза твоя о том, что я «разрабатываю» колымскую тему. Я прекратил бы переписку с любым, кто может применить такое выражение к тому, что мы видели. Тебе же на первый раз прощается по трем причинам: 1) нашему с тобой знакомству, 2) твоей биографии, 3) то, что ты не был на Колыме на золоте. Ты приехал уже к концу 1938 года, года исключительно, да и вообще Колыму без золота не понять, не почувствовать. Только разницей опыта можно объяснить это твое неудобное, неподходящее выражение.

Никакой иронический тон, никакая условность, никакая аллегоричность недопустимы.

Чем больше я занимаюсь — пишу с большой неохотой, не люблю отвечать на этот вопрос. Я исследую некие психологические закономерности, возникающие в обществе, где человека пытаются превратить в нечеловека. Эти новые закономерности, новые явления человеческого духа и души возникают в условиях, которые не должны быть забыты, и фиксация некоторых из этих условий — нравственный долг любого, побывавшего на Колыме.

Кроме того, пытаюсь поставить вопрос о новой прозе, не прозе документа, а прозе, выстраданной, как документ. Я не пишу воспоминаний и рассказов тоже не пишу. Вернее, пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Что касается Писарева, то я, конечно, умолкаю. Если приводится в действие столь тяжелая артиллерия.

Не вдаваясь в тонкости и высоты, попробую на примере популярном разъяснить, в чем дело, суть моего совета, вернее, желания.

Один мой знакомый написал две повести — «Оранжевый абажур» и «Фанэ-квас»⁷ (вернее, Фонэ-квас, ибо Фонэ — прозвище от Афони). Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Разумеется, вольному воля. Материал

слишком хорош, чтобы его портить по советам Белинского — удивительного догматика, человека, уверявшего, что стихи можно пересказать своими словами.

Надеюсь, что это письмо еще более содержательное, чем предыдущее. И ты непременно поумнеешь. Не сердись.

Твой В. Шаламов.

Р. S. О Пастернаке. Я знал Пастернака, встречался с ним, переписывался, говорил, дружил. При огромной одаренности, духовном и душевном богатстве в Пастернаке не было какого-то человеческого качества, которое сделало бы из него пророка. Я очень хотел сделать из Пастернака пророка, но ничего путного не получилось.

Г. Г. Демидов — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Получил я твое, уже сверхсодержательное письмо и, прочтя оное, конечно, поумнел. Боюсь даже, что если содержательность твоих посланий будет нарастать в том же темпе, то они станут опасными для нашей переписки.

Ты просишь меня не сердиться. Но кому могут понравиться докторальность, безапелляционность в наставлениях и разносный тон. Я, конечно, чувствую выстраданность утверждаемых тобой положений. Они вряд ли могут быть приняты полностью, как и всякая крайняя точка зрения, но в них, безусловно, содержится правильная мысль о необходимости пересмотра канонизированных уставов. Вопрос лишь в том, что можно предложить взамен?

Какого черта ты окрысился на безобидное выражение «колымская тема»? С чего ты взял, что оно имеет иронический смысл, выражает мою непочтительность к эпохее 38-го, да и прочих лет в их колымском варианте?

И, наконец, за кого ты принимаешь меня самого? За придурка, прохлябавшего по поверхности колымской лагерной жизни где-нибудь в Дебине или подобном злачном месте? Разве тебе не известно, что на Колыме я именно с 38-го, правда, с осени. Что несколько лет я пробыл на Бутыгычаге, что был и на золоте и что из 14 колымских лет на «общих» провел почти 10. Даже совершенно не способный к наблюдению и сопоставлению человек при этих обстоятельствах не может не постигнуть трагедийности этого «Освенцима без печей», выражения, за которое,

среди прочего, я получил в 46-м второй срок. И этот суд в Магадане мог бы послужить тебе достаточным напоминанием о недопустимости обвинения меня в поверхностности и непонимании сущности Колымы.

«Надо лично почувствовать». А я вот теперь хлопаю на машинке прежде всего потому, что не сгибаются сломанные в шахте пальцы. Вернее, не разгибаются. И постоянно болит на старости разбитый позвоночник. И дает себя знать заработанный в бытность «сухим» бурильщиком силикоз. Я десять раз «доходил» и дважды умирал от «переохлаждения». С кем ты меня спутал, Варлам?

Признаюсь, я не люблю ироничного тона, основанного на чувстве превосходства. Превосходство в понимании тонкостей литературного ремесла у тебя надо мной, несомненно, существует, но это ведь вовсе и не мое ремесло. Надо удивляться не тому, что у меня получается так посредственно и стереотипно, а тому, что вообще что-то еще получается. И это «что-то», быть может, немного переживет меня и послужит сырьем для тех, кто будет счастливее и талантливее меня.

Засим до свидания. Чего-чего, а уж своих опытов по «разработке», вернее, обработке своего колымского опыта, столь, по-твоему, бедного, я тебе не покажу.

Г. Демидов

27/VII 65 г.

Чуть не забыл главного. Ты негодуешь на наших писателей, разрабатывающих тему «черных лет» за то, что они «начинают с конца». Ты прав. Это, действительно, — финал, то, о чем пишут. То же, что напечатали, лагерный эпос, это уже финал финалов.

Если говорить обо мне, то я пытаюсь все же раскрыть в какой-то мере подлюю механику «беззакония». За это на меня очень серчают те, у кого в пуху рыло. Они предпочли бы, если уж нельзя этого изобразить как подвиг, чтобы оно изображалось в туманных, расплывчатых красках, под дурацким условным термином «культ».

К сожалению, люди с рылами, густо облепленными пухом, все еще играют первую скрипку, фальшивя напропалую. И они-то и задают тон во всех областях нашей жизни.

Ты, вероятно, хотел бы, как я, чтобы литература вскрыла социальные и исторические корни эпохи «культа». Здесь есть сложнейший аспект — психологический. Надо быть вторым Достоевским, чтобы осилить

его. Но даже Достоевскому понадобилось бы время и гарантия, что тебя не постигнет участь Пастернака раньше, чем ты доведешь начатое до конца.

Но тайного, что бы не стало явным, в истории не бывает.

В. Т. Шаламов — Г. Г. Демидову

Москва, 30 июля, 1965 г.

Дорогой Георгий, вот с такого письма и надо было начинать, а не с балагурства в вопросах, где никаких шуток не может быть. Есть вещи, где всякие шутки, всякое балагурство противопоказаны, как для эпистолярного стиля, так и казенной литературы.

Такой вопрос — Колыма. Господин Твардовский вздумал побалагурить в «Василии Теркине в аду» и потерпел полный провал. «Запомни и расскажи» — вот все, что требуется, все, о чем идет речь. За непрошенный совет прошу прощения. Я ненавижу литературу. *В. Шаламов.*

Ты понимаешь, в чем дело, Георгий, ни для кого твои вещи не послужат, если они не будут сделаны, выражены сильнейшим, своеобразнейшим образом. Ни для кого — ни для будущего, ни для современников. Работа над новой прозой как раз и рассчитана на будущее.

Ни с кем я тебя не спутал, ты один из немногих людей на Колыме, которые оказали какое-то сопротивление времени. Но послушай меня, надо написать просто. Я, Георгий Георгиевич Демидов, был привезен на Колыму — остальное даст выстраданность и талант. О лагерях уже написано бесконечно много (в ЦК даже создан специальный отдел, чтоб контролировать эти рукописи). Я смотрел многие из них (в «Новом мире»).

Тут дело таланта. Солженицын, опыт которого очень невелик, поднят наверх именно жадной силой времени.

Я тебе хочу хорошего, а не плохого, и никакого ругательного стиля не позволил бы в ответе старому товарищу. Я ведь сидел в 1929—1931 годах. Зимой 1938/39-го года я был арестован и отвезен в магаданскую тюрьму. Но не расстрелян. После этого восемь лет скитался от больницы до забоя, в 1943 году — новый срок в десять лет в спецзоне колымской — Джелгале. Затем три года опять больница — прииск. Доходил я много, много раз, и

нет на теле у меня места, не отмороженного трижды и четырежды. В 1946 году я лежал в западной больнице, у меня ведь с новым сроком изменилась статья, и смертный приговор приобрел вполне «бытовой характер» — 58-10. С КРТД на фельдшерские курсы не допускали. 58-10 — пожалуйста. Только через два года работы в больнице пришел в норму. Вот тут-то мы и встретились. Так вот из всего этого времени ничего даже похожего на время с декабря 1937 по осень 1938 не было. Вот я почему и решил так напомнить 1938 год, в чем прошу прощения.

Г. Г. Демидов — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам!

Поздравляю тебя и твоих друзей с Новым годом. Особый привет Н. Я. <Мандельштам>. Сообщи мне, если можно, ее почтовый адрес.

Я оставил тетрадь своих рассказов для тебя в Москве. Их до 1-го должна занести В. М. Будь к ним строг, но справедлив.

Моя встреча с тобой и твоими друзьями, а теперь, наверное, и моими, очень укрепила веру в себя и в смысл продолжения жизни. Вообще-то этого мне здорово недостает.

У нас здесь красивая зима. Это тоже поднимает настроение, хотя мне и жаль вас, москвичей, затоптавших русскую красавицу в слякоть тротуаров и мостовых.

Жму руку.

Г. Д.

24.12.65.

В. Т. Шаламов — Г. Г. Демидову

<1967 г.>

Дорогой Георгий, вот тебе подарок, книжка Мандельштама. Издание этой книги (первой за сорок лет и теоретической работы редкостного значения и интереса) — событие в истории русской культуры. Надежда Яковлевна шлет тебе привет и вместе со всеми москвичами ждет окончания твоей работы и твоей службы, и твоего жизнеописания. В Москве «Разговор о Данте» продавался два часа. Пиши. Привет. В. Ш.

Дорогой Варлам!

В течение одного только месяца ты и Н. Я. порадовали меня дважды. Большое вам спасибо.

Чернокнижники и лжецы сдают свои позиции с наимозможной постепенностью. Отсюда, конечно, и издание не Мандельштама-поэта, а Мандельштама — теоретика литературы. Но Солженицын прав. От веления времени не уйти. В то время как истина вечна, ложь, даже организованная в грандиознейшем масштабе, имеет свой исторический предел.

О многом хочется поговорить. Я думаю, что в ноябре на праздники выберусь в Москву на неделю. Неуверенность, что мною у вас интересуются хотя бы просто как товарищем, у меня исчезла. А вообще в этом отношении у меня обостренная чувствительность. Сказались бесконечные годы отверженности.

В августе кончается мой «отпуск» — временное самоосвобождение от литературной работы. В сентябре продолжу работу над «жизнеописанием», как ты его назвал. Но, по существу, это некий «синтез» на основе собственной биографии.

Прошу тебя передать прилагаемую записочку и мой низкий поклон Н. Я.

Крепко жму руку.

Что ты думаешь о молчании Максимовой⁸?

Г. Д.

14.VIII.67

Г. Г. Демидов — В. Т. Шаламову

Варлам Тихонович!

Откуда ты взял, что я напрашиваюсь на разговор с тобой по вопросам борьбы в мире «добра» и «зла»? Это ты завел подобный разговор в своем письме с позиций удивления и грусти по поводу того, что ни горький жизненный опыт, ни наставничество людей, более крепких умом и сильных духом, не помогли. И я остаюсь таким иисусиком, верящим в конечную победу доброго и справедливого над жестоким и злым. Сюсюкающим слюнтяем, неспособным понять, что не абстрактные моральные категории движут миром, а реальные, физические в основе, если хотите, факторы.

И все это потому, что в письме к Н. Я. (к Н. Я. — заметь) я, кажется, употребил фразу, смысл которой в том, что хочется верить в конечную победу Правды. Я имел в виду не «Правду-справедливость», а «Правду-истину», т. е. неизбежное восстановление точной информации, несмотря на все попытки дезавуировать ее с помощью самых могущественных средств. И я даже косвенно извинился за применение устаревших, расплывчатых символов.

И снова менторские вздохи по поводу плохой усвояемости подопечного сюсюкалы и невежды. Что это? Прямолинейность восприятия, доводящая его до примитивизма, или абсолютная уверенность в своей роли непогрешимого «ребе»?

Плохо, когда собеседники находятся на слишком различных ступенях способности к пониманию и восприятию. Но еще хуже, когда один из них почитает другого дураком на основе поверхностных и предвзятых представлений. Вряд ли я хуже тебя представляю, что к чему и что почем. Когда-то Михайло Ломоносов говорил, что «...в дураках ходить не токомо у Вашего сиятельства, но и у самого Господа Бога не хочу».

Не хочу быть глупее, чем я есть, и я. Угодно со мной разговаривать на равных — извольте. Не угодно — вольному воля. Кто-кто, а уж я-то дотяну как-нибудь до недалекого финиша в одиночку, как тянул бесконечное множество лет.

В свете сказанного хлопотная для меня и связанная с потерей драгоценного времени поездка в Москву в ноябре отпадает.

За пересылку письма Н. Я. благодарю. Ей — неизменный привет и наилучшие пожелания.

Извини резковатый тон. Но я не люблю ни назиданий, ни оценок с высоты абсолютного превосходства. Я в такое не верю. Ни в чье.

Желаю здоровья.

Г. Д.

23.08.67 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Демидов Георгий Георгиевич (1908—1987) — инженер, физик, персонаж рассказа Шаламова «Житие инженера Кипреева». По словам Шаламова, один из лучших и умнейших людей, встретившихся ему на Колыме.

² *Бабина* Берта Александровна была репрессирована — автор воспоминаний, опубликованных в сб. «Доднесь тяготет», М., 1989.

³ *Линде* Вера Михайловна — врач, знакомая Г. Г. Демидова по Ухте, где он жил после реабилитации.

⁴ *Гольцман* Валентина Николаевна — знакомая Г. Г. Демидова по Ухте.

⁵ *Демидова* Валентина Георгиевна — дочь Г. Г. Демидова, в настоящее время — в США.

⁶ *Доктор* Михаил Львович — начальник Центральной больницы для заключенных в пос. Дебин. Резко отрицательно описан Шаламовым в рассказах «Афинские ночи», «Курсы» и др. На Колыме его звали доктор Доктор.

⁷ Повести Г. Г. Демидова.

⁸ Видимо, Максимова Наталья Борисовна, работавшая медсестрой в Центральной больнице для заключенных в пос. Дебин.

⁹ Письмо В. Т. Шаламова, на которое отвечает Г. Г. Демидов, не сохранилось.

ПЕРЕПИСКА С В. В. ИВАНОВЫМ

В. Т. Шаламов — В. В. Иванову¹

Москва, 16 июня, 1965 г.

Дорогой Вячеслав Всеволодович.

Вмешательство болезни Вашей помешало нашему возможному свиданию. Скажу вам одно. Природа не может не оценить страсть героической воли к выздоровлению, открывает дорогу к победе. Одна из «сторон живой жизни». Не зная Вас, я целый вечер говорил с Вами — я ведь глухой и не был предупрежден. Так эта встреча мне дороже.

Жму Вашу руку. Желаю здоровья, а воли к добру Вам не занимать. Сердечный привет Вашим домочадцам.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — В. В. Иванову

Москва, 21 августа, 1966 г.

Дорогой Вячеслав Всеволодович.

У меня приготовлен Вам небольшой подарок. Я переплетал свои колымские стихи (1937—1956) из шести тетрадей. Там есть и «Снега Аввакумова века» и почти все, что я за эти годы написал рифмованного.

Из-за своей глухоты я никак не могу воспользоваться телефоном, чтобы сговориться о встрече.

Скажите, когда я могу этот подарок (полпуда весом) Вам привезти?

Сердечный привет Вашей жене.

Ваш *В. Шаламов*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Иванов Вячеслав Всеволодович* (р. 1929) — филолог, переводчик, сын писателя Всеволода Вячеславовича Иванова.

ПЕРЕПИСКА С А. А. АХМАТОВОЙ

В. Т. Шаламов — А. А. Ахматовой¹

[записка в Боткинскую больницу]

[1965 г.]

Вы живы благодаря тому, что тысячи людей шлют Вам свои приветы, свои пожелания доброго здоровья. Я пил за Ваше здоровье нектар надежды и у Пастернака, и у Солженицына.

В жизни нужны живые Будды, люди нравственного примера, полные в то же время творческой силы. Я тоже хочу на своем малом пути доказать, что не всех можно убить.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Письмо В. Шаламова А. Ахматовой — это записка, переданная ей Н. Я. Мандельштам (?) в больницу. Виделся с Анной Андреевной Шаламов лишь однажды, эта встреча описана в эссе «Ахматова».

ПЕРЕПИСКА С Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам¹

Москва, 29 июня 1965 года.

Дорогая Надежда Яковлевна, в ту самую ночь, когда я кончил читать вашу рукопись, я написал о ней боль-

шое письмо Наталье Ивановне², вызванное всегдашней моей потребностью немедленной и, притом, письменной «отдачи». Сейчас я кое в чем повторяюсь. Кроме того, устное и письменное слово различно по своему возникновению, своей жизненной природе. Центр письменной речи вовсе в другой части мозга, чем устный центр. В сущности, чтения ораторами докладов — это насилие над традицией устного слова и над природой письменного. Но это все к слову.

Рукопись эта, как, впрочем, и вся ваша жизнь, Надежда Яковлевна, ваша жизнь и жизнь Анны Андреевны, — любопытнейшее явление истории русской поэзии. Это — акмеизм в его принципах, доживший до наших дней, справивший свой полувековой юбилей. Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть.

Список начинателей движения напоминает мартиролог. Осип Эмильевич умер на Колыме, Нарбут умер на Колыме, судьба Гумилева известна всем, известно всем и материнское горе Ахматовой. Рукопись эта закрепляет, выводит на свет, оставляет навечно рассказ о трагических судьбах акмеизма в его персонификации. Акмеизм родился, пришел в жизнь в борьбе с символизмом, с загробщиной, с мистикой — за живую жизнь и земной мир. Это обстоятельство, по моему глубокому убеждению, сыграло важнейшую роль в том, что стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Нарбута остались живыми стихами в русской поэзии. Люди, которые писали эти стихи, оставались вполне земными в каждом своем движении, в каждом своем чувстве, несмотря на самые грозные, смертные испытания. Я думаю, что судьба акмеизма есть тема особенная, важнейшая для любого исследователя — для прозаика, для мемуариста, для историка и литературоведа.

Большие поэты всегда ищут и находят нравственную опору в своих собственных стихах, в своей поэтической практике. Нравственная опора искалась и вами, и Анной Андреевной, и Осипом Эмильевичем в течение столько лет — на земле.

<Эти вопросы> у нас достойны большего акцентирования. Это ведь один из главных вопросов общественной морали, личного поведения.

Тут не только исконная русская черта — желание пожаловаться, а и желание просить разрешения у высшего

начальства по всякому поводу. Это и тот конформизм, именуемый «моральным единством» или «высшей дисциплинированностью общества» Это и желание написать донос раньше, чем написан на тебя; это и стремление каждого быть каким-то начальником, ощутить себя человеком, причастным государственной силе. Это и желание распоряжаться чужой волей, чужой жизнью. И главное всего — трусость, трусость, трусость. Говорят, что на свете хороших людей больше, чем плохих. Возможно. Но на свете 99 процентов трусов, а каждый трус после порции угроз — превращается вовсе не в просто труса.

Рукопись отвечает на вопрос — какой самый большой грех? Это — ненависть к интеллигенции, ненависть к превосходству интеллигента. Я добавлю — давление на чужую волю, игра чужой волей, распоряжение чужой жизнью.

Рукопись показывает, как велико повседневное, ежедневное напряжение многолетней борьбы с доносчиками и осведомителями всех возрастов и всех рангов. Но велика и сила сопротивления — и эта сила сопротивления, душевная и духовная, чувствуется на каждой странице.

У автора рукописи есть религия — это поэзия, искусство. Застрочно, подтекстно; религия без всякой мистики, вполне земная, своими эстетическими канонами наметившая этические границы, моральные рубежи.

Все большие русские поэты, для которых стихи были их судьбой — Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Анненский, Кузмин, Ходасевич, — писали классическими размерами. И у каждого интонация неповторима, чиста — возможности русского классического стиха безграничны.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

18 июля <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

У меня есть новость: у воронежского издательства, которое собиралось издавать «Воронежские тетради», их вычеркнули из плана. Причина: книга в плане ленинградского издательства. Все, как видите, в порядке. Будем с вами продолжать подсчет отказов.

В Верее хорошо. Лучше, чем в Тарусе: тише. Холодно. Но это всюду. Мне до чёрта все надоело. Я не могу использовать вашего секрета молодости, потому что

сильные чувства мне тоже надоели. У меня их больше нет, и очередной отказ я приняла с тупым равнодушием.

Мой адрес: Верея Наро-Фоминского района, 1-я Спартакоская, 20, Шевелевой для меня...

Другой ваш совет — «помнить» — храню свято. Совет, впрочем, был не прямой — это ваш рассказ о том, как вы выбирали фотографию к книге. Помните?

Что делать? Грустно...

Н. М.

Какой номер дома: 6 или 10?

В.Т. Шаламов — Н.Я. Мандельштам

Москва, 21 июля 1965 года

Дорогая Надежда Яковлевна! Писал вам вслед, чтобы не прерывать разговор, но адрес верейский я не догадался записать, когда был в Лаврушинском, а моя проклятая глухота задержала больше, чем на сутки, телефонные поиски. А тут и ваше письмо. Адрес мой: Москва А-284, Хорошевское шоссе, дом 10, квартира 2. (10, а не 6). Но сомнение в номере дома не задержало доставки. Благодарю вас за письмо сердечно, хотя и огорчительны известия крайне. В наше время выход хорошей книги — чудо, самые неожиданные рогадки возникают (и возникнут еще) на этом скорбном пути. Это не сюрпризы судьбы, а сознательно созданные государством препятствия.

Какому-нибудь Николаю Асанову³ можно было выпускать по 7 романов в год, а Мандельштаму будут создавать препятствия до конца — и вам это должно быть известно. Я не думал, что последуют такие постыдные объяснения. Собранности духовной, трезвости взгляда вам не занимать. Еще может быть какой-нибудь поворот и обратный, чисто случайный. Для того чтобы выключение из плана «Воронежских тетрадей» не было новостью, которую ни объехать, ни обойти, я позвоню сегодня Е. С. Ласкиной⁴ и увижусь с нею завтра.

Что касается секрета молодости, то — это ведь не моя находка. У Мандельштама сказано о «молодящей злости». Есть и еще примеры. Я же эмпирически установил и многократно проверял, что чувства человека располагаются в постоянном порядке, воскресая и умирая, возвращаясь и снова уходя. К собственным костям ближе всего злость, за злостью следует равнодушие, за

равнодушием — ужас, страх, голод, зависть, любовь. Открытие в том, что равнодушие не последнее чувство в человеке. Злость глубже равнодушия.

Возникает возможность повидать Вас в Верее. Елена Алексеевна⁵ (это знакомая Натальи Ивановны, которую я встретил у Вас) поедет на своей машине в Верею к Вам и обещает взять меня. Это будет в одно из воскресений августа, первого или восьмого, — будете ли вы мне рады в Верее, как были рады в Москве? Напишите. Может быть, с этой машиной приедет Наталья Владимировна⁶ и уедет (машина должна вернуться в воскресенье, чтобы никто не терял рабочих дней). Я у Натальи Владимировны тогда, в вашей квартире, свои рассказы взял, а через два дня вернул. Сборник «Артист лопаты» должен иметь концовку «Поезда». Туда вставлено два новых рассказа, которые я не успел вам показать («Погоня за паровозным дымом» и «РУР»). Эти рассказы я привезу с собой. Привезу и еще кое-что из записей разного рода. Рассказы в «Артисте лопаты» перегруппированы чуть-чуть. Мне кажется, крепче, лучше будет. «Академик» перешел в другой сборник, который будет называться не «Уроки любви» (это будет название одного из рассказов), а «Левый берег»⁷, официальное географическое название колымского поселка, где я прожил 6 лет.

Если бы мне пришлось читать курс литературы русской последнего полувека, я начал бы первую лекцию, как Парацельс, — сжег бы все учебники на площади перед студентами.

Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити. В поисках этой утраченной связи, этой ариадниной нити разорванной, молодежь тянется наугад, цепляясь даже за Мережковского, что ранит мое сердце очень глубоко, Мережковский — совсем неподходящая фигура.

Как бы ни культурен был Кузмин, как бы он ни знал законы стиха, <ни> мог экспериментировать — был человеком универсального образования, — у Кузмина не было главного, о чем и шел <ваш> разговор с молодым человеком, любящим кино (который принес Хлебникова). Вместо суждения декларативного надо было показать две строки из стихотворения:

Часто пишется: казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь...⁸

Вот весь Кузмин стоит вне этих строк. К большой поэзии Кузмин не относится все же, хотя я знаю и люблю, и ценю Кузмина, это стихи, которые еще доставят радость любителям поэзии. Но страсти его стихи не вызывают, человеческого сердца не сожмут, не заставят кровь бежать быстрее по жилам.

А то, что говорила Анна Андреевна о том, что стихи не то, что мы думаем в юности, — так, мне кажется, в этом верном утверждении речь идет не только о мудрости возраста, не только о том, что с возрастом приходишь к мысли, что только мысль, только смысл, только глубина содержания сближает с читателем. Мне кажется, что границы формулы шире. Тут дело не только в том, что нужно быть гораздо серьезнее и умнее, и вовсе не звуковые побрякушки становятся главным, — но и в том, что сами стихи приобретают характер судьбы, являются в виде некой исповедальности, проверенной собственной искренностью и правдивостью. Но и в том, что все в стихах гораздо серьезней, гораздо жизненно важнее, чем казалось в юности. Поэзия в этом смысле никогда не была делом молодых, а была делом седых.

Тут <дело> не только в том, что у взрослого поэта приоритет переходит к мысли, к уму, но и в чрезвычайной требовательности нравственного чувства. Нравственное чувство это не логическая категория. А в этом смысле требования поэта к самому себе меняются с возрастом.

Письмо получается огромным, и я обрываю письмо.

Пишите, Надежда Яковлевна, не тревожьтесь, не принимайте близко к сердцу. Желаю вам доброго здоровья, желаю вам быть такой, какой вы были каждый день и час, когда я имел возможность видеть вас.

Наталья Владимировна говорит: «Литературный Рим передвигается из Тарусы в Верею». Вы одна из самых важных людей, восстанавливающих эту порванную связь времен. Привет вашему брату и его жене. Желаю ему доброго здоровья.

Ваш В. Шаламов.

Когда Вы будете в Москве?

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

25 июля <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Мне тоже не хочется, чтобы оборвался разговор, и я пишу вам сразу по получении вашего письма. Ваше

письмо, как всегда в район, шло 4 дня. Мне понравилось рассуждение о чувствах и о том, что злость (подлинная, т. е. молодящая) ближе всего к костям. Выпьем же за нетерпимость — она ведь и есть источник «молодящей злости», понятной только тем, кто знает, где стоит и почему стоит. Но боюсь, что мне так идти до самой могилы, не увидав издания ни в Ленинграде, ни в Воронеже. Меня это даже не огорчило. В сущности, меня взбесила только формулировка.

В Москву я приеду на один-два дня 12 августа. Не забудьте! Жду звонка и встречи. Очень буду рада, если вы приедете в Вереку с Еленой Алексеевной и Наташей Рожанской. Она (Наташа) прелестный человек, но невыносимо скромна, до того скромна, что я даже сержусь, хотя это придает ей еще больше прелести. Живется ей трудно, а в ней есть какое-то очень высокое благородство, не позволяющее ей жить легче. Мне она на редкость мила и нужна.

(Елена Алексеевна мне тоже нравится, но я ее меньше знаю — только с отъезда Наташи нашей...)

Очень рада, что вы ей дали рассказы — она умный и внимательный читатель. По секрету скажу вам — только не говорите этого ей — она обидится и огорчится, — что она сильнее и глубже мужа. Но довольно о Наташе...

Теперь о стихах. Впрочем, сначала о рассказах. Разумеется, я их очень хочу. Пожалуйста, привезите, да еще лучше с оглавлением, чтобы я знала, где они стоят, если они уже нашли себе место. Хорошо, что вы изменили название сборника. «Уроки любви» не совсем то... «Левый берег» вполне «географическое».

Как я огорчаюсь, что книги стихов так легко лопаются и у вас освободилось название! Всегда и у всех... То есть те книги, которые я бы хотела держать в руках. Книга Б. Л.⁹ вышла только благодаря тому же скандалу, который поставил ее под угрозу. Впрочем, у него судьба другая: к нему привыкли...

Я думаю, что учебники не надо сжигать: это слишком классический жест; потом авторы учебников выпустят новое издание и сожгут те книги, которые ценим мы с вами. Давайте просто ими не пользоваться...

Мальчик, который хвалил Хлебникова, самый молодой и незрелый из моих знакомых. Ему года 23—24... Они в этом возрасте сейчас чистые сопляки. Этот много читает и думает, а что из него выйдет, сказать трудно.

То, что вы пишете в письме о Кузмине, я принимаю полностью. Тогда мне показалось, что вы его отстаиваете, а не ругаете.

Анна Андреевна говорила еще про стихи, что в юности она никогда не думала, что они такие живучие. Но есть еще одна таинственная вещь, отменяющая тему возраста: поэт — тот, у которого стихи станут судьбой, — определяется смолоду, настоящие читатели тоже смолоду. Среди всех глупостей юности, среди ненужного чтения, ошибок, чуши и мути, увлечений и свойственной юности резкости отрицания пробивается вот эта самая ариаднина нить, на которой держится «связь времен» И О. М. и Б. Л. были собой уже с первой ноты. И все другие, включая Кузмина. Вероятно, стихи (подлинные) — это «сущность» в самом философском смысле слова. И неудачи, а их в юности всегда много, и учебные стихи, а они есть у всех, все же имеют эту каплю «сущности» не только самого человека, но, вероятно, и «бытия», а дальше уже вопрос в том, какую долю «сущности» и «бытия» дано данному человеку выразить. А вот что такое пресловутая простота, которой в свое время щегольнул Б. Л., я не знаю. Мне кажется, что с этим понятием надо обращаться осторожнее. «Просто» то, к чему привыкли, что вошло в наше сознание. Поэзии же нужно время, чтобы она вошла в сознание, стала частью его. И в «простоте» ли дело? Не в нравственной ли идее, которую вы поминаете (не моральной, разумеется, а именно нравственной), не в высоком ли самоощущении и самоопределении человека как такового? Не в герценовской ли клятве, которую дает каждый поэт, хотя эта клятва может касаться самых разных сторон человеческой жизни? Не в связи ли времен — единственном, что делает человеческое общество — обществом, а человека — человеком? Вот это, наверное, самое главное: для меня поэт — это человек. Я это как-то ужасно остро ощущаю, что он не что иное, как человек, и если люди забывают, что они люди, то поэт им об этом напоминает. Поэт из романа¹⁰ — индивидуалист, хоть ему и захотелось опроститься. Обыкновенный поэт до ужаса человек и всегда весь в своей обыкновенности, и судьба у него самая обыкновенная для своей эпохи. Разве не так?

Очень хочу вас видеть. Не забывайте меня.

Н. М.

Москва, 29 июля 1965 года.

Дорогая Надежда Яковлевна! Продолжаю о поэте-человеке. Мысль вашу легко почувствовать. Поэт выражает век именно обыкновенностью своей судьбы. Это — не моя формула. Тут, мне кажется, дело не в обыкновенности, а в нравственной ответственности, которую принимает на себя поэт. Этой ответственности у обыкновенного человека нет, а для поэта она обязательна. Для России, для русской традиции, во всяком случае. И это вовсе не некрасовская традиция, ибо и у Аполлона Григорьева этой ответственности не меньше. Или у А. К. Толстого, если брать имена, близкие по времени друг к другу...

Занятие искусством не облагораживает, к сожалению, — Гейне, Некрасов, Салтыков-Щедрин и тысячи не попавших в хрестоматию. Мне кажется, в поэзии все дело в «отдаче», в том, чтобы суметь подставить себя, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа. Если этот рубеж не взят, поэта не будет, будет только версификатор. Есть и еще занятное обстоятельство. В стихах последних лет у Пастернака с декларированной простотой уменьшается емкость строфы и строки стихотворения, и уменьшается заметно. Между тем емкость мандельштамовских стихов возрастает (например, «Андрею Белому», да и не только это). Пастернак пытался снять иносказания, сохранив только общую символику (евангельские стихи). «Камень» у Мандельштама, в сущности, самый простой сборник из всех собраний мандельштамовских стихов, с наименьшим показателем емкости. Я пользуюсь этим выражением, помня о том отвратительном значении, в котором емкость выступала у конструктивистов. Вот ведь было антипоэтическое течение. Там не было поэтов совсем, кроме Багрицкого, да и тот поэт ничтожный. Я перелистал первую его книжку — два стихотворения, не больше, но вы как-то говорили, что и два — хорошо.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

31 июля <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Почерк у вас, действительно, трудный, но я его почему-то довольно легко разбираю, вероятно, по той

же причине, почему вы меня так хорошо слышите. Иначе говоря, действует интуиция и догадка, которые помогают нам друг друга понимать.

Воронежское издательство продолжает настаивать на издании, но из этого ничего не выйдет. Отказ вполне зрелый и сознательный. Предлог (Ленинград) дурацкий. Кроме всего прочего в этом отказе еще работает здоровая инерция: тридцать лет обходились без «этого Мандельштама», а теперь, когда и так хлопот полон рот, лезут... Обойдутся и дальше. Я знаю, что О.М. когда-нибудь вернется в Москву и будет издан, и получит свое, но есть наивное нетерпение. И это глупо.

У меня появились какие-то шансы на работу на будущий учебный год, но я как-то об этом не думаю.

Приедете ли вы в Верею «на Елене Алексеевне»? Было бы славно. Здесь очень тихо, не то что в Тарусе, и для меня это хорошо. А вас всех очень бы хотелось видеть. Было бы чудесно.

Я буду 12-го... На два дня. Не забудьте позвонить...

Вы знаете, я никак не могла разобрать, какое стихотворение из христианских у Б.Л. вы считаете лучшим. Впрочем, я никогда не помню названий. А как начало или хотя бы строчку... Так я сразу вспомню.

Еще о «простоте».

Мне помешали писать: в тихой Верее тоже есть кучка людей, которые ходят друг к другу. Приходили не ко мне, а к моей невестке, но пришлось отложить письмо, и сейчас уже труднее ухватить мысль. Но вот о чем я хотела сказать по поводу вашего определения простоты. В самом начале нашей жизни — где-то около двадцатых годов и в самые первые года двадцатых — были люди, которые ненавидели прошлое (справедливо) и всю литературу мерили тем, как она борется за справедливость против тех исторических обид. Они принесли литературе (подлинной) много вреда: как им было понять Кузмина или Николая Степановича¹¹, или О.М. и пр. и пр... Я настаиваю на том, что их счета с прошлым были справедливые. Теперь я часто думаю, что и мы, а я-то — наверное, становимся на них похожи. Мы хотим диктовать поэзии самые нормальные вещи — хотя бы человечность, ставим ей условия, объясняем ей ее «долги». Я так просто не могу взять в руки книгу, где бы не было того, что я считаю «правдой» и «добром». Но ведь они тогда свое тоже считали «правдой» и «добром». Мы, конечно, шире и умнее, и знаем, что такое эта самая поэзия. Но внутренний «заказ» в нас рабо-

тает с огромной силой. И в своей правоте мы уверены: знаем, где наше «да» и где «нет». Но сходство с теми людьми того поколения меня не раз смущало. Можно ли «ей» ставить критерии? Не попадем ли и мы в то положение, что те? А вдруг мы не заметим какого-нибудь Вийона или, шут его знает, кого — Готье, Бодлера... Я беру не русских поэтов, потому что наши так вошли в нашу кровь, что на этих примерах не понять. И все они были в том ключе, который нам нужен. Но вдруг у нас появятся другие, без наших «да» и «нет» — что тогда? Это мысль, на которой я уже не раз себя ловила. Что же такое поэзия? И какую нотацию я бы прочла мальчишке Готье, если бы он ко мне сунулся! Помогите... *Н. М.*

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

<Август 1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна! Кошку мою Муху убили. Застрелили в голову. Открыто в московских джунглях застрелил какой-то генерал. На Западе там везде есть Общества покровительства животным, есть налоги какие-то, взамен которых государство охраняет животных, — у нас же только смерть и убийство считаются делом чести, славы. Массовое убийство кошек и людей — это одна из отличительных черт социализма, социалистической структуры. Животные, безусловно, входят в мир людей, облагораживают этот мир и понимают гораздо больше, чем думали Павлов и Дуров. Животных делают из лучшего материала, чем человека, и они много вносят в нашу жизнь добра, неизмеримо больше душевного здоровья, чем пресловутый «зеленый друг». И ад животных — страшен. Я вчера добился, чтобы мне показали приемник бродячих собак, то есть «отловы» на московских улицах, которые делают ветеринарные инспекции. У меня пропала кошка Муха, по всему городу расклеены плакаты с призывами государства о помощи в убийстве кошек — даже домашняя кошка Муха стала предметом борьбы в государстве. Даже здесь резко сталкиваются наши интересы, взгляды, поступки. Наш районный ветеринар сказал, что кошек убивают не сразу по завозе, убивают назавтра, «поезжайте на эту станцию, в эту газовую камеру московскую». Мне удалось добиться, после долгих усилий и просьб войти в этот «карантин звериный». Лучше бы я туда не ходил: огромный каменный мешок, где внизу, на

первом этаже, большие железные клетки с собаками, конусом сток для мочи в середине, а поверх железных клеток собачьих стоят железные ящики величиной с посылку, фруктовую посылку килограмм на восемь, решетчатые ящики, битком набитые кошками всех цветов и оттенков. Они уже помолились своему звериному богу и ждали смерти. Глаза у всех кошек, а я знаю кошачьи глаза очень хорошо, были безразличными, отсутствующими. Никакой человек уже не мог их спасти от смерти и от людей. Кошки уже ничего не ждали, кроме смерти.

Еще страшнее был ящик особый, куда были набросаны котятя разного возраста, от только что родившихся до месячных котят.

Я ушел, поблагодарив начальство за человечность, за «человеческий» подход ко мне, а не к кошкам, ибо сначала мне не хотели ничего показывать — «нет, да и все». А потом удалось увидеть этот ад: у этих железных клеток есть подвеска, чтобы прицепить этот контейнер к крючку газовой камеры. Я рылся в этих ящиках с полчаса, но не нашел Мухи; хотел указать на какую-нибудь кошку, чтобы выпустили из этого ада, но потом раздумал.

Самое страшное вот что. Я думал, когда шел по коридору, что в реве, крике, в вое и визге, которыми меня обязательно встретит этот зал, — последняя звериная надежда, случайность сказочная, что все душевные силы кошек и собак будут напряжены в этот последний миг последней надежды..

Звери встретили меня мертвым молчанием. Ни одного писка, ни лая, ни мяуканья.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

5 августа <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович! Удивительно, что третий раз я слышу про специфических кошкодавов. Один живет в Тарусе в отставке, рядом с Оттенами¹². Он поуничтожал многих котов на улице, а поймать его на этом не удалось. Среди них оттоновский любимец.. Второй служил со мной в Чебоксарах в пединституте — начинал жизнь «с романтики»... Он повесил кота. Третий случай ваш. Видно, это действительно чем-то компенсирует их за невозможность (в данное время... надолго ли?) человекоубийства. И горе, когда погибает животное, я тоже понимаю. И омерзение от двуногих, уничтожающих невин-

ного зверя. Но все же приезжайте на день в Верею и уговорите поехать Наталью Владимировну. Елена Алексеевна собирается приехать в воскресенье. Единственное, из-за чего стоило бы отложить на неделю (до следующего воскресенья), это из-за погоды. Но, кажется, она начинает улыбаться. Может, даже подсохнет.

С вашей оценкой поэзии советского периода я вполне согласна. Но сейчас я думаю не об этом, а о нас. И я вам писала именно о нас. Мы тоже оказались вроде «заказчиков» и чего-то ждем и требуем от поэзии: добра, совести, чести, правды... Мне даже кажется, что это все неразрывно. Во всяком случае, для больших поэтов. Человечности в самом точном смысле этого слова. Но может быть, говоря языком кретинско-философским, эстетические и этические ценности это нечто разное, и нельзя подходить к искусству с этическими мерками. Нечто вроде этого я однажды услышала от Анны Андреевны (только без кретинско-философской фразеологии). Она вспомнила, что их этим «добром» попрекали, когда они были молоды. И вспомнила не без обиды. Для О. М. это как-то не разделялось, потому что он ощущал себя последним христианским поэтом...

В начале нашего настоящего двадцатого века, т. е. в 17—22 годах, многие (Воронский хотя бы) требовали возмещения в искусстве своих исторических обид. Этого же ищем и мы. Вы знаете, к каким результатам в искусстве привело это требование. Почему? Было ли само требование ложным — с искусства требовать нельзя — или не того требовали. Как это обосновать? Ведь я продолжаю думать, что искусство это и есть самое человеческое и должно (а может, оно ничего не должно?) служить человечному. Вот в чем моя проблема. А как быть с Анной Андреевной? Что-то она знает... Но, может, до чего-то, самого крупного, недотягивает. Во всяком случае, в теории. Подумаем? Надо...

Н. М.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

7 августа <1965 г>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я рада, что повидала вас, хоть мы и не успели перекинуться словом. Сейчас я не могу писать подробно,

только напоминаю вам, чтобы вы поехали в Тарусу и не забыли по-настоящему зайти к Поле¹³. Она нам друг.

Не могу примириться со смертью Фриды¹⁴. Она все время со мной. Мне так много хочется ей сказать. Вот и она с вашим отцом.

Н. М. Не забывайте.

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

<Август 1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна! О Фриде Абрамовне: не то что камень на сердце лежит, не только, тут боль как-то особенно лична и не годится для статистики гражданских панихид. Я с Фридой Абрамовной встретился однажды у Е. С. Ласкиной и получил от нее два письма и рукопись ее «Заметок из блокнота депутата». Фрида Абрамовна первая сказала о моих рассказах важные для меня слова, где я увидел, что скрытая суть дела не прошла незамеченной. В тот вечер, когда мы с ней познакомились и говорили, я не знал всего разнообразия и постоянства доброй активной силы Фриды Абрамовны. Не знаю, сумел ли поблагодарить ее. Просто — не знал. Наталья Ивановна потом сказала мне кое-что, Евгения Самойловна многое — об огромной деятельности Фриды Абрамовны, ее большом месте в нашей общественной жизни, особенном месте. Фрида Абрамовна была человеком деяния, действия. Не сочувствия, а содействия. Пределы и возможности ее деятельности далеко выходили за границы обычного представления о таких вещах. Для Фриды Абрамовны первая фраза Евангелия от Иоанна переводилась, как в «Фаусте»: «В начале было дело».

Необычайно важно для писателя, поэта соответствие между словом и делом. Поступки должны соответствовать словам. Мне уже случалось обращать ваше внимание на коварность пушкинской формулы: «Слова поэта суть уже его дела». Тысячу раз нет. Дело поэта должно соответствовать, подтверждать его слово. Нравственные начала должны диктовать и слова, и дела. Требовать от писателя, чтобы он вел себя в соответствии со своим словом, — нужно. Вот этим редчайшим, драгоценным качеством Фрида Абрамовна обладала, как никто другой в наши дни. И — пусть это будет куском моего дневника — мне кажется, что Фриде Абрамовне было бесконечно стыдно за советскую власть — и она бросалась

заделывать пробоины, латать, исправлять, добиваться отмены ложных и грубых решений.

Мне кажется, что героическое было именно в том, что, имея большие возможности, Фрида Абрамовна считала своим нравственным долгом пользоваться этими возможностями, не уклоняясь, не сомневаясь. Нравственная сторона дела здесь очень важна. Моральный уровень очень высок, очень. Я не знаю «Учителя», повести, над которой работала Фрида Абрамовна. Но «Блокнот депутата», запись дела Бродского — литературные документы большой силы, отличающие именно писателя, а не журналиста.

В деле Бродского Ф. В. выступила крупным писателем, вечным защитником и смелым обвинителем всей тупости и черноты, которые несет наше время; эта запись, этот обвинительный документ — значительное писательское достижение. Не менее язык, и впечатлительность, и <ясность> также обличают Ф. В. как писателя, а не как журналиста. «Писатели — судьи» времени, а журналисты — подручные. Это не только разные уровни мастерства, видения и так далее. Это — разные миры, как ни обманчива кажущаяся близость их друг от друга.

И здесь Фрида Абрамовна выказала себя не подручным, а строгим судьей. Вот о чем я думал на гражданской панихиде и на кладбище. Фрида Абрамовна была человеком непосредственной отдачи — чтение рассказа могло вызвать слезы. Е. М. Голышева¹⁵ сказала мне, что последней книгой, которую читала Фрида Абрамовна, были мои «Колымские рассказы»¹⁶. Рассказы мои вряд ли были полезным чтением для больной. Но мне хорошо думать о том, что сказала Е. М., — и чувствовать себя связанным с Фридой Абрамовной лично — и навеки.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

2 сентября <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я еще не кричу «сентенция», но период зависти уже прошел. Что может быть общего между моими предполагаемыми Черемушками и Борисовым Переделкином. К тому же я не пишу стихов, и нет рифмы у меня, чтобы обеспечить мне «талон на месте у колонн». А еще Ося хорошо обеспечил меня от внешнего (вдовьего) успеха. Он заранее принял меры, чтобы ни «вечеров памяти»,

ни знаменательных дат у него не было. Вы напрасно поэтому беспокоились, что мне бросится молоко в голову, и я зашуршу вдовьими ризами. Единственное, что я знаю, это — что стишки хороши. Но когда их хвалят потусторонние хвалители, я заболеваю от их глупости. А. А. не выдержала старости, а не славы, и при этом стишки писала она.

Рассказ¹⁷ по каждой детали, по каждому слову — поразительный. Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни. Ваш труд углубляется и уходит с поверхности жизни в самые ее глубины. Передайте Эмме Герштейн, если вы ее увидите, что вы только подошли к теме¹⁸: оглядев наружные слои, вы пошли вглубь — в сущность жизни, которую нельзя убить.

В этом рассказе присутствует более, чем где-либо, ваш отец, потому что все — сила и правда — должно быть от него, от детства, от дома.

Дураки Оттены что-то пищали, когда мы у них были, что ко мне ходят «поклонники». А я подумала, что и перед вами, и перед Володей Вейсбергом¹⁹, с которыми я пришла к ним, я всегда буду стоять на задних лапах, потому что вы оба — он в живописи, а вы в слове и мысли — достигли тех глубин, куда я могу проникнуть только вслед за вами, когда вы лучиком освещаете мне путь.

Я горжусь всем, что вы делаете, особенно последними рассказами, особенно тем, который я уже почти знаю наизусть.

Сентенция!

Н. Мандельштам.

1) По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века.

2) «Дело юристов» я как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее²⁰.

3) Есть два-три рассказа, которые не доведены до полной силы: вышивальщица²¹, например. Есть небрежности.

4) «Целое» книги не готово — надо убрать повторы (стланик, «человек сильнее лошади» и др.), сохранив в обоих рассказах самую тему, но дав ей чуть разное развитие (чтобы сделать не повтором, а двойным, как в сонате, развитием²²).

5) Среди удивительного блеска отступлений есть одно, нуждающееся в легком развитии: это о современной прозе. Оно бьет в точку. В самую точку.

Конец «Тифозного карантина»²³?

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

<сентябрь 1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна, я прошу прощения за то, что столь неосторожно коснулся Черемушек. Для меня это чуть ли не главный вопрос жизни, принципиальности неизмеримой.

Когда-то Пастернак просто ошеломил меня, когда вдруг оказалось, что такое хорошее и согласное вдруг обернулось малодушием, трусостью, недостаточностью не только поэта... Вдруг все было передано в руки какой-то с... Ивинской²⁴ (при ее личном праве и правоте). Это одна из больных моих нравственных травм. Все поставить на место, потому что не мне повезло при встрече с Пастернаком, а Пастернаку при встрече со мной, только он этого не понял, опять-таки по малодушию, по суетности своей.

Этот вопрос до такой степени для меня важен и болезнен. Наше знакомство прервалось при обстоятельствах, не делающих чести Пастернаку. Его звонки на Хорошевское шоссе ничего не могли изменить. Пастернак предлагал мне повидаться у Ивинской. Я отказывался это сделать. Я не разделял и не одобрял его «опрощения», не считал, что проза «Доктора Живаго» — лучшая его проза.

В собственной семье Пастернак был в плену, и я когда-нибудь напишу об этом. Для госпожи Ивинской Пастернак был предметом самой циничной торговли, продажи, что, разумеется, Пастернаку было известно. Я не виню Ивинскую. Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. В самых низких своих интересах. Выученная в жизни шантажу, обману и подлости, и лжи, Ивинская вовлекла в этот обман и подлость и самого Пастернака. Но то, что было естественно для Ивинской, было оскорбительно для Пастернака, если он хотел считаться поэтом, желая все сохранить: и вкусные обеды Зинаиды Николаевны, и расположение Ивинской, не понимая, что этот физиологический феномен давно отнесен Мечниковым в «Этюдах о природе

человека» к одной из закономерностей для людей искусства.

Для Ивинской написаны, говорят, хорошие стихи, говорят так люди, не понимающие природы творчества. Стихи все равно были бы написаны, даже если бы Ивинская и Зинаида Николаевна поменялись бы местами. Вот это и есть Переделкино и Борисово, о котором я еще напишу.

Те приступы одиночества, которые правильнее было бы называть не приступами, а просветами, — многократно подтверждены письмами Пастернака 1954—1956 годов. Работа над романом, «опрощение» — все это встречает полное непонимание и в семье, и в квартире Ивинской.

Это очень тонкая механика, очень. Вы — знаете настоящее, подлинное.

Дорогая Надежда Яковлевна, я не имею ни малейшего сомнения в вашей воле, в вашей ясности ума, в вашем сердце, в вашем душевном опыте. Я прошу прощения за то, что столь неосторожно, вслух тронул этот больной для нас обоих вопрос. Я благодарю вас за письмо от всей души, я горжусь вашей сердечностью, вашим вниманием. Вы — высший суд для меня.

Но не только высший суд, но и пример. Не повторяйте, что это — Осип Эмильевич, его уроки. Все это верно, но что бы ни говорилось — не это главное в Вас.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

6 сентября <1965 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

С глубоким смущением прочла вашу телеграмму — вот вы перехвалите меня, и я в самом деле вообразу себя в Переделкине... Разве можно! Но все же — спасибо...

Скоро уж я приеду, и писать поэтому уже не хочется. За мной приедет Ника²⁵ в воскресенье 12-го, так что днем или вечером в воскресенье я уже буду в Москве. Надеюсь, что Наташа уже приедет — скажите ей... Очень уж хочется ее видеть.

И я рада вернуться в Москву. Когда мы увидимся? Может, в это самое воскресенье вы и Наташа объявитесь? А то понедельник плохое число — тринадцатое...

Н. М.

<1965 г.>

Дорогая Надежда Яковлевна, я еще не заходил к Василисе Георгиевне²⁶, чтобы сказать ей, что в течение всей моей жизни я не был в квартире, где бы мне дышалось так легко и свободно, как в квартире 47 по Лаврушинскому переулку.

Тысяча пустяков отвлекала, но я эти пустяки отброшу, отмену и завтра буду у Василисы Георгиевны.

Дай Бог вам счастья в Черемушках. Для всех, для всех людей вы должны остаться излучающей свет, залогом и знаком непримиримости. Ничего не должно быть забыто, ничего не должно быть прощено. Какие бы маски на Вас ни надевали, какие бы огни ни зажигали над вашей головой.

Наталья Ивановна рассказала мне, как на Анне Андреевне во время одного из «приемов» лопнуло старое черное платье, расползлось от ветхости, и как Наталья Ивановна зашивала на живую нитку это платье на Анне Андреевне. Наталья Ивановна говорит, что она тогда почувствовала и поняла, что случившееся не только не может быть ущербом гордости, спокойствия, достоинства. Это старое лопнувшее платье Анны Андреевны во много раз дороже оксфордской мантии и важнее людям.

У Ники Николаевны был вчера и постарался исправить впечатление от понедельника, которое могло получиться.

В Черемушках будет у вас чудесная соседка Наталья Владимировна, человек, которому вы бесконечно важны, по ее словам. Ваш *В. Шаламов*.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

Вторник, 29 июня <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вчера я приехала. Не предупредила вас, потому что вернулась «вне плана» — за несколько дней до срока, чтобы застать в Москве Анну Андреевну. Это избавило меня от поездки в Ленинград.

Вечером и сегодня, и завтра я, по всей вероятности, буду дома. Сейчас все зависит от Анны... Может, пойдем вместе к ней? Если вы зайдете ко мне в среду к 12, ду-

маю, можно будет тут же поехать к Анюте. Как? Или в четверг в то же время, хотя есть риск, что она уедет.

Потом уеду на несколько дней в Тарусу. К 6 июля буду в Москве.

Н. М.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

19 августа <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я хочу (и мне надо) вернуться в Москву в самом конце августа. Меня беспокоит, как я достану машину. Что-то обещает Вика²⁷, но, к сожалению, дружественное, а не за деньги, а это всегда может сорваться. Если б не это, я бы твердо сказала, что буду 28—30 августа уже дома.

Н. М.

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

Москва. 21 августа 1966 года.

Дорогая Надежда Яковлевна, вот и пришло ваше письмо быстрее городского — чуть больше суток шло. Значит, недолго вас ждать.

Нынешнее лето было у меня в рабочем смысле не очень удачным — много не дописанного, не начатого, не тронутого из того, что и ждать не может. Но зато лето это было для меня очень важным в каком-то особенном личном смысле — сознание этого странным образом не то что примиряет, а сближает меня с жизнью — в возможных пределах, в режимах, в границах примирения, сближения. Впрочем, речь идет не о примирении, а о сближении, пересечении каких-то важных путей и дорог.

Я перечел только что «Хранителя древностей» Домбровского. Это хорошая книжка. Формула жизни состоит из хороших людей и директора, призывающего к расстрелам, — хорошо, и бригадир хорош, и даже люди зла, люди ада не так уж страшны — о расстрелах, о людской крови говорится скороговоркой, что правильно — будто герои знать об этом не хотят, затыкают уши и глаза, так и было, наверное.

В каком-то особенно личном смысле лето принесло мне спокойствие, не примирение, а сближение — пересечение путей и дорог. Сердечный привет Е. М. и Е. Я.²⁸
Ваш *В. Шаламов.*

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

28 августа <1966 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я приезжаю 29-го или 30-го, еще не знаю точно.
Приезжаю совсем.

Н. М.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

5 февраля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Последнее время я в таком мерзком состоянии, что не писала вам, но все время слышала о вас и о ходе вашей болезни. Надеюсь, что вам сейчас лучше; может, вы скоро начнете выходить. Известите о себе.

Сердечный привет от меня Ольге Сергеевне²⁹.

Н. М.

Мне ставят телефон: я смогу по нему звонить, а ко мне нет. Это называется однобокая (или что-то в этом роде) связь.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

7 февраля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вы, наверное, удивляетесь, почему я молчу и растворяюсь где-то в воздухе.

Причин много. Главное — дикое состояние, когда я готова каждую минуту разбить себе голову. Тут ничего не поделаешь. Причин «больше, чем одна» (это буквальный перевод).

Работаю. Зверею. Не знаю, как быть дальше. Надеюсь, что вы скоро задвигаетесь и мы посидим с вами на кухне.

Н. М.

Привет Ольге Сергеевне.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

26 июня <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я вчера попросила вас прийти в четверг, забыв, что в этот день я занята. Переложим, если вам удобно, на пятницу (или субботу). Напишите, когда вы будете.

Н. Мандельштам.

Я вам звонила, но напрасно.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

18 июля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я проделала всю эту операцию с неслышанным напором и быстротой, но было мерзко и отвратительно до боли. В четверг я выехала в Ленинград. На вокзале меня встретил Бродский, и мы поехали к нему, выпили чаю и в суд. Там уже собрались люди. Пришло человек 20—30, все знакомые. Среди них Жирмунский и Адмони. Прошла Ира Пунина, невероятно зеленая и измученная — ей дорого дались 7 или 8 тысяч, которые она украла. Все люди, когда она проходила, отвернулись — никто ее не узнал. А все они знали Иру ребенком, большинство было знакомо с ее родителями. Дело по просьбе Иры было отложено: юрисконсульт Публичной библиотеки в отпуске! (Это туда она продала часть архива.) Допросили только свидетелей, приехавших из Москвы — меня, Харджиева³⁰ и Герштейн. Я была первая. Как я понимаю, я дала правильные ответы. Ирина сообщала, что Анна Андреевна ее «воспитывала». Я очень удивилась: суд не знал, что у нее была собственная мать, и мне пришлось объяснять эту дикую ситуацию: жена с ребенком в одной комнате, муж с любовницей в другой, хозяйство общее, как случилось, что они вместе в квартире.

Я рассказала...

Все это очень противно.

Пришлось говорить и об отношениях с Ирой Анны Андреевны, о том, как ее выгоняли в Москву и обо всем прочем... О составе архива...

Все гнусно беспредельно, во всем виновата Анна Андреевна, и она ни в чем не виновата.

Харджиев еле смотрит на меня — оскорблен. Он облагодетельствовал Мандельштама, а я посмела отобрать у него рукописи... Мерзость. Слава богу, основные рукописи у меня, хотя многого он не вернул. Саша Морозов³¹ устраивает мне сцены — неизвестно, на каком основании. Это наследники при моей жизни начинают сканда-

лить. Что же будет после моей смерти? В моем случае речь идет не о деньгах, а о праве распоряжаться. Я нашла ответ. Я готовлю собрание и зову себе на помощь, кого хочу. Если не нравится — пошли вон. Так?

Целую вас, *Надежда М.*

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

26 июля <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Я скоро (в конце недели) на несколько дней (3—4 дня) приеду в Москву. Чего-то я затрепалась и чересчур задумалась... Целую вас. *Н. М.*

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

<1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Вот я снова в Верее. И здесь мне кажется шумно. Сегодня села работать. Приходила ко мне Эмма Герштейн — здесь живет ее сестра, и она на денек к ней приехала. Сейчас новое отношение к Ире Пуниной. Вернее, оценка ее поступков. Начинают понимать, что она действовала с чьей-то мощной поддержкой. У нее нет никаких юридических оснований выиграть это дело, но ведь первая инстанция уже была и в иске отказала. Посмотрим, что сделает вторая...

Я читаю «Проблему стихотворного языка» Тынянова. Это, в общем, малозначительно. Просто начитанный мальчик, узнавший, что такое фонетика. Но я пока только начала читать.

Поездка — поезд плюс автобус — довольно тяжелая, но легче прямого автобуса из Москвы. Я думаю, что больше в августе не приеду, а вернусь в начале сентября.

Не забывайте.

Надежда Мандельштам.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

6 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Получила ваше письмо со страницами из журнала. Спасибо. Здорово!

Я опять подыхаю от жары.

Работать почти не удастся. Но остался еще один месяц — и я опять буду дома...

Как идет жизнь? Одно дошло до меня: обидевшись на второй том, опять откладывают издание сборника стихов.

Саша, кажется, бузит, и мне это надоело. Вообще хочется в Москву, но там я — увы! — не могла дышать.

Вроде все... Не забывайте.

Н. Мандельштам.

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

7 августа 1967 г.

Дорогая Надежда Яковлевна, телепатическим образом позавчера в пять часов пополудни я взял с книжной полки тыняновскую «Проблему стихотворного языка» и проглядел эту книжку — оказывается, только для того, чтобы получить ваше письмо и смело на него отвечать, смело в смысле быстро. Конечно, молодая работа молодого Тынянова не бог весть что, но в ней есть свежесть, есть чувство новизны — больше там, где Тынянов погружается в «архаику», и меньше, когда встречается с современностью, с Блоком, с Хлебниковым, с Брюсовым. В тыняновском подходе, в опоязовском подходе для анализа все годится, все смешано, все равноправно: и Брюсов, и Блок, и Хлебников. Живая жизнь стиха, его душа не попадет в эти сети, в эти меридианы и параллели, наскоро очертившие и запутавшие глобус, великий шар поэзии. Для опоязовцев Земля — это глобус, не более. Статьи (вторая половина книги) поплоче, похуже «Проблемы». В «Проблеме» радостно открываются на берегах поэтической реки новые выступы, мысы, заливы — это плаванье, но это плаванье по мелководью. Новых горных вершин тут не видать — тыняновская лодка пушена по мелководью, по побережью. Это дачное плаванье. Не поток открытий и смутных определений, связанных с быстротой, новизной, неожиданностью, мощью потока. Великое достоинство тыняновских работ, а равно и всех авторов сборников ОПОЯЗа — это приближение читателя к вопросам истинной поэзии. Если хотите понять, что такое стихи, то надо читать работы ОПОЯЗа. Здесь не узнаешь секрета поэзии, чуда поэзии, возникновения, рождения. Но это — наилучшее, чуть не единственное на русском языке описание условий, в которых

возникают стихи. И, цепляясь за тыняновские фразы, за опоязовские фразы, вдруг находишь путь к настоящему. И хоть это настоящее не похоже на опоязовские рецепты — родилось это благодаря сосредоточению внимания на проблемах, обсуждавшихся в сборниках ОПОЯЗа.

Вот очень кратко о чтении. Я передал вчера Лотману книжку, которую вы мне дали³², восхищение и благодарность он пришлет вам и сам, кроме тех, что в этом письме. Сережа и Ольга Сергеевна благодарят вас. Демидову и Лесняку³³ я отослал почтой. Конец августа это недолго, но все же. Пишите.

В. Шаламов.

Н.Я. Мандельштам — В.Т. Шаламову

9 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Сегодня получила от вас письмо с апологией ОПОЯЗа и Тынянова. Это так и не так. Эти люди действительно задумались о поэзии, но все же они всерьез принимали Тихонова. Их методами можно объяснить только искусственно сделанную поэзию или шуточные стихи. Видимо, поэтика может существовать только в ограниченных рамках (ритмы, традиционные формы, исследования стиля эпохи или одного человека). Из всего этого поэзия не выводима. И не понять ее и из истории. Я недавно прочла у Трубецкого: из исторических условий гений не выводим, но его не понять без исторических условий. Во всех попытках подойти к поэзии хуже всего попытка наукообразного построения. Я читала, как Бердяев защищает философию от научных методов. Тем более поэтику... Научное исследование снимает только самый поверхностный слой.

Хорошая вещь — история, биография, описание пути... Общая характеристика... История литературных школ... Анализ ритма, словаря... Но лучше всего самая обыкновенная публицистика. Это утраченная, но необыкновенно важная вещь.

Еще смысловой и мировоззренческий анализ, то есть раскрытие мира поэта (или школы, или эпохи). Возможен психологический анализ. Но наивно искать «общие законы». Все попытки взять слово и построить на нем анализ проваливаются. Это, кажется, одна из тайн поэзии, и здесь разобьешь нос. Для языковеда ясна слабость Тынянова (хотя бы жалкий пример со словом «человек»...) Бог с

ним. Меня не выпустят до 10—15 сентября. Разве что приедет Оля³⁴ или Кларенс³⁵. Дай-то Бог. Целую вас.

Надежда Мандельштам.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

17 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Получила ваше письмецо... Про Тынянова вы правы — лучше никого не было. Это значит — «по вашим грехам и то хорошо»... Так Анна Андреевна цитировала своего отца.

Подумайте, сколько мне еще оставаться здесь! Три недели! Надоело и хочется в Москву.

Меня ужасно беспокоит Илья Григорьевич³⁶. Как он? Напишите, что знаете.

Понемногу работаю (текстология). Трудно и невыносимо грустно. Грустно от разного.

Как ваше здоровье? Судя по тону письма, не очень хорошо. Как вы живете? Один ли еще? Или Ольга Сергеевна вернулась? Передайте ей от меня привет.

Не забывайте меня, *Н. Мандельштам.*

Лотман, наверное, затаил на меня обиду. Я ему когда-то написала, что Надежда Павлович³⁷ — это Елизавета Смердящая (она Елизавета?).

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

27 августа <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович! Все письма ваши я получила.

За пребывание в Верее я сильно обиделась. Что делать? Сейчас я уже скоро возвращаюсь (от 4-го до 6-го — когда будет машина). Вот наговоримся.

Н. Мандельштам.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

1 сентября <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Зря вы жалуетесь, что я не пишу. Я все время пишу, но только не письма, а записочки. Это вас и запутало.

Я скоро возвращаюсь. Честно говоря, жажду скорее. Вероятно, 6 сентября. Сейчас же позвоню вам.

Получила милое письмоце от Ольги Сергеевны и Сережи³⁸. Отвечаю ей...

Н. М.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

6 сентября <1967 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Дозвониться к вам я не могу.

Приехали мы раньше, чтобы быть на похоронах³⁹.

Что если вы придете в субботу?

Н. М.

Н. Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову

Июль, 21 <1968 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Ваше письмо получила. Спасибо. Еще написал мне Сучков⁴⁰, что хочет лепить О.Э. ...Я ответила вежливой отпиской, помня, что вы за что-то его не одобряете. В чем же, собственно, дело?

Я буду в Москве с 31-го по 2-е... Позвоню вам, чтобы вы пришли. Хорошо?

Работать не могу. Привыкла быть одной; не умею работать, когда не одна.

Скучаю. Целую вас.

Н. Мандельштам.

В. Т. Шаламов — Н. Я. Мандельштам

21 июля 1968 г.

Дорогая Надежда Яковлевна, если Сучков действительно хочет лепить Мандельштама, пусть лепит. Талант у Сучкова невелик. Мне он просто когда-то наобещал с три короба и ничего не сделал, морочил голову года три. Так не только Сучков из моих московских знакомых сделал и делает. В такой же породе — я обиды на него не держу.

Сучков не шпион, не доносчик, не бахвал, что немало. Через него я получил Платонова «Котлован». По-

следний раз видел года два назад. Подробнее — лучше при личной встрече.

Позвоните, и я приду в любой день, час. Если можно, в это время не приглашайте одиноких дам, кроме, разумеется, Натальи Ивановны Столяровой. Привет. *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Мандельштам* Надежда Яковлевна (1899—1980) — автор книг «Воспоминания». М., 1989; «Вторая книга». М., 1990; «Книга третья». Париж, 1987.

² *Столярова* Наталья Ивановна (1912—1984) — переводчик, в 1937—1946 гг. была репрессирована.

³ *Асанов* Николай Александрович (1906—1974) — писатель.

⁴ *Ласкина* Евгения Самойловна (1915—1991), в те годы зав. отделом поэзии журнала «Москва».

⁵ *Грин* Елена Алексеевна, была в лагере вместе с Н.И. Столяровой.

⁶ *Кинд* Наталья Владимировна (по мужу Рожанская) — геолог, друг Н.Я. Мандельштам.

⁷ «Артист лопаты» и «Левый берег» — сборники рассказов В. Шаламова, завершены в 1965 г. Рассказ «Уроки любви» включен автором в сборник «Перчатка, или КР-2».

⁸ О. Мандельштам. «Голубые глаза и горячая лобная кость...»

⁹ Имеется в виду книга Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы». Библиотека поэта, Большая серия. Второе издание, М.—Л., «Советский писатель»; 1965.

¹⁰ Герой романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» Юрий Живаго

¹¹ Н.С. Гумилев.

¹² *Оттен* (Поташинский) Николай Давидович (1907—1983) — литературовед, сценарист.

¹³ *Степина* Пелагея Федоровна (1904—1985) — хозяйка дома в Тарусе, где Н.Я. Мандельштам жила летом.

¹⁴ *Вигдорова* Фрида Абрамовна (1915—1965) — писатель.

¹⁵ *Гольшьева* Елена Михайловна (1906—1984) — переводчик.

¹⁶ Рукопись первого сборника «Колымских рассказов».

¹⁷ Рассказ В. Шаламова «Сентенция», завершающий сборник «Левый берег» и посвященный Н.Я. Мандельштам.

¹⁸ По словам В. Шаламова, литературовед Э. Г. Герштейн, прочитав первый сборник «Колымских рассказов», сказала ему: «Вы можете ничего больше не писать, с этим вы войдете в литературу».

¹⁹ *Вейсберг* Владимир Григорьевич (1924—1985) — художник.

²⁰ Речь идет о варианте рассказа В. Шаламова «Дело юристов» из первого сборника «Колымских рассказов».

²¹ Рассказ о вышивальщице называется «Галстук».

²² Говоря о повторах, Н. Я. Мандельштам имеет в виду рассказы «Кант» и «Стланик», «Заклинатель змей» и «Дождь». В. Шаламов считал повторы ритмической особенностью своей прозы.

²³ «Тифозный карантин» — рассказ В. Шаламова из первого сборника «Колымских рассказов».

²⁴ Разрыв отношений В. Шаламова с Б. Пастернаком последовал в 1956 г., одной из его причин была ссора Шаламова с О. Ивинской, близким другом Пастернака.

²⁵ *Глен Ника* Николаевна — переводчик, редактор.

²⁶ *Шкловская* Василиса Георгиевна — жена В. Б. Шкловского.

²⁷ *Швейцер* Виктория Александровна — литературовед.

²⁸ *Хазин* Евгений Яковлевич — брат Н. Я. Мандельштам, и его жена Елена Михайловна.

²⁹ *Неклюдова* Ольга Сергеевна (1909—1989) — вторая жена В. Шаламова.

³⁰ *Харджиев* Николай Иванович (1903—1996) — литературовед, искусствовед. Письмо посвящено суду по поводу архива А. Ахматовой, который И. Пунина передала государству: ЦГАЛИ и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Суд оставил архив государственным хранилищам.

³¹ *Морозов* Александр Александрович — литературовед, готовил к изданию «Разговор о Данте» О. Мандельштама (М., 1967).

³² «Разговор о Данте» О. Мандельштама.

³³ *Демидов* Георгий Георгиевич (1908—1987), *Лесняк* Борис Николаевич (1917—2003) — лагерные друзья В. Шаламова.

³⁴ *Андреева-Карлайл* Ольга — американский литературовед.

³⁵ *Браун* Кларенс — американский литературовед.

³⁶ *Эренбург* Илья Григорьевич (1891—1967) был смертельно болен.

³⁷ *Павлович* Надежда Александровна (1895—1980) — поэт. Елизавета Смердящая — персонаж романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

³⁸ Неклюдов Сергей Юрьевич — сын О.С. Неклюдовой.

³⁹ Похороны И.Г. Эренбурга.

⁴⁰ Сучков Федот Федотович (1915—1991) — скульптор, поэт.

ПЕРЕПИСКА С П. Д. ПЕРЛИ

П. Д. Перли¹ — В. Т. Шаламову

<14.08.65 г.>

Дорогой Варлам Тихонович!

Был вчера в Москве в Институте уха, горла и носа. Там нашли новый способ лечения неврита слуховых нервов. Лечат амбулаторно. Результаты обнадеживающие.

С удовольствием прочитал несколько статей, посвященных Вашим сборникам. Рад, что Вы получили признание.

Надеюсь, что Вы относительно здоровы и благополучны.

Видел рассказы Ольги Сергеевны «Девочки».

Часто вспоминаю Вас и наши беседы.

Ваш П. Перли.

Рига, Московская, 40, кв. 13.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Перли Петр Давидович — врач, лечивший В. Шаламова.

ПЕРЕПИСКА С Е. Б. ЛОПАТИНОЙ

Е. Б. Лопатина¹ — В. Т. Шаламову

16/XI 65

Дорогой Варлам Тихонович, у меня какое-то досадное чувство, что, увидя Вас в библиотеке, я не сказала того, что мне хотелось сказать; просто в этой духоте и толкучке я поздно это сообразила.

Знаете, я как раз в эти дни думала о том, что я очень благодарна судьбе за знакомство с Вами; потому что редко — даже среди давних и настоящих друзей — на-

ходишь такую общность в восприятии (и в потребности этого восприятия) ряда не только важных, но органически нужных тебе «тем». В абсолютно преобладающем числе случаев мне приходится в значительной степени себя ограничивать или из-за прямого ощущения разницы в восприятиях или из боязни (при моей нетерпимости в определенных вещах) нарушить гармонию в отношениях — если это касается друзей, отношения с которыми во многом для меня ценны и дороги.

Должна отдельно сказать, что я бесконечно благодарна за разговор об одном из героев, фигурирующих у Зошенко, это — действительно — укрепило и осветило какие-то мои исконные, очень важные «основы». Мне в чем-то стало непосредственно легче.

Я буду очень рада Вас повидать у себя, когда у Вас будет на это время. На всякий случай — с понедельника в течение нескольких дней я, видимо, не смогу распоряжаться своим временем: наверное, придет мой очень близкий ленинградский друг, которому сейчас не очень хорошо, и я должна буду все свободное время уделить ему. *Ел. Лопатина.*

Е. Б. Лопатина — В. Т. Шаламову

13/ХІІ 65 г.

Дорогой Варлам Тихонович, очень жаль, что Вы не могли пойти вместе с нами на «Земляничную поляну»². Пожалуйста, обязательно посмотрите этот фильм; нам очень важно Ваше мнение.

Дело в том, что через 2—3 дня после того, как я его (фильм) видела, я пришла к чувству внутренней необходимости написать рецензию, и так, чтобы ее напечатали. Та или иная форма равнодушия, дающая право (в смысле человеческой, гражданской преступности равнодушия), чтобы судьей, казалось бы, такого respectable человека стала какая-то странная, жестокая, может быть, изломанная личность (муж, высаженный из автомобиля).

Вместе с тем в этой теме равнодушия, сбережения самого себя (а есть ведь и другие факторы равнодушия) не все прямолинейно и просто — отношение к герою «простых людей», которых он лечил (это еще психологически проще), а вот — молодежь, которую он подвозит в своей машине, с заключительной сценой ночью у

балкона — это уже милая, человеческая мордочка лихой девочки с трубкой и ее последние слова, обращенные к герою (видимо, независимо от внутреннего сдвига, происходящего в нем самом).

Ну, и ряд других столь тонких опосредствований темы, что они часто доходят лишь «на следующий день». Не знаю, может быть, я в чем-то не права, воспринимая и переворачивая уж очень по-своему, исходя из своих каких-то «установок».

Так или иначе, но я сегодня сказала Наташе³, что мы с ней вместе должны написать рецензию, а пусть Лева Копелев со своими энергичными друзьями устроит, чтобы ее напечатали, если она выйдет так, что будет нам вполне нравиться.

Конкретного разговора на эту тему у нас с Наташей еще не было, я даже не высказала ей моих основных мыслей. Я не хотела это делать наспех. Но я хочу написать вместе с ней.

Давно кинематограф не занимал у меня столько времени, еще обязательно нужно посмотреть «Перед судом истории», где Шульгин⁴ изображает сам себя и Нюрнбергский процесс.

Варлам Тихонович, хорошо бы на следующей неделе повидаться и безотносительно к «Земляничной поляне». На этой неделе (по вечерам) я занята в среду и субботу; оборот писем столь долгий, что, может быть, уж лучше Вы известите, какой вечер на следующей неделе Вам будет удобен, чтобы встретиться или у меня, или у Наташи.

С душевным приветом.

Ел. Лопатина.

Желаю Вам всего хорошего.

В. Т. Шаламов — Е. Б. Лопатиной

Москва, 17 декабря, 1965 г.

Дорогая Елена Бруновна.

Благодарю за Ваше любезное письмо. Очень жалею, что не смог посмотреть «Земляничную поляну» вместе с Вами и Натальей Владимировной. Я видел этот фильм вчера. Это — отличная картина, хотя, разумеется, и Бергман не изменит моего мнения о сущности и границах кинематографа. Однако в эти туманные выси мы подниматься не будем, а о «Земляничной поляне» поговорим,

как только Наталья Владимировна будет свободна — например во вторник, 21 декабря — в тот самый день, который писатель Леонов Леонид, почтил сердечным почтением, не будучи ни шизофреником, ни психопатом в 1949 г., а только безграничным подхалимом и подлецом, предлагал начать летосчисление «Эры человечества».

Ваш В. Ш.

Этот день, вторник, дань и благодарность за миллионы убитых и замученных и будет возможным поводом.

Мой адрес А-284 (а не В-284).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лопатина* Елена Бруновна, внучка Германа Лопатина, его сын Бруно Германович (1877—1938) расстрелян. (Переписка ее с В.Т. — «Звезда», 1995, № 1.)

² «Земляничная поляна» (1957) — фильм Ингмара Бергмана, шведского кинорежиссера.

³ *Кинд* Наталья Владимировна, геолог — друг Н. Я. Мандельштам.

⁴ *Шульгин* Василий Витальевич (1878—1976) — монархист, в 1944 г. арестован в Югославии, до 1956 г. находился в заключении, в 1960-х годах призвал русскую эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР. Фильм «Перед судом истории» — 1965 г.

ПЕРЕПИСКА С Н. Н. ГУСЕВЫМ

В. Т. Шаламов — Н. Н. Гусеву¹

Москва, 27 марта, 1966 г.

Глубокоуважаемый Николай Николаевич.

Я обращаюсь к Вам по указанию Натальи Ивановны Столяровой, дочери известной русской революционерки Натальи Сергеевны Климовой, чья судьба, чье «Письмо перед казнью» было толчком и ближайшим поводом для написания Львом Николаевичем «Не могу молчать». Обстоятельства, при которых Лев Николаевич ознакомился с «Письмом перед казнью» (как Вы лично рассказывали Н. И. Столяровой при встрече с ней), много отличаются от фактического «фона», изображенного в книге М. Осоргина о Н. С. Климовой. Дело, по Вашему слову,

происходило гораздо суше, строже, сильнее, чем в романе Осоргина.

У меня просьба к Вам: не сочли бы Вы возможным повидаться с Н. И. Столяровой и со мной для того, чтобы освежить в памяти рассказанное когда-то Вами. Вы можете назначить свидание в любое удобное для Вас время.

Я пишу кое-что о Климовой, и сведения Ваши были бы неоценимы.

Я знаком с Вами и лично, Николай Николаевич. Мы встречались раза два лет тридцать назад в квартире И. К. Гудзя в Чистом переулке.

С сердечным уважением. *В. Шаламов.*

Мой адрес: Москва, А-284, Хорошевское ш., 10, кв. 2.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Гусев* Николай Николаевич (1882—1967) — историк литературы, секретарь Л. Н. Толстого (1907—1909).

ПЕРЕПИСКА С И. П. СИРОТИНСКОЙ

К сожалению не все письма В. Т. я сохранила. Когда я уезжала, он писал мне каждый день, считал, что только так и можно переписываться, чтобы тонкие сердечные, душевные связи не рвались и не охладевали за месяц-полтора разлуки.

Встречаясь со мной после такой разлуки, он тревожно вглядывался в мое лицо и потом облегченно говорил: «Ну, слава богу, все, как прежде».

Увы, я всех писем не могла сохранить — негде было. В доме — ни одного ящика, шкафа, куда шаловливые ручонки детишек не влезали бы, а еще — хомячки, морские свинки, птицы, кошки... Дети несли в дом больных кошек, голубей, как-то принесли ястреба, которого били вороны... Негде мне было хранить заветные письма. Я твердой рукой архивиста оставила интересные литературные и истребила более личные, сохранив все-таки два-три (его и свои), которые было очень жаль уничтожать. Писал он хорошо, и мне сообщал, что мои письма «на пять», и это мне не понравилось. Мои письма были непосредственны, и никаких литературных целей не преследовали. Они тоже не сохранились.

Только очень дорогие мне — по живой моей любви к Крыму, — я оставила себе.

В 1976 году, уходя от него, я попросила отдать мне наши письма — как-то больно было, что они могут попасть в чужие руки. Оказалась я предусмотрительной: действительно, поздние письма мои попали в руки Л. В. Зайвой¹, о чем она мне и сказала, но я не стала вступать в переговоры, уж очень мне казалось недостойным всякое общение с ней.

Наша переписка с В. Т. велась в основном в летнее время, когда я уезжала с семьей в отпуск, да еще когда у меня была возможность получать письма, т. е. мы были в «недидом месте» и пасли детей по очереди с мужем — чтобы они провели у моря два месяца.

Потом мы переключились на байдарочные походы — Валдай, Волга, и уже никаких писем я получить не могла, иногда лишь бросала открыточку, когда мы проплывали село.

Мы познакомились 2 марта 1966 года, а летом я уехала, написала ему три письма о Крыме, а когда вернулась, и пришла к нему, он распахнул дверь рывком, и я очутилась неожиданно в его страстных объятиях, даже растерялась несколько.

Так началась наша любовь. Уже в доме инвалидов он продиктовал мне стихи:

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.

Я долго колебалась — публиковать ли эти письма, а потом решила. С одной стороны, слишком интимные письма («тайна») уничтожены, а то, что осталось, это такая существенная сторона и его, и моей жизни.

Я любила В. Т. — он добавлял мне то духовное, высокое, чего не было в родственной, нежной любви мужа. Вспоминаю, как муж за несколько дней до смерти (26 октября 1995 г.) сказал мне, обнимая меня у плиты на кухне: «А знаешь, я теперь люблю тебя еще больше, чем в молодости». Так и было. Но ценила я эту преданную любовь недостаточно, слишком привыкнув к семейному амплу «обожаемой жены и матери». Только лишившись этой ежедневной заботливой, родной, ежедневно обожающей любви, я поняла, как много она для меня значила.

А В.Т. напоминал мне пастернаковское — «Любимая, жуть, когда любит поэт...» Любовь В.Т. была как гроза, как землетрясение, его страсть, его мысль возносили меня на такую высоту!

И все равно — муж, дети, семья — это был родной и привычный мир. А В.Т. — как метеорит пролетел в моей жизни, изменив и осветив ее своим космическим светом.

В.Т. настаивал, чтобы встречались мы еженедельно, но вскоре сказал, что не может видеть меня так редко, а я не могла приезжать чаще. И тогда он раз в неделю стал приезжать к аптеке на ул. Куусинена, в двух остановках от моего дома. И минут 15—30 мы прогуливались по Всехсвятской, ныне Березовой роще.

Там он сказал мне: «Я люблю тебя» — с такой эмоциональной напряженностью, которую я и сейчас ощущаю, как электрический разряд.

Вскоре он меня вознес на пьедестал непомерный — и красавица, и разумница, и вообще лучше и нужнее всех на свете. Ко всему привыкаешь, и я на пьедестале стала чувствовать себя вполне комфортно.

Любовь не ищет равенства, но устанавливает его. И скоро я, смотревшая на него снизу вверх, освоилась с глубиной его личности, напряженной страстностью суждений. А он обсуждал со мной все — читал новые стихи и рассказы, письма, рассказывал о планах на будущее, прочитанных им книгах. Мы и читали по очереди все книжки.

«Ты — к счастью», — он был суеверен. Наше разногласие единственное — его письмо в «ЛГ» 15 февраля 1972 г. Я советовала не писать его, но он сказал, что должен спасти свою книжку «Московские облака». Правда, это разногласие, единственное и последнее, было началом спада наших отношений. Но это было после.

В.Т. жалел, что мы встретились поздно, что я крепко, нерушимо завязана в плотную жизнь большой своей семьи. Он хотел, чтобы я ее оставила, считал, что я растрачиваю на семью свою собственную одаренную натуру, а жертвовать своей судьбой, собой — грех.

Я же считала это обычной судьбой женщины и матери и не могла уйти к нему, оставив мужа, сыновей, родителей. Это ведь тоже была бы жертва своей жизнью.

Вот и сейчас, оглядываясь в прошлое всеми чувствами и мыслями, я понимаю все то же — я не могла пожертвовать своей семьей, избавить В.Т. от страшной, незащитной старости.

А он говорил: «Ты приносишь мне саму жизнь, пока ты со мной, со мной ничего не случится. Когда мы будем вместе?»

Мы говорили часами и не могли наговориться — то спорили об искусстве и наших предпочтениях: я любила Гумилева, он считал, что его испортило влияние Брюсова и т. п. Он отрицал сюжет в живописи, я говорила, что он есть и в его любимой «Прогулке заключенных» Ван Гога. Говорила, как его «первоочитатель», что его рассказы кое-где надо бы почистить — грамматически отточить. Как я теперь понимаю, что шероховатости были нужны для подлинности, первозданности вещи... А тогда он написал мне большое письмо (1971), которое я публиковала под условным названием <«О моей прозе»>.

Это и было эссе, где он втолковывал мне разницу между прозой XIX века и XX. Мне казалось, что надо бы после того, как рассказ вырвался из души, мозга, стал объективным фактом литературы, надо бы его кое-где поправить, отшлифовать. Я была не права. Эти шероховатости прозы придают ей ту достоверность, эмоциональность, которую всякая шлифовка уничтожила бы. Вот он и написал мне большое письмо о своей прозе.

Письмо твое к ногам упало,
И вырвано у смерти жало...

А на фотографии своей написал: «Ире, хозяйке моей судьбы». Нет, этот высокий сан принять я не могла.

Сначала он говорил: «Я не хочу быть тяжестью для тебя». А потом зависимость от меня возрастала и душевная, и физическая. Помощь была нужна не ежедневная, а ежедневная.

Мне снились сны, что он меня ищет, идет за мной какими-то темными переулками, а я убегаю. Ему тоже снился сон, что его сбила машина, а я отскочила. Но и во сне не усомнился он во мне.

Тяжело было его оставить и немислимо тяжело взять на себя его житейские проблемы, непосильно. Читаю письма конца 70-х, его попытки вернуть меня, в тетрадках его читаю стихи, посвященные мне и нашим свиданиям у аптеки. И слова: «хранил след твоей руки...» Да, даже в интернат он захватил «медведиков» — мной подаренных, забавное семейство из керамики, но, кажется, это были белки.

Действительно, он хранил лепестки пионов, которые я ему дарила, мои тапочки, волосы, оставшиеся на расческе. «Я все, все помню...»

Я не думала, что он любил меня так **глубоко**, я думала — поэзия заменит утрату, да еще если будет домработница — все будет хорошо.

Я-то была всем — и Беатриче, и поломойкой, и душевным другом, и целительницей... В Италии встречали меня поклонники В. Т. — «О Беатриче, Беатриче!..» В. Т. там называют Данте XX века.

Русская женщина, увы, не то что неземной образ, она все — сумки, уборы, душевное понимание, разговоры, дети, любовь, лечение и т. п. и т. п.

Начиная с 1968 года он заводит речь о замужестве. Сначала хотел, чтоб я просто ушла к нему, но я решительно не хотела оставить детей, а он говорил, что «трое — это ад». А уж пятеро!.. Потом был согласен и на троих детей, но это было невозможно — трое шумных ребятишек в комнате поэта. К тому же они любили своего отца, а он их — без меры.

И вот передо мной уцелевшие от аутодафе его и мои письма.

Первыми записками, сохранившимися у меня, были посвящение мне «Левого берега» и дарственная на тетради «Колымских рассказов». Я высоко оценивала его прозу, ее именно художественные достоинства, и В. Т. сказал, что хочет, чтобы лично я, а не ЦГАЛИ, была хранительницей его архива. Я сказала, что это невозможно; в моем доме совсем нет условий для хранения рукописей. Рукописи просто негде разместить, к тому же их могут сгрызть хомяки, морские свинки, и я решительно настояла, чтобы он согласился передать их в ЦГАЛИ — температурно-влажностный режим, недоступность для пыли и т. д.

Он спросил, какой сборник мне больше нравится, и я ответила — «Левый берег». Он и написал посвящение, которое публикуется теперь при изданиях его рассказов: «Ире — мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег».

Это все — начало 1966 г., весна, лето. В июне я уехала в Крым, под Алушту, с детьми и мужем, В. Т. не мог писать мне, но я ему написала три письма, за которые и получила «высший балл».

Алушта, 31.05.66

Дорогой Варлам Тихонович!

Как Ваше здоровье? Навестила ли Вас Туся?²

Впрочем, все равно Вы не сможете мне ответить: завтра мы откочевываем на новое место.

Сейчас мы находимся недалеко от Алушты, а движемся по направлению к Ялте. Господи, какая скука на курортах! Я не дождусь, когда мы доберемся до необитаемых мест.

Только раз, когда запрыгали у горизонта дельфины, я обрадовалась, словно увидела милых и знакомых существ. Вообще у меня такое чувство, что я когда-то была дельфином, и мне только надо выбрать скалу повыше и нырнуть поглубже, и я выплыву чудесным дельфином.

Я даже сочинила песню. Я всегда сочиняю для себя песни. Просто, когда одна, я становлюсь на камень и начинаю тихонько петь — сама приходит мелодия и слова. Конечно, для других, вероятно, мои песни не годятся, но мне они нравятся, вернее, не они, а то, что стоит мне припомнить какую-нибудь песню, как ко мне возвращается то же настроение или чувство, которое было когда-то. Впрочем, обычно я помню одну-две последних песни, а остальные забываю.

А сейчас стоит мне повернуться лицом к морю, как я слышу свою песню о том, что я — дельфин. И хорошо быть дельфином. И хорошо плавать в море. А когда-то давно я была человеком и ходила среди людей. Были у меня добрые и верные друзья. Но ведь они не были раньше дельфинами и не понимали дельфиньего языка, в котором нет слов, а только звуки. Хорошо, что я опять вернулась в море. И рядом со мною плывут дельфины, которые понимают мои неуловимые мысли, хотя я не говорю слов.

Ой, мне даже стыдно, что я это написала. Но Вы ведь понимаете язык дельфинов? Должно быть, все это нелепо, ну и пусть.

Эти мои нелепые «песни», должно быть, виноваты в том, что я не очень люблю поэзию. Мои чувства выражаются, как у дикаря, импровизацией, а не как следует цивилизованному человеку, — чужими прекрасными стихами.

И вообще немного книг, которые стали внутри меня, многие прошли только снаружи. И внутри — только

«Пармская обитель», несколько стихов Гейне и Блока и еще кое-что, что стало моей биографией, моей собственной жизнью.

И еще — всегда-всегда, я помню моего викинга. Всегда-всегда. Всего доброго! Не болейте, пусть Вам хорошо работается. *Ирина.*

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 07.06.66

Дорогой Варлам Тихонович!

Как Вам живется и работается? Надеюсь, что все хорошо.

Я совсем одичала и счастлива. В сущности, совсем немного надо для счастья: чтобы было тепло, чтобы была вкусная еда и чтобы было еще что-нибудь большое, что любишь, — человек, лес или море, или работа, как у Вас. А все остальное — от платьев до эстетики — это выдумки цивилизации.

Посмотрели бы Вы, как я выгляжу теперь! Мой «выходной» наряд состоит из шортов и кофты, не обнаруживающих даже отдаленного знакомства с утюгом. К нему очень идут мои полукеды, которые выглядят так, словно в них совершили кругосветное путешествие.

О будничном наряде и говорить нечего.

Живем мы в лесу на берегу моря. Очень много здесь всяких тварей: птиц — соловьев, щеглов, синиц; ежей, ящериц. Только желтопузики своим сходством со змеями меня немножко пугают. А они, противные, еще отличаются общительным характером.

Ничего не читаю — ни газет, ни книг, не веду никаких бесед — ни умных, ни заумных, но мне не скучно.

Все время смотрю, слушаю, дышу, трогаю море.

Я хотела бы всегда жить у моря.

Странно? У меня всегда было словно два слоя жизни — первый видимый, состоящий из реальных событий, людей, отношений, а второй — выдуманный, который всегда был, но иногда мне казалось, что он не нужен, что это даже некоторое предательство по отношению к первому.

Но сейчас первый совсем пропал, провалился, исчез, я совсем не чувствую себя человеком этого первого мира реальных вещей. А второй стал единственным. Должно быть, благодаря этому второму я и осталась в сущности

такой же, какой была в 16 лет. Конечно, это нелепо, я очень долго старалась придушить в себе весь этот фантастический мир, но он жил, хотя я этого не хотела.

Но теперь я рада, что не смогла уничтожить его. Он принес мне большее счастье, чем все реальные, хорошие события.

Прошло всего несколько дней, а мне кажется целая вечность прошла с тех пор, как я уехала из Москвы. Даже невероятно, что когда-нибудь я вернусь. Настолько сейчас я живу естественно, так, как мне нужно жить, что кажется глупейшей выдумкой возвращение к большим домам, платьям, архиву, скучным людям. Конечно, к Вам это не относится. Вы похожи на море.

До свидания!

Ира.

P.S. Все это пустяки, что я написала прежде, а главное вот что: здесь неподалеку есть каменная осыпь. И между огромных серых глыб там живут красные маки. И если смотреть сверху, то море у берега прозрачное-прозрачное-прозрачное, а вдали голубое. Я люблю приходить на это место. Там никого нет, и я думаю, что здесь хорошо жить, что здесь естественно утром ходить за холодной водой и неестественно читать «Литературку» (принес внимательный супруг), где какой-то недомыслящий учит, как писать рецензии на стихи. Как будто они вообще нужны — рецензии! Каждый большой поэт — это целый особый мир, и то, что вы любите говорить о Пушкине, применимо к любому. Если тебе этот мир хоть немного близок — ты полюбишь эти стихи и поймешь, а если нет, то этому горю не помогут рецензии.

Вы говорили как-то о взаимной нетерпимости талантов. Это верно, как мне кажется, в том случае, если таланта больше в человеке, чем ума, как у гения. А ведь бывает и наоборот? И тогда вероятно, можно понять, что другой поэт видит мир иначе, и простить это.

Я говорю, конечно, о талантах, а не о литературной публике. Не люблю я эту комариную толчею. И рада, что Вы не имеете к ней никакого отношения.

Союз — не Союз, карьера — все это такие пустяки для настоящего писателя. Все это смешно! Как звучало бы — Союз пророков. Каждый творит в одиночку, и один отвечает за все, что написал.

Ну вот, я увлеклась, письмо кажется бесконечным, но я надеюсь, что Вы дочитаете его.

А вообще нетерпимость нужна только к себе самому — нужно твердо знать, что тебе нужно и чего не надо, и не быть всеядным. А другие — ведь они другие. Каждый живет в меру своих сил и масштаба. Ведь есть же люди-орлы и люди-мыши. Нельзя, чтоб все были орлами.

Мне кажется, что Вы нетерпимы к людям. Или не так? Но Вам лучше знать, каким Вам быть. Я терпима к людям, отчасти просто из-за равнодушия, но доброжелательного равнодушия. Очень к немногим я отношусь как-то ярко — люблю или не люблю.

Ну, я совсем зафилософствовалась.

Сегодня мы опять уходим. Мне жаль камни и маки. Когда я с ними, мне все кажется, что я знаю что-то самое главное. А потом обнаруживается, что ничего не знаю.

Поднялся ветер. А недавно был штормик, было прохладно и ясно, и линия горизонта была в зазубринках, как пила. Я впервые заметила это.

Всего Вам доброго! Самого доброго.

Ирина.

Пришла я к В. Т. после отпуска, и он неожиданно встретил меня такими словами, что я растерялась. Стали мы встречаться регулярно, потом вернулась с дачи Ольга Сергеевна, с которой он был разведен, но поневоле жил в одной квартире.

Опасаясь ее любознательности, мы переговаривались записками, для вида листая книги. Мне как-то неудобна была эта конспирация, и я написала что-то в том роде, что не хочу осложнять ему жизнь. Ответная его уцелевшая записка сохранилась.

В 1967 г. мы опять уехали в Крым, расположившись около турбазы Карабах, рядом был каменный застывший поток Биюк-Ламбата, цвели маки, полберега Крыма — на горизонте Судак, крепость — открывались глазу. Так было блаженно, так просторно, беспредельно...

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

<1966 г.>

Ире — эти скромные школьные тетради с «Колымскими рассказами»³. Надо только знать, что я пишу об этом подземном мире не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл — о море. Тема же лагерная — это такая

тема, где встанут рядом и им не будет тесно— сто таких писателей, как Лев Толстой.

В. Шаламов.

Записка В.Т. Шаламова

<Осень 1966 г.>

Спасибо тебе за это письмо, за все. Тут дело не в том, что ты меня от кого-то отнимаешь, а совсем-совсем в другом.

Ты не должна думать, что я приношу какую-то жертву — я делаю так, как умею, как сердце мне подсказывает, и не хочу быть тяжестью для тебя.

Ты даешь мне ту жизнь, то понимание моих задач и моего маленького дела в жизни, которого не было ни у кого из моих друзей.

Для всех я был предметом торга, спекуляции, реже интереса, и только в случае Н.Я. — глубокого сочувствия.

Я очень долго проболел из-за каприза О.С., из-за того, что просквозило во время...

Я знаю очень хорошо многих знакомых моих, все они не стоят твоего пальца, ни по серьезности чувств, <ни> по уму, ни по верности суждений.

Мне кажется, что встречаться раз в неделю не часто — и я люблю тебя.

О.С. ничего, конечно, мне не говорила о разговоре с Наташей. Да и странно бы было. Ведь мы разведены. Все будет так, как хочешь ты: для меня же ты — лучше всех на свете, нужнее всех на свете и почему я должен отказываться от своего счастья — первого, может быть, в жизни, в его искренности, подлинности...

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

Ире — мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег». С любовью. *В. Шаламов.*
Март, 1967, Москва.

И.П. Сиротинская — В.Т. Шаламову

Алушта, 06.67

Дорогой Варлам Тихонович!

Выполняю свое обещание — написать Вам о своем крымском житии.

Все прекрасно, но что-то не так. Я хожу, узнаю камни, кусты, деревья, но какой-то полноты ощущения не хватает. Вероятно, никогда не надо возвращаться в те места, где было очень хорошо. Сейчас смотрю (я сижу у огромного, торчащего, как палец, камня) в просвет между кустами и камнем — там море, голубое, любимое, но во всем этом — воспоминание о прошлом лете, когда я была так чрезмерно счастлива, словно передо мной распахнулось такое же огромное голубое будущее. Теперь это предчувствие будущего исчезло.

Что будущее — всего лишь повторение настоящего и прошлого. Но все равно прекрасно. По камню ползет зеленая ящерица. В расщелинах растет трава. Цветут шиповник и маки. И море все в мелких складочках маленьких волн.

Наверное, не надо ничего ждать в жизни — необыкновенного события, не надо жить в вечной готовности к счастью. Все это так не ново, что даже скучно. Это остатки цивилизации. Скоро я загорю, меня закачает море, я одичаю и буду жить в счастливом блаженном отупении. Как пахнет море! Сказкой, кораблем, водорослями, дальними путешествиями. Сегодня набрала в рот соленой воды, а потом облизала губы — они соленые. Так замечательно. А дельфинов не видно.

Нет, я права — надо жить просто: есть, пить, сидеть у моря, кормить детей, стирать носки. Не знаю, зачем человеку размышление. Растут же просто так деревья, и море живет, не размышляя, и камни.

Вам тоже надо отдыхать от Москвы. Это такое раздражающее убожество — автомобили, трамваи, много домов.

Кто это хотел заново родиться деревом? Я тоже не хотела бы быть человеком, а деревом или камнем у моря.

Сколько какого-то жалкого, смешного, злого в человеческой жизни. И как мало доброй разумности, умения строить свою жизнь в соответствии с тем сознанием главного, которое должно бы быть в каждом человеке. Да все это я уж говорила, но это не мысль у меня, а чувство. Наверное, мысль тогда и приобретает ценность, когда становится чувством. И если не так — это лишь словоблудие.

А как Вы живете? Как пишется? Как здоровье?
Всего доброго. *Ирина П.*

Москва, 14 июня, 1967 г.

Дорогая Ира. Получил твое письмо и написал маленький ответ. И отослал. Письмо написано неуверенно — это потому, что ты еще не свыклась с новой и радостной природой крымской, еще не уверена, что будет тут у моря, на берегу моря, так же хорошо, как было прежде. В дальнейшем либо ты полюбишь Крым еще больше, либо море разонравится и не сможет победить, рассеять все дурное, все смуть, все ненужное, неважное.

Но скорее всего будет так, что море снова покажется своим, самым лучшим местом на свете (кусочком страны Бимини⁴) и тогда можно будет жить на берегу сколько угодно, не мечтая о возвращении к цивилизации.

Я мало жил у моря. Да моим символом вечного движения были большие реки — на берегу многих рек я жил, был. Реки для меня были силой и символом вечного, неуклонного движения вперед, учили победе, терпению, настойчивости.

Большая река идет с шумом таким, что заглушает человеческий голос, даже крик. Море я знаю. Потому, наверное, и не тянет так, как тянет в Серебряный Бор в жаркий день.

Сердечный привет. *В. Шаламов.*

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 06.67

С днем рождения, дорогой Варлам Тихонович!

Желаю Вам здоровья, всяческих удач, рабочего настроения, радостей маленьких и больших.

У меня все идет хорошо. Кажется, мы обосновались надолго после двух переездов. У моего милого супруга силушка по жилушкам переливается и требует исхода. И оттого уже три раза он предпринимает переезды, а это связано с титаническими усилиями, т. к. выравнивается место для палатки, натаскивается сено и т. д. Мне уж это надоело, и я сказала, что больше в переселение народов не играю. Но место у нас сейчас роскошное — в 15 метрах от моря с великолепным видом.

Я отдышалась от мирской суеты и наслаждаюсь жизнью. У меня есть возлюбленный — красивый камень с лысиной на затылке и зелеными кудрями вокруг нее,

но самую красу он прячет под водой — рыжие, роскошные усы. А море, а море! Слов нет рассказать, какое оно серебристо-голубое, прозрачайшее, и шум его я слышу и ночью из палатки.

Но дельфинов нет. Наверное, они не вернуться. Они чувствуют, что я уже не дельфин, и не зовут меня с собою. А может быть, я стану опять дельфином?

Но нет, не зря я отказалась от себя самой, торжественно похоронив свои дурацкие выдумки. Не зря же я загоняла их вглубь так упорно. Я не чувствую себя дельфином. Я чувствую всегда, что у меня две ноги, а хвоста-то ведь нет. Об этом я не забываю теперь. И песня придумалась совсем другая — про камень, на котором остался след высокого прилива, большой волны.

Может быть, самое драгоценное были эти иллюзии, но ведь не должны же они быть важны, если они иллюзии? Но море убедительно так шелестит мне, что все не важно. Что важно — солнце, небо, перистое облачко, тень куста, галька, камни и эта огромная соленая лужа. Оно, конечно, право, но мне так жаль дельфинов. У них темные спины. И как начнут они мелькать в волнах, мне весело.

Вот уж, поистине, эгоизм — в поздравительном письме так долго пережевывать все эти старые-престарые вещи.

Если захотите, можете написать мне — Крым, Алушта, турбаза «Карабах», мне (без до востребования).

Будьте здоровы и счастливы. Вместо букета — посылаю Вам лепестки мака с большой серой скалы.

С уважением *Ирина*.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Дорогая Ира. 18 июня 1967 г. Спасибо тебе за большое чудесное письмо ко дню рождения с лепестком мака. Единственное письмо сегодня. Рассказ о себе — это и не эгоизм совсем. Напротив — если тебе кажется, что мне важно знать о любом твоём дне, о любой твоей ночи — о всем, что окружает тебя повседневно — воздух — вода — земля и люди — ты и рассказываешь о себе. Тут нет ничего эгоистического. Рассказ твой о дельфинах, которые могут не явиться и о камне со следом высокой прошлогодней волны — очень хорош, очень лиричен. Я заметил, что хорошая лирика требует аллегоричности обязательной. А, может быть, это закон и

для прозы. Так что чем больше в твоих письмах будет «эгоистического» — своего — тем письма эти будут для меня дороже. Иногда разгадываю, почему ты пишешь фразу, как ты ее пишешь? Что ты в это время делала, что думала, хотела и так далее.

О море крымском ты пишешь очень хорошо. Я в Крыму не бывал, но мне кажется это море не похоже на Сухумское — недружелюбное и не очень прозрачное, не очень чистое. А может быть, все в море от неба, от земли. Я рад за тебя, что ты на камне, у моря. Нет, туда, где было хорошо, надо возвращаться. Трудно только найти на свете такие места. Кроме страны детства, да и та, наверное, обманывает нас. Был такой писатель — Юрий Олеша — плохой писатель, но способный переводчик с французского. Глубоко по всей природе таланта лишенный оригинальности и понимания, что для писателя своеобразие — все. Олеша очень любил семью, но в родной город не возвращался, хотя родители были живы (и даже пережили его). В дневниках он объяснил, что именно на родину он может приехать только с всемирной (не меньше) славой. Столичный успех (а он у Олеша был) не решал вопроса. А еще потому, что боялся умереть. Примета есть: люди перед смертью хотят побыть в родных местах.

А в Крыму, при встрече с Крымом, наверное, много зависит от погоды и так далее.

Второе письмо твое гораздо веселее первого. Я ответил письмом на почтамт Алушты. Крепко тебя целую и всю тебя помню. Пиши.

В. Шаламов.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 18/VI—67 г.

Я сегодня немножко нездорова и лежу в палатке.

Передо мною море синее-синее и немножко серое от облаков. И по морю летит «Ракета», и на носу у нее — два белых кудрявых уса. И сегодня я встала рано и сделала открытие. (Как полезно вставать раньше всех!) Солнце только высунулось из-за судакских гор, и на море легла красная, золотая полоска. И легла прямо к моим ногам. Я очень обрадовалась, что так удачно села — прямо у конца дорожки. А потом встала, пошла, а дорожка побежала за мной, как привязанная.

Я так обрадовалась: ведь выходило, что дорожка специально для меня, а не сама по себе. И я почувствовала свое значение на пустом берегу. Ведь если б не было меня, то и дорожку никто бы не сделал своими глазами. И я была так благодарна солнцу. Это было как подарок мне — роскошная золотая дорожка от моих ног к солнцу. Это для меня очень важно. Я никому не сказала об этом — что это важно. А Вам говорю — это будет моим подарком в Ваш день рождения. Вам обязательно надо приехать к морю и на восходе увидеть свою золотую дорожку.

Как Вы живете? Как пишете? Как книжка — вышла ли? Я уже загорела, одичала до того, что иногда целыми днями не причесываюсь, обленилась, забыла о домах, платьях (я даже не взяла с собой ни одного), каблуках. Словно сплю все время и вижу сны. Вот кричат чайки. Почему у них такой унылый крик? И жалобный. Словно не рыбу ищут в волнах, а кружат над утопающим. И облака похожи, то на спящего ребенка, то на испуганную женщину с разметавшимися волосами, то на льва. Вчера был ясный-ясный день — виден был совсем отчетливо весь берег Крыма до Керчи. И горы были контурные такие. А сегодня весь берег в белесоватой дымке. Через две недели мы уедем отсюда на Кавказ по морю, даже ведь через 10 дней уже! — 28 июня. Поедем в Анапу — Артему на июль дали путевку в лагерь. Оставим там Артема, а я поживу еще дней 10 с ребятами где-нибудь там. Наверное, в цивилизованном месте. Скучно, но что же делать.

Будьте здоровы и счастливы!

Ирина.

Я так сильно-сильно люблю море, что могу долго — целую вечность стоять на его берегу.

19/VI. Сегодня облачный день. И море — словно расплавленное олово. Ровное и тяжелое. Вчера вечером ходили гулять с Артемом (он любит гулять вдвоем). Навестили могилу академика Кеппена. Она в кипарисовой роще на берегу моря. Я даже не знаю, кто он. Там так тихо, сухо, пахнет морем и спокойно. Вчера была луна почти уже полная, желтая. Венера горела так голубо и ярко, что береговые огни казались желтыми и ручными. И Марс был виден. Мне долго не хотелось спать. И море не казалось страшным. И когда я первый раз сидела у моря ночью, мне казалось, что кто-то страшный, дикий притаился в темноте и сейчас меня слизнет.

Хорошо у моря — полное отсутствие желаний. Конечно, так и живут деревья — просто живут и радуются солнцу, и ничего не хотят. А когда дует ветер, они стараются покрепче держаться за землю, и все.

У них и позы такие — вцепились в землю своими корнями.

Только сны мне всегда снятся печальные, и часто я просыпаюсь — а на глазах слезы. Но днем все ночные страхи мне кажутся нелепыми. И я чувствую себя счастливой просто так — не от чего. Наверное, это нелепо — подходить к жизни с каким-то заранее придуманным требованием.

Может быть, надо принимать все так, как оно есть. И просто самой пытаться приспособиться. Но слишком сильна во мне — как назвать, даже не знаю, — необходимость, жажда? Что-то вот внутри, около сердца у бронхов живет такое, что тянет меня и мучит, и не дает жить потихоньку, уделив место — вот для долга, вот для любви, вот для удовольствия. Какая-то необходимость в одном большом, которое все поглотило бы остальное. Я знаю, как концентрируются все мои силы, когда вдруг появляется цель, которой они могли бы служить. Помните этот романсик?

Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега...

Как хорошо, что есть море, что оно такое огромное, нет предела для глаза. В конце концов это не важно — счастье или несчастье свое, как у Ходасевича⁵, да?

Только горе в том, что живет в тебе такое, что не хочет смириться, уменьшиться. Вот вспрыгну на камень, подниму руки, тянусь на цыпочках... Кажется, еще чуть-чуть, чуть — и я не стану, я растворюсь, улечу — так распрямляется во мне что-то, вечно сжатое в комочек, униженное и задавленное. И я чувствую, легкими чувствую свободу, радость, которые похожи на умение летать. Отчего? От глупости, должно быть.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

25 июня, 1967.

Дорогая Ира. Спасибо тебе за твое письмо, написанное в день моего рождения, спасибо за чудесный пода-

рок — морскую золотую дорожку, что бежала за тобой и которую ты даришь мне. Нет, я вряд ли соберусь к морю, хотя захотел остро своей золотой дорожки на восходе. Книжка моя вышла, она и к дню рождения успела, хотя это чистая случайность — издательство ведь не знает моего дня рождения. Эта книжка лучше прежних, но лучше за счет старых стихов десяти-, двадцатилетней давности, к тому же потерпевших всяческие сокращения, урезки. «Аввакум» и «Стихи в честь сосны» — сокращений предельных, а из «Атомной поэмы» напечатана одна тридцатая часть, только вступление («Хрустели кости у кустов...»). «Песня», наименее пострадавшая и то в 5, а не в 6 главе (нет «Я много лет дробил камень, не гневным ямбом, а кайлом!»). И три строфы сняты в конце этой маленькой поэмы. Так что большой радости книжка эта мне не доставила.

Это лучшие стихи сейчас в России, более того — единственные стихи, истинное искусство. Конечно, автору не следует быть самонадеянным, но это только для тебя, Ира.

Писать об этой книжке не будут — я ведь не вхожу ни в какие группы. В прошлом году я выступал на вечере Мандельштама. Выступал не потому, что я футболист, перешедший из команды «Динамо» в команду «Спартак», а потому, что Мандельштам — великий русский поэт, потому, что он умер на Колыме, а вовсе не потому, что я мандельштамист или пастернакист. Шестидесятилетие свое я, всю жизнь занимавшийся стихами и прозой, встречаю вот с каким итогом. Для того чтобы иметь литературный успех, известность, популярность, вовсе не нужно быть большим писателем. Нужно иметь банальную идею, выраженную самым примитивным банальным литературным способом, только это обеспечивает успех. Всякая же напряженная работа (над стихом, прозой — все равно), ведущая к созданию **новых** литературных форм, всякая сколько-нибудь сложная мысль, лежащая в теме, в идее, — никого не интересует. И не нужна читателю. Потому и Пастернак шел к упрощению, а правильнее опрощению своего стиха. Потому неизвестно, за какие писательские заслуги мы считаем классиком Гаршина — незначительного писателя, весьма прогрессивного, толстовского плана. Ну, письмо на этом кончаю — прошу простить за свой эгоизм. Вот мы и повидались. *В. Шаламов*

Алушта, 26.06.67

После 5 часов солнце заходит за гору, море становится синим. И над ним — чуть розоватые облака — округлые сверху и ровные снизу. Я такая счастливая, днем и ночью слышу шум моря и всегда вижу его. Дня четыре шли дожди. Мы с Артемом пошли в магазин, а на обратном пути нас застала гроза. Мы все сняли с себя и босиком, в купальниках бежали по дороге. А море было все рябенькое от дождя. А потом мы спрятались под кипарисом, у него ствол был теплый, и мы мыли под дождем клубнику и ели. А потом выглянуло солнце, и мы пошли домой.

Как красиво выглядит босая нога! Пальцы так держатся за землю, и идти весело. Навстречу нам (по грязи-то!) шли женщины в модных босоножках. Ведь некоторые приезжают сюда в нарядных туалетах. И мы чувствовали свое превосходство над этим скользящим и ахающим племенем.

Дети мои совсем одичали — уходят, куда хотят, то в горы, то по берегу — очень далеко. Загорели, осмелели. Я их не очень ругаю за отлучки — я понимаю прелесть свободы и самостоятельности. Вечно все в ранах от ушибов, в царапинах. У Алешки кожа облезла даже за ушами. Но каких они ловят крабов! Взрослые дяди сбегаются на них смотреть. Самый отчаянный краболов — Сашута, ему один краб до крови палец прокусил, но Саша сказал: «Не больно». Один раз Сашутик чуть не утонул. «Мне было с головкой, но я прыгал и допрыгал к берегу».

А какое море, какое море! И сквозь воду видны мохнатые огромные камни. Всю жизнь сидела бы у него. На самом горизонте белая точка — корабль. А на большом камне метрах в 200 от берега живут чайки. Сейчас он еще освещен солнцем, и чайки лежат на нем белыми пятнами. У них есть чаята. Леня и Артем хотели доплыть до него, но чайки так всполошились, что они вернулись, не стали их пугать.

Какая я глупая-глупая, что так много дней занималась всякими выдумками, теперь я живу с ощущением счастья. Проснусь — слышу, море шумит. Чайка пролетит совсем рядом. Какое у нее совершенное тело, какие прекрасные крылья! И я счастлива. И горы за Судаком видны отчетливо. Они сухие, безлесные. Пролетела ворона — какое убожество по сравнению с чайкой!

Ну, у меня совсем графомания — пишу все подряд. Получила ваше письмо — спасибо. Пишите мне пока на Анапу, до востребования, главпочтамт.

Всего Вам доброго. *Ира.*

А как красиво восходит солнце! Когда оно выглядывает из-за гор, горы совсем черные, а море у них — нежно-голубое, как небо. Что-то совсем невероятное.

А остальное море — сверкающее, серебро с голубым.

Сегодня так жарко, а море совсем спокойное. Я далеко заплыла на матрасе, вода внизу была голубой, под мной были камни, заросшие водорослями, рыбы. Я так долго качалась на волнишках, что даже голова заболела.

Мне очень стыдно, что я была такой эгоисткой, все думала о себе — это рецидив болезни «преувеличение собственной ценности». Мне просто стыдно, что я такая противная. Но я постараюсь быть хорошей.

Как Ваши успехи? Вы ничего не написали о своей работе, о книжке. Как Ваше здоровье?

Я так счастлива! Просто бес-ко-неч-но! Кажется, упаду в море и стану голубой водой. И во мне будут плавать белые медузы и окуньки с голубой стрелкой, и зеленушки.

Ира.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

3 июля, 1967 г.

Ире, победительнице хаоса, викингу и дельфину — все сразу. Так и вижу тебя под дождем, как ты бежишь с берега вместе со своими малышами, а я гляжу на тебя из-за кромки дождя. Кеппен — пришлось открыть энциклопедию, прежде чем вспомнить, да не вспомнить, узнать. Оказывается, было два великих Кеппена. Старший этнограф (он-то и похоронен в Алуште в 1864-м) и сын-метеоролог, умерший где-то в Германии (впрочем, насчет Германии я не уверен). Крупные люди науки стараются умереть не в Москве, не в Петербурге, не в столице. Столица только подтверждала победу, а доживали — в провинции. Впрочем, у Кеппена, возможно, был туберкулез, вот почему он умер в Крыму.

Только что я написал и отослал письмо в Анапу, на почтамт, как получил открытку, что Анапа отменяется. Ну, все равно письмо было хорошее о стране Бимини, оказавшейся в Алуште, в Крыму.

Буду ждать твоего возвращения.

В.

В 1967 г. он завершил свой сборник «Воскрешение лиственницы» и в своей толстой тетради написал посвящение мне, опубликованное теперь, я, правда, исключила из посвящения слова: «она является ее (книги) автором, вместе со мной». Это, конечно, безбожное преувеличение.

Письма 1968 года свободнее — у В. Т. появилась своя комната, и можно было писать, не опасаясь, что письмо попадет в другие руки. Июнь 1968 г. был высшим пиком нашей близости, мы встречались ежедневно, В. Т. готовил ужин, по воскресеньям и субботам ходили купаться в Серебряный Бор. Как-то очень привыкли друг к другу. И вдруг! Все оборвалось, я уехала в Крым, меня с восторгом встретили муж и дети, настоящая реальность, настоящая семья. А с В. Т. — не выдумка ли моя?

В 1969 году В. Т. на выставке Матисса испытал приступ стенокардии («Как на выставке Матисса/ Я когда-нибудь умру»). И тут, как видно, он задумался о судьбе своего наследия, прежде всего литературного. Из собственного ему суеверия он никогда не обсуждал этот вопрос со мной. О смерти мы не говорили. Лишь перед отъездом в интернат для престарелых и инвалидов он передал мне остальной архив и конвертик с надписью: «Экстренно, после моей смерти». В конвертике я обнаружила черновики завещания и письмо мне, а в 1-й нотариальной конторе — само завещание. Потом, по истечении срока, я оформила свидетельство о наследовании авторского права по завещанию.

Странно, но в эти же дни я видела сон: кладбище, глинистые какие-то дорожки, на склонах холма кособочатся мраморные бюсты, лают и прыгают собаки, а я что-то ищу, ищу и не могу найти. А сторож где-то в темноте кричит: «Закрываю!» И я не могу найти то, что ищу.

А ведь все еще были живы — В. Т., мама, папа. Еще годы я не знала утрат, и мир был еще тот, где все живы, все есть. Это был мир живых, любимых, мир счастья, моря, зеленой травы, чистой, холодной речки.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

<Лето, 1968 г.>

И хочется всю книгу жизни перелистать...

Последняя моя книга «Воскрешение лиственницы» посвящается Ирине Павловне С.

Она — автор этой книги вместе со мной. Без нее не было бы этой книги.

8 июля, 1968 г.

Дорогая Ира, получил телеграмму вечером сегодня, а днем симферопольскую открытку. Верю, что будет все хорошо, месяц пройдет быстро. Крепко тебя целую, желаю хорошо отдохнуть. Со страхом думаю о палатках, которые тебе придется тащить при обратном отъезде. В Серебряный Бор я почему-то больше не ездил, хотя духота и грозы, и даже написал стишок об этих грозах и о своем дне рождения. Но завтра, если будет жара, поеду в Серебряный Бор. Стишок не посылаю, он вчерне и требует шлифовки.

Как твои ребята. Напиши обязательно про всех, о каждом особо, очень интересно, как их ты там встретила.

Вологодские письма, на которые я не успел ответить, для меня по-особому важны. Особенно потому, что в Вологде побывала ты таким удивительным образом⁶. Я думал, город давно забыт и встречи со старыми знакомыми — вологодскими энтузиастами, проживающими на Беговой улице — никаких эмоций — ни подспудных, ни открытых — у меня не вызывали, после смерти матери все было кончено, крест был поставлен на городе, несмотря на энергичные действия Союза писателей Вологды и первого секретаря обкома по зачислению меня в «земляки». Все это скорее раздражало, если не отталкивало. А вот теперь, после твоей поездки, какие-то теплые течения где-то глубоко внутри. Я Вологду помню, но не очень люблю. Удивительно здорово, что ты видела дом, где жил первые 15 лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом на лестнице, просто сказка. Белоозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у собора прожил пятнадцать лет. Деревя там не было (с фасада дома) никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — было во дворе сзади дома. Целую. Пиши.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 10 июля, 1968 г.

Спасибо тебе за листок в твоём бюваре⁷, за твою сердечность, разумность, за всегдашнее желание сде-

лать мне что-то теплое и хорошее. Да, бювар. Или это не бювар, а называется как-нибудь иначе. В 1956 году я был в Клину, в музее Чайковского проездом из Туркменской ссылки к сомнительному моему московскому будущему. Я сомневался в нем и тогда. Но не боялся. Все должно было как-то образоваться. Так вот, в каком-то разрыве поездных расписаний я попал в клинский музей, в дом Чайковского, прошел по комнатам вместе с экскурсией. Тогда я слышал получше, и все, что экскурсовод говорил, услышал. Экскурсовод был молодой парень, племянник не то Чайковского, не то Давыдова, родственник Чайковского, очень эрудированный мальчик, умело отводящий любопытство школьников (экскурсантами были школьники 9—10 класса, человек тридцать), касающееся Н.Ф. фон Мекк и пресловутого Алексея, слуги Чайковского.

«Вот тут стол, где Чайковский писал, сочинял музыку, а вот рояль, который Чайковский никогда не открывал. Рояль стоял на всякий случай, если понадобится проверка написанного. А вот стол, где Чайковский писал письма — он, мои друзья, за свою недолгую жизнь написал пять тысяч писем. А вот это бювар Чайковского, — экскурсовод приподнял папку с промокательной бумагой. — Видите на бюваре остался след <пера> Петра Ильича», — экскурсовод по глазам слушателей уловил какую-то свою ошибку, нарушившую связь со слушателем, быстро эту ошибку исправил. Экскурсовод поднял папку с промокашкой над головой и повысил голос.

— Вот это называется бювар...

— Бю-ю-ва-ар, — восхищенно вздохнули школьники, обогашенные книжным сведением.

— Портрет Надежды Федоровны фон Мекк — вот этот, — он протянул указку к небольшому портрету, — здесь никогда, при Чайковском не висел, но мы, — голос экскурсовода стал строгим, — сочли необходимым напомнить почитателям Чайковского, кое о чем. Поняли?

— Поняли, — сказал клинский школьник.

Вот моя история со словом «бювар». Спасибо тебе, моя милая, за те строчки, которые ты оставила в своем бюваре. О Пиросманишвили⁸. Конечно, это искусственная репутация — особенно если помнить, что мы с тобой посмотрели большую, тщательно продуманную выставку, организованную покровителями художника. Одна-две картины из этой коллекции внушили бы наверняка мысли о том, что где-то рядом находится значительное

и надо искать, смотреть, а когда собрали все вместе, видно, что искать большое искусство нечего, что этот примитивист такого рода, который может дать толчок большому искусству (вроде Шагала). Нужно иное обобщение, иная высота и глубина.

Да и в части красочности, колорита — все работы Пиросманишвили не более удачных находок, а не художественных откровений. Поиск художественной истины тут слишком неглубок.

Его открыватели — Зданевич⁹, Ильин¹⁰ — это один из «вещистов» — русский соратник Эренбурга (кажется), футурист первого призыва (вроде Петникова¹¹), все родственники, кажется, известного народника Зданевича¹² (процесс 50??). Но я могу ошибаться.

Еще хочу написать тебе о Вологде, как это необыкновенно, что ты там побывала и почему.

Еще хочу повторить тебе, что мы с тобой очень похожи друг на друга — и крепко поцеловать тебя.

Погода здесь резко похолодала, тучи, холодные ливни, и поездки в Серебряный Бор я отменил. Пойду на «Фантомаса». «Фантомас» новый идет в кино, где год тому назад я бы и афиши не читал об этом кино. А сейчас еду с удовольствием. Это кино — «Ленинград»¹³.

Крепко целую. Перелистав календарь, убедился в чуде. Неделя уже прошла.

В. Шаламов.

Для первого письма у меня не было конвертов «авиа» — но сейчас я купил целую пачку.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 12 июля, 1968 г.

Дорогая Ира. Только что принесли твое первое письмо из Нового Света, со штампом 8 июля — да еще наше почтовое отделение задержало — а в норме будут ходить авиаписьма — два-три дня. Раз уж ты в Крыму, то такой срок для писем — приемлемый вариант, хотя лучше не было бы Крыма, а был один Серебряный Бор. Да, и у меня июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни. Крепко тебя целую, люблю. Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники — «скажи мне кудесник, любимец богов», то я желал бы себе будущего в нашем только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня.

Радостно мне было читать, как ты и ребята твои прыгают по крымским скалам. Я ведь никогда в Крыму не был, а Кавказ, то есть Сухум, не вполне понравился мне и на этот мол меня никогда не тянуло. Влажность воздуха, что ли, сырые берега — тому причина, не знаю. Я вырос на реке и многое в речной жизни знаю такого, о чем бы стоило написать. Рек я повидал много и всегда в их движении, мощном и настойчивом — чудится мне какая-то вечная нравственная сила, вечная моральная формула, пример поведения. Я бы не мог написать пастернаковского моря — хотя и видел Черное в Сухуме, Балтийское в Ленинграде, Охотское близ Олы и под Магаданом. Море под Магаданом — часть берега, часть нашей береговой жизни, больше похожее на северное болото, чем на море. В тридцать седьмом году я проработал с лопатой около моря несколько дней — все время было ощущение чего-то недоброго, недружелюбного, чуждого людям, а в пятьдесят первом в бухте Веселой и на Ольском рейде — я в несколько дней обернулся у Магадана — меня не взяли на фельдшерскую работу на о. Сиглан в Эвенкском национальном округе из-за анкетных данных и мне пришлось возвращаться в Магадан — прыгать в море с борта «Кавасаки», ибо пьяный механик вышел из Олы позже расчетного времени, отлив уже кончался, и все пассажиры, не смущаясь надвигающимися волнами, прыгали прямо в темное море и вплавь достигали берега. Я тоже плыл со своим чемоданом, сушился после в бухте Веселой у своего знакомого Яроцкого, который сейчас живет в Кишиневе. Вот это-то море Охотское — мутное, злое, гремящее где-то за спиной, издали — мне и разонравилось навеки. К тому же была осень, хотя и не холодно, но я знал, что мороз может ударить вот-вот — и все потемнеет, закончит надолго какую-то главу из моей жизни. Ведь главы жизни на Севере пишутся по метеорологическим, климатическим законам внешней силой, управляющей любой человеческой повестью — зима, лето, весна, очень короткая осень (порог).

Черное море у сестры Гали я видел позднее, но не получил удовольствия от встреч с ним. Мое стихотворение «Море» — надуманное, литературное. В очередной «Литературке» меня похвалили, как лучшие стихи в первой половине 1968 года (Лесневский). Это очень грамотный критик, который очень хорошо понимает, что стихи без звукового прищелкивания не появляются, не

бывают настоящими. «Литгазета» («Юность») делает вторичную попытку привлечь внимание к моему имени. Год назад публикация одновременно с Твардовским должна была читателям доказать, как далеко моя поэзия ушла от стихов редактора «Нового мира», но по тем временам — ни один критик не посмел указать на это, и два критика, друзья, решили похвалить лучше редактора «Нового мира», хотя там и сравнивать нечего было.

На сей раз, не имея надежды на искренность и независимость суждений уважаемых критиков-ортодоксов, организаторы анкеты берут перо в свои руки. Вот пока и все. Жду твоих писем, люблю. Скорее бы проходил этот чертов июль.

В.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 12 июля, 1968 г.

Отправив одно письмо, принимаюсь за другое — все не хочется отпустить тебя от разговора. Умер Яшин. Он числился по ведомству генерала Епанчина-Твардовского в министерстве социальную признания, но вошел в историю литературы послесталинского общества — знаменитым рассказом «Рычаги» — опубликованным «Литературной Москвой» — и представлявшим Знамя Дудинцевской школы. «Рычагов» Яшину никогда черносотенцы не простили, а для самого Яшина этот рассказ послужил рычагом, который сдвинул его в прогрессисты и дал ему возможность дожить, чувствуя себя порядочным человеком, хотя стихов о Сталине Яшиным написано немало. «Рычаги» же — лубок самой чистой пробы, даже более чем лубок. Таланта прозаика у Яшина было немного.

«Вологодские свадьбы» тоже подверглись погрому по причинам вовсе не литературным. Стихи же яшинские (вроде «Спешите делать добрые дела») и вовсе убоги. Хотя Яшин человек не бездарный. Его выучили, к сожалению, на некрасовской поэтике, и эту-то поэтику он и не умел, да, наверное, и не хотел преодолеть.

Зачем я так долго о Яшине? А вот зачем. Человек он был неплохой и притом мой земляк, вологжанин. Правда, он не из города, а из глубинки вологодской. Эта-то глубинка плюс некрасовская поэтика и свела на нет поэтические данные. Я же, если и вологжанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с

большим миром, со столичной борьбой. Ибо есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной русской интеллигенции, эти культурные слои переплетаются с освободительной борьбой до русской революции очень тесно. Но ни Лопатин, ни Бердяев, ни Ремизов, ни Савинков не являются представителями Вологды иконно-провинциальной, северных косторезов и кружевниц-мастериц. Это — душа Вологды, ее традиции в течение многих столетий. Твой рассказ об архиеерее Вологодском, который управляет ныне <реставраторским> хозяйством, очень показательный. Как ни наивна эта вологодская гордость — исток ее в душе города.

Вот это и есть то самое главное о Вологде, что я так хотел сказать, радуясь, что ты там побывала.

Целую. Пиши. *В. Шаламов.*

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Крым, Судак, 9.7.68

А тут мы ходили! На самом деле здесь, конечно, лучше, чем у этого живописца. Я потихоньку примиряюсь с Крымом, и после того, как все дела обрели ритм и очередность, я увидела, что места здесь неожиданно хороши.

Целую. Жду писем.

И.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 13 июля, 1968 г.

Дорогая Ира.

Получил сегодня утром твое письмо от 10—VII, вместе с открыткой от 9-го с «Генуэзской крепостью». Почта — учреждение, которое не любит спешить, несмотря на всякую электронику и прочее. Сам пишу четвертое письмо после получения телеграммы с адресом. В письме есть неожиданная тревожная нотка: «Слишком резко все переменялось, я словно проснулась. Вообще в нашем счастье, в нашей любви слишком много от воображения». Я этого вовсе не считаю, но сердце даже засосало, и я объяснил себе твое состояние тем, что ты еще не получила ни одного моего письма, хотя пора бы почте вести себя с большим сочувствием к нам. Конечно, для меня — не изменилась география, были твои письма с

дороги — это все облегчает, и много раз радовался твоей любви. Мне совсем не кажется, что она — от воображения, но, конечно, я могу судить только о себе. Чтобы тебя развлечь, посылаю свое июньское стихотворение:

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты — рядом
Лучше, когда — всерьез.
С Тютчевым в день рождения,
С Тютчевым и с тобой.
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.
Нынче прошу прощенья,
В послегрозовый свет
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет
Дикое ослепленье
Солнечной правоты,
Мненья или сомненья —
Все это тоже ты.

Горы — хорошая штука, только они должны быть очищены от всяких болот, от багрового мха — словом, быть в Крыму. Я понимаю, почему Грин держался Крыма, уклоняясь от Кавказа.

Берегу себя настолько, что даже советы твои, как ты видишь, записал в стихотворной форме.

Я бы хотел быть с тобой в Крыму, подниматься по той горе, что ты нарисовала. А разве есть в Крыму сосны? Крым есть Крым, и море есть море. Конечно, всякие хозяйственные хлопоты сократят у тебя встречу с морем. И все же.

Здесь — вскоре после твоего отъезда — холод, дождь, северный ветер (хотя, кажется, северный ветер не самый холодный в Москве — (без всяких аллегорий). На улицу не выйдешь без пиджака — одной болоньи мало.

Желаю тебе всякого, всякого добра, отдыха хорошего, желаю тебе Крыма и моря.

Целую. Жду писем.

В.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Дорогая Ира.

Третий день нет писем твоих, писем-приветов. Почему бы? Прошло уже десять дней после твоего ответа.

Я ничего не пишу — резкое похолодание, что ли, мешает. Накупил разных брошюрок — в своем всегдашнем стиле — читаю. Стиль такой чтения я не хвалю, но для меня — это единственная возможность. Чтение мое в жизни было крайне беспорядочным — с огромным чутьем не десятилетним периодом полного отлучения от книги. Потом если я приближался к библиотеке, к любому книжному складу, собранию, просто груде разных книг — я читал все подряд — если была возможность, не отбирая лучшего — все было лучшее — и железно-дорожный справочник, и Кант. Я читал все, что пойму, усвою, а также все, что не пойму и не усвою — вместе — всегда без всякой системы. Очень быстро. Все, что понравилось, заинтересовало — перечитывал еще раз и еще раз — тоже без намерения запомнить, ничего не уча наизусть. Никогда никаких своих стихов в лагере я запомнить не пытался и не знаю, как можно это делать.

Мне казалось, что стихи легче заучить чужие — ведь в своих — десятки, тысячи вариантов, которые всегда отвлекают — а в чужих выбора, сомнения нет — там один вариант. Есть еще феномен неполного запоминания чужих стихов. Частые ошибки в цитировании (это буквально у всех авторов, которые не пользуются книжной полкой для последней проверки, а надеются на память). Память почти всегда подводит, и вот тут, мне кажется, дело в особенностях психологии автора мемуаров. Беру близкий пример. Паустовский с его цитированием чужих стихов. Просто Паустовский не та фигура, которая может быть включена в исследование психологии творчества, но искать другие имена не хочу. Паустовский хвалит Блока — «Сотри случайные черты. И ты увидишь жизнь прекрасна». У Блока таких слов нет. У Блока: «Сотри случайные черты / И ты увидишь — мир прекрасен». Прекрасен, т. е. может быть предметом прекрасного, т. е. искусства. О жизни тут и речи нет, тут смысл совсем другой. Но уровень Паустовского не позволяет подняться далее «жизни» — примеров искажения цитирования стихов очень много. И тут дело в том, очевидно, что автор ни на какое другое восприятие фразы другого автора не согласен. Ты не сердись, что я увлекся литературными примерами, как Флобер. Это потому, что я ждал твоего письма сегодня утром, а письмо не пришло.

Крепко целую, желаю, желаю...

В. Шаламов.

Москва, 15 июля, 1968 г.

Москва, 17 июля, 1968 г.

Дорогая Ира. Получил сейчас твое письмо от 12-го июля и немедленно отвечаю. «Два-три дня. По авиапочте» — ты пишешь. Это не совсем так. Три-четыре, а то и пять, как последнее, нынешнее. Это меня немного утешает, вселяет надежды, как говорится. Первое мое письмо было послано в день получения телеграммы, т. к. 8-го вечером или 9-го утром могли вынуть из ящика. Послал я горяча в простом конверте, не для авиапочты. Все остальные — по авиа.

Нынешнее письмо должно было начинаться: «Первый день нет писем, но я решил не писать с вечера, а дожидаться утренней почты — письмо пришло. Письмо очень важное для меня, и я охотно на него отвечаю».

Не знаю, ближе ли я к истинным ценностям, чем другие. Вряд ли. На свете тысячи правд, и главный вывод моей жизни — для себя и для других — что никто никого не имеет права учить. Всякий моральный совет порочен. Поэтому мнение мое — это только мое мнение, не обязательное для кого-либо другого, тем более для такого характера, как твой, — глубокого, самоотверженного, сильного самой важной в жизни силой, не различающей деяния и слова, и всегда готовой подтвердить их единство. Где добро, которому может служить такой характер, как твой? Я горжусь тобой, горжусь нашей любовью. Что касается плена и то, что утрачено ожидание благ от внешнего мира, думаю, что все — внутри тебя самой. И некая экспансивность, которая тебя отличает и отличает самым положительным образом, экспансивность, которая торопит жизнь, держит ее под уздцы или хлещет хворостиной или кнутом просто потому, что ты себе больше доверяешь, чем морю, и больше веришь в себя, чем в море. Я хотел бы быть с тобой, когда тебе плохо, но не знаю, помогу ли. Последняя надежда утрачена. Последняя надежда вдруг оказывается вовсе не последней, крепость, мужество, оказываются безграничны. Мне нужна и твоя верность, и твоя любовь — еще бы? Хотя я и не разделяю твоего мнения насчет честолюбия, гордости, развлеченности и привычек. Меня огорчает лишь то, что я могу тебе дать безгранично меньше, чем даешь ты, — в жизни моей осталось немного того, что ты называла истинными ценностями.

Ну, до следующего письма, моя милая. Я виделся с художниками, что живут на Беговой, и получил в подарок лапти и поставил их вместе с туеском, который ты привезла из Вологды.

Год активного солнца. Чем он грозит нам? А Серебряному Бору? А Крыму? Да здравствуют «Геркулесовы столпы», «Ты не спеши меня забыть...» Целую.

В. Шаламов

В Крыму издали книгу стихов Григория Петникова, одного из родоначальников раннего футуризма. Книга называется «Утренний свет». Нельзя ли купить, если увидишь, но, разумеется, минуты твои отдыха крымского на поездку в Судак тратить не надо.

В.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Дорогой мой! Получила твое письмо-ответ на мое меланхолическое послание. Это все второе мое состояние — внутри себя самой. А первое — это вовне, когда меня нет, а есть море, горы, люди, которых я люблю. И нет внутри меня ничего, что было бы мне дороже. Плохо, что между ними нет промежуточных стадий. Но знаешь, мне думается, что и то, и другое всегда есть во мне. Только сверху что-нибудь одно. А вообще, это не важно. А важно, что мы сегодня слазили на Сокол. О, милый, я чуть не умерла от страха!

Лезли мы, лезли (его высота, говорят, 497 м), все шло обычно, долезли почти до вершины. Есть туда тропа, по которой можно влезть без особых хлопот, а ветер прямо свистит, сейчас сшибет! Алешку, конечно. Я с собой захватила для него шерстяную кофточку. И вот Алешка лезет прямо по скале, не по тропе на вершину, а он покашливает. Я кричу: «Вернись, оденься». Он лезет. Я от злости на четвереньках мигом взлетела на скалу, одела ему кофту. Глянула!.. О боже, у меня коленки затряслись — подо мной 20 метров почти отвесной скалы, а с другой стороны и совсем обрыв к морю. Ты знаешь, как я боюсь высоты. Ну и лицо у меня было, наверное. Смотрю — Алешка глядит на меня удивленно. А я села от страха — не могу стоять. Вот так было:

(Рисунок)

Говорю Алеше так весело: «Ну, что ж, давай слезать». Алешка выждал, пока ветер немножко стих и раз-два-три, быстро слез.

А я сижу и не могу пошевелиться. Потом думаю — чего боюсь, хуже смерти ничего не будет. И легла совсем на камни, и стала спускаться по маленьким выступам, не глядя вниз. И сползла! И прежде чем сползать, я выскоблила на скале твое имя. Мне все время казалось, что ты со мной. Ты шел и подавал мне руку, где круто. Я очень хорошо представила тебя мальчиком — в Вологде. А теперь ты был лет 25—26, а мне и совсем было 17 лет. Ах, милый, какой ты был сегодня красивый! Загорелый, голубоглазый, бесстрашный! Мне кажется, что я всегда была с тобой. Неужели ты прожил без меня 58 лет? Посылаю тебе иголку от сосны с Сокола, где мы с тобой были.

А по дороге обратно Артем нашел кукушонка. Теперь воспитываем. Ребята ловят ему кузнечиков, а он ест.

Целую тебя, милый, будь здоров и весел.

Ира.

Наверное, это письмо запоздает — на почте выходной.

Числа 23 поеду в Судак заказывать такси, посмотрю Петникова.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Мой дорогой, милый, любимый!

Предвкушаю, как я пойду сегодня на почту и получу твое письмо. Признаюсь, что я считала твое обещание писать каждый день просто милым преувеличением, но теперь я вижу, что такой способ и, пожалуй, единственно правильный.

А сегодня мы ходили купаться и ловить рыбу на камни, не на этот дурацкий пляж с тентами. Опять я сидела на камне и думала, что я неблагодарная, что ведь вот это Крым — серые камни, рыжие водоросли, синее море, воздух, пахнувший йодом и хвоей, горячий ветер. Я даже перепела потихоньку все свои крымские песни, и даже спела новую. И мои дети мне внушили чувство гордости — такое редкое, за них: три прелестных шоколадных Маугли, так ловко они скачут по камням, с таким азартом ловят крабов, так красиво плавают. Я подумала, что эти красивые существа я произвела на свет, я показала им и камни, и море, и крабов. И это совсем неплохое дело — пока! А может быть, они будут порядочными, добрыми и смелыми людьми. Тогда я сделала очень много для людей. И они так гармонично выгляде-

ли среди камней, как ящерицы — тонкие, юркие, смуглые, голые. Не какие-нибудь раскормленные нытики, в пижонских трусиках. Мне нравится в Крыму и эта сухая жара, и голые горы, каменный беспорядок — и сильнее море. Кавказ кажется слишком безвкусно обильным — влага, пальмы, зелень слишком плотного цвета. А здесь — изысканнейшая красота — ничего лишнего.

Сегодня мне приснился страшный сон, как-то вдруг приснился. Я услышала вдруг папин голос: «Ира, приходи в приемный покой». Я кричу: «Что случилось?» А он так методично, как диктор: «Да, я говорю ему, а он не слушает, дурачок, я говорю, а он не слушает... Я говорю...» Я плачу, кричу: «Говори, не тяни, ради Бога». А он вдруг: «Убит!» Все прямо загудело, словно землетрясение. Я говорю: «Кто?» И проснулась. А в ушах все это слово. Это, наверное, от моих дневных страхов за детей — они так прыгают над обрывами, что у меня сердце болит. Я сейчас же произнесла свое заклинание злых сил — пусть все их беды будут моими бедами, а болезни — моими болезнями.

Сейчас взглянула на Сокол — он похож на запрокинутую голову женщины. Правда?

А здесь леса нет — обрывистые скалы. А здесь лес — волосы. А тут есть отрог — это плечи.

А это грудь.

Как ты живешь, мой дорогой? Как здоровье? Как пишешь? Я уже думаю, когда я увижу тебя: приеду 4-го вечером, утром двух — на дачу, одного — в лагерь (Артема), 5-го на работу, наверное 6-го — к тебе. Но, может быть, 5-го встретиться хоть на полчаса у аптеки — в 18.30? А? Ведь 6-го к тебе я приеду, наверное, во второй половине дня. Ну, иду за твоим письмом!

А письма-то нет! Ая-яй!

Ира

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Дорогая Ира.

Получил сегодня два твоих больших письма и читаю, читаю с некоторым оттенком грусти, правда, все по тому же главному для тебя вопросу. Ну, все будет хорошо.

Спасибо за портрет, очень похож. Сделан, правда, в реалистической манере. Спасибо за план вашего пляжа, я так все это живо представляю: как ты испугалась акулы и

так далее. А знаешь, у меня есть книжка об акулах, выпущенная еще до того, как акулы проглотили премьер-министра Австралии (это было в прошлом или позапрошлом году), написана научно и с целью предупредить людей, что акулы — хищницы, убийцы и людоеды.

<17 декабря 1967 г. во время купания пропал Харольд Хольд, премьер-министр Австралии.> Вот Тур Хейердал после плавания на «Кон-Тики» утверждает, что акула не кидается на человека, безопасна для человека. Наш автор утверждает другое, с большим количеством <фактов>. Книгу он не успел закончить — акулы его поймали и проглотили. <Вебстер> его фамилия.

Спасибо тебе за твои милые письма, за все, что ты внесла в мою жизнь. Права ты и в сроках почтовых. Письмо от 18 июля я получил 21-го утром с газетами (вместе с письмом от 17-го).

О стихах ты пишешь хорошо, верно. Пятидесятые годы у многих отбили интерес к стихам. Там главное — в чувстве, в намеке, в подтексте смутном и многозначном. Стих работает на рубеже чувства и мысли. Стихи должны быть шире мысли, глубже, неопределенней. То, что ты называешь музыкальностью, — это ритменная организация, звуковой строй стиха. Музыкальность, благозвучность не совсем то. Эта звуковая организация не зависит прямо от мысли, не от нее возникает. Звучание должно быть проверено на слух, без этого звучания нет стиха. Но это звучание — не главное в стихе. У Пушкина все рифмы — глазные, рассчитанные на чтение глазами, потому-то Крученых смог написать свою «Сдвигологию» и «500 острот и каламбуров Пушкина», где отметил с пристрастием огрехи пушкинского стиха со звуковой стороны. Но «Люблю тебя, Петра творенье», весь «Медный всадник». «Полтава» — такой высоты чисто звукового музыкального орнамента, что о глазной рифме просто забываешь. Стихи это механика очень тонкая, очень. Ни один вид искусства не имеет такой тончайшей специфики.

А Лесневский — автор ряда <работ> лемовского толка, его клиенты (Асеев, Маяковский).

Вокруг «Юности» есть большой круг людей, которые осуждают Твардовского за то, что он не сделал попытки связаться со мной, отчего его журнал много бы выиграл — и стараются это зафиксировать, где можно.

Крепко целую.

В.

Москва, 21.VII.68.

Москва, 22 июля 1968 г.

Дорогая Ира.

Продолжаю нашу грустную переписку. Если уж в мире укрепились такая омерзительная общественная формула, такой социальный организм, как семья (а советская семья — самая фальшивая из всех подобных формаций), то единственный рецепт семейного счастья — это жить врозь по всем мыслям, по всем признакам. Все должно быть разным: профессия, знакомые, квартиры. Даже интересы не должны сходиться — во избежание чрезмерных взаимных уступок и лишнего, попутного и вредного самоограничения. Только тогда и так супруги сохранят друг к другу и любовь, и жалость, и уважение длительное время. Другой способ — это жертва кого-либо одного, жертва на всю жизнь, единственную жизнь — это одно из самых страшных преступлений получающего. Это жертва личности, растворение в чужих интересах твоей жизни. Таких примеров огромное количество. Моя мать, например, совершенно подавлена была, прожила чужую жизнь и только перед смертью осмелилась мне пожаловаться, как ей было трудно. Необязательно, конечно, жертва — женщина. Тысячи мужчин в семейном счастье подчиняются воле жены. Самое большое преступление на свете — это давить на чужую волю, решать за другого человека. Женщин защищал даже Домострой от излишних требований мужчин. Вопрос физической близости — важный, очень важный, но не самый важный, не самый главный вопрос пресловутой измены для дружбы, для доверия, для уважения друг друга. Я бы сказал больше — всякая нетерпимая моральная позиция есть ханжество, роль правого судьи никому не по плечу — это худший род поведения: за что-то осуждать, в чем-то винить. В настоящем ли, в прошлом или будущем — все равно.

Что же сближает людей — в равноправии, в равновесии. Я думаю — сходство характеров, натур. Так тянут немногие счастливые билеты в этой лотерее. Я, впрочем, таких не видел. Если и похвалялись публично — считал и считаю, что врут, ввали.

Всякий опыт очень личен — ни на что, как на личное, я своими формулами не претендую.

Тут же об одиночестве. Видишь ли, это качество — оптимальное состояние человека. Одиночество — это со-

стояние Бога, который думал, сотворить ли ему людей или нет. Адаму уже нужна Ева. Создается лучший человеческий коллектив, идеальная магическая цифра 2, которая показала даже в кибернетике, в вычислительной машине свою мистическую природу. Двое — это живые люди, которые могут перевернуть мир и которые не будут ссориться из-за взаимной выгоды, необходимости иметь помощь, совет, удесятеряющий силу. Удовлетворение полового желания. Лучший коллектив — двое, трое — это ад. Это совсем не двое. Это другой моральный мир, рождение зла, зависти, вражды, предательства, насилия. Трое, даже если третий — ребенок, это блоки, интриги, союзы, антисоюзы. В коллективе более трех — человек перестает быть человеком, приближаясь к биологическим законам стадности, в которых любой неандерталец гораздо моральнее какого-нибудь Оппенгеймера или Курчатова.

Вот тебе философия особенного одиночества.

Конечно, когда человек живет один — он не совсем одинок — и с ним книги, а одиночество с книгами, — полное ли это одиночество? Думаю все ж, что полное. Только общение с живыми людьми причиняет боль, а я не помню, чтоб какая-нибудь книга при всей моей впечатлительности в детстве и юности причиняла бы боль.

Итак, я не знаю, как решать наш вопрос. Ты могла бы сказать, что в самом отказе от решения уже есть решение, но это не так. Решения действительно нет.

Я не успел еще ответить на твое желание «защищенности», высказанное два письма назад.

Жизнь моя сложилась так, что мне мало пришлось быть защищающим. Больше защищаемым, но я всегда стремился выгородить себе такой мир, личный мир, где нет ни защищающих, ни тех, кто нуждается в защите. Мне кажется, что защищенность должна быть в ладу с общественным строем, с властью. Только тогда он может чем-то кому-то помочь.

Сейчас перечту письмо. Перечел. Это от тринадцатого июля.

Ну, крепко целую. Хотел это письмо оставить дома для тебя, но потом решил послать.

Отдыхай, моя милая, загоравай.

Здесь все холодные ливни и ночью — 7 градусов. Сплю в спальном мешке.

В.

25.07.68

Дорогой мой!

Уже два дня не было от тебя писем, а я только успела привыкнуть к твоим каждодневным письмам, и уже шла на почту, твердо уверенная в предстоящей радости.

Но я надеюсь, что виновата почта.

Я живу в блаженстве — во-первых, скоро уезжать, во-вторых, наслаждаюсь морем, камнями, солнцем.

Серые камни от солнца кажутся белесыми. Они горячи — не пройдешь босиком. Я лежу на камне у самой воды — пальцы ног лижут волны. И мысли в голове не единой, нет, есть мысль — скоро привезут в магазин молоко, не прозевать бы. И еще — персики кончились, надо купить еще. Ребята едят в день по 3 кг персиков, я таскаю их без усталости.

Лень меня одолевает совсем, жаль не могу ей поддаться — надо детей кормить.

Милый, пиши мне! И скоро я тебя увижу.

Целую, *Ира*.

25.7.68. А сегодня получила сразу три твоих письма. Милый, когда я писала о том, что надо слушать стихи, и тогда, когда они уже прочтены, я имела в виду не звучание в прямом смысле слова, вернее, не только это. А слушать то, что возникает в тебе от этих стихов. Если от стихов в тебе что-то возникает — это стихи. Так, во всяком случае, для меня.

Вспомнился мне Аполлинер (эти стихи помню по Эренбургу) — «Бьют часы, уходят года. И то, что ушло, не придет никогда. Уходит любовь. Проходят года. А я остаюсь. Но течет вода».

Смотрю на море — вода, много воды — ничто не успокаивает больше. Вспоминаешь Библию — все суета сует и всяческая суета. А море так несуетливо в своем движении, так постоянно и так переменчиво.

А ты мне иногда кажешься, как ни странно, суетным. Вернее, озабоченным пустяками — это понятно, что ты не любишь моря. И что тебе чужда религия и музыка — это все одно. Я еще не додумала этого до конца, но корень здесь в душевном строении человека. Я еще подумаю над этим.

Как хорошо, просто всей кожей, всей кровью хорошо у моря. Милое, я такая неблагодарная, это меня ослеп-

ляет всегда какая-нибудь одна страсть. Всегда только одна — Артем, ты, поиски истины.

А море — оно ждет, когда я его вдруг увижу и пойму все, что оно говорит. И когда я, наконец, слышу его песни, на меня нисходит такой покой, мир, тишина, счастье. Я пишу глупо, да? И такими фразами, которые коробят тебя, как «последняя утраченная надежда»?

Ну и пусть! Хочу и пишу. Если хочешь — улыбайся. Ты ведь не любишь моря — что с тебя взять!

Целую, *Ира*.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 23 июля, 1968 г.

Дорогая, милая Ира. Я получил сегодня утром, несколько часов назад, сразу два твоих письма — от 19-го и 20-го. И только теперь сообразил, что и почта работает, как автобус 64, который ходит всегда по две машины друг за другом, а потом перерыв. «2», двойка — это самая модная цифра в наш кибернетический век двоичной цифровой системы. Я думал, что в приобщении нашего быта к этим высотам кибернетики есть нечто мистическое.

Спасибо за сердечные твои письма, обнимаю. Как жаль, что приехали дачники или курортники, которые сократят, срежут, уменьшат твой отдых. Нагорная проповедь твоя, разумеется, ничем не уступает канонической. При чтении Евангелия — особенно первых трех апостолов, у меня всегда было впечатление —, что это беседа в каком-то очень узком, почти семейном кругу, на примерах родной или соседней деревни, что все случается здесь же, в Судаче, в Новом Свете, на Большой Песчаной, что это — разбор утренней газеты или комментариев к объявлению сельского стражника. И нагорная проповедь — это просто разговор с друзьями, с детьми, с близкими знакомыми, а не мистический транс полугипнотизера-провидца.

Как это здорово, что ты там в горах учишь добру. Не шучу, я знаю твое мнение о своем долге, о том немногом и огромном, что надо принести людям.

Мои письма поэтому тебе кажутся источником неожиданностей; что у меня почерк такой, что всякий нормальный человек читает сначала не то и не так, как написано. Стишок — я привык <к> этой формуле с

детства, с юности. Это пример такого же смягчения, как в слове «котенок» — ты верно угадываешь.

Целую. Жду писем.

Мистический смысл цифры 2 обнаруживается еще в человеческой породе, в парности великой цифры. Поэтому я примиряюсь с тем, что письма приходят парами. Целую.

В.

А Судак, кажется, был столицей какого-то татарского золотоордынского царства еще до Генуэзской крепости, обломок которой на открытке, которую ты мне прислала. Какое-то мертвое царство, военный город.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Дорогая Ира.

Я получил сегодня твое письмо от 21 и 22 июля со вложением двух иголок хвои, которые, оказывается, никуда не потерялись, чему я очень рад. Буду писать, как ты сказала, до 28-го числа. Теперь уже недолго ждать. Спасибо тебе за твои милые слова, которые я не заслуживаю. А боязнь высоты у меня точно такая же, как и у тебя, — на Кольме я никогда не мог перейти по бревну, достаточно толстому и устойчивому через пропасть, ущелье, распадок — садился и перебирал руками. Я в Вологде, в детстве, юности не ходил на колокольню и не смотрел город с высоты, боялся подойти к перилам — а мне кричали: «Трус, не может». И я лез к перилам — и опять пугался, терял равновесие — в те времена таких тонкостей, как вестибулярный аппарат, не принимали во внимание.

Крепко целую.

В.

Москва, 26.VII.68 г.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Дорогой мой, получила твои два письма, в том числе то, где ты выражаешь восторги по поводу моей нагорной проповеди. Увы, нет ничего бесполезнее проповедей! Так думала я, таща в 34° жару две сумы и рюкзак со всякими продуктами и фруктами, задыхаясь, — ведь предварительно я отстояла в очереди 2 часа тоже на

солнце. А мои юноши в это время лежали на пляже. Так всегда. И я думала — надо еще дать возможность человеку делать добрые дела, не ставить его перед фактом собственного свинства. Но как подумаю — в этой очереди, с этими сумками, Артем — это выше моих сил. Мне легче самой все сделать. Вот эгоизм любви — он делает любимого эгоистом поневоле. А письмо Лене я, оказывается, сунула в твой конверт! А я думала — потеряла. Что-то я заторопилась, и все перепутала.

Вчера я ходила гулять в ущелье — прямо здесь, неподалеку. Чем хорош Новый Свет — чуть отойдешь в сторону — и дикие места, ущелья, глыбы, трещины. И запах леса здесь — как настой. Пахнет сухотой, хвоей, жарой. Сейчас поведу туда детей.

Это письмо опять задержится из-за воскресенья — пойдет только 29-го. А 30-го я напишу тебе последнее письмо. Скоро уезжать, а мне грустно расставаться с морем, скалами. Все это — как осуществившаяся мечта моего детства. Тогда я писала стихи о море и скалах, не видел их ни разу. А мои заевшиеся дети ноют — надоело море. И на всякие экскурсии в горы я их буквально заманиваю рассказами о пещерах, подземельях и т. д. Им бы играть в карты в тенечке, ходить в кино. Я вспоминаю, как я в 10 — 11 лет изобретала какие-то сказочные приключения просто в зарослях сорняков. Странно как-то! А их я стараюсь напичкать всем, чего была лишена, а им это не надо.

Можно ли сделать другому человеку что-то доброе? Или просто надо предоставить его своей судьбе?

Ну — идем в поход! На счастье, я обнаружила в ущелье заваленный вход в подземелье — этим ребята соблазнились.

Целую. Будь здоров и весел.

Ира.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 28 июля, 1968 г.

Сегодня 28 июля — последняя моя корреспонденция — в Крым. Кто в выгоде — я или ты, которая до самого отъезда будет получать мои письма, или я, который писать уже не имеет права. Я могу, конечно, писать для тебя письма в июле — в сущности так же и для себя, наверное. Но какие-то тайные силы управля-

ют нашей волей — писать такое письмо можешь, но не всегда это живое, а, новое общение. Я, например, когда пишу и если перечитываю, всегда думаю, какую ты сделала рожицу при этой вот фразе, а при этой? Все это обеспечивает живость общения. В случае сочинения писем в стол требуется подняться еще на один этаж воображения, чтобы сделать все живым. На лишний этаж. Очень близко к такого рода лишнему этажу в личной переписке стоит писание рассказов, ибо в самой своей важной сути рассказ — это письмо. Честное письмо. И общественных начал у рассказа нет. На твои многие письма последние (с Честертоном¹⁴) я не отвечал с нужной и даже необходимой полнотой, но это из-за того, что переписка наша кончается. Морская твоя экспедиция приходит к своему концу. Я вечно буду помнить июнь шестьдесят восьмого года — это лучший месяц моей жизни. Неплох и июль — ибо как ни ругал почту — это дало мне ежедневное общение с тобой, пусть не совсем удовлетворительное, но Крым есть Крым, география есть география. Целую тебя из Москвы с уверенностью, что это письмо найдет тебя в Новом Свете. Будь здорова, скорее приезжай.

В.

Письма я писал каждый день, просто не в одно и то же время дня их отправлял.

В.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Дорогой мой, пишу тебе последнее письмо! Сегодня опять ходили в горы! Великолепно! Новый Свет — райский уголок. Всюду ветер, волны. А пришли домой — тишина, солнце, спокойное море. Прямо видно сверху, как за Соколом и Орлом бушуют белые гребешки, а у нас тихо. Захватить бы кусочек в Москву — кусочек моря. А я, пожалуй, привезу тебе море в пузыречке. Хочешь? Но, может быть, и не стоит. А почему бы и нет? Кусочек водоросли, камушки, вода. Как ты думаешь?

Ах, скоро, скоро уезжать! Снова жить без моря!

Мой хозяин все пристает ко мне — хочет показать мне персонально, без детей Ад и Рай — здешние достопримечательности, к которым трудно добраться. Но я говорю — что вы, я для детей только и пойду туда.

Милый, как хорошо у моря! Я хотела бы всегда жить у моря, всю жизнь. У Новеллы Матвеевой есть песенка о море.

— Набегают волны синие,
зеленые, нет, синие..
Где-то есть страна Дельфиния и
город Кенгуру..

Что-то в этом роде. Наверное, своя страна — это потребность каждого человека — Бимини, Дельфиния и что-то еще.

Я бы хотела всегда жить в Бимини, но это слишком много.

Это остров Бимини. X — мой замок.

(Рисунок)

Флаг мой был бы голубого цвета с серебристой звездой, моя спальня была бы в башне, а внизу — огромный холл с окнами во всю стену, книгами, низкими диванами. На плоских крышах — цветы, деревья, но окна моей спальни (она круглая) открыты всем частям света. И кровати там нет — просто мягкий пол, пледы. А остров — просто скала, поросшая соснами и можжевельником, только в бухте — песчаный пляж. Приглашаю тебя в гости в Бимини. У меня есть флигель для гостей, маленький домик. А когда гость мне надоест, я посылаю ему утром цветок, и он исчезает в море. А потом моя яхта снова качается у причала — пустая. Когда же мне становится скучно одной, я вступаю на яхту и отправляюсь в плавание. Ты хочешь погостить на Бимини?

Значит, 5-го в 6.30!

Артем заглянул в письмо — это кого ты приглашаешь в Бимини? Любимчика своего, Алешку, да? Я говорю — конечно, разве ты не получил цветок?

Целую. До 5-го!

Ира.

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Расторгуево, 29 июля, 1968 г.

Мой дорогой, мой любимый, милый, сокровище мое!

Сегодня проснулась и подумала — когда нас любят — мы существуем, а когда нет — нет и нашего существования. Во всяком случае, так для меня.

Потому что я живу в заботах о детях, о каких-то делах и забываю о том, что я тоже есть — я не чувствую своего отдельного ценного существования, даже физического — я просто не чувствую — ты понимаешь? — как живет мое тело, только в голове — какие-то отдельные от жизни представления живут в своем замкнутом мире. А когда я чувствую себя любимой, я вдруг замечаю, что я и сама по себе живу на земле, что у меня есть руки и ноги и не просто как рабочий инструмент, а мои единственные руки и ноги.

Сегодня проснулась — выглянула в окно, солнце, мокрая трава. И мне стало радостно от того, что я живу и вижу это, а не просто от того, что солнце и трава.

Интересно, что еще, кроме любви, дает такую материальность жизни? Не представляю — что. Политика? Точнее — честолюбие? Для меня — нет. Все-таки в любви соединяется очевиднее всего два начала мира — материальное и духовное. Словно материализуется то, что называется душа. Ну, я совсем впала в метафизику. Может быть, еще — поэзия — тоже материализация духа?

Целую тебя тысячу раз. Я думаю еще — как совершенно необъятен наш внутренний мир, какие там пропасти, моря, вершины, джунгли. Каждый человек — целая планета! И живешь в каждый момент в каком-то одном ее уголке. Целую, целую, целую.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Экстренно, после моей смерти.

На случай моей скоропостижной смерти.

Все мое имущество, наследство, в чем бы это ни выразилось, в том числе авторское право, я завещаю Сиротинской Ирине Павловне — живущей г. Москва, ул. Георгиу-Дежа, д. 5, кв. 6,; тел. 257-48-66. Служебный телефон И. П. Сиротинской: 4-52-27-86 (ЦГАЛИ), Ленинградское шоссе, 50.

Выражаю особенное желание, чтоб к моим бумагам и вещам не прикасались О. С. Неклюдова и С. Ю. Неклюдов, мои бывшие родственники.

Москва, 10 декабря 1970 года.

В. Шаламов.

Москва, 4 ноября 1971 года.

Ира!

Спасибо тебе за эти шесть лет, лучших в моей жизни.

В.

10-ХІІ-70

3 ноября 1971 г.

(было приложено к завещанию)

И. П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

30.07.70 <открытки>

Вот у такой горы мы живем. Все очень хорошо. Я блаженствую телом, забыв (наверное, впервые) о душе. Ну ее совсем! Одно беспокойство. Вода такая нежная, теплая, солнце такое жаркое.

Очень хорошо!

Целую. *Ира.*

За тем маяком на мысу Сарыч мы живем.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

31 октября 1971 г.

<Сон>

Грязь, темень, мы идем по дороге, и ты твердишь о своей любви, и дорога мне кажется легкой, шлепать по глинистым лужам лесом. Но навстречу машина, фары ослепили нас. Ты успеваешь отскочить в сторону, оставив меня под ударом. И машина бьет в меня, наступает полная темнота, я ползаю в грязи, живой, что-то порвалось, ноги ушиблись, локоть, плечо плаща разорвано — все в грязи, все болит — и еще не узнать, все ли цело.

И ты поднимаешь меня из грязи — ты успела отскочить в сторону, но я не упрекаю тебя, что ты оставила меня перед машиной, я понимаю, что это случай, что в мозгу, в самой глубине твоей души нет ничего, что говорило бы о трусости или о чем-либо подобном. Все только случайно. И мы идем дальше, и тебе даже не надо оправдываться — хотя ты идешь здоровой, а я почти разбит. Вот весь сон.

Кроме сна за этот день вышли еще стихи о пионе.

Дорогая Ирина Павловна,

Вы всегда интересовались¹⁵, что же стоит психологически за моими рассказами, кроме судьбы и времени?

Имеют ли мои рассказы чисто литературные особенности, которые дают им место в русской прозе?

Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму, и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера. Вы высказали желание, чтобы были написаны пять хороших отделанных рассказов вместо ста неотделанных, шероховатых.

В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора. Наиболее удачные рассказы — написанные набело, вернее, переписанные с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть: такой рассказ, как «Крест», записан за один раз, при нервном подъеме, для бессмертия и смерти — от первой до последней фразы. Рассказ «Заговор юристов» — лучший рассказ первого сборника, весь написан с одного раза.

Все, что раньше, — все как бы томится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо, — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную, сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа. Если о том, как написать роман, я никогда практически не думал, то как написать рассказ, я думал десятки лет еще в юные годы. Сто рассказов остросюжетного характера были мною написаны в двадцатые годы, частично напечатаны («Три смерти доктора Аустино», «Вторая симфония Листа» и прочее). Сейчас я осуждаю пустяки, которыми я тогда занимался. Но, наверное, была в этом необходимость школьных упражнений, экзерсисов. Я когда-то брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось немного, а от Ларисы Рейснер¹⁶ и совсем ничего не оставалось.

Так возникло одно из основных правил: лаконизм. Фраза рассказа <должна быть> лаконична, проста, все лишнее устраняется еще до бумаги, до того, как взял перо. Вырабатывается своего рода автоматизм в том, что из бесконечного запаса, хранящегося в мозгу, отбирается в языковом смысле только то, что сможет

принести пользу, никаких новых вариантов и сравнений, пестроты не возникает, — я мог бы тащить вон эту пестроту лишь как пародию. Так, в мозгу контролер, отборщик, который толкает ненужное бревно на сплав в сторону от узкого горла заводских пилорам. Я воспользовался таким несовременным сравнением <с> самой примитивной техникой — запанью; бревна приплывают после половодья, сплава, большинство погибли на дне, иные прибиты к берегу горной каменной речки и либо позднее <их> столкнут в воду, или высохнут и не понадобятся навсегда. Но часто бревна отбирают, приводят багром в горловину лесозавода, пилорамы, перед которой плавают вполне кондиционные бревна, которые имеют право превращаться во фразы. Слова эти вески, плотны, кондиционны, отборщик сталкивает багром фразу за фразой на движущуюся цепь пилорамы. Работа над словом началась. Распиловка бревна началась.

Для чего это сравнение, столь немодное в наш кибернетический век. Это показывает, что в отдел мозга — творчества не поступает ничего лишнего. Инвалидное бревно туда попросту не попадет. Словарь рассказа подготовлен еще до того, как рука взяла перо.

Конечно, берутся тысячи начал. И пока первая фраза не найдена, рассказ не может двигаться. Первая фраза, как и последняя, имеет большое значение — но это не новый рецепт для прозаика. Существует другой мой совет — в рассказе нет лишних фраз...

Пощечина должна быть короткой, звонкой. Можно мерить фразу и флюберовской мерой — длиной дыхания — что-то в этом физиологическом обосновании есть. Литературоведы неоднократно говорили, что традиция русской прозы — это лопата, которую нужно воткнуть в землю и потом выворотить наверх, извлечь самые глубинные пласты. Таково их мнение <о> толстовской фразе. Мне такая традиция кажется ложной. Даже в прошлом у нас осталась короткая, звонкая пушкинская фраза, ничего общего не имеющая с этой лопатой, которой вынимают пласты. Пусть выкапыванием этих пластов занимаются экономисты, но не писатели, не литераторы. Для литератора такое выкапывание пластов кажется странным советом.

Фраза должна быть короткой, как пощечина, — вот мое сравнение.

В рассказе должна быть снята вся пышность.

В искусстве допустимо сравнение с другими родами — живописью, музыкой, чистота тонов заимствована мною у постимпрессионистов — у Гогена, у Ван Гога. Свой вклад в мой литературный стиль внесли и эти мастера. Чистота тона.

Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа. Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому, по-своему. Если рассказ доведен до конца, написан — такое суждение появляется. Для рассказа вовсе не нужна отделка. Вся отделка осталась за бортом рассказа. И хотя я все свои рассказы проговариваю, крича и волнуясь за каждую фразу, бьваю и камни, и деревья, и реки, каждая со своим рассказом, — вся эта борьба является на бумагу как результат борьбы, равнодействующая многих сил — своих и чужих.

Одна из самых главных задач — это борьба с литературными влияниями. Когда-то мне доставляло немало хлопот — во время сюжетных стихов — ощущение вечных следов борьбы с такими писателями, как Амброз Бирс¹⁷, например. У нас его мало знают, но «Три смерти доктора Аустино» испытал явное влияние какого-то рассказа Бирса. Во влиянии опаснее, чем <само> влияние, — помимо собственной воли попасть в чей-то плен — материал драгоценный истрачен, а выясняется, что он напоминает что-то чужое, то есть убивает рассказ. Искусство не терпит подражаний. В «Колымских рассказах» я уже не болел никакой подражательностью по двум причинам — во-первых, я был натренирован на любой чужой тон, который зазвенел бы как предупреждающий сигнал опасности при появлении в моем рассказе чего-то чужого. Такая простая философия. А во-вторых, и самых главных, я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не воз-

никло, ибо квалифицированность, натренированность сказались, мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей, если я мог предъявить и предъявлять собственный литературный паспорт.

Читатель XX столетия не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы. Живая трагедия, не парадокс, реальное предательство Оппенгеймера.

Или все уходит в словотворчество, в новый роман со всяческой свободой — и тут никто осуждать не вправе.

Либо — в фантастику, расцвет которой кажется странным, ибо любое научное открытие реальное много богаче, глубже, чем фантазии автора фантастического романа. Но все же авторы научной фантастики стремятся как бы встать <наравне> с требованиями времени, бежать за временем «петушком, петушком».

Из всего прошлого остается документ, но не просто документ, а документ, эмоционально окрашенный, как «Колымские рассказы». Такая проза — единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя XX века.

Второе — здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности. Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть — духовная и физическая? В этом смысле мои рассказы — своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из Мертвого дома», а с более очерченным авторским лицом — объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще — не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы — это моя душа, моя точка зрения, сугубо личная, то есть единственная. Этой личностной точкой зрения держится не только художественная литература. Нет мемуаров — есть мемуаристы.

Откуда все это возникает? Как это все происходит? Мне кажется, что человек второй половины двадцатого столетия, человек, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, атомную бомбу, предательство, самое главное — венчающее все — позор Колымы и печей Освенцима, человек — а ведь у каждого родственник погиб либо на войне, либо в лагере, — человек, переживший

научную революцию, — просто не может не подойти иначе к вопросам искусства, чем раньше.

Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман.

Художественный крах «Доктора Живаго» — это крах жанра. Жанр просто <умер>.

Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. А в документе — во всяком документе — течет живая кровь времени.

Я ставил себе задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности. Все, что переходит документ, уже не имеет право поставить себя выше любой туманной сказки. На свете тысяча правд, а в искусстве — одна правда, — это правда таланта. Поэтому мы прислушиваемся к пророчествам Достоевского. Поэтому нас захватывает и учит Врубель.

Для того чтобы существовала проза или поэзия, — это все равно, искусство требует постоянной новизны. Только новизна — любой поворот темы, интонации, стиля — возможности изменений безграничны.

Художник черпает, и притом постоянно, вне зависимости от собственности, не только из методов «смежников» в лице архитекторов, музыкантов, живописцев, но и из науки, философии. Все на равных правах ловится в этот невод, более похожий на запань лесозавода.

<Так же> черпает художник из газеты, из газетной работы. Надо только помнить, что газета и писательское творчество не только разные этажи литературной культуры, но разные миры. Если помнить, что художник судья, а не подручный, все будет хорошо. Масштаб сохранится, и газета не подавит, как это она сделала <с> Горьким и Короленко. Хорошие писатели, творчеству которых газета нанесла непоправимый ущерб. Сергей Михайлович Третьяков пытался укрепить газету, дать газете приоритет. Ничего путного из этого не вышло ни у самого Третьякова, ни у Маяковского. «Мое лучшее стихотворение» и прочая агитация в пользу «литературы факта». Литература факта — это не литература документа. Это только частный случай большой документальной доктрины.

Лефовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить, «искать факты» в их газетном преобразении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации.

Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все — документ и в то же время представляет эмоциональную прозу. Тут задача простая — найти стенограмму действительных героев, специалистов, о своей работе и о своей душе. Какие-то следы такая проза всегда оставляла — вроде записок Бенвенуто Челлини. Но уже воспоминания Панаева¹⁸ такой прозой не являются — этот мемуар составлен по самому общеизвестному принципу: кто кого переживет, тот того и перемемуарит.

Нет литературного произведения, которое бы рождалось без формы. Какие бы мотивы ни лежали в основе толчка к творчеству — без формы произведение не рождается. Это бесспорный факт, по которому, конечно, нельзя судить о приоритете именно формы. Сам выбор формы может говорить о содержании. Но выбор, отбор, контроль — это уже вторичная стадия дела, а в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода в стихи, в размер, в ритм или в рассказ. Дело художника — именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник может обратиться к экономисту, к историку, к философу, а не к другому художнику, чтобы превзойти, победить, перегнать именно мастера, именно учителя. В «Жонглере» Каменского больше поэзии, чем в стихах Владимира Соловьева. Мысль, содержание губит стихи, и нужно было процедить мысль Соловьева через творческое сито Блока, чтобы явились «Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать» — это именно поток действительности в новой сугубо форме — частушке. Что в аналогичном положении и аналогичном окружении привело к тем же методам, к тем же результатам — там такого антипода Блока, как Хлебников, — «Ночь перед Советами». Чем это не Блок?

Первоначальный творческий толчок исходит именно от формы, когда нет еще ничего ясного, определенного. А ведь закон поэзии основной в том, что поэт, садясь за стихи, не знает, чем он их кончит.

Знающий конец — это баснописец, иллюстратор. Тот же закон действует и в прозе. У нас с умилением цитируют <Флобера о> Бовари. Пушкин огорчался по поводу Татьяны — примеров такой несвободы в литературе миллион.

Даже Бунин, вовсе не поэт, и тот пытался эту очевидную истину выдать за философскую истину в стихах о Чехове «Художник». Все это надо написать прозой, прозой и вышло. Стихи о Чехове — статья прозаика, а если бы ту же мысль, вернее, тоже чувство одел в слова поэт, то получились бы бубенцы.

Равнялись в строку, останавливались стихи, и видна была бы сразу каждая заминка стиха — звуковые законы ломают, диктуют, меняют содержание. Видно сразу, что содержание — дело вторичное, дело удачи, улова, вот его место. Такого же строгого рода существует закон и в прозе.

Почему я, профессионал, пишущий с детства, печатающийся с начала тридцатых годов, десять лет думавший над прозой, не могу внести ничего нового в рассказ Чехова, Платонова, Бабеля и Зощенко? Русская проза не остановилась на Толстом и на Бунине. Последний великий русский роман — это «Петербург» Белого. Но и «Петербург», какое бы колоссальное влияние ни оказал этот роман на русскую прозу двадцатых годов, на прозу Пильняка, Замятина, Веселого, это тоже только этап, только глава истории литературы. А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе. Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приводящее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, — доказали, что искусство и литература — нуль. При столкновении с реальной жизнью — это главный мотив, главный вопрос времени. Научно-техническая революция не отвечает на этот вопрос. Она и не может отвечать. Вероятностный аспект и мотивации дают многосторонние, многозначные ответы, тогда как читатель — человек — нуждается в ответе «да» или «нет», пользуясь той же двузначной системой, которую кибернетика хочет применить для изучения всего человечества в его прошлом, настоящем и будущем.

Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время.

То, что «Избранное» Чернышевского продают за 5 копеек, спасая от Освенцима макулатуры, — это символично в высшей степени. Чернышевский кончился,

когда столетняя эпоха дискредитировала себя начисто. Мы не знаем, что стоит за Богом, за верой, но за безверием мы ясно видим — каждый в мире — что стоит. Поэтому такая тяга к религии, удивительная для меня, наследника совсем других начал.

В прошлом всего только один писатель пророчествовал, предсказывал насчет будущего — это был Достоевский. Именно поэтому он и остался в пророках и в XX веке. Я думаю, что изучение русской, «славянской» души по Достоевскому для западного человека, над чем смеялись многие наши журналы и политики, привело как раз ко всеобщей мобилизации против нас после Второй мировой войны. Запад изучил Россию именно по Достоевскому, готов был встретить всякие сюрпризы, поверить любому пророчеству и предсказанию. И когда шигалевщина приняла резкие формы, Запад поторопился отгородиться от нас барьером из атомных бомб, обрекая нас на неравную борьбу в плоскости всевозможной конвергенции. Эта конвергенция — <a> не охота тратить бесчисленное количество средств — и есть плата за страх, который испытывает Запад перед нами. Говорить, что конвергенции сработались, могут только авантюристы. Мы давно брошены Западом на произвол судьбы. Все действующие аппараты пропаганды — шептуны, и ничего больше. Атомная бомба стоит на пути войны.

В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чем они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души, на крике этой души или еще на чем-то другом, чисто техническом.

Как и всякий новеллист, я придаю чрезвычайное значение первой и последней фразе. Пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы — первая и последняя — рассказа нет. У меня множество тетрадей, где записаны только первая фраза и последняя — это все работа будущего. По обстоятельствам биографии, мне было удобно пользоваться обычными школьными тетрадями. Варианты, правка, вставки — слева, и все. Остальное — себе дороже.

Рассказ «Заговор юристов» был абсолютно новым. Легкость будущего мертвеца нигде в литературе не описана. Все в этом рассказе — ново: возвращение к жизни безнадежно и не отличается от смерти. Сыр, не доеденный зубами начальника СПО, капитана, столовая, хлеб, который я глотал, торопясь, чтобы не умереть, пока я не проглотил кусок.

Каждый писатель отражает время, но не путем изображения виденного на пути, а познанием с помощью самого чувствительного в мире инструмента — собственной души, собственной личности. Отношение, ощущение дает в руки писателя безошибочный ориентир. Это — не ориентир для читателя, вернее, не обязательный ориентир. Но для самого писателя — его радар устроен в его собственной душе. Чем обусловлен этот радар, какие технические претензии и особенности имеет этот инструмент — не важно. Важно, что это — не иллюстративный отклик на события, а живое участие в живой жизни — не важно, с помощью писательского пера или в какой-либо другой форме.

Может быть писательское решение не писательских вопросов. Писатель остается писателем, даже если он не пишет, но если он пишет серьезно, его радар должен работать хорошо.

Ведь радар — это активное вмешательство в жизнь, а не только отражение жизни.

Для писателя действуют законы грамматики, законы языка, на котором он пишет.

Сейчас, после войны, наводят такого туману в зону профессиональную, в сущности, вполне постижимую область человеческой деятельности, что и спорить не стоит. Вас убивают какой-нибудь цитатой из Фомы Аквинского или «Повести временных лет», а вы должны знать, что, если не овладеете современным стилем, современным языком, современной идеей, — все, что вы сочините, будет фальшью.

Конечно, Чехов — большой писатель, но он не пророк — отходит, стало быть, от русской традиции, и сам себя чувствует неловко в общении с такими горлопанами, как Лев Толстой и Горький. Чехов — не горлопан, вот в чем беда. «Деревня» или «Степь» — это рассказы гуманиста реалистической традиции.

Реализм как литературное направление — это сопли, слюнявость; пытались прикрыть покровом благопристойности совсем не благопристойную жизнь. Ханжеский призыв запретить доступ секса в литературу лишь отделяет, отсекает художника реалистического направления от живой жизни. Просвещение по вопросам семьи не разрушает семью, которую разрушает семейная тайна, где в каждом браке скрыты тысячи сюрпризов самых зловещих. Просто государство из практических соображений не решалось осуществить фурыеристского

идеала — отсечь детей от родителей, уничтожить семью как социальный институт буржуазного общества.

Продолжаем наш разговор, разговор о моей прозе. «Колымские рассказы» — это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе. Человеческая душа, ее пределы, ее моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может.

Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт.

Результат — «Колымские рассказы» — не выдумка, не отсев чего-то случайного — этот отсев совершен в мозгу, как бы раньше, автоматически. Мозг выдает, не может не выдать фраз, подготовленных личным опытом, где-то раньше. Тут не чистка, не правка, не отделка — все пишется набело. Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моем понимании искусства — абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя «Колымских рассказов» — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не aberrация моей памяти, а существо жизни тогдашней.

«Колымские рассказы» — фиксация исключительного в состоянии исключительности. Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений «Записок из Мертвого дома». Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности, — так я сам понимаю свою работу. В «Колымских рассказах» нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. «Колымские рассказы» — вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно. Познавательная часть — дело десятое, для автора, во всяком случае. Познавательность, ценность ее — это как бы сама разумеющаяся важность и новизна. Даже в познавательной части «Колымских рассказов» — новая запись русской истории, самых скрытых и страшных <страниц> — от Антонова до Савинкова — от «Эха в горах» до «Исландской саги»¹⁹.

Память — это ленты, где хранятся не только кадры прошлого, все, что копили все человеческие чувства всю

жизнь, но и методы, способы съемки. Вероятно, возможно при некотором, может быть, значительном напряжении вернуться к способу «Колымских рассказов» — и мозг будет выдавать лаконичные фразы.

Безусловно, возможно вернуть любое человеческое лицо, попавшее тебе на глаза в течение дня, вплоть до цвета халата какой-нибудь продавщицы. День может быть воскрешен во всех его подробностях. Я обычно <стремлюсь> как можно меньше запоминать, но глаз все ловит сам. И вспоминать вечером — страшно. Если это возможно за день, то возможно и за год, и за десять лет, за пятьдесят лет. Я не стремился сохранить в памяти, но детство я могу вызвать — при достаточном одиночестве и надлежащих метеорологических условиях (давление, солнце, жара, холод — должны быть в какой-то оптимальной форме). Холод же так страшен, что может вспоминаться при любой температуре. Напротив, при холоде (дрожь озябших рук, окунание в холодную воду) — холод и не вспоминается. Обстоятельства жизни тут не вспоминаются, просто существует боль, которую надо снять. Это не имеет отношения к писательской работе. Окуная пальцы в холодную воду, разглядывая снег, на Колыму не вернешься. Колыма в моей душе в любой жар. Вот чтобы ее фиксировать, нужно одиночество — городского типа, типа камеры Бутырской тюрьмы, когда городской шум, прибор лишь подчеркивают твою тишину, твое одиночество. Одиночества я никогда не боялся. Считаю одиночество оптимальным состоянием человека.

Написать ли пять рассказов, отличных, которые всегда останутся, войдут в какой-то золотой фонд, или написать сто пятьдесят — из которых <каждый> важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми, и никем, кроме меня, не восстановимого. Этот второй случай отнюдь не требует меньшей работы, чем в случае пяти рассказов. А пять рассказов не требуют большего усилия на каждый рассказ. И в том, и в другом случае количество усилий нравственных, нервных, физических, духовных примерно одинаково. Речь идет только об очередности — и те и другие требуют разного настроения, разной подготовки, разной организации. Чему отдать предпочтение... Вопросы настолько важны — все! — новы, что трудно отдать чему-либо предпочтение в очередности.

Что начать в 64 года? Лишний том или два добавить вслед «Артисту лопаты» или воскресить «Вологду»? Или

закончить «Вишерский антироман» — существенную главу и в моем творческом методе, и в моем понимании жизни? Или написать пять пьес, которые вот-вот должны написаться? Или подготовить большой сборник стихов? Или гнать мемуарный том: Пастернак и так далее.

Конечно, работа над пятью рассказами при равной затрате времени потребует колоссального напряжения в работе над формой. Тут ничего нельзя выклеить, вымарать, поправить. Надо выдать совершенный текст. Вот это меня и пугает — напряжение иного, не стихотворного порядка.

Стихотворное напряжение — это опущен повод, когда конь сам найдет дорогу в таежной темноте. Результат записывается как самописцем — след коня потом правится, приводится в соответствие с человеческой грамматикой, и стихи готовы.

В прозе же типа «Колымских рассказов» эта правка остается за языком, за гортанью, за мыслью даже. Откуда-то изнутри проталкиваются на бумагу законченные фразы. Рассказы имеют свой ритм, конечно. Всякие — и те, что из ста пятидесяти, и те, что из пяти. Рассказ может быть импровизацией. Мой рассказ — документ — тоже импровизация. И все же он остается документом, личным свидетельством, личным пристрастием.

Я — летописец собственной души. Не более.

Таких рассказов очень много. До ста пятидесяти сюжетов, как я помню, было записано, и все сюжеты новые, ибо новизну материала я считал главным, единственным качеством, дающим право на жизнь. Новизну истории, сюжета, темы. Новизну мелодии.

Как объяснить, что «Колымские рассказы» — рассказы на звуковой основе, что, прежде чем вырвется первая фраза, прежде чем она определится, в мозгу бужет звуковой поток метафор, сравнений, примеров, чувство заставляет вытолкнуть этот поток на решетку мысли, где что-то будет отсеяно, что-то загнано внутрь до удобного случая, а что-то поведет за собой новые, соседние слова?

Для рассказа мне нужна абсолютная тишина, абсолютное одиночество. Я, горожанин, давно привык к городскому прибою, я считаюсь с ним не больше, чем на какой-нибудь даче в Гурзуфе. Но людей со мной не должно быть. Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу.

И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы.

Но это все внешнее.

У меня ведь проза документа, и в некотором смысле я — прямой наследник русской реалистической школы — документален, как реализм. В моих рассказах подвергнута критике и опровергнута самая суть литературы, которую изучают по учебнику.

Трудность заключается в том, чтобы найти, почувствовать какую-то чужую руку, которая водит твоим пером. Если это рука человека — моя работа подражание, эпигонство. Если же это рука камня, рыбы и облака — то я отдаюсь этой власти, возможно, безвольно. Как тут проверить, где кончается моя собственная воля и где граница власти камня. Тут ничего нет мистического — обыкновенное общение поэта с жизнью.

Я пишу несколько вещей сразу. Двести сюжетов у меня записано в тетрадке, двести фраз начато. Я пишу утром ту фразу, которая бы более подходила к моему сегодняшнему настроению. Работаю только летом, зимой холод сжимает мозг. Я могу обманываться, быть может, лето — вопрос привычки, тренировки, как когда-то был табак с утра — папироса за папиросой, пока я не доводил мозг до нужной кондиции. Эта нужная кондиция и есть вдохновение, а скорей настройка аппаратуры, отрыв от повседневности, прыжок головой в рабочее настроение. Вдохновение как чудо, как озарение приходит не каждый день, и тут уж ты полностью бессилён остановиться в письме, останавливаешься при чисто мускульной усталости мускулов пальцев от карандаша. Ноют, как от рубки или пилки дров.

Но и это — внешнее.

Внутренним же является попытка разгадать самого себя на бумаге, выворотить из мозга, осветить какие-то дальние его уголки. Ведь я отчетливо понимаю, что в силах воскресить в своей памяти все бесконечное множество виденных за все шестьдесят лет картин — где-то в мозгу хранятся бесконечные ленты с этими сведениями, и волевым усилием я могу заставить себя вспомнить все, что я видел в жизни, в любой день ее и час моих шестидесяти лет. Не за один прошедший день, а за всю жизнь. В мозгу ничего не стирается. Работа эта мучительна, но не невозможна. Тут все зависит от напряжения воли, от сосредоточения воли. Но дело в том, что напряжение иногда приносит ненужные картины — и для насыще-

ния, удовлетворения, наполнения ежедневной страсти творческой достаточно немногих картин. Однажды не использованные картины опять наслаиваются, чтобы быть вызванными через десять или двадцать лет.

Управления памятью не существует, а художественная память, ее потребность много отличается от памяти научной. Я перестал давно пытаться навести порядок во всей своей кладовой, во всем своем арсенале. И не знаю, и даже не хочу знать, что в нем есть. Во всяком случае, если часть скопленного, малая, ничтожная часть хорошо идет на бумагу, я не препятствую, не затыкаю рот ручейку, не мешаю ему журчать. Творчески совершенно все равно — пишется ли публицистическая статья или поэма, или рассказ, или очерк, или роман, только напряжение должно быть определенного вида, вовсе не такого, который требуется для подбора материалов исторической работы, научной работы, литературоведческого произведения.

Из мозга все это выталкивается само — на манер толчка сердечной мышцы, — все это формируется внутри само, а всякое препятствие — причиняет боль. Потом головная боль стихает, но ты уже ничего не запишешь — родник иссяк.

Большая разница — ловить на бумагу, записывать, или наговаривать фразу на губах. Тут не один процесс, как бы два — смежных, но разных. На бумаге контроль столь же труден, поток трудно остановить — теряются находки, опаздываешь передать слово, чувство, оттенок чувства — вот почему не дописаны слова в рукописи — поток толкает письменную речь.

В предварительной звуковой отделке — без записи — процесс, очевидно, другой — там нет таких мучений, торможений, вырвавшихся слов, там само торможение считаю не столь важным элементом творчества, как в записи.

Лишний вариант отбрасывается, один остается и записывается. Это процесс другой явно. Малоэкономный — ибо в нем очень много потерь, которые исчезнут бесследно.

Я, как Тургенев, не люблю разговоров о смысле жизни, о бессмертии души. Считаю это бесполезным занятием. В моем понимании искусства нет ничего мистического, что потребовало бы особого словаря. Сама многозначность моей поэзии и прозы — отнюдь не какие-то теургические искания.

Я считаю наиболее достойным для писателя разговор о своем деле, о своей профессии. И тут я с удивле-

нием обнаруживаю в истории русской литературы, что русский и не писатель вовсе, а или социолог, или статистик, или все что угодно, но не внимание к собственной профессии, собственному занятию есть русский писатель. Тема писателя важна лишь Чернышевскому или Белинскому. Белинский, Чернышевский, Добролюбов. По журналистским понятиям, каждый ничего не понимал в литературе, а если и давал оценки, то применительно (к) заранее заданной политической пользе автора. Вот так и хвалят такого писателя, как Толстой. А Пушкин был бы унижен анализом «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни».

Думать о том, что стихи могут иметь познавательное значение, — это оскорбительно невежественная точка зрения.

Поэзия неизмеримо сложнее социологии, сложнее «да» и «нет» прогрессивного человечества, сложнее некрасовских стихов. Некрасов сам был сужением русской поэзии. Сцена на его похоронах²⁰ не делает чести русскому обществу. Если в стихе ищут познавательного значения, то нормальный человек обратится к истории культуры, литературы, просто к историку, будет статьи археолога читать, как роман. Но принижать «Евгения Онегина», ища в нем каких-то совпадений с научным выводом историка, — это и безнадежно, и оскорбительное для поэта суждение.

Ученый, который в своей научной (работе) цитирует какие-то строки то Гельдерлина, то Гете, то античных авторов, доказывает только, что он обращается только к содержанию, к мысли, отвергая самую душу, самую суть поэзии. Какое же тут сближение. Так называемая научная поэзия — это список второстепенных имен от Бернара до Брюсова. В Гомере ищут не гексаметры, а прозаический, смысловой отрывок, а действительный подтекст поэзии непереводим — ничего другого у Гомера и взять нельзя. Жуковский перевел нам Шиллера, но ведь это не Шиллер, а создание русских стихов на заграничном материале, гениальное, вроде «Замка Смальгольм»²¹.

Норберт Винер приводит цитаты из поэтов и философов. Это делает честь эрудиции кибернетиков, но при чем тут поэзия? Надо ясно понять, что границы языка, языковые барьеры — непреодолимы. Или надо подменить суть и душу ее <внешним> выражением, ни за что не отвечая, никого ничему на переводе не уча. Ученый не может приводить цитаты из поэтического произведения, ибо это разные миры. То, что для поэзии было подсобной задачей,

случайной обмолвкой, то ученый подхватывает, включает в свою антипоэтическую аргументацию.

Для поэта философская обмолвка — все это попутно, производно в результате его главной работы с чисто звуковым материалом.

Считается модным, как в Средние века, «капелька латыни» украшает человека — это мы знаем из Средневековья, а также из бурных дискуссий двадцатых годов. Ландау выступает с цитатой из Виньона, а Винер — из Гете, Оппенгеймер — из каких-то средневековых французских поэтов, — все это очень эффектно, но мало имеет отношения к поэзии и к науке и скорее наносит вред поэзии, затемняя ее истинную сущность, затемняя психологию творчества...

Наука, искусство и поэзия — миры несходные, это параллели, которые не пересекаются ни у Эвклида, ни у Лобачевского.

Поэзия настолько далека от науки, насколько творческая проза отлична от научной. В поэзии нет прогресса никакого. Поэзия непереводаема, не поддается прозаическому изложению. Те намеки, обмолвки, которыми оперируют в поэзии, научным методом не постичь. Да, наука в структурном смысле — присутствует, но ведь эта работа обречена на бесплодие, на отсутствие выводов. Поэзия — непостижима, хотя, конечно, существует и частотный словарь, и метрические особенности.

Поэзия скальдов, как она доходит до нас, — и не есть ли это литературоведческий гипнотизм?

Литература никак не отражает свойства русской души, никак не предсказывает, не показывает будущего. Литература менее всего футурология, к сожалению.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской²²

Уважаемая Ирина Павловна.

По поводу «Книги жизни» Ивановой я буду отвечать Вам, а Вы уже решайте, что сообщать и что не сообщать автору.

«Книга жизни» — полноценное литературное произведение. Жанр мемуаристики слишком близок художественному произведению, и не из-за «Былого и дум» или «Жития Аввакума», а просто потому, что нет никаких мемуаров, в сущности есть мемуаристы — тот же самый крик души, который требуется и от всякой «Вой-

ны и мира». Границы жанра тут зыбки, условны. Это значит, что никакой документальной литературы в строгом смысле слова нет. В одном из писем Солженицыну я писал, что проза будущего — документ, отнюдь не понимая под документом так называемую документальную литературу. Солженицын, обладающий литературными знаниями в размере руководителя литкружка средней школы, пространно мне доказывал, что не только документальная литература и т. д. Солженицына портит его заочное литературное образование, внесение в его словарь терминологии школьника: «сквозная новелла», «исследовать»...

Документ — это совсем другое, чем документальная литература. Документ — это, например, стенограмма IX партийной конференции, которую вел Ленин во время войны с Польшей (19—22 декабря 1921 г.) и которая недавно опубликована, которая горит в руках и сейчас.

Ну, хватит о невежестве.

Мне кажется, что в «Книге жизни» Ивановой перед нами пример элементарных схем О'Генри: писателем оказывается не X, а его сосед У, а X самый тривиальный человек. По этой схеме-теме Генри ежегодно сочинял много рассказов. Среди трех писателей — героя 20-х годов Афанасьева, Сермукса и Ивановой — героиня-то и была тем истинным писателем, который пишет, что ему довелось писать эпитафии, а потому что она-то и есть писатель.

Я знаю Афанасьева, слышал о Сермуксе и оценил его по наблюдательному перу Ивановой. Хорошо знаю Сарру Гезенцевей. И Сарра, и Саша Афанасьев — самые рядовые люди, рядовые исполнители, интеллигенты тогдашнего прогрессивного человечества, а Иванова — писатель. И не ее вина, что ее писательский рост шел в той же тогдашней обедняющей, усушающей оранжерее.

И Сермукс не мог подсказать ей книг (не Плеханов же, который рванул бы перо Ивановой вверх, за волосы приподнял бы героиню).

Иванова нашла себя, потому что у нее есть талант. Она это чувствует, всю жизнь заботится о его утверждении. Конечно, рукопись достойна хранения, издания и не только как документ века.

Мне кажется, что Афанасьев уехал в Бийск и расстался с Ивановой, нарушив обещание помочь, просто Иванова была для него слишком сложна, слишком высоки и глубоки были ее требования к жизни. Иванова —

пример несчастливой жизни. Иначе и быть не может при ее вкусах.

Перейдем к прозе. Проза — при ее даровитости, важности отмечена такими недостатками, с какими со- ваться в литературу нельзя. Недостатки, мне кажется, поправимы.

Надо вычеркнуть все стихи. Удалить не только эпи- графы. Эпиграфы, кстати, говорят о вкусе, вернее, об уровне вкуса. Когда ставятся рядом Алтаузен и Эсхил, доверие к автору уничтожается. Надо просто снять, вы- черкнуть все эпиграфы! Но не только в эпиграфах, сти- хов много в тексте и их надо беспощадно выщипать, как сорняки. И тогда покажется проза, выразительная и серьезная.

Читатель не будет думать, что она унавожена стиха- ми, возвращена на стихах. Читатель не должен этого за- метить. Нормальный читатель не доверяет стихам.

«Другиня-Врагиня» можно оставить, тут немало на- ходок стоящих, но только как-то разделаться со славян- щинной, «Другиня» — это не по-русски. Но если нельзя заменить на «Друг и Враг», как пишут о женщинах — поэт, а не поэтесса, то можно оставить и так.

Обязательно надо снять все страницы, где хоть на- меком чувствуется несимпатия, недружелюбие к евре- ям. Эта позиция недостойна русского интеллигента, рус- ского писателя. Надо повычеркивать лишние пейзажи, особенно если пейзаж не несет другой нагрузки — не нужен в рассказе, ни в повести, ни в мемуаре.

Надо снять суждения о Выготском. Выготский — знаменитый русский психолог, автор ряда важнейших работ, словом, классик. А героиня, вместо того чтобы л- вить каждое слово Выготского, — слушала Келтуялу: «Державин читал у нас очень недолго, его сменил некий Выготский, личность до того тусклая, что по контрасту он казался малознающим».

В. Каспарова была секретаршей не Ленина, а Стали- на (до Стасовой), эта та самая секретарша, которую Сталин посадил.

Можно переименовать Череповец просто в Город с большой буквы.

Автор немного графоман, но это, повторяю, не порок, Леонов тоже графоман.

Не Лютер казнил своих бывших единомышленни- ков, а Кальвин — Сервета.

Не «термометр», «барометр» революции — таково было тогда ходовое кодовое слово.

О всех колымских страницах. Колыма — это более серьезное предприятие, чем кажется автору, — и суть не уловлена.

И Сермукс и Афанасьев могут благословлять из гроба автора за такие воспоминания.

Вот и все. Вычеркнуть стихи и замаскировать всякое родство своей прозы со стихами — и собственными и чужими — всякими.

Не следует к стихам относиться так серьезно. Стихи — это боль, мука, но и всегда — игра. Стихи убивают людей, которые относятся к ним серьезно. Жизнь в стихах, по рецептам стихов противопоказана людям. Стихи — это античеловеческое мероприятие, скорее от дьявола, чем от Бога.

Человек должен быть сильнее стихов, выше стихов, а поэт — обязательно. Автору следует знать, что стихи не рождаются от стихов. Стихи рождаются только от жизни.

Повесть написана в возрасте, когда автор понял, что из всех действующих лиц — живых и мертвых — писатель именно он, она, и доказал это.

<1973>

Вскоре Варлам Тихонович уезжает в Коктебель, и я провожаю его на вокзале.

Мы как-то отдаляемся друг от друга... Его письмо 1974 г. перед отъездом в Коктебель полно поручений и забот — это понятно, ведь первая дальняя поездка после 1953 года. Он волнуется, как уехать, как доедет, но все равно полон решимости реализовать льготы Литфонда, ведь в 1973 году он вступил в Союз писателей.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

13 октября, 1974 г.

Ирина Павловна!

Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина или Грина, или, скажем, Овидия Назона, а также и деятелей ракетостроения.

Я хочу просто ощутить собственной кожей — будет ли там писаться столь же продуктивно, как и в каменной городской Москве. Если да, то можно будет будущей весной с началом купального сезона уехать туда. Пла-

вать, опережая Серебряный Бор. Если нет — в Крым я больше не ездук.

К сожалению, как это всегда бывает при реализации всяких заоблачных планов — меня ждёт ряд сюрпризов:

1) с половины октября поезда на Феодосию ходят не два раза в день, а *один раз через два дня*. Самолетных рейсов в Феодосию нет — как было бы в Симферополе. Такое резкое изменение расписания сразу привело к пробке при заказе билетов — бой у *предварительной* кассы на Курском вокзале — еще тот бой! Билет в одну сторону! Никаких обратных рейсов! Схватки у касс напминают Магаданские, Оймяконские бои, — никаких купейных! Благодарю за плацкартные!

2) Поезда только по четным числам! Я купил на 14 число, вместо 15 (или 16) с расчетом на то, что точно такая картина знакома Дому творчества, и они примут и раньше на сутки. И автобус пришлют. А в крайнем случае — я переночую в Феодосии. В моей жизни тысячу ночей проспал я на вокзалах. Если вписать лишний город в этот список, то это только плюс — и городу, и мне, и миру.

Но, конечно — все транспортные беды впереди и кончатся, очевидно, только с возвращением в Москву — пришлось взять поменьше вещей, чем мне хотелось. Я напишу оттуда, как всё сложится. И прошу получить по рецептам лекарство в установленные сроки, я забыл предупредить П. А.* о своём отъезде за три дня — сюрпризом.

Благодарю, с уважением, *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Коктебель, 20 октября, 1974 г.

Ирина Павловна.

Все мои надежды сбылись. Здесь оказалось даже лучше, чем мог предполагать, и я уже написал немало стихов, не выбиваясь из своего рабочего ритма.

Прозы еще не трогал, но чувствую, что и с прозой дело пойдет.

Кавказ мне был всегда неприятен, а в Крыму я никогда не бывал. Это — совсем, совсем другой климат. И по дыханию, по самочувствию, и по легкости входа в

* Пелагея А. — соседка В. Т. Шаламова.

работу, при уверенности в ее разгаре при отличном настроении. Голова не кажется тяжелой ни одного часа.

Не могу без омерзения вспомнить Сухумской бухты, где плавают трупы мертвых кошек, и кажется, волны выносят на берег какую-нибудь дрянь.

Здесь кошек много, лежат в кустах, ходят неспешно, чистенькие, опрятные, как всё татарское, всё мусульманское.

Загорал в Сухуми я хорошо, но как-то неприятно, как бы насильно. А здесь я загораю в брызгах пены соленой. Купаюсь с утра, пока вода еще теплая. Вчера был штитель полный и я подальше плавал.

Коктебель — это маленькая бухта. В ней нет чувства океана — этой дерьмовой вечности. Море — здесь не такой уж большой хозяин, как в какой-нибудь бухте Провидения, да и не в Сухуми тоже. Если море и стучит всё же ежедневно в Коктебеле в полукруглую бухту берега, ревет затем, чтобы человек не забывал, что, кроме Коктебеля, есть и другие места, более худшие.

Море здесь — многоцветно и совсем не похоже на мрачное, серое, угрюмое море Охотска и на серо-синий сухумский берег.

Здесь море — светло-зеленое, белое, черное, синее, красное, желтое, темно-зеленое. Всё это переливается друг в друга на твоих глазах.

Галька на пляже тоже пестра и многоцветна.

Здесь есть галерея Волошина, но я пойду туда в самый последний день, чтобы не портить собственного взгляда. Здесь много экскурсий — в Бахчисарай, в Судак, в Новый Свет, в Севастополь, в Феодосию. Мысленно начертил все свои крымские дороги.

Питание здесь прекрасное, четырехразовое, правда это — кузница здоровья скоростным методом, находиться в столовой сверх положенных часов — даже минут — не дают.

Этот метод в кузнице здоровья я охотно одобряю и следую всем правилам. Глотать я еще не устал.

Оказалось, что важно быть членом Союза писателей — в этих Литфондовских путевках много градаций, но я иду по высшей форме, как элита этого дома творчества, и поэтому поселен в огромной комнате метров 20, да еще с такой же террасой, с шезлонгом, с креслами пластиковыми. В комнате письменный стол, диван, кровать, тумбочки. Всё с электрической подводкой. Мебель не модная, но добротного славянского стиля. Дом — од-

ноэтажный, так что у меня целое крыло. Важная новинка этого дома — отдельная уборная — новенький умывальник, только что пристроен к дому.

Правда, кран течет, но он ведь течет и в Чертанове. Тишина тут идеальная. Дом наш в десяти шагах от моря, от пляжа, от столовой.

Температура +20, воды +20 — так что я догнал лето. Мне очень плохо досталась дорога в купейном вагоне. Место по ходу поезда было перечеркнуто моими соседями, которые пьянствовали целый день, пока, упившись, не свалились на койки. Какой-то феодосийский шеф в заграничном костюме, а при нем его секретарь — анекдотчик, попроще и победнее.

На приглашение присоединиться к компании пришлось вспомнить Бакунина.

Зато в Феодосии не пришлось долго ждать, через 20 минут я был уже в Доме творчества. Возможность здесь обеспечивается самой администрацией, и таких, как я, без обратных билетов много. Шлю привет, с уважением. *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Ирина Павловна!

В Коктебеле 26 октября 1974 года было 23 градуса тепла и безоблачное феодосийское небо. Вчера я ездил с экскурсией в Феодосию. Экскурсия тоже скоростная, как и здешний лечебный, или по-украински — ликувальн^{ый} метод. Питание здесь тоже скоростное, и хотя пускают только во фраках и при галстук^е за «ликувальн^{ые}» столы — четыре раза в день по часу, и гонят назад всякого, кто опоздал.

С экскурсией (по числу мест в автобусе на тридцать шесть человек) были направленные, вернее, принятые на вокзал в Феодосию из рук шофера.

Экскурсовод спортивного типа, а так как в нашем автобусе трое безногих, два хромы^х, один безрукий, пять глухих, — все не могли успеть за бодрой скачкой экскурсовода.

Выехав в 9.30 из Коктебеля, группа «на всё про всё» в Феодосии успевает вернуться в Коктебель в 1.30 — к началу ликувального обеда.

Феодосия здесь, конечно, самая популярная, а вообще на базе Литфонда этого же Коктебельского берут заказы (и выполняют) по всему Крыму — и Керчь, и Су-

дак, и Новый Свет, и Севастополь, и Южный берег — пароходно-пешие маршруты.

Час, проведенный в Коктебеле, стоит, наверное, года любого другого места.

Экскурсовод, естественно, скороговоркой работает на Айвазовского — кроме истории самого города. Предлагает он музей Грина (тем же скоростным способом), но я не пошел. Экскурсовод предложил или этот музей, или час полной творческой свободы своим клиентам. Все выбрали свободу, т. е. пошли на рынок, а я — в книжный магазин. Книгами Коктебель торгует довольно бойко, а на 24 октября было продано 5 книг «Д. П.» — 1974 г., что, кстати, большая продажа для такой книготорговой точки в Планерном.

Считаю, что Волошинскому Коктебелю не суждено конкурировать в истории и в географии с Планерным. В соревновании трех стихий — моря, неба и земли — выиграло небо — планеры, самолеты и ракеты.

И как бы ни было прекрасно зеленое коктебельское море, как ни глубока и заманчива шахта Карагаза, будущее не за ними, а за воздухом.

Никаких изданий об авторе поэм, посвященных тому, которое было подарено мне когда-то, — здесь нет в помине.

Каталог Волошина, выставки двухлетней давности, издан в 750 экземплярах и купить, конечно, немислимо. Зато Феодосия к своему 2500-летнему юбилею рискнула выпустить открытки тиражом 190.000 экземпляров. Но не помогли и двадцать пять феодосийских веков — открытками этими завалены все магазины, хотя набор открыток хорош и дешев — десять открыток — 32 коп. Но 190.000!!!

Вообще в музее Айвазовского представлены очень хорошо 60 замечательных акварелей. (А всего их более 200 у Марии Степановны* в доме). В музее Айвазовского — 500 картин хозяина. И ты наглядно видишь, что два различных мира, различных художественных мировоззрения и решения <тут>.

Конечно, в пользу Волошина.

Это выглядит, как удачная художественная диверсия — с убедительной победой территории классика и мариниста.

Современника четырех царей, свитского и светского господина.

* Марии Степановны Волошиной.

Один — весь навар, весь поиск выносивший каждый день на бумагу свои художественные наблюдения, исследовавший каждую тень в морских волнах с помощью своего художественного дневника. И рядом с ним классика — Айвазовский, который рубал в парижских гостиницах свои морские виды, не желая знать моря и нарубал 6666 картин. Пережив четырех царей, умер с кистью в руках в возрасте 83 лет 2 месяцев, создавая очередную картину, разумеется с «сюжетом».

Я купаюсь каждый день с утра еще до завтрака. Вода теплая совсем. Тут есть пловцы разного вкуса: одни любят купаться в бурю — в волнах прыгать. Никому здесь купаться не запрещается. Шлю привет. *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

30 октября, 1974 г., Коктебель.

Вчера я был на могиле Волошина. Принес туда от Зеленого залива и бросил свой камень за каменную изгородь, которой окружена могила. Это как бы клумба цветочная, но всё здесь — из камня.

В загородке камней немного, невысоко засыпано. И, наверно, ритуал был таков — чтобы каждый прохожий бросил свой камень, как бросают цветы и насыпают курган. Мой камешек надо повторить миллион раз, чтобы он занял какое-то место в этой просторной загородке, поднял общую ее площадь.

Смог туда зайти. Взял к себе с могилы несколько камней. У меня их целая минералогическая коллекция: 1) выбранные за красоту, 2) горсть случайных камней, 3) камни с волошинской могилы. Всё это, к счастью, камешечки и большого груза не составят.

Никто из отдыхающих не мог мне показать эту гору. <Тропу> показывали и служащие городские — несколько. Даже библиотечарша неуверенно указала. Но гардеробщица — сразу указала твердо. И, дождавшись сухого дня, — там глина, грязь, — я пошел не быстрым и не медленным шагом. И прибыл к могиле через все перекаты, провалы, мосты и овраги, ручьи и реки, крутизну и стремнины, обрывы и пропасти через 45 минут.

Обратно, вниз шел уже медленно. На эту дорогу ушло 1 час 15 минут.

Литфонд мог бы устроить экскурсии такие для каждой группы отдыхающих. Ведь картины его, акварели

входят в феодосийский вояж или круиз, что ли. Всегда ведь есть менее морские и более горные дни.

Волошин умер от воспаления легких, так что мой упрек в неподготовленности пешеходного сердца — несправедлив.

Местный фотограф, который обслуживает тут отдыхающих, отказался снять могилу Волошина, хотя всё это я предлагал оплатить. Часа ходьбы не под силу.

Ветер, правда, там здоровый — прямо сбивает с ног у могилы. И отпугивает многих экскурсоводов.

Только написал это письмо и вдруг нахожу в почтовом ящике гостиницы письмо из ЦГАЛИ на свое имя. Вот здорово! Только этого мне для моего крымского блаженства и не хватало. Шлю привет. *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

31 октября 1974 года.

В Новом Свете мне, увы, наверное, не придется побывать до следующей своей поездки в Коктебель. Сырость и осень. Уже и купаться — холодна вода, я <надеваю> куртку, теплее одеваюсь.

Вот стихи:

В этом каменном крошечке
Поищу и найду:
Брошу камень в Волошина —
Халцедон на ходу.

Исполняю я весело
Погребальный обряд,
Над могилою Цезаря
Проходящий солдат.

Ухватив крепко за полы
Ветры тащат меня,
Чтоб я выполнил заповедь,
Повеление дня.

И минуту молчания
Отсчитаю свою.
Я ведь не для прощания
У могилы стою.

И продутый, пронизанный
Ста ветрами подряд,
Успокоенный бризами,
Возвращаюсь назад.

30 октября 1974 год

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 2 марта, 1975 г.*
Ничего, кроме любви
и благодарности
в моем сердце не хранится.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Ирина Павловна.

Только что я совершенно неожиданно и случайно приобрел этот, столь необходимый мне двенадцатый номер «Иностранной литературы» с «Чайкой Джонатан»²³.

Поэтому прошу принять Вашу посылку назад и оставить у себя «Джонатана» с глубокой моей благодарностью за помощь, которая была мне нужна крайне срочно.

С глубоким уважением

В. Шаламов

Москва, 5 декабря, 1975 г.

В 1976 году я расстанусь с В. Т. «по взаимному согласию». Ю. А. Шрейдер предлагает ему для услуг по хозяйству какую-то женщину, и я с облегчением выражаю свое одобрение. Но время от времени он пытается меня вернуть. Присылает подарок — сумку, вспомнив о моем дне рождения.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 27 октября, 1977 г.

Дорогая Ирина Павловна.

Получил Ваше письмо с большим волнением.

Конечно, я ничего не забыл, интересуюсь Вашей жизнью и жизнью Вашей семьи. Помню я, что мы не виделись более 3 лет, а не год, как вы пишете. Поэтому шаг для возобновления знакомства и дружбы должен быть следующим.

Вы приезжаете ко мне в любой удобный Вам день и час, и мы обо всем поговорим. Жду Вас.

С сердечным уважением *В. Шаламов*

* Письма, написанные с 20 сентября 1974 г. по 31 октября 1974 г., были присланы в Центральный государственный архив литературы и искусства на имя Ирины Павловны Сиротинской.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Я хотел вручить эту книгу²⁴ Вам лично — ну, что ж не судьба. Шлю свои лучшие поздравления. 30 октября, 1977 г. *Шаламов*

Посылает книжку «Точка кипения» с дарственной надписью: «Моему верному другу и товарищу с глубоким волнением».

Я также ответила ему письмом, и он пишет в ответ, что мы не виделись более трех лет (ошибается, прошел только год), и предлагает возобновить дружбу.

1978 год — опять меня зовет.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 2 марта, 1978 г.

Был счастлив получить письмо к 2 марта.

Готов встретиться с Вами в любой удобный для Вас час.

С уважением и признательностью.

В. Шаламов

Он действительно хранил каждую мелочь, к которой я прикасалась: записку с песенкой, рисунок, стихок, «медведиков»... Песенки мои сопровождали меня всю жизнь. Я убирала, стирала, готовила, напевая о другой, далекой жизни, которая где-то была, ушла по другой тропинке от меня и потерялась, как девочка с пушистыми косичками. 2 марта — день нашего знакомства в 1966 г.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

Москва, 9 марта, 1978 г.

Почерк мой тороплив и плох из- \langle за \rangle усталости, \langle когда \rangle хожу.

Ира!

Если ты получишь это письмо — то как-то откликнись — мне надо знать.

Ты меня раз просила сказать, какие мои стихи относятся к тебе. И я читал эти стихи-близнецы.

Не все это в печать попало, конечно.

В «Точке кипения» твои два стихотворения:

1. Она ко мне приходит в гости...

2. Не суеверием весны... Написал осенью <о> твоим звонке.

Пусть будет мне всегда легка
Неосторожная рука,
Звонящая в звонок стиха,
Резка, разумна и гулка.

«Не суеверием весны» написана еще на Хорошевском шоссе <до 1972 г.>

«Она ко мне приходит в гости...» — на Васильевской, где я и сейчас живу.

Стихотворение «Она ко мне приходит в гости...» в высокой степени квалифицированное. И Ваше хранил всё, хранил след твоих рук, я берег даже лекарство, подушку с заплаткой на скорую руку.

Я все помню и благодарю судьбу за встречу с тобой.

В наших свиданиях, а ты на них за десять лет не опоздала ни разу, мне особенно памятна «Аптека», где мы виделись и зимой, и летом. Где я тебя всегда видел издали по спуску с Песчаной.

Ну, целую.

Недавно я случайно заходил в эту аптеку — все повторилось.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — И. П. Сиротинской

21 июня, 1978 г.

И<рина> П<авловна>.

Не хочу нарушать сформулированного тобой закона о моей «сумкомании» и шлю очередные предметы «почтой», которые придут, наверное, позднее этого письма.

За твое письмо — благодарю. Я все, все помню, и рад сведениям о пионах.

Пришли мне твои новые песенки — они всегда были самыми настоящими в строгом смысле — стихами. Я песенки эти собирал, но сейчас под руками их нет.

Твои письма с Крымского берега у меня хранятся все. Но с Памира, из Таджикистана — у меня никаких

писем нет. Почему же? Могла бы бросить открытку в каком-нибудь Душанбе.

Твое-то письмо я ждал и благополучно его получил, почтовые штампы — 18—19 —20 — то есть вчера разорвал этот конверт на ходу — на Центральном телеграфе.

В<арлам> Т<ихонович> любил мои песенки, которые я напевала. Были веселые и грустные — мой милый маленький мир, который легко, как невидимое облачко, поддерживал меня в моей перегруженной заботами жизни.

Забота, забота, каждый день забота:
Уборка, стирка, варка, работа.
Нет ботинок, денег, долги, разводы.
И каплет время, и жизнь уходит.

И «отвлекательная» от повседневного быта:

И тихое бесстрашие покоя
Мне душу наполняет, словно ветер —
Свободный парус. Дальнею рукою
Мне машет друг, единственный на свете.

Одну или две песенки В. Т. записал в свои «Толстые тетради».

Я приходила к нему иногда, приносила еду, как он просил, следов уборки не было, зато были следы хищений: пропала пишущая машинка, книги, часть бумаг из архива.

Хорошо, что в это время самое ценное было уже в ЦГАЛИ, а перед отъездом в интернат В. Т. отдал и все остальное. Но лакуны в архиве есть: как теперь ясно, трудились не только сотрудники КГБ, но и «друзья».

Перед своей смертью Ю. А. Шрейдер принес в РГАЛИ чемодан рукописей В. Т. (маш. экземпляр) и всю свою переписку с В. Т. А инкогнито офицер КГБ передал часть архива В. Т. в Вологодскую картинную галерею. Эти части архива присоединены к фонду В. Шаламова в РГАЛИ.

В<арлам> Т<ихонович> очень похож на все, что он писал — прозу, стихи, письма. Он прав, когда говорил, что он «летописец своей души». Здесь, в его письмах, тоже часть его глубокой, неисчерпаемой души. Я надеюсь, что он одобрил бы публикацию нашей переписки.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Зайва* Л. В. — женщина, убиравшая у В. Т. после моего ухода в 1977—1979 гг.

² *Зеленина* Наталья Юрьевна (1929—2002) — подруга И. П. Сиротинской.

³ Подлинники «Колымских рассказов» записаны в школьных тетрадях.

⁴ Бимини — сказочная страна вечной молодости, любви и счастья (См. Г. Гейне «Бимини».).

⁵ «Играю в карты, пью вино, С людьми живу и лба не хмурю. Ведь знаю, сердце все равно Летит в излюбленную бурю...» (В. Ходасевич)

⁶ В Вологде я побывала с экскурсией сотрудников ЦГАЛИ в 1968 г.

⁷ Уезжая в отпуск, я оставила В. Т. кожаную папку с нашей перепиской и добавила к ней записку в несколько строк.

⁸ Незадолго до отъезда мы с В. Т. побывали на выставке работ Пиросманишвили в Музее восточных культур.

⁹ *Зданевич* Илья Михайлович (1894—1975) — поэт и критик.

¹⁰ *Ильин* Лев Александрович (1880—1942) — архитектор.

¹¹ *Петников* Григорий Николаевич (1894—1971) — поэт, футурист.

¹² *Зданевич* Григорий Феликсович (1854—1917) — революционный народник.

¹³ Кинотеатр «Ленинград» расположен недалеко от моего дома.

¹⁴ *Честертон* Гилберт Кит (1874—1936) — английский писатель, один из основоположников детективной литературы. Но в моем письме (уничтоженном), я припоминаю, были рассуждения в духе «Писем к сыну» Честерфильда Филиппа Дормера (1694—1773) и его же «Характеров».

¹⁵ Это письмо я публиковала как эссе, снимая обращение.

¹⁶ *Рейснер* Лариса Михайловна (1895—1926) — публицист, писательница, общественный деятель.

¹⁷ *Бирс* Амброс (1842—1914?) — американский писатель.

¹⁸ *Пацаев* Иван Иванович (1812—1862) — писатель и журналист. Совместно с Н. А. Некрасовым издавал ж. «Современник». Его «Литературные воспоминания», 1861.

¹⁹ Рассказы В. Т. Шаламова. Второй рассказ остался в отдельных набросках.

²⁰ На похоронах Н. Некрасова, по воспоминаниям современников, молодежь кричала, что он «Выше! Выше!» Пушкина.

²¹ Баллада В. Скотта «Замок Смальгольм».

²² Письмо к И. П. Сиротинской, в сущности, рецензия на мемуары Нины Михайловны Ивановой-Романовой «Книга жизни» («Нева», 1989, № 2—4). Это характерная особенность эпистолярного наследия Шаламова: его письма не просто сообщают, но суждения по самому широкому спектру проблем.

В письмах к Б. Л. Пастернаку содержится подробный отзыв на роман «Доктор Живаго», а попутно вкрапления фрагментов этики, эстетики, собственных воспоминаний.

В письмах к А. И. Солженицыну — развернутая рецензия на рассказ «Один день Ивана Денисовича», краткий отзыв на роман «В круге первом», изложение собственного кредо: о лагере — правда и только правда, никаких смягчений.

Так и в этом письме — его собственный взгляд на мемуарный жанр вообще, заметки о стихах и прозе.

«Книга жизни» Ивановой-Романовой — очень искренний, пожалуй, женский мемуар о юности, о любви, и прежде всего — о ее кумире — Александре Николаевиче Афанасьеве (1908—1945?), участнике оппозиции 20-х годов, репрессированном и сосланном в Череповец вместе с другими «большевиками-ленинцами», как называли себя оппозиционеры. Дата его смерти, сообщенная Военной коллегией Верховного суда СССР в 1957 году, вызывает сомнение: его жена Сарра Менделевна Гезенцевой (1908—1937) была расстреляна.

С этими людьми Шаламов был знаком, именно по поручению Сарры Гезенцевой он стал выполнять задания оппозиции, работал в подпольной типографии и был арестован в феврале 1929 года. По этому делу Шаламов был реабилитирован лишь в 2000 году.

Упоминаемый в тексте письма Николай Мартынович Сермукс был секретарем Л. Д. Троцкого, был с ним в ссылке (подробнее см. Троцкий Л. «Опыт автобиографии», т. 1—2. М., 1991).

По просьбе Нины Михайловны я отнесла ее рукопись Шаламову, кажется, в 1973 году. Он написал отзыв в виде письма ко мне, не желая, видимо, вступать в переписку с Ивановой-Романовой: всякое вторжение в его жизнь новых людей он переносил с трудом. Я передала Нине Михайловне это письмо, и оно ее и порадовало, и огорчило невысокой оценкой ее кумира Афанасьева.

Несколько слов пояснения по поводу учителей Нины Михайловны. В. Т. покорило ее суждение о Л. С. Выготском — великом ученом, авторе трудов по развитию мышления и речи, о психологии творчества, а также ее преувеличенная оценка К. Н. Державина (1903—1956) — переводчика, филолога и В. С. Келтуялы (1867—1942) — литературоведа.

Как тщательный рецензент В. Т. отмечает и ошибки Нины Михайловны: Мигель Сервет (1509/11—1553) — испанский мыслитель, врач был сожжен по указанию не Лютера, а Кальвина и др.

Нина Михайловна долгие годы писала мне, прислала стихи о Шаламове, но встретиться с ним ей не удалось. К счастью, ей удалось увидеть опубликованной «Книгу жизни». Последние годы она провела в доме престарелых в г. Пушкине и умерла в 1994 году.

²³ Ричард Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». «ИЛ», 1975, № 12.

²⁴ «Точка кипения». Сборник стихов В. Шаламова. М., 1977.

ПЕРЕПИСКА С С. М. УМАНСКОЙ

С. М. Уманская — В. Т. Шаламову

Уважаемый Варлам Тихонович!

Мне сообщили, что Вы написали воспоминания о Колыме. В одной из глав (под названием «Вейсманист») Вы рассказываете о патологоанатоме Уманском, который составил картотеку родственных слов из 20 языков. Я пыталась в наших библиотеках разыскать Ваши воспоминания, но поиски не увенчались успехом. Хотела сама просмотреть летопись журнальных статей, но областную библиотеку закрыли надолго на ремонт. Хотя Курган — областной город, но трудно найти все журналы. Думаю, что поэтому мои попытки не увенчались успехом. У нас в семье было 9 человек. Самый старший брат — Яков Михайлович — был долгие годы в Колыме. Когда он получил право ее покинуть, он скоропостижно скончался. Я — его сестра — самая младшая в семье. Мне мало довелось с ним встречаться. Но по рассказам я знаю, что брат был очень образованным человеком, знавшим много языков. Мне очень хотелось бы прочитать Ваши воспоминания, ибо я уверена, что Вы писали в них о моем брате — человеке очень трудной судьбы.

Простите, что беспокою Вас. Прошу Вас написать мне, где я могу найти Ваши воспоминания (в каком журнале или в отдельном издании)?

Очень жду от Вас ответа.

25/VII—65 г. *Софья Уманская*¹.

P.S. Живу в Зауралье. Курган (областной), ул. К. Маркса, 90, кв. 29.

Москва, 31 июля, 1965 г.

Уважаемая Софья Михайловна! Я получил Ваше письмо и постараюсь ответить. Яков Михайлович не был человеком «очень трудной судьбы», как Вы пишете. Он был рядовым человеком из 12 миллионов замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода, холода и побоев в концентрационных лагерях сталинского времени. В «лагерном» смысле его судьба была очень благополучной. Яков Михайлович работал врачом весь свой срок, освободился, ни дня не работал на каторжной работе, в забое. В этом «счастье», конечно, сыграл роль его возраст, не только профессия. Умер он вовсе не скоропостижно, а очень долго болел. Постараюсь разыскать письма, которые я получал. Яков Михайлович был самым обыкновенным человеком, порядочным, достойным. Я не пишу никаких воспоминаний и рассказов не пишу, все, о чем Вы слышите, нечто другое, чем рассказы. «Вейсманист» не напечатан пока нигде. Как только будет опубликован, я буду считать своим долгом прислать «Вейсманиста» Вам. С уважением, В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Уманская Софья Михайловна — сестра Уманского Якова Михайловича (1879—1951) — врача-патологоанатома, описанного В. Шаламовым в рассказе «Вейсманист».

ПЕРЕПИСКА С В. Л. АНДРЕЕВЫМ

В. Т. Шаламов — О. В. и В. Л. Андреевым

Москва, 14 августа, 1966 г.

Дорогие Ольга Викторовна и Вадим Леонидович¹. Тридцать дней пролетели с Вашего отъезда — как удержать время, бег времени? Письма (а также и рассказы, романы — все искусство) — это способ остановить, затормозить время, закрепить чем-то удержанное и встреченное, необходимо ставшее заветным.

Это письмо — попытка именно такого рода. Мы простились бегом, и я только после Вашего отъезда сообразил, что не попросил разрешения писать Вам, не сговорился. Однако Наталья Ивановна² — московская наша

хозяйка — дала мне Ваш адрес швейцарский и уверила, что никакой неловкости не будет и вы будете рады моему письму.

Мне очень важен Ваш ответ — я пытался рассказать об этом Ольге Викторовне. Тут целая цепь из утраченных событий, принципов, разорванных с детства связей, немота оглохшей или оглушенной истории. Кроме личной симпатии, огромной, глубочайшей, тут еще много, много другого, утерянного, разбитого и вновь восстанавливаемого по кусочку, по камешку — с тем, чтобы этот домик не был карточным, то, о чем я Вас прошу, Ольга Викторовна — память о Климовой — только часть этого дела огромной важности — дела Вашего отца.

Я прошу Вас понять меня, Ольга Викторовна. Найти время для письма ко мне.

Я прошу и Вадима Леонидовича потому, что его отец только-только начинает ценить память мертвой. О жизни Вашей мы не успели поговорить, может быть, в письме? Или будем ждать будущего года?

Ваш *В. Шаламов*.

Простите за почерк мой. Сердечный привет Екатерине Ивановне, которую Вы, Ольга Викторовна, так хвалили.

Мой адрес: Москва А-284, Хорошевское шоссе, 10, кв. 2.

В. Т. Шаламов — О. В. Карлайл-Андреевой

Дорогая Ольга Вадимовна.

Мой сборник еще не вышел, когда Вы были в Москве³, и я не мог вручить книгу Вам лично.

Посылаю «Дорогу и судьбу» — почтой и прошу принять ее с добрым сердцем.

С уважением и симпатией.

В. Шаламов.

Ольге Вадимовне Карлайль с глубокой симпатией и уважением.

О. В. и В. Л. Андреевы — В. Т. Шаламову

Женева, 7 августа, 1967 г.

Дорогой Варлам Тихонович,

мы получили Вашу книгу. На этот раз она дошла лично. Спасибо! Новая книга хороших стихов — большая радость для Вадима и для меня.

Мы оба ее читаем. С книгой надо пожить некоторое время, вчитаться в нее.

Нам уже попались две подборки Ваших стихов в журнале «Юность», и не без удовольствия видели Ваш портрет.

Среди стихов мне очень понравились:

«Я иду, отражаясь в глазах москвичей...» и «Не удержал усилием пера...»

Встретила и стихи, напечатанные в «Юности», — «Цветка иссушенное тело...» и «Баратынский». Я люблю уже знакомые стихи.

Простите, простите, что я не ответила Вам на Ваше письмо, полученное, кажется, прошлым летом. Оно очень меня обрадовало. И я хотела Вам сразу написать, что помню свое обещание записать для Вас то, что у меня сохранилось в памяти о Наташе Климовой. Это — я Вам говорила — детская память, на уровне 7—8 лет. Но эта память у меня очень остра. Много мне рассказывала моя мама, хорошо знавшая и любившая Наталью Сергеевну.

Я тогда досадно потеряла Ваш адрес — Ваше письмо попало в бездонный омут писем, которые я сохраняю. Вместо того, чтобы попросить Наталью Ивановну прислать Ваш адрес, я продолжала бесконечные поиски среди бумаг.

В начале лета, в мае-июне мы с Вадимом поехали на океан, на остров Олерон, где прошло несколько очень значительных лет нашей жизни. Там было прекрасно! Мы наслаждались океаном и природой, которую мы любили и с которой связались навсегда.

В Женеве в этом году необыкновенно жаркое, чудесное лето, и мы пользуемся им. Вадим много работает по утрам. Затем на машине мы уезжаем в горы, в лес, иликупаемся в бассейне.

Мы думаем поехать в Москву будущим летом или весной и тогда, надеюсь, будем встречаться с Вами.

Всего, всего Вам хорошего. Будьте здоровы и не забывайте нас.

Ваша *Ольга Андреева*.

Дорогой Варлам Тихонович, мне очень нравятся Ваши стихи прежде всего потому, что они не берут за шиворот — внешне они — ох как спокойны, — а ведь уйти от них нельзя. Нравятся они мне потому, что они сильны не внешней, а внутренней силой.

Целый ряд стихотворений Ваших стали «моими» — о великой неизбежности рыбьего нереста Вы рассказали прекрасно. О стланике, о «вписанном круге» (которому я не верю), иные строчки уже бормочу как «свои»:

Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.⁴

Я еще не сжился, а только сживаюсь с Вашей книгой — каждый день открываю новое и мне близкое: вот сегодня открыл «Тополь» и неожиданные в своей жестокости слова — «в окне вдруг стало чересчур светло — я догадался: совершилось зло». Зло от света — повторяю — неожиданно, жестоко — и верно.

Спасибо за Вашу книгу.
Крепко, крепко обнимаю Вас.
Всей душой Ваш *Вадим*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Андреев Вадим Леонидович (1902— 1976) — сын Леонида Андреева. Ольга Викторовна — его жена.

² Столярова Наталья Ивановна (см. переписку с ней).

³ Речь идет о сборнике стихотворений В. Шаламова «Дорога и судьба», М., 1967.

⁴ Из поэмы В. Шаламова «Аввакум в Пустозерске».

ПЕРЕПИСКА С А. К. ГЛАДКОВЫМ

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову¹

Дорогие Эмилия Анатольевна и Александр Константинович.

Спасибо за приветы. Прочел 5-й номер «Прометей». Прочитал и заметки, о которых мы говорили, Александр Константинович.

Сильная сторона народовольцев — в безымянности жертвы. Честолюбие Гончарова не может жить в безымянности: Флеминг у Моруа написан очень тонко. Там есть гений — это Райт². Страсть Флеминга это как бы отпечаток, слепок с вылепленной огнем судьбы неудач-

ника Райта. И без Флеминга Райт остался бы в медицине. Раствор Райта на брюшной тиф, солевой раствор на гнойные раны — раствор Райта — до сих пор не улучшен, известен врачам всего мира многих поколений. Но, увы, — это все же не пенициллин. Это — благодеяние человечества другого масштаба. Райт заслужил открытие своего ученика, без Райта книга бы не написалась. Но все это — аргументы в Вашу же пользу, Александр Константинович.

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Дорогой Александр Константинович.

Книга для Эмы Анатольевны (о Фрунзе) может быть дана Вам в любой день и час и на какой угодно срок. Это желает Э. А. Шлю ей привет.

Привет Ваш Н. Я. я передал. С. Ю. Трифоновым могу повидаться в любое время.

Приезжайте с ним прямо ко мне домой. Я занят только вечером в воскресенье и в понедельник (вечером). О. С. сейчас в Ленинграде, Сережа на даче. В другое время я берю бы одиночество, но сейчас работа не заладилась.

Ваш. *В. Шаламов.*

В. Т. Шаламов — А. К. Гладкову

Дорогой Александр Константинович, адрес мой Вы записали верно: Москва — Д-56, Васильевская 2, кв. 59, а телефон: 2-54-19-25 — если я не буду рядом, то кто подойдет, сможет мне помочь. Я не имею возражений о встрече — когда хотите, могу приехать к Вам в любой час.

Я сейчас занят одним стихотворческим трактатом, так хочу сам написать это стихотворение. У нас вовсе нет никаких трудов по такому, кажется, вопросу — поэтика поэта. Я никогда не был с Ахматовой после ее легкого замечания о золотом веке поэзии³.

Интерес к стиху это ведь не одно и то же, что сами стихи. Ахматовский способ — макулатура мер, о котором столь серьезно Куняев в разговоре с поэтом позволил <говорить>, когда связался с Фединым.

«Война и мир» Льва Толстого — разумеется, прозу ставлю на I ступень.

В «Юности» четыре талантливых поэта, знаю⁴ это.

Гораздо больше и лучше: сотрудники-герои. Злотников, Чухонцев, Ряшенцев, Мстислав, первый был Дрофенко.

Эту всю героическую борьбу со **стиховой** макулатурой [нрзб]. Редакционная работа сушит мозг.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Гладков* Александр Константинович (1912—1976) — драматург, мемуарист, его жена Попова Эмилия Анатольевна — актриса.

² *Райт* Сюалл (1889—1988) — американский генетик.

³ А. Ахматова при встрече с Шаламовым сказала, что «такого *высокого уровня поэзии*, думаю, не было никогда». Шаламов, знаток истории русской поэзии, не мог с этим согласиться. Он считал, что русский читатель «прошел мимо вершин русской поэзии» — тогда не печатался Мандельштам, Цветаева, Кузмин, Гумилев... «Находки новых поэтов часто были давно уже найдены» (Эссе В. Ш. «Поход эпигонов»).

⁴ Натан Злотников, Олег Чухонцев, Юрий Ряшенцев (впоследствии стал учителем — с 1955 г.), Сергей Дрофенко работали в отделе поэзии журнала «Юность».

ПЕРЕПИСКА С М. В. ЮДИНОЙ

М. В. Юдина — В. Т. Шаламову

Москва, 12 июля (29 июня), 1967 г.

[Святых и Всехвалимых Первоверховных Апостолов Петра и Павла]

Дорогой, глубокоуважаемый Варлам Тихонович!

Великое Вам спасибо за стихи, за память обо мне, грешной, за надпись. Стихи — великолепно, многие — неожиданны, яркие, самобытны, везде, везде — Божия правда...

От казни до казни
Спокойно иди.

И иго мне благо,
И время легко...

Ты должен вечно видеть
Чужих страданий свет...

И природа, природа, тварность и София-Премудрость...

(Кстати — пишу, увы, с опозданием, но сегодня и День ангела Приснопамятного о. Павла (Александровича) Флоренского, — «Певца» Софии...)

Еще и еще благодарю Вас за все, **дорогой** поэт!

Опаздываю я везде и во всем: и мне выпадает нелегкая доля осуществлять лишь малую долю мне данных возможностей в искусстве, насыщая таковые, скажем, теологическими размышлениями, — ибо толпой, стеной высятся на моем пути неисчислимыя долженствования именно «света чужих страданий». Значит, так мне на роду написано и надеяться, что:

«Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь...»

Пройдут ли?..

Да хранит Вас Пресвятая Владычица и Заступница наша, Препоблагословенная Богородица, Лоза Истинная, Высшая Небес... Глубокий Вам поклон! Простите. Искренне Ваша *М. Юдина*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970) — пианистка, с 1923 г. — профессор Петроградской, Московской консерватории, Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

ПЕРЕПИСКА С Е. С. ГИНЗБУРГ

Е. С. Гинзбург¹ — В. Т. Шаламову

Москва, 6/9—67

Дорогой Варлам Тихонович!

Только что вернулась с Рижского взморья, где отдыхала месяц, и застала в почтовом ящике нечаянную радость — Вашу книжку. От всего сердца благодарю Вас. Предвкушаю сегодняшний вечер, когда я останусь одна и смогу в нее углубиться. Особенно в то, что написано на Дусканье...

Мне близки Ваши стихи, я искренне рада им. И так хочу дождаться того дня, когда вдруг вот так же неожиданно выну из почтового ящички книжку Вашей замечательной прозы.

Еще раз спасибо. Крепко жму руку.

Извините, что пишу на машинке, но у меня стал такой невыносимый почерк, что было бы просто невежливо писать от руки.

Е. Гинзбург-Аксенова

Телефон мой: АД-1-37-18. Может, когда-нибудь вздумается позвонить?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Гинзбург* Евгения Семеновна (1906—1977) — автор книги воспоминаний «Крутой маршрут».

ПЕРЕПИСКА С В. Г. ВЕЙСБЕРГОМ

В. Г. Вейсберг¹ — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Приношу извинения, что с большим опозданием — я не был в Москве — отвечаю на Ваш замечательный подарок.

Хочу Вам сказать, что являюсь Вашим почитателем. Вы один из немногих русских литераторов, оставшихся верным искусству правды.

С глубоким уважением и любовью *В. Вейсберг*.

25 августа 1967 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Вейсберг* Владимир Григорьевич (1924—1985) — художник.

ПЕРЕПИСКА С М. Н. АВЕРБАХОМ

М. Н. Авербах¹ — В. Т. Шаламову

Москва, 11/ХІІ—1967 года

Дорогой Варлам Тихонович!

Ваше письмо от 4/ХІІ я получил 7-го утром, но только сегодня у меня появилась возможность ответить на него.

Прежде всего хочу объяснить Вам, что никакие «справки» не ускоряют движения очереди на получение жилплощади, и поэтому Ваше предположение, что нами «пропущен год без справок» ни на чем не основано. Вы просто не представляете себе, как все это делается, равно как не представляете и того, что такое «за выездом» (но об этом ниже).

Порядок получения жилплощади таков: 1) заявление в Исполком, 2) рассмотрение его в Отделе учета и распределения, который проверяет все представленные документы, требует дополнительные, проверяет на месте жилищные условия и соответствие утверждений заявителя фактическому состоянию дел, 3) постановка вопроса на общественный жил. комиссии района, начинающей свои заседания докладом начальника Отдела по учету и распределению на закрытом, узком собрании руководства комиссии, 4) обсуждение заявления на широком заседании этой комиссии с участием депутатов райсовета и в отдельных случаях в присутствии заявителя, а как правило в его отсутствие, 5) решение этой комиссии, направляемое на рассмотрение и утверждение Исполкома райсовета, 6) заседание Исполкома, рассматривающего представление комиссии и решение Исполкома, 7) возврат решения Исполкома в Отдел по учету, где заявитель ставится на учет под определенным, очередным, не подлежащим никакой передвигке номером, который может быть ближе или дальше, в смысле конкретного получения жилплощади, лишь в зависимости от категории учета, 8) ожидание, когда подойдет очередь (для категории учета «реабилитированные» это ожидание длится в зависимости от ввода жилплощади в Москве полтора — три года. Я лично, например, пробыл в очереди полтора года, Елена Александровна — 3 года 2 месяца. При этом считалось, что ни я, ни она *совершенно* не имели, где жить), 9) когда очередь подходит, отдел учета по имеющимся у него очередным делам в порядке строгой, не передвигающейся очереди, реализовывает свои фонды, получаемые от Исполкома Моссовета по заявителям и вызывает их к себе для вручения им ордеров.

Когда Вы приходите на наведение справок, в промежутке времени от постановки на учет до представления жилплощади, Вам отвечают: «Да, Вы на учете, но Ваша очередь не подошла». И все! Никаких разговоров с Вами не ведут. И Ваше посещение ничего не ускоряет и

никого не подгоняет. Кроме того, человек, дающий Вам справку, ничего Вам фактически сказать не может, т. к. он не уполномочен принимать никакие решения, будь то хотя бы сам начальник отдела, к которому Вы можете попасть только по предварительной записи, производящейся 1 раз в месяц (во всяком случае, так было до последнего постановления ЦК — месяца два назад — о рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся. Может быть, после постановления ЦК запись производится чаще, но существо вопроса от этого не меняется).

Таким образом, Ваше предположение, что «справки» могли что-то ускорить ни на чем не основаны.

Кстати, Вы можете это легко проверить, обратившись в жилотдел (отдел учета и распределения жилплощади Вашего района) за справкой. Пересильте себя и попробуйте хоть разик такую справку навести. Это, между прочим, нужно сделать, т. к. Вас «взяли на контроль по подбору жилой площади за выездом», а это значит, что Вам могут предложить такую площадь *вне всякой очереди и в любое время.*

Но продолжим нашу письменную беседу по порядку.

Итак, после невероятно трудных хлопот Вас взяли на учет по предоставлению жилой площади «как одинокого» и официально об этом известили. № Вашего дела «Ш-1». Это очередь за Вами остается и, при желании, Вы можете ждать ее, можете ждать, пока наступит эта совершенно точная и определенная очередь, и, когда она придет, требовать от жилотдела комнату в новом доме. Вся беда только в том, что когда она придет — неизвестно. Ныне жилотделы удовлетворяют заявления принятых на учет в 1958—1959 годах. Вы, однако, не пугайтесь, а читайте дальше.

Щады Ваши нервы, да и не желая «хвастаться», я очень многого из промежуточных деталей хлопот Вам не рассказывал и не уточнял ни «тактических», ни «стратегических» деталей нашего дела. Теперь в общих чертах придется кое-что открыть. Вы, вероятно, помните, что Исполком райсовета первоначально отказал Вам в постановке на учет, считая, что раз Вы живете в Москве и приобрели, каким бы то ни было путем, право на постоянную жилплощадь, размером более 3 м² на душу, то Вы уже жилплощадью обеспечены. Мое очень активное вмешательство с использованием всех правд и неправд заставило Исполком райсовета (а последнее слово предоставлено в этом вопросе только ему) вновь вер-

нуться к этому вопросу и передать дело на повторное рассмотрение в депутатскую комиссию Исполкома.

Депутатская комиссия и на этот раз единогласно высказалась против принятия Вас на учет по тем же соображениям, и только один зам. пред, исполкома Кривов, выслушав мое, крайне настойчивое и требовательное выступление, внес компромиссное предложение, которое и было принято, по совести говоря — фуксом, без голосования «за», путем чистой демагогии. Я с первого момента понял, как сформулируют решение, но возразить против него значило бы совершенно угробить дело, и я не стал против него возражать, тем более что должен был играть роль третьей, беспристрастной стороны. Вспомните, что я присутствовал на заседании в качестве работника нар. контроля, к которому случайно и со стороны поступили сведения о неблагополучии в Вашей семье.

Мой план был таков: пусть примут на учет хоть так, пусть формулируют решение как хотят. Потом, пройдет время и к концу года (раньше нельзя), когда все подробности забудутся (а ведь стенограммы никто не ведет), можно будет заговорить об *ошибке, о неправильности принятого решения*, и уже непосредственно в Исполкоме райотдела добиваться его «исправления». Я так и сделал. И 9 октября 1967 года послал зам. пред. исполкома Кривову Я. Д. прилагаемое письмо (о котором Вы не знаете). Прочтите его (и верните мне назад, т. к. оно потребуется для дальнейших хлопот) и Вам станет ясным кое-что, чего Вы еще не знаете.

Ответ на это письмо Вы читали.

По указанию зам. пред. исполкома т. Кривова Вы взяты на «контроль по подбору жилой площади за выездом». Это значит, что Вам могут и должны подобрать жилплощадь «за выездом» *вне всякой очереди*. Вы ошибаетесь, думая, что «за выездом» это что-то очень далекое, что Москва «закрытый город», из которого никто не уезжает, что при переезде в новые дома жилплощади освобождается мало и т. д. и т. д. Из Москвы ежегодно уезжает около 130—150 тысяч человек, а в связи с переездами, смертями и т. д. освобождается очень много комнат, которые иногда месяцами пустуют. Конечно, качество этих комнат не всегда подходит, и Вам не обязательно соглашаться на первую предложенную Вам комнату. Но это уже кое-что! И кроме того, еще не исчерпаны пути дальнейших хлопот и требований. Можно

настаивать на своем праве получения жилплощади как реабилитированному, для чего надо будет обратиться с жалобой на Исполком райсовета (которому по госуд. линии предоставлено право последнего слова) по... партийной линии, написав жалобу в ЦК партии. Что из этого выйдет — не знаю, но может быть, что-нибудь и получится. Можно еще и еще раз обратиться в Исполком райсовета, и хотя, формально, они почти правы, ибо ни одному реабилитированному, имеющему в Москве постоянную жилплощадь размером больше 3 кв. метров, независимо от того, как она им получена, другая жилплощадь уже не предоставлялась, можно пытаться стать ПЕРВЫМ и получить такую жилплощадь. А можно и попытаться получить что-нибудь из категории «за выездом». А вдруг попадетсЯ что-нибудь толковое, годное или для жилья, или для обмена!

Я готов, в пределах своих возможностей, продолжать свои попытки помочь Вам, но мне бы очень хотелось, чтобы Вы не ставили предо мной неожиданных и ненужных преград. А то у нас ведь бывало и так, что я сделаю какую-нибудь и трудную, и нервную, и требующую много времени работу, а Вы, из-за непонятных мне соображений ложного самолюбия («не хочу, мол, просить!» или что-либо в этом роде), или каких-то других, вдруг отказываетесь проглотить уже разжеванное, просите, через мою голову, прекратить рассмотрение поданных документов, или бахаете мне срочную, ночную телеграмму: «оставьте всякие хлопоты...» и т. д.

В наши дни «лирику» и «физику» можно совмещать лишь в газетах (хотя физики без кавычек очень часто интересуются настоящей лирикой, тоже без кавычек). За осуществление Вашего законного права надо иногда и побороться. Ведь даже за зарплатой и то надо пойти в кассу. Никто на тарелочке не принесет. А у Вас иногда получается так, что высшая власть дает Вам какое-то право, но на пути к его осуществлению встает какой-то бюрократ и прохвост, или бюрократы и прохвосты, а Вы, ударяясь в амбиции, отказываетесь от предоставленного Вам права, потому что не хотите «просить», хотя в данном случае речь идет не о «просить», а о — требовать, а Ваш отказ от своего права «льет воду на мельницы» тех же прохвостов и бюрократов.

Так что подумайте, как сделать лучше, и сообщите мне.

Копию моего письма Кривову посылаю, но прошу мне ее вернуть, т. к. лишней копии у меня нет, а отработанные в нем формулировки могут пригодиться.

С сердечным приветом *Авербах*.

М. Н. Авербах — В. Т. Шаламову

Москва, 5/Х-1968 года

Дорогой Варлам Тихонович!

Учитывая трудности длительного рассказа по телефону, решил написать Вам.

Вчера я сделал попытку попасть в «Международную книгу»² и пошел на Смоленскую площадь в высотный дом, где помещаются два министерства (иностранных дел и внешней торговли). Для входа в здание нужен пропуск, за которым я и обратился в бюро пропусков. Там мне сказали, что я должен сначала договориться с нужной мне организацией по телефону, и если она даст мне такое указание, то они выдадут мне пропуск: «Телефон 10-22, звоните!.. Если будете звонить из города, то перед 10-22 надо набрать 244, т. е. 244-10-22».

Пошел тут же в будку, позвонил: «Говорит Авербах М. Н. Мне нужно поговорить с Вами по серьезному делу. Дайте, пожалуйста, указание выдать мне пропуск!» — «А какое у Вас дело?» — «Я Вам изложу его при личной беседе; так не расскажешь». — «Нет, так нельзя! Вы скажите, какой у Вас вопрос в общих чертах, и тогда мы решим, нужно ли Вам к нам подниматься для уточнения деталей!»

Я попробовал возразить. Безрезультатно! «Ну хорошо! Мне нужно поговорить вот о чем: одна западногерманская издательская фирма издала в ФРГ книгу советского писателя, не попросив у него согласия и неизвестно каким путем получив рукопись, которую он предлагал только нашим издательствам. Можно ли и каким путем получить с этой фирмы хотя бы гонорар?» — «Видите ли: СССР не имеет никаких договоров с зарубежными странами об охране авторских прав. Поэтому мы абсолютно ничего сделать не можем. Мы не можем даже запросить фирму — издавала ли она эту книгу, не говоря уж о предъявлении ей каких-либо требований или исков». — «А если фирма добровольно, без всяких исков, согласится уплатить гонорар!» — «Пожалуйста, но не через нас!» Далее моя собеседница, на-

завшаяся секретарем «Международной книги», еще раз повторила сказанное ею, добавив, что вопрос совершенно ясен и личная беседа, а следовательно, и пропуск абсолютно не нужны. На этом, как говорится, «закончилась гражданская война».

Вы мне рассказывали о каком-то писателе, получающем из-за границы гонорары за свои произведения. Это, по словам моей собеседницы-секретаря «Международной книги», возможно лишь в том случае, если между автором и издательством имеется **предварительный договор**, т. е. тогда, когда автор передает тому или иному издательству свое произведение по договору, официально заключаемому в установленном законом порядке. Надо узнать у этого писателя — что, как и за что, и каким путем он получает.

Затем, по моему мнению, есть еще и такая возможность: написать издательству непосредственно, послав ему заказное с уведомлением о вручении письмо. «Уважаемые, мол, господа! Вы издали сборник моих рассказов, хотя я Вам их и не передавал. Вообще говоря, Вам надо было бы получить у меня разрешение, но раз уж Вы обошлись без него, то не будете ли Вы любезны выслать мне полагающийся в подобных случаях гонорар. Мой адрес такой-то. Примите и пр.».

Может быть, и пришлют! Письмо можно написать по-русски и, при желании, перевести на нем. язык. Это если Вы захотите сделать.

Кроме того, я попробую в ближайшие дни связаться с еще одним учреждением «Кредит бюро», или «Минюрколлегия», как она называется ныне. Может быть, она примет на себя, за установленную у них плату, защиту Вашего *частного* иска. (Конечно, до иска еще далеко, пока что только разговоры в порядке «разведки», выяснения существующих законов и положений.)

Вот пока и все, если будет у Вас что-нибудь новое, какие-либо неизвестные мне данные или обстоятельства, сообщите! С приветом *Авербах*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Авербах* Моисей Наумович — друг Я. Д. Гродзенского, отбывал срок заключения на Воркуте. В 60-е годы на общественных началах работал в жилищной комиссии Моссовета.

² Авербах М. Н. пытался помочь Шаламову получить гонорар за издания, выходявшие за границей без согласия автора.

В данном случае речь идет об издании «Колымских рассказов» Шаламова в книге «Artikel 58. Die Aufzeichnungen des Häftlings Schalanow» / Übersetzung Gisela Drohla (Köln: F. Middelhaue, 1967); этот же перевод был переиздан под названием «Kolyma. Insel im Archipel» (Langen: Mueller Verlag, 1975). Это же издание повторено в 1969 году издательством «Denoël», затем французским издательством Les Lettres Nouvelles — Париж, Brombergst (Швеция), Ullstein (Германия) и др. издательствами, которые и после 1972 года вплоть до смерти автора не прислали Шаламову ни рубля из гонораров, обрекая его на нищету и интэрнат для престарелых. Так же действовали и русскоязычные издательства: Overseas Publications Interchange, 1978, Ymca-Press, 1982, «Новый журнал», десять лет публиковавший рассказы В. Шаламова.

Впрочем, они имели поддержку секретных агентств США и более заботились о политических целях, чем о поддержке больного и старого Шаламова.

ПЕРЕПИСКА С О. Н. МИХАЙЛОВЫМ

В. Т. Шаламов — О. Н. Михайлову

Дорогой Олег Николаевич.

Благодарю Вас за рецензию¹ в «Литературной газете». Формула Ваша отличается от концепции Адамовича² (автор готов «махнуть рукой на все былое»). Я вижу в моем прошлом и свою силу, и свою судьбу, и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может «махнуть рукой» — стихи тогда бы не писались. Все это — не в укор, не в упрек Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна и — раскованна.

Сборник стихов — не роман, который можно пролистать за ночь. В «Дороге и судьбе» есть секреты, которые открываются не сразу. Да еще 20-летней давности. Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихикалки, стихи-инвалиды (как и в прошлых сборниках). «Аввакум», «Песня», «Атомная поэма» («Хрустели кости у кустов»), «Стихи в честь сосны» — это куски, обломки моих маленьких поэм. В «Песне», например, пропущена целая глава важнейшая и в конце не хватает трех строк. В других поэмах ущерб еще больше, а «Гомер», «Седьмая поэма» и к порогу сборника не подошли.

Нарушением единого тона сборника было включение стихов, написанных на Колыме в 1949 и 1950 годах: «Чучело», «Притча о вписанном круге» и еще несколько из моих архивных тетрадей. Но лучше было включить эти стихи, как след настроений тех лет и как доказательство, как трудно на Колыме было складывать буквы в слова. В свое время Пастернак был против «Чучела» и понял все только при личной встрече.

В сборнике есть два «прозаических» стихотворения («Прямой наводкой» и «Гарибальди»), заменивших старые стихи о Цветаевой. Я написал более тысячи стихотворений. А сколько напечатал? 200? 300? — отнюдь не лучших. Я пишу всю жизнь, но несколько сот стихотворений утрачено (как и несколько десятков рассказов). Сохранившиеся стихи 1937—1956 годов «Колымские тетради»³ — их шесть — смею надеяться — страницы русской поэзии, которых никто другой не напишет. Теперь о поэзии мысли. Мне представляется крайне важной эмоциональная сторона дела, чувства, которые исследуют стихом и только стихом в пограничной области между чувством и мыслями, составляющие суть, на мой взгляд, творческого процесса. Ведь рабочий процесс поэта более отбрасывание, чем поиски. Мне кажется также крайне важным звуковая организация стиха, ритмическая его конструкция. И о том и о другом я не только не забываю, но добиваюсь обязательно нужных результатов. Только это не аллитерация, не экспиральность типа мир—мор, которые и Цветаеву портили (и задушили ее эпигонов), как бы они ни брэнчали (в отличие от бряцания Цветаевой) оружием, весьма примитивным, элементарным оружием из огромнейшего поэтического арсенала.

Чтобы не искать примеров далеко — вот стихотворение «Лицо», которое нравится Вам и которое Вы считаете «программой» для меня. Ведь в этом стихотворении все насквозь прорифмовано, ассонированно. Без внимания к этой стороне дела у меня нет стихов. Мне кажется даже, что любой поэт в любом стихотворении ставит какую-то — малую или большую — техническую задачу и разрешает ее. Эта задача может быть разнообразна: тема, рифма, мысль, ритм. Всегда хочется вставить в строку какое-нибудь многосложное слово, прозаическое до демонстративности. Но я горжусь и тем, что звуковая организация стиха, звуковая опора стихотворения в моих стихах существует как бы позади мысли, внутри мысли. При проверке строка оказывается более совершенной, чем казалось на первый взгляд, и

это должно дать читателю дополнительную радость, ту самую радость точного слова, которая важнее всего для человека, работающего над стихом, над словом. Стихи — это всеобщий язык, стихами можно сказать (а главное — найти!) многое, чего не найдешь прозой.

На свете есть тысяча правд, но в искусстве есть только одна правда — правда таланта.

Вот и все. Спасибо Вам большое. Осталось еще сказать, что у меня нет равнодушной пушкинской природы (она была еще у Пастернака) и что пейзажная лирика — лучший род поэзии гражданской.

В части моих учителяи Вы, ей-богу, ошибаетесь. Это вся русская лирика начала века вместе — Анненского, Фета, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака — их оружие — только в юности, только в начале пути. А вершина русской поэзии — Тютчев Поэт для поэтов — это жизнь. И пока нет своего языка — нет поэта. Вопрос поэтической интонации — главное в поэзии. Поэтическая интонация — это не стиль, но это и не объяснение, которое дается в литературоведческом словаре, а гораздо шире, глубже, особенней.

Сердечный Вам привет.

Ваш В. Шаламов

Еще решил дописать для Вас страничку — о прозаических моих опытах, о судьбе русской прозы. История русской прозы XIX века мне представляется постепенной утратой пушкинского начала, замены пушкинской формы описательным романом, смерть которого мы наблюдаем в наши дни. В этом разрушении и подмене пушкинского начала сыграли большую роль два человека — Белинский и Лев Толстой. Белинский думал, что стихи можно объяснить прозой, а Лев Толстой — вершина описательного романа — принцип описательности, поставленный во главу угла. Мне думается, что проза Белого и Ремизова была единственной русской прозой — восстанием против канонов русского романа. И Бунин, и Чехов использовали всю до конца возможность описательной прозы. Лев Толстой клялся в верности Пушкину («Гости съезжались на дачу...» и др.). Но в своих романах и повестях фраза была враждебной пушкинским опытам, пушкинским началам.

Я думаю, что сейчас читателя, пережившего Хиросиму и концлагеря, войны, революции, сама мысль о выдуманных судьбах, выдуманных людях приводит в раздражение. Только правду, ничего, кроме правды.

Документ становится во главу угла, без документа нет литературы. Но дело даже не в документе (который захватил даже театр). Документа мало. Должна быть документальной проза, выстраданная как документ.

Эта проза в своей аскетичной чистоте тона отбрасывает все и всяческие побрякушки — есть возвращение — через сто лет к пушкинскому знамени, к пушкинским повестям, об утрате которой с такой тревогой напоминает Достоевский.

Свою собственную прозу я считаю поисками именно в этом пушкинском направлении.

Ваш *В. Шаламов*

Москва, 2 февраля, 1968 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Михайлов* Олег Николаевич (1933—2013) «По самой сути бытия». — «ЛГ», 1968, 31 янв. (О сборнике стихов Шаламова «Дорога и судьба», М., 1967).

² *Адамович* Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, критик, в 1923 г. эмигрировал. О Шаламове его статья «Стихи автора «Колымских рассказов». — «Русская мысль», Париж, <24> авг., 1967.

³ «Колымские тетради» опубликованы полностью отдельным изданием в 1994 г. (изд. «Версты»).

ПЕРЕПИСКА С Ю. А. ШРЕЙДЕРОМ

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру¹

<8.02.68>

Дорогой Юлий Анатольевич!

Спасибо Вам на добром слове. Я не апостол и не люблю апостольского ремесла. Беда русской литературы в том, что в ней каждый мудака выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского считаются делом второстепенным.

Не в телевизионных экранах тут дело, а в публикациях. Это единственная не призрачность.

С глубокой симпатией

В. Шаламов

Привет Т. Д.

16.03.68

Дорогой Варлам Тихонович!

Мысленно я продолжаю наш разговор и потому обращаюсь к бумаге. Стержень нашей беседы состоит, мне кажется, в том, что в нашем обществе литература играет особую роль. Каждый российский интеллигент (полунинтеллигент, четвертьинтеллигент) ощущает необходимость иметь мнение о литературе. Хотя существует масса вещей, казалось бы, не менее важных, о которых мы можем не иметь никакого мнения. Большинство не имеет никакого мнения об истории общества, философии, смысле своего существования. Но о литературе каждый имеет довольно категоричное мнение.

...Можно говорить, что это плохо или хорошо, но это так есть. Литература воспринимается как часть действительности, которую можно принимать или переделять, но нельзя обойти. Я не могу встать над своим обществом и так или иначе принимаю его основную позицию. Все что я могу — это осознать ситуацию, и в этих рамках найти осмысленную точку зрения.

Ваше право писателя выбирать свою исходную позицию — считать ее учительской или художественной. Будь я семи пядей во лбу, я все равно не мог бы, не имел бы права ее обсуждать. Я могу лишь рассуждать о реальной значимости произведения, о смысле, который может быть воспринят внешним наблюдателем.

С такой точки зрения мне кажется уместным деление на литературу «протезов» и литературу «магического кристалла».

Первая поставляет протезы действительности. Поэтому правдоподобие, прямолинейный реализм или, в двойственном варианте, очевидный пряничный эстетизм необходимы для такой литературы. Одним удастся больше, одним меньше, но все хотят того же: сделать модель мира и на ней решить все проблемы. Навязать решение. Любопытно, что А. Жолковский, находясь под влиянием ОПОЯЗа, пишет: «Мы же хотим представлять себе всякое художественное произведение как своего рода машину, обрабатывающую сознание читателя» (Труды по зн. системам, вып. 3, Тарту, 1967, стр. 146). Обратите внимание, как смыкаются здесь эстетическая точка зрения (формальная школа) и кондовые реалисты.

Это их общая платформа: обрабатывать сознание читателей, учить жизни, говоря Вашими словами.

Есть совсем другой вид литературы. У нас, в России, он идет от Пушкина. Здесь нет речи о моделях. Здесь происходит чудо — конечный набор букв передает бесконечность духа. Чудо не нуждается в правдоподобии — оно убедительно само по себе. Метод формально возможен любой: натуралистический, фактографический, абстрактный. Суть в художественной задаче. В прошлом веке Пушкин, Гончаров, Достоевский, затем Лесков. В нашем — Зощенко, Платонов, Вы <...>

Тут, естественно, вспоминается, что говорит Н. Я. (Мандельштам) о природе трагического. Искусство протеза несовместимо с трагедией. В модели нет понятия безысходности, крушения мира. Модель всегда можно подправить, улучшить. Если мой мир не совсем таков, как мир — протез, мир — эталон, то мне просто не повезло. Это не уютно, но и только. Если же через магический кристалл я увидел несовместимость явлений моего мира, то это трагедия. Трагедия, где ничто не исправляется, где трещина идет по самой сердцевине.

Трагедия Гамлета не в том, что у него подлец отчим, узурпировавший отцовский престол. Это было бы простое невезение. Трагедия в том, что он не может наказать Клавдия, не разрушив собственную личность. Гамлет-убийца не может править Данией, Гамлет-мститель не может любить Офелию.

Апостольская миссия вовсе не в том, чтобы учить, как жить. Учат жить не апостолы, а фарисеи. Апостол открывает людям мир во всем его трагическом противоречии.

Научить жить, исходя из имеющихся моделей — стереотипов, может всякий. Осознать недостаточность любой модели — этому я учился у Вас. Готовы ли Вы отказаться от такого «учительства» — прямо противоположного учительству жизни?

Мне кажется, что где-то здесь лежит причина несъедобности Ваших вещей для многих. Люди готовы даже менять стереотипы — модели. Но очень трудно отказать от доверия к каким бы то ни было моделям. Остаться лицом к лицу со сложным и трагическим миром. Современному человеку хочется, чтобы в самых кровавых драмах была даже не надежда, а возможность небольшим изменением условий снять трудности. Перевести все из плана реальности в ситуацию «так было бы,

если». В модели это можно. Плохой протез можно заменить хорошим. Только не все сводится к модели, а наедине с Богом быть страшновато. Люди перешли к атеизму не потому, что не нуждаются в утешении, а потому, что боятся всего, выходящего за рамки стереотипа. Другой вопрос, что Церковь создает свои стереотипы — модели. В сущности, я не имел в виду высказывать литературно-критические суждения. Это не мое дело. Но у нас литература заменяет историю, философию, мифологию...

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 24 марта, 1968 г.

Дорогой Юлий Анатольевич!

Простите, что запоздал с ответом — столько происходит событий.

Мне кажется, что особое место, которое литература, потеснившая историю, мифологию, религию, занимает в жизни нашего общества, досталось ей не из-за нравственных качеств, моральной силы, национальных традиций, а потому, что это единственная возможность публичной полемики Евгения с Петром. В этом ее опасность, привлекательность и сила. Искажение масштабов возникает от тех же причин. Культурный уровень, кругозор, запас знаний наших писателей очень невелик («Зоосад», по выражению Гельфанда²). Таким он был всегда. В начале тридцатых годов (1932? 1933?) я был по особому приглашению на первой встрече деятелей науки и художественной литературы. Вечер был в зале старого здания ЦДЛ, который тогда назывался Домом писателя. От науки были братья Завадовские³, Лискун⁴, а из писателей Вересаев⁵ (как специалист, как «кит»), Крептюков⁶, Киришон⁷, кажется. Председателем был Семашко⁸ — трепач с хорошо подвешенным языком, универсал типа Луначарского. Семашко — один из людей, которые прожили интересную жизнь, — встречались с большим количеством крупных людей всего мира и рассказали о своей жизни таким дубовым языком, что любому еще тогда было ясно, что центр письменной речи находился совсем не там, где центр речи устной; ораторский центр.

Мемуары Семашко служат всегда примером анти-мемуаров. После такими же были воспоминания Доло-

рес Ибаррури и будет автобиография Клим Ворошилова. С этого вечера в Доме писателя я храню одно определенное впечатление: деятели науки были в тысячу раз образованнее, свободнее писателей (не в ученых специальных вопросах, что не было бы удивительно), а в узкописательском деле, в вопросах писательской работы, связи искусства и жизни, творческих вопросах. В ответ на сомнения, на вопросы ученых Даниил Крептюков позволил себе подробно рассказать, как он в 1914 г. служил в лейб-гвардии и был в охране Зимнего дворца и наблюдал сцены Каледонской охоты, устроенной великими князьями.

Воспоминания эти переполняли Крептюкова, видно было, что это одно из сильных переживаний его жизни. Вересаев прочел что-то писанное жеваным голосом насчет Гезиода и Вергилия (он, кажется Пушкинскую премию когда-то за эти переводы получил) и не счел нужным даже приставить слуховой рожок к своему уху во время выступления М. Завадовского.

Соотношение осталось тем же до настоящего времени. Ученым, мне кажется, надо иметь собственные курсы по истории литературы — написать, организовать — без писателей, без поэтов. Без груза невежества, самодовольства. Но это все попутно. Вернемся к главному.

Бурное, прямо-таки лавинообразное развитие науки, уходящее все дальше от аристотелевского универсализма, может привести к полной безответственности суждений литераторов о литературе.

Литература ничего не решает, но время наук — вулканическое. Любая театральная постановка может превратиться в общественное событие, стать страницей истории общества. Пример с «Эрнани»⁹ может быть всегда повторен, отдаваясь в миллионах микрофонов.

Из-за этой особой роли литературы в нашем обществе от писателей требуется слишком мало и сил и знаний, и опыта в их писательском деле.

Масштабы смещены чрезвычайно и, казалось бы, нельзя обвинять человека, что он пользуется штампами для полезного дела улучшения людей. Этому его научила русская литература второй половины XIX века — рожденная т. н. гуманистической русской традицией с ее моральными проблемами, нравоучениями.

Это расцвет описательного романа. Знаменосцем этого движения был Белинский, а главным практиком — Лев Толстой. Критик и писатель приучили поко-

ления писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя — это жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу. Русская литература второй половины девятнадцатого века (Достоевский выше, а главное — вне. Никто, как Достоевский, не сыграл роль предупреждения о качествах русской души. Сознание этого, понимание шигалевщины спасло Запад после Второй мировой войны, и заслуга Достоевского тут, несомненно, есть) хорошо подготовила почву для крови, пролитой в XX веке на наших с Вами глазах. Литературоведение наше нуждается в такой капитальной работе — установление истинного места Толстого в нашей жизни, и нашей культуре, и нашей истории.

Бунин и Чехов лишь правили Толстого, подчищали огрехи его стиля. Не больше. Бунт Белого против литературных канонов толстовской прозы — антипушкинской прозы был очень важен! Но Белый не мог решить вопрос, пытался дать новую модель, да еще подключить к этому стихи. Решение вопроса было в документе (позднейший Ремизов — ведь документ).

Во вторую половину XIX века в русской литературе укрепляется антипушкинский нравоучительный описательный роман, который умер на наших с Вами глазах. Никакие попытки не спасут <от> смерти жанр. Однако пока не будет осужден самый принцип описательности, нравоучения — литературных побед нет. Да и чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь, видевшего пламя Аламогордо¹⁰.

Писатель должен уступить место документу и сам быть документом. Это — веление века. Экзюпери показал, как выглядит воздух в «Земле людей». Проза будущего — это проза бывалых людей, а тратить время на выдуманные сложности, на сочиненные судьбы для иллюстрации толстовских идей — просто грешно. Тут все ложь, фальшь. Как только я слышу слово «добро» — я беру шапку и ухожу.

Отражать жизнь? Я ничего отражать не хочу, не имею права говорить за кого-то (кроме мертвецов колымских, может быть). Я хочу высказаться о некоторых закономерностях человеческого поведения в некоторых обстоятельствах не затем, чтобы чему-то кого-то научить. Отнюдь. Но я думаю, что каждый, кто читает мои

рассказы, поймет всю тщету литературных усилий старых литературных людей и схем.

Я учил когда-то ОПОЯЗовские статьи наизусть. Сейчас я этого не делаю, потому что, мне кажется, я добился каких-то важных для литературы результатов, сделал какие-то важные наблюдения не с тем, чтобы превратить их в очередной канон или схему.

Рассказы мои насквозь документальны, но, мне кажется, в них вмещается столько событий самого драматического и трагического рода, чего не выдержит ни один документ.

Для «чуда» нужна многолетняя учеба отбрасывания всего ненужного, ненового. На этом пути и семиотика, и ОПОЯЗ, бесспорно, полезны — помогают сосредоточению в нужном направлении.

Впрочем, один из принципов «новой прозы» — чистота тона, отбрасывание всех и всяческих украшений, заимствован у живописи, у Гогена — взят из его дневника. Тон <теней> обдуман, проверен и применен.

Обвинения в «обработке сознания» я счел бы оскорблением.

Писатель, даже способный, может рассуждать так: я работаю по модели, по толстовской модели. Учю, стало быть, добру, приношу пользу общественную. Мне известно, что читательский успех достигается банальными идеями, выраженными в самой примитивной литературной форме (вроде «чем люди живы» и т. п.). Я так и работаю и имею читательский успех и нравственное удовлетворение. Так вот, писатель так рассуждать не должен. Это — рассуждения эпигона в лучшем случае.

Вот пока и все. Конечно — это тысячная часть того, что можно было бы ответить на Ваше любезное письмо.

Привет Т<атьяне> Д<митриевне>.

Ваш В. Шаламов

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 14 ноября, 1968 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

Не старайтесь меня привлечь к решению разных литературных проблем. В части же информации (не науки, которой Вы служите, а самой обыкновенной, доступной обывателю) я держусь полностью взглядов и правил Марьи Антоновны Сквозник-Дмухановской: «Все равно

через два часа мы все узнаем». Или в крайнем случае завтра из утренних газет. А то, чего не будет в утренних газетах, — не имеет значения реальности.

О раннем Маяковском. Формула Надежды Яковлевны — это ее «Маяковский» штамп, подобно тому, как Солженицын применил бы <в> этом случае свой штамп: «Этого я не читал». Формула эта имеет связь с суждением поэта — человек своего времени, века, среды и ума (или шире). Поэт — человек. Не от этого обстоятельства зависело создание Блоком, Пастернаком, Мандельштамом, Маяковским высококачественной любовной лирики, лирики вообще. Я мало знаю Анну Андреевну в этом плане и стихов ее приводить не хочу. Но я достаточно знаю З.Н.¹¹. Поражаюсь и не перестаю удивляться тому, что стихи из сборника «Второе рождение» вдохновлены именно З.Н. Вероятно, найдется сто или тысяча писем Б.Л. этого времени, переполненных лирическим горением самого высокого градуса. Что лучше для поэта, для литературы, для поэзии — да или нет — ответить мудрено. Напрасно думают, что поэзию рождает неудовлетворенность, неразделенная любовь. Однако претворение живой крови в поэтическое вино — не более, чем легенда, легенда XIX гуманистического века: искусство не облагораживает, не несет никакого «катарсиса», что ясно после лагерей и Хиросимы.

О Тургеневе. Статьи Фадеева я не читал¹². Тургенев разделяет ответственность русских классиков XIX века за кровь, пролитую в XX. Тургенев — писатель средний, очень плохой романист. Среди его французских друзей не было гения... Флобер ведь не Стендаль. Кстати, о Флобере. Флобер внес очень много горячности в тогдашние чисто литературные, профессиональные споры. «Я мечтал написать вещь, которая держалась бы на чистом стиле», — миллион таких высказываний. Это было чистым словоблудием. Для себя он и не думал о такой задаче, о такой попытке. И «Воспитание чувств» и «Мадам Бовари» (не говоря уже о детективе «Саламбо») самые обыкновенные нравоучительные романы, вечно модные, как писали и пишут все. И Тургенев в том числе. Мечты Флобера осуществились позднее. Произведение, которое «держалось бы на чистом стиле» — было написано. Эту вещь написал гений, а не талант. Пруст, а не Флобер. «Поиски утраченного времени» были этим произведением.

Вернемся к Тургеневу. К юбилею было трудно обосновать его заграничную жизнь, его поведение, его друж-

бы и ссоры, привязанности и увлечения. Никудышный романист оставил русской литературе одну удивительную книгу. Это — «Записки охотника». Просто поражаюсь, не устаю удивляться, как одно и то же перо могло написать «Рудин» и «Касьян с Красивой Мечи».

Сочинитель плохих стихов, литературный правщик Тютчева — ни много ни мало — делает попытки создания нового жанра стихотворений в прозе — разумеется, с моралью, с подтекстом, с «идеей», безнадежный драматург.

Литературные качества «Записок охотника» значительны. С. М. Третьяков считал «Записки охотника» знаменем фактографии, документального жанра вообще.

Дорогой Юлий Анатольевич, у меня есть к Вам просьба вот какого рода. Журнал «Советская милиция» хочет напечатать часть «Очерков преступного мира». У меня нет экземпляра, чтобы им дать читать. Не могли бы Вы привезти мне (если у Вас есть) экземпляр «Очерков» — если не совсем, то для перепечатки. Если да, то, пожалуйста, мне позвоните и скажите, как мне получить рукописи.

К сожалению, я не имею сейчас никакой возможности повидаться с Вами так, как хотелось бы и Вам, и мне.

В пятницу я буду у Н. Я. Может быть, Вы там будете.

Сердечный привет Т. Д., дочери Вашей и сыну, а также Вам лично.

С уважением В. Шаламов

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Дорогой Юлий Анатольевич.

Получил Ваше письмо в редакцию «Литературной газеты» — очевидно, Вы хотите знать мое мнение об этом письме? Я с ним не согласен в главном и именно поэтому не хочу влезать в споры.

Ни о каких моральных проблемах я слышать не хочу. После Хиросимы, после самообслуживания в Треблинке и Освенциме, после Колымской и Вишерской лагерной системы — откуда все Треблинки заимствованы — я не желаю принимать участия в разговорах о победе добра, ограниченности зла и так далее.

Человек — существо бесконечно ничтожное, унижительно подлое, трусливое, и деятельность всевозможных футурологов кажется мне ханжеством или спеку-

ляцией, расчетом. Пределы подлости в человеке безграничны. Кошка может изменить мир, но не человек. Особенно моя кошка, Муха, которую Вы, кажется, знали, имела все данные для того, чтобы изменить мир. Но ее убили. Человек прекрасно обходится Птолемеевой системой, и труды Коперника вовсе не нужны для жизни: мне, например, в сущности, все равно — солнце всходит ли утром и заходит вечером или земля вращается вокруг чего-то.

Борнард¹³ молодец, а его турне по Европе, кутежи в парижских борделях еще показательнее, чем его операции по пересадке сердца. Поведение врача — личное его дело. Наука от кутежей Борнарда не пострадает, а только выиграет.

Научный и технический прогресс неостановимы — разве только ядерной бомбой можно это сделать. Советы М. Борна¹⁴ насчет космических полетов кажутся мне, профану, не очень серьезными доводами.

Я приветствую математическую лингвистику, приветствую семиотику и все, что связано с этим движением. Я уверен, что на пути этих наук — и не в конце пути! — будут какие-то важные открытия для языка, а может быть, и для жизни.

Уже то, что есть какой-то новый подход к литературным проблемам, к поэзии и прозе оригинальных разрешений, — важно бесконечно. Это — свежая вода для ртов, пересохших от марксизма. Вода, может быть, и не очень свежая, но глотки-то очень пересохли. Белинский говорит, что «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни», а «Медный всадник» — столкновение личности и государства. А Белый говорит, что «Люблю тебя, Петра творенье» — волшебство заключается в определенном чередовании согласных букв и показывает в высшей степени убедительные примеры частотных словарей наших поэтов. Что звуковая ткань «Полтавы», «Медного всадника» рождает это волшебство. Всякий поэт скажет, что в ней-то и заключается «очей очарование». Это важнее, чем сказать про «энциклопедию русской жизни» и рекомендовать в школьной программе «Воспоминания в Царском Селе», где Пушкина — нет, где поэзия и не ночевала. Лицейский Пушкин — еще не поэт. И вот кибернетики это покажут убедительно. Амосовская статья¹⁵ не слишком умна (книги я не читал), но в ней нет самого худшего: ханжеских рассуждений о победе добра.

И еще: человек — не автомат. Да, наверное, не автомат. Именно поэтому мы не хотим вести разговор о вине, об ответственности. Не хотим в любой форме.

Если для Вас область, где Вы чувствуете себя уверенно — это радары (как Вы сообщили в одном из Ваших писем), то для меня эта область — стихи. Тут меня никто не обманет (проза — это часть стихов). Так вот: в писании стихов необходимо усилие, прыжок на какую-то высшую ступень, и пока она не достигнута, стихи не пишутся — существует лишь версификация. Необходимо нервное сосредоточение, отключение от всего на свете, свободный ход слов. Это состояние и есть способность принимать художественное решение, не поиски — в творческом процессе никаких поисков нет. Есть лишь отбрасывание всего бесконечного, что проходит сквозь мозг. Остается выбранное (записываемое), но это не выбор, в настоящем смысле слова, а лишь подобие выбора. Это эмоциональное мгновенное решение. Состояние это называют иначе — вдохновением и предполагаемым наличием тайны, чуда, озарения — превосходящего силы автора. Но это — не религиозное состояние. Это совсем другое чувство, чувство победы, радости, находки, завершения работы, подавления одного и высвобождения другого в одно и то же время.

Религиозное чувство — это другое. Так вот — занятие пушкинской статистикой, пересчитывание согласных у Пушкина (а согласные буквы для поэта более важны, чем гласные, но это другое) подводит к вдохновению ближе, короче, экономней, чем чтение классиков марксизма или сочинений Льва Толстого, или трудов любого философа.

Поводы появления стихов очень различны, но обстоятельства их возникновения всегда одинаковы — работа на каком-то высшем уровне, вполне, впрочем, человеческом. Обдумывание технических задач приводит к художественным решениям.

В начале Вашей статьи есть ряд правильных замечаний в адрес медицины. Могу увеличить примеры, чтобы не тыкать только в газовые печи и бактериологическое оружие.

Вся лагерная медицина — например, то, что заключенного спасает только врач, и никто больше в лагере, — это не противоречит тому, что лагерный врач и убивает. Разве разоблачение симулянтов-лагерников по приказу не убийство? Ведь симулянт, как правило, — болен (только не этой болезнью), голоден, избит и устал

от холода и голода, измучен до предела. Но лагерный врач не видит ничего, кроме «мостырки» — фальшивой раны. И рана-то не фальшивая, но нанесена с членовредительскими целями.

Борьба с симулянтами — полумертвецами это только один из примеров. Преступления лагерных врачей бывают двух родов — преступления действия (подбор и отправка этапов на смерть в штрафзоны, и многое другое) и преступления бездействия (огромная область деятельности врачей и лагерных санотделов).

Ну, письмо затянулось. Желаю Вам здоровья.

Привет Т. Д.

С уважением В. Шаламов

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Дорогой Юлий Анатольевич.

Прочел Ваши мифы¹⁶. Хотя я и не согласен с главной мыслью, тщательно затушеванной, я одобряю изящество сделанного.

Весной 1937 года в следственной камере Бутырской тюрьмы было много споров именно по этой проблеме. Что движет волей такого Джордано Бруно, что приводит ученого на костер. Я защищал тогда ту точку зрения, что в глубине, где-то на дне души обязательно должен быть какой-то нравственный стимул, какой-то мираж добра, ради которого Джордано Бруно идет на костер. Арон Коган, мой университетский (по двадцатым годам) приятель, оканчивает физмат и работает в 1937 году доцентом по кафедре математики в Высшей воздушной академии им. Жуковского, резко опровергал мои доводы и говорил, что для ученого — истина, которую он нашел — дороже добра и зла — только ради этой научной истины Джордано Бруно идет на костер. Коган давно расстрелян. Мне приятно вспоминать его — один из самых живых умов, которые я знал.

Ребенком, двух или трех лет, Арон попал под сапог генерала Май-Маевского¹⁷ и остался в живых, чтобы вырасти, окончить университет и погибнуть в 1937 году.

Зачем я так расширил это воспоминание?

Я не убежден ни в доброте, ни в ложности мира, и Ваша изящная работа, развенчивающая мифы — тоже своего рода миф.

Миф важности различия добра и зла, миф сомнения в науке.

Миф «размытых» понятий, а значит, многозначности решений. Мне кажется, что человеку требуется однозначное решение — «черное» и «белое», «да» и «нет».

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 10 августа, 1969 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

Спасибо за Ваше милое письмо. Работа моя этим летом шла очень хорошо. Держится она только на одиночестве. Не сердитесь, дорогой Юлий Анатольевич, но — отложим встречу до осени. Я знаю Ваше отношение ко мне — но мне так редко удается поработать. Лето — мое рабочее время. Так вышло.

Разделяю все Ваши страсти, потерю и получение паспорта. После Колымы у меня как-то не крали денег и в ссылке, и в Москве, но именно в Сухуми на второй день приезда в автобусе вытащили из всех карманов все в 1957, кажется, году.

Сердечный привет Т. Д. и детям.

Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Дорогой Юлий Анатольевич.

Труд мой организован плохо. Я не различаю собственно работы и отдыха, и никогда не различал.

Я сдаю книжку стихов в издательство. Что из этого выйдет — не знаю, но пока не кончатся все эти хлопоты¹⁸ — я видаться ни с кем не хочу. Сдача книжки намечена на конец декабря, но будет ли это последним сроком — не знаю.

Прошу меня простить, понять и так далее.

С сердечным приветом

В. Шаламов

Поклон Татьяне Дмитриевне.

Москва, 11 октября 1969 года.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 20 марта, 1972 г.

Дорогие Татьяна Дмитриевна и Юлий Анатольевич.

Когда я был у Вас — не успел изложить одну очень важную просьбу. Мой постоянный врач уехал в Израиль

и мне некуда обратиться за своим чисто диетическим средством.

Нет ли у Т. Д. и у Вас знакомого врача (врачей), которые могли бы выписать нембутал, дать несколько рецептов на это снотворное. Формальности знает любой врач.

Для меня это лекарство главный элемент моего физического, духовного и нравственного равновесия, предписанный мне Боткинской больницей еще в 1958 году. Если можете что-либо сделать — достать несколько рецептов или — в другой глагольной форме — доставать, прошу мне их прислать или пишите, куда я за ними могу приехать.

Зная Вашу обязательность и любезность, я твердо рассчитываю на помощь, и притом почти скорую.

Ваш В. Шаламов

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

25 марта, 1972 г., 12 ч. дня.

Вы правы, Юлий Анатольевич, помощь была нужна действительно срочно и помощь пришла, если не со скоростью света, то со скоростью звука почтового рожка дилижанса прошлого столетия («проспавшись до Твери» и т. д.). Рецепт дошел через сутки с небольшим, это как хотите — московский рекорд. Вместе с Вашим письмом мне принесли и мединал «в натуре» от Л. Крандиевской. Но это — старое лекарство (выпуска 1963 г.) я возьму по рецепту. Все барбитураты имеют предельную срочность в 2 года (на каждом тюбике есть дата выпуска). Но это все пустяки. Рецепта хватит на 10 дней — за пятнадцать лет, что я пользуюсь нембуталом, я не увеличил дозы.

Вы же, очень Вас прошу, спрашивайте, берите рецепты у всех, кто может их дать. Можно не ставить даты, а можно и ставить — все равно. У врачей еще бывает личная печать, по ней тоже дают снотворное в аптеках.

Сердечно Вас благодарю, иду в аптеку и бросаю в ящик это письмо. Привет Т. Д.

Ваш В. Ш.

Рецепты такие действительно всего на 10 дней. Поэтому если Вы сразу не перешлете мне, то превратите его в медикамент.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 27 сентября, 1972 г.

Дорогие Татьяна Дмитриевна и Юлий Анатольевич. Только вчера получил авторские экземпляры со склада и шлю Вам «Московские облака».

Горжусь этой книжкой, которая ни в какое не идет с прошлыми моими сборниками сравнение. Прошу принять ее с добрым сердцем.

Я сейчас хлопочу о сборнике, и пока эти хлопоты не увенчаются успехом, я нигде не смогу бывать.

За это лето адрес мой изменился. Дом на Хорошевском шоссе провалился сквозь землю, а мне дали большую комнату в центре, близ улицы Горького. Теперь мой адрес таков: Москва, Д-56, Васильевская ул., 2, корп. 6, кв. 59. Это — третий этаж, коммунальной квартиры на две семьи (третья — я). Это — новые дома 1958 г., хрущевской постройки, где в каждом подъезде кирпичом выложено: «Добро пожаловать», — живут в домах исключительно жители десяти поколений Красной Пресни. Это ведь одна из идей Хрущева, строить там, где жили отцы.

От Чертанова — куда переселяли, я отказался наотрез по медицинским показателям.

С глубоким уважением *В. Шаламов*

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 31 октября, 1973 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

Сегодня впервые через много дней после поездки в такси, чуть не отправившей меня на тот свет, у меня не дрожат руки. Я пишу Вам потому, что Вы не виноваты в Вашей транспортной любезности, которая чуть-чуть не отправила в могилу раньше срока. Если погиб Ваш друг самоубийца в бассейне «Москва» от сужения аорты, т. е. от шока, то это произошло из-за его собственной вопиющей медицинской неграмотности, незнания элементарных законов обращения с водой, то я не хочу гибнуть из-за медицинской неграмотности моих друзей.

ПОЙМИТЕ: Я НЕ МОГУ ЕЗДИТЬ НА ТАКСИ по состоянию своего вестибулярного аппарата. Любой транспорт мне противопоказан, но хуже всего, опаснее всего, результативнее всего — такси и метро. Лифт убивает

меня сразу. Но и автобус, и троллейбус, и трамвай — все опасно. Когда я от Вас уходил и садился на троллейбус, я тут же выходил и со следующей остановки брел домой пешком. Вы живете на втором этаже. А что было бы, если бы Вы жили на 102-м? Всякий раз я подходил к Вашему дому издалека, пешком. Я на строжайшем режиме и пищи, и движения, и все скоплено за много лет — вернее, не копилось, а просто шагреневая кожа вестибулярного аппарата, нервные ткани тратятся медленно, как можно медленней. И вдруг полететь в небеса из-за Вашей любезности. Тут нельзя отлежаться. Коварство Меньера заключается в том, что лежание ухудшает состояние. ЛЕЖАТЬ при этой болезни нельзя, а можно только ждать, когда этот дамоклов меч остановит сама судьба.

Лечиться тут нельзя, нет радикальных средств, кроме перерезания нерва, долбления черепа. Согласитесь, что в 67 лет долбить череп страшно. Обидно еще то, что режим этот спасает все же, и вдруг такой камуфлет. Это все потому, Юлий Анатольевич, что Вы мало знакомы с медициной. В таком случае Вы должны верить. Если я прошу остановить на ул. Горького, то это потому, что я рассчитываю дойти или доползти до дома сам потихоньку и немного успокоить свой аппарат равновесия, вместо этого Вы командуете везти на Васильевскую, где и ставите меня на край могилы.

Теперь о Вашем самоубийце. Подобных ему — сотни гибнут каждое лето. Предупредите своих детей, сами запомните, что всякая вода — опасна и требует самого серьезного отношения, вне зависимости от того, плавают или купаются, как Байрон, или готов погружаться на дно, как железный топор, и где это делается — на экваторе или у полюса. Дело в том, что гибкий, даже гибчайший человеческий организм ежесекундно применяется к среде, а температура воды — эти 18—20 градусов должны быть уравновешены с температурой собственного тела +36,6—37° — поэтому, прежде чем плюхаться в воду, всякий человек должен постоять у берега, предварительно умыться, это лучший общедоступный совет, а когда область сердца охлаждена — смело бросаться в воду, хоть кувыркаться там.

Пишут, что в желудках умерших пловцов находят следы алкоголя. Умерли они не от алкоголя, а от шока, от сужения аорты, а из-за алкоголя, может быть, теря-

ют бдительность. Писарев так погиб в Дубулте на глазах своих друзей, сам прекрасный пловец.

Татьяне Дмитриевне передайте мой сердечный привет, повторите и ей советы относительно воды и — будьте здоровы.

Вся эта вестибулярная труба может и не относиться к самолету, например. Я улетал из Якутска без всяких последствий. Так же, как и вода, действует положительно именно на вестибулярный аппарат — только так у меня немного осталось, что <сводит> берега.

Ваш В. Шаламов

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 9 июля, 1975 г.

Дорогой Юлий Анатольевич!

Стихи — это особый мир, где эмоция, мысль и словесное выражение чувства возникают одновременно и движутся к бумаге, перегоняя друг друга, пока не закончат каким-то компромиссом. Компромиссом — потому, что некогда ждать, пора ставить точку.

Для русского стиха таким коренным, главным путем движения, улучшения и прогресса является сочетание согласных в стихотворной строке. Совершенство — и совершенствование — русского стиха определяется сочетанием согласных.

Вы пишете: «Я убежден, что все это — правда, но как это доказать? И надо ли доказывать?» В самом Вашем вопросе есть ответ, достаточно убедительный.

Истинная поэзия — самоочевидна (стихи — не стихи), но это отнюдь не значит, что она — чудо и потому не может быть объяснена. В чем тут затруднение? Крайняя неразработанность русской поэтики: теории стихосложения, учения о поэтической интонации. Я избегаю пользоваться музыкальной терминологией — ибо это одна из причин смешения понятий, тормозящая дело. Музыка — абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело.

Блок, как и Маяковский, не имел музыкального слуха. Его «музыка революции» очень случайный термин и при всей его конкретности в нем меньше всего собственно музыки. Маяковский вполне серьезно уверял в детские лэфовские времена, что музыка — буржуазное искусство.

Пастернак, в отличие от Блока и Маяковского, — музыкант, оставивший нам волнующую историю выбора одного из двух. В «Охранной грамоте» — лучшей прозе Пастернака — написано об этом весьма увлекательно. Сама необходимость выбора говорила, что стихи и музыка — чуждые друг другу миры.

В «Охранной грамоте» эта коллизия изображается так: будто Скрябин сфальшивил, не сознался, что у него, как и у Пастернака, не было абсолютного слуха, и эта нравственная фальшь кумира оскорбила душу Пастернака больше, чем любая фальшивая нота в творчестве автора «Прометея».

Тут дело, конечно, не в том, что Пастернак задумал, идя к Скрябину, решить эту задачу по способу орла и решки, а в том, что Пастернак чувствовал себя поэтом, способным на величайшие достижения в русской поэзии, чего карьера музыканта не обещала.

Отец Пастернака — рядовой художник «прогрессивного направления», передвижнический эпигон, не мог толкнуть сына на путь исканий. Гениальные стихи: «Я клавишей стаю кормил с руки». Это ведь не музыка, а стихи.

Для того чтобы написать, «казалось скорей умрут, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле» — не надо учиться контрапункту. Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств — танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка. Стихи не пишут по модели «смысл — текст»¹⁹ — терялось бы существо искусства — процесс искания — с помощью звукового каркаса добираться до философии Гете и обратно из философии Гете почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение. Но звуковой каркас будущего стихотворения, его очень приблизительная идея — при полной силе эмоционального напора — существует.

Теперь отвечаю по всем Вашим пунктам.

1. К этой части надо добавить, что стихи всегда — эмоциональная разрядка, и в этом их важнейшая особенность, повелительность.

2. Рождение трезвучия из смысла — примеры бесконечны.

3. Я бы не пользовался термином: «гармония», это унижает стихи, делает их чем-то вторичным. Но не в этом, конечно, суть дела.

4. Переход к «смежным тональностям» очень привлекателен для поэта в его звуковом поиске, если даже тут и нет особых удач, то всегда — это новая земля для закрепления на своем огороде своих же собственных заявочных столбов.

5. Бояться таких криптограмм не нужно, ибо: «Стихия свободной стихии с свободной стихией стиха» это — поиск, а не импровизация, вершина, а не закоулок.

6. Конечно, истинные звуковые повторы «неназойливы». Неназойливы, но и необходимы, единственны, совершенны. Звуковая ткань «Медного всадника», как и «Полтавы», «Сонета». «Неназойливость» очень велика у Блока.

«Суровый Дант не презирал сонета» — находка настолько исчерпывающая по своим согласным, что исключает всякую возможность импровизации. Гоните музыку из терминологии, и все будет в порядке. Когда-то мы с Вами задели в обсуждении одну рецензию на стихи в «Литературной газете». Там автор рецензии, отмечая научную бессмысленность «Торричеллиевой пустоты» в пастернаковском «Разрыве», сослался на «чудо», которое читателю, как и Тертуллиану, и не положено объяснять. Между тем в «Торричеллиевой пустоте» ничего не объяснимого с точки зрения стихосложения нет. Это звуковой повтор, необходимый Пастернаку, очень удачный, незаменимый. Даже в своей «опростительской» правке Пастернак оставил эту научную бессмыслицу, научная бессмыслица оказалась хорошими стихами, звуковым повтором, скрепляющим строфу и — все стихотворение. Вот этого-то наш рецензент и не объяснил.

Татьяне Дмитриевне шлю тысячу приветов. Рад повидаться в вами обоими в любой день и час.

Ваш В. Шаламов

Ю. А. Шрейдер — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Большое Вам спасибо за обстоятельное письмо, из которого я оптимистически сделал вывод о том, что сформулированные мной тезисы по сути дела излагают позицию, которую в свое время Вы высказали устно, но которую я осознал только после очень долгого внутреннего переваривания. Я хочу здесь уточнить некоторые

ранее сформулированные положения, чтобы еще приблизиться к Вашей точке зрения.

О музыке. Я не думал столь определенно о противоположности музыки и поэзии. Но я думаю, что гармония в поэзии совершенно своя и не сводится к обычной музыкальной гармонии, а также не параллельна ей. Речь идет о совершенно своеобразном мире поэтической гармонии. Когда я использую термин «контрапункт», то имею в виду необходимость осознания для поэтики законов поэтической гармонии. То, что для музыкальной гармонии (видимо) уже сделано. Насколько в поэтике это далеко от сознательного (неосознанно это, разумеется, знает каждый поэт) понимания, видно уже из того, что аллитерация трактуется обычно как вспомогательный прием, а не как гармоническая суть стиха. Используя еще раз музыкальную аналогию (я настаиваю на ее чисто эвристической полезности), аллитерация сейчас рассматривается как нечто аналогичное музыкальному «тремолло». На самом же деле речь идет об опорных трезвучиях согласных, определяющих звуко-смысловую гармонию стиха.

Приведу еще к этому интересное свидетельство М. И. Серова, написавшего (на мой взгляд) очень интересную музыку на слова Р. Бернса. Он говорил мне, что хотел и не мог написать музыку на слова Пастернака, потому что в этих стихах есть своя законченная гармония.

Романсы пишут обычно не на первостепенные стихи. В последнем случае стихи огрубляются музыкой. (Ср. романсы на стихи Пушкина.)

О роли языка. Я думаю, мы оба не случайно говорим о русском стихосложении. Язык — материал поэзии, как в изобразительных искусствах масло, холст, гуашь, акварель... и система гармонии свойственна именно языку, а не поэзии вообще. При переводе об этом в подавляющем числе случаев забывается. В переводах Маршака нет ни следа богатейшей гармонии сонетов Шекспира. (В моих скромных опытах, увы, тоже.) Но здесь нет и не может быть прямого соответствия трезвучий одного языка с трезвучием другого. Употребляя аналогию со скульптурой: нельзя статую «Медного всадника» непосредственно вырубить в мраморе. Но аналогичную гармонию форм, вероятно, возможно передать и средствами мрамора. Ведь есть же великолепный мраморный «Иван Грозный» Антокольского!

И все же есть некоторые «общезыковые» факты. Я задался вопросом, каково трезвучие согласных с ми-

нимальными наборами (маркированных) фенологических признаков? Ответ оказался очень интересным.

Это трезвучие для русского языка абсолютно не продуктивно. Единственный пример огласовки, который мне удалось для него найти — это «говей!» Но интересно, как это будет в других языках?

Об «ошибке» Пастернака. Пример с «пустотой Торричелли» очень любопытен. Покойный физик М. Бонгард когда-то обратил внимание на то, что здесь Пастернак в научном смысле полностью прав. Конечно, в пустом звука нет. Но если в пробирке с ртутью откачать воздух и потрясти ее, то для наблюдателя, который не находится в самой пробирке, будет слышен резкий стук перекачивающихся капелек ртути. Знал ли об этом поэт, не знаю, но звуковая правда привела его и к смысловой.

До первого августа мы с женой будем в Москве, и я буду рад Вас видеть в любое время. Например, 25-го вечером Вас устраивает? Можно ли снять копию с Вашего письма, чтобы показать тем, кто интересуется данной проблемой?

Ваш Ю. Шрейдер.

23.7.75 г.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 1 сентября 1975 года.

Дорогой Юлий Анатольевич!

Если Вы хотите заниматься стихами серьезно, повседневно — все равно, в качестве любителя или профессионала, полупрофессионала — «хоббиста», или исследователя, — Вам нужно знать хорошо — прочувствовать всячески, а не только продумать, что стихи — это дар Дьявола, а не Бога, что тот — Другой, о котором пишет Блок в своих записках о «Двенадцати» — он-то и есть наш хозяин.

Отнюдь не Христос, отнюдь.

Вы будете находиться в надежных руках Антихриста. Антихрист-то и диктовал и Библию, и Коран, и Новый завет. Антихрист-то и обещал воздаяние на небе, творческое удовлетворение на Земле.

В стихах до самого последнего неизвестно — с Дьяволом Вы или с Богом. До последнего дня жизни Вашей Вам это не будет известно.

И дело тут не в общих разочарованиях, что ли.

Вас будет тыкать в грязь ежедневный земной пример: не спускаться с небес, а водить по уровню земной поверхности, от которой никакие стихи не спасут. Не надо свертывать с небес, чтобы убедиться в земной грязи.

Поэтому для пользы Вашей Вам нужно как <можно> меньше отдавать души стихам.

В стихах нет правды, нет жизненной необходимости!

Тут дело не в земных идеалах. Идеал Ганди был таким, что никаких небес не надо. Если все выполните Вы здесь. Но Ганди — философ, политик. Своих высоких истин он достиг без стихов. Все это — замечания чрезмерно общего характера. На практике стихи не принесут Вам радости. Всегда в стихах очень много: повелительность, императивность, чужое вмешательство в каждый Ваш день. Чужое не в смысле какого-то личного давления, а в смысле каких-то чужих книг, чужих идей, бесилия собственного, мизерности.

Теургическому направлению всегда будет мешать отсутствие личных примеров, а стало быть, и теургическое <избрание> тоже от Дьявола.

Знаний стихи не дают никаких: ни души, ни истины, ни истории.

<В. Т. крайне раздражало стихописание Ю. А. Шрейдера: «никакой Бог не сделает Вас поэтом», писал он в письме, которое я не публикую. И. С.>

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Дорогой Юлий Анатольевич!

Противоречие музыки и поэзии заключается еще и в том, что музыка — интернациональна, тогда как поэзия — глубоко национальна, вся в языке, его особенностях и законах. Столкновение стихов с музыкой дорого обходится поэту. Конечно, стихи Пушкина огрублены музыкой. И дело тут не в том, что что-то потеряно (найденно тут ничего быть не может), а в том, что это другой мир. Стихи огрублены музыкой именно в смысле звуковом. Таланта Ратгауза²⁰ достаточно для самоуправления композитора. Пример с Ратгаузом говорит о том, что Чайковскому и не нужен был Пушкин для толчка Аполлона. Чайковский-то и начал эту преступную деятельность. Это он с Модестом Ильичем открыл путь к легким грабёжам, написав оперу «Евгений Онегин» со значительным искажением сюжета, введя в драму отсутствующих у

Пушкина, лишних действующих лиц. Разве Пушкин нуждался в таких поправках и вставках? Собственный стихотворный талант Петра Ильича Чайковского был равен нулю, хотя он стихами занимался усердно (смотри стихотворение «Ландыш»). Чайковский ценил Пушкина не выше Ратгауза и, по всей вероятности, ниже таланта знаменитого стихотворца, переводчика и подтекстовщика Модеста Ильича. Чайковский ничего не понимал в стихах и нуждался в либретто для собственных опусов. Они могут быть гениальны, эти опусы, но к стихам никакого отношения не имеют. Более того — ария Елецкого — это выстрел Дантеса по покойнику. Совершенно сознательно в «Евгения Онегина» вставлен Гремин. Разве это Пушкину нужно? Вред тут в том, что при переводе (музыка интернациональна, тогда как поэзия — вся в языке) поди доказывай, что Елецкий и Гремин не пушкинские действующие лица. Пушкин очень внимательно следил за своим добрым именем, очень различал стихи и музыку и никогда не делал никаких «подтекстовок» по заказу композитора, что делал, например, Грибоедов для Верстовского²¹. Пушкина за границей изучают по операм и на первый план выступает Чайковский, а не Пушкин. Эта ошибка и привела наших доморощенных теоретиков (Войтоловский²²) к такому позорному столбу, когда в учебнике русской литературы Гремин и Елецкий были названы пушкинскими героями. Композитор Минеев²³, отказавшийся писать музыку на стихи Пастернака, абсолютно прав — ибо Пастернак — антимузыкальное начало в русской поэзии, как бы много ни писал поэтических стихов о музыке. Есть в этой проблеме и еще одна тонкость. Все суждения (сравнения, образный словарь и т. д.) касаются лишь исполнительской стороны творчества музыканта, т. е. интерпретатора чьей-то чужой души. Мне кажется, стихи Пастернака отражают именно эту сторону дела, а не композиторские духовные и душевные, нервные и нравственные творческие толчки. Суть, конечно, не в том, какой пользоваться терминологией для замены понятия «благозвучие», хотя ничего общего именно с благозвучием в поэтической работе нет. Напряженное мучительное искание достаточно удовлетворительного звукового соответствия состоянию собственной, стоящей по колено в грязи первого неблагозвучия <души>, выползание на какую-то сухую площадку среди болота языка. В этом состоянии нельзя пользоваться таким термином, как «эвфония» (а только он включает в

словарях такую решающую вещь, как «звуковые повторы», как стихотворная гармония). Насколько далеко стоит наша поэтика и стиховедение от всех этих проблем, показывают два недавних примера. Пример первый. В последнем «ДП» — 1974 на странице 27 Константин Симонов подробнейшим образом излагает творческую историю стихотворения «Жди меня», где главным затруднением при публикации были желтые дожди: «Жди, пока наведут грусть / Желтые дожди». Мне было трудно логически объяснить ему (редактору «Правды» Поспелову), почему дожди желтые. На помощь пришел Е. Ярославский, любитель-художник, который заверил, что дожди бывают всех цветов радуги и потому «желтые» — не такой уж ляпсус, дескать.

Между тем, желтые дожди — это звуковой повтор — Ж—Л—Т/Д/Д—Ж—Д/Т/, самым естественным образом входящий в стихотворную строку.

Подобно мольеровскому герою, не знавшему, что он говорит прозой, Симонов не знал, что он написал стихи.

Второй пример. В «Литературной газете» к 500-летию со дня рождения Микеланджело опубликованы переводы Вознесенского стихов Микеланджело (ненужные, ибо есть переводы лучшие — Тютчев — и в классическом роде, лучше всего бы переиздать хорошее). Но в данном случае я имею в виду другое. Говоря о своем подходе к проблемам перевода, Вознесенский сослался на опыт Пастернака, да и не только на опыт, а на теоретическое обобщение опыта, выраженное в стихотворении, которое Вознесенский и процитировал. Обими руками подписываясь под строчками:

Поэзия — не поступайся ширью
Храни живую точность — точность тайн
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!

Искусное перо Пастернака прямо-таки провоцирует сосчитать эти зерна подлинной поэзии, которые искал когда-то Крыловский петух, и наглядно вскрыть, что же скрывается за «точностью тайн». ТОЧНОСТЬ — это ПОВТОР.

Поэзия — не поступайся ширью
П—З/С/Н—П—СТ—ПС
Храни живую точность — точность тайн
К—Р—Н—Ж—В—Т—Ч—Н—С—Т—Т—Ч—Н—С—Т—Т—Н

«точность тайн» лишний раз повторяется для лучшего усвоения.

Не занимайся точками в пункте
Н—З—С/Н—М/СЗ/—ТЧ—К—М—В—ПНК—Т—Р
И зерен в мере хлеба не считай
З/С/Р Н/М—Р—Х/К/ Б—Н—С—Ч—Т

Вот так расшифровывается «точность тайн». Все, что искал, я нашел. У меня есть второй экземпляр статьи, которая не пошла в «Вопросах литературы» и верстку которой я подписал.

Статья эта — «Поэзия — всеобщий язык» была предисловием к сборнику моего «Избранного». Я рассчитывал, что ее использует редактор, когда сборник будет готовиться к печати. Она была задумана как комментарий к стихам. Но место сжималось, сжималось и в конце концов остался комментарий к трем стихотворениям: (из трехсот). «Некоторые свойства рифмы», «Я вовсе не бежал в природу», «Кама тридцатого года».

Между тем, остальные двести девяносто семь мне тоже важны. Мне кажется, редактору будет очень удобно сокращать — отсекаать до нужных двух листов.

О втором, более срочном: мне нужна неделя. К 7 августа этот опус будет показан Вам.

Шлю привет Татьяне Дмитриевне, Сереже.

С сердечным уважением

В. Шаламов

Ю. А. Шрейдер — В. Т. Шаламову

4—9—75

Дорогой Варлам Тихонович!

Докладываю Вам о том, что из Вашего материала я сделал пока две статьи. Одна — чуть больше листа для нашего издания о гармонии согласных (в приложении мое письмо к Вам). Другая отдана перепечатываться — всеобщий язык. Это либо к нам, либо в философский сборник, либо в Тарту: я уже говорил с Лотманом об этой возможности. Ваши материалы я показал большому поклоннику Ваших стихов — Сереже Гиндину. Это мой ученик — лингвист и стиховед.

Очень трудно мне ответить на Ваше письмо от 1-го сентября. Оно обнажено — трагично, и ответить на него можно лишь с той же серьезностью самообнажения.

А ведь даже, когда говоришь «последнюю правду», всегда остается несказанной «еще более последняя...»

Ведь я не могу принять Ваше письмо только как благостную попытку отговорить меня от занятий стихами под тем, либо иным соусом. Я ведь не ищу от этого удовольствия или вкуса славы. Скорее, Ваше письмо — попытка сказать горькую метафизическую правду о поэзии, о ее искусительском, дьявольском начале. О существовании этого начала — колдовства, сразу идущего в руки дара прельщать стихами — я знаю. Ваш опыт несравненно больше, поэтому горше. Да и сравнивать мой дар с Вашим было бы неуместно. Правда, в поэзии величиной надо, вероятно, считать не сам дар (он либо есть, либо его нет), но результат воплощения этого дара. Поэтому хотя ничего сравнимого с Вашими стихами я не сделал, но право на разговор с Вами у меня, мне представляется, есть... Этого права меня может лишить только безответственность, будь я ее проявляю в этом разговоре.

Именно из боязни безответственности я не пытаюсь ничего оспаривать, даже в тех Ваших фразах, которые внутренне принять не могу. Все равно в них вложено нечто глубоко Вами пережитое сердцем и умом.

Разница между нами в том, что у меня есть уютный уголок — наука, где легко уйти в имитацию духовной деятельности, где нет выбора, а есть только детерминированное следование логике. В стихах (это Вы глубоко верно заметили!) нет обязательности — ни онтологической, ни логической. Этим-то они и тянут, и прельщают, и спасают, и не знаю что... Опять же Вы правы, что это до самого конца понять нельзя. Хотелось бы думать, что про Антихриста Вы не правы в буквальном смысле, но уж больно он во многие вещи вставал. А в метафорическом смысле тут все как по-писаному.

Спасибо Вам огромное за письмо и память. Очень хотелось бы получить те стихи, что Вы обещали. Желая Вам получить что-нибудь радостное от Крыма.

Ваш всегда

Ю. Шрейдер

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Ялта, 5 октября 1975 года.

Дорогой Юлий Анатольевич!

Мои надежды на Ялту оправдались. Стихотворный автоматизм работает на полный ход, и моя тетрадь за-

полняется, как и раньше. Написал даже «под шумок» один небольшой рассказ.

Я взял с собой, на всякий случай, если случилась бы задержка в пере — две книжки. Одну — «Структурализм», со статьями Якобсона, «Лингвистика и поэтика» и «Кошки» Бодлера, которых я не читал и решил простить на досуге.

«Структурализм: за и против» — полное его название.

В справочном материале есть, конечно, и Ваша фамилия с соответствующими реверансами.

Вторая книжка — избранное Есенина, подобранное В. Базановым.

Кроме личного вкуса составитель имеет и какое-то объективное основание. Издание повторяет все сборники Есенина, которые он издавал сам, начиная с «Радуницы» (1916), и, конечно, включает полностью и «Москву кабацкую» в том виде, в каком она вышла при жизни Есенина, за исключением «Сыпь, гармоника...». Почему уж исключают это превосходное стихотворение, сохраняя все остальные, — мне непонятно. Лиричность его велика, велика и связь с Блоком (унижение, например). Само по себе издание «Москвы кабацкой» было компромиссным. Не таким его планировал автор. Увидел воочию базановский подбор есенинских стихов — вот что мне пришло в голову: в своей краткой работе о звуковом луче в стихах Есенина — начать прямо с «Миколы» — первого стихотворения первого сборника.

В шапке облачного скола,
В лапоточках — словно тень
Ходит милостик Микола
Мимо сел и деревень.

Тут есть все, что нам нужно. И четыре «м» подряд — их явная нарочитость и скрытая переключка согласных — «облачного — лапоточках». Включить «Выткался на озере», «Письмо матери», «Сукин сын», «Край любимый», «Сердцу снится» и любое другое.

Ялта нравится мне гораздо больше, чем Коктебель. Уровень жизни и географии другой. И не в том дело, что Коктебель — село, а Ялта — город с веселым шумом большого курорта, и в чем-то ином.

Лечебные преимущества Коктебеля отстают как бы в сторону перед любым ялтинским пляжем. И то, чем лечит Коктебель, Ялта может превзойти, между прочим, не

хвалясь собственной лечебностью, ибо главное в Ялте — шум, свет и плюс к тому лечение повыше Коктебеля.

Море здесь не зеленое, как в Коктебеле, а синее, но волны не менее лечебны. В солнце — одно и то же. Пляжи здесь не угнетают, а приводят в восторг такого горожанина, как я.

Воздух двадцать градусов, надо — 28—30. Было и за 32.

Писательский дом в Судеском переулке, не в коктебельской гостинице. Это — старый курорт, приспособленный именно к писательским делам. До всяких служб к писательским делам XIX века. Вся обслуга ориентирована на одиночество, на покой, на бесшумность. Аллеи Судеского переулка — неисчислимы. И притом это в трех, ну в 5 минутах от моря, от набережной, пляжа, от шума огромного южного города.

Троллейбусы здесь очень к месту. У меня не было ни одного приступа стенокардии. Здешние горные рельефы я, прошедший хорошую горную школу, одолеваю легко. К сожалению, на длительный ремонт закрыт музей Чехова. Жаль, мне хотелось сравнить с Московским домом-комодом.

Ялта, Судеский пер., д. 7,

Дом творчества Литфонда Союза писателей.

У меня большая комната с верандой на лучшую, восточную сторону. Солнце будит меня тем же способом, что и на Васильевской.

Желаю Вам всякого добра и счастья.

Татьяне Дмитриевне мой самый сердечный привет.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

14—16 октября, 1976 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

В Вашем последнем письме выражено опасение за состояние моего вестибулярного аппарата в связи с неожиданным вторжением в царство Аэрофлота. Здесь в Ялте, у меня есть и время и желание объяснить Вам все мои авиационные перипетии.

Сама поездка (два часа в воздухе) перенесена мною лучше, чем любой поезд (чего, впрочем, я и ждал). Я ведь много летал еще в конце 20-х годов на гидроплане Берзина на Северном Урале.

Позднее я встречал (как корреспондент) тогдашних знаменитостей авиации Линдберга и Поста²⁴. Тогда же был сформулирован общий авиационный закон (вечный ли? — не отвечу), а именно:

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ПОРЯДОК И НАЧИНАЕТСЯ БАРДАК — ТАМ НАЧИНАЕТСЯ АВИАЦИЯ.

Закон был верен со стопроцентной точностью для:

1) двадцатых годов;

2) тридцатых годов;

3) сороковых годов;

4) пятидесятых годов, в которые я проделал на Ду-гласе рейс Якутск—Иркутск в ноябре 1953 г. и больше в воздухе не бывал.

Шестидесятые годы я целиком провел на земле, даже на сверхземле, пешеходной земле из-за погрешностей в вестибулярном аппарате — я что-то Вам писал о своих страданиях на такси, боясь оторваться ногой или рукой от земли.

Семидесятые годы я провел без общения с Аэрофлотом, но и не боясь его.

Моя нынешняя поездка доказала: 1) что я легко переносу самолет при полной разбитости вестибулярного аппарата (не переносящего такси).

Нынешняя поездка доказала, что полный бардак в воздухе сохранился, законы действуют тут те же, что и в двадцатых годах или во времена челюскинской экспедиции. Я ведь глух — радио не слышу.

Бардак проявлялся в том, что наш рейс (во Внукове) был тут же отменен без всяких ограничений <нрзб>, и я попал в дом Чехова лишь на другой день. А другой день была суббота, и мне пришлось ждать до понедельника, ждать директора, который и разрешил все мои проблемы и перевел из приемного покоя (вроде известной Вам больницы № 59).

Плюс был в том, что я был один (а не среди шести тяжелобольных), а с понедельника директор тут же перевел в тот номер, в котором я и жил в прошлом году (№ 7) — терраса, где можно загорать не хуже, чем на пляже. Врач медпункта во Внукове сказал мне так: «Мы постараемся компенсировать Вам на земле все, что Вы потеряли на небе». И действительно Аэрофлот по «Скорой помощи» меня отправил на самолет, а в самом скором был опять на борту, помог доставить до автобуса на Ялту до следующего рейса, купил мне билет. А шофер автобуса сделал так же уже в Ялте и так

меня подвезли в Дом творчества. Но уже было поздно — темно, а главное — приезд уже кончился. Я никого не застал. Окунулся. От пятницы остался только душ, чем я, конечно, и воспользовался с радостью. Поэтому поговорка насчет бардака сохранила свое грозное значение в Аэрофлоте и по сей день. Я уже купил билет — земной поезд ночной. Конечно, здесь есть своя касса для земли и неба.

Ваш В.

Выписываю очередные стихи.

Я веду переписку с одной марсианкой,
Жгу в несметном количестве всякие супер и гиперлеса.
И — используя только казенные бланки,
Не рассчитываю на чудеса.
Этим смелым огнем привлекаю вниманье
Мироздания — природе шагая наперекор
Я хочу пониманья, а не состраданья.
В этом Крымском рассвете под страшную тяжестью гор
Пусть не спорит со мной академик Опарин
Аргументом живого пера
Академик Опарин — сам мыслящий парень.
И поймет, где игра, а где не игра.
Не хочу я дышать атмосферой Венеры.
И разреженность Марса мне больше к лицу.
В марсианскую я окунусь атмосферу,
Приближаясь к Земному концу.
Я веду переписку с одной марсианкой.
Жгу в несметном количестве всякие гипер и суперлеса.
И используя только казенные бланки,
Не рассчитываю на чудеса.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 24 декабря, 1976 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

Поздравляю Вас и всю Вашу семью с Новым годом.

Желаю здоровья, успеха.

Мое новогоднее поздравление имеет сверхсрочный характер. Дело в том, что в «Советском писателе» идет моя очередная книжка, на которую я уже подписал договор. Книжка называется «Точка кипения». Текст (листа на 3) там есть, но, конечно, есть возможность и обновить его. Словом, мне нужна та тетрадь с «развертывающимся конвертиком», которая лежит у Вас. Я за ней приеду в любой день, час, указанный Вами. Прошу

я и другое — выбрать из писем, что ли, все мои стихи ялтинского периода. Сроки тут жестче жесткого. Все это будет сдано раньше, чем новый американский президент приступит к своим обязанностям.

За приятное известие о «стихотворной гармонии» благодарю и Вас, и Сергея Гиндина.

Я — в полосе удачи. Поэтому из трех облигаций 3%-ного займа, которые у меня были, одна — выигрывает, правда, не двести тысяч рублей, как Левенталь (Вы, наверное, знаете эту ошеломляющую цифру 1913-го, предвоенного года), а сорок рублей. Но учитывая все психологические нюансы, я обрадован не менее Левенталья.

Звоните, как только у Вас будет время, на любой час вызывайте меня еще в этом старом новом году.

Ваш В. Шаламов.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Ялта, 25 октября, 1977 г.

Дорогой Юлий Анатольевич.

Я хочу сообщить именно Вам и именно из Ялты, что погода здесь исправилась — в тот самый миг, когда я всовывал <письмо> в узкую щель почтового ящика на ялтинском почтамте, я не отношу себя к сторонникам всяких телепатических решений, но четыре дня полного ялтинского солнца мне обеспечены. Я глубже понял прошлогодний выговор от начальственной врачихи. «Не упускать этих трех дней, что Вам положены по путевке. Не может быть и речи об отказе от таких путевок. В Ялту добирайтесь хоть ползком».

Стихи пишутся, как говорится, нормально.

Завтра — 26, конец путевки. Но я не уеду отсюда, а уйду пешком — в направлении лучшего для меня транспорта — троллейбуса. В здешних газетах я нашел (к юбилею спутника или Гагарина) беседу конструктора лунохода «Почему колеса, а не гусеницы». Оказывается, при последнем просмотре (колеса — гусеницы).

Королев сказал: «Надо послать такой аппарат, который не надо будет подправлять рукой». Я помню был просто поражен, что восьмиколесный луноход пущен, так сказать, назад — к катку, к бревну, который катил неандерталец, надежность дали именно колеса, а уж древнее колес... на свете ничего нет.

Книжку мою «Точку кипения» вручил вчера здешней библиотекарше.
Шлю привет Татьяне Дмитриевне, Сереже и Маше.
Ваш *В. Шаламов*.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

29—I—78, Васильевская.
Дорогой Юлий Анатольевич.
Я хотел бы знать точно, будет ли Людмила Владимировна²⁵ убирать у меня или нет.
Адрес ее я не знаю, связаться с ней не могу.
Прошу Вас лично ответить мне открыткой, письменно *да* или *нет*.
У меня — грязь не уменьшилась ни на йоту.
Я живу в коммунальной квартире, где подобные законы, выполняются с сугубой четкостью.
Привет Т. Д.
Прошу поспешить с ответом.
В. Ш.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Москва, 8 марта, Международный женский день.
Юлий Анатольевич.
Людмила Владимировна исчезла, «взяв на память» томик Марины Цветаевой и фото Осипа Мандельштама.
Передаточная надпись есть только на книжку.
Исчезла, не вынеся даже собственного мусорного ведра, которое принесла с собой. Исчезла, как в Бермудском треугольнике (см. «Правда» за 7 янв. сего года).
Прошу Вас принять меры к розыску Л. В. Мне такое сотрудничество не улыбается.
Приношу свои <извинения>.
Ваш *В. Шаламов*.
Даже не сделает сюрприз к 8 м<арта>. Очень прошу помочь.
В. Ш.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

26-III-78.
Анастасия Федоровна, Эльвира Сергеевна ЦДЛ — II этаж. Ирина Петровна Евтушенко²⁶.

Дорогие Т<атьяна> Д<митриевна> и Ю<лий> А<натольевич>.

Я получил путевку в Ялту с 3 сентября по 26 и уезжаю поездом 33 в 1.45 ч. дня.

Прошу меня проводить из дома, это из-за моих ушей — **звуковой** <ряд> реконструкции службы движения для меня просто непосилен.

Я вчера был почти рядом с Вашим домом, но зайти не успел из-за всяких справок, которые я собирал.

В. Ш.

В. Т. Шаламов — Ю. А. Шрейдеру

Ялта, 23 сентября, 1978 г.

Дорогие Татьяна Дмитриевна и Юлий Анатольевич!

На этот раз из-за крайне холодных ветров — холодных в физическом смысле, удалось сделать гораздо меньше, чем я рассчитывал.

Но Ялта есть Ялта, и я справился со своей задачей в конце концов.

Книжку свою новую я им привез, но до сих пор не вручил — решил сделать это в день отъезда, чтобы не показаться нескромным.

Как только я приехал в Симферополь, на вокзале ко мне подошел человек и сказал:

— Это не Вас ли в прошлом году привозили на медицинском самолете?

— Меня.

— Идите вот сюда и садитесь в этот автобус.

Так я попал в свой дом творчества, еще до обеда и поел ранее 2 часов, ранее всех формальностей. Настроение у меня было превосходное. Но дожди, дожди.

Шлю привет Сереже и С. Н. Гиндину.

Ваш *В. Шаламов*.

Бумаги (тетрадь и др.) я взял с собой достаточно. Карандашей простых — также.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Шрейдер Юлий Анатольевич (1927—1998) — ученый, сотрудник Института проблем передачи информации РАН, друг В. Шаламова. Татьяна Дмитриевна — жена Шрейдера.

² *Гельфанд* Израиль Моисеевич (р. 1913) — математик, академик АН СССР (1984), В. Т. встречался с ним у Н. Я. Мандельштам.

³ *Завадовский* Михаил Михайлович (1891—1957) и *Завадовский* Борис Михайлович (1895—1951) — биологи, физиологи, академики ВАСХНИЛ.

⁴ *Лискун* Ефим Федорович (1873—1958) — зоотехник, академик ВАСХНИЛ.

³ *Вересаев* (наст. фамилия Смидович) Виктор Викторович (1867—1945) — писатель, исследователь биографии и творчества А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского.

⁶ *Крептюков* Даниил Александрович (1888—1957) — поэт, прозаик.

⁷ *Киришон* Владимир Михайлович (1902—1938) — драматург, репрессирован.

⁸ *Семашко* Николай Александрович (1874—1949) — врач, академик АМН, с 1918 — министр здравоохранения РСФСР.

⁹ Спектакль «Эрнани» по пьесе В. Гюго, увиденный В. Шаламовым в детстве, произвел на него впечатление, не стершееся за всю его жизнь.

¹⁰ Город в США, штат Нью-Мексико, вблизи которого были произведены первые испытания атомной бомбы в 1945 г.

¹¹ *Пастернак* Зинаида Николаевна (жена Бориса Пастернака) — письма такие «лирические» написаны Б. Пастернаком.

¹² Статья А. Фадеева о Тургеневе. («Субъективные заметки», 1944. СС, т. 6, М., 1971, с. 526—528).

¹³ *Бернард* Кристиан (1922—2001) — южноафриканский хирург, впервые осуществивший пересадку сердца (1967).

¹⁴ *Борн* Макс (1882—1970) — немецкий физик-теоретик. Нобелевская премия 1954 г.

¹⁵ *Амосов* Николай Михайлович (1913—2002) — хирург, его статья «Спорное и бесспорное» («ЛГ», 1968, № 8).

¹⁶ Статья Ю. Шрейдера «Наука — источник знаний и суеверий» («Новый мир», 1969, № 10).

¹⁷ *Май-Маевский* Владимир Зенонович (1867—1920) — генерал-лейтенант, командовал Добровольческой армией в 1919 г.

¹⁸ Очень трудно продвигалась книжка В. Шаламова «Московские облака» и вышла только в 1972 г. В. С. Фогельсон, редактор, сказал: «Вы в списках, Вам надо писать письмо». И только после письма в «ЛГ» 15 февраля книжка вышла.

¹⁹ Имеется в виду лингвистическая концепция И. А. Мельчука и А. К. Жолковского, согласно которой текст порождается из заранее существующей в сознании записи его смысла на особом «языке смыслов», а понимается путем перевода на этот

«язык смыслов». Эту концепцию мы обсуждали с В. Т. Шаламовым. — Ю. Ш.

²⁰ *Ратгауз* Даниил Максимович (1868—1937) — поэт. На его слова писали романсы П. И. Чайковский («Мы сидели с тобой...», «Слова, как прежде...» и др.) и другие композиторы.

²¹ *Верстовский* Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор и театральный деятель. Верстовский написал музыку к водевилю А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского «Кто брат, кто сестра, или Обман за обман».

²² *Войтоловский* Лев Наумович (1876—1941). («Очерки по истории русской литературы XIX—XX вв.», ч. 1—2, М.—Л., 1928).

²³ Возможно, *Минаев* Евгений Васильевич (р. 1910) — композитор.

²⁴ *Линдберг* Чарлз (1902—1974) — американский летчик. *Пост* Уайли (1898—1935) — американский летчик, в 1933 г. совершил первый кругосветный перелет в одиночку на самолете «Вега» фирмы «Локхид». В 1935 г. провел испытания высотного скафандра на 9100 м.

В том же году погиб вместе с писателем У. Роджерсом на Аляске при попытке совершить перелет через Северный полюс на гидроплане.

²⁵ *Зайвая* Людмила Владимировна — женщина, рекомендованная Ю. А. Шрейдером для уборки комнаты В. Шаламова. Однако делала это она хоть и за вознаграждение, но крайне редко, на что жалуется В. Т.

²⁶ Надпись сделана рукой Ю. Шрейдера. Видимо, это лица, с которыми Шаламов поручил связаться Шрейдеру, а также с Московской организацией СП СССР. «Евтушенко Ирина Петровна» — возможно, записано неправильно — надо «Ирина Павловна».

ПЕРЕПИСКА С В. С. ФОГЕЛЬСОНОМ

В. Т. Шаламов — В. С. Фогельсону¹

Дорогой Виктор Сергеевич.

Здесь — тридцать одно новое стихотворение для «Московских облаков» и пятьдесят шесть, напечатанные в журналах и газетах за последние два года и часть еще раньше. Список стихотворений этих я составил и здесь же передаю. Они почти все входят в книгу, но все же не все. В книге нет:

1) «Неуспокоенная лава» (№ 20), напечатанное в «Московском комсомольце»,

2) «Мой архив», напечатанное в «Литгазете». С уважением В. Шаламов.

Москва, 14 октября, 1968 г.

В. Т. Шаламов — В. С. Фогельсону

Дорогой Виктор Сергеевич.

1. А вот сам сборник «Московские облака», как он подбирался постепенно из ранее опубликованных здесь 106 стихотворений.

1564 строки.

Из них напечатаны (отмеченные красной меткой) 74 стихотворения. Не напечатано 32 стихотворения. Ненапечатанные не представляли для меня особой ценности, кроме:

1) «Я живу не по средствам»,

2) «Я одет так легко»,

3) «Я тоже теплопоклонник» <1968>,

4) «Проводы» — Колымские тетради². «Проводы»: «Нет, нет, не флагов колыханье...» — <1961>,

5) «Мы предтечи, мы только предтечи»,

6) «Я верю в предчувствия и приметы» <1959>,

7) «Мы рубим стихи, как болотную гать».

2. Основой сборника, хотелось мне, были бы стихи, написанные нынешним и прошлым летом. Эти стихи — в отдельной папке: и 24 стиха — 416 строк.

3. Вот эти 39 стихов (528 строк) разных лет составляют резерв сборника. Я был бы очень рад, если бы в сборник были включены стихотворения из этой группы.

4. Глубокий резерв — напечатанные ранее 21 стих — 232 строки. В сборник их включать бы при моем листаже не надо. Пусть составляют глубокий резерв.

В. Т. Шаламов — В. С. Фогельсону

Москва, 30 марта, 1972 г.

Виктор Сергеевич.

Сдача «Московских облаков» мне обещана самая быстрая. Поэтому прошу известить меня о дне сдачи рукописи, типографии и немедленно вызывайте при малейшей задержке.

Дополнительные (напечатанные, но не вошедшие в сборник стихи) — 568 строк прилагаю.

В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фогельсон Виктор Сергеевич (ум. 1994) — редактор всех пяти прижизненных стихотворных сборников В. Шаламова. Эти письма отражают печальную эпопею борьбы В. Т. Шаламова за издание сборника «Московские облака», вышедшего в свет только после письма автора в «ЛГ» (вышло 23 февр. 1972 г.).

Даже особо отмеченные автором стихи, которые он хотел бы опубликовать в сборнике, были опубликованы не все — из семи только четыре, остальные позже (в сб. «Стихотворения», 1988; в т. 3 Собрания сочинений, 1998).

² «Колымские тетради» — стихи Шаламова 1937—1956 гг.

ПЕРЕПИСКА С С. С. ЛЕСНЕВСКИМ

В. Т. Шаламов — С. С. Лесневскому

Дорогой Станислав.

Спасибо за Ваше сердечное письмо. Вместе с Вами я радуюсь, что прошел этот проклятый високосный год, год активного солнца, никакие талисманы, никакие алые ленточки на шее не удержат и не могли удержать ни событий, ни судеб.

Я рад, что удалось напечатать в «Дне поэзии» эти стихи. (Такой маятник в сторону ухудшения не один раз.) Рад из-за «Северянина», «Ястреба». Да — «Таруса» (безглагольный¹ стишок в подражание Фету) — написание стихотворения.

Но все это зря, зря. Стихи — это тонкая, точная работа остается вне зрения читателя.

В статьях этого «Дня поэзии 1968» — опубликовано письмо А. Яшина², предсмертное завещание. Яшин хороший человек и завещание его продиктовано самым лучшим чувством.

Но ведь все, что там изложено, его позиция — это как раз то, из-за чего погибает русский стих. Если все равно как писать, тогда не надо браться за стихи. Стихи

всегда символический и многозначный, поэтический текст, допускающий много толкований — технически страницы стиха могут восхищать.

Яшинский стих — это образец достижения всей русской лирики XX века, и, если уж Яшин святой, я предпочту гореть в аду вместе с Анненским и Белым, мои стихи не могли быть написаны без Белого, без Пастернака, без Анненского. Я думаю, что еще вернусь к моим стихам.

«Я — северянин...» уплотнено до предела — более русская грамотность вытерпеть не может.

С глубокой симпатией

Ваш В. Шаламов.

<декабрь, 1968 г.>

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Речь идет о стихах В. Шаламова, опубликованных в «Дне поэзии 1968».

² *Яшин* (Попов) Александр Яковлевич (1913—1968) — поэт.

ПЕРЕПИСКА С Л. К. ЧУКОВСКОЙ

В. Т. Шаламов — Л. К. Чуковской¹

Дорогая Лидия Корнеевна.

Примите мои самые сердечные соболезнования по поводу смерти Корнея Ивановича.

Корней Иванович был ярчайшим, достойнейшим представителем русской интеллигенции в ее самых великих, самых глубоких традициях.

С глубоким уважением и симпатией.

В. Шаламов.

Москва, 29 ноября 1969 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Чуковская* Лидия Корнеевна (1907—1996) — писательница и мемуарист, дочь К. И. Чуковского.

ПЕРЕПИСКА С Э.Р. КУЧЕРОВОЙ

В. Т. Шаламов — Э.Р. Кучеровой'

Дорогая Эдварда Рувимовна.

Спасибо за Ваше сердечное письмо. Мне кажется, в «Ястребе» нет противоречия между плоскостным и объемным. Выпуклый рыцарский щит, узор резьбы на щите — разве орнамент не может быть скульптурным, разве он не может иметь узоры. Оттуда изнутри горного царства, а не часовой снаружи. Разве узор морозный окна плоскостной? Стихи всегда многозначны, имеют много толкований. Поэтический текст многозначен, даже если это касается Марии Кюри и Гарибальди — простейших стихов.

«Ястреб», «Птица спит», «Не в пролитом море чернил» — это все стихи из «Колымских тетрадей» 1949—1956 гг. Не было возможностей раньше напечатать.

«Я северянин. Я ценю тепло» — из новых. Лаконичность, мне кажется, предельна. Многозначительность предельна — больше русский язык, мне кажется, не выдержит. «Таруса» — стихотворение, написано несколько лет назад в подражание Фету — без глаголов (как «шепот, робкое дыхание»).

Но кому это все нужно? Стихи — это очень серьезное дело. Очень тонкая механика.

Благодарю Вас за письмо.

Шлю Вам свои новогодние приветы.

С уважением В. Шаламов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кучерова Эдварда Рувимовна — знакомая В.Т., н/у лицо.

ПЕРЕПИСКА С Т.М. ГЛУШКОВОЙ

Т.М. Глушкова¹ — В.Т. Шаламову

Глубокоуважаемый Варлам Тихонович!

Я вынуждена сообщить Вам, что стихи, которые я предлагала в секретариат — из оставленных Вами, были отклонены и Г.Д. Гулиа, и Кривицким.

Единственное положительное, что я могу сообщить Вам, — это то, что принципиально от публикации Ваших стихов «ЛГ» не отказывается. И мне поручено просить Вас дать другие вещи. (Из тех, что были в моем распоряжении, достаточно «оптимистическим» показалось им лишь стихотворение «Амундсену».)

Я очень прошу Вас согласиться на то, чтобы мы с Вами составили новую подборку! Я готова в любое время ознакомиться с Вашими стихотворными рукописями, чтобы найти все-таки приемлемое для публикации.

Не стану объяснять Вам, что мнения здешнего газетного секретариата я не разделяю. Но считаю нужным воспользоваться тем, что они испытывают определенную неловкость перед Вами и просят меня составить новую Вашу подборку.

Для этой цели я готова приехать к Вам либо — если так Вам удобнее — жду Вас у себя в любой день между 13 и 15 часами.

С глубоким уважением и искреннейшим желанием (и надеждой) опубликовать Ваши стихи еще до конца текущего года.

Ваша Т. Глушкова.

17 ноября, 1971 г.

Т. М. Глушкова — В. Т. Шаламову

23-X1—71

Дорогой Варлам Тихонович!

Я даю Вам отчет в сегодняшнем дне, хотя события его — далеко не окончательные.

Гулия (мой начальник и зав. отделом русских публикаций) прочел сегодня Ваши стихи (ту перепечатанную пачку, которую я Вам показывала) и вечером сказал мне, что выбрал несколько, а какие именно — покажет завтра.

Что до того, какие именно, — это почти не принципиально, т. к. в той пачке все были, по-моему, *очень хорошие* (а об иных я сказала бы и одним словом: *прекрасны!* Такая вещь, скажем, как «Начало метели», сопоставима с Фетом, не знаю, как Вы относитесь к этому поэту, для меня высшего сравнения-признания нет). И я потому больше озабочена *количеством* отобранных им стихов.

Однако: Гулия, который хитрей, чем надо бы, заметил, что в № 11 «Юности» Ваша подборка открывается «гражданственным» стихотворением — «Луноход». И по-

тому он теперь желает, чтобы и наша, литгазетовская, начиналась *одним* гражданственным стихотворением.

«Про луноход, про самолет — про любой созидательный труд народа — все равно!» (Это его слова.)

Это желание (если вспомнить, какое это уже по счету требование) меня возмутило. И я надеюсь, что можно будет уломать этих людей, чтобы не морочили больше голову, подобно старухе из сказки о рыбаке и рыбке. Во всяком случае я буду требовать Вашей публикации — изо всех сил; если надо будет, пойду к Чаковскому, и отступать я не собираюсь.

И все же: если у Вас найдется *одно* такое стихотворение о чьем-то (не — поэта) труде, что-нибудь, так сказать, героическое или патетическое, — может быть, Вы принесете его, когда будете во вторник?

(Я забыла сказать еще, что сегодня обещал мне защиту Ваших интересов С. Наровчатов, член редколлегии, которого я поймала за рукав, к счастью.)

Я прошу Вас поверить мне, что мне очень тяжело Вас мучить, а также тому, что Ваши публикации я считаю очень важными и для читателей, и для поэтов.

(Разговор о «Луноходе» и вытекающем отсюда — оттого, что Гулия боится быть «менее осторожным, чем «Юность». Хотя я указала ему, что другие Ваши стихи в № 11, например — последнее, — куда «опаснее», чем все, предлагаемые сейчас ему.)

С глубоким уважением к Вам Т. Глушкова.

(Пишу вечером, дома, — потому письмо пойдет в обычном — без грифа «ЛГ» — конверте.)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Глушкова Татьяна Михайловна (1939–2001) — поэт, редактор, помогавший Шаламову прорваться к читателю.

ПЕРЕПИСКА С И. М. АЛЬБИРТМ

И. М. Альбирт¹ — В. Т. Шаламову

<1972>

Вчера Лозовой Борис Алексеевич сказал редактору Марийскому, что он, как и главный редактор Осипов, согласен 2 листа стихов, еще не поздно, включить в толстый сборник.

Нужно оригинал + подстрочный перевод + художественный перевод 2 листов представить.

Враги не дремлют, доносы и клевета на меня все время продолжают, режут мои рукописи, вычеркивают, душат, преследуют. Настоящую поэзию издательски уничтожают. Моя Зинаида Васильевна долго лежала в 5 Градской с инфарктом, сейчас она у сестры Евгении Васильевны на даче. Спасает только работа.

Как мне добраться к Измайловскому парку к редактору? А сейчас где самое близкое метро? 5 номером? Автобусами 35, 64, 6, 39, 48, 178. (№№ автобусов — подчерком Шаламова).

И. М. Альбирт — В. Т. Шаламову

Моя рукопись-книга «Родник моей России» — на рассмотрении в издательстве «Современник». Редактор Анатолий Ермаков, тел.: 140—91—55

Уважаемый Варлам Тихонович!

Все Ваши переводы включил в рассматриваемую книгу. 1/2 года рецензируется.

Редактор Анатолий Ермаков обещает 1973 г. Идет речь об отдельном издании, все Ваши стихи включил в книгу!

Меня печатают за рубежом и дают статьи-отзывы!

При жизни перевел и напечатал цикл стихов, я фотокопию закажу в библиотеке им. Ленина по шифру 6—8. Больной мой редактор просил приехать. Рубинштейн А. И. ждет меня, иду навестить его.

Мой новый адрес: Москва, М-113208, Чертаново, Сумской проезд, д. № 13, корпус 2, кв. 194.

Альбирт Иосиф Матвеевич.

Моя книжечка у Вас, я Вам кажется, подарил!

Им не нравится, что я б<ывший> заключенный.

Кажется, показывал, что «Дружба народов» писала.

Дмитриева враждебно относится.

Мой редактор Анатолий Ермаков в «Современнике» ко мне хорошо относится, молодой, если можно, во вторник или в четверг ему позвонить по тел.: 140-91-55.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Альбирт Иосиф Матвеевич (р. 1907) — поэт, автор книг «Звезда моего поколения», «Искры», «Сердце моей земли». С 1970 г. живет в Израиле.

ПЕРЕПИСКА С С. С. НАРОВЧАТОВЫМ

В. Т. Шаламов — С. С. Наровчатову¹

Уважаемый Сергей Сергеевич.

Я прошу Вас дать мне рекомендации в члены Союза писателей. Я подал заявление в секцию поэзии и буду приниматься по трем книгам «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967).

С уважением.

Москва, 15 февраля 1972 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Наровчатов Сергей Сергеевич (1919—1981) — поэт, писатель.

ПЕРЕПИСКА С А. А. ТАРКОВСКИМ

В. Т. Шаламов — А. А. Тарковскому¹

Дорогой Арсений Александрович.

Спасибо Вам за рекомендацию и дружеские советы. Я так и поступлю и поговорю в секции. С В. Соколовым я знаком, но очень мало, отношусь к нему с глубокой симпатией. Стихи его знаю, конечно, и во всем положусь на Ваш совет.

С сердечным уважением

В. Ш.

<1972>

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Тарковский Арсений Александрович (1907—1989) — поэт, переводчик.

ПЕРЕПИСКА С Л. И. ТИМОФЕЕВЫМ

В. Т. Шаламов — Л. И. Тимофееву¹

Москва, 27 февраля, 1972 г.

Дорогой Леонид Иванович.

Я благодарю еще раз за дружескую помощь.

В письме в «Литературную газету», написанном по срочному и острому поводу, я говорил — чуть ли не впервые — собственным языком, не искаженным радиопомехами кружковщины, взаимовыручки «испорченного телефона» — и прочих орудий шантажа, а значит, преувеличенных мифов. Москва — это город слухов. Пигмея там выдают за Геркулеса, приписывают человеку чужие мысли, поступки, которых он не совершал.

Главный смысл моего письма в «Литературную газету» в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение. Для писателя, особенно поэта, чья работа вся в языке, внутри языка, этот вопрос не может решаться иначе.

Я в жизни не говорил ни с одним иностранным корреспондентом и не имел приемника, чтоб собирать информацию Би-би-си и «Голоса Америки».

Я живу на свою маленькую пенсию абсолютно уединенно уже целых шесть лет. Не вижу ни с кем, нигде не бываю, и у меня не бывает никто.

Слухи не утихают, а наоборот, разгораются.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Тимофеев Леонид Иванович (1903/04—1984) — литературовед, чл.-кор. АН СССР (1958), автор работ по теории и истории русского стиха. Шаламов пишет о мотивах своего письма в «ЛГ».

ПЕРЕПИСКА С А. А. КРЕМЕНСКИМ

В. Т. Шаламов — А. А. Кременскому¹

<1972 г.>

Дорогой Александр Александрович, мне было в высшей степени приятно получить Вашу книгу, Ваше письмо и узнать, что Вы высоко оценили одну из моих книг — «Колымские рассказы». Письмо же Ваше требует ответа. Мне нужно отвести один незаслуженный комплимент. Ни к какой «солженицынской» школе я не принадлежу. Я довольно сдержанно отношусь к его ра-

ботам в литературном плане. В вопросах искусства, связи искусства и жизни у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Учителя, вкусы, происхождение материала, метод работы, выводы — все другое. Солженицын — весь в литературных мотивах классики второй половины 19 века, писателей, растоптавших пушкинское знамя. А лагерная тема — это ведь не художественная идея, не литературное открытие, не модель прозы. Лагерная тема — это очень большая тема, в ней легко разместится пять таких писателей, как Лев Толстой, сто таких писателей, как Солженицын, но и в толковании лагеря я не согласен с «Иваном Денисовичем» решительно, Солженицын лагеря не знает и не понимает.

Для писателя — все равно, при широкой публикации или без нее — очень важно, крайне важно суждение специалиста, товарища по цеху, а не футбольного болельщика. Цена суждений профана не велика. Тут не помогут законы массовой статистики — литература живет по своим законам, имея тем не менее прогресс и ход. Ни в каких проверках на массовом читателе писатель не нуждается. Есть эти проверки — хорошо. Нет — обойдется без. Массовый читатель ни единой мысли, строчки даже не подскажет, и не надо этого ждать.

А вот мнение товарища по цеху — важно. Товарищ по цеху видит упущения, замечания, мелочи, ради которых и писался рассказ.

В последнем же счете и мнение товарища по цеху, литературного единомышленника или литературного врага, тоже не важно для человека, скажем, моих лет, не должно приниматься в расчет, собственная душа — вот главный критерий.

Конечно, я вижу огромные возможности русской прозы, горизонты (только не в романном плане), к которым мне не будет дано возможности прикоснуться собственной рукой. Что же делать. Мир живет по своим законам, ни политики, ни историки не могут представить его развитие. Однако неожидан урок обнажения звериного начала при самых гуманистических концепциях...

Гитлер любил [нрзб] романтизм, почитывал Гете, а Сталин сказал о горьковской «Девушке и смерть»: «эта вещь посильнее гетевского «Фауста». Вот два суждения двух авторов концлагерей и гуманистов. Там Гауптман, здесь — Горький. Гитлер, как и Сталин, ненавидел мо-

дернистов. Такие неожиданности <нрзб> в возможности звериного начала, которое живет в человеке и о котором не хотят слышать, затыкая уши. Страшная опасность, которая скрывалась в человеке и так легко была обнажена, стала всесильной, не просто модной. Эта грозная сущность и сейчас живет в душе. Все время войны, лагеря.

Наш современник, великий гуманист Хансен добился удивительного успеха не в полярных путешествиях, не на Южном полюсе, который он бы мог открыть, а в политике, в Лиге наций. Жизнь он кончал как триумфатор. Он умер в 1930 году, через три года пришел Гитлер, а в 1939 году началась Вторая мировая. Вот что такое политика. Желание быть Христом, Магометом, учить людей. Но это так, к слову, к 150-летию юбилею².

Нужна работа над русским рассказом, над освежением русской прозы. Ведь ни на Толстом, ни на Бунине, ни на Чехове литература остановиться не может. Это всем ясно — даже вне специфики 20-го века, войны, революции, атомной бомбы, Хиросимы. И 20-й век оценит гуманистических <идолов> очень сурово, и нет к ним возврата через литературу русского гуманизма.

Все, кто следует толстовским заветам, — обманщики. Уже произнося первое слово, стали обманщиками. Дальше их слушать не надо. Такие учителя, поэты, пророки, беллетристы могут принести только вред. Но это все к слову, к «фону времени», слишком грозному, которому никакой Блок выхода и ответа не найдет. Литературное же существо вопроса заключается вот в чем (конечно, все это личное мнение) — главный закон жизни, который я постиг за 65 лет: отсутствие права учить человека, человек человека не может, да и не должен учить. Поскольку вся литература 19-го века выступает в роли именно учителей, весь опыт коих привел к лагерям, которые хоть и всегда существовали, что мы знаем от Овидия Назона, но в 20-м веке явились сущностью человеческого бытия.

Я тоже собирался кончить жизнь Шекспиром, а кончаю тем самым сапожником-Наполеоном из твеновского «Визита капитана Стормфилда в рай».

В русской прозе, в русской поэзии горизонты безграничны и каждому найдется дело.

Часть из того, что было мною задумано, Вами разгадано, часть угадано, мимо части Вы прошли. Это ничего не меняет ни в оценке, ни в масштабе, ни в чем.

Вопрос соответствия писательского дела и писательского слова для меня чрезвычайно важен — поэтому, отдавая должное Некрасову как новатору, своеобразию его писательского языка, я осуждаю его принципиальное двурушничество, не держу эту личность в списке [своих кумиров].

20-й век принес сотрясение, потрясение в литературу. Ей перестали верить, и писателю оставалось, для того, чтобы оставаться писателем, притворяться не литературой, а жизнью — мемуаром, рассказом <вжатым> в жизнь плотнее, чем это сделано у Достоевского в «Записках из Мертвого дома». Вот психологические корни моих «Колымских рассказов».

Конечно, на Западе «КР» не могут иметь успеха, и не только из-за рака равнодушия, как пишете Вы. Причин тут много. Рак равнодушия только одна из них. Граница языка тоже граница серьезная, а для поэзии и вообще непреодолимая. Да и для прозы. Разве Гоголь или Зощенко могут звучать на Западе? В идиомах, метафорах — всех вопросах чужой речи, за которой быт тысячелетней чужой культуры <нрзб>. Много переводят Гоголя на Западе, потому что ему проложил дорогу гений Достоевского. Да и «Колымские рассказы», где создаются новые русские фразы без метафор, ритмизованные, — все это теряется и должно безнадежно теряться в переводе.

Со стихами же еще хуже. Я считаю себя наследником упомянутых Вами поэтов — Тютчева, Баратынского, показавших новые пути пейзажной лирики в наше не пейзажное, не лирическое время.

Я тоже могу ошибаться, и хотел бы разбора моих стихов более серьезного, чем я его получил в большинстве рецензий внутренних и внешних. Все эти рецензии были как-то вне сути вопроса, все они обходили главное: что стихи — это особый мир со своими законами.

«Колымские рассказы» не представляют собой рассказы как таковые, в них нет сюжета, нет пресловутых характеров.

Я вычеркнул — все, что можно было снять из классических <образований> жанра. Рассказы остались. Еще бы. Искания в прозе и в поэзии также — очень благодарное занятие.

Нобелевский комитет ведет арьергардные бои, защищая русскую прозу Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына. У этих четырех авторов есть единство, и это единство не делает чести Нобелевскому комитету. Из этих четырех лауреатов только Пастернак кажется тут на месте, но и ему мантия дана за «Доктора Живаго», а не за его стихи. «Доктор Живаго» — это попытка модерниста создать реалистический роман — вернуться не к пушкинским заветам, не к традиции Андрея Белого и Блока, а к традиции Толстого, и стилистической, и нравственной. Поразительно, что никто из четырех даже близко не стоит к Достоевскому — единственному русскому писателю, шагнувшему в 20-й век, предсказавшему его проблемы.

В самом комитете, очевидно, не верят Достоевскому. Премии в течение 50 лет — антидостоевского начала. Пастернак тоже был не связан с Достоевским, скорее с Толстым, даже в «Сестре моей жизни».

Это странно, но неудивительно. Потому что Достоевский был вне всякой русской традиции, русской художественной школы. И сейчас, из 60-х годов 20-го века, нельзя даже сравнивать прозу Достоевского (изруганную Белинским) с прозой Толстого. Толстой — рядовой писатель, высосавший из пальца проблемы личного поведения. Достоевский был гением. Никакой допинг, никакая Нобелевская премия не вернет реализма.

Возвратимся к «Колымским рассказам». Новая русская проза — вот первое их значение для автора.

Второе — не менее существенное — то, что рассказы эти показывают человека в исключительных обстоятельствах, когда все отрицательное <нрзб> обнажено безгранично, с новостями весьма примечательного отрицательного рода.

Человек в глубине души несет дурное начало, а доброе проясняется не на самом дне, а гораздо дальше.

Вот этот-то зёв — <нрзб> и Освенцим, и Колыма — есть опыт 20-го столетия, и я в силах этот опыт закрепить и показать. Так что в познавательной части в «КР» тоже есть кое-что полезное, хотя для художественной прозы это прежде всего душа художника, его лицо и боль.

Я летописец собственной души, не более. Можно ли писать, чтобы чего-то не было злого и для того, чтобы не повторилось. Я в это не верю, и такой пользы мои рассказы не принесут.

Все может повториться, и никого это не остановит и не останавливает. Вы же видите, что война идет все время, что людей убивают. Атомная бомба — единственная гарантия мира.

Но если даже и так, то все равно должно писать, написать. У меня есть еще много тем важнейших, не тронутых еще совсем.

Человеческий личный опыт — вещь мало нужная в жизни, но даже если все это не нужно, я должен писать. Я хотел бы даже работы по связи моих стихов с прозой, но такой работы в наших условиях придется ждать сто лет.

По сравнению с этой возможностью обновления прозы мне кажутся пустяками научная фантастика или какие-нибудь сатирические или юмористические пьесы. Мне кажется кощунством использование лагерной темы в комедии или шуточной поэме. Твист «Освенцим» или блюз «Колыма» кажутся мне кощунством. Юмористика имеет свои пределы, использовать ее в лагерной теме представляется святотатством.

Современная проза может быть добыта только в личном опыте, когда отсеяно все литературное, мешающее главному, когда любое книжное суждение, метафора, стиль, нравственный постулат подвергнуты жесточайшей личной проверке. Когда отброшено все лишнее, все скрывающее истину, как бы эта истина ни была неприглядной. Это совсем не те маски, которые снимает у Толстого Михайлов в своей картине. Те маски — пустяки для человека, видевшего Освенцим. Это не то лишнее, что скатилось с горы, когда статуя, пущенная рукой Микеланджело, докатилась до низа, до <нрзб> земли. Все отбрасывалось именно потому, что было связано с художественной литературой, с обманом.

Все проверяется на душе, на ее ранах, все проверяется на собственном теле, на его памяти, мышечной, мускульной, воскрешающей какие-то эпизоды. Жизнь, которую вспоминаешь всем телом, а не только мозгом. Вскрыть этот опыт, когда мозг служит телу для непосредственного реального спасения, а тело служит, в свою очередь, мозгу, храня в его извилинах такие сюжеты, которые лучше было бы позабыть.

Ремарк писатель плохой, автор расхлябанной прозы, плохой стилист, но сильно нажимавший, в соответствии с традицией, на гуманитарную сторону дела и потому имевший успех. В последнем своем романе, плохом, как и вся остальная его проза, сделал вывод, весьма примечательный, что Германия заслужила фашизм из-за своего равнодушия, что и фашизм не пробудит Германию. Это обидное слово сказал немец. Но разве дело тут в Германии?

20-й век с его проблемами испытал пробу не только в Германии. Проблемы слишком тяжелы, слишком неразрешимы. Но не надо, чтобы литература это скрывала. *Человек оказался гораздо хуже, чем о нем думали русские гуманисты XIX и XX века.* Да и не только русские, зачем это все скрывать? «КР» об этом именно говорят.

Условия? Но условия могут повториться, когда бластарская инфекция охватит общество, где моральная температура доведена до благополучного режима, оптимального состояния. И будет охвачено мировым пожаром в 24 часа. Нансен был великим миролюбом, величайшим практиком, реалистом до мозга костей в своей земной задаче. Оставив все свои дела, он взялся за Лигу наций. Был ее комиссаром и с величайшим успехом выполнял ее поручения — русские эмигранты, армянские, голод, создание новых государств, все его начинания увенчались полным успехом. Он был признан всем миром.

Нансен умер в 1930 году. Он еще мог побеседовать с Муссолини и ничего в нем не увидеть. Мюнхенский путч относится к 1923 году, но и Гитлер не насторожил Нансена. В 1933 году фашисты пришли к власти в Германии, всего через три года после смерти миротворца, а в 1939 началась Вторая мировая, всего через девять лет после смерти Нансена.

Мировая история, как и искусство, развивается по своим законам, которые не может рассчитать ни один пророк.

Любая цивилизация рассыплется в прах в три недели, и перед человеком предстанет облик дикаря. Хуже дикаря, ибо все дикарское — пустыки по сравнению со средствами уничтожения и давления. Не будет сопротивления — никакого реально, а удар вооруженного противника, какой был применен Гитлером, тоже любителем классики и жизненной правды и романтизма. И

соответственно — в других странах. Человек не хочет помнить плохое.

Фотография лагерей уничтожения и дана в «КР». Естественно, за границей это мало интересует. Они предпочитают занятия, вероятно, в литературоведческом плане, как и наши историки.

Художественное описание всегда беднее фотографии — это знает каждый турист. Но я не предлагаю художественного описания. Я предлагаю просто новую форму фиксации фактов. Если не было бы лагерей, я нашел бы применение своим скромным открытиям к обыкновенной жизни (вроде моего же рассказа «Крест»).

Но я не вижу никаких причин исключить лагерную тему из литературного сырья для современного писателя. Напротив — я вижу именно в лагерной теме выражение, отражение, познание, свидетельство главной трагедии нашего времени. А трагедия заключается в том, как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе («от ликующих, праздно болтающих»), прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме.

Это не только русская загадка, но, очевидно, мировой вопрос.

То, что среди «сотрудников» КГБ, вроде нашего радиста, очень много книголюбов, букинистов, ценителей хороших стихов, это грозный и верный признак, что искусство не облагораживает. Я не забочусь ни о пессимизме, ни об оптимизме, вопросы, затронутые в «КР», — вне категорий добра и зла. Возвратиться может любой ад, увы, «Колымские рассказы» его не оставят, но при любом случае я буду считать себя связанным выполнением своего долга. Жму руку, благодарю за письмо. *В. Шаламов.*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Кременской* Александр Александрович (1908—1981) — писатель. Письмо Шаламова к Кременскому имеет четыре черновых варианта. Публикуются тексты, не дублирующие друг друга.

² 11 ноября 1971 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского.

ПЕРЕПИСКА С Ф. А. ИСКАНДЕРОМ

В. Т. Шаламов — Ф. А. Искандеру¹

Москва, 2 августа, 1973 г.

Дорогой Фазиль.

Посылаю № 8 «Юности» за нынешний год и книжку «Московские облака», которая вышла в «Советском писателе» в прошлом году.

В «Юности» — стихи последнего года.

Прошу принять мой привет.

В. Ш.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Искандер Фазиль Абдулович (р. 1929 г.) — писатель.

ПЕРЕПИСКА С Л. Н. ЧЕРТКОВЫМ

В. Т. Шаламов — Л. Н. Черткову¹

Москва, 2 декабря, 1973 г.

Дорогой Леонид Натанович, посылаю Вам справку Ленинской библиотеки, которая у меня сохранилась, — я получал ее в три приема. Это — как раз то, что я хотел показать Вам при нашей встрече. Тут учтено и собрано много газетной мелочи, но и упущено немало. Это:

«Маяковский разговаривает с читателем» («Огонек», 1936, № 10, стр. 5). Это — самая первая международная публикация, сданная мною в руки Брика еще раньше «Альманаха с Маяковским»;

Три шахматных подвала в «Вечерней Москве»: «64 поля» — «Вечерняя Москва» 19 февраля 1935 года; «Гроссмейстер в цейтноте» 26 февраля 1935 года;

«Женщина и шахматы» 8 марта 1935 года.

Очерк «Любовь о паровозном машинисте Васильеве». «Гудок», 6 июля 1935 года.

А вот личная просьба к вам: в «Ленинградской правде» у меня был напечатан первый мой короткий рассказ «Ганс» в 1935 или 1936 году — я не нашел в подшивках

«Ленинградской правды». Этот рассказ — самый первый, напечатанный раньше, чем «Три смерти доктора Аустино» («Октябрь» 1936 года), который по всем анкетам считается первым моим рассказом.

Я поставил птички карандашом на тех моих очерках и статьях, которые мне больше запомнились: «Дело Маенаева», «Наш Горький». В Москве начала 30-х годов нет ни одного завода, ни одной столовой, ни одной рабочей спальни, где бы я ни был, где бы ни выступал бы в 1933 году. Я был заведующим редакции этих журналов в 1933 г.

Переводил я все, что дадут, — как Пастернак, от Иосифа Альбирта до Вильяма Шекспира. Самой лучшей, самой тщательной работой считаю перевод с казахского Касыма Аманжолова «Наша легенда» для «Шазуши» в Алма-Ате. Это большая поэма, переведенная в точности размером и ритмом подлинника, с сохранением одиннадцатисложной строки, что ни в каких переводах с казахского не делали. Легко шел мне перевод в большом объеме — и разное по переводу. Последний Ваш вопрос, самый трудный: какую из рецензий на мои вещи я считаю самой удачной. У меня было много рецензий, и все положительные, но только в рецензии Наровчатова было что-то уловлено важное, что-то сверкнуло и, не разгораясь далее, погасло. Тут дело в том, что у нас принято рецензировать стихи, как художественную прозу: со всеми требованиями, условиями, правилами, которые приняты (спорны они или бесспорны, это вопрос другой) для художественной прозы, тогда как стихи — это особый мир, ничем не связанный с законами художественной прозы, кроме 32 букв алфавита.

В стихах не надо искать ни антропоморфизма, ни прогрессивных идей, ни тайных аллегорий. Стихи требуют другого подхода. Стихи — это стихи. В одной из рецензий Вашего ленинградского критика Калмановского в «Звезде» было что-то важное для меня. Но из его письма (я посылал ему свою книжку) я увидел, что его понимание вопроса в тех же не стихотворных границах, что и у всех. Сам творческий процесс рецензентам представляется не таким, каким он бывает у поэта. Наше литературоведение, наша критика, наше стиховедение, наша поэтика не выработали еще такого коренного понятия, как поэтическая интонация. Применение его внесло бы ясность в литературный вопрос об этом поэтическом литературном паспорте, без которого нельзя

исследовать стихи. Браться самому за такую неблагодарную работу у меня нет сил. Лет десять назад я стоял перед выбором: либо написать работу о стихах — «Как пишут стихи», либо написать книгу своих рассказов. Я выбрал второе.

Если я никогда не думал над тем, как пишут роман, повесть, то над тем, что такое русский короткий рассказ, я думал десятки лет и еще в 30-е годы в коротком сюжетном рассказе проделал ряд экспериментов. Короткие рассказы — чтобы они читались — имеют свои законы, свои правила, свои традиции, нарушение которых приводит к писательскому успеху.

Правоту не только подменяют [нрзб], но и появляется бесчисленное число эпигонов.

Я считаю, что сейчас время не романа, а короткого рассказа.

В стихах — это и сложное немногословное стихотворение самой высокой, самой сложной поэтической культуры, оружие, выкованное в Гефестовой кузнице лириками 20 веков, а не только продолжение Баратынского и Фета.

Я сдал еще 14 коротких рассказов в «Наш современник», но мало надеюсь на публикацию.

О Раскольникове я еще не писал, но все уже сложилось в голове — и мера героя и мера слова.

С глубоким уважением, *В. Шаламов*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Чертков* Леонид Натанович — автор статьи о В. Т. Шаламове в Краткой литературной энциклопедии (т. 8, 1975).

ПЕРЕПИСКА С Б. Н. ПОЛЕВЫМ

В. Т. Шаламов — Б. Н. Полевому¹

Москва, 27 декабря, 1973 г.

Дорогой Борис Николаевич!

Традиционно поздравляю Вас с Новым годом и шлю лучшие мои приветы. Генерал де Голль в нашем с Вами возрасте выступил с большой «итоговой» речью, где перечислил свои заслуги перед Францией.

История доказала, что в 67 лет у Де Голля еще все было впереди. Я — не политик и не могу рассчитывать на такого рода метаморфозы. Но я хотел бы довести до конца при Вашей доброжелательной и энергичной, активной поддержке публикации своих коротких рассказов, первым из которых является находящийся в «Юности» — «Джалиль»². Этот рассказ имеет сто преимуществ, но, конечно, один любит короткий рассказ, а другой конституцию с хреном, как нам объяснял Щедрин. Однако у «Джалиля» есть первое преимущество. И это не только в том, что рассказ — документ из документов, а в том, что он заполняет брешь в биографии Джалиля (во всех его жизнеописаниях мустафиновых³ также, за которым Вы лично следили).

Это — 1927 год, Москва. Время обучения героя на литературном отделении этнологического факультета МГУ. Это пять страниц на машинке и заполняют эту пятилетнюю брешь биографии Мусы. Я прошу Вашей помощи. Не может быть, чтобы пять страниц самого документа не нашли себе места в «Юности»⁴.

В этой странной истории блокирования рассказа, который все одобряют и никто не печатает, есть психологические черты — не бюрократизма — это было бы с полгоря, а то, что Маркс назвал бы «идиотизмом издательской жизни». Черты эти были в «Советском писателе», в Гослитиздате, но в «Юности» при горячей поддержке главного редактора? Не хочу верить...

Еще раз — поздравляю с Новым годом, жму руку.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Полевой Борис (настоящее имя Кампов Борис Николаевич) (1908—1981). В. Шаламов узнал о смерти Полевого уже в доме инвалидов и продиктовал мне прощальные хорошие слова о нем.

² *Джалиль* Муса (1906—1944) — поэт, герой Советского Союза (посмертно, в 1956). В. Шаламов учился одновременно с ним в МГУ. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» Джалиль удостоен Ленинской премии (1957).

³ *Мустафин Р.* «Муса Джалиль. Очерк о детстве и юности поэта». М., «Детская литература», 1977.

⁴ В. Шаламов. «Студент Муса Залилов» («Юность», 1974, № 2).

ПЕРЕПИСКА С В. В. КОЖИНОВЫМ

В. Т. Шаламов — В. В. Кожинову¹

Дорогой Вадим Валерьянович.

Голенищев-Кутузов² — огромный кусок поэтической русской классики бесспорно и, кроме стыда за свое опрометчивое суждение в «Дне поэзии 1968»³, я ничего не испытываю.

Я свой ляпсус увидел давно, но до Вашего письма не представлял себе истинных размеров — и ляпсуса, и поэта.

На другой же день, 2-го января я поступил по Вашему новогоднему совету и — не перечел — а прочел Голенищева-Кутузова во всех русских изданиях.

Прочел его стихи, только не трогал прозы и драмы — с тем, чтобы не задерживать свой ответ Вам. И хотя неделя тоже срок непозволительный, тоже самоуверенный — отвечаю все же.

Как я объясняю себе то суждение в «Дне поэзии», которое я повторил бы и сегодня, не будь Вашего письма.

В жизни каждого грамотного человека, да еще пишущего стихи, постоянно откладываются в памяти имена, четверостишия, строки. Одни вытесняют других, другие — еще крепче врастают в память, и наступает какой-то взрослый день, когда добавить нечего. Тем более что поэзия дело сугубо национальное, все в пределах родного языка. У тебя самым смутным, самым безответственным образом укрепляется в мозгу своя собственная антология русской поэзии. И, встречаясь с любым новым именем, с любым новым стихотворением, их быстро и безапелляционно судите — либо отвергая, либо принимая, давая пришельцу место. Так, например, в мою антологию вошел в свое время Ушаков. И в эту антологию по совершенно случайным причинам не вошел Голенищев-Кутузов. Ты не даешь себе труда прочесть его стихи, даже если они попадают в современных антологиях.

Считается, что вся эта апухтинская стезя давно потеряла силу и ни один чтец-декламатор — главное оружие классики в борьбе стихов со стихами не подскажет тебе фамилии и стихи Голенищева-Кутузова, хотя, казалось бы, они созданы для мелодекламации, утраченного ныне жанра, весьма популярного в дни моей юно-

сти. Твой вкус воспитывается в борьбе с этим классическим потоком — ты целиком разделяешь чисто звуковые искания — в них так много ошеломительных открытий. Время идет, и ты видишь, что открытие звукового строя — не все для поэзии, хотя, конечно, входит в элитарный, как бы рыцарский кодекс писания стихов. Я мог бы и просмотреть тот мелодекламационный вклад, что сделал Голенищев-Кутузов в русской поэзии конца прошлого века. Просмотреть активное содружество с Мусоргским. Я — человек, очень далекий от музыки. У меня, как у Блока, нет музыкального слуха. Общение с Маяковским, который отрицал музыку вовсе, как нельзя лучше совпадало с моими собственными опасениями на сей счет.

По своему левовскому нигилизму я мог бы и заглазно и заушно выудить по молодости лет тревоги и вкусы Голенищева-Кутузова и утратить большого русского поэта чуть не на всю жизнь. Я просматривал антологии «Поэты 80—90 гг.» (там 34 стихотворения Голенищева-Кутузова), и те стихи сугубо гражданского настроения, которые есть в сборнике «О, русская земля», и не нашел в них ничего, что родило бы в сердце тревогу и заразило бы эмоционально.

Но из собраний сочинений Голенищева-Кутузова я выписал много стихотворений, взволновавших меня⁴.

Вот этот краткий список:

- 1) «Когда святилище души»;
- 2) «На ветхой скамье при дороге»;
- 3) «Есть одиночество в глуши...»;
- 4) «Где-то там, среди лучей, далеко»;
- 5) «Слепоглухонемому»;
- 6) «Мой умер дух — хоть плоть еще жива»;
- 7) «Когда тоску житейской ночи»;
- 8) «Пронесли над землей часы забытья»;
- 9) «Самому себе»;
- 10) «Зыби и сушь. Мелеют воды»;
- 11) «Костер»;
- 12) «Меж тем, кто вокруг тельца золотого»;
- 13) «Бушует буря, ночь темна»;
- 14) «В дороге»;
- 15) «Один звук имени ничтожной»;
- 16) «Счастливый день. Под деревенский кров»;
- 17) «Прощально заревом горит закат багряный»;
- 18) «Плакальщицы»;
- 19) «Я прощался — всю жизнь я прощался»;

- 20) «Молитва»;
- 21) «В кибитке»;
- 22) «Встреча Нового года»;
- 23) «Как странник под гневом палящих лучей»;
- 24) «Мне легче дышится на горных высотах»;
- 25) «В тиши раздумья, в минуты просветленья».

Есть у Голенищева-Кутузова и недостатки. Плохие стихи есть у любого поэта. Есть они и у Пушкина, у Лермонтова. У них есть недочеты, Голенищев-Кутузов — его многословие, шаблонность, особенно многословие. Он не искал путей к лаконизму, к экономии строки. «Плакальщицы» — редкое исключение, «ОДИН звук имени ничтожной».

А ведь все проблемы русского стиха — каноничность русского стиха — могут быть решены на 8 строках, самое большое в 12.

Время было многословное. Голенищев-Кутузов не хотел жертвовать оттенком чувств или мысли, возникшими при написании стиха, он оставлял. Появлялось многословие.

Со звуковым поиском своих современников Голенищев-Кутузов был, конечно, знаком и отрицал их, считая (возможно, справедливо), что альфа и омега русской поэзии — Пушкин и в этом отношении.

Не верь молчанью черной тучи⁵
 Раздумья вещега полна.
 Свой вихрь, свой дождь,
 Свой огонь летучий,
 Свой гром таит в груди она.

Но мир придет — и заповедный
 В глубоких недрах вспыхнет жар,
 И тьму пронижет луч победный
 И грянет громовой удар!

<«Счастливей день, под деревенский кров...»>

Все это аллитеровано вполне по-пушкински, не больше.

Прекрасны появления если уж не скучного грома, то скучного сумрака. Настойчивое исследование терпения почившего, спящего, безмолвного, мертвого Бога — возникает то и дело.

Много стихов отточено, пущено на классическом русском оселке — Дорога — Листок — Молитва, видно,

что свое слово Голенищев-Кутузов умел и мог, и имел право сказать.

Абсолютно оригинальные:

1) «Слепоглухонемому»;

2) «Я прощался. Всю жизнь прощался»⁶.

В высшей степени выразительна «Молитва».

Есть и другие недостатки: слишком малое рвение к чисто звуковой стороне дела, вовсе не свойственное Пушкину, — для которого не было секретов в звуковых украшениях стиховой речи, дополнительных колокольчиках к ритму и размеру. Для Пушкина это было воздухом, которым дышал, как поэт. На ограде памятника Пушкину Голенищев-Кутузов написал большое стихотворение.

В расцвете сил, ума и вдохновенья
С неконченную песней на устах
Могучий сын большого поколенья,
Он пал в борьбе, он был низвергнут в прах.

Именно не растоптан в прах, а низвергнут.

Сам Голенищев-Кутузов мог бы повторить эти слова.

Голенищев-Кутузов знал много иностранных языков, но, конечно, писал только русские стихи. Из Гюго, из Гёте — это все малоудачные пробы, находок тут не было.

Ощущение ухода от людей, сближение с природой, и притом русской природой, находки на этом пути и давали Голенищеву-Кутузову возможность строить свою мозаику в четырех стенах.

По своему ощущению мира Голенищев-Кутузов принадлежит к числу русских пророков с философией, обгоняющей западные образцы. Но это — и вовсе отдельная тема.

Голенищев-Кутузов достоин встать на полке библиотеки поэта наряду с Блоком, Буниним, Апухтиным.

Открытие нового русского поэта-классика для другого поэта шестидесяти шести лет от роду само по себе — уникальный случай в истории русской литературы.

Но чудеса на этом не кончаются. Совпадают (с моими стихами) эмоциональный тон, интонационный строй, техника (даже названия стихов одинаковы — «Старик», «Орел», «Метель», «Костер»). Прошло ведь сто лет. Тут уж я опускаю руки. Загадку совпадения не могу объяснить.

Подражание, эпигонство, отсутствие новизны считаю главным грехом стихотворца, и загадку Голенище-

ва-Кутузова не могу объяснить. В природе больше необъяснимого и случайного, чем мы знаем. Более поражающих вещей, чем мой, весьма удивительный случай, сверхтелепатические чудеса. Но это все — не главное. А главное в том, что Вы сделали мне редчайший, уникальнейший новогодний подарок — подарили нового русского классика.

Ваш *В. Шаламов*.

<1973>

В.Т. Шаламов — В.В. Кожин

Москва, 5 января 1977 года.

Дорогой Вадим Валерьянович!

Скорость московской почты легко компенсирует непоправимую частичную утрату слуха.

Я, как говорится, тугоух. Но я не тугоух ни на стихи, ни на статьи о стихах.

Ваша книжка «Как пишут стихи»⁷ пример верного подхода к самой сути стихов. Стихи — это ведь особый мир, очень далекий от, скажем, прозы. В Вашей книжке, можно рассматривать отдельные имена, но не метод, не суть метода.

И «Как пишут стихи» — ярчайший пример именно серьезного и умного <подхода> к роковому вопросу русского стихосложения. Поэзия ведь непереводаема, и не напиши Вадим Валерьянович Кожин о Голенищеве-Кутузове, и большой поэт исчезнет, хотя он — наш современник. Цитировать из моего письма, я разумеется, разрешаю сколько угодно, хотя и не надеюсь замолить грех перед Аполлоном и Голенищевым-Кутузовым за свой проступок. В вечных сожалениях за свой просчет.

Ваш *В. Шаламов*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Кожин* Вадим Валерьянович (1930—2000) — литературовед, критик, к суждениям которого Шаламов относился с уважением.

² *Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913) — поэт.

³ В «Дне поэзии 1968» (с. 236) в статье «Пушкинская премия Академии наук» Шаламов писал: «Станным сейчас выглядит

награждение полной Пушкинской премией поэта А. А. Голенищева-Кутузова.

Всего одно поколение понадобилось, чтобы этот лауреат был вовсе забыт — он даже для литературоведов не представляет интереса».

⁴ Собрание сочинений А.А. Голенищева-Кутузова в 4 т. СПб., «Новое время», 1914 г., с. 15, 17, 19, 23, 38, 43, 65, 76, 127, 138, 142, 155, 161, 166, 169, 178, 184, 188, 192, 202, 238, 304, 305, 317, 326.

⁵ Неточно цитируется стихотворение «Счастливый день, под деревенский кров (там же, с. 38) «...Не верь молчанию грозной тучи...».

⁶ Там же, стр. 76, 326.

⁷ *Кожин* В. «Как пишут стихи», о законах поэтического творчества. М., 1970.

ПЕРЕПИСКА С Д.С. САМОЙЛОВЫМ

В. Т. Шаламов — Д. С. Самойлову¹

Москва, 8 мая 1973 г. Дорогой Давид Самойлович.

Книжка о рифме очень хороша². Читал ее, как детектив увлекательный.

Надо бы принять закон, по которому право на писание таких исследований имели только поэты — только они могут уловить самое тонкое, самое важное и самое драматическое в этой тонкой области.

Уловить и назвать то, что скрывается за цифрами, за статистическими выкладками. Все-все очень удачно, особенно пушкинская драма. По сему предмету работы были хорошие. То ли у Белого, либо у Асеева — в 20 годы. Вы — прямой их продолжатель. Остро, убедительно. Это вклад в русскую культуру.

Академическая «Рифма» Жирмунского³ была странной работой, там было множество сведений о рифме. Не было только ответа на вопрос — что такое рифма? И для чего она нужна, и почему этот вопрос так волнует поэтов! Жму руку. С сердечным уважением, *В. Шаламов*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Самойлов* Давид (наст. фамилия Кауфман) (1920—1990) — поэт.

² Самойлов Д. «Книга о русской рифме». М., 1973.

³ Жирмунский В. «Рифма, ее история и теория». Пг., 1923.

ПЕРЕПИСКА С Ю. М. ЛОТМАНОМ

В. Т. Шаламов — Ю. М. Лотману¹

Дорогой Юрий Михайлович.

Поздравляю Вашу жену и Вас с Новым годом и желаю Вам еще много лет стоять на полезной, крайне важной деятельности. Я хотел бы предложить свое участие в тартуском сборнике, о чем именно идет речь. У меня есть кое-какие записи по вопросу о поэтической интонации — вопросу, вовсе не разработанному в нашем литературоведении.

Есть также стиховедческие разборы некоторых стихотворений Межирова (например, «Защитникам Москвы»). Могли ли бы эту загадку ради звуковой системы, какой отличается, взять у меня. Это предложение.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лотман Юрий Михайлович (1922—1994) — литературовед, при анализе литературных текстов обращался к структурному методу.

ПЕРЕПИСКА С И. Н. КРАМОВЫМ

В. Т. Шаламов — И. Н. Крамову¹

Москва, 13 июля, 1976 года.

Пляж Серебряного Бора.

Дорогой Исаак Наумович, шлю вам вырезку из сегодняшней «Правды» с подчеркнутым стихотворением, строчками из рецензии на Бокова. Стихи:

Я живу не в городе, в человечьем говоре, Голубком летает ложка, то к тарелке, то ко рту.

Феномен согласных легко уловлен. Вот это и есть СТИХИ. Поэтому Боков — поэт, а Твардовский — нет. Елене Моисеевне² привет. Я на самом старинном московском пляже в Серебряном Бору, когда река Москва была еще Москва-рекой.

В. Т. Шаламов — И. Н. Крамову

15 октября 1976 года.

Дорогой Исаак Наумович, в Ялту я уже получил путевку Литфонда, с 3 по 28 ноября и через две недели

там буду. Билеты я еще не покупал, но куплю на 2-е, обратно на 29. Я звонил Вам сто раз по утрам, в середине дня, что сам <подойду> к Вам.

Но лучше, полезнее Серебряного Бора нет в моем случае. Там вода и сосны...

В. Т. Шаламов — И. Н. Крамову

Москва, 17 декабря, 1976.

Дорогой Исаак Наумович, вообще-то я учился относиться к юбилеям критически. Я очень, очень рад и за премию от «Дружбы народов», и за Вашу возможность принять открытое участие в платоновском вечере³. От себя же насчет Платонова скажу: Платонов был гений русской прозы, достиг определенных достойных результатов... Отнюдь ни на что <не> похоже — считать, что Катаевская повесть «Время, вперед» может сравниться с «Котлованом» по форме и по существу, и по тому величайшему эмоциональному накалу этой превосходной прозы. Для Платонова⁴ «Котлован», впрочем, лучше.

Как всякий большой талант реально верил в свои силы и строчил, и строчил, строчил без усталости химическим карандашом, без помарок, складывал в стол один за другим все новые и новые романы. Я думаю, что в судьбе Платонова <много> сыграл Горький. Горький все брал, все и бросал платоновские вещи. А Платонов не то что верил в Горького. В Горького было верить нельзя, ибо <знаю> я, кто стоял <за> Горьким, направлял и решал: Надя, Черткова, Закревская, Петр Крючков⁵. Ведь это — не дурная, а реальная <жизнь>.

Почему же Платонов все время держался за Горького, как за авторитет. Я думаю, что тут очень сильна роль двух обстоятельств. Не то <что> Платонов верил в авторитет Горького, <нрзб>. Верить в авторитет <нрзб> Горького мог только круглый идиот. Просто Горький был трезвее иного, чего-то худшего, в круге тогдашнего времени. Платонов тут считался с тем, что Горький только декорация. Он не более, чем ширма. Но Горький не одобрял этой дороги, и Платонов так и умер непризнанным человеком. А без Горького все это в сто <раз> еще опасней и еще дороже бы Платонову обошлось. Вот поэтому-то платоновский страшный роман задержался. И хотя одобрен Горьким, хотя уже в «Епифанских шлюзах» почерк гения был налицо. По этим-то причинам, мне кажется, не переписывался с Горьким и Николай

Тихонов. Хотя Тихонов был первым прозаиком и первым поэтом тех времен.

Страх, что Горький встанет на левую ногу, удерживал и меня от личного общения, хотя этот визит я берег к 1937 году. Я поступил осторожно, послал в журнал «Колхозник» <очерк>, и Горький его напечатал даже дважды. «Картофель» без всякой известной своей горьковской правки. Я отложил визит (боялся за публикацию) к 1937 г. Но в конце 1936 года Горький умер, а я с 12 января 1937 уехал на Колыму.

Это по тем временам еще не надо было отдавать визит главному редактору, либо делать после публикации.

Меня печатали Кольцов, Тихонов, Панферов, Горький, и никогда не надо было являться для переговоров. Это одна из особенностей гражданской жизни двадцатых и тридцатых годов в <журналах> столичных.

[нрзб] Мебельные дела у меня удались только на Преображенском рынке [нрзб]⁶.

К сожалению, редакционная макулатура (связанная и упакованная) пока не пущена в дело, это специальная машина, которая когда-то живую, не типичную, теперь — оригинальную... [нрзб]. Книголюбы выдохлись, всех и каждого тащат на улицу Чехова. Даже в исполнении каждого [нрзб], а не выездная редакция.

Но это <новая квартира> не более чем в 10 минутах от Васильевской.

У меня все ремонт в разгаре и как только новый сервант в качестве книжного шкафа войдет в мою жизнь, все будет вечером. В чем еще одна подробность насчет подборки тахты. Я ведь живу лежа или ходя по комнате. Стулом я в своей жизни не пользовался, во всяком случае ни одного дельного стишка за столом не написал.

Мое положение либо лежа (лучше всего), либо ходя — по улице, по комнате, если ты болен, лежащая жизнь поэтому не существенна. Пастернак удивлялся, [нрзб].

В моей жизни нет ничего от стула.

Уже есть два стула, [нрзб].

Но все это — чушь. Необходимая сила оставлена с переездом с Пресни, раз сие выбросили. В своем быту всегда следовал девятому принципу Энрико Ферми⁷ — творца ядерной бомбы. Ферми ли это придумал. Энрико в отношении устройства всего себя, [нрзб]. Он тогда был студент, а стал Нобелевским лауреатом. Он ничего, кроме нескольких костюмов [нрзб] и, как правило, вещи брал самые дешевые. Этим великим принципом Ферми теперь руководствуюсь и я.

В итоге я раз в лето купил (кроме серванта) — стул, стол (2), книжных полок.

Стульев, мягких стульев, чудных кресел и тахты в моей жизни не будет и дня жить, и вот лежу, кровать — вот суть сути.

Стихи пишу, как всегда, и в Ялте так же жил. Ялта хоть и хороша — но все не Серебряный Бор.

Желаю Вам добра, успеха [нрзб]

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Крамов Исаак Наумович (1919—1979) — литературовед, исследователь прозы А. Платонова.

² Ржевская Елена Моисеевна — писательница, жена И. Н. Крамова.

³ В 1976 году исполнилось 25 лет со дня смерти А. Платонова.

⁴ Речь, видимо, идет о книге А. Платонова «Величие простых сердец». М., 1976.

⁵ Близкие А. М. Горькому люди: Пешкова Надежда Алексеевна (жена сына Максима), Черткова Олимпиада Дмитриевна (домоуправительница), Петр Петрович Крючков (секретарь А. М.), Закревская (Будберг) Мария Игнатьевна.

⁶ В 1972 г. Шаламов переехал в новую комнату с Хорошевского шоссе на Васильевскую ул.

⁷ Ферми Энрико (1907—1954) — итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики. Построил первый ядерный реактор.

ПЕРЕПИСКА С К. Я. ВАНШЕНКИНЫМ

К. Я. Ваншенкин¹ — В. Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Спасибо сердечное за книгу — отличную, глубокую, тонкую. Такую естественность и одновременно виртуозность стиха не часто встретишь. И за самое желание послать — спасибо. Я давний Ваш читатель, очень многое в Ваших стихах мне близко и дорого.

Всего Вам доброго.

К. Ваншенкин

18.11.77.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ваншенкин Константин Яковлевич (р. 1925) — поэт, прозаик.

ПЕРЕПИСКА С С. С. ВИЛЕНСКИМ

С. С. Виленский¹ — В. Т. Шаламову

1/I—78 г.

Уважаемый Варлам Тихонович!

Кружил по Кольцевой линии метро, глядя на мир знакомыми мне глазами уцелевшего смертника. Не знаю, чего в Ваших стихах больше: жизнестойкости, мятущегося одиночества или тепла рукопожатия. Спасибо за этот Кольымский настой, за эту нужную мне книгу.

Случилось так, что ее принесли в то время, когда меня навестил прилетевший из Магадана мой солагерник Демант, знавший и Вас.

Спасибо, Варлам Тихонович, за добрую память обо мне. Это только мертвым все равно, когда костер разожгут, а живым <рваться> надо.

Желаю Вам хорошего Нового года.

Жму руку.

Семен Виленский.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Виленский Семен Самуилович — составитель сборников «Возвращение», активный деятель общества «Возвращение».

ПЕРЕПИСКА С М. БЕХИУС-РУДНИЦКОЙ

М. Бехиус-Рудницкая¹ — В. Т. Шаламову

Люблин, 24.1.79.

Многоуважаемый Варлам Тихонович, наконец-то мне удалось получить Ваш адрес, чтобы послать Вам прилагаемый номер нашего литературного журнала «Камена» (который издается от 1933 года). Дело в том, что я проводила вместе с нашим знаменитым поэтом

Ружевицем и его женой, а одновременно с Вами, прошлогодний сентябрь в ялтинском Доме писателей, где мне случайно попал в руки Ваш поэтический сборник «Точка кипения». Он так меня заинтересовал, что я прочитала из него несколько стихотворений. Много не успела, потому что к книге образовалась в библиотеке очередь. Проезжая через Москву, хотела приобрести этот сборник, но он, кажется, распродан. Из тех стихотворений, которые у меня имеются в рукописи, перевела и напечатала четыре, — Вы найдете их на 9-й странице журнала. Поэтам, которым я их показывала, очень нравится и содержание, и Ваш стиль, соединяющий непосредственность с изысканностью — черта очень редкая у современных поэтов. К сожалению, у нас недавно вышла уже из печати антология советской поэзии, но меня предупредили, когда будут готовить новую, и эти переводы могут в нее попасть. Они близки в общем к оригиналу, только в стихотворении «Не удержал усилием пера...» мне пришлось упростить последнюю строфу с ее прекрасным сочетанием слов «былое поросло быльем» и градацией: «беспамятством, забвением, забытьем» — это непереводаемо на польский язык.

Мне кажется, что в заключении письма я должна Вам «представиться»: я самый старый член Союза польских писателей. Мне 91 год, но я много путешествую и все еще пишу. Уроженка Варшавы, со времени Второй <мировой> войны живу (по большей части) в университетском городе Люблине. Я прозаик, после войны — по преимуществу театральный критик. Однако от времени до времени переводила с русского и украинского языка и печатала стихотворения (Пушкина, Брюсова, Маяковского, Верлена и т. д.). Получила множество разных наград.

Вот, пожалуй, и все подобающие сведения! Позвольте приобщить к ним искренний привет и просьбу о сообщении мне (если это Вас не слишком беспокоит), получили ли Вы мое письмо.

Уважающая Вас *М. Бехиус-Рудницкая*

Мой адрес: *Marin Bechczus-Rudnicka ul.* [nrзб] 10 m
Polska

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Бехиус-Рудницкая* Мария — польский прозаик, поэт, переводчик.

ПЕРЕПИСКА С И. Л. МИХАЙЛОВЫМ

И. Л. Михайлов¹ — В. Т. Шаламову

2.IV.79 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Я только что (!) узнал, что моя «Шехерезада», написанная много лет назад, должна была быть посвящена Вам. Впрочем, поскольку она никогда не была напечатана и уж вряд ли это когда-либо произойдет, то и не столь важно, когда возникло это посвящение.

Примите его в знак моей признательности за то, что Вы сумели возникнуть в этом мире.

Бываете ли Вы в Ленинграде? Если будете, был бы счастлив видеть Вас. Будьте здоровы и благополучны.

Ваш *И. Михайлов*

193079, Ленинград С-79, Октябрьская набер., 100—5,
кв. 64. И. Михайлов

Шехерезада

Варламу Шаламову

Как бы ударенный оглоблей в лоб,
но день за днем вживавшийся в невзгоды, —
кем не был я в те лагерные годы...
Фантазмагория! Калейдоскоп!

Прозектор, каменщик, ассенизатор,
хирург, пожарник волею судеб,
не ведал сам, кем обернусь я завтра
и как добуду свой остистый хлеб.

Как птичка божья, вечно налегке —
спокойный день уже считал наградой..
Потом работал я Шехерезадой
в одном забытом богом уголке.

Хоть не было для лагерных придурков
номенклатурной должности такой,
растратчик, жулик и бывалый урка,
меня включили в круг почтенный свой.

Смекнули: книг перечитав до черта,
я, будучи введенным в оный круг,
занятой байкою для полноты комфорта
украсить мог начальственный досуг.

В глухой тайге не развлечешься слишком!
И я, ввиду означенных причин,

был поселен начальничком в домишко,
где жили он, бухгалтер и начфин.

Я был бы здесь пригрет на день —
на два и — выжатый — пошел бы мыкать горе,
когда б не задержала голова
сюжеты сотен всяческих историй.

Как вы меня в то лето выручали,
прочитанные некогда тома
Бальзака, Конан Дойля и Дюма!
С каким энтузиазмом вас встречали!

В сельхоз «Кось-ю», заготовлявший сено
усилиями фитилей сплошных, —
я был направлен с целью гигиены,
чтоб выявлять и пользоваться больных

Я был обязан жить среди доходяг,
жить в божьем страхе, щедро наказуем.
Все силы памяти мобилизуя,
я все же ухитрился жить не так!

Коль обнаружу, что забыл финал,
но зная — он не должен быть печальным,
я делался соавтором нахальным:
я фантазировал, изобретал,

Героев сталкивал и так, и сяк,
врагов разил налево и направо —
и знал, что если Шерлок Холмс иссяк,
ко мне придет на помощь патер Браун.

Но, подтянув интригу к рубежу,
в уме перелистав страниц за двести,
я тормозил на самом скользком месте:
— Ребята, поздно! Завтра доскажу.

И что ж? Мне стали лошадь выдавать,
чтоб быстренько объехал все участки
и мог бы своевременно начальству
очередную сказку выдавать!

Там где-то кровь лилась и рвались мины,
но что им до войны и до врага?
Им поставляли фитили малину
и прочие таежные блага.

Как у Христа за пазухой, все трое
блаженствовали — эдакие лбы!
Ловили рыбу, жарили грибы..
И гужевался я за их спиною.

Жил с проблеском спокойствия в душе
все лето, притаившись вроде мыши,
под протекающей, но все же крышей,
а не в каком-то вшивом шалаше!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Михайлов* Игорь Леонидович — поэт.

ПЕРЕПИСКА С Д. С. ЛИХАЧЕВЫМ

Д. С. Лихачев¹ — В. Т. Шаламову

20.1X.79.

Дорогой Варлам Тихонович, захотелось написать Вам. Просто так!

У меня тоже был период в жизни, который я считаю для себя самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и «соотечественников». Сотни людей слабо мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко. Никто ничего не знает. А жизнь была очень значительной.

Вы — другое дело. Вы выразили себя и свое.

Об этом только и захотелось написать Вам.

Ваш Д. Лихачев.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лихачев* Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — академик, литературовед, исследователь древнерусской литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕПИСКА

Пастернак Б. Л.	7
Гудзь М. И. и другие родственники	77
Добровольский А. З.	102
Бродская Л. М.	167
Кастальская Н. А.	187
Кундуш В. А.	198
Лебедева Т. Н.	205
Португалов В. В.	209
Ивинская О. В.	211
Волков-Ланнит Л. Ф.	223
Яроцкий А. С.	226
Неклюдова О. С.	228
Берггольц О. Ф.	242
Лоскутов Ф. Е.	243
Воронская Г. А.	259
Руженцев С. В.	267
Чеджемова Е. А.	269
Пантюхов А. М.	270
Боков В. Ф.	272
Снегов С. А.	273
Солженицын А. И.	276
Слуцкий Б. А.	318
Скорино Л. И.	320
Гродзенский Я. Д.	326
Лесняк Б. Н.	356
Вигдорова Ф. А.	363
Сучков Ф. Ф.	366
Копелев Л. З.	369
Домбровский Ю. О.	372
Жигулин А. В.	373
Рубанцев А. А.	374

Столярова Н. И.	375
Демидов Г. Г.	395
Иванов В. В.	407
Ахматова А. А.	408
Мандельштам Н. Я.	408
Перли П. Д.	437
Лопатина Е. Б.	437
Гусев Н. Н.	440
Сиротинская И. П.	441
Уманская С. М.	515
Андреев В. Л.	516
Гладков А. К.	519
Юдина М. В.	521
Гинзбург Е. С.	522
Вейсберг В. Г.	523
Авербах М. Н.	523
Михайлов О. Н.	530
Шрейдер Ю. А.	533
Фогельсон В. С.	567
Лесневский С. С.	569
Чуковская Л. К.	570
Кучерова Э. Р.	571
Глушкова Т. М.	571
Альбирт И. М.	573
Наровчатов С. С.	575
Тарковский А. А.	575
Тимофеев Л. И.	575
Кременский А. А.	576
Искандер Ф. А.	584
Чертков Л. Н.	584
Полевой Б. Н.	586
Кожин В. В.	588
Самойлов Д. С.	593
Лотман Ю. М.	594
Крамов И. Н.	594
Ваншенкин К. Я.	597
Виленский С. С.	598
Бехиус-Рудницкая М.	598
Михайлов И. Л.	600
Лихачев Д. С.	602

**Варлам Тихонович
Шаламов**

***Собрание сочинений в шести томах
+ том седьмой, дополнительный***

ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор *Ю Григорьян*

Художественный редактор *А Балашова*

Технический редактор *Л Платонова*

Корректор *Л Кузьмина*

Компьютерная верстка *А. Деева*

Подписано в печать 30.07.13 г.

Гарнитура «Журнальная». Формат 84x108¹/₃₂.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 34,8.

Книжный Клуб Книговек.

127206, Москва, Чуксин тупик, 9.

www.terra.su

Отпечатано BALTO print

www.balto.lt

www.baltoprint.ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0697-5



9 785422 406975